

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

ДОРОГИ ПРИШЕДШИХ С ВОЙНЫ

Мы возвращались с войны победителями, а дома, в своей стране становились побеждёнными. И нарастала борьба: «С низкопоклонством перед Западом», «С безродными космополитами», «Дело врачей...» Готовилась новая Большая чистка. Но на это Сталину уже не хватило жизни. И миллионы людей остались живы. Возможно, и я среди них. Когда большая часть жизни прожита и многое пережито, а неведомое будущее стало прошедшим и в нём — те, кого ты знал, «минувшее проходит предо мною».

Не обязательно оттого, что художественный талант иссяк, но поредел тот лес, который ещё недавно был густым, и для новых поколений стало историей то, что всё ещё часть твоей жизни. И, странное дело, когда отсюда, из дней нынешних, смотришь в прошлое, открывается в нём столько неведомого, о чём в ту пору и помыслить не могли.

Осмыслить — тем более.

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ
ДОРОГИ ПРИШЕДШИХ С ВОЙНЫ

Ф. «ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

2005



УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6
Б 19

Редактор
И. А. Сергеева

Оформление и макет
Александр Коноплев

В оформлении
использованы
фотографии из
архива
Г. Я. Бакланова

© Г. Я. Бакланов. 2005
© НФ «Пушкинская библиотека». 2005
© А. Б. Коноплев, оформление и макет. 2005

ISBN 5-94643-220-6

*Посвящается моей жене
Эльге Баклановой*

ОТ АВТОРА

Возвращение с войны в жизнь, в мирную жизнь, с чем сравнить это? Отечественная война длилась 1418 дней, и в каждый из этих дней — когда больше, когда меньше — она уносила на наших фронтах в среднем двадцать тысяч убитыми и ранеными. И вдруг — мир.

Я вернулся с войны 29 декабря 1945 года. Уходил на фронт в декабре 41-го, вернулся в декабре 45-го, как раз под Новый год. Болгария, где мы стояли несколько месяцев, всю позднюю осень, осталась в памяти виноградной, персиковой — чудный солнечный край. А в Москве был мороз. Помню у метро «Новокузнецкая» стоял у входа красивый молодой парень, держал в озябших красных ладонях надорванную пачку «Беломора», торговал папиросами поштучно. А пальцев на обеих руках не было. Много раз я видел его: утром — трезвого, под вечер — выпившего. Потом он исчез. Не он один не вернулся с войны.

А вскоре начались другие исчезновения. Шёпотом рассказывали анекдот: «Обвиняемый, признаёте себя виновным?» «Гражданин следовательно, я не обвиняемый, я пока ещё подследственный». Следовательно подвел его к окну, показал на улицу, по которой ехали, шли люди: «Вот они — подследственные. А ты — уже обвиняемый».

У нас на курсе в Литинституте исчез Костя Т., молодой офицер, фронтовик, сын крупного военачальника. Отца посадили, о Косте я больше никогда ничего не слышал.

Мы возвращались с войны победителями, а дома, в своей стране становились побеждёнными. И нарастала борьба: «С низкопоклонством перед Западом», «С безродными космополитами», «Дело врачей...». Готовилась новая Большая чистка. Но на это Сталину уже не хватило жизни. И миллионы людей остались живы. Возможно, и я среди них.

Когда большая часть жизни прожита и многое пережито, а неведомое будущее стало прошедшим и в нем — те, кого ты знал, «минувшее проходит предо

мною». Не обязательно оттого, что художественный талант иссяк, но поредел тот лес, который еще недавно был густым, и для новых поколений стало историей то, что все ещё часть твоей жизни. И, странное дело, когда отсюда, из дней нынешних, смотришь в прошлое, открывается в нём столько неведомого, о чем в ту пору и помыслить не могли. Осмыслить — тем более.

В последний день своей жизни, в больнице, Василий Быков вспоминал войну. Мы с ним, как оказалось, были на одном фронте, на Третьем Украинском, о чем узнали уже в мирное время. Война «...такой вдавила след / И столькох наземь положила, / Что двадцать лет и тридцать лет / Живым не верится, что живы». Это — Константин Симонов, о нём тоже есть в этой книге. И о Юре Трифонове, с ним мы когда-то учились в Литинституте и дружили многие годы, и жили по соседству. И о Василии Шукшине. Его я меньше знал, но любил его прозу, его «Калину красную». И, конечно, — о Твардовском. Многие годы мы жили в одном поселке, виделись часто, о многом было переговорено. Не буду перечислять всех, о ком здесь рассказал, об известных и не известных. Более всего это книга — о времени, в котором жить нам довелось. Одних оно ломало, другие, пройдя через испытания, крепили в своих убеждениях.

Однажды мы летели с Василем Быковым в Англию. Слепящее заоблачное солнце в иллюминаторах, внизу, под нами, как снеговые горы, — облака. Выпили по рюмке, и я спросил его: «Хотел бы ты сейчас снова быть молодым?» — «Нет», — сказал он, сказал то, что и я думал. Тем, кто вернулся с войны, с той, Отечественной, дарована была вторая жизнь, потому первая часть этой книги, выходящая в серии издательства «Вагриус» «Мой 20 век», названа «Жизнь, подаренная дважды». Он мой, век 20-й, в нем вся моя жизнь. Век ослепительных научных открытий и небывалого нравственного одичания так называемых цивилизованных народов. И верилось, хотелось верить, что уж от этой напасти нам удалось уберечь грядущий век.

Он настал, Новый век. Не мне предрекать, что и как сложится в Новом веке. Я в нём уже гость недолгий.

ЖИЗНЬ,
ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ





НАЧАЛО

Из нынешнего дня в прошлое смотришь, как в перевернутый бинокль: все такое уменьшенное, а многое и не разобрать. Но вот вижу: зима, мороз, снежная улица. Пробежала, пофыркивая паром из ноздрей, позимнему лохматая лошаденка, мужик в санях в сене стоит на коленях, похлестывает вожжами. А вдоль домов, больше — деревянных, идет, оглядывается на себя в стекла... Да, это я иду. Кирзовые голенища только что выданных мне сапог полощутся на ногах, шинель перетянута ремнем, и там, под ремнем, больше складок суконных, чем меня самого. Зато ушанка набекрень. Старушка в платке шла навстречу, остановилась: «Господи, и таких уже берут...». И вытерла глаза варежкой. Это для меня тогдашнего — старушка, а была она чья-то мать. И когда читаю или слышу «Родина-мать», я вижу ее, а не ту, яростную с плаката времен войны: платок головной откинут на плечи, рука с растопыренной пятерней призывно взметнулась вверх — «Родина-мать зовет!». И всегда вижу мою мать. Она не провожала нас на фронт, ни Юру, старшего, ни меня: ее уже не было на свете. Но и сейчас, когда я почти вдвое старше ее, она для меня — мама.

Ей было двадцать восемь лет, когда родился Юра. Он был похож на нее и, значит, должен был быть счастливым. Я, родившийся через два года, лицом в отца, а называли меня так же, как звали деда. В двадцать втором году, за год до моего рождения, он зачем-то поехал в Москву и там был сбит машиной, хотя машин тогда в Москве было по пальцам перечесть, а шоферам такси, как рассказывают, шили кожаные куртки как людям редкой и опасной профессии. Но повезли деда не в больницу, а прежде всего в милицию, выяснять обстоятельства, и до больницы уже не довезли. Мне дали его имя, и я теперь как бы продлеваю его жизнь.

Мир был теплым, уютным и незыблемым, пока жива была мама. А как жила она, я не знаю, но, сопоставляя, могу о многом догадываться. Осталось в памяти (со слов родственников), что ее не хотели выдавать за моего будущего отца: приличная небедная семья, пятеро дочерей, сын, и вдруг — неведомо за кого. Никто в Воронеже не знал отца, он был здесь, как говорится, пришлый. И профессии у него надежной, в общем-то, не было, только хорошая голова на плечах. Но этого, сами понимаете, мало, чтобы отдать за него дочь с высшим образованием.

Как все в жизни, в этой нескончаемой цепи, протянувшейся к нам из неведомой дали и уходящей в еще более неведомое будущее, — как в ней все связано: по сути дела, решалось и то, о чем вовсе не думали — быть ли моим детям, моим внукам и внучке, или не быть. В этот момент решалось. И мама решила: быть. Она вышла замуж за отца, это отдалило ее от семьи. И сегодня взрослые мои дети, внуки, внучка, вряд ли улавливают эту связь времен, не догадываются, когда завязывались их жизни и что от этого зависело. Но это — по моей линии. А есть и линия моей жены. Там тоже все решало одно слово. Моя будущая теща была на шесть лет старше моего будущего тестя, и все могло не состояться: она была красавица с двумя длинными косами, а он даже ниже ее ростом. Но он стал перед ней на колени. Недавно мы говорили с Эллой, с моей женой, о нашей внучке, и жена вдруг сказала: «Как хорошо, что папа тогда стал на колени...». Мой отец никогда ни перед кем, ни перед чем на колени не способен был стать, а таких, кто не гнется, наша жизнь ломала. Потому недолго прожил он на свете, всего сорок лет, и моя мама много приняла с ним муки.

Но вот — зимний день. Мне пять или шесть лет, в доме натоплено, от кафельной печи пышет теплом, за окном мороз, и хорошо из тепла смотреть в

окно на белую от снега улицу. В легких, скользящих саночках проносятся извозчики, покрикивая: «Ей, ей!...». В простоте душевной я думал, что это они так божатся: «Ей, ей...». Но хотелось мне быть ломовым извозчиком. Летом в телегах, грохочущих по булыжнику, они едут с базара, и огромные битюги ступают впереди телег своими мохнатыми ногами. А извозчик в брезентовом фартуке сидит в телеге, свесив ноги, подергивает вожжами. Вот и я хочу так сидеть, свесив сапоги над колесом, подергивать ременными вожжами: «Нно-о!». Или зимой, когда от битюгов валит пар, повалиться боком в сено в санях. Я срочно зову маму: вот такого битюга вы мне купите, когда я вырасту... Даже во втором классе я все еще мечтал быть ломовым извозчиком, и мой одноклассник попользовался этим, за что я, впрочем, на него не в обиде: он пообещал мне добыть настоящий конский хвост, из которого я сплету волосяной кнут, потому что какой же ломовой извозчик без такого кнута? А пока что я относил ему все, что он требовал. Особенно жаль было мне отдавать мой молоток: я еще и плотником хотел быть. Запах свежего дерева, запах стружек — я мог часами стоять и смотреть, как вьется над рубанком смолистая стружка, кольцами катится под верстак. Но делать нечего, отдал и молоток. Наконец он повел меня в проходной двор, у поленицы дров сказал, озираясь: здесь! Мы чуть не до земли раскидали чьи-то дрова. Он честно работал со мной вместе. Тут нас заметили, с криками погнались за нами, но я еще долго верил, что он действительно спрятал там конский хвост, я просто не мог ему не верить.

Мне было одиннадцать лет, когда спасали челюскинцев, пассажиров и команду затертого во льдах парохода «Челюскин». Предварительно они сняли с дрейфующей льдины полярную станцию Отто Юльевича Шмидта, и вот теперь вместе поги-

бали: пароход тонул, они спешно выгружались на лед. Спасли их летчики. Ляпидевский, Леваневский, Водопьянов, Молоков, Каманин, Доронин, Слепнев — эти полузабытые ныне имена полярных летчиков гремели, их знали все. Для них, первых, ввели звание Героя Советского Союза. И многие мальчишки того времени мечтали стать полярными летчиками, я — в том числе. По радио пели величаво-протяжно: «Дрейфующей льдиной зате-ортый, отважный «Челюскин» погиб...». И о спасателях — поименно: «Там был Михаил Водопья-анов, Каманин, Доронин, Слепнев...». Это — по радио, телевидения еще не было. А по дворам — на мотив блатной «Мурки»: «Здравствуй, Ляпидевский, здравствуй, Леваневский, / Здравствуй, лагерь Шмидта, и прощай, / Вы-то потопили пароход «Челюскин», / А теперь кричите — вас спасай...».

Но что бы там ни пели по дворам, это был подвиг и всенародное торжество, сравнимое разве что со встречей Юрия Гагарина. Кинохроника запечатлела, как торжествовала Москва, как чествовали героев. Случайно ли это? Не так давно прошла коллективизация, следом — голодомор, когда на Украине, на Кубани, в центральных черноземных областях вымирали целыми деревнями, селами. Сколько погибло тогда людских жизней — бог весть, вряд ли это узнается когда-либо, но считают сейчас, что вымерло от голода не менее семи миллионов человек. А хлеб между тем везли за границу, покупали станки... После всего этого стране нужен был праздник, небывалое торжество, которое способно многое стереть из памяти.

Недавно я разговаривал с пожилым человеком, который в ту пору был ребенком, но ребенком одного из высокопоставленных людей, имевших прямое отношение к челюскинской эпопее. И он рассказывал, как его и еще нескольких мальчиков

повезли отдыхать в Форос и как на степных станциях стучались в вагоны опухшие от голода дети, а другие уже не могли идти, в последней надежде ползли к железной дороге.

В Форосе вкусно, хорошо кормили.

Ни в детстве, ни в школьные годы я не писал стихов, хотя многие мои сверстники переболели этим, как болеют корью в определенном возрасте. Впрочем, и в дальнейшем поэзия не потерпела от меня никакого ущерба. Наверное, я инстинктивно чувствовал то, что Толстой определил словами «идет мужик за сохой и приплясывает...». Но в пятом или в четвертом классе прочел я роман Степана Злобина «Салават Юлаев», и мне тоже захотелось написать что-то подобное. И написал: «Мы сидели у дороги и ели бешбармак». Ни у какой дороги я не сидел и что такое бешбармак, понятия не имел. На этой первой фразе все благополучно закончилось на многие годы. Но даже к слову «писатель» я относился как к чуду из чудес. У отца была большая библиотека, тяжелые тома: Шекспир, Шиллер, кожаные с золотом корешки, картинки, прикрытые тонкой полупрозрачной бумагой. Разумеется, были и в Воронеже писатели, давно когда-то были: Никитин, Кольцов (про Платонова, Мандельштама, Замятина слухом не слыхивали). Был в Воронеже даже Кольцовский сквер, и девиц, что там ошивались, называли «кольцовские», смысл этого — вполне определенный. А встретить живого писателя наяву для меня, наверное, было равносильно тому, что встретить живого Гоголя.

Французы говорят: коза шиплет траву там, где она привязана. Видимо, по этой причине дети нередко наследуют профессии отцов, даже не имея к тому большой склонности. В моей родословной, известной мне, как-то не проглядывается ни колышка, ни обрывка той привязи. Впрочем, это не

значит, что их нет. А вот рассказывать я любил. В то время ходили по рукам тоненькие бумажные книжки — не книжки, так, что-то подобное: яркие гляцевые обложки, на них изображено нечто злодейское. Прочел я их несметное множество и любил рассказывать ребятам во дворе и то, что прочел, и то, что по ходу рассказа придумывалось. Ребята просили, собравшись, да и меня самого просто распирало. Но вот на фронте этого желания у меня не стало, разве что в долгой обороне или когда отведут в тыл и случится хорошее застолье. Свидетельство тому — фотография нашего комбата Филиппова, подаренная на память, надпись на ней, где среди прочего он упомянул: «...и твои смешные рассказы». Значит — было. Нас тогда отвели с фронта, стояли мы в деревне, в тылу: ремонтировали тракторы, то есть из одного нашего трактора и трех-четырех брошенных после немецкой оккупации на дворе бывшей МТС (машинно-тракторной станции) собирали один годный. И шла через деревню санинструктор какого-то другого полка. А у нас банька истоплена, это же на фронте раз в жизни бывает, если бывает вообще. Самогону нагнали. Она тоже попарилась, жаловалась: голова болит. Болит не болит, комбат на это не посмотрел. И заразился от нее совсем не тем, чем случается заразиться в подобных обстоятельствах: заразился он сыпным тифом — первый и последний случай за всю войну в нашем полку. Его увезли в госпиталь, и больше мы его не видели. А фотография его у меня как свидетельство. Но все-таки больше я любил на фронте не рассказывать, а слушать. Самое сокровенное рассказывали перед боем, словно почувствовал человек, что бой этот для него последний. А может, и правда почувствовал. Мне случалось по виду, по лицу определить, что вот его нынче убьют. И сбывалось.

Отец мой, Яков Минаевич Фридман, происходил из бедной многодетной семьи, он рано ушел из дому, начав работать с двенадцати лет. Всему, что он умел и знал, он выучился сам. Но за сорок лет своей скоротечной жизни прочел несметное количество книг.

Вижу: вечер, отец ходит из угла в угол, насвистывает арию Каварадосси. Задумавшись, он всегда насвистывал эту арию. О чем он думал? Я был мал и глуп, не о чем ему было со мной разговаривать.

Отец умер, когда мне было десять лет, Юре — двенадцать. Мама, зубной врач, работала на конфетной фабрике в здравпункте. Слово это звучало тогда обычно, привычно: здравпункт. Что она там получала, можно себе представить. Но нам жилось хорошо и вольно: мама целый день на работе. Она приносила с фабрики подсолнуховые семечки, очищенные от шелухи, мы ели их горстями, угощали ребят во дворе. Приносила мутноватый кисель, им, помимо прямого назначения, хорошо было клеить танки из бумаги: тогда одолело нас повальное увлечение — играли в солдатики. Мне досталась японская армия: все хорошие армии — русская, английская, французская — были уже разобраны, и мне досталась японская. Но зато мои солдатики были меньше ростом, в них трудней было попасть из трубочки, и я выигрывал многие бои. И остался у меня в памяти с тех пор запах пеклеванного хлеба, такой только в Воронеже до войны пекли, больше нигде не встречал: круглые хлебы, верхняя корка, как обливная, разрежешь, а он ноздреватый, будто сыроватый чуть-чуть. И если вдруг с маслом да посолить...

Жили мы на Плехановской улице в шлакобетонном доме, он так и назывался: шлакобетонный. Маме от фабрики дали там комнату на втором этаже, над аркой; зимой пол в комнате был холодный,

помню это хорошо, потому что на полу мы с ребятами играли в солдатики. Прежде здесь помещалась какая-то контора; когда мы въехали, пахло окурками, чернильные пятна на полу, а стены на уровне спин сидящих людей затерты до черноты. Со временем мама решила сделать ремонт. Нанять маляра было дорого, и вдвоем с помощницей мама белила потолок, красила стены клеевой краской, выбегала на улицу вытрясать вещи, раздетая, потная, и простыла: стоял холодный ноябрь. Я вижу шею ее, худые ключицы, слышу, как она дышала. Рука мамина горячая поверх одеяла. Когда я заболел, она гладила меня по голове, по лицу, и все проходило. Мама сама поставила себе диагноз: воспаление легких. Потом — отек легких. Вот тогда впервые в жизни я молился: в темной кухне, стоя на коленях, прижавшись лбом к батарее парового отопления, на которой сосед сушил валенки. Мама сгорела за шесть дней. Нас взяли к себе ее сестры: Юру взяла Мария Григорьевна. У нее две дочери, младшая, Юдя, его ровесница. Меня взяла Берта Григорьевна. У нее тоже было двое детей: сын — старший, ровесник моего брата и тоже Юра, дочь — моя ровесница и тоже Юдя. В нашей когда-то многолюдной семье имена часто переходили по наследству, и сестры не случайно называли своих дочерей одним и тем же именем: так звали их рано умершую сестру — Юдя, Юдифь. В девятнадцатом году грипп «испанка» выкосил, как считают, двадцать пять миллионов человек. Она поехала менять вещи на хлеб и заболела этим гриппом.

ШКОЛА

Я еще застал в школе старых учителей. Антаева преподавала математику, она говорила мне: «Ты по математике успевать не будешь, я учила твою маму, она тоже у меня по математике не успевала...».

И действительно, контрольные работы я, как правило, списывал, чаще всего у моей одноклассницы. О ней мой рассказ «Надя» из серии невыдуманных рассказов, изменено только имя.

Спустя много лет после войны попал ко мне старинный альбом. На крепком коленкорovém переплете — тиснение: «Выпуск Воронежской Мариинской женской гимназии 1909—10 г. Фото — Ясвинь». Виды старого Воронежа, теперь его уже нет, он был разрушен в войну, как Сталинград. Здание гимназии. Благородный директор с бородой, похожий скорее на директора банка. Учителя. Антаева среди них. А имени-отчества ее не помню. В овальных рамках — фотографии выпускниц: Никитина, Небольсина, Скрыбина, Филиппова, Егорова. А вот фамилии, которые я никогда больше не встречал: Адливанкина, Сацердотова, Ободынская. И — фотография моей мамы. Такой она была в девичестве, когда окончила гимназию: стоячий с белым кружевом воротничок, черный бант на затылке. А впереди — вся неведомая, непредсказуемая жизнь. И в эту неведомую жизнь, в XX век, напутствие вытиснено на обложке альбома: «Благодатна всякая буря душе молодой. Зреет и крепнет душа под грозой». Могли ли они предвидеть, какие бури грядут, что зреет? Старое доброе мирное время... Так говорили в Воронеже о том минувшем времени — до всех войн, до революции. Шкуро, Буденный. Белые, красные. Воронеж переходил из рук в руки. Когда кто-то с кем-то сражается, несчастней, беззащитней всех мирные жители, обыватели. «Белые придут — грабят, красные придут — то же самое...». Да если б только грабили. А то и жизнь выдернут вместе с потрохами, голову смахнут с плеч и не оглянутся. На войне нет хороших, кто был хорошим, озверел: такое это зверское дело. Он курицы зарезать не может, сердце доброе, а человека убить для него ничто. Но

нам, мальчишкам, все мнилось скакать, махать шашкой, Чапаев в бурке за плечами скакал перед глазами у нас. Об одном жалели: опоздали родиться, все главное уже совершено до нас. И это каким-то странным образом уживалось с тем, что я любил Чехова, Шолом-Алейхема, прочел и как будто понял «Преступление и наказание». Но самой любимой моей книгой, самой дорогой для меня был «Хаджи Мурат» Толстого: синий с серебром переплет, запах коленкора, не помню, сколько раз перечитывал ее. Книгу эту подарили мне ко дню рождения, когда еще мама была жива.

Есть у Чехова рассказ «Сирена». После заседания судьи собрались в совещательной комнате, закончить дела да и ехать домой обедать. И тут, в предвкушении, секретарь суда начинает рассказывать, что и как следует есть и чем после первой рюмки закусывать. И, побросав дела, все разъехались по домам. Вот так однажды после уроков (а учились мы во вторую смену) я испытал «силу слова». Шли мы вечером гурьбой по Воронежу, то одного проводим, потом он провожает нас, проводим другого, опять он всех провожает, и никак не можем расстаться. А мне надо домой, да и есть хочется. Тогда я начал рассказывать про блины. И произошло то же самое, что в рассказе «Сирена». Я еще удерживал, торжествуя: обождите, я недосказал!.. Разбежались все.

БАБИЧЕВ

В нашем шестом классе «Б» был рыхлый, чем-то тяжело больной мальчик Бабичев. В этом возрасте не сочувствуют больным и слабым, образец для подражания — смелые, идеал — сильные. Когда мы гоняли мяч по полю, Бабичев стоял за воротами, издали дрыгал ногой и тоже кричал «мазила!». Если случилось вратарю пропустить мяч, Бабичева гнали от штанги, словно он приносил несчастье. И уже была

в классе девочка, которая ему нравилась, она стыдилась его, избегала, чтобы над ней не смеялись тоже. И вдруг стало известно: Бабичев умер, мы все поедем хоронить его.

То, что умер именно Бабичев, никого не удивило: он и так постоянно отсутствовал. И даже фактом своей смерти как бы утверждал наше бессмертие, потому что он был не такой, как мы, он был больной и постоянно болел, а мы здоровые.

На следующий день во двор школы въехало два грузовика с красными и черными полотнищами по бортам и скамейками поперек кузова. Первым погрузился духовой оркестр. У нас в школе оркестр поголовно состоял из двоечников и второгодников. Обычно задолго до праздника их освобождали от занятий, и они, гордые своей исключительностью, сидели под лестницей и дули в трубы. И теперь, едва разместившись в грузовике, начали разноголосно и не в лад дуть в трубы и вытряхивать из мундштуков слюну. А девчонки сидели на скамейках в обнимку с букетами цветов.

Почему-то мы долго не выезжали со двора, и из всех классов смотрели на нас из окон. Все учились, только мы не учились: у нас умер мальчик, мы едем его хоронить. Наконец выехали. И когда мы мчались на грузовиках по городу, нам хотелось громко петь пионерские песни, но петь было нельзя, потому что по бортам протянуты траурные полотнища и прохожие оборачивались, а на остановках сочувственно смотрели на нас из окон трамваев. Мы сидели торжественные и грустные.

Потом, растянувшись, мы медленно шли за нашим оркестром по краю неогороженного кладбища среди берез, все в белых рубашках и пионерских галстуках, как на Первомайской демонстрации. В поле было яркое солнце и дул сухой ветер, отдувая к плечу концы наших красных галстуков, красных

потому, что «кровь рабочих и крестьян». В задних рядах не было слышно оркестра, только звякали медные тарелки и бухал барабан. Весь откинувшись, барабанщик с огромным барабаном на животе взмахивал колотушкой, но звук опаздывал, он раздавался, когда колотушка уже отскакивала от барабана. А я шел, волновался и шептал про себя. Классная руководительница поручила мне произнести речь, мне надо было сказать, что сегодня мы хороним нашего товарища Сережу Бабичева (оказывается, его звали Сережей), которого мы любили. Надо было сказать, что болезнь помешала ему быть активным, но он всегда, когда только мог... Я боялся забыть, перепутать слова.

Классная руководительница поставила меня рядом с собой и каждый раз, когда по списку должны были вызвать очередного оратора, она тревожно подталкивала меня вперед, наклонясь, показывала, как и куда мне взойти, как стать, к кому повернуться лицом. Наконец директор школы вызвала меня: «А сейчас от шестого «Б» класса скажет...» — и посмотрела на меня предупреждающе-строго. Из-под ног у меня осыпалась глина, и, помню, я глянул вниз, куда катились комья. А на другой стороне, на такой же свежей насыпи, стоял гроб, под который уже проде-ты были веревки.

Стараясь не смотреть туда, но боковым зрением все-таки видя, я говорил громким на ветру голосом, классная руководительница удовлетворенно кивала. Ждали под сосной оркестранты, сложив и поставив трубы на землю. Над нами была тень, и над ними была круглая тень, а в поле на солнце текли и текли вдаль волны хлебов. Вдруг я услышал тонкий собачий вой. За гробом стояла на коленях старая женщина в черном платке и кланялась, кланялась гробу и выла; ее подымали под руки. А в гробу, не похожий на себя, желтолицый и строгий, с черно-

той под глазами, с лиловыми пятнами от шеи к ушам, лежал маленький взрослый человек в пиджаке, причесанный как на службу. Восковые руки его были сложены спокойно на твердом, торчащем вверх животе.

И тут что-то произошло со мной, я сам не знаю, как все это получилось. У меня вдруг задрожало в горле, я завсхлипывал и позорно при всех расплакался, говорил и глотал слезы. Я боялся потом взглянуть на ребят, а классная руководительница сказала, что я испортил все впечатление, если б она знала, если б она только могла предположить...

Когда мы возвращались с кладбища, отец Бабичева обнял меня за плечи и вел так рядом с собой и говорил:

— Неудачный он был у нас, что сделаешь?.. Ничего теперь не сделаешь... С самого рождения знали... Все учился, старался от вас не отстать, а мы знали...

Я неловко чувствовал себя под его рукой, тяжело и горячо лежавшей на моих плечах. Старое, сощуренное его лицо будто улыбалось, будто он извинялся перед нами за что-то. Он начал рассказывать про Первую мировую войну, на которой был солдатом, про то, как во время войны был в Румынии. И умолкал, надолго забываясь, а я не решался снять с себя его руку. Перестав бояться, ребята окружили нас, он шел, выше всех ростом, ласковыми, грустными глазами смотрел на нас, ровесников его сына.

— Бедно они там живут, в Румынии... Крестьяне у них совсем бедные...

И вздыхал.

Мы набились в машины, расселись на скамейках, ждали, когда наконец тронемся, а они стояли внизу, старые оба, провожали нас от ворот кладбища, как от своих собственных ворот. И опять мы мчались по городу, все смотрели на нас, мы это ви-

дели, и нам хотелось мчаться. Нас было два полных грузовика — шестой класс «Б» и школьный оркестр, — а до Второй мировой войны и до нашей Отечественной, к которой мы все подрастали, и второгодники, и отличники, оставалось уже немного. Я и сейчас вижу эти два грузовика, мчащихся по городу, полные ребят, гордых тем, что люди смотрят, как они возвращаются с похорон. Никому не дано в начале жизни заглянуть в ее конец, и хорошо, что не дано, не надо знать свою судьбу.

Бабичев умер отдельной от всех смертью, это была первая смерть в нашем классе, а класс тогда означал больше, чем поколение, такими категориями мы еще не мыслили. Потом началась война и длилась долго, и как-то на четвертом году войны, ночью, в пыльных сапогах, в ремнях, в пилотке, со звездочками на погонах, сидел я со своими солдатами на бахче, старший над ними и очень молодой. И два румынских крестьянина в высоких бараньих шапках сидели с нами. Они что-то говорили и кивали своими шапками, и мы что-то говорили, и то один из них, то другой подкатывал ко мне по сухой земле арбуз, светлый ночью. Ничего мне не вспоминалось в тот момент: ни про Румынию, ни про румынских крестьян. По праву старшего я втыкал свой нож в арбуз, и он, треснув, разваливался на две сахарных половины. А за бахчой во тьме стояли наши пушки, которые мы тянули сюда по горам, где даже вьючные лошади оскользались; когда ветер дул с той стороны, наносило от тракторов запах керосина.

Шел сорок четвертый год двадцатого столетия, так богатого войнами. В этом столетии я прожил уже двадцать лет. Я не знал тогда и не мог знать, что из всего нашего класса, из тех ребят, что были призваны в армию или сами пошли на фронт, мне единственному суждено было живым вернуться с войны.

ДАЧА

Мне было четырнадцать лет, когда мне поручили снять дачу на лето. Как пришла такая мысль взрослым, не могу сказать, но мне дали деньги, чтобы я снял дачу и оставил задаток. И я поехал на поезде в Сосновку. Сосновка, Дубовка, Графская — все это под Воронежем. В Сосновке на песчаной почве росли корабельные сосны. В Дубовке — дубы. Но таких дубов, как под Задонском — нет, не раскидистых, а прямых, стройных, — таких я не видел нигде. В свое время Петр I строил здесь флот, за двести лет после него выросли новые леса, но было кому их проредить.

Самое интересное, что и хозяин дачи всерьез разговаривал со мной, показал две комнаты с террасой. «На террасе, возле конопляника...». Скольким поколениям диктовали этот пример по грамматике, и надо было не ошибиться, знать, где пишут два «р», где одно «н»... Мы обо всем договорились с хозяином, я оставил ему задаток. На станции, пока ждали поезда, мужчины стояли в очереди в буфет. Красное вино было разливное, у вина было два названия: белое и красное. Белое — водка. Я тоже стал в очередь, очень опасался, что буфетчица прогонит меня с позором. Но нет, налила мне полстакана красного вина, не прогнала. Я выпил, будто мне это дело привычное. Вино было кислое, радости я не испытал, но почувствовал себя взрослым: сделал дело и выпил как полагается.

Почему я помню, что было мне четырнадцать лет? Потому что в газетах в то время печатали сообщения о процессах, фамилии подсудимых, гневные отклики трудящихся, требовавших раздать гадину: был 37-й год. Но это шло мимо меня. Родителей у меня не было, от такого испытания судьба уберегла их.

Вот туда, на дачу, когда все съехали осенью, а я еще остался на день-два сторожить вещи, приехал ко мне мой старший брат Юра: наверное, пожалел меня, что я тут один. И зашел у нас разговор о процессах, об этих судилищах. Разница между нами была два года, но Юра был старше своих шестнадцати лет, он многое понимал. И попытался объяснить мне, что происходит. А я вдруг вспыхнул дозволенным гневом, гневом раба, я уже впитал это из отравленного воздуха, которым мы дышали:

— Случись война, ты на фронт не пойдешь. Такие, как ты, не идут умирать за родину.

Это — брату родному, единственному.

В Московском государственном университете, на историческом факультете, где он проучился всего один год, — мраморная доска, имена тех, кто погиб в Отечественную войну. Там его имя: Юрий Яковлевич Фридман. В мирное время его не взяли в армию, хотя после позорной финской войны хватали и калечного и увечного: кончил школу — будь добр. Но он почти не видел одним глазом, запойную страсть к чтению он унаследовал от отца и основательно испортил зрение. Началась Отечественная война, он пошел в ополчение, был командиром орудия, 75-миллиметрового французского орудия времен Первой мировой войны: ополченцев вооружали последним, что оставалось, на такую войну они шли фактически безоружными. Два или три письма получил я от него с фронта, в дальнейшем и они пропали вместе с полевой сумкой, когда меня ранило под Запорожьем, в ней я носил самое дорогое. С моим другом Димой Мансуровым мы хотели бежать к Юре на фронт, в его 975-й арtpолк: наш год еще не призывали. Я написал ему, спрашивал, где их искать? Он успел ответить, это было последнее его письмо, я получил его, когда Юры уже не было на свете. Он советовал нам идти в военное училище.

Он видел, что происходит на фронте, не хотел, чтобы и мы попали в страшную мясорубку первых месяцев войны, оттуда он спасал меня.

Только через сорок лет после войны я узнал, как погиб мой брат. Журналист «Известий» Элла Максимова собирала сведения об ополченцах, о московских студентах. Она узнала о человеке, который был с Юрой в одном полку, написала о нем, и мы с этим человеком встретились у меня дома. 1985-й год, ему шестьдесят четыре года. Столько было бы и Юре. Они вместе выходили из окружения, октябрь месяц сорок первого года. Вброд перешли реку Угру, сосредоточились в лесу. Надо было узнать, есть ли немцы в ближней деревне. Юра, а с ним еще один ополченец, тоже студент, вызвались пойти на разведку. Вот так они погибли. А остальные ночью вышли к своим. Человек, рассказавший мне это, с тех пор больше не воевал.

Немногим больше знаю я о моем двоюродном брате, о Юре Зелкинде, им обоим посвящена первая моя повесть о войне «Южнее главного удара». Он был студентом философского факультета ИФЛИ (Института философии, литературы, истории). Этот институт в свое время закончил Твардовский, многие известные люди были его выпускниками. После войны ИФЛИ был закрыт.

Юра Зелкинд носил ботинки тридцать седьмого размера. В августе 41-го года он вернулся в Воронеж: на дальних подступах к Москве они рыли окопы, противотанковые рвы... Спина его по позвоночнику, вся поясница были изъедены вшами. Семья врача. Связи в этом мире. Но он сказал: «Мама, мои товарищи идут на фронт». И мать не стала удерживать его, потом она простить себе не могла, что не удержала его, я слышал, как она однажды сказала: он женщины еще не целовал ни разу. В мае 42-го года я писал ему с Северо-Западного фронта: ваш

фронт наступает, скоро и мы... А его уже не было в живых. В мае 42-го по приказу Сталина началось наше губительное наступление на Харьков, оно открыло немцам дорогу на Сталинград. Здесь, на юге, немцы сами изготовились к решающему наступлению на Волгу и на Кавказ, сосредоточили огромные силы, Жуков предупреждал об этом заранее, но Сталин, великий наш стратег, боялся нового наступления на Москву и приказал нанести здесь отвлекающий удар. И немцы, удерживая фланги, пропустили наши войска узким фронтом почти до Харькова: туда, в мешок. Когда явственно нависла угроза окружения, Хрушев звонил с фронта, еще можно было спасти положение, отойти, но Сталин не подошел к телефону, он своих решений не менял. И кольцо окружения замкнулось. Сообщали тогда, что осталось в окружении девяносто тысяч человек, но было там гораздо больше. Первый Краснознаменный стрелковый полк, в котором служил Юра, из окружения вырвался. Но их снова бросили в атаку, встречно прорывать кольцо. В атаке Юра был убит. Его однополчанин видел это и в дальнейшем рассказал матери.

И вот — совпадение: в октябре 43-го года, в ночь перед наступлением на Запорожье, сидим мы в землянке командира роты. И вдруг узнаю, что это тот самый стрелковый полк, в котором служил мой двоюродный брат, но только теперь он называется по-другому: под Харьковом они потеряли знамя в бою, и полк был расформирован и переименован. Командир роты здесь недавно, он только что из госпиталя, но начальник штаба их батальона был тогда под Харьковом, он мог знать Юру, что-то бы рассказал. Однако на следующий день меня тяжело ранило.

Ни у одного из моих братьев, павших смертью храбрых, ни у родного, ни у двоюродного, нет могилы. Как нет могил у тысяч и тысяч, у миллионов, отдавших свою жизнь за родину. «Конец войне, да помянут

живые великих мертвецов моей страны...». Не помнят, забыли, от Волги, от Москвы до самых границ и дальше остались они, непохороненные. Народ, который способен забыть тех, кому обязан жизнью своей и будущим, обречен на многие бедствия.

ГОД 1939-Й

В этом, в 39-м году, меня на месяц отправили в Москву к младшей тетке, к Фриде Григорьевне, она была похожа лицом на мою маму. Профессия у нее была не часто встречающаяся тогда: стенографистка. Ее приглашали на разные высокие совещания, однажды на таком совещании присутствовал Сталин. От нее я впервые услышал слова: «наркомат», «местком», но представлялось мне по звучанию слов совсем не то, что они означали.

В ту пору (я говорю о начале 30-х годов) еще живы были отец и мама, и с нами вместе, в Москве, на Донской улице, жила Фрида, молодая, незамужняя, очень я ее любил. Она вышла замуж, в тридцать восьмом году мужа ее, бухгалтера, арестовали, срок — десять лет. В огромной общей квартире в Обыденском переулке ее, жену «врага народа», сразу переселили в самую крохотную, пяти- или шестиметровую комнатку, и маленький ее сын засыпал под стук пишущей машинки, а она многие годы спала по три, по четыре часа в сутки, но все десять лет посылала мужу посылки. Любви между ними, как я понимаю, не было, но была порядочность, был долг. После войны его выпустили, а вскоре вновь забрали: всех, отбывших десятилетние срока и выживших, везли домучивать. И вновь — посылки, вновь — ночи напролет за пишущей машинкой, а во время войны, в эвакуации, зимой, не миновал ее и лесоповал. Но какой это был добрый, кроткий человек. Она же и предложила, чтобы меня прислали на месяц в Москву, мол, сирота. Это при ее-то положе-

нии. Правда, жил в Москве еще мой дядя, по-домашнему — дядя Мотя: Макс Григорьевич Кантор. Он занимал какую-то ответственную должность на заводе, работал очень много. Своей семьи у него не было, а была многолетняя любовь с замужней женщиной, с Юлией Федоровной, ее муж знал об этом. Тем не менее из семьи она не уходила, не могла: была взрослая дочь, Евгения, Женя, с мужским характером и мужской по тому времени профессией — авиационный инженер-конструктор в каком-то КБ. Кстати, квартиру на Беговой улице, где они жили, дали именно ей, Жене: что-то четыре или пять комнат. Вот Женя ненавидела Макса Григорьевича, и в общем-то ее можно понять. Но не судите да не судимы будете, жизнь сложна. Женя пять раз выходила замуж, разменяла эту великолепную квартиру, разводясь с третьим мужем, а потом он же стал ее пятым мужем и вновь переехал к ней.

Юлия Федоровна была сдержанный, исключительно порядочный человек, все у нас в семье, все Мотины сестры любили ее. Помню ее уже седой, волосы на голове аккуратно уложены, белая выстроченная кофточка, высокий воротничок, черный шнурок-бантик. В 43-м году, после Северо-Западного фронта, после артиллерийского училища, ехал я на Юго-Западный фронт через Москву и одну ночь ночевал у Юлии Федоровны. И это ощущение чистоты, тишины, несмятых, выглаженных для меня простынь, милое ее лицо с поседевшими бровями — долго мне это вспоминалось. А засыпая в ту ночь в чистоте и в тепле, я видел при свете луны из окна огромный до потолка и во всю стену буфет темного дуба с массивными накладными серебряными петлями.

Но это все — позже, до этого надо было целую жизнь прожить. А пока что школьником отправили меня на месяц в Москву, и я попал в страну чудес: метро, поразившая меня станция «Маяков-

ская»; задрал голову, я стоял и смотрел на самолеты, мозаикой выложенные на потолке. Какими устаревшими, неподвижными выглядят они сегодня. Красная площадь. Сельскохозяйственная выставка. Тут видел я все, что у нас будет, а пока что выставлено в Москве. Породистые быки величиной чуть не со слона, коровы-рекордистки. А ткани какие, кожа неимоверной красоты, а какие машины, станки... В Воронеже мы в четыре, в пять утра становились в очередь за дешевыми конфетами-подушечками, сахара в продаже не было, хотя Курская, Воронежская, Орловская — это те области Центрального Черноземья, где сажали сахарную свеклу. Мы выстаивали очередь за сливочным маслом, давали его в руки по 400 граммов, номер очереди писали чернильным карандашом на ладони.

Повез меня дядя и в Тушино на праздник авиации 18 августа. Тысячи людей, сидя на земле под жарким солнцем, смотрели в небо, а самолеты кружили, переворачивались, делали мертвые петли, пронеслись быстрее мысли, наполняя всех нас гордостью. И никто не подозревал, что в это время уже идут тайные переговоры с вождями фашистской Германии, решаются судьбы нас всех, стрелки часов уже переведены и целые страны разрезают по карте, как пирог. А мы такие веселые ехали с праздника.

Как-то раз дядя попросил подождать его на улице, а сам зашел в учреждение. Люди стояли у газетной витрины. Я тоже подошел. Газета «Правда». Фотография: Молотов и Риббентроп. Сталин в белом кителе. Рядом. Люди смотрели, читали сообщение молча. Молча отходили, как бы не видя друг друга. В дальнейшем, в марте 40-го года, Риббентроп скажет министру иностранных дел Италии Чиано: «Я чувствовал себя в Кремле словно среди старых партийных товарищей». Но все это и узнается, и понимать начнем много позже.

А в тот вечер, раздевшись, а я уже лег, дядя сидел на кровати, босые ноги в тапочках — на полу, свет потушен. Двумя руками взял он складку на животе и, держа ее вот так, сказал: «Думаешь, это хорошо? Нет, это совсем не хорошо...». Он не о складке на животе говорил, он говорил о приезде Риббентропа в Москву и обо всем, что с этим связано, но и это я понял много позже. И еще он сказал: «А Кагановича — ты заметил? — не пригласили на переговоры». Это я заметил. Каганович — еврей, Риббентроп — фашист, мы уже не с позиции силы, даже не на равных вели переговоры, мы подлаживались, играли по их правилам.

Дядя был человек суеверный. Уходя из дома, стоя уже в дверях, он говорил непременно: «Будьте здоровы, до свиданья, всего хорошего». И ждал, пока ему ответят: «Будь здоров, до свиданья, всего хорошего». Без этого он уйти не мог. В 41-м году было ему уже около сорока пяти, на заводе, как я говорил, он занимал солидное положение, за ним заезжала машина, в то время это значило многое. Надо полагать, была у него бронь. Но в первые дни войны он пошел в ополчение, они были в одной дивизии с моим Юрой: Юра — в артиллерийском полку, Макс — в стрелковом полку, санитар. Я не знаю, как он погиб, ничего больше не знаю о нем. Да, был особый нравственный климат в те месяцы 41-го года, когда над страной, над всем народом нависла угроза гибели. И кто-то бежал из Москвы, а кто-то, все бросив, шел защищать ее.

После войны я случайно нашел у родственников стеклянный негатив с отколотым уголком. Отпечатал. В белых летних брюках, в белой рубашке, холеный, крупный, сложив руки на груди, Макс Григорьевич Кантор сидит на краю цементного фонтана, нога в белой парусиновой туфле — на весу, лицо загорелое, курчавые волосы с сединой...

ТЕХНИКУМ

В школе у меня было два друга: Алик Небольсин и Дима Мансуров. Димка. И вот в девятом классе, когда нас приходили настойчиво агитировать в военные училища и уговорили одного, Семькина, он пошел в училище связи, Алик вдруг узнает: можно поступить сразу на второй курс авиационного техникума. Два года учебы, и ты — техник, самостоятельный человек. И работать будем здесь же, в Воронеже, на 18-м заводе, на левом берегу реки.

Мои дядя и тетя, у которых я жил, ни в чем не отличали меня от своих детей, и двоюродная сестра, моя ровесница, не просто была мне как родная, а стала родной. И все же мне хотелось скорей быть самостоятельным. Я относительно неплохо рисовал, мог бы по клеткам рисовать портреты вождей к праздникам. Но кто доверит мальчишке такое не просто ответственное — политическое дело? Я писал плакаты на кумаче, в поликлиниках, в учреждениях давали мне разрисовывать стенгазеты, писать лозунги, делал я это легко, а вот приходиться, просить было тяжело, стыдно, вроде — побираюсь. Но, в общем, зарабатывал какую-то мелочь. Разумеется, семья не бедствовала, то, что мне удавалось заработать, в семейном бюджете не играло никакой роли, но мне самому это было важно. Вот говорю: «не бедствовали». Это — так. Но когда купили дяде шубу с каракулевым воротником, это стало в семье событием. Как раз в то время отдали или продали Китаю КВЖД — Китайско-Восточную железную дорогу. И служащие, кавежединцы, так их называли, приехали на родину, в Советский Союз, в том числе — в Воронеж. Несчастные люди, вскоре их объявят шпионами, врагами народа. Один из них продавал почти новую черную ратиновую шубу с черным каракулевым воротником. Ее купил дядя.

Это было чудо, а не шуба, такого мягкого на ощупь, толстого, выделанного в елочку ратина я еще не видел, я и слова такого не знал. На моей памяти это была самая значительная покупка в семье.

Так вот, Алик узнал, что можно поступить в авиатехникум, и мы вдвоем с ним поступили. Сразу — на второй курс, в самолето-монтажную группу. И странное дело, математика, которую я терпеть не мог в школе, стала мне интересна: и интегральные, и дифференциальные исчисления. А стипендия была семьдесят пять рублей. Что они значили? Мои первые часы, за которыми я многие сутки выстаивал очередь в магазин (хотелось наручные, с решеткой поверх стекла, такие у нас в классе носил Копытин и во время урока то и дело любовался ими, но мне достались карманные, толстые), так вот они, эти часы, стоили как раз семьдесят пять рублей. Килограмм сливочного масла (только его не продавали килограммами) стоил двадцать четыре рубля. На стипендию худо-бедно жить можно было.

С Димкой Мансуровым, хотя я уходил из школы, мы расставались не навек. Помню, пошли в баню и потом много часов ходили по Воронежу, строили планы, как будем жить дальше. И придумали вот что: я закончу авиатехникум, пойду работать на завод и буду помогать ему, пока он будет учиться в институте. Потом пойду в институт я, а он тогда будет помогать мне. Одним словом, программу разработали на много лет вперед. А до войны оставалось два года.

Воронежский авиатехникум я всегда вспоминаю с теплом в душе. Помещался он в красном кирпичном здании бывшего Благородного дворянского собрания. Учиться было интересно, давалось мне все легко, в том числе — слесарное дело. Самое первое задание — сделать чугунный утюг. Шершавая отливка, ручкой вниз зажимаешь ее в тисках и

зубилом срубаете поверхность, ту самую, которой будут гладить. Зубило — в левой руке, молоток — в правой, не тюкай потихоньку, прицеливаясь, а со всего маха бей, не глядя, как слесаря бьют: взблеснет молоток за плечом — удар, взблеснет — удар. Пока освоил это, не раз сбивал кожу на суставах, хорошо еще суставы не раздробил. Потом — напильником. Потом — пришабрить. Двадцать пять точек требовалось на квадратном сантиметре, не меньше, и гладкой, зеркальной становилась поверхность утюга. В дальнейшем делали мы плоскогубцы, кронциркули, штангенциркули, а для себя, тайно, — ножи. Отпустишь старый напильник, то есть раскалишь его на огне и дашь остынуть, металл становится мягким, удобным в обработке. Я и выгибал их, почему-то нравились мне кривые кинжалы, обоюдоострые. Когда потом снова закалишь металл в воде или в масле, остры они становились, как бритва. Я и побрился впервые в жизни самодельным кинжалом, сбрил раньше времени пушок на щеках.

И все в авиатехникуме было хорошо, но появился у меня враг, Володька Киселев. Был он, если память мне не изменяет, лет на пять старше меня и даже, кажется, женат. Иной раз сидишь на лекции, он сзади, и затылком чувствуешь исходящую от него ненависть. Помимо всего прочего, мнил он себя артистом, оба мы — в драмкружке, близится что-то вроде соревнований, первый приз — 50 рублей. Но даже и этих пятидесяти дороже — ПЕРВЫЙ! В школе играл я однажды в пьесе Островского «Свои люди — сочтемся». Сначала меня позвали писать декорации, потом втянулся: Алик Небольсин — Подхалюзин, я — Рисположенский. Но в авиатехникуме это уже было дело принципа. Володька Киселев бледнел, когда ему говорили, что у него — талант, он — первый и первое место заранее — его, один из преподавателей репетировал с ним его роль.

Когда-то мой Юра читал в школе монолог Скупого рыцаря: в гриме, в костюме, сундуки с воображаемым золотом стояли на сцене. У меня сохранилась эта фотография. От него, от его одноклассников, я запоминал Пушкина наизусть: они, бывало, читают, а мне слышно в другой комнате, и запоминаю, как услышалось: «Так думал молодой повесарь, / Летя в пыли на почтовых, / Всевышней волей Изувеса / Наследник всех своих родных...». Кто такой Изувес, что означает повесарь? Я не понимал смысла этих слов, для меня что «повеса», что «повесарь» — никакой разницы. И не знал ничего про бога Зевса, страшно изумился, когда прочел: «Всевышней волею Зевеса...» А я уже так хорошо представил себе этого Изувеса.

Должен признаться, приходил я не только ради того, чтобы повидать Юру или послушать Пушкина: я был тайно влюблен в его одноклассницу, девочку с пепельными волосами и родинкой на щеке, в Иру Касиванову. В классе, где учились Юра и Юдя, было несколько детей обкомовских работников, все они в один день стали сиротами, не только их родителей арестовали, арестованы, как говорили, были даже шоферы. Это и ее судьба.

Вот так же точно, как «Евгения Онегина», я впервые услышал монолог Скупого рыцаря.

И вот — пустая сцена, нет ни грима, ни декораций, но полутьма обозначает подвал. Я вышел со свечой. Читаю, и внутренняя дрожь пробирает меня:

*Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою;
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится,
И добродетель и бессонный труд
Смирненно будут ждать моей награды.*

«Смиренно» я произнес препротивнейшим голосом, прямо-таки проблеял. Еще и пальцем указательным подрожал, тыча себе под ноги, в пол, где «смиренно будут ждать моей награды». Но дальше, после перечисления всего, что подвластно Скупому рыцарю, шли великие слова, значение которых вряд ли я тогда понял, но все же что-то и тогда почувствовал в них: «Я знаю мощь мою: с меня довольно / Се-го сознания...». Моего сознания с меня довольно. Мурашки шли у меня по лицу, когда я зажигал свечу. Зажег. Поставил на пол. Свеча упала. В зале не рассмеялись. Снова зажег. Опять свеча упала. Но не погасла. Я взял ее в руку. Рука дрожала. Дрожал огонь свечи у меня перед лицом. Я чувствовал в себе физическую немощь старика: все ему подвластно, а жизнь из него уходит. И даже голос откуда-то взялся старческий, дребезжащий. Я ушел со сцены обессиленный. Болела голова. Но первый приз был мой.

В дальнейшем пути наши с Володькой Киселевым разошлись: началась война, немцы подходили к Воронежу, авиатехникум эвакуировали в тыл, в Куйбышев, на Волгу. Я остался в Воронеже: хотелось на фронт.

Практику после второго курса мы проходили на 18-м авиационном заводе. Было лето 41-го года. Мы делали штурмовики «Ил-2». Но работать поставили меня не слесарем, а клепальщиком. В левой руке — металлический брусок: поддержка. Произносить полагалось с ударением на первом слоге: по́ддержка. В правой — пневматический молоток. И сажаешь заклепку за заклепкой: клепали крылья самолета. Кстати, в восьмидесятых годах, то есть сорок лет спустя, увидел я в Харькове, на авиационном заводе, ту же поддержку и тот же пневматический молоток, будто родных повстречал. И здесь, как мы когда-то, клепали ими в узкостях.

Самым трудным для меня в ночную смену было время между часом и двумя. Лечь бы куда-нибудь под станок и заснуть, слаще той мечты не было. И вот едешь утром трамваем с левого берега реки в город, клюешь носом. Входят женщины на остановке. Ну почему я должен уступать ей место? Она спала, а я работал. А сам уже стоишь.

И впервые на заводе жизнь вошла в противоречие с тем, что вдалбливали нам в школе. Увеличили норму, а расценки оставили прежними. По всем школьным понятиям рабочие должны были радоваться: они работают на себя, на свою страну, всем станет лучше. Это в капиталистических странах, где работают на капиталиста, рабочие недовольны, устраивают забастовки... Забастовки не было, но ходили хмурые, ворчали, высказываться вслух опасались. Для меня это было поразительное открытие. На два года, всего только на два года я был младше своего брата, но он многое понимал, я же был верующим, а верующий по природе слеп.

Но вот первые дни войны. Митинг на заводе. Директор завода Шенкман с трибуны в микрофон объявляет: с этого дня завод будет выпускать вдвое больше штурмовиков, их ждут на фронте. И — общее воодушевление, это принимают на ура.

ВОЙНА

Теперь и вспомнить стыдно, самому не верится, но мы обрадовались, когда услышали по радио: война. Люди плакали, какие лица были у людей! Даже сейчас, когда смотришь эти старые фотографии — люди под репродукторами слушают заикающуюся речь Молотова, — мороз пробивает по коже. А мы с Димкой Мансуровым, радостные, побежали в военкомат: вот оно пришло, наше время. Перед военкоматом толпился народ, пьяный цыган в хромовых сапогах с напуском стоял картинно, бил себя в грудь:

«Цыгане бьют в тэрц!...». Застряла в ушах эта фраза. Мы все же пробились к какому-то воинскому начальству, сейчас нас запишут, направят, пожмут руку на прощанье... Нас прогнали. Наш год еще не призывали в армию. Может быть, там, у границ, откуда откатывался фронт, там брали наших одногодков, но Воронеж далеко от фронта. И мысли такой не могло быть, что немцы придут сюда.

Вскоре начали передавать по радио воспоминания солдат Первой мировой войны, побывавших в плену у немцев. Один, помню, жаловался: свеклу пареную приходилось есть... После почти двухлетней дружбы с фашистами трудно было перенастраивать пропаганду на другой лад. Тогда, после приезда Риббентропа в Москву, сразу исчезли с экранов антифашистские фильмы: «Семья Оппенгейм», «Профессор Мамлок».

Решился бы Гитлер вторгнуться в Польшу, начать Вторую мировую войну, если бы мы не обеспечили ему тыл, не заключили с ним договор, по которому Западная Украина и Западная Белоруссия, Бессарабия отходили к нам, если бы, торговавшись, не благословили его, по сути дела? Что сейчас гадать... Первого сентября, в первый после каникул день, когда мы шли в школу, на Польшу обрушились бомбы, началась Вторая мировая война. Семнадцатого, вслед за немцами, вторглись в Польшу мы, начался так называемый освободительный поход. Помню, прочел в газете, как польский офицер с гранатой полз в хлебах подорвать наш танк, «извивался, как гадина, как змея». Нет, мне не хотелось, чтобы подорвали наш танк, но было что-то постыдное, злорадное, нечеловеческое, как писали про этого польского офицера, которого успели застрелить. Не случайно до сих пор помню.

Был у нас ламповый приемник ЭКЛ воронежского радиозавода, его потом отобрали, когда

началась война: у всех тогда отобрали приемники. А пока война шла в Европе. Вечерами горело окошко приемника, свист, треск, завывание: это чтобы мы не слышали слова правды про нашу войну с Финляндией. И громко на многих волнах раздавалась немецкая речь, немецкие победные марши. Что мы знали? Ничего мы не знали. Пропаганда наша, насквозь лживая, поддакивала Гитлеру в те дни, а люди душой были с побежденными французами, с англичанами, которых Luftwaffe бомбил еженощно на их островах, а они не сдавались, с ними мы связаны судьбой, а не с немцами, которые уже завоевали полмира. Это было народное чувство, народное понимание происходящего. Как забыть, что еще недавно добровольцы наши сражались против немецких, итальянских фашистов в Испании? И была подспудная уверенность, что войны с немцами не избежать, чего уж радоваться их победам? Не знали только, что самое тяжелое поражение мы уже потерпели: в 37-м году, когда Сталин фактически уничтожил Красную Армию. Цифры эти и факты сообщали не раз, но их надо помнить и знать, великая трагедия берет свое начало отсюда.

Из 5 маршалов арестовано и расстреляно было 3.

Из 2 армейских комиссаров (= генерал армии) арестован и расстрелян 1 (второй, Гамарник, застрелился, чтобы избежать ареста).

Из 4 командармов 1 ранга (= генерал армии) арестовано и расстреляно 3.

Из 2 флагманов флота 1 ранга (= адмирал флота) арестовано и расстреляно 2.

Из 12 командармов 2 ранга (= генерал-полковник) арестовано и расстреляно 12.

Из 2 флагманов флота 2 ранга (= адмирал) арестовано и расстреляно 2.

Из 6 флагманов 1 ранга (= вице-адмирал) арестовано и расстреляно 6.

Из 15 армейских комиссаров 2 ранга (= генерал-полковник) арестовано и расстреляно 15.

Из 67 командиров корпусов арестовано и расстреляно 60.

Из 28 корпусных комиссаров арестовано и расстреляно 25.

Из 199 командиров дивизий арестовано и расстреляно 136.

Из 397 комбригов арестовано и расстреляно 221.

Из 36 бригадных комиссаров арестовано и расстреляно 34.

В дальнейшем за четыре года войны мы не понесли таких потерь в высшем командном составе. А всего было арестовано, расстреляно, сидело в каторжных лагерях 43 тысячи офицеров и генералов, Красная Армия была обезглавлена, немцы знали это, знали, что восполнить такие потери невозможно.

С 20-го года все должности начальников штабов дивизий и выше в РККА были укомплектованы командирами, окончившими Академию Генерального штаба в царское или советское время. К 22 июня 1941 года только 7,1 процента командиров имели высшее образование.

Генерал армии С. Калинин был назначен командующим Сибирским военным округом. Он принимал дела от капитана: все строевые офицеры от майора и выше были посажены! Из четырех командующих армиями в Киевском особом военном округе двое не имели военного образования. В своих послевоенных воспоминаниях маршал С. С. Бирюзов рассказывает, как он в те самые тридцатые годы, окончив академию, получил назначение в 30-ю Иркутскую дивизию на должность начальника штаба.

К его прибытию эту должность исполнял старший лейтенант. И в кабинете комдива сидел тоже старший лейтенант. Все старшие офицеры дивизии были арестованы, командование дивизией вынуждены были принять на себя командиры рот.

Трагедия 41-го года была следствием страшного разгрома Красной Армии, который учинил Сталин в 37-м, 38-м и последующих годах. И никогда не счесть нам, сколько солдатских жизней пришлось положить, сколько пролито крови, чтобы на войне наши командиры выучились воевать, стали генералами, маршалами.

Говорят, первой пулей на войне убивают правду. Вот что сообщали нам первые сводки.

«Сводка Главного Командования Красной Армии за 22.VI.1941 года.

С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только на Гродненском и Кристынопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария, Стоянув и Цехановец (первые два в 15 км и последнее в 10 км от границы). Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, но всюду встретила решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов противника».

На следующий день уточнялось: «По уточненным данным за 22.VI. всего было сбито 76 самолетов противника, а не 65, как это указывалось в

сводке Главного Командования Красной Армии за 22.VI.41 г.». И мы радовались, что уничтожено не 65, а 76 самолетов противника, что «противник отбит с большими потерями», да как же не радоваться этим почти что победным сводкам. Еще не прочитывалось, сколько героического (а в большинстве своем это останется неизвестным) и какая трагедия уже обозначились между строк. Хотелось верить, верить. И откуда было знать, что уже уничтожены почти все наши самолеты, сосредоточенные на приграничных аэродромах, и это во многом определит ход первых месяцев войны. Начиная с 26 июня пойдут сводки «От Советского Информбюро». Их слушали, как слушали бы голос господ бога, если бы он раздавался из репродуктора.

Но вот появилось Луцкое направление: «На Луцком направлении в течение дня развернулось танковое сражение, в котором участвуют до 4000 танков с обеих сторон. Танковое сражение продолжается». Искали по карте: где ж этот Луцк? Далеко от границы... Но — радостный слух опережал события: наши разгромили немецкие танки. Теперь пойдут... И ждали, ждали, когда это появится в сводке. Мелькнуло еще раз Луцкое направление, Луцк, но как-то неопределенно, не про то, что ждут. Зато все больше места стали занимать сообщения о том, что красноармеец такой-то обнаружил группу немецких солдат. «15 солдат было уничтожено метким огнем отважного красноармейца». Что «крестьяне Западных областей Украины и Белоруссии с первых дней войны проявляют высокую бдительность». Что «недалеко от села N крестьяне задержали двух подозрительных людей». Это оказались разведчики банды немецких диверсантов. «32 диверсанта были убиты, остальные захвачены в плен». Что «за последнее время в занятых Германией странах патриоты значительно усилили свою борьбу против поработите-

лей». И — новые направления, новые города появлялись в сводках, все дальше, дальше от границы.

Вдруг — слух, пробудивший ярость, он сразу многое объяснил: изменил командующий Западным фронтом Павлов. Вместе с начальником штаба Климовских они бежали к немцам в автомобиле. Но наш танк догнал их на шоссе и расстрелял из орудия. Вот оно, оказывается, в чем дело.

Павлов был командиром танковой бригады в Испании, сражался смело, был удостоен звания Героя Советского Союза. В 40-м году его поставили командовать Западным Особым Военным Округом: на направление возможного главного удара. Именно здесь немцы сконцентрировали в дальнейшем основные силы, отсюда, прорвав фронт, развивали наступление на Москву. Почему на Западный Особый Военный Округ поставлен был Павлов? А некого больше было поставить после всех так называемых чисток, которые прошли в армии. До мая 37-го года этим округом (тогда он назывался Белорусский Военный Округ) командовал талантливейший наш полководец Уборевич. В 37-м году судим, расстрелян. Восемь полководцев проходили тогда по процессу: Тухачевский, Якир, Уборевич, Примаков, Фельдман, Корк, Эйдеман, Путна. Цвет нашего генералитета. Судей тоже было восемь: Буденный, Блюхер, Дыбенко, Белов, Каширин, Шапошников, Алкснис, Горячев. Судьи не надолго пережили тех, кого обрекали на смерть. Уцелели Буденный и Шапошников.

С 5 июня по февраль 38-го года Белорусским Военным Округом командует уже Белов, один из восьми судей, отправивших Уборевича на расстрел. Но недолгий ему был отмерен срок. С апреля 38-го года Белорусским, теперь уже Особым Военным Округом командует Ковалев. В июне 40-го года на Западный Особый Военный Округ поставлен Пав-

лов. Значение округа, это видно даже по названиям, все время повышалось, уровень командования понижался. Павлов был и остался хорошим командиром бригады, а его поставили командовать округом, то есть фронтом. В первые же дни войны он потерял связь, управление войсками, фактически не знал, что творится на фронте.

После стольких заверений с высоких трибун, сопровождавшихся бравыми песенными заявлениями: «И на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом...», «Встретим мы по-сталински врага!..» — требовалось объяснить народу, что происходит, нужна была жертва, виновник всех бед. Десять дней или целые две недели Сталин пребывал в страхе и полнейшей прострации; один из теперешних историков нашел тому объяснение: у него болело горло... Наконец «верные соратники», сами ни живы ни мертвы, явились к нему (в первый миг он решил — пришли арестовать) и вручили брошенные бразды правления, побудили действовать. И были отозваны с фронта генерал Павлов и его начальник штаба Климовских, обоих судили и расстреляли. ИЗМЕНА! Вот слово, которое объясняло народу все. Оно уже само зрело в народе.

А мы с Димой Мансуровым тем временем спешно проходили медицинскую комиссию в летную школу. Намечался сверхускоренный выпуск, набирали курсантов. Дима был шире меня в плечах, сильнее, но по зрению я прошел комиссию за него. Возвращаемся, чувствуя себя летчиками, идем по проспекту Революции, главной улице Воронежа (бывшая Большая Дворянская), сверху вниз поглядываем на все остальные рода войск, попадавшие навстречу. Зашли в сад ДК. Выстрел. Бежим туда. Еще выстрел. И вот запомнилось: на песчаной дорожке корчится человек, ноги ободраны, а от головы отстала кожа, но не лохмотьями, а как половинка

мяча, наполненная кровью. И там же, на дорожке, — огромная бурая туша медведя, вся сужающаяся к носу, от него — ручей крови. И милиционер с наганом в руке. Это он застрелил медведя.

Сверхускоренный выпуск летной школы не состоялся: возможно, кто-то все же сообразил, что при такой подготовке это будут не летчики, а смертники, как доверить им самолеты, которые все на счету? Однако вот еще на что можно было надеяться: в армию призывали девятнадцатилетних, но тех, кто окончил школу-десятилетку, призывали с восемнадцати лет. И я срочно экстерном начал сдавать экзамены за десятый класс, и учителя соглашались принять, все сдвинулось в жизни. Экзамен по химии принимала строгий наш директор школы Екатерина Николаевна Попова. Мы сидели на скамейке на проспекте Революции, напротив ресторана и гостиницы «Бристоль», на другой скамейке сидел Дима Мансуров, подсказывал мне, потом к нему подсел пьяный и очень веселился.

— Ты на себя посмотри! — негодовала Екатерина Николаевна. — Нет, ты посмотри на себя и на Мансурова! Мансуров идет, я понимаю, от него прок будет. А ты что идешь?

Но аттестат мне был выдан. А в армию нас опять не взяли: нам обоим было по семнадцать лет. И вот тогда мы решили бежать в полк к моему Юре. По нашим расчетам он находился где-то в районе Смоленска. Смоленск был уже взят немцами, но разнесся слух, опять же — слух, что наши отбили город. Мы пришли на вокзал брать билеты до Смоленска. Разумеется, нам их не дали, но дежурный по вокзалу завел нас к себе в комнату, внимательно выспрашивал, откуда нам известно, что наши войска взяли Смоленск. Он тоже хотел верить.

Уже уехал в эвакуацию авиатехникум, в тыл, на Волгу. Готовили к эвакуации 18-й завод. Фронт

приближался. Но впереди фронта, как хлопья сажи с пожарища, пригнало беженцев. Черные от солнца и пыли, иссохшие, они ехали в телегах под брезентовой крышей, шли пешком, кто в чем успел уйти, несли детей на руках, губы спекшиеся, а глаза... Страшно было глядеть в их глаза, они видели то, чего еще не видели мы. Впервые так явственно дохнуло войной.

Дядя мой, Давид Борисович Зелкинд, был уже призван в армию, шинель, узкие медицинские погоны на плечах: в Воронеже формировался армейский госпиталь. Он — на фронт, семья — в эвакуацию. Но оставалась надежда: под Воронежем Диминого отца назначили командиром полка связи, который тоже только еще формировался. И мы договорились так: Дима поедет к нему, попросит, чтобы нас взяли в полк, и до определенного часа сообщит мне. И он поехал, договорился, но была у него девушка, с ней и загулял он на радостях, а когда спохватился, мы уже уехали. Все это узнал от него потом, из письма. А после войны, когда Димы уже не было на свете, случайно узнал, что она вышла замуж. И далось ей это не просто: жених непременным условием ставил невинность невесты. Но нашли врача, и врач этот сумел убедить жениха, что в отдельных случаях так бывает, в медицине такие случаи описаны.

Среди ночи дядя посадил нас в проходивший через Воронеж санитарный поезд: врач, он поговорил с врачом, начальником поезда, и нас взяли. И вот — стыдный момент в моей жизни, который, может, и хочется забыть, да помню: в один из дней пошел я по вагонам, узнать у раненых, что на фронте, как там. Полки в три яруса, сверху свесилась стриженная голова, молодой парень, может, на год, может, на два старше меня. Смотрит. Я еще улыбнулся ему доброжелательно.

— А ты почему не на фронте? — сурово спросил оттуда, сверху.

Меня стыдом, как хлыстом, стегнуло.

— Вот еду призываться.

— Призываться... Игратья...

И что тут скажешь, как оправдаешься? Они — ранены, они отбыли свое, а я, здоровый парень, еду в тыл, подальше от войны.

На станции Верещагино тогдашней Молотовской области, то есть под Пермью, в глубоком тылу, выгребали из глубин России народ, спешно обучали, спешно формировали войско и гнали на фронт взамен кадровой армии, которой почти не осталось. Пройдут годы и годы, и станет известно, что в 41-м году в плен попало 3,9 миллиона советских бойцов и командиров всех рангов. К началу 42-го года в живых из них осталось 1,1 миллиона человек. Счет шел на миллионы, на сотни тысяч, а жизнь человеческая, чья-то судьба перестала что-либо значить.

И вот на вытоптанном снегу строятся роты, батальоны, станцию оглашают гудки паровозов, лязгает буферами порожняк, в домах плач, а из окрестных деревень по зимним дорогам санями, пешком спешат бабы с узелками, их уже облетела весть. Кто раньше успел, стоят плотным дышащим кольцом вокруг вокзала, вокруг площади — жены, невесты, сестры. Стоят матери и старики. А в середине плотного кольца строятся с оружием их сыновья, подвластные голосу командиров. И в такое время пробрался я к одному из командиров, попросил, чтобы меня тоже взяли с собой. Он взглянул обалделыми глазами:

— Что?!

А когда понял, про что речь, рывкнул таким офицерским голосом, что меня просто не стало.

ЖИЗНЬ. ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

Вскоре на станцию Верещагино прибыл вырвавшийся из окружения артиллерийский полк, вернее, то, что от него осталось. И странным было мне спокойствие этих людей: немцы уже подходили к Москве, а им как будто и ничто. Офицеры (тогда говорили: командиры) расселились по домам, вдовушки, бабы забегали за самогонкой, довольные-довольные, помолодевшие: праздник выпал посреди войны. Чтобы понять, надо было самому побыть на фронте, а я еще там не был. Они такое испытали, такое видели, что словами не расскажешь, и каждого из них впереди ждал фронт, кому сколько там отмерено, об этом лучше не загадывать: верное солдатское правило — ни на что не напрашиваться, ни от чего не отказываться, а выпало жить — живи, не паникуй.

Тем временем стали прибывать с заводов новые пушки и тракторы, во дворе военкомата толпились новобранцы, во всем домашнем, но уже наголо остриженные под шапками.

Я и теперь не понимаю, как пропустили меня к командиру полка, да еще в такой момент, когда у него находился представитель, приехавший из Москвы. Сильно худой от голода, в зимнем пальто, которое повисло на мне, я предстал перед ними. По прошествии многих лет могу свидетельствовать: это было жалкое зрелище. Надо полагать, командир полка видел, что ему предлагалось, но тем не менее терпеливо тихим голосом спрашивал меня:

— Вы буссоль знаете?

Представитель из Москвы, подполковник, в расстегнутом коротком белом полушубке, каких не хватало на фронте, в туго натянутых хромовых сапогах, курил, хмурил брови, ждал. Я не знал, что такое буссоль, ни разу в жизни ее не видел.

— Стереотрубу знаете?.. Телефонный аппарат?

Я понял: меня не возьмут. Тогда я дотронулся рукой до стола, за которым сидел командир полка, и сказал, что на фронте погиб мой старший брат и я хочу на фронт. Подполковник в полушубке, сидевший все так же нога на ногу боком к столу, скосил глаза на мою руку:

— На что он тебе нужен? Мы тебе знаешь каких мужиков пришлем? Какие еще паровозного гудка не слышали.

Он был начальство и старший по званию, а я, ничего не умевший, действительно не был нужен командиру полка. Но он коротко взглянул на меня и сказал тихим голосом (а в окружении он подымал полк в атаку на прорыв, сам шел впереди с пистолетом):

— Человек — это такой материал, из которого все можно лепить, тем более если он сам хочет.

Не знаю, содержится ли мудрость в этих словах, но они показались мне выражением высшей мудрости: в них была моя судьба. И я всю мою жизнь благодарен майору Миронову за то, что он взял меня в свой полк. Потом уж я узнал, что в полку я был самым молодым, хотя продолжалось это, конечно, недолго. Об этом и многом другом есть в моем невыдуманном рассказе «Как я потерял первенство». Он уже не раз был напечатан, когда я вдруг стал получать письма от однополчан из 387-го гаубичного полка, из нашей 34-й армии. «Читая военные произведения писателя Г. Я. Бакланова, мой друг по фронту М. А. Юдович и я обнаружили его маленький рассказик «Как я потерял первенство», из которого узнали, что Бакланов наш однополчанин», — писал из Ленинграда П. С. Ковальчук. Оказалось, создан музей полка, и там, собравшись, они читали рассказ вслух и плакали. В рассказе нет ничего, что заставляло бы плакать. Но они, пожилые люди, вспоминали себя, моло-

дось, наш Северо-Западный фронт, голодный и мокрый.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

Ночью на разбитой станции нас выгрузили из эшелона, и дальше, к фронту шли пешком. Голубая зимняя дорога, отвалы снега по бокам, ледяная луна в стылом зимнем небе, она светила нам с вышины и двигалась вместе с нами. Скрип-звон, скрип-звон сотен сапог по смерзшемуся снегу, пар от дыхания над головами людей, над завязанными ушанками, как над шлемами заиндевевшими. Впереди тракторы проволокли за собой волокуши, треугольником сбитые скобами тяжелые бревна, они раздвинули снега, расчистили дорогу, и мы шли по ней. Валенки не выдали, там дадут, шли в сапогах, мороз за 40 градусов. Каждому дали в дорогу по ржавому сухарю и по тонкому пластику замерзшей в лед колбасы. И я грел, грел его во рту, он источал мясной вкус, уже и слюнные железы ломило, а жаль было расстаться, проглотить.

Потом говорили, что за ночь мы прошли семьдесят километров, и так это осталось в памяти. Но этого не могло быть. Нормальный шаг пехоты с полной выкладкой — винтовка, малая саперная лопатка на боку, котелок, каска, вещмешок на горбу — четыре километра в час. Мы шли быстрее: в кирзовых сапогах мороз подгонял, шли так, что спине под вещмешком становилось жарко. Один раз объявили привал. То ли это была конюшня разбитая, без крыши, то ли какой-то сарай, из его же досок развели костер. Только я разулся, выдрал примерзшую портянку из сапога, распыл над огнем, вот уже пар от нее пошел — «Па-адъем! Выходи строиться!..». А у меня портянки сырые. «Товарищ старшина!..» — «Тебя что, война ждать будет?». И до того мне обидно стало, черт с вами, думаю, вот отморожу ноги, раз

так... Замотал я портянки сухим концом вовнутрь, мокрым в голенище. И снова скрип-звон, колышутся заиндевелые ушанки, пар над колонной, люди спят на ходу, глядишь, вдруг кто-то впереди пошел, пошел, заплетая ногами, рухнул в снег. Заснул. Его поднимают. И так и не отморозил я ноги, не отомстил старшине.

Северо-Западный фронт, прозванный еще и сенозаготовительным, был не главный фронт и потому после Ленинградского был, наверное, самый голодный. Но народу здесь положили, думаю, не меньше, чем в великих сражениях. Три армиями (1-я, 27-я и наша 34-я) мы окружили и держали в кольце 16-ю немецкую армию. И в каждой из трех наших армий говорили так: основные бои идут не у вас, поэтому продовольствие направляют в 34-ю армию. А нам, в 34-й, говорили, что все идет в 27-ю. А в 27-й, соответственно, говорили, что в 1-ю. Когда потом мы встретились в училище из всех трех армий, смеху хватило. И злиться не на кого.

Мы то замыкали кольцо вокруг 16-й немецкой армии, то она вновь прорывала его в районе «Фанерный завод. Рамушево» — так значилось на карте. А сколько раз брали мы станцию Лычково, уже и на путях, между разбитыми составами завязывался бой, вот-вот возьмем, наша!.. Нет, опять откатились назад. А то еще так придумали наши комиссары и очень этим гордились: раздать пехотинцам маленькие красные флажки, и кто первый вбежит, ворвется с этим флажком на белоборские высоты в районе деревни Белый Бор, тому, как пелось в старой казачьей песне, «честь и слава надлежит». И бежала пехота вверх по склону, какие ребята! Еще не выгребли, еще многолюдна была Россия. И оставались лежать на снегу, срезанные пулеметным огнем. И новые маршевые роты выгружались из эшелонов в Валдае, шли пешком к фронту, спешили... В 45-м,

в Берлине, тоже вот так раздавали флажки, и с ними — кто за пазухой, кто в руке — бежали на ступени рейхстага... Не оттуда ли, не с Северо-ли Западного фронта пошел этот почин?

А зима 41/42 года была лютая, морозы стояли за 40 градусов, водка замерзала, командиры носили пистолеты на груди под шинелью, под полушубком: смазка тоже замерзала. Да ведь и голодные, а голодному человеку холод страшней. На отдалении целой жизни вспомнишь вот так и сам себе удивишься: как выдерживали? «Что русскому здорово, то немцу — смерть» — это придумано теми, кто в тепле сидел, оттуда, из тепла, подбадривал. На нашем Северо-Западном фронте обмороженных привозили в медсанбаты больше даже, чем раненых.

В книгах военных историков, во многих мемуарах война выглядит осмысленной, упорядоченной, она совсем не та, что в грязи и крови шла на полях сражений. Лишний раз убедился в этом, перечитывая Лиддл Гарта, есть такой английский военный историк. Он пишет, в частности, о тех операциях, рядовым участником которых был я. И как они стройны, как они хорошо продуманы, как логично развивались. Хочется даже сказать — бескровно. А вот пишет маршал Жуков о боях под Берлином: «С 5 по 7 апреля очень активно, творчески прошли совещание и командная игра на картах и макете Берлина... Готовя операцию, все мы думали над тем, что еще предпринять, чтобы больше ошеломить и подавить противника. Так родилась идея ночной атаки с применением прожекторов. Решено было обрушить наш удар за два часа до рассвета. Сто сорок зенитных прожекторов должны были внезапно осветить позиции противника и объекты атаки. Во время подготовки операции ее участникам была показана эффективность действия прожекторов. Все единодушно высказались за их применение».

Красиво? Красиво. Стройно? Стройно.

Но в 42-м году я был рядовым участником такого наступления с прожекторами. Генерал Берзарин у Жукова под Берлином командовал 5-й Ударной армией. А ранее, на Северо-Западном фронте, он же, Берзарин, командовал нашей 34-й армией. И вот там, у нас, он впервые испытал наступление с прожекторами. Вот как это было.

В час ночи ударила «катюша», вспыхнули прожектора, ослепив деревню Ямник, где у немцев была сосредоточена артиллерия, по ней била и наша батарея. И грянул из репродукторов «Интернационал» над снежным полем. Танки (было их несколько штук, покрашенных для маскировки в белый цвет) двинулись, пехота пошла. Но разведка наша не знала, что у немцев вырыт противотанковый ров. В мороз его не выроешь, значит, проморгали. Танки дошли до рва, тут их один за другим подожгли. Пехота залегла, минометы бьют по ней, прожектора светят, репродукторы не враз смолкли, еще победно гремели над полем: вставай, проклятьем заклеянный... И правда, из штабов по проводам неслись проклятья: опять пехота залегла! А сколько раненых замерзло в снегу в ту ночь... Я видел войну с поля боя. Там она, повторяю, совсем другая. Как трава по весне прорастает сквозь опавшую мертвую листву, так будущие идеи полководцев прорастали сквозь кости солдат, павших на полях сражений. Вот так она давалась, наука побеждать. Я помню войну как страшное кровавое дело, которого не должно быть между людьми.

Северо-Западный фронт был не только голодный, он был мокрый и голодный. Вот — весна. Подпочвенные воды близко, землянку глубокую не выроешь, все хлюпает под ногой, бок, на котором заснул, сырой.

Когда после войны проходил я комиссию по инвалидности, кроме осколка в легком обнаружили, что начинался у меня туберкулез, видимо, там, на Северо-Западном фронте, но организм молодой, сам справился, заизвестковалась каверна. А в то же время, потому ли, что вся жизнь дана тебе на миг, нигде и никогда больше не видел я таких рассветов, таких закатов. Помню молодой лес, засохший в воде, деревья, как кость, стоят без коры, и над водой, над ними, мертвыми, восходит солнце. А горький дым костров, а запах махорочного дыма...

*Костры горели на снегу...
Мы их сооружали быстро —
Ведро газойля из канистры,
И, как деревья, шли танкисты
Погреться, покурить в кругу;
Друг друга подперев плечами,
Никто не заводил бесед, —
У каждого свое молчанье,
Свои слова, свой в лицах свет.*

*Костры горели на снегу...
Настало время мне признаться:
Ни мужество, ни долг солдатский
С тех пор забыть я не могу —
На черном фронтовом снегу
Круг человеческого братства.*

Это Сергей Орлов. За многих за нас сказал он эти слова: «Ни мужество, ни долг солдатский с тех пор забыть я не могу...».

А ведь я не верил, что меня убьют. Я и родным писал с фронта: «Знайте, меня не ранит, не убьет». До первого тяжелого ранения не верил. Но это было уже в сорок третьем году, после училища, на другом фронте. А здесь я едва не попал под трибунал. По глупости, разумеется, по молодости лет.

В какой-то мере об этом рассказано в повести «Навеки — девятнадцатилетние».

Дело было так: послали меня с донесением в штаб полка, в деревню Кипино. А там, на снегу, стоят вдоль улицы аэросани, моторы работают, от пропеллеров — вихрь: готовился десант в тыл к немцам. Я еще позавидовал этим ребятам. (Говорили потом, никто из этого десанта живым не вернулся). Но я позавидовал, и любопытно мне стало, что за аэросани, никогда еще этого чуда не видел. Подошел ближе. Ка-ак рубанет меня по локтю. Я аж задохнулся от боли. Пришел в штаб, отдал пакет, а сам толком ничего рассказать не могу. Врач полка глянул: «Повезло тебе!». И правда повезло. На мне шинель была, под шинелью — ватная телогрейка, гимнастерка. Да еще рубашка теплая. И задел меня пропеллер самым кончиком. Окажись я чуть ближе, отрубило бы руку.

До утра оставили меня в штабе, всю ночь просидел на лавке, тут уж не до сна. К утру раздуло локоть, как шар. И странно вдруг переменялось ко мне отношение: то сочувствовали, а то вдруг отстранились все. И услышал шепоток среди писарей: членовредительство...

Утром повели меня в СМЕРШ, что в расшифровке означало: смерть шпионам. Впрочем, тогда, если не ошибаюсь, назывался он — особый отдел, но суть от этого не менялась. Возглавлял его в нашем полку человек по фамилии Котовский. Две гильзы снарядных на столе, два плоских фитиля чадят. И оттуда, из-за них, из глубины глянул он на меня из-под лба, правда что из-под волчьего лба. Ох, как этот взгляд мне запомнился! Оказалось, должны были ввести к нему мародера, его он встречал этим взглядом, а ввели меня.

Сам ли на глаз определил он, что все-таки надо оставить меня жить, или что-то от командира полка слышал обо мне, знаю только, что не смог бы

я оправдаться: чем точней и правдивей рассказывал бы, как и что со мной случилось, тем больше это походило бы на ложь. А случаи членовредительства были на фронте: и через березу стреляли себе в руку, чтобы ожог не уличил, стреляли через хлеб, а то просто высунет руку из окопа и ждет, пока немец прострелит ее. Да и что одна человеческая жизнь значила, если потери на фронте составляли в среднем (а нас и считали даже не по головам, а в среднем) двадцать с лишним тысяч человек в день. И это — когда мы побеждали: в 44-м, в 45-м годах. Убитых из них — 5,2 тысячи. А в 41-м году мы ежедневно теряли на фронтах 24 тысячи человек, убитыми — 17 тысяч. Стоило Котовскому слово сказать, и прибавился бы к этим тысячам еще один, велика ли потеря? Мы никогда не узнаем, сколько по приговорам трибуналов, сколько без приговоров (дано же было право командирам стрелять бегущих на месте) было уничтожено, именно — уничтожено тех, кто рад был бы, если уж гибнуть, так за родину. За годы войны осуждено 994 тысячи человек: на расстрел, в штрафбаты и штрафные роты, в лагеря. Лежал в нашей палате, в госпитале, в Красном Лимане, командир взвода штрафной роты. С ними, говорил он, просто! В атаку они сами идут. Я — сзади. Чуть не то, стреляешь в спину. Вот такой простой, духовно здоровый парень, таких туда и подбирали.

Наверное, я все же под счастливой звездой родился. И светит она мне до сих пор.

В ноябре 42-го года, то есть без малого через год пребывания на фронте, отправили меня во 2-е Ленинградское артиллерийское училище, эвакуированное в Башкирию, в город Белорецк. До этого был набор в танковое училище, но командир батареи сказал: «Да ты гусеницу танка не подымешь!». Сказал как припечатал, а был он человек упертый, не сомневался ни в уме своем, ни в правоте — всегда

и на все случаи жизни. И на меня это почему-то подействовало, хотя вряд ли целый взвод, да еще под его командой, поднял бы гусеницу танка. Интересный он мужик был. Вот сойдутся в круг плясать, такое тоже случалось на батарее, он стоит, глядит свысока. И вдруг — душа разыграла — выйдет, да приотпнет ногой, да руками раскинет — вот сейчас пойдет в пляс!.. На этом все и заканчивалось, больше того он не умел: обтряхнет ладонь об ладонь, мол, сплясал бы, вас поучил, да что-то неохота... В артиллерийское училище направил меня, как мне кажется, командир полка, в то время уже не майор, а полковник Миронов: он сам в прошлом это училище окончил.

Ехали мы, богато снаряженные в путь. А причина тому простая: с нами ехал старшина батареи. Вот и голодный фронт, рассказывали, были даже случаи трупоедства: вытянут ночью с поля убитого, а у него уже ляжка отрезана. Но у старшины все было. И мы при нем в дороге горя не знали. Захотел ли он стать командиром (тогда еще не ввели ни погоны, ни офицерские звания) или, что более вероятно, надоело ему на фронте, решил устроить себе передышку, не могу сказать. Но пробыл он в училище недолго. Кормили тут по тыловой норме: жив будешь, но даже и во сне ничего грешного тебе не приснится. Концентраты, если удавалось добыть, суп какой-нибудь на свечном сале, грызли от плитки, как жмых: в животе, мол, само сварится. А если картошку пошлют перебирать, там же, в овощехранилище, как мыши, грызли ее сырую. Для чего ему такое удовольствие? Вместе с кем-то из нижних чинов, кто ведал на складе обмундированием, толкнули они на базаре несколько пар новых солдатских сапог, были пойманы и отчислены. Куда — не знаю. А родом он был из Самары, переименованной в ту пору в Куйбышев. Вот там, в Куйбышеве,

гуляли мы двое суток. Родная сестра нашего старшины работала на пивном заводе, мы ведрами носили оттуда пиво, осталось в памяти, что и пельмени варили, но это не возьмусь утверждать, самому себе не верится. А уж из Куйбышева, нигде больше не задерживаясь, двинулись напрямик в училище: продукты кончились, а если какие-то деньги и были при нас, так они ровным счетом ничего не значили.

Разумеется, знать мы не знали, да большинство нашего народа не знает это и до сих пор, что там, в Куйбышеве, в 42-м году был вырыт бункер для Сталина на тот случай, если немцы придут в Москву. Обычный дом на улице, обычный вход, да и лифт с виду совершенно обычный. А внизу, на глубине тридцати четырех метров под землей, окруженное металлическими тюбингами, свинцовой пятнадцатисантиметровой оболочкой да еще сплошным бетонным кольцом, стены которого наверху двухметровой, а в основании уже восьмиметровой толщины, устроено подобие кремлевского сталинского кабинета, кремлевского зала заседаний, паркетные полы, регенерация воздуха, запас воды. И ход отсюда, как рассказывают, под всей площадью аж на тот берег Волги. Теперь в бункер начали водить экскурсии.

УЧИЛИЩЕ

В училище и вообще в армии не любят слабых: слабых духом, слабых телом. Взять на походе у ослабевшего непосильную для него ношу, помочь донести — понятно. А если это офицер сделал, так уж не забудется. Только не у всякого офицера на это хватает ума, не говорю уж — сердца, не каждый рожден воспитателем, куда проще выставить солдата на позор.

Есть хрестоматийный пример: обходя ночью караулы, Наполеон увидел часового, заснувшего на

посту. В его власти была жизнь и смерть этого солдата. И все начальники, все низшие и высшие, кто стоял над этим солдатом и так его воспитал, могли быть преданы позору и поруганию, понижены в чинах... Что же сделал Наполеон? Поднял ружье уснувшего часового, стал вместо него на пост и стоял до тех пор, пока тот не проснулся. И тогда отдал ему ружье. Можно представить себе, какой всплеск чувств к императору вызвал этот его поступок.

Каждому народу, каждой нации нужны герои, примеры для подражания, нужны те, кто прославил их на века. И славя себя, Франция должна славить Наполеона. Но мне ближе то, что написано об этом человеке Львом Толстым, например, в сцене, когда Наполеон объезжает поле Бородинского сражения: «И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжеле всех других участников этого дела носившего на себе всю тяжесть совершавшегося; но и никогда, до конца жизни, не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого... Он, предназначенный провидением на печальную, несвободную роль палача народов, уверял себя, что цель его поступков была благо народов и что он мог руководить судьбами миллионов и путем власти делать благодеяния!».

XX век, явивший миру Гитлера и Сталина, печи Освенцима, Майданека и ГУЛАГ, отодвинул Наполеона куда-то далеко-далеко в череду палачей народов, и сияет только его полководческий гений, этого у него не отнимешь.

В училище у нас не было наполеонов, а были сильно примученные жизнью в эвакуации, голодными пайками и семьями обычные смертные люди с погонями на плечах. Командир нашей батареи говорил басовито, был весь налит мужицкой силой, ходил косолапя, носками вовнутрь, отчего выглядел еще могучей. Может, придумал я про него, но казалось мне, человек этот не в ладах со своею совестью: обучать да отправлять на фронт пацанов, а самому оставаться в тылу, что-то же должно царапать совесть. Конечно, кадры, как говорится, надо ковать, да мало ли раненых, искалеченных фронтовиков, без руки, без глаза? Однажды начал комбат за что-то отчитывать меня, а я возьми да глянь ему в глаза, а через них — в душу. И он, комбат, опустил взгляд. Но тут же задрожал ноздрями, побелел: «Как стоите, курсант? Смирна-а-а!..». Кто знает, может, и ошибаюсь, чужая душа — потемки. Может, сначала и хотел он подать рапорт, чтоб отправили на фронт, но, не решившись сразу, постепенно смирился. Быт затягивал, быт унижал. И большинство обучавших нас строевых командиров и преподавателей, видимо, решили для себя эту проблему по принципу: жизнь отдам за родину, но на фронт не поеду.

Начальник училища, генерал, — высоко и далеко, видел ли я его когда-нибудь, не помню. Должен был видеть, конечно, хотя бы на построении, когда, получив офицерские погоны, проходили перед ним, чеканя шаг. А повседневную нашу жизнь более всех определял старшина. Известно, как старшины в армии обожают интеллигенцию. А у нас в батарее, только у нас у одних, был курсант, в прошлом — профессор химии. Может быть, и не профессор, а только доцент. Может, даже и не доцент, просто закончил химический факультет: человек с высшим образованием. Но для старшины сладостней, чтоб — профессор. И вот построена батарея в

две шеренги на вытоптанном снегу: «Рравняйсь! Смиррна-а!.. Вольно». Вызывают из строя профессора: «Два шага вперед!». Приказывают ему снять шинель. И этой его шинелью старшина обносит строй, обе шеренги, чтоб каждый посмотрел и убедился.

До войны, в журнале «Крокодил», прочел я, помнится, стихотворение московского милиционера:

*Я стою на Арбате
И гляжу кой-куда,
О шинельке на вате
Я мечтаю всегда...*

Ох, как мы все мечтали о шинельке на вате, зима в Башкирии была суровая. Но у шинели только коротенькая подкладка хлопчатобумажная, чуть ниже лопаток. И вот наш профессор догадался пришить подкладку к сукну изнутри, нащипал потихоньку ваты из тюфяка, из-под себя же самого, напихал ее под подкладку, утеплил спину и грудь. И старшина несет эту его шинель вдоль строя курсантов, в могучей вытянутой руке держит напоказ, чтоб каждый мог видеть, выщипывает из-под подкладки клоки ваты и брезгливо, как мышь за хвост, бросает эти клоки на снег: он же еще и артист неплохой. А профессор в распоясанной гимнастерке с ремнем в руке стоит понуро меж двух шеренг, поси-нел весь на морозе, но ничуть нам его не жаль, гогочет строй.

Да, в армии воспитывают сурово. А еще и зимы у нас долгие, это тоже надо учесть. Намерзшиеся за день в поле, голодные идем вечером строем в столовую, и об одном мечта: горячего нутро просит. Сначала от горячего дрожь прохватит, а потом тепло пойдет изнутри, пойдет разли-ваться по телу. И уж тогда бы — в сон, слаще сна

ничего нет. «Запевай!». Какая уж тут песня! «Ззапевай!». Но и мы уперлись: знаем, долго старшина держать нас не может, распорядок жесткий. «Нна месте! Запевай!». Топчем снег на месте — в ногу, в ногу, в ногу! — но не поем. А уже слышно, другая батарея нагоняет. «Бего-ом марш!». Врываемся к столам. Хлеб, каша пролетают, как будто их и не было. Тут, в столовой, тоже холодина, пар изо рта. Ничего, что не доели, доспим. Теперь бы чаю горячего. Но кружки из желтой глины — толстостенные, в них хоть кипятком лей, пьешь едва тепленькое. И опять бодрим себя мыслью: теперь только вечерняя поверка осталась и — отбой! Но старшина не забыл, старшины ничего не забывают. Построил, двинулись. «Запевай!». Можно бы теперь, как-никак согрелись все-таки, но характер на характер пошел. «Ложись!». Три раза в тот вечер клал он нас в снег: «Запевай!» — «Ложись!» — «Запевай!» — «Ложись!». И понял старшина, не глуп был от роду, ничего у него с нами так не получится: фронтовики. Приказ мы выполняем, приказ есть приказ, но вольничать не дадим. И виду не показывая, подобрел.

Из нынешнего далека жаль мне иногда нашего профессора: не только не смог он постоять за себя, но, видимо, сломался в душе. А может, таким и был. Как-то вечером в столовой погас свет. Только успели за столы зайти, увидели — это первое, что глаза видят, — хлеб, а на тарелке лещи вяленые вместо каши. Сейчас назначим, кто будет делить, за ним во сто глаз смотреть, чтоб поровну. Вот тут-то свет и погас. И кто-то заметил, как одного леща профессор опустил себе за голенище. В темноте все происходило молча. Его били лещами по лицу, по рукам, которыми он заслонялся, по лицу. Когда свет зажегся, он с кровью выдергивал из щек, изо лба остья от плавников. Тоже — молча. И не было жаль его

в тот момент. Гадко — да, но не жаль. Не может, не должен человек так опускаться.

А посмешищем во взводе был курсант Евтушенко. Вот стоит он с винтовкой у караульного помещения. Что первым делом должен сделать он, если кто-то появился в поле зрения? «Пароль!». Не отвечает — «Стой, стрелять буду!». Не выполнил — «Ложись!». Один курсант, стоя на часах в арtpарке, положил в снег аж командира дивизиона, который попробовал не выполнить его приказ, приказ часового. Положил и выстрелом вверх вызвал начальника караула. И пока тот не прибежал с пистолетом наголо, командир дивизиона лежал в снегу, материл его на чем свет стоит. Но лежал. Не помню, был ли курсант за это поощрен, но в училище все об этом знали. И существовали две легенды, каждая из них должна была укрепить наше сознание до полного отупения.

Первая. Часовой стоял у денежного ящика. Начался пожар. Начальник караула, разводящий — все забыли о нем. Но, не получив приказа, он не покинул пост. Так и сгорел заживо.

Вторая. Не помню, чтобы кто-либо верил в нее, но рассказывали это не раз: вот он, высший пример исполнения воинского долга! Мать приехала проведать сыночка. А сыночек — на посту. Он — часовой. «Стой, кто идет!» — «Сыночек...» — «Пароль!». И, действуя по уставу, верный долгу и приказу, сын застрелил родную мать...

А я любил стоять часовым: где еще остаешься стоять вот так, один на один с самим собой, со своими мыслями. В мороз так в мороз, это перетерпеть можно. Зато все небо, все звезды ясные на тебя глядят, а ты — на них, и «ночь вином струится со штыка...». Хорошо думалось в такие ночи, о многом думалось. А ухо настроено, как у волка спящего: начальство любило это веселое занятие, подкарасть-

ся неслышно, застать врасплох. Но для таких забав был у нас бедолага курсант Евтушенко.

Вот он — часовой. Из-за угла дома — грудь вперед, твердым увалистым шагом — командир батареи. Евтушенко и рта раскрыть не успел — «Как стоишь? Как винтовку держишь, мать твою!..». И его винтовка уже в руках командира батареи, а Евтушенко — столько-то нарядов вне очереди. Утром бежим в сапогах, в нательных рубашках по морозу — утренняя пробежка, — Евтушенко ломиком скалывает желтый лед на углах казармы: «удобства» в углу двора, далеко, ночью из-под одеяла бежать туда холодно. Вот и пристраиваются незаметно к углу дома. А кто-то утром скалывает лед.

И все же чувство справедливости было. Один из наших преподавателей оттого и стал нам отвратителен, что, подлаживаясь под общее настроение, тоже выбрал себе жертвой Евтушенко. Откинется на спинку стула, вытянет ноги: «Евтуше, ну что вы нам расскажете на этот раз?..». И ждет одобрительного смеха. Но взвод в большинстве своем хмуро молчит. Найдутся, конечно, и такие, что подхихикнут. А Евтушенко хоть знает, да уже растерялся, дрожит мел в его руке. И вот интересно: у него у единственного сохранились при такой кормежке пухлые щечки, ляжки прямо-таки женские, а носик уточкой. И такой крупный пот на носу выступит — смотреть жалко. По характеру или от робости был он услужливый и, может быть, неплохой парень, к тому, кто слово скажет доброе или заступится за него, готов был приласкаться, как щенок к ноге. Но робким в армии тяжело.

Всю войну упорно ходил слух, что немцы применяют газы. У них были противогазы в цилиндрическом гофрированном футляре, он приторочивался к боку. У них все было продумано до мелочей, чтоб солдату было удобно воевать. И флажки алю-

миниевые в суконном футляре, и автоматы легкие, приклад не деревянный, а складывающийся, металлический, не зря мы старались добыть себе немецкий автомат. А мы ведь войну — в это трудно поверить — начинали со стеклянными фляжками, в них разве что святую воду носить и то — бережно. Наши противогазы выдавали в холщовых сумках, холщовый ремень через плечо. На бегу съезжает эта сумка на живот и, соответственно, бьет тебя по всем местам. Но наши приспособились: противогаз выкинут (может, немцы и не применяют газы, а если применять станут, так, может, не у нас, а если у нас, то когда еще...) — и носили в сумке самое нужное.

Готовили и нас в училище к возможной газовой атаке. И уж тут помудрили над нами вволю. Это придумать только: мороз тридцать градусов, а мы бежим строем в противогазах, задыхаемся, топаем коваными сапогами. Резину ледяную сдираешь с лица, как кожу. Другое дело сидеть в противогазах на занятиях. На занятиях в противогазе хорошо: от дыхания лицу тепло, спишь себе, умудрялись даже спать с открытыми глазами. Жуткое зрелище: сидит за партами взвод в резиновых масках с круглыми стеклами, и от каждой маски вниз — гофрированная труба. Тому же Евтушенко кто-то из озорства прилепил слюной бумажки на стекла. Преподаватель увидел: «Курсант Евтушенко!». Тот вскочил спросонья, идет на голос, натывается на столы, белый свет перед глазами, ничего не видит.

Конечно, не про казарму это написано: «Ночной зефир струит эфир...» — и командование, по всей видимости заботясь о нас, приказывало нам спать в противогазах. Не единожды. И спали: вынешь клапан и дышишь нормально. Однако старшину обмануть дело нелегкое. Подойдет ночью старшина, пережмет трубку, а курсант спит, ничего не ведая. Часом позже он уже моет полы в коридоре.

Но сплотило нас, артиллеристов, воедино, когда прислали в училище комиссаров с фронта. После сталинского приказа о введении в армии единого начального комиссары превратились в замполитов, и много оказалось лишних. Вот их-то и прислали учиться делу. Все они имели офицерские звания, шпалы да кубари в петлицах, по годам, как правило, старше нас, но — из пехоты. И большинство — в ботинках с обмотками. А мы, артиллеристы, и на фронте ходили в сапогах. Могло командование училища потерпеть, чтобы офицеры продолжали ходить в обмотках, а курсанты в сапогах? И нам было приказано сдать сапоги, получить ихние ношенные ботинки и начать отныне мотать обмотки километр за километром. Как вы думаете, возлюбили мы после этого прибывших к нам на голову комиссаров? Ведь это не только сапог, это нас чести лишили. И любимым занятием стало подначивать. Вот сидим во дворе училища в курилке: на врытых в землю столбиках — доски квадратом, посреди — яма для окурков. «Слышали, товарищ лейтенант, какое у нас ЧП во взводе? Курсант, раздолбай такой, азимут потерял. А у нас их на батарею всего два...». И видим, как у него глаза дурной кровью наливаются: «Как потерял? Как фамилия курсанта? Командиру взвода доложено?». Потерять азимут — это, проще говоря, потерять направление, которое определяют по карте и компасу, школьникам полагается это знать. Но с грамотешкой у них, как правило, было плоховато, оттого первая мысль — утеряно (а может, и присвоено?) казенное имущество!

Выпускали нас из училища в августе 43-го года. И хоть сказано у Твардовского: «Ничего, с Земли не сгонят, дальше фронта не пошлют», волновался я на экзаменах (да я ли один?), как школьник. И горд был, что сдавал все на «отлично». И устройство орудия, трактора, и как рассчитать

грузоподъемность моста, винтовку разобрать-собрать с закрытыми глазами... А главное — стрельба: и с открытых, и с закрытых позиций, и по НЗР, то есть по наблюдению знаков разрывов, и полная подготовка данных по планшету... Да нет, не перечислить всего, что знал твердо, хоть ночью разбуди. И команду мог подать так, что у самого душа радовалась. Честно сказать, я до сих пор горжусь, что был строевым офицером и вроде бы неплохо воевал. Но выпустили нас из училища — первый такой выпуск — не лейтенантами, а младшими лейтенантами: как солнце на лето, война повернула к победе. Следующую звездочку на погоны я уже получал на фронте, во время Ясско-Кишиневской операции.

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

В годовщину тридцатилетия Победы попросила меня «Литературная газета» дать фронтовую фотографию и что-то написать к ней. Ну какие же могли быть фотографии на фронте? И чем бы и кто бы это снимал? Фотографии и фотоаппараты появились у нас ближе к концу войны. И я дал майскую фотографию 45-го года. Война кончилась, позируем где-то за Веной. Нас — шестеро. На переднем плане, на траве, голова к голове, лежим мы двое: комбат Лучший и я. У меня с ремня свесился, концом ножен уперся в землю эсэсовский кинжал: дивизия «Мертвая голова» не раз стояла на нашем направлении. Мы двое лежим, а позади нас (на бревне, видимо) сидят: военфельдшер Токовой, командир дивизиона Чхартишвили, командир второй батареи дружок мой Сашко Беличенко и лейтенант Пришемихин, связист. Тридцать лет прошло после войны, ни о ком из них ничего я не знал, потому и дал не свою отдельную, как просили, а общую фотографию: вдруг да откликнется кто-нибудь?

Первым прислал письмо в газету Токовой. И вот что значит профессиональная память: он писал, что в октябре 43-го года он лично отправлял меня в медсанбат, точно описал мои ранения (а ведь тридцать два года минуло), но больше, мол, с тех пор мы никогда не виделись. И невдомек ему, что фотография эта, на которой мы все, и он в том числе, — 45-го года. Я уже в полк вернулся после госпиталя, война кончилась, Вена позади — «больше мы никогда не виделись...».

Капитан Чхартишвили узнал в редакции мой адрес и написал мне. Письмо было шутовское: «Лейтенант! С вами говорит к-н Чхартишвили, ком. д-на, не Чхартышвили, как вы изволили написать в «Литгазете». Чхарты — черт, а Чхарти — добрый человек. Не бойтесь, судиться я с Вами не буду. Не буду потому, что совесть моя не чиста перед Вами. Боюсь, что Вы будете судиться со мной за ту кровь, которую Вы пролили в окопах пехоты. Помните? Я ни разу за 30 лет не забыл. Не забыл, с какой смелостью, как дерзко меня, ком. д-на, поносил всякими словами «какой-то мл. лт.» из первой линии пехоты, обвиняя во всех грехах за то, что я, скупердяй, не даю снарядов, хотя знаю, что пехота истекает кровью. А затем, в тот же день видел, как раненого Вас выносили из пехоты. Было больно и обидно, что мало давал огня, хотя за тот же день, за перерасход снарядов, я от сумасбродного комполка Комардина получил очередных 8 суток ареста».

Оказалось, все эти годы он жил в Москве, я позвонил ему, пригласил к себе, хотелось встретиться. И вот он пишет в следующем письме, точно вычислив, что с того дня прошло не тридцать, а тридцать два с половиной года: «Нет, не хочу я с Вами встретиться. Боюсь, что тот славный мальчишка, который не выходил 32,5 года из моей памяти, исчезнет. Исчезнет так же, как исчезли почти все, сот-

ни обычных людей. Я совершенно не помню Вас ни до, ни после того дня, ибо те дни мы не были рядом. «Пядь земли» я тоже пережил, но где-то рядом. А в тот день я почувствовал непосредственно, что этот мальчишка необычен. Было очень строго с лимитом на б/п, но Вы по телефону, хотя говорили очень неласково, но заставили меня подчиниться Вам. Я, к тому времени похоронивший десятки отличных друзей, был как никогда потрясен, когда на мой КП принесли Вас раненого на плащ-палатке. А Вы улыбнулись мне, вроде бы сказали: «Комдив, вы ни при чем. Война»».

Конечно, мы все-таки встретились. И встречались потом не раз. Сын Шалвы Ноевича, Григорий Чхартишвили, сегодня один из лучших переводчиков и знатоков японской литературы. Когда ему вручали литературную премию, я, между прочим, рассказал о том, о чем Шалва Ноевич забыл: как в Австрии, за Веной, приехал он к нам на батарею, и мы пили с ним вино, хорошее было вино и хорошо пилось: война кончена, главное дело жизни сделано. И молодые мы были в ту пору.

Честно говоря, всю эту историю, как я ругал командира дивизиона, я забыл, но одну неточность в письмах вижу. Из пехоты ночью вынесли меня, но не на КП, то есть не на наблюдательный пункт командира дивизиона, до него было далеко, а погрузили в кузов полуторки, много туда раненых загрузили вповалку, и трясли по рытвинам, по снарядным воронкам, так что душа с телом расставалась, и один раненый умер в пути, отлетела душа. А вот когда из кузова машины на плащ-палатке сгрузили меня, тут действительно стоял капитан Чхартишвили, я видел его, а уж улыбался или нет — не помню. И все это был бесконечный день 11 октября 43-го года, начался он до рассвета нашей артподготовкой, и весь день и ночью шел бой: мы наступали на Запорожье.

И был это, по сути говоря, мой первый после училища бой, а должность моя — командир взвода управления. Наша батарея тяжелых 152-миллиметровых орудий стоит в полутора километрах от передовой: вырыты орудийные окопы полного профиля, ровики для снарядов, землянка для расчета, и оттуда, с закрытых позиций, они ведут огонь. А корректирует этот огонь командир взвода управления. С разведчиком и связистами, с катушками связи, телефоном продвигается он вместе с наступающей пехотой, оттуда подает команды.

Разведчика почему-то в тот раз со мной не было, только один связист. Вот пошла пехота после артподготовки, поднялась из окопов. Где перебежками, где ползком, когда огонь прижмет, а то опять в рост. И мы за ней. Катушки наши деревянные гремят на бегу, провод быстро сматывается, на каждой катушке всего по полкилометра. Первые немецкие окопы взяли с ходу. Тут вскоре одна катушка у нас кончилась, я навесил на себя телефонный аппарат, а связиста отправил на батарею за связью. Стыд гнал меня вперед: ночью сидели с командиром роты в его землянке, и вот пехота наступает, а я позади вроде бы болтаюсь зря. Кончилась вторая катушка, лежу на поле распятый, а он садит из минометов, вот, кажется, твоя мина летит, в тебя нацелилась между лопатками. И не только корректировать огонь, даже обстановку доложить не могу на батарею: пехота хоть и недалеко ушла, а мне все равно не видно, что там делается. А комбат ждет, а командир дивизиона ждет... Нашел на поле чей-то провод, зубами оборвал с него оплетку, подключился. Наши. И похоже — артиллеристы. «Слушай! — кричу, а сам от разрывов своего голоса не слышу. — У меня провод кончился... Что там впереди? Докладить на батарею...». И стыдно, пошлет он меня сейчас матом и будет прав: он — впереди, а я, выходит, спрятался и

через него докладывать буду. Поверил ли он мне — не знаю, но обстановку доложил. И я доложил. Гляжу — чей-то связист бежит по полю, полями шинели метет по земле. А пулеметы секут. Разрыв! Он, как бежал, ткнулся лицом в землю. И катушка откатилась. Немецкая, восьмисотметровая. Провод красный. Катушку эту прежде всего вижу. Подбежал я к связисту, лежа рядом, перевернул на спину. Уже и не дышит. Но катушка — моя. Подключился. Бегу. Впрыгнул в траншею. И тут как раз немцы перешли в контратаку, автоматчики, танков несколько штук: даст, даст из орудия — звон в ушах. Вот тогда я, видимо, и кричал на командира дивизиона, на Чхартишвили, страха перед начальством у меня почему-то не было, это правда. И он дал восемь снарядов.

Лет сколько-то назад корреспондент «Комсомольской правды» спросил меня: «Какой наградой вы, солдат, более всего гордитесь?». И я рассказал ему сцену из моей повести «Навеки — девятнадцатилетние», как во время немецкой контратаки, когда пошли танки, офицер-артиллерист растерялся. Не мог открыть огонь. Вид чужой растерянности в бою не всегда вызывает панику, чаще, наоборот, он побуждает к действиям, и Третьяков, герой той повести, у которого кончились снаряды, выхватил у него трубку телефона и повел огонь его батареями. Технически это не сложно: есть две точки на карте — огневая позиция батареи и наблюдательный пункт, — а третья точка — цель: танки, они шли и стреляли с ходу. Но что просто на полигоне, не так просто в бою. И оказавшийся рядом в траншее пехотный сержант крикнул Третьякову: «Молодец, лейтенант!». Его тут же убило. Все это не выдуманно. Написанное про Третьякова было со мной в том бою под Запорожьем, когда кончились восемь снарядов, которые дал мне Чхартишвили, а танки шли на нас. Мы отбили атаку, но благодарный взгляд

сержанта за минуту до смерти я помню и ценю его выше остальных наград.

Что правда, то правда, снаряды мы берегли. Берегли их в начале войны, когда склады со снарядами остались там, у границы, в ближнем приграничье. Под Москвой на километр фронта приходилось всего по семь орудий, и то, как правило, легких, и был момент, когда ни один снарядный завод не работал: часть взорвана или захвачена немцами, другие спешно увезены в тыл на железнодорожных платформах. Вот тогда, в отчаянный этот миг, бойцы с гранатами бросались под танки, а летчики шли на таран. В самые тяжелые дни войны больше всего отмечено таких случаев самопожертвования.

Но и в дальнейшем, когда самолетов, и снарядов, и танков было у нас больше, чем у немцев, мы все так же берегли снаряды в бою. Людей не берегли никогда.

Мы помним, что наши союзники, англичане и американцы, обязались открыть второй фронт в 42-м году, но Черчилль оттянул это на два года, ссылаясь на недостаток сил и средств, что привело бы к большим потерям. Он берег англичан, за что вряд ли его можно осуждать, но были тут, несомненно, и политические соображения: надо было не только Гитлера разгромить, но надо было, чтобы Советский Союз вышел из войны крайне ослабленным, и тогда, в послевоенном мире, диктовать свою волю. Что же касается недостатка средств, то вот как это выглядело на самом деле: высадка союзников в Африке (вместо открытия второго фронта), операция «Торч» («Факел»), была настолько обеспечена всеми боевыми средствами и техникой, что «первые самолеты доставили в Алжир зубодробительные кресла». Это я Черчилля цитирую, его шеститомник «Вторая мировая война». И в этой операции (42-й год!) одна машина, в том числе боевые

машины — броневики, танки, артиллерия, — одна машина в среднем приходилась на 4,7 английского или американского солдата. А наши девочки-санитарки в это самое время должны были не только раненого вынести с поля боя, но и его винтовку, без винтовки другой раз не принимали в медсанбат, хоть помирай.

Но вот — 44-й год, союзники высадились в Европе. Высадились в июне, однако в декабре немцы перешли в Арденнах в наступление. И Черчилль обратился к Сталину: «...я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте...».

Наше наступление планировалось, но позже. Однако Сталин ответил: «Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь...». И тем не менее заверил, что будет приказано, «не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему фронту не позже второй половины января». И наше наступление началось на десять дней раньше, чем планировалось. А это значит, не все снаряжение и боеприпасы были подвезены, а неподвезенные снаряды — это людские жизни. И мы, испытавшие на себе, что такое преимущество противника в воздухе, понесшие тогда огромные потери, лишили себя по приказу Сталина главного своего преимущества. И история Отечественной войны, и краткая, и полная энциклопедии, и мемуары военачальников сообщают о низких туманах, о том, что авиация практически вынуждена была бездействовать, а артиллерия не могла вести прицельный огонь. Пехота жизнями своими прорывала мощные немецкие укрепления. Сколько их ос-

талось бы жить, сколько детей их, внуков жило бы сегодня!

Но может быть, действительно положение союзников было безнадежным, не помоги мы, сбросили бы их в море, и тут уж ни с чем не приходилось считаться? Вот соотношение сил и средств, которое приводит маршал Г. К. Жуков: «...Союзники уже вскоре после открытия второго фронта превосходили противника по числу людей в 2 раза, по танкам — в 4 раза. По самолетам — в 6 раз». Да и сам Черчилль, получив заверения, пишет Сталину 9 января 1945 года, что битва на Западе «развертывается не так уж плохо. Есть все основания надеяться, что гуннов вышибут из образованного ими выступа». И далее, там же, в шеститомнике Черчилля: «Я привожу эту переписку как прекрасный образец быстроты, с которой можно было вершить дела в высших сферах союзников, а также потому, что со стороны русских и их руководителей было прекрасным поступком ускорить свое широкое наступление, несомненно, ценой тяжелых людских потерь». Вот так наш «отец народов», «великий и мудрый» берег свой уже повыбитый за войну народ. Посмотришь, бывало, гонят маршевую роту на фронт, а там — старики да подростки, худые от голода, им не то что восемнадцати, им семнадцати лет не дашь. И все это в пекло войны. А война для солдата, для офицера на поле боя и война там, в «высших сферах», — это две разных войны.

Но может быть, гоня солдат на убой, может быть, «ценой тяжелых людских потерь» наш «кормчий» стремился достичь неких высших целей и выгод, понять которые простым смертным не дано? «Я очень хотел, чтобы мы опередили русских в некоторых районах Центральной Европы, — пишет Черчилль. — Венгры, например, выразили намерение оказать сопротивление советскому продвиже-

нию, но они капитулировали бы перед английскими войсками, если бы последние могли подойти вовремя. Я очень хотел... захватить и оккупировать полуостров Истрию и попытаться прийти в Вену раньше русских».

И далее: «Решающие практические вопросы стратегии и политики, о которых будет идти речь... сводились к тому, что:

во-первых, Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира;

во-вторых, надо немедленно создать второй фронт против ее стремительного продвижения;

в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на Восток;

в-четвертых, главная и подлинная цель англо-американских армий — Берлин».

И вот этому способствовал наш «гений всех времен и народов». А уж сколько потом в начавшейся гонке — кто раньше возьмет Берлин — положили людей, бог весть. Писали, что наши потери — 500 тысяч. Писали — 300 тысяч. А у каждого из них, из этих тысяч, там, на поле боя, у каждого — жизнь одна, второй не будет. Помню, после войны ехал я куда-то в общем вагоне. Сидели, курили, разговаривали, мимо проводница идет. И сосед мой, молодой парень, возьми да хлопни ее по задку. «Руки-ноги тебе отшибить за это!». А он задрал обе штанины, там у него металлические протезы в ботинках. Ноги свои он оставил под Берлином.

Только генерал армии Горбатов, участник того сражения, он единственный осмелился написать в своих мемуарах, что Берлин нам вовсе и не нужно было брать.

Оперировала меня в медсанбате военврач. У нее болели зубы, она даже постанывала, когда вырезала у меня из спины осколок. Он оказался глуб-

же, чем проникла анестезия, сестра хотела сделать еще укол, но врач сказала, что видит осколок, здесь он, близко, и продолжала резать: раненых все несли и несли, и некогда ей было ждать, пока начнет действовать заморозка.

Мне было двадцать лет, как раз месяц назад исполнилось, я был офицер, в детстве читал «Овода». Я лежал лицом вниз, сжимал зубы, а медсестра, годившаяся мне в младшие сестренки, гладила меня по голове. Она же принесла мне кружку компота из сушеной вишни, будто знала, что я больше всего люблю. А меня после операции такой озноб бил под шинелью, зуб на зуб не попадал.

Потом был полевой походный госпиталь: конюшня, пол цементный со стоками для конской мочи, и мы лежали поверх соломы на плащ-палатках. Недолго я провоявал в этот раз, если посчитать: недели две ехал из училища, с месяц примерно готовились мы к наступлению, рыли огневые позиции, наблюдательные пункты, разведывали и пристреливали цели и — один бой. Всего один бой. Сколько же это нужно было народу на все 1418 дней, на всю войну, пока она длилась?

В этом госпитале я впервые видел, как умирает человек от столбняка. Нам из американских банок раздали сосиски, по две штуки. И так ему хотелось съесть ее, может, последнее в жизни, что ему хотелось, уже ко рту подносил, а его всего выгибало, выворачивало. Как правило, раненым, прямо на поле боя (тоже не позавидуешь санитарам), кололи сыворотку от столбняка. Может, ему не успели, не смогли, кто знает.

Из госпитальной жизни, наверное, по своему характеру вспоминается мне все больше смешное, хотя я там чуть было не отправился, как говорили тогда, в наркомзем: началось заражение крови. В палате нашей, офицерской, лежал командир

стрелкового батальона капитан Гуркин (некоторые его черты есть в повести «Навеки — девятнадцатилетние» у Старыха). Исполосован он был основательно, но заживало на нем быстро. И как только стал на костыли, тут же снял с полевого счета все деньги, что у него были. Большую пачку принес в палату, положил под подушку, сам на подушку сел и начал метать карты. А порядок у нас был такой: кто выиграл, покупает на базаре семечек жареных, ряженки и либо самогонки графин, либо шампанского. В Красном Лимане шампанского было много: когда наши отступали в 41-м году, население разграбило склады, и теперь бутылку продавали по триста рублей.

В полночь зайдет сестра в нашу палату, а мы сидим с черными ноздрями: коптит керосиновая коптилка.

— Опять играете? Иду врача звать!

Забыл ее имя, хорошая была девчонка, назовем ее, ну, скажем, Лида: «Лидочка, на один резиновый сапожок тебе уже выиграли. Потерпи, выиграем на второй».

Между прочим, действительно купили ей на базаре резиновые сапоги, почему-то осталось в памяти, стоили они полторы тысячи, но не ручаюсь за точность. А Гуркину, который, как обычно, сидел на пачке денег и держал банк, я как-то сказал: сядешь на простынь. Играли в очко, а тут кроме везения нужно еще и не горячиться, виду не подавать, что у тебя на руках. А он был горяч. Однажды я снял у него банк всего на пяти очках. У меня была дама, хуже не придумаешь. Туз придет — плохо, десятка — плохо. «Дай одну». Дал он мне карту. Валет! И не колеблясь, словно у меня десятка к десятке пришла: «Себе». И стал он набирать: возьмет карту и на меня глянет, возьмет и в глаза глядит. А идет сплошная мелочь. Взял еще. Перебор! «А у тебя сколько?» —

«В двух картах перебора не бывает». И чтоб совсем уж не огорчать его, сунул карты в колоду.

В общей сложности вырезали из меня два осколка. Третий навывлет прошел, а еще два остались во мне и не мешают, они — часть меня. С ними, отлежав еще и в Днепропетровском госпитале, вернулся я в свой полк. Впереди были бои на Днестре, Яско-Кишиневская операция, мы окружили там 6-ю немецкую армию и сколько-то румынских дивизий. Эта 6-я армия как бы восстала из праха, ее сформировали по приказу Гитлера взамен 6-й армии Паулюса, погибшей под Сталинградом. Ее-то мы окружили. Думать не думалось, что когда-то я буду об этом писать.

9-го сентября 44-го года стояли мы на границе Болгарии. Где-то высоко шли переговоры, нам приказано было рыть оружейные окопы. А болгарские пограничники кричали: «Братушки!». И махали приветственно, звали к себе. И первая же корчма, в которой мы сидели как братья, называлась «Великая Болгария». Этот месяц золотой болгарской осени был словно подарен нам.

И снова — эшелоны, эшелоны... Куда везут, об этом не спрашивают, командование знает. Блеснула солнцем и морем Констанца, но там — другая армия, нас везли куда-то северней. Когда на повороте дугой изгибались рельсы, был виден весь состав, спешащие за паровозом пыльные красные товарные вагоны, платформы с пушками, платформы с тракторами, вагоны, вагоны, в каждом, откатив двери, сидят, стоят солдаты, кто грудью, кто локтями оперся на поперечный брус, как стояли в дверях мчащихся вагонов солдаты прежних войн, когда нас еще не было на земле.

Позади Яско-Кишиневская операция, как отныне будут называть ее. Долгое, бесконечно дол-

гое сидение на заднеэтровских плацдармах, где воронка к воронке. Где днем все живое скрывалось под землю и столько раз немцы пытались сбросить нас с плацдармов в Днестр. А потом — стремительный прорыв двух наших фронтов, двадцать с лишним окруженных немецких дивизий, вначале они еще пробивались к своим, а потом была ночь, маярийная бредовая ночь, когда среди трофеев, брошенных немецких пушек, снарядов, повозок, каких-то ящиков (один ящик оказался с изюмом, мы ели его горстями) бродили, как серые тени, и мы, и немцы, и никто ни в кого не стрелял, а утром, никем не охраняемые, они шли в плен — «Wo ist plen?» — я видел эти колонны, им только указывали направление, но их уже не видели те, кто остался на плацдарме, зарытый в песок: победы и награды достаются живым. И вот мы мчимся в эшелонах, что ждет впереди, знать никому не дано, война учила нас далеко вперед не загадывать, а пока жизни миг.

Мелькают под солнцем белые, словно только что побеленные стены хат, низки красно-багрового перца сушатся на них, синие ставни раскрыты, соломенные островерхие крыши; на огородах, на рыхлой черной земле — огромные желтые тыквы; медлительные воли в ярах на пыльных дорогах, крестьяне в высоких бараньих шапках, в соломенных шляпах — странно все это, отвыкли мы от мирного вида людей. Там, в Молдавии, пока шли бои, жители были отселены на двадцать пять километров от Днестра: брошенные дома, виноград поспевал на виноградниках, поля кукурузы, шелковица отрясалась с деревьев при каждом разрыве снаряда. Случалось, старик или подросток проберутся наломать кукурузных початков со своего поля, и то — ночью, тайком, с великой опаской. Несколько раз во двор, где мы стояли, вот так пробиралась хозяйка, проводить хозяйство, и прижилась из милости, варила на

всех мамалыгу, чудные борщи. Забеременела она от командира отделения, он потом был убит в Венгрии, но, наверное, живет на свете то ли сын, то ли дочь, возможно, уже их дети живут... А здесь, в Румынии, война кончилась. Мелькнула у закрытого шлагбаума повозка странного вида — каруца, так, кажется, их здесь называют, старик в белой рубашке, в меховой жилетке держал вола за длинный рог; вдруг он снял шапку, поклонился лысой головой вслед проносящимся вагонам: судьбе нашей. А может, сам — бывший солдат? Паровозный гудок режет синий простор впереди эшелона, стучат под нами, спешат колеса, плотный сухой ветер в лицо; бесконечно можно смотреть вот так из мчащегося поезда вдаль.

В Тимишоарах, когда наш эшелон стоял, вдруг вижу, бежит вдоль вагонов командир взвода Леша Краснов, машет мне издали: «Тебя зовут!». Вот так бегут, когда случилось что-то или начальство требует, а к начальству идти — сразу все грехи припоминаешь. Они есть, как не быть, за каждым что-то числится. При погрузке пушек на платформы наша батарея замешкалась, трактор на платформе никак не разворачивался, и тут как тут — командир полка, красное от ярости лицо, будто улыбающееся во весь широкий рот. Такая уж у него особенность: чем яростней накалялся, тем ошеренней улыбка. Наш капитан от одного вида этой его улыбки сразу становился маленьким, терял себя: «Слушаюсь! Слушаюсь!...». Бледный, кинулся помогать. Как раз накатывали бегом повозку, налетел с криком, схватился за ребро подпихнуть и как ожегся: из-под брезента торчала свиная нога, за ее мертвое холодное копыто и ухватился он в спешке. «Это что? Это откуда?». И на меня: «Гляди-и!...». Кто же на войне спрашивает «откуда?». Не ради порядка, а чтоб деятельность показать, кричит он и оглядывается, а ме-

ня смех разобрал, еле сдерживаюсь. В обед ему принесли котелок супа, сверху сняв пожирней, снизу зачерпнув погуше. И кусок свинины, той самой. Ел. И не интересовался откуда, но грозное «Гляди-и!» осталось, как заведенное на тебя дело, в любой момент может быть дан ему ход.

«Кто зовет, кому потребовался?» — «Девчонки!» — «Какие девчонки?». Леша подбежал, не отдышится: «Санитарный поезд стоит...»

Вместе мы нырнули под вагоны, Леша сопровождает меня. Еще эшелон. Пронырнули между колес. А уже тронулся санитарный поезд, зеленые вагоны. Белое на окнах, а на крыше, разумеется, — красные кресты, покров и защита раненых, беспомощных людей. Сколько раз на эти красные кресты, видные издалика, пикировали «мессершмитты». А в дверях, на подножках, медсестры. И наши палатные тоже — Люся, Галя, Машенька, тихо постукивают под ними колеса, и проезжают они мимо. Это эвакогоспиталь № 1688 передислоцируется за фронтом, я в нем лежал. Милые вы наши девочки, как же вы догадались спросить про меня? Пушки увидали на платформах. Вот действительно чудо на войне: пушки! И мало ли артиллеристов лежало у них? Но спросили же, спросили! В сапожках по ноге, в юбках, в гимнастерках, затянутых в талии ремнями, стоят на подножках вагонов, на нижней, на средней, в тамбуре, как на фотографии, и проезжают, проезжают мимо. Какие же вы хорошие, какие все — красавицы на наши стосковавшиеся по вам глаза. Из всех товарных вагонов, с путей, со щебенки смотрит повывсыпавший военный народ, от одного их присутствия все — brave, машут им, кричат, улыбки шире лиц. И я кричу вослед, из всего, что надо бы спросить, кричу вдруг: «Старший лейтенант, армянин, третий от двери в палате лежал... Черепное ра-

нение... Жив?» — «Жив! — донеслось. — Домой уехал!» — «А капитан?..».

Они уже перевешиваются, держась за поручни, уже и другой вагон обогнал меня, и еще, и еще — пустые на просвет вагоны, пустые заправленные койки, быть может, для кого-то из нас. И вот последний вагон постукивает прощально. Это же надо, чтобы так совпало, так встретиться. И ни о чем расспросить не успел, три месяца лежал у них, целая жизнь...

Я возвращался вдоль состава, как знаменитость: целый полк, два эшелона стоят, я один отмечен вниманием. Да чьим вниманием! Само собой подразумеваются и некие подвиги, которых не было. И Леша в отсвете нежданной славы сопровождает меня. Вместе мы впрыгнули в наш товарный вагон: Леша тоже полежал в госпиталях, есть что вспомнить. В мирное время в таких вагонах возят преимущественно неодушевленные грузы, на войне — лошадей и солдат.

Опять мелькали кукурузные поля, сады, деревеньки, а мы — мимо, мимо, только опрокинутые косо тени вагонов, вытянутый состав теней скользит под насыпью, не отставая. На станциях уже прогуливались румынские офицеры в высоких начищенных сапогах, голенища — бутылками, нарядные офицеры мирного времени. Для них война кончилась, нас она ждала впереди.

И вот, когда мы стояли с Лешей, локоть к локтю, опершись на поперечный брус, жмурясь от встречного ветра, он рассказал, что получил письмо из дому, первое за всю войну письмо, рассказывал и будто смущался выпавшего ему счастья. На такой войне счастьем не бахвалятся, как не станут хвалиться хлебом при голодном человеке. Но хлебом можно поделиться, а как поделишься счастьем, если оно выпало на одного? Родные его оставались в ок-

купации, ничего он не знал о них, и вот разыскивали его через дальних родственников: живы. И он тоже написал им: жив.

Красивый был парень. Не какой-то особенной красотой, а тем, что отличало и выделяло человека в ту пору: ранним мужеством. Он и воевал хорошо. С середины войны, с тех пор как мы наступали, появились и кубанки на головах. Вот и на Леше черная кубанка придавила светлый чуб над бровью.

Эшелон наш то мчался, то полз по взорванным и наспех восстановленным путям. Леша спрыгнул, дождался теплушки своего взвода. Оттуда ему руки протягивают. А я взобрался на верхние нары, тоже думалось о своих, чужое счастье заразительно. В госпитале у нас, в том самом госпитале, который мы только что повстречали на колесах, был солдат из оккупированной местности, его мобилизовали, когда мы пришли. Повоевал он недолго, тут же и ранило, и был он, в общем, доволен. Этот солдат гадал по руке. Не раз я видел издали: стоят в уголке двое в халатах, один слушает с доверием, другой говорит ему, говорит. Я тоже решился испытать, хотя и не верил в гадания. И вот странно: совершенно точно он сказал, куда я был ранен. Рука на перевязи — это видно, но он перечислил и те раны, которые зажили, про которые он знать не мог. И я спросил его о моих братьях. По моей ладони, читая линии судьбы, он предсказал, что каждого из них ждет. А они уже оба погибли. И солдат признался, что в оккупации он кормился этим: гадал бабам, они верили и надеялись.

Я задремал под стук колес на верхних нарах, а очнулся на полу. Над нарами, в проломленной стене вагона, — дульный тормоз орудия. Мы стояли. А уже бежал народ по насыпи вдоль путей, кричали что-то. Мы тоже побежали, куда бегут все, на бегу ошупывая ушибы. Впереди, в голове состава, столк-

нулись паровозы двух наших эшелонов: кто-то перевел стрелку или, наоборот, забыл перевести, и с двух разных путей эшелоны устремились встречно.

Когда мы подбежали, паровозы, врезавшиеся друг в друга, стояли, все шипело, окутанное паром, а земля и насыпь, как под разлившейся лавой, горели и чадили: это раскатился жар из топок. Позже я видел, как растаскивали паровозы. Освободили пути, подогнали к каждому сзади по паровозу, потянули, они расцепились, грохнулись колесами на рельсы.

Задним числом всегда находится много умных, они знают, что следовало, что не следовало... А не следовало — и это уж точно — ставить в середине состава между платформами с пушками и тракторами легкий штабной вагон. Его и сплюснуло. Когда мы подбежали, там еще слышались стоны и капало на шпалы, на щебенку. Ничего нужного под рукой не оказалось, вырубали топорами из-под низу, сменяя друг друга, а железо толстое. Там, в тамбуре, стояли и курили трое. И вот судьба: один из троих был Леша, его как раз вызвали зачем-то в штабной вагон. В сплюснутом тамбуре, когда к ним прорубались, слышны были стоны и капало. Но все тише, реже. Провели мимо двух железнодорожников, вели их быстро, подталкивая в спины, в шеи, на них зло оглядывались от вагонов.

И вновь наш полк двинулся дальше двумя эшелонами. Впереди каждого ждало свое, а всех вместе — бои в Венгрии, в районе озера Балатон, одни из самых кровопролитных за всю войну. Фамилия Леша была другая, но надо ли родным, если кто-то из них жив, знать, как все это было? Пал смертью храбрых. Он действительно был смелый парень, зачем-то судьбе понадобилось даровать ему последнюю радость, а письмо его, наверное, еще долго шло.

В Венгрии наш полк понес самые тяжелые потери. Мы брали и отдавали и вновь брали город Секешфехервар. И однажды я позавидовал убитым. Мела поземка, секло лицо сухим снегом, а мы шли, сгорбленные, вымотанные до бесчувствия. Да я еще и контужен был. А мертвые лежали в неубранной кукурузе — и те, что недавно убиты, и с прошлого раза, всех заметало снегом, ровняло с белой землей. И будто от сна очнувшись, я подумал, глядя на них: они лежат, им спокойно, а ты еще побегаешь, а потом будешь лежать так... Но удивительная пора — молодость: час поспал убойным сном и опять жив и жить хочется. В брошенном доме увидел я на полу большую серебряную медаль — бегун рвет ленточку грудью, приз чей-то — и нацепил эту медаль на гимнастерку. Повеселить своих разведчиков: мы в тот момент отступали к Дунаю.

Потом была Австрия, Вена, мы брали Вену. Там, в Австрии, и закончилась война. Есть у меня фотография: последний наблюдательный пункт, все мы, такие воинственные, позируем перед объективом, тут же и стереотруба. И командир дивизиона, тогда это был Гулин, указывает цель. А уж нет никаких целей, уже прочищены стволы орудий, смазаны и зачехлены. Двумя днями раньше отсюда, с наблюдательного пункта, я вел огонь по уходящему немецкому эшелону и попал, там что-то рвалось, а у нас тут крик стоял, как на стадионе, когда забьют гол в ворота. Все. Войне конец. Но это еще надо было осознать. Когда штабной телефонист прокричал по телефону: «Победа! Кончилась война!» — у нас даже вина не оказалось. Но старшина погнал коней, стоя во весь рост в бричке, вместе с ней подпрыгивая на выбоинах, только за вожжи держась, привез бочку вина. И пили, и стреляли вверх из автоматов, из пистолетов, но все вроде бы чего-то главного не хватало, мы еще не понимали, чего. Нам в тот побед-

ный день не хватало тех, кто не дошел, не дожил до него. И победные застолья сами собой становились поминальными. Знаем ли мы хотя бы теперь, какой ценой нам досталась победа?

Наша историческая наука столько раз переписывала историю в угоду тем, кто властвует, что и концы с концами не сведешь: кроили платье по фигуре. То Десять Сталинских Ударов, как десять заповедей, их полагалось заучивать, то Курская дуга, поскольку там был Хрушев, а то уж Малая земля начала выдвигаться в разряд главнейших, самых славных битв. Потом усиленно заговорили о партизанском движении в Карелии: какое-то отношение к нему имел Андропов. Последним из военного поколения, уж не только не воевавшим, но даже издали не видевшим фронта, как видели его предшественники, был Черненко. Однако зашелестел слух о какой-то заставе, на которой будто бы он служил, даже фотография архивная появилась в газете: сидят военные, самое заурядное, самое невыразительное лицо у него. Но поживи он еще немного, и эта дальневосточная застава заняла бы свое почетное место в истории Отечественной войны. Впрочем, и так называемое искусство, и кинематограф не отстали, дали позорнейшие образцы холуйства. А солдаты, а народ — оставались во всем этом безликой массой, фоном, на котором великие творили историю. Да вот беда, великих-то, как выясняется, и не было.

Чем дальше отходим мы от того дня, от тех, уже неподвластных нам времен, до сих пор толком не осмысленных (по-видимому, это дело грядущих поколений, которые, отринув сиюминутные страсти и соображения, уже не озабоченные тем, чтобы себя поместить в историю по той простой причине, что их тогда просто не было, осмыслят достойно, и уже в этом будут умнее нас), так вот, чем больше отдаляемся мы, тем очевидней становится, что всей

этой страшной беды, войны этой — и Второй мировой, и нашей Отечественной — могло не быть. Не было фатальной неизбежности, мир не был обречен, и только-только набравшую обороты фашистскую военную машину можно было остановить, а на ранних этапах и не так уж трудно было это сделать. Но народами правили ничтожные трусливые политики и преступники. А еще и то вело к войне, что сознание людей XX века уже было отравлено, век выходил, вырастал из окопов Первой мировой войны, он уже вдохнул на ее полях отравляющих газов, увидел танки, увидел бомбовозы над собой, как библейское предсказание. И невозможное стало возможным, свершилось однажды, и с естественной неизбежностью следовал за этим пока незримый гриб атомного взрыва над Хиросимой, символ нашего века и символ конца света.

События легче развязать, чем остановить, и логика событий сильнее логики людей. Когда фашистские армии стояли изголовья у наших границ, когда весь мир по дипломатическим и иным каналам предупреждал, что война неминуема, а наша разведка сообщила заранее даже день и час вторжения в нашу страну, вот тут, поняв, быть может, что совершил, казня и уничтожая лучших, какие грядут последствия для нас, не готовых к войне, тут и начал Сталин позорно задабривать врага, которым пугал страну многие годы. И выпущено было трусливое заявление ТАСС:

«...По данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всяческой почвы, а происходившая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операции на Балканах, в вос-

точные и северо-восточные районы Германии, связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям...».

Словно бы просили Гитлера заверить нас, успокоить, подтвердить... Тот даже не отреагировал.

Так не чудо ли спасло нас, если были захвачены врагом и Украина, и Белоруссия, и немецкие армии подошли к Москве, обложили Ленинград, а все тяжелое вооружение и склады военного снаряжения остались в приграничных районах, а большая часть авиации была уничтожена на земле в первые часы и дни, и даже винтовок, с которыми и в прошлую войну воевали, не хватало на фронте, не чудо ли? Нет, не чудо.

В истории остаются имена полководцев, а рядовым имя — легион. Они в истории безымянны. Но каждый из них имел и свое имя, и свои надежды, а идя в бой, кого-то оставлял на этой земле. И еще хуже, если на нем род обрывался. Сколько родов оборвалось! Мы сейчас вроде бы и не чувствуем рядом с собой этих зияющих пустот: дело забывчиво, тело заплывчиво. Вот и на теле народа как бы заросли, заплыли раны... Но так не бывает. Мы потеряли невозполнимое.

Родину спас народ, вставший на ее защиту. И матери благословляли сыновей на этот бой, святой и правый. В этот час, который для малодушных казался часом гибели, возник, повторяю, совершенно особый нравственный климат. Под Москвой, у последней черты, решился исход войны. Потом были еще битвы, в которых, как считают и военные, и историки (в каждой стране — в свою пользу), вновь и вновь решался исход войны. Но решился он под Москвой, хотя война длилась еще долго. И решил исход войны — народ: и то, что уцелело от кадровой армии, и срочно сформированные части, которые

бросали с ходу — в бой, с ходу — в бой, и московское ополчение, в котором погиб, быть может, цвет нашей будущей науки, если судить хотя бы по немногим известным именам уцелевших; и подоспевавшие на помощь столице сибирские дивизии, и лыжные батальоны — все, что удалось собрать, а были дни, когда Москва оставалась совершенно не прикрыта. И те, кто продолжал сражаться в окружениях, оттягивая на себя немецкие дивизии, они тоже спасли Москву.

В историю нашей родины вместе с именами Суворова, Кутузова войдет и вошло уже имя маршала Жукова. Его железная воля совершила тогда, под Москвой, то, что никто бы, кроме него, совершить не смог. Но и он в ту пору учился воевать, наше наступление под Москвой — это не стратегическая операция, подобная Сталинградской, мы больше вытесняли, выбивали немцев с их позиций, а люди воевавшие знают, скольких жизней это стоит.

И вот думаю теперь: что же все-таки было в основе нашей победы? Только ли безмерные жертвы и героизм народа? Или то, что в военном искусстве мы в конце концов превзошли врага? Или просторы нашей родины? Или оружие, которое выковали взамен утраченного, и больше и лучше того, что создавалось в Германии? И вспоминаю тот нравственный климат, все то поразительное, что открывалось в людях в ту пору.

Покойный ныне писатель Вячеслав Ковалевский там, на Северо-Западном фронте, когда наши войска входили в отбитые у немцев сожженные деревни, задавал жителям один и тот же вопрос:

«— Какой вы дадите нам совет, вот мы придем в Германию, что нам сделать с немцами за все, что они натворили у нас?

...И вот женщина торопливо, как бы боясь запоздать с ответом, просит (записываю дословно):

— Будьте добры, не трогайте ихних детей и женщин!

У меня навертываются слезы... Боже мой, что же это за народ. Где граница его долготерпения?

Женщина показала рукой на толпившихся около нее детей:

— Ведь он, окаянный, вот таких бросал в огоны! Разве они виноваты? Нет, будьте добры, детей ихних не трогайте!».

Вот эта высота духа и была основой нашей победы, не только военной победы над врагом. Но все это позднейшие, теперешние размышления, когда мы уже что-то знаем, что-то с чем-то можем сопоставить, взглянуть на события не сгоряча. А тогда, в тот день, мы просто радовались победе. Кончилась война. Да, кончилась, но все еще не верилось.

Мир для нас настал в далекой стороне. На моем кожаном офицерском ремне, на котором я многие годы правил бритву, привезенную с войны, — полустершаяся, так что едва прочесть можно, надпись: «Loosdorf». Вот в этой австрийской горной деревушке стояли мы: разведчики, связисты и я, командир взвода, старший над ними. Внизу был Дунай и замок на берегу. В одной из верхних спален замка подняли мы штору и увидели голубой Дунай, голубую его даль. Стояли и смотрели. Вот таким видели его отсюда каждое утро, когда подымался туман над водой. А в мире шла война, и в Австрии были фашисты. Но нашего приближения хозяева замка отчего-то вынести не смогли. В залах остались скатанные гигантского размера ковры, остались царские доспехи, мечи, старинные пистолеты, ружья. Грешен, одно из кремневых ружей я унес из замка, любопытно было посмотреть, как оно стреляет. Мы сыпали порох на полку, и подсыпали, и

кремнем щелкали — не стреляет ружье. Порох был бездымный. И вдруг грохнуло. Молодые мы были, в сущности — мальчишки еще.

Из Австрии повезли нас, всю нашу 9-ю артиллерийскую дивизию прорыва, не домой, а в Болгарию. Как везли, что было в дороге, о том рассказ еще будет.

И вновь — осень, золотое время в Болгарии. Поскольку армия не может находиться в бездействии, ей «тяжело в ученье, легко в бою» (ох, уж эта мудрость армейская!), нас, провоевавших всю войну, ожидающих демобилизации, взялись учить. Вдруг среди ночи подымали по тревоге, и мы, грохоча сапогами, бежали через город на батареи, а испуганные жители города Пазарджик высовывались в окна: война?

Командир нашей бригады, в которую входило два полка, был мужчина крупный, как говорится — в теле, виски отпущены аж до мочек ушей, лицо хорошо пообедавшего человека. Но не благодушные послеобеденные на нем, а строгость: пообедали, теперь — за дела. И вот изводил он нас своими беседами. Требовалось: каждому держать раскрытый блокнот, иметь хорошо оточенный карандаш и записывать его мысли. Мыслей не было. Старались сесть подальше, рисовали в блокнотах, кто что мог. А любимым его развлечением было, как на зайцев с прожектором, охотиться на нас в темноте: осветит кусты фарами и ждет. И подымается оттуда офицер с болгаркой. Вот тут полковник наш и начинает воспитывать, долгую лекцию заведет не спеша. При ней. Но приехала к нему жена, и мы легко вздохнули. В первый же вечер повез он ее на «охоту». И от шофера вся бригада узнала, как осветил он кусты и тут жена ему говорит: «Если мы не проедем сейчас мимо, завтра я уезжаю!». И «охота» с того дня прекратилась.

А посылал полковник за женой в Одессу своего адъютанта. Ну, не с пустыми же руками посылать, отправил с ним машину барахла. Вот погуляли, рассказывал потом адъютант. Она — сама по себе. А для него — все девушки Одессы.

Однажды полковник взял меня с собой в этой роли: адъютант заболел. Почему на меня выбор пал, не знаю, но ехали мы в Софию на какое-то высокое армейское совещание. Машина «мерседес-бенц», передние сиденья отделены толстыми раздвигающимися стеклами. Я сзади сижу. Проехали километров сто. Полковник, не поворачивая головы на тугой шее: «Откуда родом, лейтенант?» — «Из Воронежа, товарищ полковник». Вот такая содержательная беседа состоялась между нами за сто двадцать или сто шестьдесят, не помню точно, километров пути.

А уже начали присылать к нам призывников 27-го года рождения. Мы уходили в горы, ставили стереотрубу, и разведчик глядел в оба, не едет ли, не идет ли начальство. А тем временем приносили на плащ-палатке виноград: ешьте, ребята. Такие они были изголодавшиеся за войну, отъедятся по крайней мере. А учить их буду уже не я, служить в армии после войны я не собирался, мой путь — домой. Но вполне он мог оборваться здесь: меня чуть не застрелил мой товарищ Ленья Лесов. Об этом — следующий рассказ. Когда он был напечатан в журнале, пришло письмо от Лени, письмо из небытия. Первое письмо через четыре с лишним десятилетия после войны. «Мне показалось, — писал он из Мариуполя, — ты этим рассказом вызываешь меня на связь. Как бывало на фронте по телефону».

Нет уже на свете Лени Лесова, он перенес два инсульта. Нет Сашко Беличенки. А недавно не стало Шалвы Чхартишвили.

Сколько помню себя, почему-то с самого детства хотелось мне бурки. Белые, фетровые, с тупыми коричневыми кожаными носами и такими же кожаными задниками. А от носка вверх и от задника вверх — узкие кожаные ремешки, прошитые по всей длине. Такие высокие, выше колен фетровые бурки, дважды отвернутые — сначала вниз, а потом опять вверх — у нас в Воронеже носили немногие, но все они как-то уверенно ставили ногу, твердо ступали по земле. Было время твердых людей. Возможно, они мне и нравились. Но хотелось мне бурки. Прошло много лет, прошла вся война, и вот уже после войны случилось так, что я надел специально по моей ноге сшитые бурки. И даже походил в них по комнате, прошелся, поглядывая себе на ноги.

Но прежде надо рассказать историю самих бурок. В Австрии, когда еще шли бои, один из моих разведчиков приволок белую фетровую полость, говорил, что нашел ее в брошенном разбитом доме, не пропадать же, мол, добру зря. Никогда я не притрагивался к чужим вещам, пусть они сто раз брошены. Еда — другое дело, на то война. Как-то уже после войны — стояли мы тогда в Болгарии — начальник связи дивизиона, стариковатый, семейный, признался мне, когда уже было крепко выпито, что есть у него маленькая такая вещица, давно он таскает ее с собой, а стоит она... И назвал баснословную цену. А утром, трезвый, просил меня никому не рассказывать. С тех пор мы не могли смотреть друг на друга: он ненавидел меня за свое унижение, за то, что я знаю.

Был еще у меня телефонист, законченный алкоголик. Перед войной получил он срок — десять лет. Оттуда, из лагерей, попал на фронт. Война столько убила, а его, по сути дела, спасла. Но после войны, когда мы из Австрии эшелоном двигались

по железной дороге, он исчез на какой-то станции в Румынии. Говорили, что были у него золотые монеты, часы... Не знаю. Двадцать суток, пока не пропился окончательно, догонял он свой полк, не спеша. Через двадцать суток в Болгарии его судил трибунал. Поразила меня тогда его опытность. Тихий, отчужденный, стоял он перед столом трибунала, тихим голосом говорил: гражданин прокурор, гражданин начальник... Не «товарищ» — «гражданин»; этого он по прошлому своему опыту не забыл. А мы сидели под деревьями на скамьях, на земле.

За эти двадцать суток он получил десять лет, те же десять лет, что имел перед войной, как будто на войну его отпустили, как на свободу, чтобы потом на тот же срок вернулся в лагеря. Вот — эти двое. Но больше ни про кого из моего взвода слышать не приходилось.

Правда, одно время, когда перешли границу, началось повальное увлечение: велосипеды. И те, кто умел, и такие дядьки, которые сроду велосипеда в глаза не видели, катили по дорогам на двух колесах. Не все же ногами ходить, и так сотни километров ими пройдено. И вот в шинелях, с вещмешками на горбу, с котелками, с лопаткой на боку рулят изо всех сил. И пошли жертвы: то машина в темноте без фар врезалась в колонну, то кто-то сам на машину налетел — неумелого всегда влечет. И это в конце такой войны, когда уже дом близок. Командир нашего полка полковник Комардин, человек непреклонный и в действиях скорый, приказал однажды свалить велосипеды в кучу и давил их тракторами. На том кончилась в нашем полку велосипедная эпопея.

Так вот, повторяю: еда — другое дело. И конечно, оружие.

В Вене я видел подземный склад, где по рельсам катились вагонетки, и была там целая стена

ящичков одесского коньяка. На этом складе попались мне сыпучие пакетики: высыпешь в кружку с водой, зашипит, и вот готовая газированная вода. Сознаюсь, поразили они тогда мое воображение, некоторое время мы ими забавлялись.

И другой склад был в Вене. Шел бой, когда мы туда ворвались. Железные раздвигающиеся ворота, как в цеху, стеллажи по стенам, на стеллажах ящики с гранатами, пистолетами, все это в большом порядке, каждый пистолет, как бывало перед войной продавали лимоны, завернут в бумажку. Смазанные, новенькие, я разворачивал их, совал в карманы. Был я в телогрейке, в кожаной куртке и всюду, во все карманы насовал маленькие пистолеты «вальтер», то ли девять, то ли тринадцать штук.

Мы шли улицей, дым еще не рассеялся, щебень всюду под ногами, а на углу у двери пивной стоял хозяин, толстый австриец, держал в обеих руках кружки с пивом, помногу на пальцах. Рядом с ним женщина, русская, она тоже держала кружки, улыбалась тревожно: «Его не трогайте, он не обижал». А собственно, зачем нам трогать его? Мы сдували пену с кружек на пыльные свои сапоги, хозяин суетился, выносил еще, а улицы за две отсюда грохотало.

Вечером в дом, который мы заняли, набились летчики, прослышав про пистолеты. Они предлагали за них унты, настоящие меховые унты, я гордо не желал: не желаю — и все. Почему? Уже было выпито достаточно и потому — вот вы летчики, выше всех, а я не желаю. А на первом этаже дома еще лежали убитые.

Все пистолеты я потом раздарил, не таскать же на себе такую тяжесть. И «парабеллум», прошедший со мной полвойны, сдал, когда демобилизовался. Но офицерский пистолетик, скорей даже дамский какой-то, с перламутровой ручкой, привез в

Москву. И привез большой эсэсовский кинжал; этим кинжалом с одного удара я пробивал любую железную бочку из-под горючего. По молодости лет я все никак не мог проститься с оружием, война кончилась, но непривычно было без оружия, неуверенно как-то без него. В Москве тогда, по разговорам, шастали банды, какая-то «Черная кошка» объявилась, я ходил в любой час по улице и проходным дворами, и не так я этой «Черной кошки» опасался, как просто приятно было ощущать в заднем кармане галифе маленький пистолет. Но за холодное оружие давали три года, за огнестрельное — пять лет, и кончилось тем, что кинжал я выбросил, только на фотографии остался он висеть у меня на поясе, а пистолет подарил.

Так вот — бурки, от которых я что-то далеко уклонился. Принес разведчик эту белую полость, и по оставшейся войне возили ее в прицепе с батарейным имуществом. А уже в Болгарии отнес я ее сапожнику сшить бурки мне и еще маленькие бурочки моему двоюродному брату, который подросток за войну: было ему пять лет, стало девять.

Сапожник попался, надо сказать, непонятливый: никак не мог взять в толк, зачем шить бурки выше колен, если потом их отворачивают дважды? И еще сбивало это на турецкий лад покачивание головы: говорит «да», глазами, улыбкой — «да», а головой качает отрицательно. Когда же «нет», согласен кивает. Всех нас поначалу это сбивало, можно себе представить, какие недоразумения возникали, например, с девушками, с «девойками», которые «имат много морал».

Качали мы, качали головами, каждый на свой лад, но все же он вроде бы понял. А когда пришел я забирать, стоят невысокие бурки до колен, самый шик отрезал. Но все равно хороши. Принес я обе пары, маленькие поставил на кровать, на по-

душку, чтобы смотрели оттуда на меня и я на них смотрел, а большие надел. И прошелся. Прошелся я в новых бурках по школьному классу, где стояло теперь восемь или десять кроватей, а на одной из них сидел капитан Лесов, Леня Лесов, двухметрового роста красавец, смуглый, с опущенными висками и выющимися черными волосами. Он сидел на кровати, выдвинув из-под нее чемодан, и, расставя ноги, искал в нем что-то, а я прошелся перед ним, проскрипел кожаными подошвами. Надо полагать, Леня обратил бы на меня внимание, на мои бурки, но как раз в тот момент он обнаружил под бельем пистолет, про который забыл, а у стрелкового оружия вообще такое свойство: стоит взять его в руку, и сразу хочется в кого-нибудь или во что-нибудь прицелиться. Он и прицелился в меня, сидя на кровати, причем был совершенно трезвый.

— Подыми пистолет, — говорю ему и прохаживаюсь, не теряя надежды обратить все же его внимание на мои бурки.

— Дурашка! Он не заряжен.

А палец уже на спусковом крючке, уже прижимает его потихоньку. Черный глазок нацелен на меня, следует за мной.

— Подыми.

В последний миг что-то все же подтолкнуло его, поднял руку с пистолетом над собой. И грохнул выстрел, посыпалась штукатурка с потолка. Леня Лесов сидел серый, на бритых щеках, как у мертвеца, проступила щетина.

— Он не заряжен был...

Так в тот раз никто и не полюбовался моими бурками, которые я впервые в жизни надел. А мог бы и остаться лежать в них.

Тут вскоре началась демобилизация, только этим и жили мы в послевоенные месяцы. Леня Лесов, до войны — студент третьего курса какого-то

технического вуза, прекрасный волейболист, мечтал вернуться в институт, заканчивать учебу. Его отправили в армии. Комбат-шесть, то есть командир шестой батареи Старых, в прошлом — паровозный машинист, спал и видел себя офицером на всю дальнейшую жизнь. Его демобилизовали одним из первых.

О себе я не очень беспокоился: ограниченно годный по ранению, иными словами, не годный к строевой службе, я знал, очередь моя подойдет. Но тут командование полка осенило: я был вызван и мне, лейтенанту, предложили остаться служить на капитанской должности, то ли начальником ПФС, то ли ОВС. Словом, предложили ведать продуктами или портянками.

А все дело — случай. Как раз незадолго перед этим повел я батарею в кино. Теперь всюду и везде солдатам полагалось ходить строем, только строем, а строй этот должен был кто-то вести. Это в бою, на фронте не равняются с товарищами ни духом, ни плечами. В мирное время основа всего — строй, даже двое идут в ногу, а один солдат на улице обязан чувствовать себя в строю и так держаться.

Отвел я батарею в кино, кончился фильм, построил. Делается это так: «Третья бат-тар-рея, станови-ись!» — вытянутой рукой указываешь от себя направление строя. Подравнял, повернул: «Шагом марш!».

И грянули песню.

Бывает такое настроение, когда самим хочется. Вечер теплый, южный, за парком — болгарский город Пазарджик, а мы, быть может, последний раз вот так идем вместе: уже молодые прибывают служить, они сменяют нас, мы разъедемся врозь после целой войны. Я и в себе почувствовал: ждут. «Запевай!» И грянули под шаг. Идут, поют. А все на нас любуются, весь город слышит, да мы и сами про

себя знаем: молодцы! Другие батареи идут как неживые, а над нами — песня да посвист молодецкий. Уже палатки забелели в темноте, плац виден, а песня не допета. Я отпустил от себя строй: «Н-на месте!».

Командование полка тоже шло из кино, услыхало, приблизилось. Стоят в темноте, блестя орденами. И наш командир дивизиона при начальстве тут как тут, разумеется, глядит орлом: его батарея. Ему честь. Неважненький у нас в ту пору был командир дивизиона капитан Гулин. Случалось идти с ним вблизи передовой — какое уж «вблизи», если идешь в полный рост, — обязательно зайдет так, чтобы между ним и возможной шальной пулей был ты, загораживал его собой. Все это про него знали. Но война кончилась, он расправил крылья, орлом глядит из-под лакового козырька, исключительно — орлом.

Командование стояло молча на должном отдалении, я, хоть и не смотрел, а видел, чувствовал спиной. И батарея чувствовала. Нельзя себя уронить, с посвистом, с гиканьем оторвали песню. Повернул строй к себе лицом. Подравнял: «Сми-ир-на!». А у самого звонко натянулось в душе: «Молодцы! Спасибо за песню!». И слышу басовитое позади себя: «Он, оказывается, хороший офицер...». Это начался новый счет, по меркам мирного времени.

Неисповедимыми путями движется мысль начальства. Если б не тот случай, не песня, не покажи я себя в тот раз, хоть и в мыслях не было себя показывать, не пришла бы командованию идея поощрить меня: произвести строевого офицера в начальники обозно-вещевого снабжения. Я скромно поблагодарил за честь; я и вообще-то не собирался служить в армии после войны, тем более интендантом. Но еще с месяц меня продержали в полку, давали время подумать.

Только в декабре ранним утром ехал я по городу на извозчике. Всю ночь шло прощание с моим взводом, с офицерами дивизиона; теперь часто прощались. Взвод, полк, город — все спало в ранний час, меня укачивало на рессорах пролетки. Цокали подковы лошади по камням. На фронт уходил пешком, возвращаюсь на извозчике.

Холодное светило солнце, синее небо, лиловые в дымке холмы. И не оставалось даже мысли, что я, наверное, последний раз в жизни вижу это вокруг себя, никогда, быть может, не случится вновь увидеть Болгарию, город Пазарджик, где простояли мы целых полгода. Я возвращался домой. Как там, что дома, ничего этого я толком не представлял себе. Знал, что дом, в котором мы жили в Воронеже, разрушен, что и сам Воронеж лежит в руинах. Где-то в Москве как-то ютятся после эвакуации двоюродная моя сестра и тетя, у которой я жил с двенадцати лет. А ее старший сын Юра и мой брат Юра — оба 21-го года рождения — оба не вернулись с войны. И муж ее еще служит. От него шли письма из Германии. Я возвращался первым.

Помню, стоял в тамбуре вагона, открыв дверь наружу, словно так поезд идет быстрее, когда все мелькает в дверном проеме, и вместе с летящим ветром откусывал колбасу от целого круга. Мелькало и уносилось: виноградники, холмы, поля, повозки на полевых дорогах, запряженные черными медлительными буйволами. Поначалу удивляло нас, как здесь пахут на буйволах: не криком погоняют, а лежит на чапиге длинный тонкий шест с гвоздем на конце или просто заостренный (знать бы тогда, что это и есть стимул), им и колют буйвола в зад, стимулируют, а он все равно ступает не спеша, вытянув вперед слюнявую морду, положив себе на шею серые могучие рога. Вот из буйволиного мяса и была та колбаса, которую я откусывал с ветром пополам.

В Киеве поезда брали штурмом. Очереди у воинских касс выстраивались на много суток, к коменданту не пробиться — возвращаются фронтовики. И билет сам по себе ничего не значил, надо еще в поезд сесть. В этой толчее встретил я однополчан: они демобилизовались раньше, я догнал их. Они уже были опытные, трое, четверо — не один. Сорганизовались, решили действовать так: подходит поезд, одного кого-нибудь впихиваем в вагон и туда ему передаем вещи. Главное — вещи передать, а с пустыми руками пройдемся.

И вот поезд замедляет ход, за каждым вагоном — толпа военных. Бегом, не отставая, сопровождают свою дверь. Но мы действовали сплоченно. Пробились к поручням, втокнули наверх двоих, начали передавать чемоданы. Шатает толпу у дверей. Шапки, шинели, погоны. На вытянутых вверх руках проплывают вещи над головами. Вот и мой чемодан поплыл. Он приметный, скручен крест-накрест зеленым телефонным кабелем, чтоб не раскрылся. Под верхом дверного проема вижу, как встал мой чемодан торчком, качнулся и ушел в темноту. Мелькнуло на миг лицо проводника, что-то он там кричал. Ну — все. А с одним вещмешком за плечами уж как-нибудь.

Когда поезд тронулся, вагон был набит битком. Прежде всех дел закурили. Вещи теперь никуда не денутся: двери закрыты, окна и с той и с другой стороны забиты наглухо. Покурили, отдышались, начали разбирать, где чье. У одного раскрылся чемодан. Спешно сгребает в него на полу, мешая всем. И еще я пошутил некстати: мой не раскроется, мой только если за ручку взять и унести целиком. Но что-то действительно чемодана нет и нет. «Не может быть, — заверяют меня. — Никуда не денется...» И я согласен. Однако — нет. Спрашивают у меня, спрашивают друг друга: «Это какой? Зеленым телефон-

ным кабелем перекручен?». И — радостно, будто нашел: «Так я его видел!».

Ищут всем вагоном, уже ходят смотреть на меня, уже начинают сочувствовать, а это совсем плохо. Одним неловко: он передавал, у него цело, а мой девался куда-то. Кто-то, наоборот, умным себя почувствовал: вот у него не пропало. И от этого всеобщего внимания самого себя стыдно. Ты одурачен и ты же самого себя стыдишься.

Сильней всех волнуются мои однополчане, кто стоял в дверях, принимал вещи: через их руки шло, они чувствуют себя ответственными. «Пойдем проводникам морды бить!». Купе проводников перевернули вверх дном, те охотно помогали — нет нигде. И окна не открывались. И из вагона никто не выходил. И — нет. А поезд разогнался, стучат, стучат колеса, Киев далеко позади. Одни с войны едут, другие, как шакалы, перехватывают их в пути. И такое зло жжет, сюда бы их сейчас! Не вещей мне жаль, обидно! Но и вещи — тоже, бурки один раз надел, ходил по полу. Но еще больше жаль мне маленькие бурочки, брату их вез. Он — сын моей младшей тетки Фриды, она так похожа лицом на покойную мою маму — и лицом, и характером, — такая же терпеливая. Самые терпеливые те, кого жизнь много обижала ни за что, а им и постоять за себя было невозможно и за них постоять некому.

Убедился: нет чемодана, обыскали все, а продолжаешь думать, ищешь мысленно, здесь он где-то, не можешь избавиться. Вижу, как он качнулся в тамбуре на руках чьих-то, будто показал себя в последний раз, и поплыл. Знать бы, что уплывет...

Когда разобрались окончательно в вагоне и разместились, тут только и обнаружили, что нет одного нашего однополчанина, отстал в Киеве. Не смог сесть. А вещи его едут с нами. А поскольку в Москве слезал я один, а все ехали дальше, решено

было поручить его вещи мне и известить коменданта на вокзале, чтобы объявляли к приходу поездов. Вот так, с вещмешком за спиной и его вещами вернулся я домой с войны.

Замоскворечье. Незнакомый двор, в котором я никогда в своей жизни не был. Серый, обшитый вагонкой, даже не серый, а черный от дождей, от времени и копоти двухэтажный дом-развалюха. Угол обит ржавым железом. Снег до подоконника. В темноте сеней я потянул на себя дверь, попал в темноту, в запах керосиновой копоти. Еще на ощупь — дверь. Толкнул. Потянул на себя. От окна, от света, который она собой заслоняла, обернулась ко мне моя тетя, Берта Григорьевна, я не лицо ее увидел, узнал силуэт. Я стоял в шапке, в шинели, в сапогах, как мог бы стоять в двери ее сын. Если бы вернулся он, а не я. Что-то вскрикнула она, заплакала, помню только, мне нужно было согнуться, чтобы обнять ее. А вещмешок на горбу не давал закрыть дверь, уже какие-то люди, соседи толпились там, смотрели на нас. И ступить было некуда: плита, стол кухонный перед окном, топчан по стене, по другой стене — кровать, изголовьем в тот самый обитый железом угол (он промерззал насквозь), а между столом, топчаном, плитой и кроватью, как в колодце, двоим стать негде, одному из них тут же надо садиться. И я сел и первым делом начал доставать из мешка что там было: остатки продуктов, сигареты. Со всех войн всегда возвращались с подарками, а мне и подарить было нечего. Я был сейчас единственный мужчина в семье, я ехал из-за границы...

Тут я вспомнил: я же за всю эту дорогу, за все эти дни ни разу ничего не получал по продовольственному аттестату. Печенье, хлеб, сало, сахар, консервы — это же страшно много всего. Я не стал ждать, когда вернется сестренка из музыкального училища, к ее приходу я хотел все привезти.

Какая-то озябшая личность сопровождала меня через всю Москву: он подрядился на обратном пути поднести чемодан, поскольку чемодан будет тяжелым, да и города я не знал. Он трясся с похмеля, он жаждал и меня торопил. С трамвая — на троллейбус. Опять на трамвай. Прибыли. Стали в очередь. Достоялись. Но продпункты долгов своих не помнят и не возвращают никогда: не получил — не получишь. А я этот простой закон забыл. С буханкой хлеба и двумя банками консервов в чемодане — они перекатывались, в них что-то булькало — я возвращался через всю Москву. Когда дома вскрыли банку, оказались там потроха в бульоне. Но это ли потеря после всего, что унесла война.

Как-то все мчалось наспех. И через два дня вместе с сестренкой моей младшей, двоюродной, фактически — родной, мы шли в компанию встречать Новый год. Встречали его в складчину, и я, свалившийся в последний момент, нес свою долю под мышкой: бутылку шампанского и колбасу, купленные в коммерческом магазине, были тогда такие магазины, где купить можно было все, но по дорогой цене. Ее старший брат Юра и мой старший брат Юра не вернулись, нужно было время, чтобы осознать: мы, младшие, есть, живы, а их нет и это уже — навсегда. Но я все еще чувствовал себя так, словно после боя вернулся, а не с войны, словно судьба еще не окончательно разделила нас.

В последние часы военного, победного 45-го года мы с моей младшей сестренкой шли по Москве по морозу встречать Новый год.

Полтора месяца дальнейшей моей жизни я был товароведом. Контора наша, довольно странная, относившаяся к министерству лесной и бумажной промышленности, помещалась вблизи Большого Каменного моста, внизу, в Лебяжьем переулке.

Всякое учреждение должно иметь начальника, и у нас был начальник. К восьми утра, когда мы сходились, он уже сидел за столом в распахнутой шинели с желтыми, начищенными пастой латунными пуговицами, и пылала печь. Около круглой этой металлической печи, стоявшей на железном листе, собирались шоферы и грузчики и первым делом, как водится, закуривали. Шоферы были мужчины, грузчики — женщины, молодые, лет по двадцать пять, по двадцать восемь, все полные, крепкие. Тогда я еще не понимал, что полнота эта не от здоровья, а от недоедания, оттого, что много едят бесполезной, небелковой пищи. С одной из них, самой красивой и по душе хорошей, жил наш начальник, отец семейства.

Печь раскалялась быстро, уже и в гимнастерке становилось жарко сидеть, но он все так же не снимал шинели с плеч, а стену над ним украшала меховая офицерская ушанка, на которой еще виден был вмятый след от звездочки. Это были два разных человека: в шинели и без шинели. Однажды я пришел рано — сидит он в серой немаркой рубашке, сморщенный, впалогрудый, пишет что-то вкось на углу текста, резолюцию накладывает. Застыдясь себя при постороннем, он влез в шинель с подкладными плечами, облачился, преобразился — командующий сидит над картой, планирует операцию. И жаль мне стало эту грузчицу. На каком из полей войны, каким снарядом или пулей оборвало ее безымянную судьбу? Я все эти годы моих одногодков видел и тех, кто старше, а моложе нас начали появляться на фронте со второй половины войны, ближе к победе. Сколько их осталось лежать в болотах, в окопах, на подступах к каждой высотке, которые мы так трудно брали и отдавали, и брали вновь. Глядя теперь на этого семьянина и на нее — а она, в залатанной на спине телогрейке, в

растоптанных валенках, в юбке хлопчатобумажной зимой, все равно была как королева, — я впервые увидел другую сторону войны: поколения вдов, многие из которых и женами не побывали. А жизнь идет, жить как-то надо.

Обычно перед рейсом машины стояли на морозе в переулке, заслоняя кузовами свет в окнах, шоферы и грузчики курили вокруг железной печи, спешили накуриться. Отдельно от всех, за столом, начальник шелестел бумагами, писал на углах вкось.

— Та-ак, — произнес он наконец: без «так» ни одна его молитва не начиналась. — Та-ак...

И, глядя поверх шапок и голов, никого из нас как бы не различая в отдельности, выкрикивал:

— Полста двенадцатый!

Казалось ему, так авторитетней: не по имени, не по фамилии называть человека, не опускаться до этого, а — по номеру машины, к которой он приставлен. И начинался лай. Кого наряжали ехать за товаром в Тутаев, требовал, чтобы его послали в Александров, кого в Александров, кричал, что едет в Тутаев. Были тут, конечно, свои расчеты, не могло не быть, хоть я за время службы в товароведах так и не постиг этой премудрости, но больше, по-моему, просто драли глотку. Переждав время, начальник вставал, придерживая на груди борта шинели, шел к печи, нагибался, подкладывал полешко — как бы через силу и хворь, мол, глотки дерете, а полено без него и то подложить некому — и, исполнив это, возвращался на свое место, за стол, сидеть за которым было его жизненным назначением. Чем меньше человек сам по себе, тем больше в нем эта потребность возвыситься над людьми, чтобы и смотреть на него могли только с дистанции.

Любопытно было мне наблюдать мирную жизнь, от которой я отвык. Никаких определен-

ных планов на дальнейшее у меня в ту пору еще не возникало. Война кончилась, я вернулся живой, а что с собой делать, не знал и беспокойства по этому поводу не испытывал, не поселилось оно еще во мне, не гнало, не торопило, и так хорошо я себя чувствовал в жизни, как, может быть, потом уже не чувствовал никогда. Жил я совершенно один в промерзавшей до инея шестиметровой комнате, топил плиту, что-то готовил в алюминиевой кастрюле, потом она затерялась, потом нашлась, недоеденная рисовая каша в ней посинела, алюминиевый проело насквозь, и мыть кастрюлю уже не требовалось.

Комната на время досталась мне в полное мое пользование: тетя уехала в Германию к мужу, он еще служил, сестру перевела жить к подруге, и если я, допустим, не возвращался домой ночевать, фанерная ставня закрывала окно изнутри и сутки, и двое. И друзей в Москве у меня еще не завелось. Иногда мы беседовали с управдомом о жизни.

Он демобилизовался раньше, ходил, как все мы, в офицерской шинели без погон. В прошлом — танкист, он смотрел на себя в новой должности, как на фронте боевые офицеры смотрят на интендантов, но для желающего и умелого должность его по тем временам открывала много возможностей, он знал это.

Шли мы обычно в палатку в конце Пятницкой улицы, где была у него знакомая продавщица газированной воды, кивали, и она, закрасив сиропом от посторонних глаз, наливала нам под прилавком по стакану водки: почему-то, не помню уже почему, продавать водку в палатке не разрешалось. Мы выпивали, закусывали конфеткой и шли, разговаривали не спеша, садились где-нибудь на лавочке посидеть, опять шли. Хороший он был мужик и тоже не знал еще, куда себя девать. После великой

войны, которая вознесла нас, многим открыла истинную их цену, хоть мы этого еще не сознавали тогда в полной мере, трудно было найти в жизни место себе, все казалось временным. Он так и не успел распорядиться собой, погиб в том же 46-м году, и погиб до обидного глупо.

В конторе домоуправления, откуда дверь открывалась прямо на улицу, была такая же, как у меня в комнате, плита, сложенная из кирпича, с двумя чугунными конфорками сверху. Поссорясь с женой, выпив крепко со зла, пошел он ночевать в домоуправление, раскалил печь и заснул, как был, в шинели, спиной во сне привалясь к плите. Выскочил оттуда, из дыма, когда все горело на нем и тлело. И кто-то от большого ума ударил по нему струей из огнетушителя. Дважды горел человек в танке и жив остался, чтобы вот так погибнуть.

На похоронах билась лбом о край гроба жена, совершенно обеспамятевшая, ноги под ней подламывались. Открыто, никого не стыдясь, в голос ревела бухгалтерша — вдова, баба властная, резкая, на нее только глянуть, и уже можно сажать. Многие от нее зависели, шли к ней с подношениями немалыми. Когда грузовик трогался со двора, она спешно сунула под плоскую подушечку, под холодный его затылок, какие-то листки: молитву, переписанную от руки, как после я узнал. Вот так оборвалась судьба. Война кончилась, но в людях все еще длилась.

Однако наш начальник, хилый с виду, заряжен был жить долго и утверждался в жизни. Обычно перед рейсом он инструктировал меня особо, поскольку был я на этой работе человек новый, как говорят у нас, и в товарах, которыми мне полагалось ведать, не понимал ровным счетом ничего: «Ты не очень, понял, не очень с ними! Ты гляди, гляди, а поглядывай!.. С ними знаешь как?.. Вот именно

что!...». И почему-то при этом хмуро смотрел вслед грузчице, с которой жил. По привычке ни одну фразу он не договаривал ясно, а означать это должно было вот что: пока носят со склада и грузят тюки и ящики, мне надлежало стоять с листом бумаги и, глаз не спуская, считать, отмечать, чтобы потом все сошлось.

Девчата эти молодые, у которых вся жизнь впереди, грузили на себя прямо-таки бесстрашно. Только, бывало, спросит одна другую: «Резко тяжело?» — и несет, сомкнув за спиной руки под грузом или за угол придерживая одной рукой через плечо, вся согнувшись. И вот офицеру в недавнем прошлом стоять начальником и смотреть на них? Тут нужен был особый характер. Однажды раненная моя, бессильная рука не удержала, и перед самым кузовом машины, когда оставалось только повертиться и спиной поддать груз вверх, тяжелый ящик съехал с меня, оборвав хлястик шинели, ударился углом и раскололся. Следи я тут во сто глаз, пока собирали, я бы все равно не уследил. Но все сошлось. И всегда сходилась, хоть, видел я, девчата себя не обижают: спокойно вынув из-за пазухи тряпочку какую-нибудь или тоненькие чулки, разглядывают их на обратной дороге, советуются: ничего этого в ту пору было не купить.

Вот ехали однажды зимой за товаром, и шофер взял попутно пассажиров с грузом, это был его законный заработок. Чаще всего я тоже забирался в крытый кузов, тепло было с девчатами в веселой их толкотне, но в тот раз сидел в кабине, смотрел на зимнюю дорогу перед собой и ехал бы так, ехал хоть в Тутаев, хоть в Александров, а если во Владивосток, так еще лучше.

Я не вылезал из кабины, пока шофер договаривался: при этом разговоре свидетель ни к чему. Спустя время слышно стало, как в кузове за спиной

застучали по доскам, грузили что-то. Баба в коричневой шубе суежилась около чемоданов на снегу, и стоял прямо высокий человек в офицерской шинели без погон, курил, не вынимая папиросы изо рта. В круглое боковое зеркальце он был виден мне со спины, ветер полоскал полы его длинной шинели, закидывал назад рукава; я еще подумал: должно быть, шинель наброшена, а — мороз. Потом видел мельком, как баба под спину подсаживает его в кузов.

Мотор перегревался, в кабине тепло было лицу, я задремал. Проснулся оттого, что машина стояла, слышны были громкие голоса. На этой дороге и прежде останавливали: милиция ловила спекулянтов, ловила и отпускала, получив мзду. В таких случаях шофер сам шел договариваться, заранее нес в руке. Но что-то слишком уж долго скандальным голосом, каким скликают толпу на улице, кричала баба:

— Ты кого трясешь? Кого трясешь?..

Я вылез.

— Выгружай! — говорил милиционер непреклонно и указывал на дорогу. Он стоял позади машины, а в кузове баба расстегивала на рослом человеке шинель, спешила.

— Ты вот кого трясешь, гляди!

Шинель упала с плеч, человек легко прыгнул вниз на сильные ноги в хромовых сапогах. И стал перед милиционером: китель с тремя орденами расстегнут, красная на морозе грудь, два пустых рукава по бокам. Он шевельнул в них короткими обрубками, рукава поддернулись навстречу.

— И ты его трясешь? А совесть у тебя осталась? — в голос разорялась баба. И слезала вниз в коричневой своей шубе мехом наверх, как медведица лезла. — Пушай, пушай расстёгивает чемойданы, прикажи ему! А руки ему дашь?..

А тот стоял, слов не роняя, твердо стоял распахнутой грудью на ветер, на фронте он ею не чемоданы заслонял. И милиционер сдался:

— Езжай! — и рукой махнул. Руки у него были обе.

Потом мы сидели в чайной за одним столом. Километров двадцать с небольшим отъехали и зашли в чайную, мы и прежде здесь останавливались не раз. Скинув с себя шубу нагретой подкладкой наверх, баба мигом смоталась к стойке, принесла сто пятьдесят граммов водки в потном граненом стакане, это она прежде всего стукнула перед ним. Я хотел помочь ему выпить, но он сам привычно зубами за край поднял стакан, вылил в себя водку, только кадык вздрагивал на вытянутом напрягшемся горле. И поставил на место. Сидел, ждал. Один глаз его заслезился, другой, с рассеченным помаргивающим веком и синими порошинами вокруг, глядел грозно. Как на часах при взрыве останавливается время, так в этом его глазу, в незрячем разлившемся зрачке осталось былое, грозное, и уж — до конца дней.

— С какого фронта? — подбородком снизу вверх качнул он на мою шинель.

— Третий Украинский.

— А меня... под Кенигсбергом. — Глаз смигнул несколько раз кряду.

— Пехота? — спросил я.

Он гордо расширился в груди.

— Командир батальона. Комбат!

И требовательно оглянулся. За всеми столиками кланялись тарелкам головы из воротников (полушубки, ватники здесь, как правило, не снимали, только шапки скидывали перед едой), дальше к стойке — гуще народу, пар над людьми.

— Лизка!

Зеленая вязаная кофта замелькала меж столиками. В двух руках баба несла тарелки. Одну, с

борщом и ложкой в нем, поставила себе, другую — макароны и плоская котлета сверху — ему. Ни вилки, ни ложки там не было.

— Борща взять?

Он качнул головой резко.

— Неси еще! Ну!

Опять замелькала меж столиками зеленая вязаная кофта, удаляясь. Я уже доел свой борщ, ложка у меня освободилась. Я отряхнул ее.

— Если не побрезгуешь, помогу?

Он медленно покачал головой, как человек, знающий порядок и меру во всем.

— Не надо!

В нем разгибалось достоинство: хмелел, выпито было на старые дрожжи. И начал есть, губами с тарелки всасывая в себя макароны, встряхивал головой, откусывая от котлеты. Ордена его стучались о край стола, увесистей других ударялся тяжелый орден Александра Невского. Этот, младший в ряду полководческих орденов, давали не за одну смелость, представлять к нему могли за удачно проведенную операцию.

Опять вернулась баба, поставила перед ним граненый стакан, опять унеслась, привычно лезла без очереди в самую тесноту. Так же — стакан в зубах — он выпил. И даже рот утереть было нечем.

— Жена? — спросил я, кивнув на ее тарелку с борщом, от которого еще шел пар.

Грозный глаз его глядел в упор, мешал он мне: все тянуло в него смотреть, а не в тот, зрячий.

Он вдруг поозирался быстро.

— Достань!

И подбородком открывал борт кителя, оттягивал нетерпеливо.

— Во внутреннем кармане, там... Залезь!

Обрубки его рук дергались в рукавах.

Я залез во внутренний карман, тоже зачем-то заозиравшись, рукой ощутил, как там, в тепле, сильными толчками бьется его сердце.

— Ну! — торопил он.

Я вынул на стол теплый его теплом бумажник.

— Раскрой! Вон фотокарточка, видишь?

За обсыпавшийся уголок я вытянул из бумажника, из справок с печатями помятую фотографию: молодая женщина обняла за плечи двух девочек, они, как зайчата, склонились с обеих сторон бантами к ее голове.

— Покажи!

Я держал фотографию перед ним, а он смотрел.

— Не вернулся я к ним. Вышел из госпиталя... пожалел их. — Обрубки его рук дернулись в рукавах. — Вожу вот барахло с ней. — Он пнул под столом чемоданы. — Вожу!.. Чуть что — меня вперед! А мне что?.. Могу заслонить.

Ноздри его расширились, из распахнутого кителя выставилась грудь. Не много оставила ему война: один зрячий глаз, когда-то грозный, а теперь пьяный, мокрый, и сильное мужское тело.

— Прячь! —дохнул он испуганно. — Быстро!

Все само собой получилось, как будто мне что-то подсказало: я сунул бумажник ему в карман, а фотографию, как была она у меня в ладони, прижал под столом к колену. И сидел так.

— Я тебе еще раз котлету с макаронами взяла, — умильно говорила его сожительница. В одной руке она держала две мелкие тарелки со вторым, другой зажала сверху стаканы, в них поплескивалась водка, по сто грамм в каждом. Поставила на стол, утерла потное лицо. — Ладно уж, и я с тобой выпью.

— Борщ остыл, пока ходила, — грубовато бормотал он, а голос был не свой, виноватый, испуган-

ный, женщина почувствовала что-то, взгляделась в него, в меня.

— Опять людям показывал? Опять сам глядел? А что говорил? Что обещал? Обещал или не обещал? Порву! Ту порвала и ету порву!

И выворачивала у него из карманов на стол, что было там, лезла под китель. На них уже смотрели от других столиков, не встречал никто. По пьяному делу всякое бывает, пропил небось деньги, а она теперь ищет по карманам. Расстегнутый — вся душа наружу, — сидел он, пока его обыскивали при людях.

Я отдал ему фотографию в туалете, куда мы пошли с ним вместе, поглубже засунул ее в бумаги. Помог справиться с остальными делами, и даже тогда не подумал, что у этой бабы, которую хотелось убить, что у нее тоже есть своя правота. А когда застегивал китель на этом рослом человеке, столкнулся с ним взглядом. Единственный его глаз смотрел неприязненно, отпихивал от себя.

Ни разу не обернувшись, он пошел, распрямив плечи, на полголовы, на голову выше многих. Нам тоже пора было ехать.

Больше я никогда его не встречал. Одни с тех пор выросли, стали взрослыми, другие давно уже успокоились. Но иногда я продлеваю судьбы, мысленно складываю их по-иному, не так, как сложила их жизнь. И вижу, нет у меня права судить даже ту бабу. Когда-то и она, девочкой, клонила голову к надежному материнскому плечу, а всей ее жизни я не знаю. Но чем дольше живу на свете, тем непостижимей для меня глубина простых этих слов: не судите, да не судимы будете.

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР

И все же что-то с собой надо было делать в непривычной мирной жизни, не оставаться же навек това-

роведом. Я уже начал писать понемногу, скрывая это, как что-то стыдное. Честолюбивые мечты меня не одолевали, но по ночам, заслонив изнутри окно ставней, я сидел и писал, зачем-то мне это было нужно. Впрочем, первый свой рассказ я написал еще в Болгарии. Жили мы в школе, кровати стояли в бывших классах, пустого времени было много, хоть задери ноги на спинку кровати, руки под голову и смотри в потолок. Разумеется, много пили и не рюмками, а стаканами, перед обедом в офицерской столовой наливали полный стакан до краев. Однажды ни водки, ни вина не оказалось в буфете, был только ликер, густой и сладкий. Ликер так ликер, выпили его перед борщом. Болгары в корчмах только головами качали, глядя, как мы наливаем по стакану. Они пили маленькими стопочками, не спеша часами беседовали о том, что и как будет после войны.

В городе Пазарджик, где мы стояли, был кинотеатр, фильмы шли в основном американские, и в темноте при мерцающем свете экрана слышалось поцокивание языком и тяжкие вздохи: «Дрехи, дрехи...». Это в очередной сцене актриса раскрывает шкафы во всю стену и под ноги ему швыряет наряды: ничего ей не надо, она уходит от него... И летели по воздуху и падали на пол к его начищенным ботинкам — какие платья! какие шубы!.. «Дрехи, дрехи!..». В нищей по тому времени Болгарии такие наряды можно было увидеть только в мечтах да в кинотеатре. И в этом же кинотеатре я впервые увидел «Золотую лихорадку» Чаплина.

Однажды в Пазарджик приехали писатели: Илья Эренбург и Борис Полевой, как говорилось тогда — посланцы Советского Союза. На втором этаже кинотеатра был балкон, с этого балкона они обращались к болгарам, мы тоже стояли в толпе. Полевой говорил много и страстно, прижимал руки

к сердцу и от сердца простирали их к людям внизу, но его никто не знал. Эренбург с полуприкрытыми веками выглядел сонным. Он сказал несколько фраз, одну я запомнил: «Москва далеко, но она близко, она вас видит, помнит и никому в обиду не даст». Площадь перед кинотеатром взорвалась восторгом, и заплясали портреты Эренбурга над толпой.

Через девятнадцать лет Илья Эренбург, Борис Полевой с женою и я — вот такая была делегация — поедем по приглашению чешских и словацких писателей на двадцатилетие Словацкого восстания. Чехо-Словакия (так писалось до войны) была оккупирована немцами, но в Словакии режим был значительно мягче. Повсюду с огромного плаката улыбалась словацкая девушка в национальном наряде и в венке из полевых цветов, будто Словакия сама присоединилась, стала, так сказать, младшей сестрой. И тем не менее в Словакии в 44-м году вспыхнуло восстание против немцев, жестоко подавленное. Здесь Полевого знали, во время восстания он был сброшен сюда на парашюте, бывшие партизаны жали ему руку, братские объятия, ночные партизанские костры, мясо, жаренное на огне, вино, сливовица. А в Банской Быстрице, теперь уже как памятники, стояли печи, в которых отжигали известняк. В них, в пылавшие тогда печи, в огонь, немцы сбрасывали пленных партизан. Я еще заглянул сверху в жерло печи. И победа, и жизнь, и слава — все это достается тем, кто остался жив. Мертвым — память, пока живы те, кто их знал и помнит.

В один из вечеров за полночь засиделись у меня в номере гостиницы в Низких Татрах чешские и словацкие писатели, говорили о войне, о литературе, сливовицы было много, пила она хорошо. Потом чехи ушли, и словаки сказали: не верьте им, почти весь бюджет страны идет в Чехию, а словакам не достается ничего. А я уже видел в эти дни словац-

кие деревни, великолепные, недавно построенные дома, о которых в наших деревнях могли только мечтать. Потом поднялись и дружно ушли словаки. Но один человек остался. Весь вечер он молчал. Теперь, когда ушли и чехи, и словаки, он сказал мне: не верьте им обоим. Они вместе угнетают нас, русинов...

В Праге мы жили в гостинице «Алькрон», старую эту гостиницу любил Эренбург. Номера наши были рядом, он звал меня к себе и рассказывал, рассказывал... На фронте его статьи читали как сводки Информбюро, а ничего значительней сводок тогда не было. На улицах Праги, увидев его, и чехи, и наши туристы останавливались, как громом пораженные, смотрели вслед, себе не веря. А он настолько привык к своей известности, что, казалось, не замечал ее. В музее, пока он стоял перед картиной, люди подходили и прямо в лицо фотографировали его, он и это как будто не видел. И вот до двух, до трех часов ночи он рассказывал мне вещи поразительные, ему не спалось, ему требовалось выговориться, возможно, в чем-то и оправдаться перед самим собой, и не только перед собой: сложная и долгая жизнь прожита, он говорил, говорил, я понимал, это надо записывать, но за день столько выпито, столько встреч, что я сидел и боролся со сном. Он был уже стар, мышцы щек ему не повиновались, от этого выражение лица не всегда совпадало с тем, что он говорит.

Каждому из нас за книги, изданные здесь, выдали гонорар. Эренбург всю свою немалую пачку денег отдал переводчице: «Что можно здесь купить женщине, которая полжизни прожила в Париже?». А я накупил подарков семье, родственникам, знакомым — тяжкое это занятие — ходить по магазинам, дома это делает жена. И вдруг, перед самым отъездом, пришли из военного издательства, где должен

был выйти мой одноклассник, предложили остаться еще на неделю, на две в этой же гостинице, они вы- платят мне гонорар, весьма немалый, будут встре- чи... И я представил себе: опять ходить по магази- нам, опять весь этот круг. Нет, ребята, сказал я, луч- ше я приеду в следующий раз, тогда и заплатите мне за книгу. Но потом был 68-й год, наши танки — в Праге... Приехал я через тридцать с лишним лет по- сле той встречи, многих, кого я хорошо знал, не бы- ло — уехали из страны, и не было Чехословакии, бы- ли отдельно: Чехия и Словакия. И хотя паспорт у меня был Советского Союза, такой страны тоже не было.

Но в том, в 45-м победном году, когда в бол- гарском городе Пазарджик я стоял в толпе, золотые погоны на плечах, фуражка с лаковым козырьком (все это срочно изготавливали нам болгарские ремес- ленники), смотрел вверх на балкон, откуда говори- ли Полевой и Эренбург, мог ли все это представить, предвидеть? И рассказ свой первый я написал не потому, что мнил себя в дальнейшем писателем, а потому, что томило желание рассказать, но не ста- нешь же рассказывать про войну тем, с кем вместе воевал. И я, выбирая время, когда никого нет в ком- нате, в бывшем школьном классе, написал этот рас- сказ. Как ни странно, он у меня сохранился: вполне беспомощный, подражательный не кому-то кон- кретному, а литературе вообще. Но подробности точные. Да как им не быть, точным подробностям, когда все еще так живо перед глазами.

В дальнейшем, в Москве, я отнес его Васи- лию Гроссману. Почему Гроссману? Я читал его ро- ман «Степан Кольчугин», меня поразили его очерк «Треблинский ад». Я узнал номер его телефона, по- просил разрешения и пришел. Ходил я тогда в хро- мовых сапогах, в галифе, в гимнастерке, орденская планка над карманом. Почему-то думалось: вот

приду, он усадит меня, начнет расспрашивать про войну... Ничего этого не случилось. Он взял рассказ, сказал, когда снова прийти. И я пришел. «Ну, что я вам скажу... Пишите. Может, получится, может — нет». Вышел я в полном недоумении, а между тем это было самое мудрое, что он мог сказать. И вот странная вещь: писателем я себя даже в отдаленном будущем не мыслил, но пошел к занятому человеку, надо мне было, чтоб он что-то сказал. Наверное, рукопись сама обладает этим свойством: кто-то должен ее прочесть.

И вновь скажу: жизнь непредсказуема, не надо ни торопить ее, ни стремиться заглянуть вперед, как заглядывают в конец книги. Пройдут годы, и мы окажемся в одном доме, и даже в одной подъезде. Но я уже не тревожил его своими рукописями. Зимой вечерами он обычно выходил пройтись: в длинной, чуть не до шиколоток, шубе, и это особенно было заметно, потому что носили тогда короткие; подняв воротник, как бы заслоняясь им, только очки поблескивали оттуда, он шел весь в своих мыслях. Однажды я попался ему навстречу: он — из дому, я — домой. «Добрый вечер» — «Добрый вечер». И, взглянув пристально, он сказал, что прочел мою повесть «Пядь земли», сказал, что это уже не наблюдение, а исследование.

Пройдут еще годы, и в числе немногих, пришедших на похороны в «Дом Ростовых» на улице Воровского (ныне, как и в прежние времена, улица Поварская), я буду выносить его гроб. Ни популярным, ни широко известным он не был. Это был один из самых глубоких, самых значительных писателей нашего времени.

Лето 46-го года. Иду я по Тверскому бульвару в сторону памятника Пушкину, он тогда еще стоял на бульваре. И вдруг читаю: «Литературный ин-

ститут». Оградка симпатичная, памятник на пьедестале во дворе, кому — не знаю, липы, а в глубине — дворянский дом в три этажа. И у входа в него толпится молодой народ, есть там и в гимнастерках, курят, разговаривают. Любопытно мне стало. Зашел. Сигареты у меня были болгарские, к ним потянулись. Курим, разговариваем, одна девица, так скажем, эмансипированная, спрашивает: «А что вы творите?». Ндаа... Но понравилось мне, что много фронтовиков поступает на первый курс. И я подал заявление, тот самый рассказ и несколько глав чего-то обширного и бесформенного, что смело назвал романом (через восемнадцать лет я напишу свой первый роман «Июль 41 года»). Фронтовики в тот год принимали легко: что, мол, с них требовать, они свои экзамены сдавали на войне.

В дальнейшей жизни я несколько лет вел в Литературном институте семинар по мастерству, мне просто было это интересно: здесь когда-то я учился. Могу сказать, с таким рассказом, с такими главами я бы не взял к себе в семинар. Поступали люди, подававшие надежды, да что-то в дальнейшем из большинства из них ничего не вышло.

Так вот меня приняли. И вернулась прерванная войной юность: зачеты, экзамены, романы — не те, что пишут, а те, что в жизни. Стипендия на первом курсе была двести двадцать рублей. Не знаю, с чем это сопоставить ныне после всех деноминаций, девальваций, после того, как деньги столько раз обесценивались и до сих пор никак не наберут силу. Но тогда карточки хлебные и продуктовые значили больше, чем деньги. И еще важно было, к какому магазину ты прикреплен. Был даже анекдот: земля круглая, почему люди с нее не падают? Потому что каждый прикреплен к магазину.

Лето 47-го года было жарким, сидим мы в актовом зале без рубашек, человек пять, ну, прямо

как на картине Репина «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану», общими силами одолевает «Введение в языкознание». И входит Александр Александрович Реформатский, он у нас вел этот предмет: «Учите? Какие молодцы! Пошли бы лучше пива холодного выпили». Сам он это дело любил, иной раз даже нос припудривал. Но и нас уговаривать не надо. В конце Тверского бульвара, окнами на Пушкинскую площадь, стоял бар. Теперь весь этот квартал снесен, на месте его разбит сквер, гранитные ступени, гранитные полированные чаши для цветов. А тогда не было уютней места, чем этот бар на Пушкинской площади. Подавали в нем к пиву сосиски с тушеной капустой, не нынешние, а те, настоящие, ткнешь в нее вилкой — брызжет сок. И — вобла. Побьешь, побьешь ее о край мраморной столешницы да и сдираешь шкуру с чешуей. А в брюшке — икра. И раки здесь бывали. В дни стипендий первым делом шли в этот бар. Еще и потому здесь все такое вкусное, что ведь голодные мы были. Так вот, Реформатский сказал, и мы устремились. И на экзамене у него все подряд получили тройки. Потом ходили пересдавать. Мне эта наука тяжело давалась. Вот Реформатский в своей работе «Введение в языкознание» цитирует Фортунатова: «Далее Фортунатов рассматривает взаимодействие различного типа знаков в языке, что перекликается с его учением о форме слова, с его пониманием значения: он говорит о таких «принадлежностях звуковой стороны языка, которые сознаются (в представлении знаков языка) как изменяющие значение тех знаков, с которыми соединяются, и потому, как образующие данные знаки из других знаков, являются, следовательно, сами известного рода знаками в языке, именно знаками и так называемыми формальными значениями; неформальные значения знаков языка в их отношении к фор-

мальным значениям языка называются материальными... или так же реальными»».

Выучить можно и это, память еще свежа: выучить, запомнить, сдать и забыть. А такие у них там шли ученые споры, такие разворачивались сражения, пока гром не грянул: в газете появилась вдруг заранее гениальная сталинская работа по языкознанию, он и тут лучше всех все знал. И смолкли дискуссии, определилось мгновенно, кому жить и дышать, и гарцевать на коне, а кто — коню под копыта.

Стоим мы в тот день во дворе института, курим на перемене, идет наш Александр Александрович, порозовевший с утра, весь сияет — очки, глаза, — бородку мягкую поглаживает, водочкой от него на расстоянии попахивает: я сегодня за товарища Сталина сто грамм выпил! Он оказался в группе победителей, ему дышать дозволялось. А шепотом передавали тайное: автор гениального сталинского творения — академик такой-то (называли известную фамилию), он написал эту работу по языкознанию, которую Сталин увенчал своим именем. И можно было представить себе, как затаился в страхе бедный академик: да если до высочайших ушей дойдет этот слух, его же в лагерную пыль сотрут.

Легче всего было сдавать экзамены профессору Шамбинаго, он читал у нас древнерусскую литературу. Все знали свод правил: говорить надо не «былины», а «старгины», говорить «только не к Пересмяте», но самое главное на экзамене — вовремя его отвлечь. Приходил он в прорезиненном, засаленном по воротнику плаще. Надо думать, зимой он не плащ носил, но помнится он мне именно таким: сидит в плаще, поставив суковатую палку между колен, читает лекцию да вдруг спросит, обведя глазами аудиторию: «Голубки, а в каком я институте?» Он и в университете, и в педагогическом ин-

ституте читал, а свою докторскую диссертацию он защитил еще в одна тысяча девятьсот пятом году. Когда в наше время зачем-то потребовалось подтвердить это документально, оказалось, и документов не уцелело после всех революций и потрясений, и живых свидетелей отыскать не просто, и платили ему как обычному преподавателю. И так же, как мы, студенты, был он прикреплен к столовой Дома литераторов, где обедали по карточкам. Он брал к этому сиротскому обеду стопку водки по коммерческой цене, и однажды обнаружилось, что ему слишком уж явно недоливают, он огорчился, как дитя, будто впервые осознал, что и на это человечество способно.

Помню, пришли мы вчетвером к нему домой сдавать экзамен. Он стар, одинок, вещи в доме старые, на книжных полках и в шкафах — старинные издания, полные собрания сочинений Тредиаковского, Сумарокова. Из Тредиаковского сразу приходит на память:

*Стоит древесна,
К стене примкнута,
Звучит прелестно,
Быв пальцем ткнута.*

Шамбинаго диктует вопросы, записываем, начинаем отвечать, и тут, заранее зная его реакцию, один из нас спрашивает наивно: а чей перевод «Слова о полку Игореве» лучший? Мой! А вот Югов пишет, что лучший перевод — его. Югов — дурак! И он начинает говорить о «Слове», и мы выслушиваем лекцию, да какую лекцию! И забыв, что говорил он, а не мы, он остается вполне доволен нами: давайте ваши зачетки.

На экзаменах у нас принцип был один: не важно знать, а важно сдать. Философию мы сдаем по Краткому философскому словарю, большего от

нас и не требовалось, а в дальнейшем каждый все добирал сам. Но назубок полагалось знать партийную библию «Историю ВКП(б)», все партийные съезды наперечет, все победы над антипартийными блоками и уклонистами: «били налево, били направо, шли прямо...». Не только мы или, скажем, физики, математики, но и будущие балерины обязаны были заучить это и помнить, хоть ночью разбуди: как же она будет вращаться на носочке без марксистско-ленинской подготовки? А преподавали все это старый большевик Ветошкин, сказать о нем нечего, еще — Шестаков, тоже светлой памяти о себе не оставил, и хорошая толстая пожилая тетка Солзири. Ей бы, если — по душе, сидеть дома да вязать на спицах шерстяные варежки, свитера, как чудно вяжут у них в Прибалтике, но нет, жизнь распорядилась иначе: она читала нам лекции и не раз говорила, что у нее уже готова кандидатская диссертация, оставалось только «выпитить главную идею и пронизать красной нитью...».

Известный ныне критик и литературовед Бенедикт Сарнов, а в то время — мальчик, поступивший в институт прямо после школы, таких только двое было на нашем курсе, вышел из библиотеки, неся многие тома «классиков марксизма-ленинизма», и сказал, что вот, мол, они столько понаписали, а ему — учить... Это было тут же донесено, его исключили из комсомола и следом — из института. Двоих стукачей на нашем курсе мы знали. Оба они писали стихи, у одного мать работала в поликлинике НКВД, не исключено, что через нее и был он зарканен. В дальнейшем ничего из него не вышло, пил, возможно, совесть свою заливал вином. Другой, в прошлом кремлевский охранник, никаких мук совести не ведал, вместо совести там был залит железобетон. Но полагать, что на курсе, где училось двадцать человек, всего два осведомителя, это, ко-

нечно, слишком наивно по тем временам. Были, кроме того, и добровольные доносчики. Случилось так, что по дороге в институт я забыл бросить письмо в почтовый ящик. Спыхватился уже в институте. Как раз в этот день секретарь отправляла почту, я попросил заодно отправить и мой конверт. Но путь его оказался долог. Будущая детская писательница, воспитатель детских душ, Перфильева заинтересовалась моим письмом, вскрыла конверт, прочла греховные мои мысли. А писал я приятелю о том, что ни я, ни кто-либо из моих однокашников писателем, конечно, не станет, писатель — это нечто высшее. И пошел ректору института гневный донос: вот, мол, какие люди учатся в нашем Литературном институте, возмущалась Перфильева, вот кто зря занимает здесь место. Прожив жизнь, я и теперь не понимаю, не могу понять, что движет такими людьми, что толкает их под руку? Ректором института в ту пору был Федор Гладков, он терпеть не мог, когда студенты величали себя: я — поэт, я — драматург... И донос не возымел действия.

Вообще Гладков имел виды на наш курс: фронтовики. И на отчетно-выборном партийном собрании он подходил к каждому из нас, дышал в ухо: надо избрать в партком представителя райкома. И указывал в президиум. Там уже сидела, привезена была на трон мужеподобная баба. И вот она станет секретарем парткома института. Нам это не понравилось, жив еще был в нас вольный дух. Мы не избирали в партком ни ее, ни его. Ректор — не член парткома, такого быть не могло. И Гладков подал в отставку. Шофер передавал его слова: «Вместо адреса студенты поднесли мне пощечину...».

Но самой колоритной фигурой в институте был заведующий военной кафедрой полковник Львов-Иванов. Партизанский командир времен гражданской войны, он сохранился в первобытном

состоянии, был простодушен на удивление, а когда выступал на собраниях, радовал всех. Он говорил: «Захожу в мужскую уборную, на стене — хэ, у и другие буквы...». И недоумевал: почему смеются? Он говорил: «Захожу в мужское общежитие, сидит Мандель без штанов. Захожу в женское общежитие — та же картина...». И опять — общее веселье.

Лекции, собрания, отметки — все это в нашем институте было не главным. Главное — так называемый творческий семинар. На нем и определялось, кто ты и что ты. После первого курса отчислили из института демобилизованного майора, сильно искалеченного, он хромотал, весь перегибаясь. Был он в семинаре поэтов. Год прошел, а он что-то ничего представить не может, ни одного стихотворения. И тут выяснилось, что поступал он в институт со стихами Тютчева, подал как свои. Не заметили. Приняли.

На втором курсе я попал в семинар Константина Георгиевича Паустовского. Я не был его любимым учеником, хотя, по всей видимости, отзывался он обо мне неплохо, уже со второго полугодия я получал творческую стипендию имени Алексея Толстого: четыреста восемьдесят рублей. А тут слово руководителя семинара было решающим. Он был удивительный рассказчик, увлечется и рассказывает, рассказывает, да так зримо, точно, еще и пальцами вылепляет в воздухе. Не беда, что он уже рассказывал нам, как путешествовал по Кавказу, попал к сванам, заново он рассказывает еще лучше, не повторяясь. Возможно, и присочинит что-то, скорей всего — присочинял, но это было прекрасно. Мне нравился его рассказ «Телеграмма», а еще ярче он написал о том, как писал рассказ «Телеграмма».

У меня Константин Георгиевич определил сильное влияние Бунина. Я не возражал, мне стыдно было признаться, что Бунин тогда, в 47-м году, я

еще не читал. До войны ни у нас дома, ни у знакомых книг Бунина не было. Теперь я старался наверстывать, но много надо было наверстать. Для меня в семинаре Паустовского самым ценным была атмосфера порядочности, а уже начинало сгущаться в воздухе, люди подлели на глазах, и эталоном в литературе был не Бунин, а Бабаевский, его роман «Кавалер Золотой Звезды», удостоенный Сталинской премии I степени. Такая премия, такое официальное признание сразу переводили человека в разряд неприкасаемых, избранных, все мыслимые блага жизни обрушивались на него. И Бабаевский делился опытом на страницах «Литературной газеты»: никак, мол, не поспеваю за жизнью, только написал в романе, как они построили электростанцию, а жизнь опять опередила меня, в колхозе уже — глядь — кирпичный коровник стоит. В следующем романе, где и коровник был отражен, кавалер Золотой Звезды, главный герой длившейся эпопеи, смотрит в областном театре пьесу, про кого б вы думали? Про себя. Пьеса так и называется: «Кавалер Золотой Звезды». Был, правда, в прошлом пример: Клим Самгин смотрит пьесу «На дне». Но пьеса «На дне» была действительно знаком времени, и все же лучше бы Горький отправил его смотреть какой-либо другой спектакль, дурные примеры заразителны.

Уже в брежневские времена принес Бабаевский в журнал «Октябрь» повесть, и редактор, который работал с ним, потерял три страницы текста: возможно, упали со стола и с ненужными бумагами были выброшены. И никто, ни корректор, ни редактор, ни ответственный секретарь, который вычитывал верстку, никто не заметил потери. Все сошлось. Заметил автор. Но не по тексту, хотя он тоже читал верстку, а по расчетам: он заранее точно подсчитал будущий гонорар, а заплатили чуть

меньше. Тут-то и выяснилось: трех страниц не хватает.

Атмосфера порядочности, чистого русского языка — вот что было главным в семинаре Паустовского. И это влекло. А вели в то время семинары в институте и Константин Федин, великолепный барственный артист, и Леонид Леонов, без пяти минут классик.

Внешне Константин Георгиевич казался человеком мягким. Но помню, с какой личной болью, прямо-таки убийственно, сказал он одному из студентов: «Как можно в стране, где писали Гоголь, Чехов, писать таким канцелярским языком?..». Я уважал Паустовского, но учился я не у него, богом моим был Лев Толстой. Много лет спустя, когда мы с женой ждали дочку, я принес ей том Паустовского из его шеститомного собрания сочинений, и соседка по палате, увидев, пришла в восторг: «Паустовский! Какая прелесть! Дадите почитать? Я недавно читала это, ничего не помню. С удовольствием прочту еще раз».

Но все это — позднейшее. А пока... Есть вещи, которые запоминаются на всю жизнь. В декабре 45-го, демобилизовавшись, я возвращался домой из Болгарии. По всей России лежали снега. И вот мелькнуло: сгоревшая деревня, засыпанная снегом, печные трубы, а день солнечный, морозный. И полное безлюдье. Только двое детей, мальчик и девочка, закутанные, завязанные во что было, двуручной пилой перепиливают бревно. Мелькнуло в окне, исчезло и осталось в памяти. Нам, вернувшимся с войны живыми, многие годы предстояло жить памятью о тех, кто остался там навечно. Они как бы оставили нам завет, давали смысл жизни и силы, и все познавалось в сравнении. И беды, и трудности переживали не так, как переживают их в мирное благополучное время. Да оно еще и не настало, мирное время,

мы жили в послевоенное время, которое все больше становилось предвоенным.

В 47-м году демобилизовался мой дядя, майор медицинской службы, вместе с тетей они вернулись из Германии, и вот мы четверо — в шестиметровой комнате. По одной стене, головой к тому углу, который зимой промерзал насквозь, — полуторная кровать, на этой кровати они спали, по другой стене (да не стена, тонкая перегородка, отделявшая комнату от общей кухни) — топчан, односпальный матрас на ножках, на нем спала сестра, у окна, загораживая его наполовину, потому что дом врос в землю, — кухонный стол, у двери — плита с двумя конфорками, на ней готовили, и занимала она не меньше метра площади. В узком проходе между кроватями — люк погреба, мы вырыли его под полом, туда на зиму ссыпали картошку. Вареная картошка с кислой капустой, с луком, с постным маслом — казалось, лучше этого нет ничего и быть не может. И вот когда все укладывались на ночь, я клал фанерную ставню поперек комнаты над люком: одним краем — на плиту, другим — на кровать, и дядя и тетя спали, поджав ноги. Плита была выше кровати, ставня лежала наклонно, случалось, среди ночи я сползал к ним вместе с тюфяком и вновь взбирался. А они были еще не старые люди: тете не было пятидесяти, дяде — едва за пятьдесят. Как они терпели меня? И это — после особняка, в котором они жили в Германии, после всех удобств...

Об общежитии я мечтал, но не давали мне там койки, считалось, я — москвич. Весь институт и его общежитие, да еще и Литфонд, и портняжная мастерская Литфонда — все это помещалось тогда, теснилось в бывшем Доме Герцена. Так что вроде бы и требовать совестно. Но, как говорится, подошла вода под горло, и нашлось место, я переехал в общежитие. Там, к вечеру следующего дня, разы-

скала меня моя тетка Берта Григорьевна, принесла завернутую в газету литровую стеклянную банку: картошка с капустой, с луком, с постным маслом. Она еще и виноватой себя чувствовала, что мне пришлось уйти.

К началу второго курса всех поразили Владимир Тендряков: в институтской стенгазете сообщалось, что за лето он написал двадцать две главы. На него ходили смотреть. Мы с ним — одноклассники, и оба были ранены в левую руку. Только у меня два пальца не разгибались, а у него — четыре. После ранения он демобилизовался в 42-м году. Оба мы ходили в сапогах, гимнастерках, в галифе. Но у него галифе, чтоб не протирались, были подшиты кожей сзади и изнутри. Кожей от портфеля.

В общежитии хорошо было то, что вечерами можно было писать в пустой аудитории. Тендряков добывал ключ от кабинета завуча, запирался, писал там допоздна, случалось, там же и спал на золотистом плюшевом диванчике. Однажды, придя на работу, завуч застал его спящим. Дружил Тендряков с Солоухиным. Оба — Владимир, оба — светловолосые, оба — из деревни, чем не друзья. Но были они совершенно разные люди, это станет ясно не сразу. Солоухин всю войну охранял Кремль. Он сам рассказывал, что те, кто с ним вместе призывались и проходили медкомиссию, были отправлены на фронт, большинство из них погибло, но он будто бы на медкомиссии прочел стихи, и это явилось решающим: его оставили охранять Кремль. Возможно — так, возможно, не последнюю роль сыграл тут дядя, который уже служил в охранниках. Рассказывал Солоухин, что самим Черчиллем был отмечен: сойдя с трапа самолета, Черчилль обходил почетный караул, вглядывался в лица и остановился, пораженный зверовидной физиономией солдата.

Дружба, как известно, сродни любви и так же слепа. Тендряков, выгораживая товарища, рассказывал со слов опять же Солоухина, что их, кремлевских охранников, специально отправляли в командировку на фронт: убить одного немца. И сам в это верил и обижался, когда фронтовики смеялись: что, мол, им немца на веревке приводили убивать?

Раньше всех нас Тендряков стал хорошо известен, он написал повесть «Падение Ивана Чупрова», это было в дни хрущевской оттепели, повесть стала событием, о ней много писали, и, кстати говоря, одну из первых рецензий написал Чаковский. Была в ней такая фраза: «Автор не все мысли выписывает на фасаде здания». А Солоухин в это время еще только ездил в командировки от журнала «Огонек» (редактором которого был Софронов), писал стандартные очерки. Такими же примерно литподделками пробавлялся еще один наш однокурсник, фамилию его упоминать не будем, а вот частушка, сочиненная про него, тут вполне к месту: «Эх, товарищков, / Что ты сделал для веков? / Ничего векам не сделал, / Прославлял большевиков».

И Солоухин, и Тендряков после института стояли на партийном учете в парторганизации «Огонька». И вот — партийное собрание. Они сидят рядом, два друга, близится Новый год, они договариваются вместе встречать его. А одно из дел, которые должны разбирать на собрании, — письмо бывшей жены Тендрякова, с которой он разошелся. Обычно такие дела разбирали неохотно: разбитого не склеишь, любить не заставишь. В этом духе и выступали, больше для проформы. И вдруг подымается Солоухин, а сидел он, повторяю, рядом с Тендряковым, подымается и, окая сильнее обычного (в определенные политические моменты, например во время «космополитов», с ним это уже случалось), говорит, что он не согласен с выступавшими това-

рищами, что это дело серьезное, аморальное и он, Солоухин, требует строгого партийного взыскания. Пораженные, перетрусившие «выступавшие товарищи» срочно начинают выступать заново, каются, что подошли либерально, что им надо учиться принципиальности у молодого коммуниста Солоухина. Это — дословно.

Разумеется, все они понимали, что о принципиальности тут и речи нет: успеха своего однокашника не смог пережить «молодой коммунист», в ложке воды попытался утопить. Но какое же партийное собрание без фарисейства, без фальши и лжи? В дальнейшем Солоухин будет расходиться со своей женой Розой, но крепче брачных уз окажутся цепи золотые, связавшие их: иконы не смогли разделить, которые он добывал в заброшенных церквях, за бесценок скупал у старух по деревням, на чем и составил себе состояние.

Году в 90-м, когда я редактировал журнал «Знамя», была у меня встреча с читателями в Доме медработников, и вот записка, которую я получил: «Уважаемый Григорий Яковлевич! Огромное спасибо Вам за публикацию рассказа Тендрякова «Охота». Я не люблю слова «преклоняться», но перед Тендряковым я преклонялась и при его жизни. А прочитав рассказ у Вас в 9-м номере, я хочу сходить к нему на могилу, положить цветы. К стыду своему, точно не знаю, на каком он кладбище похоронен. Скажите, на каком кладбище он похоронен. Покрас В.В. Инженер».

На нашем курсе из двадцати человек пятеро были из стран, как тогда называлось, народной демократии. Название вполне бессмысленное, поскольку *demos* — народ, *kratos* — власть. Народного народовластия? Посылали их в Советский Союз как в кузницу кадров, и многие из них в своей стране занимали в дальнейшем большие посты. Георгий

Джагаров, далеко не бесталанный человек, руководил Союзом болгарских писателей, потом в государственных структурах поднялся высоко. Как-то приехал я в Софию. Лето. Жара. Стою на балконе. В левом крыле гостиницы не селили приезжих, там — особая партийная гостиница для соответствующих партийных и государственных чинов, особый ресторан внизу: все точно, как у нас в то время. Вижу с балкона: выходит оттуда Джагаров. Машина его, большая черная машина, метрах в двадцати, но он не пошел к ней, машина задом двинулась к нему. Он стоит в синем шерстяном костюме, пообедавший, солнце жжет. «Оште малку, оште малку...». Передняя дверца поравнялась с ним, распахнулась изнутри, он сел. А еще есть у меня фотография: дворцовый зал, красный гигантский ковер под ногами, выстроившиеся на отдалении делегации, Георгий Джагаров от микрофона обращается к нам ко всем с приветственной речью. Потом мы с ним шли, разговаривали, но у выхода из дворца — охрана. И в ее присутствии он перешел на болгарский язык: должность обязывала.

Учились на нашем курсе два албанца: Лазар Силичи и Фатмир Гьята. Их встретил я в 64-м году, когда отмечали двадцатилетие Словацкого восстания. Мы шли по улице: Эренбург, Полевой и я. Увидев нас, они перешли на другую сторону: мы для них были — ревизионисты. Сталин умер, но в Албании царствовало маленькое его подобие: Энвер Ходжа.

Трагично сложилась в дальнейшем судьба северокорейского студента Се Манира. Он учился на курс младше меня, и такой он был благополучный. Невысокого роста, полный, лицо как круглая луна. В комнате общежития, где было нас человек пять, мы старались не смотреть, как он завтракал: полкастрюльки белого риса, в пальцах — розовая вареная колбаса, ею он закусывал рис, ее чесночный

запах мы вдыхали. «Пойдем к бабушкам», — бывало, просил он, выпивши. То есть — к бабам. На одном курсе с ним училась Леля Берман, в прошлом — дочь богатых еврейских родителей в Литве. Потом пришли немцы. Гетто. «Я курила махорку, чтоб не слышать, как от меня воняет», — рассказывала она. Ей удалось бежать из гетто, она была партизанской связной, несколько человек вывела из гетто в партизанский отряд. Литва и Северная Корея, два конца света, два разных мира. Тем не менее Леля и Се Манир поженились, уехали в Пхеньян. Лет десять — двенадцать ничего о них не было слышно. Вдруг Леля звонит по телефону, пришла к нам домой. Она собирала теплые вещи, рассказывала, что зимой в Пхеньяне люди ходят в калошах, рассказывала, какой там голод: царствовал там другой наследник Сталина, «великий вождь» Ким Ир Сен. Только тем и жива была их семья, что Леле, советской гражданке, полагался паек.

Минула вечность, и вот недавно, в 96-м году, я получил от Лели письмо: «Почти полвека прошло с тех пор, как между нами оборвалась связь. Тогда перестала тебе писать из Кореи — было не до этого. Манира отправили в ссылку, где он в качестве лесоруба проходил идеологическую закалку («культурная революция»). Через год он вернулся в Пхеньян, но тут между Ким Ир Сеном и Никитой Сергеевичем разгорелась ссора, и «ревизиониста» Манира вновь отправили перезакаляться. На сей раз я поехала с ним вместе. После двухгодичной ссылки была вынуждена оставить Манира. Надеюсь, что, освободив его от себя, «советской заразы», облегчу его участь. Моя надежда оказалась напрасной. Вскоре после моего отъезда Манира вызвали в Пхеньян, в ЦК партии. Перед отъездом он зашел к соседке, сияя, сообщил: его вызывают в центр для реабилитации. Однако в поезде Вонсан — Пхеньян его аресто-

вали, ну а что было дальше, ты, вероятно, догадываешься, как и я.

Вернулась на родину с пятилетним сыном. Не хотелось возвращаться в Литву, казалось, замыкается круг. Поселилась в Риге. А когда рухнул Советский Союз, то судьба швырнула меня на сей раз уже на третий край света, в Израиль, страну чужую и органически мне чуждую».

Пишу сейчас об этом словно из другого мира. А ведь это была наша жизнь. В смерти своей мы еще хоть как-то были вольны. Но жизнь наша, судьба каждого из нас не принадлежала нам. Ею распоряжались свыше, любое ничтожество, наделенное властью, могло распорядиться и жизнью твоей и судьбой. А сколько их повылезло из всех щелей, где они переживали войну вдали от фронта. Самой надежной опорой власти и престола становились людские пороки. И как далекий светлый день вспоминался уже тот день в Австрии, когда телефонист, хмельной от радости, прокричал нам по телефону, на наш наблюдательный пункт: «Побе-еда!». Какие вольные мы были тогда, какие счастливые!

Сергей Залыгин рассказывал мне, как ехал он после войны в поезде, и в одном купе с ним ехали офицеры-фронтовики. Он слушал вольные их разговоры. Человек, всю войну проведший в глубоком тылу, он понимал то, чего они не понимали: они обречены, недолго им суждено побыть на свободе. Слушал и молчал. А это ехали те, кто родину спас. И родина приготовила для них место: в лагерях. Примерно то же происходило и в Литературном институте, здесь многое было даже очевидней. Победители, мы постепенно становились побежденными. И гуще, все гуще становился государственный антисемитизм. Преподавателя Литинститута Левина, члена партии, вызвали в райком: почему вы, Левин, преподаете русский язык? Слово «еврей», как

нечто постыдное, не употреблялось, в официальной фразеологии его заменяли слова: «космополиты», «сионисты». Их выискивали повсюду, выискивали и изгоняли: кадры «засорены».

Когда вокруг тебя стужается, а ты ничего не можешь изменить, остается спасительное: не верить, не сознать. Не может этого быть! Так в фашистских лагерях смерти люди шли в газовые камеры, до последнего момента не веря в то, что с ними сейчас произойдет.

Но терпишь, терпишь, а когда-то и прорвется. И прорвалось.

Дважды меня исключали из партии. А вступил я в партию на Северо-Западном фронте в 42-м году восемнадцати лет от роду. По этому поводу было сказано: принимаем его прямо из пионеров. Через много лет после войны пошел анекдот: «Если убьют, прошу считать меня коммунистом, а нет — так нет...». Но в ту пору мы веровали, и не только по наущению комиссаров, которым был разверстан план, а от души нередко писали в окопе: «Прошу считать меня...». И с этим шли в бой. Так надевают перед боем чистую нательную рубашку, она останется на тебе, даже когда пойдут похоронные команды, снимая обмундирование с убитых, чтобы, отмытое от крови, подштопанное, оно вновь на ком-то пошло в бой. Потребность веры, радость самоотречения, готовность жертвовать собой — это заложено в человеке. Ницше писал: «“Верующий” не принадлежит самому себе, он может быть только средством». Ницше писал: «Любая вера есть самоотрицание, самоотчуждение. “Верующий” не свободен иметь суждение о том, что “истинно” и что “неистинно” — суждения и оправдания на этот счет повлекли бы за собой его немедленную гибель». Все — так. Все вроде бы — так. Но в истории человечества

выживали и выжили те народы, у которых индивид готов был пожертвовать и жертвовал собой ради вида. И исчезли с лица земли народы, где эта готовность угасла. В 42-м году немецкие армии стояли под Сталинградом, коммунистов в плен не брали, вступая в партию, каждый знал это.

Помню, везли нас из штаба на грузовике, мы тесно набились в кузов. Ветер встречный, машина скакала по выбоинам, за гулом мотора не слышен был полет снаряда, только вздымался разрыв то в поле, то впереди, а мы пели-орали, взбодренные близкой опасностью, причастившиеся.

Через три года наш полк возвращался из Австрии. Это был другой полк и другой фронт: Третий Украинский. Война кончилась, мы возвращались домой, в Россию, так нам сказали и так мы думали. Дома голодно, это было известно. И мы везли с собой что могли: была мука, сало, бочка вина, спирт в канистрах — имущество взвода. На одной из остановок, а мы подолгу стояли то в чистом поле, то на запасных путях (не на фронт идут эшелоны, с фронта), подошел к нашей теплушке кто-то из офицеров:

— Слушай, у тебя, говорят, спирт есть?

— Есть.

— Бери, идем к нам.

Был я после болезни, врач полка определил воспаление легких. Определил правильно, а лечить все равно нечем. Правда, сестры, когда я выписывался из госпиталя в Днепропетровске, дали по дружбе мне в дорогу сульфидин, который в ту пору был на вес золота. Но в Венгрии поздней осенью 44-го года, когда началось наше наступление и стояли мы с командиром второй батареи на наблюдательном пункте, смотрели, как после артподготовки пошли танки в атаку, пехота бежит за ними по грязи, по развороченному полю, спросил меня комбат-2, не отрывая бинокля от глаз: «Ребята говорят, ты

сульфидин привез из госпиталя?». Мы ждали, не заговорят ли немецкие батареи, которые мы только что подавляли. «Привез». — «Дашь?» — «А что стряслось?» — «Да партизанка эта... югославская... Помнишь, в эшелон взяли? Наградила меня...». И смотрит не в глаза, смотрит в бинокль, не отрывая от глаз.

Партизанку я запомнил, хороша была, видел я, как она картинно прощалась с матерью на перроне, потом впрыгнула к нам в эшелон. Были у нас на платформах пушки и тягачи, переделанные из американских легких танков, очень удобные на походе, крытые брезентом, а внутри — сиденья, как лавки, широкие. Вот туда, под брезентовый кров, и взял ее комбат. Красивый он был парень, рослый, виски вьющиеся, кожа лица белая, нежная, раздражалась при бритье. Здесь же, на наблюдательном пункте, проще сказать — в окопе, который был нам обоим по грудь, отдал я ему сульфидин: из полевой сумки — в полевую сумку. Но воспользоваться лекарством ему не пришлось: в тот же день его убило осколком снаряда.

И вот когда прихватило меня воспаление, вспомнил я тот сульфидин. Не то чтобы пожалел, но вспомнил поневоле. А вымотало меня сильно, только что ветром не шатало. Но как отказаться, если зовут? Дело мужское. В артиллерии не зря говорилось: артиллерист должен быть гладко выбрит и слегка пьян.

Пошли. У них уже шумно. Двери теплушки откатили, солнце с поля светит яркое. А посреди вагона — столик красного дерева, ножки изогнутые, бронзовые лапы уперлись в пол дощатый, вагонный, дочерна истоптанный шипами лошадиных подков, сапогами, солдатскими ботинками. И такие все brave сидят: гимнастерки, ордена, ремни. Мне, чтоб догонял, с ходу налили штрафную: тол-

стого стекла граненый бокал граммов на триста. И опять нельзя себя уронить, выпил не дыша, запил водой. Если, не вдохнув, запить водою, спирт не обжигает, чуть только подсушит в горле. Не успел я еще заесть, колбасы сухой пожевать, идет, как на грех, дежурный по эшелону. Остановился на насыпи снаружи, погоны майорские на плечах его чуть выше пола вагонного, он их недавно получил, не налюбуетса на них.

— Празднуете?.. Хор-рошее дело...

Это наш командир дивизиона дежурил, мы его не любили. Не умен был, но властен, как водится в таких случаях. И покрасоваться любил, сам роста малого, но выше всех себя нес.

— Выпиваете, значит... — И подержал, подержал всех под взглядом строгим, как под прицелом. — А кто догадается мне налить?

Налили. Чтоб не задерживался, компании не портил. А заодно и всем налили по кругу. У меня еще от первого бокала, как говорится, до бровей не дошло, а тут — второй следом. И больше я уже ничего не видел и не помнил.

Рассказывали потом, как нагрянул командир полка полковник Камардин. Был он скор на расправу, на фронте ему многое прощалось за смелость, но война кончилась, а он и тут, не долго думая, решил кулаком убеждать. И видели из вагонов, как вслед за командиром полка бежал командир пятой батареи и стрелял из пистолета. Но нетвердая пьяная рука, а еще и дождь хлынул стеной, это и спасло командира полка и нас с ним вместе.

В дожде разведчик моего взвода, молодой могучий парень, прозванный Макарушкой, увел меня к нам в вагон. И спал я сном праведника, пока стучали, стучали под полом колеса. А поезд мчался, оглашая окрестности. Проснулся — голова ясная: после чистого спирта голова не болит.

Только ссохлось все внутри. Выпил воды, и опять хорошо.

На остановке иду вдоль эшелона, мимо товарных, мимо штабного вагона. Командир полка завтракает в своем окружении, окликнул:

— Ну как, голова не болит?

— Никак нет, товарищ полковник!

И сам себе кажусь бравым. Мне и в его голо-се почудилось одобрение, вроде бы он глядит на меня по-отцовски, любитесь... Стукнет же такая дурь в голову.

— Ну-ну...

И шире рта его широкая улыбка растянулась плотоядная, я и ее принял за поощрение, «поощеряет», как говорил наш старшина.

Завтракал он долго, не спешил: на дело собирался. А потом срочно всех нас, соучастников, призвали в штабной вагон, там уже и командование, и политотдел, как трибунал, в полном составе ждут нас.

— Ня надо нам таких членов партии! — грохнул Камардин кулаком по столу подоконному и тем определил повестку заседания. В прошлом — горняк, с грамотешкой у него было неважно, однако воевал, повторяю, хорошо. А поезд мчит, мчит нас на родину, стучат-спешат колеса, потряхивает всех вместе, и подсудимых, и судей. Кто посмеет возразить командиру полка, когда выше него один лишь господь бог, да и того отменили.

У нашего комиссара дивизиона, верней сказать, замполита, лицо честного пожилого путиловского рабочего, такими с детства привыкли мы видеть их на экране. И будто даже с тех самых предреволюционных пор копать с лица не смыта, оттого глаза такие просветленно-светлые под густыми темными бровями. Чистые глаза. А вот голоса его не помню, может, он за всю войну слова не сказал,

только писал политдонесения про наше морально-политическое состояние: «Доношу до вашего сведения...».

Не знаю, что делали замполиты в пехоте, но в артиллерии надо было уметь грамотно стрелять. И вот пытаюсь вспомнить: хоть раз за войну видел я, чтобы замполит вел огонь, подавал команду батареи? Нет, не пришлось. Каждый из них, так сказать, обеспечивал наше морально-политическое состояние, или, как недавно прочел я в некрологе об одном в бозе почившем политработнике высокого ранга, «вел действенную политико-воспитательную работу с воинами, воодушевлял их на достижение победы над врагом».

Под стук колес вагонных наш комиссар с честным лицом экранного путиловского рабочего сидел и скорбно молчал. И когда оставалось только проголосовать единодушно и тем судьбу нашу решить, осмелился вдруг тихий Моисеенко. Был он то ли парторг, то ли еще кто-то в этой иерархии, лет ему было за сорок, старик по нашим тогдашним понятиям. И в чем-то был он не такой, как все, это чувствовалось. Помню ясно свое впечатление: из уцелевших. А от чего уцелел, от какой грозы, не вдумывался. Наверное, это и было охранное состояние: не вдумываться. Незримый кто-то надзирал за твоей душой. Только в бою забывалось, а полностью делала свободным одна лишь смерть.

Был у нас в училище комиссар, подполковник Видеман. И вдруг узнаем: воевал в Испании. И какая же мысль самая первая, чему удивились? В Испании воевал и не арестован... А ведь мы, школьниками, рвались туда воевать с фашистами. И мы же удивляемся: не арестован. Значит, сознавали смутно, только мысль свою не отпускали на волю, так, наверное, еще можно было поладить со своей совестью.

Говорили про Моисеенко, что он женат. Но с женой почему-то не расписан. И еще некие странности числились за ним. Когда нормой, чуть ли не доблестью считается быть как все, проверенным, насквозь просвеченным, человек со своей, оберегаемой от чужих глаз жизнью, не похожий на других, странен, любое подозрение липнет к нему. И вот он заступился за нас. И почему-то особенно за меня.

А я однажды поиздевался над ним вволю, молодость жестока. Было это во время Яско-Кышиневской операции, когда окруженные немецкие дивизии рвались из котла. И на пути такой сборной части — они напролом шли, в том было их спасение — оказалась наша батарея. Комбата незадолго перед тем увезли в госпиталь, я остался за него. Развернули мы орудия, снарядов, как всегда, мало. По краю балки залегли разведчики, связисты с автоматами, туда же и всех батарейных тыловиков погнал, они стекались к кухне, как вода в ложбину. И тут вдруг является Моисеенко. Без оружия. Растерян. К нам под защиту.

— Где ваш пистолет, товарищ старший лейтенант?

По должности, по званию он — старший, я всего-то командир взвода. Но вблизи опасности звончей становишься.

— Где ваше оружие?

При всей батарее, подпираемый общим сочувствием, я геройствовал за его счет. Возможно, был он не самый умелый, в бою не очень приспособлен. Он мог бы тихо умереть, не унижаясь. Но в двадцать лет я не способен был понимать это, другие качества ценились на фронте. И вот он заступился за нас, рассказал про тот бой. Среди властных, украшенных орденами людей, привыкших на войне распоряжаться многими жизнями, а уж одна

чья-то судьба и не в счет, он единственный нашел в себе смелость сказать слово в защиту: как же так, мол, провоевали всю войну, а теперь, после войны, исключать из жизни?

— Ня надо нам таких! — в улыбке ощерился Камардин. Широкое его лицо стало красным, как сырое мясо, жаждал он смыть позор. — Мы их исключим, а заслужат — примем опять...

В тамбуре мы постояли, покурили, колеса отстукивали версты. Разрядка требовалась душе. Выкинул я окурочек да и спрыгнул за ним следом на ходу, благо поезд не так уж и быстро шел, пробежал по инерции за вагоном, валясь назад для упора; когда наша теплушка поравнялась, бойцы за руки втащили меня.

Где-то в неведомых высших сферах — в поллитотделе бригады или дивизии — дали нам всем по выговору, и уже в Болгарии перед строем прочли, кому, за какие грехи и — сколько. И когда меня вызвали из строя и я отчеканил два шага и стал, каюсь, гордым себя чувствовал: чести не замарал, дело, мол, мужское, можно и пострадать.

Второй раз исключали меня из партии уже в институте, в самую глухую пору, до смерти Сталина оставалось недолго. Своей вины власть никогда не прощает народу, а мы, спасая родину, и власть сталинскую укрепили, и его самого спасли. И вот за весь срам, за то, что в 41-м он всех на край гибели поставил, нашли теперь виноватых: из немецких лагерей прямым ходом в наши каторжные лагеря гнали пленных наших солдат домучивать до смерти: почему, мол, в плен сдался, почему не покончил с собой? Мало им было миллионов погибших, надо, чтоб и эти костыми легли, не зря же Сталин еще в ноябре 41-го года определил: у нас нет пленных, у нас есть предатели. И на полстраны черной тенью легло клеймо: кто в окружении был,

кто сам или родственники его остались на оккупированной территории — так писалось в анкетах: «территория», — будто не своя, а завоеванная, чужая земля простиралась до самой до Москвы, до Волги. Все, все отныне были там под подозрением, как под прицелом. Врага разбили, он уже не угрожал, пришло время со своим народом расправляться по нашему обыкновению: бей своих, чтоб чужие боялись. Волнами покатила по стране разжигаемая ненависть: сживали со света генетиков, громили кибернетиков, в дикость откатывалась страна, чей авторитет после войны так высоко стоял в мире, боролись с низкопоклонством перед Западом, чтоб вовсе отгородить нас железным занавесом, били «космополитов», кампания, особенно любезная народу. И тот, кто с фронта возвращался победителем, дома, в своей стране, повторяю, становился побежденным.

Есть анекдот того времени: сидят на кухне два брата, выпивают. Один из них во время войны был партизаном, другой — полицией. И спрашивает партизан бывшего полицейя: «Отчего так все повернулось? Ты в почете у властей, я — под подозрением» — «А ты что пишешь в анкете? Ты пишешь: брат мой был полицаем. А я чист, я пишу: мой брат — партизан...». И в нашем Литературном институте любезными власти, любимыми ее сыновьями становились те, у кого брат — партизан.

Когда вся мощь государства с его карающей десницей стоит за спиной раба, его подпирает, он распоряжается твоей жизнью и смертью. И последним убежищем становится, повторяю, не замечать, не верить, не сознавать. Уже поговаривали, что в тайге на Сахалине срублены бараки, куда со всей страны будут выселять евреев, «спасая от народного гнева». Что не доделал Гитлер, доделает Сталин. Но — не может быть. Невозможно поверить, что мы

четыре года воевали с фашизмом, а он нас дома ждал.

И прорвалось во мне. Бездарного критика с нашего курса Бушина, не самого главного в институтской кампании, но очень уж гаденького, должность его была — пару поддавать, теоретически обосновывать, я публично назвал фашистом; не зря назвал. Он еще и тем был мне противен, что на войне ошивался где-то при штабе армии, числился комсоргом; на фронте говорили: там не война, а мать родна. И точно в духе времени настроил он заявление в партком: «В моем лице оскорбили бывшего комсорга...». Мол, я — ничто, но «в моем лице...». И завертелось дело.

Поначалу нашлось у меня много заступников: «Правильно назвал, мы, если потребуется, выйдем, скажем...». Но на партийном собрании, когда меня распинали, они сидели, опустив глаза, ни один не встал. И только полковник Львов-Иванов советовал мне заранее умудренно: «Ты покайся». — «Не в чем мне каяться». Но он чистосердечно хотел помочь: «А ты все равно покайся...».

Рассказывали, во время гражданской войны командовал он партизанским соединением в Сибири, чуть ли даже не дивизией, и партизаны его дрались «как львы». В память об этом он к своей фамилии «Иванов» присовокупил еще и «Львов». В институте его любили. Говорил он на собрании так: «Это было, когда мы боролись с этими... канцепа... канцепа... канцепалитами! Я тогда еще слова этого не знал». Он и правда многого не знал, не липла к нему зараза. Вот он от души советовал мне покаяться.

У этой казни не было даже фронтовой непосредственности: «Ня надо нам!...». Все делалось со сладострастием, со словоблудием и так, чтобы не тебя одного, а всех придавить страхом, сделать соуча-

стниками, разъединить и замарать. Существовало несколько разработанных сценариев. Вот один из них, наиболее мягкий: человека обвиняют в том, что он у бога теленка украл. И так все это нелепо, так дико на первый взгляд, но люди уже начинают обходить его стороной, при встречах опускают взгляд. И оставленный наедине со своим страхом, он готовит речь, она не может не тронуть сердца, не потрясти. И произносит ее. Но зал глух, а у председательствующего на лице грустная улыбка сожаления: не хочет товарищ понять, сам усугубляет свою вину настолько, что ему невозможно уже помочь. Председательствующий встает: ну что ж, товарищи, не хочет Н. признать свои ошибки, не захотел разоружиться перед партией... И жалкий вскрик обвиняемого: так не было же, не было этого! Лицо председательствующего суровеет, поневоле он приходит к неизбежному выводу, что подобные действия не случайны, есть в них определенная диалектическая последовательность: вот видите, товарищи, Н. не только не признал своих ошибок, но продолжает упорствовать...

Но я все же не внял совету полковника Львова-Иванова: «Ты покайся...». И мука мученическая была на лицах моих товарищей, заступников моих, сидевших в первом ряду: уж тонул бы ты сразу, не терзал нашу совесть. Но был еще друг. Четыре года просидели мы рядом в аудитории. В институт вместе, из института — вместе. А сколько было выпито вместе. И думалось, и говорилось по душам. Он — парторг курса, по заведенному порядку он должен был написать мне характеристику. Он сказал, каменея лицом: «Характеристику я тебе дать не могу». И я не обиделся, вот это через много лет было для меня самым необъяснимым. Я даже виноватым себя почувствовал, словно и его пытался утянуть за собой. А может, правда, гонимые не обидчивы?

По необъяснимым для меня причинам опять где-то в высших сферах исключение из партии заменили строгим выговором. Однако на работу после института не брали никуда. Я выписал адреса что-то около пятидесяти редакций, половину обошел и тут встречаю на улице моего однокашника, ныне уже покойного Бориса Бедного. Мог ли я в ту пору предполагать, что нам еще суждено будет жить в одном доме, в соседних подъездах, и однажды, в поздних сумерках увижу из окна, как вынесли на носилках кого-то укрытого с головой простыней, высоко вздымался под простыней живот, носилки вдвинулись в задние распахнутые дверцы микроавтобуса цвета хаки, дверцы захлопнулись, автобус выехал со двора... Оказалось — и только часом позже я узнал об этом, — умер Борис Бедный, умер внезапно от сердечной недостаточности, его нашли около дверей с зажатым валидолом в руке: хотел кого-нибудь позвать на помощь и не успел.

А тогда он шел радостный по улице Горького, пыхал папироской. «Неужели ты не понимаешь, — сказал он, — что тебя нигде на работу не возьмут?». Я понимал, уже дозрел, но мне любопытно было видеть лица людей, которые сначала вроде бы приветствовали меня, давали анкету, потом, прочтя, отказывали. Мучительное занятие, а — интересно.

Стояли мы с ним как раз напротив пельменной, и он предложил: «Пойдем лучше пельменей поедем». И мы пошли. Вкусные были пельмени, с укусом, только голодному они так вкусны. Он тоже не работал, и тоже ему негде было жить, но у него повесть уже напечатали, он на ноги встал. А на втором или на третьем курсе института, когда развернулась очередная эпопея, сажали лесополосы в степи и Сталин-отец наклонился над картой родины на плакате «И засуху победим!», послали нас троих —

Тендрякова, Бедного и меня — в заволжские степи писать о готовящемся свершении, возглавил бригаду старый журналист Аграновский, отец Анатолия и Валерия Аграновских.

Под конец нашей командировки в городе Камышине, где когда-то Петр I съел арбуз и поразился, до чего же он сладок, а в дни нашего пребывания на рынке, в мясном ряду, висел портрет бородастого партизанского командира, писателя Вершигору, а под ним — надпись: «Мясо руками не трогать!» — так вот в Камышине сотрудники местной газеты, в основном женщины, устроили нам проводы. Между прочим, они видели в окна редакции, как я на спине переносил Володю Тендрякова через улицу: уже развезло на солнце, текли снеговые ручьи, я был в сапогах, а его бурки, как говорится, просили каши; они видели это и смеялись от души. Когда выпили и разговорились, рассказали они, как во время войны выезжал здесь Шолохов на охоту, с огромной свитой, с ящиком водки. Рассказывали стыдась: не за себя, разумеется.

Книгу очерков мы написали, в Москве ее срочно сдавали в печать, но вдруг что-то застопорилось, редактор вызвал Бедного, я пошел с ним. Редактор, если мерять мерками военного времени, был призывного возраста, однако не воевал. Он долго молча шелестел бумагами на столе, будто что-то отыскивал в них, и вдруг со сладостью в голосе, ласково так, вкрадчиво спросил Бориса Бедного: «Вы, оказывается, были в плену? А не полагалось сдаваться в плен...». И больно было видеть, как товарищ мой сник виновато и покорно. Нам поставили условие: книгу выпустят, но очерка Бедного в ней не должно быть. Для каждого из нас в ту пору книга эта была событием, и жаль нам было своих трудов. Но мы отказались. Так она и не вышла.

Поели мы с Бедным пельменей, и на этом колебания мои кончились, больше я по редакциям не ходил. И — к лучшему: сидел, писал, как-то перебивался, снимал углы. Однажды повезло: в четырехкомнатной квартире, где жила семья, в прошлом обеспеченная, но ввавшая в нужду, удалось снять так называемую «комнату для домработницы», в ней помещался столик, стул и топчан.

А жизнь шла к рубежной черте. Последним делом жизни Сталина было «дело врачей». Словно бы наперегонки со смертью, которая уже дышала ему в затылок, спешил он совершить последнее злодеяние. Начать — начал, завершить не успел. А планы были большие.

В этой снятой мною комнате услышал я по радио рано утром: Сталин умер. Я был один, в квартире еще спали, я стоял и плакал. Жена моя, будущая моя жена, с которой я еще и знаком не был, а поживи он еще, не встретился бы с нею, потому что путь мой лежал в те самые, на погибель поставленные бараки в тайге, вот она, единственная из учителей их школы, когда их всех собрали в актовом зале, и плач стоял, и стенания, и друг перед другом рыдали, — она стояла с сухими глазами, и даже ее ученицы волчатами смотрели на нее. А я плакал в то утро. О нем? Нет. Я уже избавился от иллюзий. Но что-то рухнуло в моей жизни. Или нервы сдали, долго они были напряжены.

В третий раз исключать меня из партии не пришлось, вышел сам: через сорок девять лет после того, как впервые на Северо-Западном фронте ощутил себя причастившимся. Это было в январе, когда наши танки штурмовали телецентр в Вильнюсе: прообраз грядущего путча. И хотя ничто уже не связывало меня с партией, все равно труден был для меня этот шаг, трудно от самого себя отступить. Притча об Иове — это и обо мне притча. Какие

только испытания не насылал на Иова господь бог — и дом рухнул, погребя десять его детей, и слуг перебили, и стада разграбили, — а он оставался стойким в своей вере... Вот и я с такой страстью и верой боролся за свое порабощение, с какой бороться надо только за свободу.

Есть вечные строки: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть! Но жаль того огня...». Да, жаль того огня.

На третьем курсе Литературного института послали меня в командировку в Чувашию написать очерк. Я съездил, написал: дождливый день, поля, мокрые стога в тумане, как на краю света, простые подробности человеческой жизни, но мыслям в очерке не было тесно. Впрочем, газете этого и не требовалось, любая мысль в те времена проходила сложный путь утверждений, согласований.

Очерк напечатали на первой полосе «Литературной газеты», я был приглашен к Симонову, главному редактору, меня ввели к нему в кабинет, я был поощрен и обласкан. И вновь командировка, на этот раз — в заволжские степи, вновь мой очерк на первой полосе. Мне было предложено, когда закончу институт, поехать собственным корреспондентом «Литературной газеты» на Куйбышевскую ГЭС, на «стройку коммунизма». Не знал я, что коммунизм там строят заключенные, рабы. Таким, наверное, и представлял себе коммунизм наш вождь и учитель, но до поры до времени объявлять об этом не решался. А после победы в войне созрел, пришло время бросить валять дурака, пора называть вещи своими именами: «стройки коммунизма». Не резало же нам слух ежедневно повторяемое по радио и в газетах: «На горизонте уже видны сияющие вершины коммунизма!» — хотя каждый школьник знает, что горизонт — это воображаемая линия, которая уда-

ляется по мере приближения к ней. Страну населяли не другие какие-то, ныне вымершие люди, а мы сами, но каждое его слово воспринималось как последнее откровение.

Помню, в Воронеже до войны большое смятение умов вызвали два свежих сталинских высказывания, напечатанные, кажется, в журнале «Большевик». Сталин сказал, что любит почитать и в день он прочитывает не менее пятисот страниц. Пятьсот страниц — мыслимое ли дело? Тем более что кроме чтения, надо полагать, есть у него еще какие-то дела... Но объяснение нашлось: у Горького зрение так было устроено, что взглядом он охватывал целую страницу, раз Горький мог, Сталин — тем более. А второе высказывание и мудрецов повергло в трепет и недоумение: Сталин произнес тост за здоровье Ленина. За здоровье покойника... Подумать, что спьяну, грузинского вина перекушавши, на это самый смелый ум не решался.

Итак, предложено было мне поехать на стройку собственным корреспондентом «Литературной газеты». А у меня в то время — ни семьи, ни жилья, я уж было размечтался, но как раз в это время я публично назвал Бушина фашистом, все обошлось строгим выговором, но стало ясно, что теперь корреспондентом меня не пошлют.

«Литературная газета», весьма любимая в то время интеллигенцией, была особая газета: ей и только ей было высочайше позволено проявлять дозированные признаки свободомыслия, нести легкий налет оппозиционности: для заграницы, разумеется. Многие заграницы у нас всегда рабски почитались, что не мешало внутри страны вести борьбу с «низкопоклонством перед Западом». Учредив под строгим надзором единственную в стране, так сказать, оппозиционную газету, Сталин распорядился дать ей хороший буфет. И буфет в «Литера-

турной газете» был хорош, могу свидетельствовать. А главным редактором назначили Симонова: его любил Сталин. Случалось и сек. Например, за повесть «Дым отечества», потом снова любил: у нас истари за одного битого двух небитых дают. Да это ли битье по тем временам! Вернейший бессменный помощник Сталина Поскребышев, рассказывают, на коленях елозил по ковру, молил властелина вернуть жену из лагерей, имел такую слабость: любил ее. «Иды. Жена тебя дома ждет». Дверь открыла незнакомая женщина: «Я — ваша жена». И с ней, сотрудницей органов, жизнь прожил, детей нажил. Так ли, нет, не поручусь, но это было широко известно. В сравнении с этим битье, выпавшее Симонову, — отеческая ласка.

Илья Эренбург в дни 20-летия Словацкого восстания рассказывал мне в Праге, как после разгрома в печати повести «Дым отечества» поехал он к Симонову на дачу в Переделкино подбодрить его. Было лето. В шортах, загорелый, лежал Симонов в гамаке. «Жизнь кончена», — сказал он. После этого он написал «Русский вопрос». Мне запомнились эти, одна за другой без всякого выражения сказанные Эренбургом фразы: «Жизнь кончена, после этого он написал “Русский вопрос”». Пьеса «Русский вопрос» клеймила США и, разумеется, сразу пошла на многих сценах.

Но до поездки в Прагу, до этого разговора с Эренбургом, надо было еще четырнадцать лет прожить, а тогда, в 51-м году, я заканчивал институт, жить мне, как уже говорилось, было негде, никакая работа не светила, и я решился все же попытать счастья, записался на прием к Симонову.

Сколько ему было тогда лет? Ранняя седина, ранняя известность, а известен он был смолodu, не только поэзия его, но и вторая его женитьба, жизнь с актрисой Серовой, в прошлом — женой погибше-

го летчика Серова, даже то обстоятельство, что ее, скажем так, поклонником был маршал Рокоссовский, — все это широко обсуждалось, создавало особый ореол. Обитал он в высших сферах, потому, наверно, казался мне немолодым. А было ему тогда тридцать шесть лет. Часов в двенадцать ночи он вышел из кабинета, сказал, что примет всех, а приема ждали еще несколько человек. И затрепыхалась надежда: видел же он меня, сказал — примет. В два часа ночи меня позвали в кабинет. Разговор был короткий. Не приглашая садиться, он зашел за свой редакторский стол, не спеша набил, раскурил трубку (вот эта пауза была для меня долгой), повеяло хо- рошим ароматным табаком.

— Мы пошлем вас на ст'ойку, а вы там комсо'га назовете фашистом...

Он не выговаривал звук «эр», но это не портило, а даже придавало его речи определенную индивидуальность, и говорил он в сталинской манере: пауза и — жест трубкой, опережающий слово.

Я молча выслушал его, вышел. Одного не мог понять: зачем он принял меня? Чтобы вот это сказать?

В третьем часу ночи шел я по Москве, униженный до крайности, и думать не думал, что все, происшедшее со мной, к лучшему. Никуда не надо было мне ехать «изучать жизнь», ни на какие стройки. Позади — вся война, все, что я должен был рассказать, все мои книги были во мне, только я еще об этом не догадывался. Не от себя, а в себя путь писателя, в нем самом все сокрыто, а жизнь у нас всюду интересная, не зря все чаще поминают не самое доброе китайское пожелание: жить тебе в интересное время...

Да и что бы я там увидел? Ни фашистские, ни наши лагеря я не прошел, бог миловал. А требовалось, о чем я и не догадывался, видя колонны зэ-

ков, восхвалять свободный труд «строителей коммунизма». Вот это бы, наверное, переломало мне жизнь.

И по-другому посмотреть: поехал бы, и, возможно, была бы у меня другая семья, какие-то другие дети, внуки... Нет, я благодарен Симонову, я действительно благодарен ему, хотя вроде бы и благодарить его не за что. «Входите тесными вратами» — вот принцип жизни, великая мудрость в нем заключена.

Прошли годы, и жизнь не то чтобы сблизила нас, но мы как бы оказались по одну сторону незримой баррикады. Нужно было, например, перед Фурцевой, перед министром культуры, защищать спектакль в Театре на Таганке — зовут и его, и меня. И много было таких случаев. Да к тому же и за городом мы оказались в одном поселке, свою переделкинскую дачу он продал.

Думаю, лучшее, что написано им о войне, это его фронтовые дневники. Но и там — корреспондентская, генеральская война. Вот пишет он о боях под Могилевом, где героически сражался полк Кутепова (а Кутепов — прообраз Серпилина, героя его военных романов, начиная с «Живых и мертвых»), пишет, что, по-видимому, все они там погибли. Следующий же отрывок в дневнике начинается со слов, что он, Симонов, хорошо выспавшись и позавтракав, отправился... Этой разницы судеб не он один не чувствовал, не понимал.

В послевоенной мирной жизни он словно бы еще не пришел с войны. В кабинете его, на даче, в просторном, богатом кабинете, потолок был из бревен, но хорошо обработанных, подчеркнутых и покрытых лаком бревен. И под этим «накатом», как в землянке, диктовал он свои книги, потом это перепечатывалось с диктофона, и он правил. Не понимая, как можно диктовать прозу? Как можно, когда

ты пишешь и слышишь все, и проговариваешь на слух, и все это у тебя перед глазами, да — не исключено — и рожи какие-то строишь, не следишь же в этот момент за собой, как можно, чтобы при этом присутствовал кто-то посторонний?

Ходил Симонов и держался так, будто и не снял с себя военной формы. Только формой его теперь был джинсовый костюм и та же трубка. В джинсовом костюме вел он телевизионные беседы с кавалерами трех орденов Славы; грядущим поколениям он оставил живыми на пленке этих людей, их простые рассказы. Кроме него, никто этого не сделал. И если не говорить о его поэзии, это — самое проникновенное, что сделано им. В свое время я написал об этих беседах с солдатами, о фильме, который получился. И о другом его фильме, поставленном по роману «Живые и мертвые», я написал по его просьбе для «Леттр Франсез». Не знаю, как сейчас смотрел бы я этот фильм, но тогда первая серия меня взволновала, вторая же... Кто-то сказал о книгах Симонова, что автор их гораздо интересней при встрече, чем при расставании.

В 1975 году в журнале «Новый мир» цензура запретила мой роман «Друзья», уже набранный в типографии, уже стоявший в номере. Ни одна моя книга не проходила через цензуру, не ободрав бока.

Только то обстоятельство, что пишу я медленно, делало мои встречи с цензурой не такими уж частыми. Но вот опять встретились. Попробовал я было обратиться в Союз писателей, все-таки вроде бы профессиональный наш союз. Маркова замещал Озеров, он всегда демонстрировал хорошее отношение ко мне, о детях постоянно справлялся, сам чадолюбив. Но тут вдруг стал холодно-официален: «Нет, секретариат этим заниматься не будет. Если каждый раз секретариат...». А чем, если трезво подумать, должен был заниматься секретариат, для чего

его выбирали? Да в том-то и дело, что никто никого не выбирал, секретарей назначали сверху, а зал только руки подымал. Как колхозники на собрании, когда привозили им неведомо кого: «Вот ваш председатель...». После коллективизации крестьян прошла коллективизация писателей, и что председатели в колхозах, что секретари в Союзе для того и сидели в креслах, чтобы выполнять приказания сверху. Разница же была лишь та, что колхозников обирали дочиста, писателей же подкармливали, и каждому из них воздавалось по делам его.

Интересно, что в тот же вечер Озеров позвонил мне. В Минске по случаю тридцатилетия победы собиралось большое совещание, и хотя сам он всю войну от фронта был далек, возглавить совещание и всем руководить по должности поручили ему. И вот тут я оказался ему нужен. Вот как он меня выманивал: «Вам надо поехать, выступить, это создаст благоприятный для вас фон...». Пришлось сказать ему все, что я о нем думаю.

И тут Лазарь Ильич Лазарев предложил поговорить с Симоновым, тоже секретарем Союза. В свое время Лазарев написал рецензию на мою повесть «Пядь земли», написал, как фронтовик мог написать. И доставалось ему потом вместе со мной наравне. Он поговорил, Симонов согласился прочесть роман, предупредив: «Только вы дайте мне его при них. На главные секретариаты они теперь меня не приглашают».

Я не догадывался, что его уже начали отеснять, хотя было это так понятно. Он служил Сталину, бывал обласкан. Науку властвовать Сталин изучал с детства, знал, власть нуждается в красивых одеяниях, умел расставлять по сцене главных исполнителей и массовку, не скупился на декорации. Симонов мог сравнивать тот двор и жалкое его подобие. Это было не в его пользу. И международная

его известность в определенных кругах была ему теперь как бы в укор: Марков, Сартаков — кто они, кто их знал? Брежневские времена, чиновник вырастал в спасители отечества. Да и не воевал никто из них. А на Симонове, что там ни говори, лежал отсвет победы, читатель его был огромен, его читали и рядовые, и маршалы. И, что не менее важно, читали его жены самых высших руководителей. В дальнейшем, будучи редактором журнала «Знамя», я мог в этом убедиться, когда мы печатали мемуары Симонова «Глазами человека моего поколения».

Для меня в этих мемуарах, в которых он решился сказать всю правду, а печатать при жизни и не пытался, интересней всего был он сам, человек своего времени. Как несвободна была его мысль! Даже когда он писал в стол, как пишут завещания.

Я отдал ему в тот раз верстку романа при Озерове, на следующий день они уезжали в Минск. И понимал, что все это уже впустую: журнал не может ждать, есть график, а выпал из номера — выпал из гнезда.

Помог мне совершенно неожиданно Наиль Бариевич Биккенин. В огромном здании ЦК, где столько этажей и кабинетов и так профессионально разработана система отпасовывать неприятное дело по горизонтали, по вертикали, чтобы не брать ответственности на себя, он занимал весьма небольшую должность: заведующий сектором. Знакомы мы с ним были всего каких-нибудь несколько месяцев: в Колонном зале Дома союзов он подошел ко мне, протянул руку: «Я ваш читатель». Вот он позвонил в цензуру, и роман был напечатан, хотя и покоренный.

Как-то зимой по делу зашел я к Симонову на дачу. Был я с мороза, в валенках, внес с собой морозный воздух, и, возможно, от этого захотелось ему

пройтись, подышать. Он хронически болел легкими, подозревали рак, но рака у него не было. И вот втроем мы шли по улице нашего поселка. Он был в черной, черным мехом отороченной дубленой шубе, в дубленке была и Лариса, его жена. Первым браком она была замужем за поэтом Семеном Гудзенко, это его строки: «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем...». Он предсказал свою судьбу. Лариса пошла за него против воли отца, генерала Жадова: Гудзенко был еврей. Кстати, фамилия самого генерала была Жидов, но Сталин, подписывая указ о награждении, счел такую фамилию неподобающей и росчерком пера переименовал его в Жадова.

Мы шли по свежавыпавшему снегу. И морозен, чист был воздух за городом, дышишь и не надышишься. Пробежала лошадь с санями, уронив между полозьев теплый помет. О чем-то мы говорили, я старался смотреть под ноги, чтобы по лицу моему он не увидел, как он изменился. У него уже был тот испуганный взгляд человека, страшящегося в чужих глазах прочесть правду о себе. А изменился он сильно. В белый зимний день, при мягком свете, желтым, серо-желтым было его лицо, черные тени под глазами, а губы — белые, сухие, шелушащиеся. Он уже не курил, но часто закашливался и сплевывал в снег желтые, будто от никотина, плевки. Потом он лег в Кремлевку. Говорят, ему непрофессионально сделали откачивание из легких. Но мне кажется, хотя, возможно, я ошибаюсь, он чувствовал, что пережил свое время, это лишало его воли к жизни. Великое это дело: воля к жизни. Знаю по себе.

В НАЧАЛЕ СЛОВА БЫЛА ЖИЗНЬ

В дождливый день я стоял под грибком в пустом детском садике и ждал из школы Эллу, мою буду-

шую жену. Прозвенел звонок, орда школьников вырвалась на волю, прошло еще какое-то время, она вышла со своим учительским портфелем, и мы вдвоем пошли в ЗАГС. Не знаю, есть ли теперь очереди в это учреждение, тогда были. Нам назначили день, когда прийти регистрироваться: 9-е мая, День Победы. Вот так совпало.

Ну что может быть торжественного, когда вас записывают в какую-то книгу и в нужной графе вы расписываетесь, а девица, которая всем этим руководит, возможно, сама была бы не прочь, чтобы кто-то с ней расписался, хотя бы и так. Свидетелей тогда не требовалось, и это тоже было хорошо: нам не хотелось, чтобы здесь, в учреждении, хлопали пробки шампанского, кто-то что-то кричал. Главное было в нас самих. Мы вернулись к обеду: теща, тесть, мы двое. Мы были счастливы.

Случайно, незадолго до нашего знакомства, будущий мой тесть купил в киоске журнал «Октябрь», там был напечатан мой рассказ, он обратил на него внимание, показал дома, так мы заочно познакомились. Никогда с тех пор рассказ этот не перечитывал: проба пера. Поразительно было то, что его все же напечатали. В отделе прозы сидела Жданова, сестра того самого Жданова, немолодая, тоже невысокая и полная весьма, сидела молча. То ли она парализующе действовала на другую редакторшу, Ольгу Васильевну Румянцеву, то ли время было такое? Когда я в очередной раз справлялся о рассказе, Ольга Васильевна говорила мне: «Я люблю вашу палитру. — И спрашивала: — Ну, как ваш дитенок?». Ни детей, ни жены тогда у меня еще не было, выждав месяц-два, я снова приходил справляться. «Ну, как ваш дитенок?». И опять я узнавал, что «она любит мою палитру». Она была дама, приятная во всех отношениях, но нужно было, чтобы кто-то за нее решил.

Весь наш роман с Эллой длился полтора месяца, не так уж много, чтобы прожить вместе всю жизнь. В «комнату для домработницы», которую я снимал, она прибегала ко мне, счастливая, что-то готовила, с первых дней взяв на себя заботу обо мне. Потом я уехал в командировку в Башкирию, написал для альманаха «Дружба народов» (тогда это был еще не журнал, альманах) очерк о нефтяниках, могу сказать объективно, неплохой был очерк, но сколько же я с ним намучился! Редактором был Алексей Сурков, он не вникал в дела, его заместителем и доверенным лицом сидел там некто К., в общем-то несчастный человек. Числился он критиком, но и это было ему не дано, он создан был состоять при начальнике и, сознавая себя безнаказанным, руководить. Не важно чем, но — руководить. Раз за разом он выдвигал какие-то новые требования, забывая о том, что говорил ранее, а облекал все это в вежливую форму — мой однокашник по Литинституту: он там служил. И это был первый для меня урок: никогда не печататься там, где сидят мои однокашники.

Однажды на улице я увидел К. с женщиной, они шли быстро, и он что-то раздраженно говорил ей. Это была его любовница. Крупная, красивая, умная женщина, да и писала она с блеском, и вот этот бездарный, сильно немолодой, если не сказать — старый, скучный мозгляк. Что их могло связывать? Неужели то, что он — начальник, а она печатается в этом альманахе? Больше я туда не пошел. А деньги были нужны. Что за муж, который нигде не работает и зарабатывает от случая к случаю? Элла несла в школе максимальную нагрузку: три класса, и — ежедневная гора тетрадей, которые надо было проверить, сто двадцать раз прочесть один и тот же текст, исправить ошибки, да еще частные уроки в богатых домах, да еще заочно заканчивала педагогический институт.

В свое время она поступала в ГИТИС на театроведческое отделение, сдала экзамены на отлично, блестяще прошла собеседование, сочинение ее не только получило отличную оценку, но было отмечено. Поступила! И вдруг ее вызывают, и экзаменатор, которая хвалила ее, говорит смущенно: нет ли кого-то влиятельного, кто бы позвонил и похлопал по плечу за нее? Дело в том, что уже после экзаменов, когда прием был закончен, подала заявление внучка Горького, ну и — сами понимаете... Ходатайствовать было некому. Поступила внучка Горького. А Элла пошла в двухгодичный учительский институт, жить надо было, закончила его с красным дипломом, благодаря чему ее не ушляли ни на Камчатку, ни на Курильские острова, работала и продолжала учиться заочно. И костюмчик рябенкий, который шел ей так, что можно было залюбоваться, она сшила сама. И залюбовывались. Две пожилые учительницы, две Марии Ивановны, присмотрели ей женихов. У одной из них был неженатый племянник, физик, подающий надежды, он только что защитил кандидатскую диссертацию. Был разработан стратегический план: Элли и ее приятельницу, тоже учительницу их школы, пригласили на семейное торжество, мол, обидите, если не придете. Приятельница все знала, уговорила ее. Там уже сидел племянник, у него случайно оказались два билета в театр. Провожая из театра, он сообщил, что ему обещана двухкомнатная квартира, если он женится... Обида Марии Ивановны была смертельная, она перестала здороваться. Тогда в дело вступила другая Мария Ивановна: у ее родственника, генерала, который служил в тот момент в Германии, — адъютант, он у них как сын родной, прекрасный молодой человек, перспективнейший офицер, и как раз он сейчас — в Москве. У него тоже оказались билеты в театр, в Большой театр. Помимо всех прочих досто-

инств у адъютанта были шикарные усы и от сверкающих сапог пахло ваксой. Потом он звонил из Берлина: среди ночи раздался телефонный звонок, звонил адъютант. В общем, и вторая Мария Ивановна обиделась и тоже перестала здороваться.

В те годы советские люди регулярно и поголовно подписывались на заем, как правило — на одну зарплату. Но были и патриоты. Их вызывали в партком, проводили соответствующую беседу, и — куда денешься? — человек подписывался на трехмесячную зарплату и призывал всех последовать его примеру. Три месяца в году семья не получала зарплаты — невидимые миру слезы. Но случались и выигрыши по займу. Элла выиграла 200 рублей, был сшит обширный занавес, им перегородили комнату, по одну сторону занавеса — тесть с тещей, по другую — мы с Эллой. Было в квартире еще две комнаты, в каждой — семья. Киселевы: муж, жена, инженеры-железнодорожники, оба больны туберкулезом. И сын, школьник. В третьей комнате — паровозный машинист Манаенко с женой Александрой и маленькими сыновьями. Это была интересная семья. Он — родом из Туркмении, скорей всего — смесь кровей: рослый красивый мужчина, глаза огромные, черные, грустные глаза. Во время страшного ашхабадского землетрясения у него погибли там все родные. На фронте он был командиром стрелкового батальона, она — санитарка, в страшном сне такая не приснится. Но родился ребенок. И будто бы (так рассказывали) он долго сидел, смотрел на сына и остался с ней. Она же, Александра, и разжаловала его, своего мужа. За что-то разозлилась на него и в ярости написала командованию, что в его батальоне обнаружена вшивость и еще какие-то смертные грехи. Так он, майор, стал паровозным машинистом. И опять не ушел от нее: родился второй сын. Дети их, немытые, нечесанные, го-

лодные (моя теща из жалости подкармливала их), бегали по квартире босиком, в рубашонках до пупа, случалось, роняли на пол, не донеся до уборной. Возвратившись из рейса, отец первым делом отмывал их, приоденет, накормит. Стоит, бывало, на кухне, прокручивает мясо на котлеты. Однажды попробовала это сделать Александра, но сила была такая, что сломалась мясорубка. И вот как-то врывается она в квартиру, полубезумная: за ней гнались. Но она, проявив военную сметку, оставила лифт открытым, и толпа, запаленная, топала по лестнице на четвертый этаж. Они топали по лестнице, а она уже ждала их за дверью со скалкой в руке. Было их немало, в дверь барабанили во много кулаков. Александра ждала. Вдруг рывком распахнула дверь, ближним досталось скалкой по головам, и дверь захлопнулась. Вот такая была оторва. Единственно, кого она если не почитала, то хоть слушалась немного, была моя теща, Тамара Кондратьевна. Вот был истинно верующий человек. Не помню, чтобы она ходила в церковь, хотя когда-то ставила свечку, наверное, дочке желала счастья; не знаю, молилась ли она, разве что в кухне поздним вечером, там, в темноте, одна, она любила покурить. Но бог жил в ее душе, во всех ее поступках.

Примерно столько же, сколько зарабатывала Элла каторжным учительским трудом, слепя глаза над тетрадями, зарабатывал и я в журнале «Крестьянка»: отвечал на письма, рецензировал графоманские рукописи. Выписывать надо было оттуда, выписывать бессмертные фразы, такие нарочно не придумаешь. Теперь жалею, что я этого не делал, но я начитался их до полного отравления, кое-что случайно сохранилось в памяти. Ну, например: «Передние лошади вставали на задние дыбы, а сзади напирали передние лошади». Графомания — это интереснейшая даже с психологи-

ческой точки зрения и совершенно не изученная область советской литературы, она же — одно из следствий всеобщей грамотности. «В клящий мороз устелись с ней на снегу — испепелит». Уму непостижимо, зачем в клящий мороз устилаться с ней на снегу? Но это не из писем в «Крестьянку», это из романа, если не ошибаюсь, удостоенного Сталинской премии. Или вот стихи приходили в журнал «Знамя»:

*На скользком пьедестале
Ильич наш дорогой
Стоит в привычной позе
С протянутой рукой...*

А все подряд романы Кочетова, это что, не графомания? В одном из них героиня на одну треть то ли польской, то ли еще какой-то крови.

Или вот просвещенный автор восклицает во гневе по поводу сильно декольтированных женщин: «Женщины и матери Европы! Как вы могли допустить осквернения вашей груди, вскормившей Шекспира и Гете, Бальзака и Карла Маркса?..». Нет уж, по мне так пусть лучше «передние лошади встают на задние дыбы». Это хоть простодушней.

Свадьбу свою мы справляли месяца через два, за городом, когда появились деньги. Было весело, пьяно, оттого и фотографии все, как говорится, не в фокусе. Снимал мой школьный друг Алик Небольсин, с ним когда-то мы вместе пошли учиться в воронежский авиатехникум. После войны я встретил его в Москве, авиатехникум он кончил, учился в Автодорожном институте. И выяснилось то, о чем я не догадывался раньше: оказывается, моя сестренка Юдя еще в школьные годы была в него влюблена. Вскоре мы с Аликом стали ближайшими родственниками.

Сегодня, сорок пять лет спустя, почти никого уже нет на свете из тех, кто сидел тогда за обширным столом, который мы с Аликом сколотили. Остались фотографии.

Мне было тридцать два года, когда у нас родился сын. В память моих братьев мне, конечно, хотелось назвать его Юрой. Но оба погибли на войне, и я чувствовал, жене страшно. Из роддома, как из заключения, я получил от жены записку: «Смотри, какое хорошее имя — Мишенька». Так мы и назвали нашего сына.

«Далеко, у края степи, как снеговые горы, лежат облака, осиянные солнцем. Там встают все новые дымы разрывов. Дорога уходит туда. Если суждено мне пройти ее до конца, я хочу, чтобы после войны был у меня сын. Чтобы я посадил его на колени, родного, теплого, положил руку на голову и рассказал обо всем». Это из «Пяди земли». Но мне действительно, когда я вернулся с войны, хотелось сына. Дом, жена, семья — все это было как-то непредставимо. Мне хотелось сына. Может быть, потому, что от всей нашей семьи остался я один. «Коли на Михайлов день да иней — ожидай больших снегов». Сын родился в декабре, и были большие снега, мороз стоял под тридцать градусов, а когда я забирал их домой, когда мне дали в руки нечто невесомое в одеяльце, я все мышцы напряг, чтобы удержать.

Теща моя, Тамара Кондратьевна, в святой своей уверенности говорила: «Даст бог его, даст и на него». Но мне полагаться на бога было как-то непривычно, и все лето, как одержимый, я писал повесть, работал по двенадцать, по четырнадцать, по шестнадцать часов в сутки. Иногда обалдевал настолько, что Элла гребнем расчесывала мне голову, пока я не приходил в себя. И снова садился за

работу. Мы сняли за городом, в Баковке, временку, летнюю комнатенку с крошечной террасой. Туда к жене моей приезжали ученицы, заниматься по русскому языку, разумеется, бесплатно, она жалела их, кормила обедом. Обучение тогда было раздельное, у Эллы был класс девочек, они ждали свою учительницу до занятий возле дома, чтобы нести ее портфель, они провожали ее домой после уроков, они явно ревновали ее ко мне. Однажды, проходя по рядам, она заметила, что ученица, приоткрыв парту, рассматривает фотографию мальчика, и пристыдила ее: «Я объясняю новый материал». У девочки брызнули слезы: «Это не мальчик. Это мой папа!». Росло целое поколение без отцов, у большинства девочек в классе отцы погибли на войне.

Перед экзаменами самым нуждающимся, самым бедным Элла отправила посылки: полкило масла, сахар, стуженное молоко. Все это было куплено на ее школьную зарплату. Но были благополучные семьи: семьи работников НКВД. Все они жили в большом сером доме на Можайском шоссе. Однажды девочки из этого дома пришли на занятия с заплаканными глазами. Ночью арестовали их отцов.

Повесть, которую я писал, была о деревне, хотя человек я городской. Может показаться: с чего бы вдруг? Но в том-то и дело, что не вдруг. Среди солдат моего взвода примерно половина была из деревни. То, что они рассказывали, никак не похоже было на книги, которые я читал, на «Поднятую целину» Шолохова. Особенно памятен был мне ночной разговор по душам, когда мы думали, что не вырвемся из окружения. И в дальнейшем, после института, я ездил в командировки от разных журналов, от газет, в основном — в деревню. Кубань, Вологодчина, конечно — Воронежская об-

ласть, Оренбургские степи, Урал, Сибирь, Заволжье, Чувашия.

Когда при Хрущеве стали отправлять «тридцатитысячников», загорелось и мне ехать в деревню, стать председателем колхоза: что-то вроде запоздалого народничества. Самое удивительное, что и Элла соглашалась ехать со мной, хорошо, что этого не случилось, никому бы мы и ничем там не помогли, только жизнь свою загубили бы.

Пришло однажды в «Литературную газету» письмо из Орловской области, из деревни Шалимовки, колхоз назывался «Путь к коммунизму». И вот из этого самого «Пути к коммунизму» писал восьмидесятичетырехлетний старик Фома Афанасьевич Суханов, жаловался, что у него в наказание отрезали часть участка. Кого же и за что наказывала власть? Четыре сына Фомы Афанасьевича — Сергей, Алексей, Егор и Петр — погибли на фронте. Пятый, и последний, сын был призван военкоматом разминировать поля колхоза (это места Орловско-Курской битвы). Он погиб, подорвавшись на mine. Остались две дочери. Но одна из них, Домна, погибла, восстанавливая шахту в Донбассе. Сам Фома Афанасьевич до преклонных лет работал в колхозе и жил теперь с единственной из семи его детей оставшейся в живых дочерью и зятем в старом своем доме и на той земле, которую всю свою жизнь обрабатывал, удобрял и с этого участка кормился. Вот от него и отрезали половину, тринадцать соток, отрезали и оставили зарастать бурьяном на глазах старика. А все за то, что зять, который не был колхозником, не захотел идти в колхоз, тут даже и логики никакой не просматривалось: участок не принадлежал зятю. Я поехал узнавать, что и как там происходило, ехал машиной тем самым путем, которым год целый ходил старыми ногами Фома Афанасьевич, искал правды: девять километров до автобуса, да автобу-

сом, да обратно девять километров и летом, и зимой, и по осенней и весенней черноземной грязи, из которой другой раз и лошадь ногу не вытянет. И всегда он приходил не вовремя, мешал занятым людям бумаги писать.

В Италии у старика Альчидо Черви девять сыновей погибло в партизанах, он — национальный герой, его знает вся Италия. Мне хотелось понять: что же у нас с людьми-то происходит? Власть, что ли, их такими сделала? Но власть у нас не из дворян. И уж никак не из интеллигентов. Разговариваю со старшим инженером-землеустроителем Жуковой, немолодой женщиной, она отрезала у Фомы Афанасьевича участок, спросил, знает ли она, есть у него дети? Дети? Сейчас погляжу... И долго шелестела бумагами, никак не могла взять в толк, при чем тут дети, когда есть устав, принят, зарегистрирован в райисполкоме... Зачем вообще корреспондент приехал? Ну, Жукова все же — должностное лицо. А и в деревне женщины, я разговаривал с ними, все же по природе своей женщины милосердней, но и они тоже считали, что правильно отрезали землю, пусть хоть зарастает: дочь-то его — уборщица в конторе, на легкой работе, а им по лишнему гектару свеклы накинули, пропалывать...

В общем, повесть, которую я писал все лето, не была для меня случайной. А лето выпало благодатное. Перепадали дожди, вставала над полями радуга, с детства казалось мне, что там, за ней, открывается особенный, чудесный мир, хотелось попасть туда, но радуга быстро гасла.

Был между Баковкой и Переделкино небольшой лесок, в нем, отгороженные высоким забором, два огромных, одинаковых по размерам участка: санаторий министерства путей сообщения и — дача Буденного. Оттуда, как говорили, выезжал он на прогулку на коне, мы этого ни разу не видели.

Вот в этот лесок мы любили ходить, собирали грибы, разговаривали. Сын еще не родился, но он в этих прогулках уже был с нами. А я, будущий его отец, все еще, по сути дела, был никем. Для домоуправления, для милиции требовались справки, что я где-то работаю, где-то числюсь. Добывать их было унизительно. Да и заработки мои случайны. Но даже в самое трудное время Элла говорила: никуда не иди работать, пиши. Верила ли она тогда в меня? Во всяком случае, не хотела, чтобы когда-то я мог упрекнуть себя: не выдержал, смалодушничал.

Повесть с беспомощным названием «В Снегирях» вышла в журнале, была издана книгой, критика отметила ее, меня пригласили на совещание молодых писателей, рекомендовали в Союз. Но почему-то мне подумалось, что Константин Георгиевич Паустовский обидится, если я вступлю в Союз писателей без его рекомендации: все же в институте я был в его семинаре, неблагодарным сочтет. И я позвонил ему. «Да, да, конечно». И видимо, забыл. Полгода я ждал, считая неудобным напоминать, давно уже вступили в Союз те, кто был рекомендован совещанием одновременно со мной, а я все ждал.

Но как беда не одна ходит, так и радость — к радости. Родился сын, и тогда же в журнале вышла моя повесть. «Даст бог его, даст и на него». Получив деньги, я спросил мою тещу-пророчицу:

— Вы держали когда-нибудь в руках десять тысяч?

— Нет, никогда не держала.

— Тогда — держите.

Вот уже лет сорок, наверное, не перечитывал я эту мою повесть. Никогда не включал ее в сборники, не включил и в собрание сочинений. Я многому научился, пока писал ее, хорошо, что она есть, стыдиться мне нечего, но и гордиться нечем. Все же о

деревне должны писать те, кто там родился и хотя бы часть своей жизни прожил.

По этой повести в дальнейшем был поставлен фильм, режиссер говорил: «Я хочу, чтобы он получился в рембрандтовских тонах». Он и получился «в рембрандтовских тонах». Дали ему вторую категорию, большего он не заслуживал, шел вторым экраном, но, как ни странно, тираж его был огромен, никогда, ни за один фильм, поставленный по моим книгам, по моим сценариям, не получал я таких потиражных. А играла в нем тогда еще молодая ослепительная красавица Дзидра Ритенбергс.

Когда заканчиваешь книгу, остается еще запал. Он сильней усталости, его надо не упустить. А устроишь себе отдых, начнешь, как говорят кинематографисты, «пожимать лавры», и — все: к столу уже не тянет, слово к слову не идет, и ты рад, если тебя оторвут вроде бы по делу, ты сам этого ждешь. Сколько видел я таких праздничных литераторов! Взбодрят повестушку и ходят в редакцию принимать поздравления, рассказывать о своих дальнейших «творческих планах». Один, помню, все ходил с блокнотом и карандашом в руке: вот уже собираю материал...

Я писал первую свою повесть, а во мне уже ворочалась другая книга. И мешала мне, хотелось ее начать. Я уже знал первые фразы: «К ночи похолодало. Небо прояснилось, звезды горели ярко». И эта ночь, и темные силуэты «кукурузников», ночных двукрылых тихоходных бомбардировщиков, плывущие среди звезд, и нити трассирующих пуль, вдруг потянувшиеся к ним с земли, а летчики — женщины и совсем неопытные девчонки — летят бомбить немецкий передний край, — все это я вновь видел. Или вдруг так ясно почувствуешь запах мокрого кирпича. Мы стояли вдвоем с сержантом-пехотин-

цем за стеной разбитого дома, готовясь перебежать улицу. Ночью выпал снег, и сейчас он таял на раскрошенной снарядом кирпичной стене. И солнце — слепящее, весеннее. Закопченной рукой сержант снял подтаявший снег, сжал его, поднес к лицу, вдохнул запах, а пули, убившей его, я не слышал. Он только сполз спиной по стене, и шапка откатилась.

А то вдруг видел раненую лошадь, она уже дрожала крупной дрожью, вот-вот упадет, и другая лошадь терлась об нее шеей, горлом терлась, согревала своим теплом. Я заново видел войну, все те годы, и дни, и часы, и месяцы, а час бывал длинней многих жизней. Время осмысления для меня еще не пришло, но нельзя было, чтобы все то, что я видел и знал, исчезло бесследно. Мне и по ночам это снилось. И я уже знал: единственный способ избавиться — написать.

В книге В. Яна «Чингис-хан» есть обращение к читателю: «Если человеку выпадет случай наблюдать чрезвычайное, как-то: извержение огнедышащей горы, погубившей цветущее селение, восстание угнетенного народа против всемогущего владыки или вторжение в земли родины невиданного и необузданного народа, — все это видевший должен поведать бумаге. А если он не обучен искусству нанизывать концом тростинки слова повести, то ему следует рассказать свои воспоминания опытному писцу, чтобы тот начертал сказанное на прочных листах в назидание внукам и правнукам».

Никому и ничего я не хотел рассказывать в назидание. И не было у меня честолюбивых мечтаний. Но то, что я знал, пережил, видел, не должно было исчезнуть. Это было для меня главным в то время.

Много раз читал я и слышал о том, как и почему пишут книги. Особенно благородно это звучит, когда рассказывают, почему написана книга о

минувшей войне: я, мол, вернулся, живой, мой долг — рассказать о моих погибших товарищах. Может быть — так, наверное даже — так. Но есть тут что-то от ума. А книги — я говорю о своем опыте — по расчету и по соображению не пишут, если речь идет об искусстве. Они приходят сами, приходят не случайно: вначале была жизнь. И видишь мир через нее, через эту будущую свою книгу. И только то и интересно, что с ней связано. И многое открывается тебе в людях, в самом течении жизни, поражаешься другой раз: ты там был, ты это видел, как же ты смысла происходящего не понимал? И подопрет так, что уже не писать не можешь. А пока пишешь книгу, живешь в той жизни: в той, что была, и в той, что в сознании твоём возникла. Она не менее реальна. Она так же зрима. А когда книга закончена, уже не отличишь и не вспомнишь, что было на самом деле, а что и как преобразилось в книге. И вот я кончил повесть мою о войне, назвав ее «Южнее главного удара». Я не считаю название удачным. Но смысл в нем был: и в этой книге, и во всех моих книгах я писал не о парадной стороне жизни и не о тех, кому досталось водружать флаги, пусть даже и на рейхстаге водрузить (а эта история запутанная, донныне неизвестно и вряд ли узнают когда-либо, кто действительно был там первым, а кого назначили первым быть и восславили), писал я о жизни, как она есть, и чаще всего о тех, на кого давит она самым тяжелым своим колесом.

Написав повесть, я прочел ее целиком. И поразился: а куда же все остальное девать, что я видел, что знаю? Не в том смысле, что про каждый день, про все, что было, надо рассказать непременно. Нет. Самое главное еще не сказано. А что оно, главное, как о нем рассказать, мне это было пока еще неизвестно и вряд ли по силам. Позже Василь Быков, с которым, как оказалось, мы были в Венгрии на одном

фронте, напишет об этой моей книге: «С благоговейным трепетом прочитав эту небольшую повесть Г. Бакланова, я понял, как надо писать о войне, и думаю, что не ошибся». Мы не были знакомы, эти слова его я прочту через много лет, и хорошо, что не тогда, сразу: похвала каждому приятна, что уж говорить, но трезвый взгляд иногда нужней. Впрочем, до похвал было весьма далеко, об этом рассказ впереди.

Почему-то книги, написанные от первого лица, вызывают у читателей больше доверия: мол, про себя рассказывает, все это на самом деле было... А книга — от первого или от третьего лица написанная — это заново прожитая жизнь, твоя или чужая, но все равно она — твоя. И ты во всем и в каждом: мужчина это или женщина, или раненая лошадь, или кошка, выброшенная на мороз, в ней тоже — ты.

Повесть «Южнее главного удара», первую мою повесть о войне, я писал два года. Наша комната, разгороженная занавеской, представляла собой как бы три комнаты. Стояла за занавеской наша односпальная кровать, на ней вдвоем нам не было тесно, стоял овальный столик, на нем я писал, и — чешская кроватка сына на колесиках. Он просыпался, я ногой подкачивал кровать, мне он не мешал.

Глубокое заблуждение, что мы, взрослые, чему-то учим наших детей. Вначале они учат нас. Они рождаются, крошечные, жалкие, беспомощные, и делают нас родителями, учат тому, чему никто, кроме них, никогда не учил. Они пробуждают в человеке все лучшее, что в нем есть, и мужество дают, и силы, и жизнь обретает особый смысл. Это уж потом мы начинаем воспитывать их по своему образу и подобию, что далеко не всегда хорошо. А вначале они учат нас. Наши дети, и сын, и дочь в дальнейшем, они учили нас, дарили нам счастье, а мы дума-

ли, что это — заботы. Без них, я это знаю точно, я не написал бы своих книг, во всяком случае, эти книги были бы не такими. Без них я не прожил бы свою жизнь так, как я ее прожил. Да что уж обо мне говорить! Лев Толстой не написал бы «Войну и мир» так, как он ее написал, если бы его дети не открыли ему великие тайны мира. И это мудро, что в Древней Греции не мог стать судьей тот, у кого не было детей.

Оттого что моя мама теплом и любовью окружала меня, я рос в убеждении, что я нужен миру, очень важное для человека убеждение, оно многое определило во мне. А миру окружающему было абсолютно безразлично, есть я или нет. И когда родился наш сын, я впервые понял, что, кроме нас, он никому не нужен, страна и власть имущие вспомнят о нем, когда придет время призвать его в армию, защищать их самих и страну. Вот тогда о нем вспомнят и напомним о его гражданском долге.

Какой румяной, какой здоровой возвращалась с мороза Элла — в шерстяном платке, в валенках, в цигейковой шубе, — и час, и два она прогуливалась в коляске спящего нашего сына. А морозы стояли трескучие. Раздевшись, распеленав его, садилась кормить, а он, проголодавшийся, уже орет, ищет ртом и затихает. Священные мгновения. Такой красивой бывает только счастливая молодая мать.

Повесть я отнес в журнал «Знамя». И потянулось время ожидания. Ходить, справляться: «Ну, как?..» — занятие унижительное. Как-то встречаю на Тверском бульваре члена редколлегии журнала критика Евгения Суркова. Идем, разговариваем ни о чем, о главном не спрашиваю. И вдруг он сам спросил: «Какие у вас отношения с Юрием Нагибиным?» — «Никаких» — «Дело в том, что он написал о вашей повести абсолютно реперткомовскую ре-

цензию». Евгений Данилович Сурков раньше служил то ли по театральному, то ли по кинематографическому ведомству, имел отношение к репертуару, а там от рецензента требовалось главное: не ошибиться, на всякий случай дать автору веслом по голове, а если он все же вынырнет, выживет, первый его и поздравить. «Реперткомовская» — это убийственная, Сурков, человек весьма искушенный, уловил: тут что-то личное, случайно такую рецензию не пишут.

Нагибин был известный писатель, член редколлегии журнала «Знамя», еще до войны он считался чем-то вроде вундеркинда, это и сослужило ему не самую лучшую службу. Но какие же у нас отношения? Мы даже знакомы не были. И тут вспомнилось: года два назад или даже два с лишним Нагибин читал в Доме литераторов свои рассказы. Я еще не был членом Союза. Кто-то из приятелей позвал меня, у Нагибина бывали отличные рассказы, я пошел послушать. Собралось в комнате человек десять — двенадцать, автор предупредил, что будет чтение и обсуждение, но обставлено все было торжественно: рассказы читал актер, а Нагибин сидел рядом. Из двух рассказов один мне не понравился, я это сказал, поскольку — обсуждение. Приятелю моему тогдашнему оба не понравились, но он разумно промолчал, сообразив сразу: нас угощают рассказами. И вот, два с лишним года спустя, мне это аукнулось. Но все тайное рано или поздно становится явным, мне передали слова Нагибина: «Вот пусть ему будет больно, как мне было больно тогда...».

И завертелась карусель. Возвращать повесть журнал явно не хотел, значит, требовалось автора помучить. И начались обсуждения. Был в редколлегии генерал. И не просто генерал, а генерал-лейтенант. «Ну разве такие наши советские девушки, как у вас в повести?» — «А какие?» — спрашиваю его.

«Ну разве такие?». А в повести «советских девушек» всего одна — Тоня, названная так в память о погибшей на фронте подруге моей сестры. Но что ему скажешь, когда на золотых его погонах по две большие звезды и смотрит он на тебя взглядом просветленно-доброжелательным, любящим взглядом. Даже возражать неловко: он тебе добра желает, в воду пихает, а ты на берег лезешь. И орденских колодок на его кителе столько, сколько положено в его звании политработнику.

Я-то понимал, конечно, на что все они делают стойку. В повести была война. Не такая война, какой она должна была бы быть по всем официальным представлениям, а та, какую я видел, в которой участвовал. И тянулось дело, и длилось до тех пор, пока гром не грянул: сняли министра обороны маршала Жукова. Если б не Жуков, возможно, не уцелеть бы и Хрущеву, когда он осмелился скovyрнуть и арестовать Берию. Пленум ЦК — пленумом, но решала армия, а она подчинялась и воле, и слову Жукова. Вот потому-то Хрущев в благодарность и избавился от него, на всякий случай услав в тот момент в Югославию, откуда Жуков возвращался уже не министром. А маршалы это поддерживали, у них свои счета: Сталину, хоть и не по заслугам, они готовы были уступить вершину пирамиды, но не друг другу, в войне каждый из них был первым. И позорнейшую статью в «Правде» на два подвала подписал маршал Конев, которого Жуков в 41-м году спас от расстрела. Обвинялся теперь Жуков во всех смертных грехах, в том числе — в бонапартизме, в недооценке роли партии и роли политработников в армии. А у меня в повести как раз ни одного политработника.

Рассказывать о том, что после этого происходило в редакции, мне и теперь нудно и противно. Да сегодняшнему читателю этого и не понять.

«ПЯДЬ ЗЕМЛИ»

Мы шли с женой вдоль железнодорожного полотна, мы вернулись недавно из города, шли и не могли надышаться, такой тут был воздух. Вечерело. Сын наш полуторагодовалый бегал в траве, рвал ромашки и относил теще. Она, сидя на скамеечке, стерегла его. Он что-то говорил, чему-то радовался, издали нам слышен был его смех. И все вместе это было счастье. Я сказал Элле: «Знаешь, какая будет первая фраза повести? Жизнь на плацдарме начинается ночью». Первая фраза — это интонация, она определяет многое. И чаще всего приходит сама. Я уже начинал писать новую повесть и сколько-то даже написал, все получалось подробно и все — не то. Порвал и бросил. И вот наконец пришло. Но пока я берег это в душе, боялся испортить. Да и в «Знамени» еще не все завершилось: повесть «Южнее главного удара» то подписывали в набор, то опять откладывали.

А в общем мы были счастливы, для счастья не так много надо: сын рос, все были здоровы, я занят был делом моей жизни. На лето мы сняли дачу в Трудовой: огромный участок, сосны до неба, дом бревенчатый, свежесрубленный, сосновый. Такие участки давали генералам после войны, этот дом принадлежал известному генералу, он надорвался и умер, строя его. Мы за большие по тогдашнему времени деньги сняли низ, но жить наверху генеральша, донская казачка, не стала, «чтоб не делиться за электричество», как она объяснила. Она перешла в саманный сарай с земляным полом и там все лето жила при керосиновой лампе.

Осенью Союз писателей закончил на паях с какой-то организацией строительство дома, второго уже дома на Юго-Западе Москвы. Нам дали две комнаты в общей квартире, и я предложил Борису Слуцкому поселиться вместе.

Вот в этой квартире, на кухне, пока все спали, я написал первую главу повести «Пядь земли». И дернул же меня черт дать это прочесть маститому критику, жившему поблизости. Что можно сказать по первым пяти страницам рукописи? Наверное, то, что в свое время сказал Василий Гроссман: пишите. Может, получится, может — нет. Но критик глубокомысленно и долго, не без модуляций в голосе рассказывал мне, что он уже видит и что предвидит заранее. И я так возненавидел свою рукопись, что попробовал дома перечитать — и чуть не стошнило. Недели две я к ней не прикасался, в дальнейшем не изменил ни слова.

Но это был урок. Никогда больше никому не читал я и не давал читать незаконченную рукопись. Тем более, не рассказывал, что хочу писать. Рассказать заранее — это выпустить пар. После этого уже не напишешь сочно, придется заставлять себя, все будет холодно, мертво. Или напишется совсем другое. Бывало, правда, в институтскую пору расскажешь под настроение тогдашнему институтскому другу, а потом обнаружишь у него свои фразы: «Да? А тебе разве они нужны?..».

Единственно, кому каждый день после работы я читал только что написанное, — это жене. И случалось, ссорились. Ведь когда пишешь и пишется, ты царь и бог, все тебе подвластно. И вдруг тебе, еще не остывшему, ведро холодной воды на голову. А так бывало. Сколько раз в повести «Пядь земли» переписывал я сцену купания в Днестре под проливным дождем. Мотовилова сменили на плацдарме, вдвоем с телефонистом они переправились на другой берег. Для тех, кто сидит здесь в окопах, это — передний край, но для них — глубокий тыл, здесь даже воздух другой, они вернулись с плацдарма живые... И все — как впервые в жизни: и ночь, и запах реки, и дождь — счастье, выпавшее на войне.

Вновь и вновь я переписывал эту сцену, и опять слышал: ты можешь лучше. Жена — мой самый доброжелательный и потому самый строгий критик.

Мой товарищ, известный литературовед, прочел один из моих романов, напечатанный в журнале. Отнесся сдержанно, сказал, что он бы на моем месте поправил, дописал, убрал. Проходит года три, роман вышел отдельной книгой, он перечитал его. Перечитал — это уже немало. Первый раз прочесть можно любую книгу, перечитывают не каждую. Звонит мне: ты знаешь, роман стал лучше. Ты, видимо, многое сделал из того, что я тебе сказал. А я не менял ни строчки. Я сказал: просто ты начинаешь понимать, что там написано. Прочти в третий раз.

Я не люблю книги, в которых мысль на поверхности. Тем более не люблю книги, написанные ради того, чтобы мысль доказать, в них все несвободно, подчинено мысли. А в жизни сущность бытия и форма проявления его далеко не всегда совпадают, жизнь сама по себе бесценна. В ней все значительно, даже дураки иной раз выглядят значительно, если молчат. И самые детские вопросы — что есть жизнь, для чего мы живем, есть ли во всем этом смысл — по-прежнему непостижимы и для мудрецов. Не зря Гете писал: единственная книга, каждая страница которой значительна, это сама жизнь. И заменить в искусстве все это условными знаками?

Великие книги, в которых во всей полноте и сочности воссоздана жизнь, не скопирована, а создана художником, читают не один раз, читает не одно поколение. И в разное время читают по-разному. Случается, что та мысль, которая более всего дорога была художнику в его время, может показаться в другое время далеко не такой уж значительной, а обожжет глубиной и злободневностью совсем иное, что как бы находилось в тени, но книга от этого ни-

чего не теряет, как ничего не теряет жизнь, оттого что меняются наши представления о ней. Жизнь — на все времена, и каждому открывать в ней свое. В этом отношении подлинное искусство подобно жизни.

Разумеется, когда я писал повесть «Пядь земли», никакими теоретическими соображениями я не руководствовался, все это — позднейшее. Но мне дорого было и дороже становилось каждое мгновение той жизни. И вновь я видел солнце тех дней — после бомбежки оно выходило как из затмения, — я снова был там и в таком состоянии писал. И мысль и сцены приходили непредугаданно, в такой момент становишься слеп и глух ко всему окружающему. Однажды перехожу трамвайную линию, домой спешил, записать, пока не забылось, и слышу, слышу звонок трамвая, в мозг врзается, так звенит, но сам-то я в этот момент не здесь... В последний момент дрогнул, остановился, а мимо меня, скрежеща тормозами — искры из-под колес, — замедленно ползет трамвай, лица пассажиров в окнах...

Примерно на середине повести возникла другая повесть, возникла сразу, вся: и ощущение ее, и люди, и первая фраза, да и сюжет весь выстраивался. И так интересно стало, захотелось отложить «Пядь земли», а эту написать, казалось, напишется быстро, легко. Велик соблазн. Но удержался.

Ту, возникшую посреди работы повесть, я написал потом, называлась она «Мертвые сраму не имут».

В повести «Пядь земли» всего восемь с половиной авторских листов, то есть восемь с половиной раз по двадцать четыре машинописных страницы. А писал я ее почти два с половиной года. За это время мы разменялись с Борей Слуцким: он съехался с Таней в отдельную квартиру, к нам переехала теща.

Обмен был сложный, многоступенчатый, отнял много сил.

И вот написал я свою повесть, закончил, и стало пусто. А ведь как гнал, как спешил. И теперь жаль тех ушедших дней, когда мысленно жил ею. Предстояло самое неприятное: отдать ее в редакцию. Но об этом чуть позже, сейчас немного о другом.

О БОРИСЕ СЛУЦКОМ

Однажды в Чехословакии, тогда ещё — Чехословакии, спросил меня знакомый литератор: слушайте, как это у вас люди живут в общих квартирах? Как вообще можно жить с кем-то в общей квартире? Общая уборная, общее всё остальное... Ну, что тут объяснить? И как объяснить? И сейчас, более чем через пятьдесят с лишним лет после войны, победители, старики-ветераны, всё ещё живут в городах в так называемых коммуналках, всё ждут, когда дойдёт до них очередь, а она растянулась на полвека с лишним. Большинство не дождалось.

Нашим соседом по квартире несколько лет был Борис Слуцкий. Не он напросился к нам, мы к нему напросились: он был холостяк. И когда в Союзе писателей распределяли квартиры, к нему выстроилась очередь, мы в ней были пятыми по счёту. Но тем, четверым, дали отдельные квартиры, и вот мы — соседи. В быту он был совершенно беспомощен. Рассказывать все происшествия, это всё равно, что рассказывать серию анекдотов. Обычно часа два-три с утра он переводил стихи, с каких языков — не суть важно, переводил по подстрочнику: это был заработок, на это он жил, как многие поэты в то время. И вот сижу, работаю, вдруг — взрыв на кухне, звон металлический. Что такое? Оказалось, Боря решил почистить ботинки, куда-то он собрался, но вакса, долго не востребованная, засохла. Чтоб рас-

топить её, он зажёг газ, поставил банку на огонь, а сам тем временем продолжал переводить стихи, и мысль его далеко витала. Жестяная банка грелась — накалялась да и взорвалась, на потолке остался чёрный след. Хорошо хоть дверь была закрыта, сквозь стекло в двери мы увидели, как по всей кухне крупными хлопьями оседает чёрный снег.

Переводы его печатали, а его поэзию печатать не стремились. Ну кто из тогдашних редакторов в то время, при тогдашней цензуре посмел бы напечатать вот это?

*«А мой хозяин не любил меня —
Не знал меня, не слышал и не видел,
А всё-таки боялся, как огня,
И сумрачно, угрюмо ненавидел.
Ему казалось: я притворно плачу.
Когда пред ним я голову склонял,
Ему казалось: я усмешку прячу.
А я всю жизнь работал на него,
Ложился поздно, поднимался рано.
Любил его. И за него был ранен.
Но мне не помогало ничего.
А я возил с собой его портрет.
В землянке вешал и в палатке вешал —
Смотрел, смотрел, не уставал смотреть.
И с каждым годом мне всё реже, реже
Обидною казалась нелюбовь.
И ныне настроенья мне не губит
Тот явный факт, что испокон веков
Таких, как я, хозяева не любят».*

Гадать не нужно, о каком «хозяине» речь. И хотя времена были уже хрущёвские, но не забудем, как Хрущёв сказал во гневе: во всём я — ленинец, а в отношении к искусству — сталинец. Это теперь мы убедились, что и Ленин и Сталин «в отношении к искусству» близнецы-братья с той лишь

разницей, что один, как утверждали, любил слушать «Апассионату», другой — «Сулико». Но тогда ещё были иллюзии. Стихотворение Слуцкого ходило по Москве, но напечатать... Голову могли оторвать за это, партбилет отнять, а уж кресло из-под зада редактора наверняка бы выдернули. Или вот такие стихи:

*«Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но всё никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!».*

Он был ранен, контужен, демобилизован в чине майора. Война кончилась, но контузия долго не отпускала его: страшные головные боли, две трепанации черепа он перенёс после войны. «Эти года, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчленённой массой, — писал он. — Точнее, двумя комками. 1946—1948. Когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948—1953, когда я постепенно оживал. Сначала я был инвалидом Отечествен-

ной войны. Потом был непечатающимся поэтом. Очень разные положения. Рубеж: осень 1948 года, когда путём полного напряжения я за месяц сочинил четыре стихотворных строки, рифмованных».

Да, хозяин не любил его. И хозяева поменьше и ещё поменьше... Но если б только хозяева от мала до велика на всех ступенях этой длинной лестницы, а то ведь братья — поэты, они в первую очередь не прощали ему таланта. Бездарные люди таланта не прощают. Помните, у Блока: «Здесь жили поэты и каждый встречал другого надменной улыбкой...». Стихи Слуцкого ходили по Москве, но в Союз писателей приняли его не сразу, в два захода. Не случайно было сказано, что в литературу он вошёл раньше, чем в Союз писателей. Впрочем, так и должно бы быть. Если б так было! А тут ещё такое обстоятельство: Илья Эренбург написал статью: «О стихах Бориса Слуцкого». Да не вглубь, как хвалят бездарей, хвалят, а процитировать нечего. Он приводил строки его стихов, в том числе — ненапечатанных. Можно представить себе, сколько сразу прибавилось доброжелателей. И это после «дела врачей», после длительной борьбы с так называемыми космополитами, а в том и в другом деле — почти сплошь еврейские фамилии. В городе Горьком не помню уж кого, но совсем не «космополита» зачислили по злому умыслу в космополиты, он оправдывался стихами: «Бываю раз в неделю сытым, // Хожу не стрижен и не брит, // Зовут меня космополитом, // Какой же я космополит?». После длительной промывки мозгов, после того, как настроение общества соответственно было подогрето, сидеть бы им всем тихо, так нет же, Эренбург выдвигает, и не кого-нибудь, заметьте, а — Слуцкого! Ну?

По пальцам можно перечесать, кто из писателей в годы войны сделал столько, сколько сделал Эренбург, не случайно Гитлер много назначил за его

голову. Но война кончилась, пошли в писательской среде свои сборы — разборы, если б могли, расклевали бы Эренбурга живьем. Но видит око, да зуб неймёт: было известно, к нему «хозяин» благоволит. А ведь, как писал Слуцкий, «Мы все ходили под богом. // У бога под самым боком. // Он жил не в небесной дали, // Его иногда видали. // Живого. На мавзолее. // Он был умнее и злее // Того — иного, другого...».

Не могу вспомнить, чтобы Боря когда-либо улыбался, шутил. Может быть, где-то в компании, но всё-таки мы жили рядом не один год, а смеха его я не слышал. Впрочем, один раз он пошутил, помню. Было это под Новый год, мы принесли ёлку, холодную с мороза, поставили на кухне оттаивать, и наш тогда ещё двухгодовалый сын Мишутка, увидев, начал вдруг ходить вокруг неё, приседая, и запел: «В лесу родилась ёлочка...». Он рано начал говорить, а слух у него абсолютный. Тут как раз вышел из своей комнаты Боря Слуцкий, увидел, наставил на него строго указательный палец: «Ты — заяц, а я — нет!». И Мишутка, испугавшись: «Сам ты заяц...». Не то, чтоб лицо у него было хмурое или расстроенное, но, как правило, напряженно, а профиль чеканный: высокий, немного покатый лоб, надбровье, нос, усы, подбородок, намечавшийся под ним второй подбородок — медаль можно было чеканить, я говорю это серьёзно. Он любил покровительствовать. Например, молодой, никак ещё не прославившийся Илья Глазунов приходил к нему, и Боря кому-то о нём звонил, говорил что-то рекомендательное, а у стенки стоял большой карандашный рисунок Глазунова. Сейчас это покажется странным, особенно если учесть житейскую неприспособленность рекомендателя и таранную мощь рекомендуемого, не ведающего стыда. Но не забудем, даже мудрецы, мудрые на-

едине с бумагой, в живой жизни плохо разбираются в людях.

Эрнст Неизвестный, с которым мы знакомы давно, он читал мою повесть «Пядь земли», не единожды говорил мне о ней, словом, мы одного, скажем так, военного поколения, рассказал интересную подробность о Глазунове. Не то, чтоб разнёсся слух, но поговаривали, что Неизвестный уезжает. Я позвонил ему, сказал, что мы с Эллой хотим посмотреть последние его работы и поехали к нему в мастерскую. Я знал, это — прощание, захватил с собой бутылку коньяка, которую мы с ним и выпили, Элла только пригубила. Засиделись мы поздно, говорили о многом, у каждого целая жизнь была позади, а увидимся ли когда ещё — бог весть. Мог ли я тогда представить себе, что пройдут годы, и мы с моей дочерью Шурой приедем однажды в Нью-Йорке к нему в мастерскую, там всё было огромно, даже шоколад лежал глыбой, как дикий камень, и Эрнст, угощая, откалывал от него куски молотком. Или, ещё ранее, — что я буду печатать в «Знамени» его рассказы «Лик — лицо — личина»: об аппаратчиках ЦК. Это были первые мгновения перестройки, аппаратчики ещё сидели на своих местах, и Эрнст спросил: «А ты не боишься это печатать?» — «Боюсь» — «Но печатаешь?» — «Печатаю». Всё это было непредставимо в те годы, когда верховные старцы, уже потерявшие человеческий облик, несменяемо возвышались над нами, объявив, что отныне 70 лет — средний возраст. Это сейчас развелись прозорливцы, которые утверждают задним числом: «Мы были уверены, мы знали, что вернёмся». Знали? Нет, из этой жизни уезжали навсегда.

Так вот в том прощальном разговоре, затянувшемся за полночь, услышал я от Эрнста историю о том, как миллионерша-еврейка из Америки тайно помогала деньгами молодому Глазунову. Зачем-то

она приезжала сюда, и Глазунов под строжайшим секретом рассказал ей, будто он — сын еврейских родителей, погибших от голода в Ленинграде, в блокаду, но скрывает это, вынужден скрывать, она же видит, какой в стране антисемитизм... Разумеется, за достоверность не поручусь, но верится. Не потому, что хочется верить, а слишком уж соответствует логике характера. В жизни вновь и вновь повторяется всё та же круговерть: «Ты меня поставил на ноги, я тебя поставлю на колени».

От «...Любил его. И за него был ранен... Возил с собой его портрет. // В землянке вешал и в палатке вешал...» до «И ныне настроенья мне не губит // Тот явный факт, что испокон веков // Таких, как я, хозяева не любят». — Слуцкий прошёл огромный путь. Все мы этот путь прошли. И хоть портрета *его* я не возил с собой, но кто из нас, молодых в то время, не отдал бы за *него* своей жизни. В закупоренной банке да под тоталитарным прессом не только любящих, но и слепых молодых фанатиков воспитать легко. Не пережив, не испытав на себе, этого не понять.

Сейчас пишут и говорят, что такова уж особенность России, российской истории: самых жестоких тиранов всегда боготворили, например — Ивана Грозного, Сталина. Ну, а в Германии сколько лет потребовалось, чтобы Гитлер стал превыше бога? Восемь? Четыре? А Мао? Про мусульманские страны уж не говорю. Пожалуй, тут не об особенностях России речь, а о природе человечества.

В ту пору, когда мы с Борисом Слуцким жили по-соседски, крушения идеалов в нём ещё не произошло, оно происходило. И политрук ещё жив был в нём. Он ведь в конце войны работал в политотделе 57-й армии. В автобиографии он писал о себе, считал нужным это написать: «Был во многих сражениях и во многих странах. Писал листовки для

войск противника, доклады о политическом положении в Болгарии, Венгрии, Австрии, Румынии для командования. Написал даже две книги для служебного пользования о Югославии и о юго-западной Венгрии. Писал текст первой политической шифровки «Политическое положение в Белграде»... В конце войны участвовал в формировании властей и демократических партий в Венгрии и Австрии. Формировал первое демократическое правительство в Штирии (Южная Австрия)».

Жажда деятельности была в нём ощутима. Если бы руководство Союза писателей и те отделы ЦК, которые руководили сверху, если бы они чуть лучше соображали, Слуцкому надо было дать в Союзе писателей руководящую должность. И он бы, думаю, руководил непреклонно. Но в отличие от всех от них, кто рвался к власти, к должностям и сидел на них, как на троне, он бы делал это не за орден, не ради получения благ и выгод, а бескорыстно. Он был умён, временами даже мудр, но он всё ещё был человеком идеи и, сам того не замечая, играл бы роль в чуждом ему спектакле. Это потом, потом, когда свергнут Хрущёва, он одним из первых поймёт, какие настают времена. И напишет:

*Устал тот ветер, что листал
Страницы мировой истории.
Какой-то перерыв настал,
Словно антракт в консерватории.
Мелодий — нет. Гармоний — нет.
Все устремляются в буфет.*

Теперь эти годы называют застоём, но немало наших сограждан и поныне считают их лучшими годами своей жизни. Не казнили, как при Сталине, чиновный люд обрёл устойчивость, пайки, вторая зарплата в конвертах, по которой даже партвзносы платить не надо. А что кого-то судят, ссылают, кого-

то упрятали в психушку, так ведь не нас. У нас, как потешал тогда публику Райкин, есть всё, но не для всех. И сами над собой охотно смеялись. Зато пенсия была 132 рубля. Впрочем, уже и сейчас многие хотят немногого: чуть бы пенсия и зарплата побольше, чтоб жить было можно, и — хватит, устали от потрясений, целый век трясло, да как трясло! А назовут ли это в дальнейшем застоём или ещё что-то похлеще придумают — без разницы, как теперь принято говорить.

Вот читаю стихи Слуцкого, он, конечно, любил людей и писал о людях проникновенно. Но живые, не обобщённые люди, они в живой жизни создают массу неудобств. Мы ждали дочку, Боря заметил, а не заметить было уже невозможно, и, наставив на меня указательный палец, как ствол пистолета, спросил:

— Этот ребёнок случайный или запланированный?..

В общей нашей квартире и телефон был общий. Снимешь трубку, Боря разговаривает, вроде бы ты его торопишь. Мы говорим, он снимает трубку, и раз и два, чувствуешь себя, как в телефоне — автомате, когда тебе стучат монеткой в стекло. Теперь, когда столько мобильных звенит в Москве повсюду, боюсь, многим не понять, в чём, собственно, проблема? Поставили бы себе второй телефон. Но это был конец пятидесятых, и если ты не руководящее должностное лицо, если у тебя нет обширных связей или ты не хочешь ходить и кланчить, ходить и кланчить, взятку подсунуть, жди. Да ведь и сейчас, сорок с лишним лет спустя, в России очередь на установку телефона — 6 миллионов человек. Короче говоря, мы поставили в передней самодельный переключатель: кому надо говорить, переключает на себя. Но дети имеют то свойство, что иногда они болеют, да и тёща моя была уже не молода, страдала

гипертонией. Не помню для кого, но потребовалось вызвать неотложку, как всегда в таких случаях, — срочно. А телефон занят, тут уж само просится на язык: «вечно занят». Я постучал в дверь:

— Боря, мне надо вызвать неотложку!

Он встрепнулся, метнул в меня взгляд, поднятая рука его задрожала в воздухе: не прерывать, разговор идёт о высшем. Уж не с Господом ли Богом по прямому проводу? И вызывал я неотложку из телефона-автомата на улице, благо автомат был недалеко. Если бы в тот момент от него требовалось подвиг совершить, он бы, возможно, совершил, но от мелочей жизни он был далёк. Он был закоренелый холостяк, а тут — семья. Помню, привезли мы Шурочку из роддома, пришли родственники смотреть её, а она спит в коляске. Вся, как булочка белая, щёчки розовые, реснички уже тёмные. И всего-то спит. А — радость. Ну, как это объяснишь? И что объяснять? Тут всё наоборот: чем трудней дети дались, чем больше с ними пережито, тем они дороже.

Однако закоренелым холостяком он был до тех пор, пока не появилась Таня, высокая, интересная, с характером. И Боре и нам стало ясно: надо разъезжаться. Но как? В те времена купить квартиру было невозможно, да и денег таких не было ни у нас, ни у него. Построить в кооперативе? Но это надо ждать годы. Оставалось одно: меняться. У тёщи моей была комната, у нас две комнаты, у Бори с Таней по комнате. Вскоре мы нашли квартиру, прочли объявление, приклеенное на водосточной трубе. И всё бы хорошо: и нам подходило, и тем понравилось, но...

— А где тут у вас сушить валенки?

Живые люди, строители, работа у них такая, не высушишь валенки, как на целый день на мороз идти? Но мы представили себе в этой ситуации Бо-

рю ... Ведь это не он к нам, мы напросились к нему в соседи. Сказали ему всё, как есть. Он думал несколько дней и наконец сформулировал нам условия. Главных условий было пять. Чтобы комната, куда он переедет, была не меньше той, в которой он живёт — это раз. Чтобы была она в этом районе и даже где-нибудь поблизости — два. Чтобы, как в нашем доме, была там финская кухня — три. Чтобы квартира, куда он въедет, была двухкомнатная — четыре. Чтобы во второй комнате жили мать и дочь, но дочь такого возраста, когда опасность, что она выйдет замуж, уже исключена. Это, пятое условие, было практически невыполнимо. Вы не поверите, но немислимый этот обмен состоялся. Случайно и тоже на водосточной трубе прочли мы объявление. Всё сходилась. На Университетском проспекте, то есть — рядом, в доме с такой же финской кухней, в двухкомнатной квартире жили мать и перерзрелая дочь. Незамужняя! Мать говорила про неё: она пробует. А в другой комнате немолодая наркоманка жила с молодым парнем. Огромная по тем временам доплата, и она согласилась переехать в комнату моей тётки, кстати сказать, та комната была и больше и лучше, но — в другом районе. Когда этот первичный обмен состоялся, Боря пришёл, осмотрел всё, сказал сделать раздвигающуюся решётку на балконную дверь и — ещё ряд усовершенствований. И был перевезён. Соседки, мать и незамужняя дочь, нарадоваться не могли: холостяк, это ж счастье какое! За ним и ухаживали, и убирали у него, и готовили. Только радость их была не столь долгой: Боря и Таня съехались в квартиру на улице Левитана. Много лет спустя, когда наша дочка Шура уже не в коляске лежала, а закончила первый курс института, мы на студенческих каникулах поехали в Малеевку вчетвером: дети и мы с Эллой. Там в это время жили Слуцкие. Таня была плоха, от столовой до своей комнаты

доходила в два приёма, по дороге сядет на диванчик, вяжет, набирается сил. Лицо пергаментное, глаза темней стали на этом бескровном лице. Но такие же, как прежде, прекрасные пышные волосы, страшно подумать — мёртвые волосы. Её лечили, посылали лечиться в Париж, но и тамошние врачи ничего сделать не смогли: рак крови. А зима стояла снежная, солнечная, мороз небольшой, градусов 10, ели в снегу, иней по утрам на лыжне. Возвращаемся с лыжной прогулки, надышавшиеся, стоит у крыльца машина скорой помощи. Я счищал снег с лыж, вдруг вижу — бежит Боря Слуцкий в расстёгнутой шубе, без шапки, ветерок был, и редкие волосы на его голове, казалось, стоят дыбом. Никогда не забуду, как он метался, совсем потерявшийся, да только никто у же и ничем не мог помочь.

В последовавшие три месяца после смерти Тани он написал книгу стихов, он продолжал говорить с ней, сказал в них то, что, может быть, не сказал ей при жизни. Злые языки утверждали: конечно, это она женила его на себе. А он писал:

*«Каждое утро вставал и радовался,
как ты добра, как хороша,
как в небольшом достижимом радиусе
дышит твоя душа.
Ночью по несколько раз прислушивался:
спишь ли, читаешь ли, сносишь ли боль?
Не было в длинной жизни лучшего,
чем эти жалость, страх, любовь.
Чем только мог, с судьбой рассчитывался,
лишь бы не гас язычок огня,
Лишь бы ещё оставался и числился,
лился, как прежде, твой свет на меня».*

Куда девался рубленый, временами просто командный стих Слуцкого? Таня открыла ему то, чего он и сам в себе не знал. А поначалу всё было так

житейски просто: в полночь он захлопывал за ней дверь и даже не шёл провожать к метро.

*«Я был кругом виноват, а Таня мне
всё же нежно сказала: — Прости! —
почти в последней точке скитания
по долгому мучающему пути.
Преодолевая страшную связь
больничной койки и бедного тела,
она мучительно приподнялась —
прощенья попросить захотела.
А я ничего не видел кругом —
слеза горела, не перегорала,
поскольку был виноват кругом
и я был жив,
а она умирала».*

Три месяца длился этот последний его разговор с Таней:

*«...Улетела, оставив меня одного
в изумленье, печали и гнев,
не оставив мне ничего, ничего,
и теперь — с журавлями в небе».*

Успел ли сказать всё, что хотел и мог? Или только то, что успел? Дальше — пустота. Эта контузия оказалась тяжелее той, фронтовой. Лежал в больницах, дома в пустой квартире. Депрессия. Не написал больше ни строчки. Ему звонили друзья, хотели прийти. Он отвечал: «Не к кому приходить». Избавление от мук настало в феврале 1986 года. Последняя его просьба: «Умоляю вас, Христа ради, с выбросом просящей руки, раскопайте мои тетради, расшифруйте дневники». Раскопал, расшифровал, собрал Юрий Болдырев. Иногда подвижнически собирал по строчке. Трёхтомник Бориса Слуцкого вышел посмертно, при жизни он этого не удостоился.

ОСТАНОВИТЬ МГНОВЕНИЕ

Теперь, когда Твардовского нет среди живущих, он равно принадлежит всем. Как принадлежит всему народу песня; как мысль принадлежит всем. Независимо от того, чья она, кем высказана; как язык, на котором думают, говорят, передают нравственные заветы.

И многое посмертно поменялось местами. Даже на групповых фотографиях он отделился от тех, кто в силу разных причин оказался с ним рядом: не как ушедший от живых, а чтобы остаться жить.

Истинный художник, Твардовский сам рассказал о себе. Не столько даже в автобиографических заметках, а рассказал тогда, когда не о себе рассказывал. Таково свойство литературы: тут ни скрыть, ни самому скрыться невозможно. Независимо от намерений, каждый в книге таков, какой он есть на самом деле, а не такой, каким хотел бы предстать.

Вот написанное на отдалении полугода воспоминание Твардовского о первом дне войны, о том, как он узнал, что началась война: «Я выбежал на улицу и направился к колхозному скотному двору, где накапывали навоз. Я, помню, пошел по улице нарочно тихо, как бы прогуливаясь, хотя это было трудно. Возле скотника стояло несколько пустых навозных телег. А мужики и женщины сидели на гряде прошлогодней соломы и молчали, я уже мог ни о чем не спрашивать. Они сидели и молчали и ответили на мое приветствие так тихо, скупно и строго, как будто тут был покойник».

А вот последняя запись мирного предвоенного времени, которую он, перечтя, дописал уже во время войны: «...на выходе из города, у самой дороги — белого булыжника шоссе, — в узкой полоске тени от какой-то деревянной амбарушки или сарайчика, на пыльной травке сидел старичок, как сидят

мужики в санях — подогнув под себя ноги. Он был без картуза, и его лысина с подтеками пота и прилипшими прядками желтовато- седых волос освещалась в тени строения. Он уже расстелил платок на травке и расположил на нем хлеб, яйцо, две луковички и только что откупоренную и для предосторожности приткнутую пробочкой четвертинку. Я поздоровался и пожелал ему приятного аппетита.

— Садись — поднесу, — спокойно предложил он, блеснув на меня светло-голубыми и чуть воспаленными глазками этакого светлого русского старца.

Это «поднесу» было исполнено приветливости и достоинства. Дыша ртом, старец смотрел на меня и ждал. Я вежливо отказался.

— Ну что ж, — так же спокойно согласился он, — смотри. — И, великодушно позволяя мне еще и передумать, предостерегая от возможного раскаяния, еще раз повторил, кивком указывая место напротив себя: — А то поднесу. А? Смотри...

И мне-таки жаль теперь, спустя столько времени, жаль, что я отказался, как будто я тогда отказался от многого-многого, что кажется теперь таким дорогим и невозвратным».

Это написано не о себе, а о людях, из которых кого-то к тому времени, наверное, уже не было на свете. Но сам он здесь такой живой, так виден и ошутим.

Многие, при жизни знавшие Твардовского, написали о нем. Это тоже рассказы про него и про себя. И он в этих рассказах такой, каким его видели, но не обязательно такой, каким он был: ведь каждый понимает по-своему, а видит столько, сколько ему дано увидеть.

У меня нет намерения поместить себя на групповую фотографию. Но так случилось, что я имел возможность наблюдать Александра Трифо-

новича Твардовского; вначале — издали, потом — близко. Много лет мы жили под Москвой в одном поселке, встречались часто, о многом говорили, но я никогда не записывал эти разговоры. Не записывал не случайно: мы говорили довольно откровенно, случись что со мной, я мог и его подвести — время было такое. А теперь, говоря его словами, «спустя столько времени, жаль, что я отказался, как будто я тогда отказался от многого-многого, что кажется теперь таким дорогим и невозвратным».

Свою повесть «Пядь земли» я принес в журнал «Новый мир» к Твардовскому. Перед этим я отдавал ее в «Знамя». Там долго знакомились с ней члены редколлегии: есть такое осторожное и никого ни к чему не обязывающее выражение — «знакомиться с рукописью».

Наконец сообщено было: к разговору со мной готовы. Я не забыл, что происходило здесь с повестью «Южнее главного удара», мне дорога была новая моя повесть, я твердо решил не вести необязательных разговоров, потому сказал: пусть главный редактор прочтет, тогда будем разговаривать.

А сам пока писал сценарий для киностудии «Ленфильм», ибо на что-то жить надо было.

Прошло время, прочел главный редактор Вадим Кожевников. Не исключаю и того, что сам он не читал, а, как обычно тут бывало, ему пересказали содержание, расставили акценты — что удалить, что переделать, что еще потребовать от автора, — и вот пригласили меня для генерального разговора. Я терпеливо выслушал все, что мне говорили. Но когда мне, артиллерийскому офицеру в недавнем прошлом, стали объяснять, что и пушки у меня не так стреляют (при этом спрашивали работников редакции всех подряд: «На сколько километров эти пушки стреляют?.. Ну вот, видите!..»), я взял свою по-

весть и отнес ее в «Новый мир», к Твардовскому. Разумеется, не к нему сразу. Прозой ведал в то время Евгений Герасимов; ему я и отдал, честно сказав, откуда и почему принес. А вечером домой мне вдруг звонит Вадим Кожевников. Сам. Узнал, где повесть. И разговор — запанибрата: чего, мол, где там ваша повесть? Мы будем ее печатать. А как же все, что предлагалось в вашем присутствии? Наплюйте! Отдаю вам десятый и одиннадцатый номера. Я не надеялся, что в «Новом мире» скоро прочтут мою повесть. Еще меньше было надежды, что напечатают. Но я сказал Кожевникову: я вам не верю.

А в «Новом мире» все как-то быстро завертелось. Позвонил Герасимов. Сказал, что прочел, отдает Твардовскому. Вот тут страшно мне стало. Мне уже было что терять. И долгие делались каждый день: не когда-то, а, может, в этот самый момент, сейчас вот, читает мою повесть Твардовский.

Вдруг вызывают на заседание редколлегии. Хоть и ждал, и каждый телефонный звонок был тот самый, которым судьба решалась, хотя Евгений Герасимов, добрейший человек, умеющий просто-душно радоваться за других, как за самого себя, уже сообщил мне, что Твардовский одобрил повесть, решил печатать, и я, веря и не веря, осторожно носил в себе радость, с некоторым даже удивлением поглядывал на улице на людей — неужели не понимают? не чувствуют? — хоть всем этим был я, конечно, подготовлен, а все-таки вызвали вдруг. Это не звонок телефонный раздался, это час судьбы пробил.

Среди дня в назначенное время вошел я с улицы Чехова в парадные двери «Нового мира».

Сейчас пишут многие и рассказывают, что двухэтажный дом этот в центре Москвы был маленький и тесный и внутри было тесно, хотя, мол, и уютно... Для меня здесь все имело не случайный смысл. Дом выходил окнами на площадь Пушкина,

а дверьми — на улицу Чехова. И вот в эти двери я вошел. Я подымался по широкой лестнице, по которой карета могла бы проехать свободно. И наверху высокие старинные двустворчатые белые двери раскрылись передо мною, будто не я их открывал, а они сами раскрылись.

Не помню, кого я первым встретил, кого спросил, как пройти к Александру Трифоновичу, но осталось, что я шел через редакцию, по дороге обрастая людьми, выходящими из разных дверей, под конец уже шел как бы в центре небольшого шествия...

Конечно, это было не так: никому здесь не известный, я прошел к Герасимову, а уж он к Твардовскому меня повел. И улыбался при этом, счастливый до пота, и очки его блестели, и покрасневшее лицо. У меня же в груди по временам раздувался воздушный шар, едва не вознося меня, но я сжимал его и шел, единственно полагаясь на не забытую еще офицерскую выправку.

И вот — снова белые двери, главные здесь двери, и Твардовский подымается из-за стола. Тут действительно все стали входить, зазвучали голоса приглушенным хором, и хоть держались члены редколлегии не связанно, даже с некоторой внешней вольностью, чувствовалось, знают, где они, с кем, и есть незримая черта, которую не переступает ни один.

Расселись за длинным столом. Редколлегия — по обе стороны, Твардовский — во главе, спиной к свету, а мне через весь длинный стол было указано место напротив: то ли как имениннику, то ли как подсудимому.

На военных советах, как известно, первым говорить полагается младшему; примерно такой же порядок соблюдался и здесь. Что-то поощрительное говорили члены редколлегии. Подперев тяжелую голову, Твардовский курил. Солнце жаркое сквозь вы-

сокое окно слепило, и весь он в этом солнце виден был, как сквозь сумрак, а дым сигаретный над головой подымался из тени в свет. И хоть лицо его было неясно различимо, запомнилось выражение строгой серьезности. Сквозь свою думу, как мне казалось, он молча слушал и сидел подпершись. Пошевелился. Вдохнул. Стало тихо. Теперь заговорил он.

Если я тут упомяну что-то из его замечаний, так не для того, чтобы положить лишнюю краску на мою книгу. Твардовский напечатал ее и тем высказал главное свое одобрение. Но в том, что человек замечает, ценит или отвергает, есть он сам.

Он говорил не по порядку, а как складывалось:

— Земля на плацдарме сухая, закаменелая... Это чувствуется. Даже мина не берет. — Он покачал головой с сомнением, возможно, усомнившись на отдалении лет, как же все это солдату было пережить, как же брал он ее своей лопаткой, когда мина не берет. И из собственного опыта подтвердил: — Это было, это все так.

Вдруг отметил поощрительно, к членам редколлегии обратиться и говоря обо мне, как об отсутствующем, в третьем лице:

— Немцев у него пленных гонят, заметили? Пот по лицам течет... Солдаты виноград едят, а они идут, глаза отводят... Немцы ведь, а он замечает, что жарко им, пить хочется... Это хорошо! Это правильно.

И вдруг неприязненно повернулся ко мне:

— Что же это вы отрицательному герою дали фамилию Иноземцев? Таких у нас не бывает, человек иной земли?

Честно говоря, мне это и в голову не приходило. Фамилия прилипчива. Так просто ее не найдешь, а уж если соединилась с кем-либо, оторвать трудно. Был у меня солдат Иноземцев, не такой, как в книге, но для меня многое с ним связалось. Я по-

пытался объяснить, что и почему, но он жестом как отрезал:

— Нет, вы ему фамилию перемените!

Дальше вовсе получилось странно: вместо Иноземцева дал я схожую по звучанию фамилию Козинцев. Так и напечатали в журнале. И совершенно из головы вон, что есть известный режиссер Козинцев... А Григорий Михайлович Козинцев в Ленинграде прочел повесть, пришел на киностудию и спрашивает у редакторов:

— Скажите, этот человек меня знает?

Ему сказали, что нет, мол, не знает.

— Как же так? Даже внешне похож...

Мне это потом на «Ленфильме» рассказали. Григорий же Михайлович, человек в высшей степени щепетильный, чтобы не подумали, что он может быть как-то необъективен, предложил на худсовете в мое отсутствие повысить мне оплату за сценарий. Вот так неожиданно обернулась история с фамилией одного из персонажей повести. В дальнейшем, для книги, я еще раз сменил ему фамилию, опять же на нечто близкое по звучанию: Мезенцев. Это уже когда мы с Козинцевым познакомились. Но все это — к слову.

Вид человека, награждаемого тобой, — приятное зрелище для глаз. И Твардовский не спешил завершить редколлегию. Он стал спрашивать: как живу? что? как? И, не дослушивая, говорил сам:

— Хорошо!

Он чувствовал себя тогда хозяином жизни. В моем лице он спрашивал в мир входящего, как бы всему нашему поколению, входившему тогда в литературу, вопросы задавал. И говорил:

— Хорошо!

Я не считал, что все так уж хорошо. Мне было тридцать пять лет в то время, но повесть свою, третью по счету, я все еще писал не за своим столом.

То ранними утрами на кухне, пока все спят, а то вечером допоздна, уходя из дома за несколько улиц. Была зима, стояли морозы, и вот, попивши чаю горячего, так не хотелось уходить. А тут еще сыну четвертый год, хотелось поглядеть, как его спать будут укладывать.

Но, конечно, не про все эти обстоятельства спрашивал Твардовский, смешно было бы ему про это говорить. Да он и не столько спрашивал, сколько сам утверждал, и ответ требовался единственный: «Так точно, хорошо!». Как в «Теркине» у него: «Говорят: орел, так надо и глядеть и быть орлом». В нем самом и тот генерал жил, и Теркин, полагавший бесстрашно: «Ничего, с Земли не стонят, дальше фронта не пошлют».

И правда, если не о временном думать, а иной мерой мерить — хорошо. Есть вещи, которые человек не должен уступать. И есть дни, которые должно помнить. Это был тот самый день. И не потому только, что судьба повести решалась: она была раньше решена. Но сам этот день был миг единственный, который не повторяется.

Как часто не хватает простой мудрости не за тем гнаться, что впереди ждет, а не торопить мгновение. Но в тот раз я отдельно от всякой суеты чувствовал это.

А по времени был конец февраля 1959 года. На исходе зимы, в самом начале весны, после снегопада, бывают в Москве такие чистые, ясные, солнечные дни. Нигде они так не ощутимы, как в старой Москве, когда идешь вверх по Петровке или по Неглинной, а солнце над всеми домами и крышами, и парит, и уже шуба на плечах тяжела.

Повесть «Пядь земли» печатали в двух номерах, первая половина вышла в майском номере. И тогда же, в мае, родилась наша дочь, Шура.

Когда пришли родственники смотреть нашу дочку, она лежала в коляске, белая, полненькая, и спала. Какой это был милый, спокойный, домашний ребенок. Такой она росла, и звали мы ее хранительницей семьи. Бывало, переходим улицу, она всех посчитает, всех соберет вместе, чтоб — за руку, за руку, чтоб никто не потерялся, не отстал.

А повесть тем временем начала свой, отдельный от меня путь. Еще только половина была напечатана, а уже появилась в «Комсомольской правде» первая рецензия. Рецензия была восторженная, написала ее Тамара Казимировна Трифонова. Потом, когда повесть вышла целиком, — рецензия Лазарева в «Литературной газете», об этом я уже писал. Как-то пришел я в «Новый мир» за журналами, а Евгений Герасимов говорит: выйдите, там корректоры пришли, хотят на вас посмотреть. Пожалуй, это и была самая высокая моя литературная награда.

После небольшой паузы вызрела официальная точка зрения, двинулись разгромные рецензии. Ответить на них было невозможно, никто бы этого не напечатал; официальное мнение не опровергают. Я просто перестал читать их. Прочтешь, испортишь себе настроение, и пропал рабочий день. А я уже писал новую повесть. Когда, несколько лет спустя, издавался какой-то библиографический справочник, и мне прислали его из Ленинграда проверить, все ли тут статьи, которые напечатаны обо мне, я обнаружил, что процентов девяносто, если не больше, я не читал, и желания прочесть не возникло.

В чем же обвиняли меня? Я стал основоположником так называемой «окопной правды». Это в нашем государстве «рабочих и крестьян» считалось чем-то низменным. Но в окопах сидел народ, окопная — значит народная правда. Этого не стыдиться,

этим гордиться следовало. И как отшибло историческую память! В годы революции большевистская газета на фронте называлась «Окопная правда».

Другое, не менее страшное обвинение — «ремаркизм». Ремарк — прекрасный писатель, его книга «На Западном фронте без перемен» — гордость мировой литературы. Но еще больше люблю я его роман «Три товарища». Однако в те годы Ремарк, Хемингуэй наша критика выговаривала как ругательства. А читали их поголовно. И чем больше ругала меня официальная критика, тем больше получал я читательских писем.

Из больницы вдруг прислал телеграмму Федор Панферов, главный редактор журнала «Октябрь», считавшийся советским классиком: «Дорогой Григорий только что большим волнением прочитал Пядь земли это прекрасный дар советским читателям = Федор Панферов». И хоть формулировки телеграммы вполне в духе времени, меня она тронула: не часто редактор одного журнала хвалит вещь, напечатанную в другом журнале. Библиотекарша из села писала, что за журналами, в которых повесть, очередь в библиотеке — сто двадцать человек, у них еще этого не бывало. Отдельно — письма фронтовиков. Они узнавали во мне своего однополчанина, подтверждали, что все точно так и было, что писал я про их плацдарм, рассказывали потрясающие истории. Вполне понятно, что я не мог быть одновременно на всех плацдармах и всех полков однополчанином, но это были дорогие мне свидетельства.

Разгромная критика сослужила мне добрую службу, что, разумеется, не было запланировано. Она, правда, задержала на полтора года выход повести в издательстве «Советский писатель», там главный редактор, в прошлом — армейский политработник Иван Тимофеевич Козлов, воздвиг против

меня прочную оборону. Но она четырьмя изданиями вышла в Западной Германии (в ГДР, куда простиралось наше руководство, ее так и не издали), вышла в Англии, двумя изданиями — в Италии, двумя изданиями — в Голландии, во Франции в отличном переводе Степана и Анетты Татищевых. Но были и ужасные переводы. Через Мексику книга попала в Испанию, где еще был Франко, и можно судить, каков перевод, хотя бы по тому, что на обложке — «Baklanov», а на титуле «Blakanov». Всего повесть была издана в 36 странах мира, и оттуда тоже шли письма. Молодой американец писал, что, если бы ему пришлось воевать, он бы хотел сидеть в одном окопе с Мотовиловым.

В Доме литераторов, куда мы не часто ходили с женой, о чем теперь жалею, увидел нас в ресторане Виктор Некрасов. С рюмкой он перешел от своего стола к нам: «Но почему — Мотовилов? Это фамилия моей мамы: Мотовилова». Во время войны, в эвакуации, в Кургане в Эллу был влюблен хороший парень Валя Мотовилов, мужественный, честный. По возрасту он еще не годился на фронт, он пошел в морское училище, его ждала карьера морского офицера, но он не выдал товарища, оказавшегося трусоватым, принял на себя его вину. И его отчислили, а труса оставили. Вот такая история. И вот почему — Мотовилов.

Я и сейчас, когда Вики Некрасова уже нет, слышу его милый киевский выговор. Жена моя — киевлянка, они сидели и вспоминали довоенный Киев, довоенные названия улиц. И до чего хорошо пилось в тот вечер.

После «Пяди земли» ни одной своей вещи я не печатал у Твардовского. Было искушение отдать ему повесть «Карпухин», но у нас уже сложились довольно близкие отношения, и вот это сдер-

живало меня. Повесть печаталась в еженедельнике, в нескольких номерах подряд. В журнале «Знамя» мне сказали по этому поводу: «Ну, и кто ее прочтет? Напечатали бы у нас, ее прочли бы на самом верху, а теперь — не выше завсектором». Очень интересная оценка читателя. Как раз эту повесть Твардовский отметил рецензией в своем журнале и прислал мне поздравительную телеграмму.

Все это говорю к тому, что отношения наши не были связаны с тем, печатает или не печатает мои вещи Твардовский. Этот немаловажный оттенок, к счастью, отсутствовал.

Минуло несколько лет, и неожиданно мы оказались почти соседями: Александр Трифонович купил дом в том поселке, где я жил тоже. И начал заходить. Не часто, приглядываясь, потом — чаще. Заходил посидеть, поговорить.

От него был ближний путь на реку, но там обдавали пылью машины, идти надо было обочинной, сторонясь. А по нашей улице, хоть и дальше, но — тихо. И вот, с полотенцем под мышкой, он иногда приходил.

Вставал он рано, часов в пять-шесть утра, и на речку любил ходить по холодку, пока роса, туман над водой, и одни только рыболовы сидят по берегам с удочками: то ли ловят, то ли дремлют, пригретые солнышком.

Однажды сговорились мы, что зайдет он часу в восьмом утра. Но потом оказалось, мне нужно ехать в Москву ранним автобусом, и в половине седьмого я пошел предупредить. Была середина июня, еще не косили, высоко по обочинам стояла трава. Но вдоль всего участка Твардовского было уже выкошено, как под гребенку. И обочины, и кювет — ровная везде зеленая щеточка.

А сам Твардовский ходил по двору с топориком, явно искал себе работы. Я окликнул его через забор: мол, так и так.

— Ну зачем же вы шли? Я бы все равно шел мимо...

Но и год и два спустя нет-нет да и напомним: «А вот вы зашли предупредить...».

Очень он внимателен был ко всякому проявлению невнимания, и не только в отношении себя. Не скажет, как будто даже не заметит, но — запомнит. Особенно задевало его, если дети не здоровались:

— Ведь взрослый человек идет, как это не поздороваться?

А дети в нашем поселке действительно здоровались далеко не все. И что того хуже — не со всеми. Это каждого нормального человека не могло не задеть: в детях всегда отражен дух семьи. Но у Твардовского еще и другое с этим связывалось: в деревне просто невозможно представить, чтобы взрослый человек шел по улице, а дети не здоровались с ним. Даже если это посторонний, незнакомый идет. Так, во всяком случае, было в пору его детства.

Обычно, прежде чем войти в воду, он складывал костерок на берегу. Повесит на дерево полотенце, рубашку и начинает собирать всякий мусор: ветки, щепки, коробки сигаретные, бумажки. Сложит все это и зажжет. И сидит, смотрит на огонь, подкладывает по веточке. Однажды я сложил костер и зажег. Он ревниво удивился: ветер, а я зажег с одной спички. Вот так, помню, сказал мне и председатель колхоза в Камышинском районе Пустовидов, с которым мы зимой в сильный мороз ехали лошадьми степью. Остановились у омета, где много на снегу было заячьих следов, и я, загораясь от ветра воротником тулупа, протянул прикурить в ладонях и сам прикурил.

— С одной спички... — сказал Пустовидов поощрительно.

Однако тут было другое: он явно хотел сделать приятное городскому человеку, вот, дескать, можете по-нашему... А Твардовский, не скрывая, заревновал к чему-то такому, что только ему должно было принадлежать. Это тем более смешно, что за четыре-то года войны уж этому можно было научиться.

В нем жили привычки и понятия той, прежней, деревенской жизни. То, что считалось умением тогда, сохранило в его глазах значение и цену на всю дальнейшую жизнь, даже если это и не имело никакого практического смысла. Он, например, мог с четырех ударов затесать кол топором: удар — затес, удар — затес. И гордился этим:

— Ну-ка вот вы так!..

Но гордился он и тем, что в его журнале — лучшие корректоры, что тут никогда не встретишь ошибки, описки, неточности. Он и сам был грамотен, хотя этим качеством наделены далеко не все люди, имеющие высшее образование. Качество это в русском языке, я бы сказал, сродни чувству слова. Встретив ошибку в рукописи, он непременно сам выправлял ее и, как мне удалось заметить, бывал даже рад, если встретится особо трудный случай правописания. Тут он и объяснит, почему именно так, а не иначе, как может показаться на первый взгляд. За ним не стояло двух-трех поколений дворянской культуры, все свои университеты он сам проходил и знания свои не стеснялся подчеркивать.

Посидев у костерка, докурив, он слезал в воду, придерживаясь рукой за сук дерева. И мы плыли на ту сторону, где отражалась в зеленой воде белая балюстрада детского санатория, похожего на помещичью усадьбу, белые лестницы и колонны. Иногда останавливались там передохнуть; стояли под бере-

гом, по щиколотки увязнув в иле, чувствуя, как под водой засасывает все глубже, и от ила по ногам ще-котно бегут вверх пузырьки газа. Но чаще сразу плыли обратно.

Еще только войдя в воду, после первых взмахов, Александр Трифонович окунался весь, с головой, и волосы намачивал, и затылок, потом, отерев мокрой ладонью лицо, плыл. А плыл он не спеша, мощно, спокойно: не плыл, а отдыхал в реке.

Зимой вместе с режиссером Иосифом Ефимовичем Хейфицем работали мы за городом. В поселке мало кто жил в эту пору. Светили вдоль белых улиц фонари, пустые дворы завалены снегом, в окнах домов блестят черные стекла. Зима была снежная, как считается — перед урожайным годом.

Доработавшись до того состояния, когда оба уже не соображали ничего, решили мы часов в десять вечера пить чай. Я поставил чайник на газ, а сам забрел в темную комнату, стал у окна: вот и не хочешь, а продолжаешь думать, не можешь отвлечься.

Смотрю — Твардовский идет от калитки. И как-то неровно. Толчками, будто упираясь. А тут еще свет качающийся. Ветер забросит фонарь за столб, и тогда на весь двор клином ляжет тень, а то осветит ярко: снег сквозь голые вишни, одна сторона дорожки, прорытой в снегу, снежные лапы елей у забора.

Из-за поворота дорожки выбежал Фома, полугодовалый ньюфаундленд, ростом со среднего медведя, и шерсть медвежья, бурая. Александр Трифонович вырастил его из щеночка, и теперь он один только и мог удержать его на поводке. И то шел, оскользаясь ботинками, то едва не ехал за ним по льду. Фома тянул мощно, лапы мохнатые, красная пасть разинута, дышит паром.

Привязав его к рябине у крыльца, Твардовский вошел в дом. Он ходил прогуляться по пустому поселку да и завернул на огонек.

С Хейфицем они были знакомы заочно, вообще к кино, тем более к писанию сценариев прозаиками, относился Твардовский весьма и весьма сдержанно. То же самое и о пьесах говорил, не считал это делом серьезным. Впрочем, когда в Театре сатиры с успехом шел его «Теркин на том свете», был упоен, приглашал на просмотры. Снял Твардовский зимнее полупальто — оно у него было тяжелое, драповое, с серым каракулевым воротником и прорезными карманами на груди, неизносное, покроем и видом напоминавшее те бобриковые, знакомые ему по воспоминаниям, — и в желтой ковбойке, в лыжных теплых брюках сел к столу. На то место, на котором обычно сидел мой сын.

— Работаете?

Спросил неодобрительно, явно сомневаясь, что из такого занятия может толк выйти. Тем более что ему самому не работалось.

Сели на кухне пить чай втроем. Дома Александр Трифонович пил из огромной чашки, и варенье клубничное, домашнее, сваренное так, что все ягоды — целые, накладывала Мария Илларионовна в большие блюдецки.

У нас тоже пили из больших чашек, и налил я, как он любил, почти что одной заварки, чуть разбавив фыркающим кипятком. Александр Трифонович курил сигарету и запивал чаем из блюдца. Разговор не получался. И не только потому, что они с Хейфицем, в сущности, не были знакомы, но и потому, что мы собирались еще работать, а он этого явно не одобрял.

Снаружи стучали о жестяной отлив крыши замерзшие ветки рябины: это Фома дергал поводок, а с ним вместе — дерево. И скулил. Александр Три-

фонович не спеша пил чай, затягивался сигаретой, и в широкой его груди многолетнего курильщика хрипело.

Каким-то краем разговор коснулся великих людей. Я в ту пору дочитывал книгу о Нильсе Боре, взятую у Твардовского. И поразила меня в ней встреча Бора и Черчилля. Этих двух людей разделял век целый: Черчилль еще не отошел от представлений девятнадцатого века, а Бор провидел уже век двадцать первый. С риском для жизни перелетел он во время войны Атлантический океан из Америки в Англию, чтобы объяснить Черчиллю, что началась атомная эра, что надо уже сейчас сделать выводы, иначе начнется то, что, собственно говоря, и началось после войны. Черчилль принял его на десять минут ровно и после краткого разговора заявил, что Бор — русский шпион, его надо отстранить от ядерных исследований.

Вот в связи с этой книгой я сказал, что, наверное, интересно написать великого человека.

— А что великий! — Твардовский сидел, расставя полные в лыжных брюках колени, ноги обуты в суконные ботинки на молнии, которые он донашивал за городом; он вообще старые свои вещи донашивал. Не потому, что они стоили что-то, он не мог выбросить вещь, если она еще годная. — Ничем особенным великий от остальных не отличается.

И через свою думу, сквозь сигаретный дым, сказал убежденно:

— Великий, он в жизни — обыкновенный.

Летом 1967 года попросили меня написать о Твардовском. С чем-то это было связано, требовалось срочно, и даже размер заранее был определен: около трех страниц. Не очень я люблю писать газетные статьи, а еще то смущало, что мы знакомы, он непременно прочтет. Но и не написать о Твардов-

ском было нельзя по всем обстоятельствам того времени.

Статья называлась «Заполненный товарищами берег». Я должен привести ее, чтобы понятней было дальнейшее.

«В годы, последовавшие за окончанием Великой Отечественной войны, постепенно начала устаревать и вскоре вовсе устарела грозная по прежним временам боевая техника, наше славное оружие, с которым мы освобождали родную землю. Даже легендарная «катюша» стала далеким прошлым.

В эти же годы одна за другой отошли в прошлое и забылись многие книги военных да и послевоенных лет. Время отодвинуло их. Только высокие создания человеческого духа оказались неподвластны времени. Такова судьба поэзии Твардовского.

Сейчас, когда поколения людей со школьной скамьи знают «Василия Теркина», когда без этой «Книги про бойца» невозможно представить нашу литературу, а первое впечатление от чтения ее заслонено многими последующими, трудно восстановить в памяти, как тогда воспринимались солдатами на фронте разрозненные главы, не по порядку доходившие до них. Но одно я помню: была несомненная уверенность, что книга писалась на нашем фронте и даже где-то близко. Такое впечатление сопутствует книгам, где все — правда: и целое, и частности. Мы не задумывались, конечно, над тем, что только большие художники способны в одну судьбу вместить судьбу народа: потому-то каждый, читая такую книгу, находит в ней себя. Мы объясняли это просто: значит, автор был здесь, знает, сам прошел. И книга вызывала благодарное доверие.

Даже после войны я искренне считал, что бой за «населенный пункт Борки» — это бой за де-

ревню Белый Бор на нашем Северо-Западном фронте,

*Где вода была пехоте
По колено, грязь — по грудь;
Где в трясине, в ржавой каше,
Безответно — в счет, не в счет —
Шли, ползли, лежали наши
Днем и ночью напролет...*

Бой шел, как сказано в книге, на втором году войны, сходились приметы большие и малые. Я мог бы, как карту с местностью, сличить эту главу из «Теркина» с тем, что было у нас. И каким необходимым оправданием безымянных ратных трудов, какой прекрасной памятью павшим безвестно звучали слова в конце главы, им суждено остаться:

*И в одной бессмертной книге
Будут все навек равны —
Кто за город пал великий,
Что один у всей страны;
Кто за гордую твердыню,
Что у Волги у реки,
Кто за тот, забытый ныне,
Населенный пункт Борки.
И Россия — мать родная —
Почесть всем отдаст сполна.
Бой иной, пора иная,
Жизнь одна и смерть одна.*

Это было так, будто мы сами сказали эти слова. Подлинное искусство всегда совершает эту подмену: выражая то, что смутно ощущается людьми, оно оставляет читателю и радость открытия, и уверенность, что автор просто высказал его мысли, его словами сказал.

Но еще и потому такое доверие вызывала «Книга про бойца», что в каждой ее строке обнару-

живалось понимание и знание тех простых вещей, которые составляли существо солдатской жизни на фронте, вещей по видимости малых, но без которых не творится ничто великое. Писатели ограниченные стараются это обходить, беря себе задачей говорить только о «главном».

Восхищая точной правдой подробностей, удивительной силой народного характера, книга рассказывала о том, чем жил народ на войне, и казалась не загаданной на дальний срок. Так солдат на фронте далеко вперед не загадывает, а воюет честно, и в этом — все то великое, что совершает он для настоящего и для будущего, даже если ему в том будущем жить не суждено.

Но, видимо, так только и создаются книги, которые переживают время. Вся их боль, и страсть, и радость — в настоящем, потому так важны они грядущим поколениям.

Самое удивительное, быть может, то, что писал свою книгу Твардовский не на отдалении, в зрелую пору раздумий о минувшем, а писал ее на фронте, «без отрыва от колес». Примеры тому есть в русской литературе: «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. С тех пор, как писались они, не раз сменилось то, что казалось незыблемым: и воинские уставы, и законы, и боевая техника прошла путь от гладкоствольных ружей до ракет, и многие государства исчезли бесследно, а другие возникли на карте мира. Пожалуй, только хлеб и вода остались такими же неизменными, необходимыми каждому, вечными; свойство, подобное этому, к слову сказать, лежит в основе искусства.

Какие войны с тех пор сотрясали шар земной, какие яркие писательские имена зажигались и меркли на литературном небосводе, а «Севастопольские рассказы», ничего не потеряв, и сегодня поражают, как слово, сказанное впервые.

Значит, дело все-таки не в отдалении, а в размерах личности художника. В мире, открытом каждому, не каждый способен совершать открытия. Великому художнику и из гущи событий видно то, что другим не суждено увидеть и по прошествии лет. Потому для книг, созданных великими художниками, границы времени — понятие относительное. Необходимые современникам при появлении своем, как будто для них только и писавшиеся, они потом переживают своего создателя.

Мне хочется в связи со сказанным привести строки из стихотворения Твардовского, помеченного послевоенной датой: «В тот день, когда окончилась война». Оно сегодня звучит так же, как в ту пору, когда было написано:

*В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.*

*В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.*

*До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный...*

*И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.*

*Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числится в потерях,
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег...*

Пока мы живы, он не скроется из глаз, «заполненный товарищами берег». А когда время соединит нас с ними, то и тогда слова эти многое скажут будущим людям. Дадут им почувствовать особую для душ минуту, и среди них, живых, незримо встанут те, кто ушел.

Чем больше поэт, тем большим он обязан своему народу. Он обязан народу всем, что ему дано. И только по прошествии времени становится ясно, что и народ многим обязан своему поэту. Расул Гамзатов сказал однажды, что у его народа тоже были свои Ромео и Джульетты, не было только своего Шекспира, чтобы рассказать о них, и поэтому никто о них не знает.

Когда отсеивается все временное, незначительное, люди на отдалении смотрят на минувшее глазами большого художника, зримой реальностью становится для них жизнь, которую он запечатлел, осмыслив. Целые эпохи исчезли бесследно из памяти народов, потому что не было у них своего поэта.

Создаваемые на самом недолговечном, подверженном тлению материале, литературные памятники имеют свойство переживать и бронзу, и мрамор, и гранит».

По случайному совпадению сквозь газетный лист, на котором была напечатана эта статья, виден был на просвет памятник из мрамора, бронзы и гранита, судьба которого вряд ли окажется долговечной.

Несколько дней я не заходил к Твардовскому. Он тоже не заходил. И вот как-то под вечер, после жаркого дня вернувшись из Москвы, пошел я с семьей на реку. Но не туда, где он обычно разводил свой костерок у моста, а через поле и луг — к деревне: там хоть и не широко, но народу бывало поменьше, гоготали гуси на берегу, шипя вслед идущим, вытягивали шеи, забредали непривязанные телята.

Подходим — Александр Трифонович стоит один на берегу, собирается лезть в воду. Полезли вместе и поплыли по течению к острову. Был тогда остров на повороте реки. Ветлы дуплистые стояли над водой, густо росла бузина, крапива, дикая малина. Потом умная чья-то голова додумалась расширить реку. Срубили деревья, пригнали земснаряд, он всосал в себя половину острова и выплюнул на берег. Тут только задумались: может, не надо? И оставили, что осталось, собирать вокруг себя тину.

Но тогда остров еще был, и мы плыли к нему посреди реки. Тишина опускалась предвечерняя, хорошо были слышны голоса из деревни, лай собак по дворам.

А когда плыли обратно, садилось над затоном огромное красное солнце. Мост выгнулся, как нарисованный, и по нему, по диску солнца, быстро бежала черная машинка. Оторвавшийся от нее хвост пыли волокно ветром на деревню. И на другом берегу, как только машина проскочила мост, стала вздыматься и потянулась пыль. А по закатному зеркалу воды с берегов полз туман, его словно выдувало из-под моста, и скоро мы плыли в сплошном розовом тумане.

— Может ли это быть, — прямо-таки с нежностью спросил Александр Трифонович, — что от вас водочкой пахнет?

— Может быть, Александр Трифонович. И даже так и есть. А еще есть дома неначатая бутылка коньяка.

И мы пошли после речки ужинать к нам домой. Как всегда, сел Александр Трифонович на то место за столом, где обычно сидел мой сын: спиной к стене. Почему-то место это ему нравилось. Только стол отодвигал от себя, иначе было ему тесно. А дети сидели рядышком, притихшие при нем. Поужинав, они ушли.

Мы долго сидели в тот вечер на кухне, хорошо было, и он сказал поразившие меня слова:

— Вы знаете, ведь это, может быть, третья такая статья за всю мою жизнь.

О многом под настроение говорилось. Могу-чий, грузный, он встряхивал просыхавшими волосами, удаль глядела из светлых его глаз:

— Ничего, ничего... Все-таки все ничего!

Выпито было в меру: мы начали и кончили бутылку коньяка. Он все уговаривал мою жену выпить с нами стопочку, как-то уважительно произносил имя-отчество: Эльга Анатольевна. Ему нравилось, что она — хозяйка, мать.

И не впервые в тот вечер слышал я от Твардовского:

— Чтобы писать, нужен запас покоя в душе.

Именно — покоя. Но не спокойствия. Я провозжал Александра Трифоновича, и уже у калитки он сказал, желая сделать приятное:

— Ну, ничего, бог даст вам за ваших детей.

Так это и осталось со мною.

Однажды я зашел к Александру Трифоновичу часу в шестом вечера, но дома не застал: он был в Москве. Я уже выходил из калитки, как вдруг подъезжает машина, а из нее вылезает Твардовский, нагруженный, словно с ярмарки: кульки, папки, кулечки — и локтем прижато, и в руках перед собой несет. Я хотел зайти после, но он не отпускал, и мы вместе пошли в дом.

В доме все это выгружалось: обсыпанные мукой свежие калачи из бывшей булочной Филиппова, еще что-то, еще. А он ходил среди всего радостный, освобожденный: подписан номер журнала в печать, ушел в типографию. Великий груз свалился с плеч. А что в папках привезено, это уже — в другие номера.

Дом у Твардовских был хлебосольный, хозяйка Мария Илларионовна — хорошая, и за столом Александр Трифонович сидел, сдержанно гордясь. Для него вообще, как можно было заметить, дом существовал не в городском понимании, скорее — в крестьянском, родовом: это не место жительства, которое легко меняют ввиду лучших удобств, это — твое место на земле. И хотя дом этот под Москвой, не им построенный, а купленный, никак не напоминал отчий дом на Смоленщине, разрушенный войной, значение, с детства воспринятое, оставалось.

Он сидел за столом, освобожденный от недавних забот, увлеченно рассказывал про одну рукопись, которая самотеком пришла в журнал. Никак невозможно было ее печатать: автор — совсем малограмотный человек.

— Но какие точные подробности! — восторгался Твардовский. — Такое не выдумаешь. Это только солдат мог написать!

Он и сам был на редкость точен. В «Теркине» такое тонкое знание мельчайших подробностей солдатской жизни, какое не поэтам присуще, а скорее прозаикам. Ну и тем, разумеется, кто сам все прошел и не лишен наблюдательности.

Конечно, Твардовского, уже до войны награжденного орденом Ленина, даже при большой настойчивости его не допустили бы в окопы ни при каких обстоятельствах. А когда такой человек с корреспондентским заданием прибывал к командиру дивизии, тот нес за него ответственность. Поэтому как бы радостно ни встречали, а провожали живого, целого — еще радостней.

Если бы не огромный талант, да сам бы он не был крестьянским сыном, ему с одним лишь его военным опытом не написать «Василия Теркина». Не случайно больше никому подобное не удалось.

И вот сознание, что эту часть жизни он не столько сам испытал, сколько имел возможность наблюдать, врожденный такт да еще большое чувство собственного достоинства побуждали его в разговоре с бывшими солдатами, строевыми офицерами сказать такую фразу: «Ну, да вы это лучше знаете...». Не уверен, что во всех случаях он так считал, но он считал своим долгом так говорить.

И вот за столом, гордясь принесенной рукописью, как гордился он всем, что к его журналу относилось, Твардовский рассказал оттуда подробность: солдат под огнем плывет через реку, пулеметные очереди секут так близко, что он отдергивает руки под воду. Рассказал и как бы засомневался: «Ну, да вы это должны лучше знать». И тут Мария Илларионовна, которой показалось, что он себя умаляет, вступилась за его честь:

— Ты, слава богу, тоже повидал... Что тебе досталось, другому на передовой не пришлось...

Александр Трифонович только чуть улыбнулся, по-мужски призывая простить такую понятную заботу.

А подробность действительно была точная. В нашем полку служили два брата Демиденки, одного убило, другой пополз за ним, вытащить с поля боя. И тут заработал пулемет. Всякий раз, когда пулеметная очередь ложилась близко, он отдергивал руки под себя.

— Ну вот, я же говорю! — обрадовался Твардовский. — Конечно, такое не совершь. И не выдумаешь.

В нем неколебимо и свято было отношение к тому, что пережил народ, вынесший на себе такую войну. А перед теми, кто с войны не вернулся, кто за всех за нас остался там, жило в нем сознание вины живого перед павшими. Поэтому на отдалении лет, после «Я убит подо Ржевом», после «В тот день, ко-

гда окончилась война» написал он «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войнами...», заканчивающееся пронзительным: «но все же, все же, все же...».

Это «все же...» не одного его сопровождало и сопровождает в послевоенной выпавшей нам жизни. Но только он так сказал за всех.

А тогда, вернувшись из Москвы, свалив груз с плеч, такой он сидел у себя дома за столом радужный, радостный.

Когда солнечные дни следуют один за другим, уже и не так радуешься солнцу: сплит. Но предзакатное, предгрозовое — как яркое и короткое, как щемящее его особенный свет.

Ни в Твардовские, ни в Есенины не назначают. Жизнь богаче, когда они есть, беднее, когда их нету.

Твардовского нет, и многое многим стало не стыдно.

Не знаю, где еще так велико значение нравственного примера, как велико оно в литературе. Хорошо пишут многие, но великая книга — это всегда нравственный пример.

Вижу, как сидит Александр Трифонович у костерка на берегу, поджав по-турецки босые опухшие ноги. Еще не обсох после купания, и волосы мокры; сидит и смотрит в огонь.

Быть естественным всегда и везде невозможно. Где-то надо и показаться, и тон взять нужный. Он это умел. Но при всем при том он оставался самим собой. Он не играл роль, он жил и был занят делом жизни. И значение свое сознавал. Это чувствовалось. Была в нем та сосредоточенность, та ненапускная значительность, которая отличает человека, живущего собственной духовной жизнью.

Все больше убеждаюсь, что есть в жизни своя скрытая мера и поступков, и дел, и вещей. Кто черпал из жизни, как из колодца, — и свое вычерпать спешил, и чужое, — как бы он ни утверждал себя, как бы ни возносился, не станет его — и нет ничего. Жить посмертно суждено тем, кто стремился не из жизни взять, а свое оставить людям. Такова природа таланта.

Истинный талант бескорыстен. Его не надо насаждать, издавать какие-то приказы, распоряжения. Власть его — духовная, добровольно признаваемая людьми. Вмещающая прошлое, такая жизнь длится в будущем, в ней особенно ощутима связь времен.

Это и Твардовского судьба.

После поездки в США пришлось мне как-то к слову рассказать Александру Трифоновичу про американского критика и поэта Кеннета Рексрота, уже старого человека, знавшего в свое время Хемингуэя. Мы сидели у нас во дворе, в беседке.

Когда-то на всем участке только здесь была тень. Потом поднялись посаженные лиственницы, черемуха, рябина, беседку накрыло их тенью, а деревянные столбы подгнили, пришлось врыть пасынки из труб. Александр Трифонович садился в беседке всегда на одно и то же место, опирал палочку о стол, а врытая в землю труба оказывалась у него под правой рукой. Он курил и стряхивал в нее пепел, туда же бросал окурки, обещая, что когда-нибудь наполнит ее доверху. А курил он всегда одни и те же сигареты — «Ароматные», их запахом и сам был пропитан.

Так вот, рассказывал я про Рексрота, а он слушал без особого интереса, налегши грудью на стол. Вдруг оживился. Это когда я сказал, что, если человек долго живет на свете, странная вещь проис-

ходит: с какого-то момента ему понятней и ближе становится то, что за сто, за тысячу лет до него было. Словно это и теперь тоже часть его собственной жизни. Твардовский быстро взглянул своими светлыми глазами — в них мысль и строгая серьезность, — подтвердил:

— Да! Я это знаю!

Он по собственной прожитой жизни знал.

А травля его уже шла полным ходом. Выступили газеты «Советская Россия», «Социалистическая индустрия», «Литературная Россия». А первым выстрелил «Огонек», который возглавлял тогда литературный палач А. Софронов: известное письмо одиннадцати литераторов, в основном — деревенщиков, открыло кампанию.

Мы с Юрием Трифоновым написали письмо в защиту Твардовского и «Нового мира», мало у него тогда оставалось защитников, понесли в «Литературную газету». Первый зам. главного редактора принял нас. Прочел. «Вы, надеюсь, понимаете, что я должен информировать?» — «Понимаем» — «У нас какая-то беседа с вами должна была идти... Вы, конечно, понимаете, что теперь она не пойдет?..» — «Понимаю», — сказал я. Тут он на Трифонов по-смотрел, повспоминал: «У нас что-то лежит о ваших творческих планах... Вы, надеюсь, понимаете?..». Разумеется, ничего они не напечатали. Копию мы передали Александру Трифоновичу в больницу, чтоб он там почувствовал хоть малую поддержку. И оттуда, из больницы, я получил от него письмо на блокнотном листке:

«5.VIII. Кунцевская обитель.

Григорий Яковлевич, дорогой друг!

Я был до слез тронут, увидев копию письма, напечатанного явно Вашей рукой и вступившего в

дело в частном разрезе по форме, но по существу отнюдь не частном.

Я способен понять необходимость в данных документах известных преувеличений в оценке моей персоны, но дело не в этом, а в том, что Вы по собственной инициативе полезли в эту драку. Спасибо! И повторяю кутузовское: «Будут они у меня конское мясо есть». Вообще говоря, уже вчера можно было понять по «Сов. России», что атака захлебнулась.

Наше «От редакции» — короткое, энергичное и даже гордое — «цензурой дозволено». Поглядим, что скажет Никодим. Поклон Эльге Анатольевне. Привет мой Ю. В. Тр. Спешу встретить Олю к воротам. Ваш А. Т.».

Не помню, чтобы когда-либо мы говорили с Александром Трифоновичем о смерти. Конечно, все в жизни от нее неотделимо, самое главное проверяется у ее порога, но чтобы прямо о ней говорили — не помню. Однако осталось впечатление, что он просто относился к тому, что каждого из нас ждет. Сколько ни живи, кем ты ни будь, а настанет время уйти на тот «заполненный товарищами берег».

Даже рассказывая о смерти Казакевича, с которым он был дружен и последние дни сживал у его кровати, он, собственно, не о самой смерти рассказывал, а о том, как Казакевич, уже обреченный, замученный болями, все говорил, как надоело ему проворачивать в голове недописанный роман, как тяжело это, как он от этого устал.

Вот о том, что умер, не дописав главной своей книги, до последнего часа проворачивая ее в мозгу, об этом Александр Трифонович рассказывал и вновь к этому возвращался, задумываясь, как я понимал, не только о Казакевиче.

Но кто знает заранее, какая книга — главная? Ее всегда хочется видеть впереди, а оказывается нередко, что главной была та, которую писали со свежими силами, многого еще не ведая и не слишком серьезно относясь к себе.

Он спокойно переносил боль, не прислушиваясь к болезням. Даже когда у него начала отниматься рука, он что-то еще делал в саду, пытался копать, копать.

Я увидел Александра Трифоновича, когда его привезли домой из больницы: после многократных лечений, после облучения. Все уже знали: надежды нет.

Многие в те дни старались вести себя при нем естественно, будто ничего не случилось, и это была мучительная ложь. Лишенный дара речи, сильно исхудавший, истончившийся, он смотрел молча, все видя, все понимая.

А вот Зиновий Гердт, как будто ничего и не старался. Он приходил, сильно хромя на свою раненую ногу, спрашивал деловито:

— Кипяток есть? Так... Помазок? Будем бриться.

И крепко мылил горячей пеной, не боясь голову сотрясти, брил, как здорового, и что-то рассказывал своим громким голосом. Обвязанный полотенцем, намыленный, а потом умытый, с лоснящимися после бритья щеками, освеженный, Александр Трифонович радостно смотрел на него, охотно слушал. А утешение доставлял младенец, младший внук. Ничего не ведая и не сознавая, с той правотой, какую жизнь дала, он топал по полу, не страшась штаны потерять. Обутый в толстые шерстяные носки деревенской вязки, как дед его когда-то, светлый, рыженький, неправдоподобно похожий, он топал храбро по

дому, а дед поворачивал голову, смотрел вслед, провожал взглядом.

Твардовский умер в декабре.

А летом так же высоко стояла трава по обочинам, и у его забора впервые за много лет никто ее не косил.

Перед днем его рождения, перед 21 июня, хотелось мне выкосить и обочины, и кювет, как он любил, чтобы ровная густая щеточка зеленела вдоль всего участка. Я и косу наточил, с вечера приготовил: думал, приду пораньше, пока в поселке все еще спят. Для самого себя хотелось. И в память о нем. Но — не решился, не спросив. А спрашивать было неловко.

Косил там, насколько я знаю, сторож из детского санатория Евгений Антонович Беляков, хороший, мудрый старик. При жизни Александра Трифоновича он часто заходил: что-либо сделать по хозяйству и так просто, поговорить. Придет тихий, стесняющийся, подаст руку:

— Как чувствие?

И шуруется, будто на солнышко глядя. А руки его, черствые, с разбухшими суставами и пальцами, как бы даже не разгибающимися до конца, много-таки поработали на своем веку. И все — с толком, умело, не спеша. За деньги ли, без денег, но всегда — на совесть. Сохранил старик это редкое в наши дни качество: уважение к себе, которое столькими утеряно.

Александр Трифонович, бывало, любовался им. Мне даже казалось, что в чем-то существенном сам он утверждает, глядя на старика. Рассказывал, не раз он рассказывал это и, наверное, не мне одному:

— Спрашиваю его: годков-то тебе сколько же?

Тут Твардовский непременно повышал голос, будто глухому старику в ухо кричит. Делал он это бессознательно, поскольку Евгений Антонович в свои годы не только слуха не потерял, но слышал не хуже нас обоих.

— Годков тебе сколько, говорю?..

— Семей миновал.

Вот этим «семей миновал» Александр Трифонович восхищался. Не год, конечно, седьмой, а «семей» десяток. И видно, не вчера миновал. Но при всем при том сохранил старик собственный разум, твердые понятия и свои представления обо всем в жизни. Сам себя он продолжал кормить в такие годы, и хвори свои хоть и не без помощи врачей, но больше все же своими средствами одолевал, теми травками и настоями, которые «способствуют».

Он и косил в тот год вдоль участка.

Не знаю, сколько осталось мне весен, но почему-то я особенно чувствую нынешнюю, быстро уходящую. И снег, стремительно тающий, и ослепительный блеск солнца в вешней воде. Словно никогда оно еще так не светило, не блистало.

И думаю я сейчас, на тающий снег глядя, спиной чувствуя, как солнце печет, — думаю я о тех, кто эту весну уже не увидел. Не думаю даже, а чувствую за них. Как стало их много, какой длинный ряд безгласный, и все больше там дорогих мне людей.

Последняя весна Твардовского была здесь, на Пахре; здесь он ее видел, казался еще здоров.

Помню, как-то косил я перед домом. Было начало лета. За городом постоянно этот соблазн: бросить работу и пойти копать, косить или столярничать. Но тогда это было под вечер, после работы. Сильно липли комары на потную шею, предвещая назавтра жаркий день. Срезанная трава пахла свежим соком.

Вдруг вижу — от калитки по дорожке Александр Трифонович со своей палочкой. Я бросил косить, стал точить косу. Но не так, как косари на лугу, взявшись рукой за обух, а как мне было удобней — носком уперев в столбик. Знал я, что все это он заметит, непременно посмотрит, низко ли, ровно ли срезана трава, но я так привык, и мне было так проще.

Концом своей палочки он шевелил скошенную траву и говорил о том, что вот пишут «пахло сеном», а сколько и каких запахов имеет скошенный луг! Когда только скошен, когда его солнцем печет полуденным, когда граблями ворошат невысохшую, провянувшую траву. И вечером, когда луг влажен. И сложенное, сухое сено... Это же все разные запахи!

Стоял он такой задумавшийся; волосы легкие, светлые, почти совсем уже седые, чуть ветер шевелил на лбу. И вдруг спросил: читал ли я года два назад напечатанные в журнале «Иностранная литература» отрывки из записных книжек Томаса Манна? Есть там мысль, что только искусство способно остановить мгновение, только оно одно это может.

Как быстро все в жизни совершается. Когда мы с женой посадили эти голубые ели перед домом, они были меньше нашей пятилетней дочки. Осталась фотография: дочь наша и елки — ниже ее. А родилась она в том самом мае, когда у Твардовского в журнале «Новый мир» печаталась моя повесть «Пядь земли»; так что они ровесницы, вместе появились на свет, и всякий раз думать об этом мне приятно. И вот уже ели поднялись выше дома, и мы стоим под ними, и Александр Трифонович концом своей палочки шевелит скошенную траву.

Он остановил мгновение. Вот с этой палочкой идет он, бывало, улицей нашего поселка, широкой, как в деревне, улицей. Или по лесу идет. А то

сядет на пенё и палкой шевелит на земле палую листву и взглядывает на солнце сквозь вершины. Вот таким и вижу его, когда читаю это, мое любимое:

*На дне моей жизни,
на самом доннышке
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На теплом пёнушке.*

*И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
недалекого вечера.
И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век, целиком,
да об этом уж нечего.*

*Я думаю свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:
Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю.
Я здесь побывал
и отметился галочкой.*

Зимы сменяются веснами, и летними вечерами все так же в наклонных лучах красуется палая листва. Наверное, в этом — утверждение и великая правота жизни.

Каждый раз, когда ранним утром я иду на автобус по гулкому над водой деревянному мосту, стоят уже у мокрых железных перил, сидят на берегу и в лодках среди тины озябшие рыболовы: и те, что тогда были, и те, что за это время подросли. Мокро еще все: и трава, и лес. А река словно паром исходит. Это согревает ее низко поднявшееся над лесом

солнце, чистое, потому что чист воздух, отстоявшийся за ночь. И так же у дальнего берега, к которому мы плыли, бывало, отражены в зеленой воде белая балюстрада и белые опрокинутые колонны детского санатория. Всплеснет рыба — все это заколеблется в воде, расходясь крутами.

И опять я вижу на том же самом месте дымящийся костерок на берегу, сложенный из сухих веток и мусора. Придерживаясь рукой за сук дерева, по мокрому, осыпающемуся под босыми ногами берегу спускается к воде грузный человек. Вода в этот час теплей воздуха, а дно у берега илистое, вязкое. Он входит по колено, потом со вздохом ложится на воду и плывет к тому берегу, не размашисто, не шумно плывет над зеленой глубиной.

Дважды не войти в ту же реку, и дважды ни река, ни время не текут. Далеко теперь те воды, что протекали тогда здесь, под мостом. Не раз они с тех пор пролились дождями и вновь обратились в пар.

На вышнем ветру плывут они над нами в небесной выси, и вечное солнце светит сквозь них. Какими оттуда, из дали расстояний и времен, увидятся наши заботы, наши боли и дела? Увидятся ли? Нет, все же увидятся.

Вот и его слово, его поэзия, придя из жизни, вернулись в жизнь.

С ней и останутся.

В очередной раз летал над планетой наш космический экипаж, газеты печатали фотографии: Никита Сергеевич Хрущев, отдыхающий на юге, разговаривает с космонавтами по белому телефону. Поговорил, передал трубку Микояну. Микоян, если кто забыл, — единственный из бакинских комиссаров, кто уцелел, остальные были расстреляны. Он же, стоя на трибуне в кавказской черной косоворотке со множеством пуговиц, возглашал в 37-м году

здравицу «нашим славным органам» и сталинскому наркому Ежову. Вскоре и Ежова втянет в черную дыру репрессий, в эту мясорубку, перемоловшую столько, Микоян уцелеет. И когда Хрушев разгромит последнее ближайшее окружение Сталина, так называемую антипартийную группировку — Молотова, Кагановича, Маленкова «и примкнувшего к ним Шепилова», — опять же уцелеет Микоян. К тому времени относится анекдот: вышли наши деятели на крыльцо, дождь проливной. У всех — зонты, и только Микоян без зонтика. Как же вы, Анастас Иванович? А я — между капельками, между капельками... Но и когда Хрущева ссадят с кресла, отправят на пенсию, Микоян и при Брежневе еще некоторое время будет оставаться на плаву: от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Но пока что они — рядом, Хрушев и Микоян, и трубка белого телефона переходит из рук в руки: они разговаривают с космонавтами, готовятся встречать их на земле, и телевидение все это показывает народонаселению.

Как обычно, заранее разработан ритуал встречи: постелют красную ковровую дорожку, и от трапа самолета, держа под козырек, пойдут по ней космонавты докладывать первому секретарю: задание партии и правительства выполнено. Их ждут Золотые Звезды Героев. И отдохнувший, загорелый Никита Сергеевич по-отечески будет стоять на трибуне мавзолея, а внизу — народное ликование.

Но взлетели они при Хрущеве, а возвращаться им предстояло при Брежневе, с ним и славу делить, и почет.

Они еще летали (по слухам, они даже дольше запланированного промотались в космосе из-за событий, происходивших на земле), когда позвонил мне давний мой приятель Лазарь Ильич Лазарев, в прошлом — командир роты под Сталинградом, откуда вернулся он инвалидом войны:

— Можешь сейчас зайти ко мне?

Время раннее, самое рабочее время, зря звонить он бы не стал. Но с чего вдруг? И как сердце оборвалось: Хрущева свергли! К тому шло. Жизнь все парадней и парадней становилась — с фасада. И все тревожней — внутри. Видно было, как он сдает позиции, как за спиной его уже действуют кукловоды. Вот он стучит кулаком на встрече с деятелями искусства, и самые ярые сталинисты аплодируют ему, а он то ли не понимает, что происходит, то ли разум отшибло вдруг? Уже сказаны им слова, что, мол, во всем он — ленинец, но в том, что касается искусства — сталинец. Кратковременная оттепель кончилась, нешироко приоткрывшаяся дверь вот-вот захлопнется. И я торопился дописать мой роман «Июль 41 года», ни одну свою книгу я так не гнал, не спешил так. Еще в ту пору, когда в «Новом мире» печаталась «Пядь земли», мне предложили договор на новую вещь, чтобы, как это делается, закрепить автора за редакцией. Я подписал его. И вот принес роман. Прочли. Твардовский сказал:

— Выньте главы про тридцать седьмой год, иначе напечатать не сможем.

— Как же я выну, когда без тридцать седьмого года не было бы всей трагедии сорок первого? Из жизни этого не выкинешь.

«Новый мир» уже теснили со всех сторон, наверное, можно было их понять и не обижаться. Но этот роман был мне особенно дорог, с болью я писал многие его сцены. Это не фигуральное выражение, я говорю о боли физической: ляжешь спать, а боль в лопатке застряла. И снится все заново, то ли спишь, то ли не спишь. Короче говоря, я обиделся. И даже вернул отработанный аванс, который имел право не возвращать: полторы тысячи рублей, очень нужных моей семье в ту пору. Твардовский заходил по-прежнему, сидим как-то на террасе, выпиваем,

он заговорил о романе, но вижу: за чужой щекой зуб не болит.

Отнес я роман в «Знамя», где в свое время искалечили мою повесть: податься было некуда. Рассчитал просто: что Твардовскому не разрешат, могут разрешить им, вполне правоверным. И угадал. Неужели поспешил радоваться?

Я спросил Лазарева:

— У тебя что-нибудь случилось?

— У меня — нет.

— Тогда я еще часок посижу.

Но какая уж тут работа... А за окном — осень золотая, октябрь, листья пожухлые сгребают во дворе в кучи, малыши, как мы когда-то, зарываются в них. И нет им дела до того, кто там кого наверху спихнул. Они правы. Вот помогают дворнику поджечь кучу, и вьется горьковатый дымок, здесь, на седьмом этаже ощутим.

Даже когда шел я к Лазареву, все же малая надежда оставалась, но вошел — и ее не стало. Посидели мы с ним, прикидывая, что и как теперь будет, но думай, не думай, а от нас ровным счетом ничего не зависит. Мне как раз идти на радио, читать главу из романа, вполне может статься, приду, а передачу уже отменили.

В многоэтажном здании на улице Качалова стражи в милицейской форме, как обычно, проверяют пропуска у входа, все выглядит незбылемым. А может — слухи?

Вышел ко мне заведующий редакцией Падалка, такая у него фамилия. Ни в одной комнате не приткнуться, мы сели в прокуренном коридоре за круглый обеденный стол, вынесенный сюда неизвестно откуда: он, я, еще кто-то, еще — любят у нас одно дело впятером делать. Все стали говорить какие-то слова о прочитанном, делиться своими так называемыми творческими соображениями. А мне

и грустно, и интересно на них смотреть: я-то уже знаю, что Хрущев снят, а они еще живут в мире минувшем.

Вдруг из ближней комнаты, как из норы, высунулся, огляделся некий испуганный молодой человек, манит к себе Падалку:

— Можно вас на минуточку?

Падалка нахмурился, защитный механизм сработал в нем:

— Ну что там у вас?

А тот, хотя весь уже отделился от двери, продолжает подманывать:

— Сказать вам надо...

Но Падалка почуял опасность, не дает себя заманить:

— Говорите, говорите.

— Да это вам лично.

— А вы — при всех, — и отчуждается все дальше. — Какие могут быть секреты?

Молодой человек решился:

— Только что звонили из «Правды», говорят, Хрущев снят. Позвоните, узнайте...

Тишина настала полнейшая. А по коридору — мимо, мимо — снуют люди с бумажками, огибая круглый стол изящным телодвижением, многие в этом узком коридоре уже оббили об него бока.

— Куда это я буду звонить? — обрел наконец Падалка дар речи. И накаляясь: — О чем я буду спрашивать?

И правда, поставим себя на его место: куда звонить, что спрашивать?

Но тут позвали меня в аппаратную. Примерно полчаса длилась запись, а когда я вышел из-за этих мощных звуконепроницаемых дверей, вышел я уже в другой мир, где все уже всё знали. И несколько человек, сойдясь, возбужденно говорили о чем-то в сплошном сигаретном дыму. Ясно — о чем. Я подо-

шел. Они взволнованно говорили о том, что, по слухам, Барабаш, заместитель редактора «Литературной газеты», перемещается выше, в отдел ЦК. Всего полчаса прошло, а уже пережито главное событие, и умы занимает некий Барабаш... Мне даже жаль стало Никиту Сергеевича, мог ли он себе такое представить?

Вышел на улицу — все как всегда. И лица у людей обычные, никакой тревоги не ощущается: не знают еще? И повлекли меня мои ноги туда, где лежал мой роман: новые времена настанут, прежние обязательства не в счет. Он и так-то проходил трудно. Каждую строчку перечитывали не раз, страницы смотрели на просвет. В верстке цензура потребовала снять сцену, где хозяин дома, разговаривая с приятелем, накрыл телефон подушкой. Впрочем, они разрешат эту сцену, если автор докажет, что телефоны у нас прослушивают. Надо было спасти роман, я уже чувствовал: вот-вот дверь захлопнется. И предложил: в стене отдушина отопления, на нее указывает хозяин дома, при ней опасается говорить. Но когда в спешке вычеркивали, фраза про телефон осталась, я это заметил, но промолчал. Все это тогда было, а теперь времена переменялись.

Есть старый-старый анекдот про то, как в Харькове или в Киеве остановился селянин, читает вывешенную на стенде газету: «От жмуть, от жмуть!». Милиционер тут как тут: «Хто тэбэ жмэ, хто?» — «Та чоботы!» — «Яки чоботы? Ты ж — босый» — «Ото ж и босый, шо жмуть...». Вот так и я враз стал босым. А я уже радовался: как ни давили на меня в редакции, я держался. Лучшая редакторша «Знамени» под личным надзором Бориса Леонтьевича Сучкова редактировала мой роман. Не сразу догадался я, почему именно ей поручили. А все, как всегда, цинично и просто: ее брат, знаменитый ко-

мандарм Штерн, был расстрелян, вот ей и поручено было уговорить меня снять главы о 37-м годе.

— Поверьте, уж я бы не стала ни в коем случае. Мой брат, как вы знаете... — Тут она делала печальную паузу. — Но то, что у вас в этой главе, это — гиньоль!

Я не спорил, я набирался опыта.

— Так вы же ничего не сделали! — поражалась она, когда в назначенный день я приходил к ней.

— Я так сразу не могу. Я вообще пишу медленно.

А когда добрались мы до конца, я разложил перед ней все, что она именем своего расстрелянного брата требовала изъять:

— И вам не стыдно?

Наверное, это было жестоко, но я должен был защищать свою книгу. И вот я шел заново узнавать ее судьбу. Мысленно я уже со своей книгой простился. Стыдно признаваться, но я шел и только что не плакал в душе, так она мне была дорога. Два с половиной года писал я, и бывали редкостные счастливые дни, когда что-то похожее на озарение снисходило. Помню, зимой, в школьные каникулы, приехала Юдя, сестра моя, с мужем, школьным моим товарищем Аликом, с сыном Сашей, он тогда еще маленький был. Мои дети обрадовались, вместе все пошли на лыжах, вернулись надышавшиеся, голодные, а я сидел и писал, на меня, что называется, накатило. И они без меня за стол не садятся. Заморил всех голодом. Сейчас все это вспоминалось как несбыточное счастье. Но отрезать надо сразу, не томить душу пустыми надеждами. Когда человеку терять нечего, у него ничего и не выманишь.

В общем-то, шел я посмотреть, как те самые люди, которые поздравляли меня, будут теперь отступаться от всего сказанного, дело обычное, слово

у нас ни к чему не обязывает. И вот иду я мимо памятника Тимирязеву, что столбом стоит у Никитских ворот, как всегда на плечах, на голове его — белые потоки голубинового помета, а тут еще, помню, голубь сидел на темени, клюв во все стороны поворачивал, и вижу у газетного стенда — Василий Васильевич Катинов, он в то время был ответственный секретарь «Знамени». Меня так и потянуло к нему: вот сейчас увижу самую первую реакцию. А он меня заметил, жестом приглашает повозмущаться газетной статьей, там «Советский спорт» был вывешен:

— Вот, пожалуйста! Мы что, раньше не знали, что спортсменов надо хорошо содержать? До сих пор боялись признать очевидное. И еще хотим рекорды ставить!

Э-э, думаю, да ты еще в неведении пребываешь. И осмелел совсем не ко времени.

И всю дорогу, пока мы шли с ним — а хорошо все-таки Тверской бульвар осенью, хорошо идти под его липами, наверное, только тогда и оценишь, когда на душе плохо, — всю дорогу произносил он смелые речи про то, как поставлены дела в спорте у нас и у них. А я думал, на него глядя: что ты завтра будешь говорить, узнав? Отец его был репрессирован, и всю жизнь он, сын, «который за отца не отвечает», чувствовал выжженное на себе клеймо.

Первый заместитель главного редактора Борис Леонтьевич Сучков сказал мне голосом печальным, подняв глаза в некоей задумчивости, а взгляд его был светел:

— Знаете, композиционно для романа будет даже лучше, если мы главы о тридцать седьмом годе, ну, там, где у вас все эти аресты... перенесем во вторую половину, в следующем номере напечатаем. А первую сдадим чистой. Поверьте моему опыту, так — стройней.

— Нет, Борис Леонтьевич, по-моему, вы опережаете события, сами еще не знаете, что требовать.

— Почему мы не знаем? — как бы даже обиделся он. — Мы знаем.

И жестом руки непроизвольно указал на газету «Юманите», она лежала у него слева на столе. И вот этот жест объяснил мне многое: не поступало еще твердых указаний «сверху», иначе бы не на «Юманите» указала рука непроизвольно, а на телефон.

— Нет, Борис Леонтьевич, ничего переносить не надо. Не удержавшись на голове, на хвосте не удержишься.

— Ну, как хотите...

И взгляд его светлых, чуть выпуклых глаз похолодел. Он был человек образованный, умный, но мудрости жизнь учит немногих.

Как-то он сказал мне: «Вы там, — жест вверх, — никогда не будете своим. А я там — свой». Это была правда: и в отношении меня, и в отношении его. Он рано стал своим, путь перед ним открывался широкий. А потом в издательстве, где он был директором, взламывали паркет, Сучкову дали двадцать пять лет сроку, определив его шпионом, не знаю точно, какой страны, и следом за ним за проволоку за колючую пошло немало людей. При Хрущеве он был выпущен и снова начал расти. Мог ли я требовать, хотеть даже, чтобы он из-за меня чем-то рисковал? Но как быстро включается этот механизм, всю страну объявший, где каждому определенное место, как патронам в пулеметной ленте.

А с другой стороны посмотреть — это всегда было. Кто славил победителей, кто памятники им высекал, бессмертные создания, пережившие века и тысячелетия? Побежденные, покоренные, рабы. Они-то и становились самыми верными слугами.

Опять я брел по Тверскому бульвару, только в этот раз в сторону Никитских ворот, потом свернул на улицу Герцена, ныне Большую Никитскую. И оттого, что не знал, куда себя деть, забрел в Дом литераторов. Первым мне попался навстречу Олег Васильевич Волков, дворянин, приятно грассирующий, с прекрасной бородой:

— Как вы думаете, неужели опять начнут сажать?

Это — первое, что он спросил.

— Нет, — сказал я уверенно, — не начнут. Этого не будет.

Разумеется, ни в чем я не был уверен, но я видел его лицо в этот момент. Этот человек не десять, не семнадцать, а все двадцать семь лет провел в лагерях и ссылках. И маленькой показалась мне моя беда по сравнению с его тревогой, так надо бы сказать. Но — нет, своя беда, мала ли она, не мала, она — своя. Я не знал тогда и не надеялся, что роман все-таки выйдет, что я подержу в руках оба номера «Знамени», в которых он напечатан.

И однажды вернулся я домой, выпивши на радостях, а дома ждала меня телеграмма от Василя Быкова: «Дорогой Григорий Июль 41 года лучшее что написано за двадцать лет». Из огромной пачки писем приведу письмо Н. И. Гаген-Торн, несколько отрывков: «Я не видела войны — встретила ее в колымских лагерях, арестованная в 1937 году. Все, что читала, воспринимала настороженно: «Каков процент привычно-необходимой лжи?». Каждому Вашему слову — веришь. Да, да — именно так это должно было быть, человечески — так. С какой силой правды показали Вы общность беспомощной и безоружной толпы перед вооруженным конвоем. Я испытала это в толпе заключенных, которую гнали прикладами «свои», советские командиры. Проща сорок допросов, следствие, тюрьмы, этапы, Ко-

лыму, где нам зачитывали на поверке списки расстрелянных, и думала, что знаю всю горечь человеческой незащитности. Но Вы сумели показать незащитность — беспомощность военного, который понимает безумие совершающегося и не имеет права остановить это безумие... Какое счастье для всех увидеть эту книгу в печати. И счастье для Вас, что удалось сказать о пережитом без ноты фальши, приспособленчества».

Роман «Июль 41 года» вышел в журнале, был издан книгой, вышел в сборнике и был запрещен в дальнейшем на 12 лет. Он выходил в это время за границей во многих странах: Франция, Италия, в Швеции роман перевел Ханс Бьеркегрэн, в Германии Вернер Кемпфе. Финский газетный издатель, миллионер Ааро Коркиякиви, прочтя роман, пригласил нас с женой к себе, на север Финляндии, в город Оулу. Были мы там день и вечер, поезд в Хельсинки отходил в седьмом часу утра. И видим из вагона: огромный, толстый Ааро и высокая его жена бегут по платформе, Ааро размахивает газетой в руке. Уже напечатаны в его газете фотографии нас всех, глава романа, вечерняя наша беседа.

А дома в это время густо пошли разгромные статьи. Я их не читал и фамилий авторов не помню, хотя двое из них, авторы софроновского «Огонька», присылали мне приглашения попристутствовать на защите ими докторских диссертаций: все — по моим книгам, которые они изничтожали. Я в это время писал повесть «Карпухин».

Тридцать пять лет минуло с тех пор, и вот недавно получаю письмо из Свердловской области от человека другого поколения: «Только что прочитал Ваш роман «Июль 41 года». Читал и плакал... Мне кажется, Вы уже в 64-м году, когда все это писали, все поняли: и систему, приведшую нашу страну к

великому позору и великой трагедии 41-го года, и людей, в конце концов победивших в 45-м».

Нет, я тогда еще не понял. Я писал книгу, и многое мне открывалось: и в душах людей, и в самом воздухе времени — во всем том, что стало историей.

ВОТ ОН УЖЕ ОТКРЫВАЕТ КАЛИТКУ...

Когда умирает известный, уважаемый человек, друзей у него обнаруживается значительно больше, чем было при жизни. Его теперь не спрашивают, кого захотел бы он числить в друзьях, кого не захотел бы. И появляются любопытные воспоминания. Вот читаю: «Передают, что у Ю. Трифонова неожиданно умерла жена. И что он от горя запил. История действительно не приведи господь. Ее звали Нила».

Ее звали Нина. Родители дома звали ее Неля. Она была ученицей знаменитой Барсовой, одно время пела на сцене Большого театра, и ее сценическая фамилия была Нелина, Нина Нелина. Она действительно умерла внезапно, но Трифонов не запивал, могу свидетельствовать.

Однако читаю дальше: «Как рассказывал мне потом Лев Гинзбург, она, приехав в Трускавец, на другой день к вечеру позвонила Юре, пожаловалась на плохое самочувствие. А утром он получил телеграмму, в которой администрация гостиницы сообщала, что Нила скончалась».

Поехала она отдыхать не в Трускавец, на Украину, а в Друскининкай, в Прибалтику, в Литву. Жила не в гостинице, а в частном доме сняла комнату на втором этаже, так что «администрация гостиницы» ничего сообщить Юре из Трускавца не могла.

«В Трускавец друзья одного его не пустили. С ним отправились Винокуров и Гинзбург. Обрато они с гробом ехали на грузовике».

Не помню, кто ездил в Друскининкай за Ниной, но одним из тех, кто сопровождал гроб, был хозяин дома, в котором она останавливалась. А встречать гроб с телом мы ездили вместе с Юрой Трифоновым за Москву и долго ждали у мотеля.

Полжизни тому назад мы с Юрой учились в Литературном институте. Он был на два года моложе меня, но на курс старше: я поступал в институт, возвратясь с фронта, демобилизовавшись. Не могу сказать, что в институтскую пору мы дружили, по складу характера мы люди довольно разные, но многое сближало. И когда Юра получил Сталинскую премию за повесть «Студенты», я почему-то решил, что непременно буду приглашен на празднование, пошел на почту, дал телеграмму, и была там фраза: «С утра чешется нос». По примете нос чешется к выпивке, намек понятен. Но телеграфистка занервничала — время было суровое, еще жив был Сталин, — заподозрила что-то похожее на шифр, сказала, что такую телеграмму передавать не будет, я настаивал, она с текстом в руке ходила советоваться к начальству, и все это на глазах очереди к окошку, а очереди у нас нетерпеливы. В конце концов она подсчитала слова, назвала сумму, и тут, после всего, выяснилось, что у меня еще и не хватает сколько-то копеек. И я со стыдом бегал за этими деньгами...

Стыдные мелочи почему-то особенно запоминаются. Будучи уже известным писателем, книги его к тому времени издавались во многих странах, рассказывал мне Юра, хмурясь, чтобы не улыбаться, но и на отдалении лет все еще чувствуя себя уязвленным, как он первокурсником читал свой рассказ в актовом зале. Было это обставлено торжественно: зал, полный студентов, президиум, в президиуме — ректор, Гладков, классик первых советских десятилетий. Почему-то Юра решил, что по дороге к трибуне ему полагается пожать президиуму руки,

он это проделал на глазах всего зала, по очереди пожал всем руки, Гладкову в том числе, как бы предвосхищая свой триумф. А был разгром. И яростней всех громил его рассказ Гладков, уже в ту пору похожий на бабушку: седые волосы — на уши, лицо круглое, с припухшими дряблыми щеками, круглый нос, круглые очки, а в них — увеличенные стеклами, свирепые бесцветные глаза. Этого своего маленького позора — «главное, всем руки пожимал!» — Юра забыть не мог.

Ближе к осени 52-го года Юра Трифонов предложил мне снять койку в мастерской его тестя, художника. Минул почти год с той поры, когда он стал лауреатом; известность, деньги, а вскоре — женитьба на певице Большого театра Нине Нелиной — почти что династический брак той поры — все это на него, двадцатилетнего, не искушенного в жизни и в женщинах, обрушилось сразу. Они поехали на дачу, в Серебряный бор (дача эта сохранялась за его бабушкой, старой большевичкой, которой Сталин подарил «Краткий курс истории ВКП(б)», лично надписав, а в это время дочь ее, Юрина мать, погибала в одном из лагерей ГУЛАГа, а муж ее дочери, Юрин отец, уже был расстрелян), так вот, компанией поехали они на дачу, праздновать в очередной раз лауреатство, была и Нина, она осталась ночевать, и они поженились.

А уже кончалась эпоха царствования Сталина, эпоха жуткого страха, придавившего страну, но и великих соблазнов. Одних по ночам увозили на Лубянку в фургонах с надписями «Хлеб», «Мясо», как после об этом напишет Солженицын, другие вступали в свою золотую пору, мечтая, чтоб она длилась, и опыт ушедших в небытие, горький опыт взлетов и крушений человеческих судеб по воле государевой ничему никого не учил. Вот и Юра Трифонов вступил в клан избранных, к которому при-

надлежал по рождению, был вырван оттуда мальчиком, когда его родителей арестовали, пережил годы унижений и вновь возвратился туда, но уже в другом качестве: не заслугами отца, а сам, за свои заслуги был причислен.

Была куплена машина «Победа», лучшая и самая дорогая по тем временам, если не брать в расчет черные правительственные ЗИМы и ЗИСы (в переводе на русский язык аббревиатуры эти означали: «Завод имени Молотова» и «Завод имени Сталина»), и немолодой, внушительного вида шофер ожидал у подъезда выхода молодых хозяев. Наскоро распевшись, то есть пробежав пальцем по клавишам и выдав две-три трели, Нина в меховой, цигейковой, только что купленной шубке, жена лауреата Сталинской премии, и Юра, поселившийся и тоже одетый тепло, спускались к машине. «Я тот, кто сопровождает Жаклин Кеннеди», — не без юмора скажет о себе молодой президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди в один из визитов в Европу. Юра в своей новой роли был, по молодости, серьезен.

В дальнейшем, когда сменятся эпохи, он взглянет на многое со стороны и напишет в повести «Долгое прощание»:

«Все эти бегущие впереди, озабоченные несчастьями родных, торопятся по своим делам, унылым и длинным, как больничный забор, а она идет тихо, дышит глубоко, печально, спокойно, как и полагается богатой женщине... Николай Демьянович изнутри отпахнул дверцу, и Ляля, подобрав длинную полу цигейки — раньше только поглядывала на улице, как дамы небрежно, привычным движением поднимали полы своих дорогих шуб, прежде чем скрыться в глубине автомобиля, а теперь вот сама, на зависть проходящим женщинам, — юркнула довольно проворно на заднее сиденье».

Жизнь их, опыт этой жизни — основа лучших его повестей, которые со временем сделают ему имя. В этих книгах Нина живая, и все они, по сути, — долгое прощание.

Когда я снял койку в мастерской, мои двести пятьдесят дореформенных рублей сталинских времен, разумеется, ничего не значили в бюджете их семьи, но тестю, художнику, нужна была эта видимость, мол, живет он не на деньги зятя. А я один раз, чтобы уплатить ему в срок, у Юры же и одалживался.

Почему он позвал меня? Наверное, осталось после института взаимное расположение, да и жизнь как-то все время проходила рядом. Там же, в Серебряном бору, сняла на лето дачу моя двоюродная сестра, и, когда они с Ниной, две матери, прогуливались с колясками под соснами по песчаному берегу Москвы-реки (сын моей сестры и дочь Нины — ровесники), обсуждалось все: от кормления грудью до интимных подробностей. «Сейчас все мужики поистаскавшиеся, истратились раньше времени, — говорила Нина. — А вот Юра...». И очень хвалила его. Он же, чтобы внести ясность, сказал мне о прошлом ее замужестве: «Нина как честная женщина не могла так и потому вышла замуж». И строго посмотрел через очки, исключая любые иные толкования.

Успеха, к сожалению, не прощают, и зависть и сплетни окружали его всю жизнь. Дочь у них родилась семимесячной. Собираясь в театр и, как всегда, торопясь, что-то хватая, что-то забывая, роняя, Нина уронила ноты. Будто бы это плохая примета и, чтобы действие ее нейтрализовать, требуется тут же сесть на ноты. Женщина молодая, быстрая, сильная, Нина с размаху села на ноты, на пол. В тот же вечер ее увезли рожать. Ну и поскольку ребенок родился всего через семь месяцев после свадьбы, бли-

жайшие Юрины друзья — уж им-то лучше знать! — вычислили: дочь — не его. А она была точной его копией, особенно — когда подросла: и тот же взгляд в очках, и крупная такая же.

Целую вечность спустя все повторится. Уже не будет Нины, подрастут дети их дочери, Юрины внуки, а у него, в другом браке, родится сын, и с новой силой вспыхнут те же толки: сын — не его. И этому охотно станут верить: известный писатель, человек в славе, интересно узнать про него такую подробность. А мальчик — тоже точная его копия. И как-то, уже школьником, приведет он ко мне на дачу своего отчима, дорогу ему покажет, и я увижу маленького Юру, таким, наверное, он был в детстве, увижу, как не хватает мальчику отца, как тянется он к мужчине.

Не знаю почему, но за Юру у меня почему-то нередко щемило сердце. Здравомысленно рассуждая, жалеть скорей надо было меня, что-то пишущего неизвестно, но ничего еще толком не напечатавшего в ту пору, пребывающего полулегально на раскладушке в мастерской его тестя, где при любой проверке меня быть не должно, я просто исчезал. Уж снисходительно относиться ко мне он имел право, может, и относился так, не подавая виду: ценят ведь не за хорошие намерения, а по делам, а искусство, литература — как раз та область жизни, где выбраковка идет безжалостно. К тому же он в то время и прочел гораздо больше меня; переехав к Нине, перевез отцовскую библиотеку, покупал редкие книги у букинистов, тогда они были дешевы. И нет-нет да и просвещал меня: такой-то сказал, гений — это вол.

У меня же все мое было при мне: рукописи, несколько книг, подушка перовая, которая, кстати сказать, цела до сих пор, да еще серое солдатское одеяло. За четыре года войны я прочел всего две книги: в госпитале, в Красном Лимане, перечитал

«Анну Каренину» и впервые прочел «Титан» Драйзера. Особенно я «Анне Карениной» обрадовался, это была книга из довоенной моей жизни. Но, одичавшему на фронте, странными показались мне переживания Анны и Вронского, чуть ли не блажью. Может быть, еще и потому, что в то время у меня, как говорят, загноилась рана в спине, я читал и чувствовал гнилостный запах, и тошнило меня от этого запаха, а возможно, уже заражение начиналось. И вскоре я лежал на операционном столе носом вниз, пенициллина тогда не было, и мне срезали что-то в ране, как после сказал мне хирург, «ложкой срезали тебе до живого мяса, расчистили рану».

Но и после войны я не сразу смог перечитать эту любимую мною книгу: что-то должно было отпасть от души. Я и Бунина впервые прочел в институте. Многое я уже не прочту: что не прочитано в юности, поздно читать потом, другими глазами смотришь. И не раз добирался я собственным умом до простых вещей, которые из книг знают. Впрочем, в этом есть определенное преимущество, хотя и говорится: глупый учится на своих ошибках, умный — на ошибках других.

Они были красивой парой и внешне очень подходили друг другу — известный писатель, певица Большого театра; Юра любовался, гордился красивой женой, но вот когда он вслед за ней, сразу посolidневший, спускался к машине, чтобы везти жену в театр, мне почему-то в такие моменты было его жаль. Наверное, я был не прав, просто сказывалась привычка к неприхотливой жизни.

Амшей Маркович, Юрин тесть, писал большую картину: в полтора человеческих роста высоты и соответственной ширины. Помимо этюдников, красок, лестниц и общего беспорядка мастерской я каждый час, миг каждый видел перед собой эту картину. И вот что на ней изображалось:

снег, дерево, рыжая лайка облаивает какое-то живое существо на ветвях, и охотник, задрав голову, изготавливается стрелять вверх. Вокруг его валежков, глубоко ушедших в снег, — аккуратно выписаны лунки: свет полумесяцем по одной стороне, тень полумесяцем — по другой. Собака воссоздана была с натуры: из какой-то гастрольной поездки Нина привезла щеночком эту помесь лайки с дворняжкой. Все остальное — плод творческой фантазии. Я видел, как не хотелось ему писать, как мучил он себя, как заставлял. Но занимать мастерскую и не пользоваться ею, видимо, было нельзя. И в дни, когда ему силой удавалось себя заставить, я дурел от запаха масляных красок и скипидара и спал в этом запахе, и, когда выходил на улицу, на мороз, от меня пахло скипидаром, я сам это чувствовал.

И мастерская, и квартирка небольшая, где они жили у тещи с тестем, — все это помещалось на Верхней Масловке, в доме художников, огромном, по сути дела, общежитии, где каждый знал, что у кого варится в кастрюле. А какие страсти вскипали там, не последней из них была зависть. И нигде, нигде больше не встречал я такого количества безвкусно, крикливо, даже как-то дико одетых женщин: словно курицы в крашенных перьях, да простят меня те из них, кто сегодня жив, ничего дурного не хочу я сказать об этих достойных дамах, но что поделаешь, впечатление было настолько сильным, что я и поныне вижу их.

Иногда странные художники забредали ко мне. Поговорить. Помню одного. Казался он полупомешанным, а может, таковым и был. Приносил свою маленькую картину, разворачивал из тряпок. В довоенном прошлом я рисовал, говорили, не так уж плохо, но вовремя догадался, что мне это не дано. И как отрезал. Но и поныне, когда вижу карти-

ны Рембрандта, около которых стоял бы часами, свет их особенный, свет прежних столетий, что-то оживает в душе, будто и я жил в ту пору. А может, правда жил?

Картина художника тревожила странным, нереальным светом. Было на ней вот что: мрачный угол стены, почти черный, окно тюремное вверх и — свеча, горящая, будто в невесомости, в воздухе. Причем свеча выписана точно, обгорелая неровно, жидкий стекающий стеарин под пламенем свечи, а отсвет на стене кроваво-красный.

— Почему, почему нельзя? — допытывался он. — Свеча... Ну — свеча! Что тут? Как на сатану, замахали на меня руками, смотреть не стали.

А я и сам не знал. Да и что можно, когда чуть не полстраны — в лагерях, за колючей проволокой, а другие полстраны, свободные граждане, — по другую сторону проволоки колючей. Не зря передавали шепотом анекдот: «Как арестовать всю страну сразу? Объявить столицей Магадан, столицу колымского края». Гремели по радио победные марши композиторов-орденоносцев, лауреатов всех Сталинских премий, сопровождая наше неуклонное поступательное шествие к коммунизму, а тут он с такой своей картиной. Но чем дольше я на нее смотрел, на отсвет этот странный, тем тревожней становилось на душе, словно и мне его безумие передавалось. Впрочем, кто безумный? Он ли, сгинувший в неизвестности, или вождь наш, гений всех времен и народов, который, владея одной шестой света, сам под конец жизни заточил себя, спал на истлевших простынях, пищу принимал через окошко, как в тюремную камеру через кормушку; только потому, что в условленный час не подал сигнала, пищу не принял, и засуетились и решились войти, страх в себе одолев. Разбитый параличом, обмочившийся, валялся он на полу.

Вечерами обычно заходил ко мне Амшей Маркович. Как-то пришел, переволнованный до крайности. Человек он был тихий, придавленный властным каблуком жены, вздрагивал и устремлялся, когда раздавалось: «Амшей!». Она боготворила дочь и только дочь: «Нина — музыканьша!». Амшей же Маркович и Юрой, и удачным замужеством дочери был восхищен до слез, но дома признаться в этом было некому и небезопасно, и он приходил ко мне.

И вот, взволнованный, метался по мастерской от окна — к двери, от двери — к окну, а я сидел на своей раскладушке, взглядом сопровождая его. Как раз перед этим я писал, и вроде бы писалось, но не выгонишь же хозяина. А он тем был взволнован, что должно было, как он узнал, появиться новое издание «Студентов» в издательстве «Молодая гвардия», и Юра получит за книгу сто тысяч.

Свет почему-то мы не зажгли, быстро сгустились зимние сумерки, ярче горел фонарь во дворе, и снег на его картине, голубоватый днем, сейчас по-ночному отсвечивал на масляном полотне, будто искрился. Амшей Маркович стал лицом к окну, спиной ко мне, нервные руки за спиной сцепил и так стоял, черный, четкий его силуэт в окне.

— Сто тысяч! — Плечи вздернулись непославно, до ушей до самых. — Нет, Юра очень талантлив!

Но среди буден настал в этом доме художников судный день, великий день: прибыла, если не путаю ее названия, закупочная комиссия. Она заседала в чьей-то мастерской, и отовсюду понесли полотна, все то, что целый год изготовлялось затворнически, с надеждами и, как принято говорить, в творческих муках. По коридору, по пути проносимых картин, стояли художники, их жены (хочется ска-

зять — их жены, дети, но я боюсь быть неточным, дети, возможно, и не повысыпали из квартир), и не одни лишь доброжелательные взоры сопровождали картины конкурентов. Пришла очередь и Амшея Марковича. Он попросил меня, еще кого-то, мы взялись, понесли, я знал, что несу, триумфа не предвидел. Однако любопытно было посмотреть эту комиссию, да и как откажешь? Конечно, часть позора, пока мы пронесли огромное это полотно сквозь строй, и на меня ложилась, во всяком случае, завистливых взглядов я не заметил.

Много лет спустя в Театре на Таганке Юрий Любимов репетировал нашу с ним пьесу «Пристегните ремни!» и позвал меня в перерыве посмотреть, поприсутствовать при отборе актеров, кончивших театральные школы. Они кончили курс, их привели показываться, кто-то сам пришел предлагать себя. Отбирал худсовет, а в общем — Любимов. Это было жестокое зрелище. Бог мой, как они старались, как переигрывали! Молодые мужчины, молодые и — чаще всего — красивые женщины, они готовы были на все, чтобы только их взяли. Отыграв, запаленные, вбегали за кулисы: «Дай закурить!.. Дай воды!.. Это было ужасно, да?». А в глазах — надежда, а спрашивает — конкурента. И если безнадежно, тот благодушествует: «Да нет, ничего, это тебе от волнения показалось» — «Да? Правда?».

Я рад был, что не мне решать, не я объявляю приговор, но взять их значило погубить театр. Занятие святым искусством, ох, не святое дело, и нравы тут далеко не лучшие, отбор жесток.

Лица членов закупочной комиссии не запомнились мне, но общее выражение — сидели बारे, вершители судеб. Мы внесли, поставили и тут же, по мановению, вынесли. В коридоре, у окна, стоял известный в ту пору художник, кажется, Цыплаков, платком утирал взмокшую лысину: его кар-

тину комиссия смотрела заинтересованно и долго, и уже несколько неудачников заискивали перед ним.

А Амшей Маркович, бедный, как только мы появились, разворачивая в дверях огромное его полотно, побежал, побежал впереди нас согбенно, как заяц, приложивший уши, скрывался от позора: чуда не случилось. В мастерской поставили мы его картину не на мольберт, а лицом к стене, охотник и рыжая лайка теперь не маячили у меня перед глазами. И все то время, что я еще прожил там после судного дня, Амшей Маркович уже не терзал себя понапрасну, а от меня не пахло на улице масляными красками.

Вечером того же дня в мастерскую пришел Юра и, морща в улыбке губы, рассказал, что тещей было сказано его тестю-триумфатору, а сказано было много и громко и сводилось к тому, что он — рохля, никогда не умел постоять за себя, оттого всю жизнь она с ним мучилась. Юра, при внешней сдержанности, даже некоторой внешней мрачноватости, проистекавшей скорей всего от застенчивости, был в жизни склонен к юмору. Он блестяще рассказывал анекдоты, сам получая при этом удовольствие. Сужу беспристрастно, я этого дара лишен, отнюдь скорей к разряду благодарных, изумленных слушателей, мечтая об одном: донести анекдот до дома, не забыть, и всякий раз забываю главное, помню только, что было очень смешно.

Когда снимали фильм по моей повести «Пядь земли» и я приехал на съемки, на «натуру», вся группа набросилась на меня. Они уже порассказали друг другу все анекдоты, какие знали, а тут — свежий слушатель, да еще такой, который забывает и слушает заново, как впервые.

Юра же, повторяю, рассказывал мастерски, сохраняя при этом хмурый вид. И чтобы анекдот не пропал, обычно подготовлял слушателей неболь-

шой лекцией на тему, кто как слушает анекдоты и что понимает в них.

Однажды они пригласили меня на дачу, в Серебряный бор. Как раз была куплена и привезена обстановка, все новое, не родительское, свое, для каждого из них — впервые в жизни. Сценическая карьера Нины в Большом театре подходила к концу, недолгой она была, но образовалась семейная жизнь, ничем пока не омраченная, со всеми ее радостями. Нина была яркая, видная, молодая женщина, когда она шла по улице, головы мужиков, как ветром, поворачивало ей вслед, и если чего она боялась, так только сплетен, а ими как раз и переполнен театральный мир.

Поехали с ночевкой, и, чтобы не обременять, я захватил с собой свои простыни. И вот пожилой солидный шофер везет нас по вечерней Москве, не мчит, бережно везет. И что-то во всем этом нереальное. Что? Наверное, быстрота превращения.

На курсе у нас недолгое время пробыл Костя Т. Писал ли он прозу или стихи — не помню, но вот что запомнилось хорошо: карманы его всегда были набиты немецким шоколадом и он щедро угощал сокурсников, как правило, голодных. Был он в офицерском звании, но того важнее — сын крупного генерала, вроде бы даже Члена Военного Совета фронта, все это писалось с большой буквы. Считанные разы бывал я в то время в генеральских домах, но хрусталь многоцветный с монограммами, вывезенный из Германии, но фарфор за стеклами сервантов, идиллические пастухи, пастушки, люстры хрустальные на потолках... Совершенно особая устанавливалась жизнь, не на годы, на века: жизнь победителей и побежденных. Я имею в виду не Германию, разбитую в войне, когда говорю о побежденных, а нищий наш, в своей стране побежденный

народ, всех искалеченных на фронтах, кто враз после войны стал никому не нужен.

И вдруг Костя, казалось бы обреченный на благополучие, исчез. Его не стало, как не было вовсе. Это арестовали его отца. Да его ли только. У нас из общежития, из полуподвала, ночью увели Эмку Манделя, известного ныне поэта Наума Коржавина, живущего теперь в Америке, но мыслью и душой — все так же здесь, на своей родине. Наивный, как дитя или мудрец, он читал в домах, где его кормили, свои стихи: «А там, в Кремле, в темнице мрака, хотел понять двадцатый век не понимавший Пастернака, сухой и жесткий человек». Это изустный вариант — про Сталина, в ту пору. Можно только удивляться, как долго господь хранил это святое дитя. Но пришли ночью, разбудили, увели с собой. На восемь лет.

А жизнь продолжалась. Там же, в полуподвале, как и прежде, девочки, студентки наши, жарили на рыбьем жире, который был дешев и продавался в аптеках, олады, приготовленные невесть из чего. А во время лекций мы видели в окна, как выходил на каток, под который зимой заливали водой большую площадку, поэт Островой, живший в том же дворе. Повязанный шарфом, концами назад, как мамы повязывают дошкольников, прокатывался он на коньках, заложа руки за поясницу, благополучный, жизнелюбивый. А другой поэт, автор знаменитой «Тачанки», Рудерман, больше ничего в своей жизни, кажется, так и не написавший, тощий и желтый, поджидал звонка на перемену, когда мы, студенты, высыпем во двор, и он сможет у кого-нибудь стрельнуть закурить.

Вся наша нищая, полуголодная послевоенная жизнь, а еще и то, что сегодня ты есть, а завтра тебя очень просто может не стать, и вот такое мгновенное превращение: машина, шофер... На даче ме-

бель еще пахла свежей политуры, и мы ходили, осматривали, отражаясь в полированных плоскостях. Разумеется, по этому поводу было выпито. Нина пила со вкусом, жила со вкусом, а теперь вила гнездо, и ее можно было понять, молодую женщину, часть жизни которой был блеск сцены Большого театра, императорского театра, она вкусила этот яд, она выходила на эту сцену.

Ночью я проснулся словно бы в странном, перевернутом мире. Мне ясно представилось, как отсюда, из этих стен, уводили сначала Юриного отца, потом — мать. И были они здесь молодые и счастливые, и верилось — вся жизнь впереди. И вот вновь — молодые и счастливые, в тех же стенах, но уже — не они. И эта охранный грамота, партийная библия — «Краткий курс истории ВКП(б)», — выданная бабушке Сталиным, на которой он собственноручно дарственную начертал; дочь отнял, зятя отнял, жизнь растоптал, книгу подарил. Нет, я не думал тогда такими словами и не все, конечно, понимал, от этого судьба меня хранила. Кто все понимал, тот либо исчезал, как будто его и не было, либо, сломавшись, шел в услужение, подличал, а то и палачом становился.

Блаженны неведающие. Году в 50-м на Кубани, в станице Курганной, так тогда она называлась, молодые казачки, чтобы не обгореть на жарком степном солнце, чтобы брови не выгорели (красивой считалась та, что белолика, черноброва), низко на лоб повязывали головные платки, брови чернили, а лица мазали белой мазилкой. Готовила же мазилку хозяйка хаты, у которой я остановился, это был ее промысел. В большом чугушке смешивала она нутряное сало с чем-то еще, добавляла, помню, цинковой мази, не знаю уж для чего, и зелье это, варено страшное, подолгу мешала на огне. Потом, остывшее, заворачивала на продажу, как конфеты, бу-

маги требовалось много, и она покупала для этой надобности «Краткий курс истории ВКП(б)», наверное, она одна в станице и покупала. Я спросил ее, почему именно эту книгу она выбрала, а не какую-либо другую? Дешевая, страниц много и всегда в магазине есть.

Помню, в Воронеже, до войны, называли имена людей, писавших «Краткий курс...». Потом имя утвердилось одно: Сталин. Автор — он один, а те исчезли бесследно. И как венец мудрости изучали мы в институтах гениальное сталинское творение, особенно же — четвертую главу, самую гениальную. В нее тоже казачка заворачивала свое мазило.

Попробовал бы кто-нибудь в ученом мире усомниться, что слово, запятая в этой партийной библии начертаны не сталинской рукой, завтра же его имя боялись бы произнести. Только пожившие под этим страхом всеобщим, кто и страх почитал как осознанную необходимость, а значит — дарованную свободу, только те и поймут, почему старая женщина, у которой деспот отнял всех, хранила подаренную им книгу, как икону-заступницу хранят. А сестра моей тещи, у которой сына арестовали, носила с собой фотографию Сталина, а теща — лезвие безопасной бритвы в сумочке: успеть перерезать себе вены, если ее схватят на улице.

И ничему былой опыт не учит человечество, история пишется задним числом, а умные мысли как раз задним числом и приходят в голову, и быть бы историкам мудрецами, если бы не смущали соблазны: жить-то хочется, история историей, а своя жизнь тоже дорога. И все повторяется вновь и вновь.

Вот читаю, как эсэсовец — в Освенциме ли, в Трехлинке, не помню уже точно где, не раз и не два это и не в одном лагере бывало, — приказывает заключенному: убей еврея, стань ботинком ему на

горло, получишь сигарету. И заключенный заключенному становился ботинком на горло и получал сигарету в награду. А еще раньше у Гая Светония Транквилла читаю, как римлянин приказывает рабу: заколи отца, и дарую тебе жизнь. И сын-раб на глазах властелина закалывает своего отца-раба и остается жить. А между тем и тем событием — почти две тысячи лет. Все как будто изменилось, и сколько народов за эти сроки сошло с лица земли, сколько государств возникало и рушилось, и нации формировались как бы уже навечно, да — бог ты мой! — чего только не происходило под солнцем, вот и христианство возникло, гонимое поначалу, травимое, вышло из тайных пещер, обрело власть, а с нею вместе — и все пороки власти, объяло полмира, но длилось и длится в самом роде человеческом что-то более вечное, что и в нашу жизнь пришло.

В сущности, и повесть «Студенты», и благополучие за нее в награду — все это по тем канонам, по которым властелин предписал жить и дышать. И в заключительной главе повести герои славят Сталина, увидев его на мавзолее. Но вот живой классик, Шолохов, многомиллионным тиражом извещал Сталина о своих сыновьих чувствах. «По-сыновьи целую в плечо...» — писал он в то время. А уж он видел, ему ли не знать, как голодом вымаривали казаков на Дону, на Кубани.

Пройдут десятилетия, и в будущем, о котором несвободной мыслью своей мы и загадывать не могли, Твардовский напишет: «Предай отца, родного брата и друга верного предай...». И подскажет ему эти вещие слова не чужой, а свой собственный горький опыт. Что же требовать от человека, которому и тридцати не было, а жизнь, поначалу подарившая ему то, о чем другие и мечтать не могли, все отняла и провела через страх и многие унижения?

Ему близка была западная культура, да и как вообще русскую литературу отделить от нее, но шла борьба с «низкопоклонством перед Западом», борьба с «космополитизмом», не бескровная борьба, много, много жизней прервали ранние инфаркты, инсульты, а скольких ссылали в лагеря, и повесть «Студенты» пришлось ко времени, ее «сдавали» на экзаменах в институтах, она стала той ложкой, которая дорога к обеду. В ней ученик разоблачает своего учителя-космополита и друг, не колеблясь, с гневом праведным исключает из жизни друга: «...ты не можешь понять сущности литературы нашей, социалистической, не видишь ее превосходства перед литературой буржуазного Запада. Отсюда — то, что называется низкопоклонством...». Да неужели это Трифонов писал? Критики, поумневшие, когда им позволили поумнеть, не упустят случая, повиснут на нем, как собаки на медведе, и будут шпынять за прошлые грехи. И он напишет в ответ, что писатель — это не бетонные опоры моста, которые должны оставаться неизменными. И на тот же самый сюжет напишет лучшую свою повесть «Дом на набережной», вновь там будут учитель и ученик, предавший учителя, и теперь уже зло будет названо злом, добро — добром.

Но тогда все мы во многом были другие, я искренне радовался успеху товарища, вознесенного приливной волной из безвестности. И все же меня самого что-то в душе от этого хранило.

В памяти у меня осталась та ночь в Серебряном бору, когда я вдруг проснулся и явственно ощутил, как из этих стен, из этого дома однажды ушла жизнь, и вот новая жизнь, как бы не зная о прошлой, радостно наполняет дом...

Минули годы, и оказались мы с Юрой и Ниной в одном дачном поселке под Москвой. Юра купил каменную двухэтажную дачу, что-то там надо

было ремонтировать, достраивать. Мы с женой на крайнем к полю освободившемся участке, где раньше стояли засыпные шлаком бараки, поставили финский дом. Земля была — сплошной шлак и битое стекло, копнешь лопатой — отбросы, приваленные слегка, вонь ударяла из земли. Жили здесь временные жители, для них и барак этот, и земля — все это не свое было, ничье: от деревни отстали, к городу не пристали — мигранты, точный слепок нашей послереволюционной страны.

Ни одного дерева не росло на нашем участке, не земля, а свалка захлавленная, пришлось пригнать бульдозер и срезать весь верхний слой до рыжей глины, она растрескивалась в первое лето, как в африканской пустыне: лето было жаркое. И первый штакетник, который мы привезли, чтобы отгородить участок, в ту же ночь украли: кому-то он оказался нужней. Но мы были еще довольно молоды: мне сорока не было, жене — того меньше, сыну — пять, дочка недавно начала ходить. И нам хотелось, вот для души требовалось, чтобы стала со временем эта земля рассыпчатой, черной, чтобы дети знали, как и что растет, могли различить каждую травинку. Однажды плотник, видя, как я, вырыв траншею, в три слоя закладываю удобрения под малину, сказал, как говорят человеку, занятому пустым и явно не подходящим ему делом: «Ты бы, Яколич, лучше стих написал...». Так это и осталось у нас в семье на все случаи жизни: «Ты бы лучше стих написал...». Вот уж что не дано, так не дано.

Мы посадили сад, посадили березы, ели, сосны, клены, три дубочка принесли из лесу. У дубов корень далеко вглубь уходит, на метр и глубже приходилось рыть вокруг него, чтобы вынуть неповрежденным. А в первое лето, облагораживая землю, навезли навоза, посадили по всему участку картошку, и уродилась огромная, рассыпчатая, розовая (сорт

был хороший), собрали восемь мешков, знакомым и родственникам раздавали картонными ящиками.

Однажды вез я из лесу на тачке старый куст калины (мы еще не знали, что молоденькое и приживается быстрее, и обгоняет в росте), да с таким комом земли его вывернул, что едва не надорвался, но все же довез и посадил. Зачем мы так старались? Сам не знаю. Хотелось. Бывало, льют дожди, соседи жалуются, опять, мол, погода испортилась, а мы подойдем к окну и смотрим: под дождик хорошо сосенки приживутся. В июле, в самую жару, жена с дочкой увидели в лесу брошенную тройную березу: кто-то выкопал да и бросил. И хотя понимали, что не приживется, пожалели, принесли из лесу. И может быть, действительно рука легкая, от души сделано, не зря поливали ее, ухаживали — прижилась; теперь, если глянуть на ее вершину, шапка свалится.

Мы и за участком в два ряда посадили аллею берез и тополей, отдыхающие министерского санатория после завтрака шли по ней в лес прогуливаться. Но так уж в нашей стране руки у людей устроены, что не могут пройти мимо дерева и хоть ветку не обломать. И вот как-то раз вожусь на участке, а вдоль забора идут две хорошо раскормленные начальственные пары. Отломил он ветку с березы, и ею же, веткой с листиками, указывает на нас: «Со временные помещики...».

Но еще до того, как мы с женой чему-то научились, еще и дом наш был недостроен, возникли вдруг над забором очки, крупный нос, на котором они держались: «Здравствуйте! Я — садовод. Из Академии наук». Садовод! Так это его просто бог послал! И вот уже на велосипеде въезжает на участок Иван Анисимович Ковтунов, Анисимыч, так звали его в нашем поселке, вокруг которого он неплохо кормился: мало кто здесь хотел пачкать руки землей. И нам тоже первую малину посадил он: «Из Акаде-

мии наук!». Не один год в дальнейшем я ее выкорчевывал: малина была из лесу, дикая, приживчивая, нет-нет и опять где-нибудь прорастет. И первые сосны он сажал: принес из лесу и на наших глазах, а мы с изумлением смотрели, пополоסקал корни в луже: «Чтобы лучше взялось с землей...». Сосны, разумеется, засохли. Но вот землю копать он был здоров, как конь, мне все казалось, лопата у него какая-то особенная, с завистью я посматривал на нее. Кому досталось на фронте рыть окопы, на всю жизнь научен ценить хорошую лопату.

Он, кстати говоря, посадил Трифоновым грядку клубники, вскопал, удобрил, привез особый сорт — «ананасная»: у кого-то выброшенные усы подобрал. Рассказывали, хвалился потом у магазина: «Я им вместо суперфосфата алебастром грядку зарядил. Удобрил!...».

Давно уже я не вижу Анисимыча, жив ли? Лет шесть назад встретил его в военном городке, где он живет. Постарел Анисимыч, поважнел: дочка хорошо вышла замуж, уехала с мужем в капстрану, там он охраняет наше посольство. Анисимыч строит для них гараж, должны «Волгу» привезти.

Участок, где Юра с Ниной купили дачу, граничил с участком Твардовского. В дальнейшем, в «Записках соседа», Юра напишет: «Я был совершенно ничтожен как сельский хозяин, Твардовский скоро это сообразил и перестал давать мне советы: не в коня корм. Он только говорил иногда, с оттенком удивления, о том, какой отличный хозяин Григорий Яковлевич Бакланов».

Мне это свидетельство приятно и даже дорого, потому я его привожу. И удивление Александра Трифоновича я понимаю. Борис Можаяев, приехав однажды к нам на дачу со своим домашним вином, поглядел сад, смородину черную, у которой ягоды были величиной с вишню, и сказал: «Ну, это — не

ты, это — Элла». От истины он был недалеко, даже сейчас, когда пыл этот во мне угас, у жены моей по-прежнему с зимы еще зреют самые дерзкие, самые отважные планы: где что посадить, заменить, на какой грядке что будет произрастать. Но тогда и мне это доставляло радость. И хоть не последовал я совету плотника «написать стих», возможно, одна или две книги из-за этих моих увлечений не написаны, я не жалею. Раз не написано, значит, не слишком на свет просилось.

Намного проще было бы купить готовый дом, в рассрочку я, наверное, уже смог бы в то время. Два фильма на Ленинградской киностудии были запущены по моим сценариям, ни об одном из них я вспоминать не хочу, а вот что дом наш строили мы сами, я рад, и каждое дерево на участке нами посажено, и земля за тридцать с лишним лет стала рассыпчатая, черная, приятно в руке размять. Нам хотелось, чтобы этот дом и все вокруг него стало для наших детей чем-то вроде родового гнезда.

А писал я в то время роман «Июль 41 года», когда не получалось, пробовал писать повесть «Карпукhin», но не умел я спокойно отложить одно и начать другое, незаконченная книга, как беда какая-то, повисала надо мной, избавиться от нее можно было единственным способом: дописать. Глядя теперь в прошлое, вижу: был я тогда увлечен и счастлив. Нет, я не хочу что-то повторить или прожить жизнь заново. Летели мы однажды с Василем Быковым, сидим рядом, выпили, и над какой-то из стран, какая — все равно не разглядишь сквозь облака, спросил я: «Хотел бы ты снова быть молодым?» И выяснилось, что ни он, ни я не хотим. Пожили. Я иногда и сам поражаюсь: какая долгая жизнь! Семнадцать лет в Воронеже до войны, а каждый год в юности, в детстве, как вечность. Потом — война,

четыре года. Да разве годами ее измеришь, если один день бывал длиннее тысяч и тысяч жизней. И в каждом, кто войну прошел, она все длится. А послевоенные годы! Годы? Несколько эпох. И все это — одна жизнь.

Что тогда было бедой? Ну, конечно, если заболели дети. Но зато когда выздоровеют, — счастье. Еще волновало интеллигенцию, что Хрущев непоследователен, начал сдавать позиции, опять вокруг него грибачевы-софроновы-кочетовы... Как-то в Переделкино навестил я Павла Филипповича Нилина, идем с ним, разговариваем, вдруг я спохватился: «Да что же мы о Софронове, о грязи этой говорим чаще, чем о Льве Толстом!». А вот подумать: как же им было вокруг Хрущева не виться, не нашептывать в уши, кому же, как не им, в конечном счете, поверить он должен, если они одного замеса? И хоть он решился на то, на что никто, кроме него, в то время решиться не мог и даже мыслью не посягал (шутка сказать, будучи в ареопаге в меньшинстве, Сталина объявил преступником, безвинных выпустил из лагерей, приказал Сталина вынести из мавзолея и сжечь, не думая, конечно, что, вынося одного, предрек и другому быть вынесенным ногами вперед), все равно они для него оставались своими, понятными, мы в этом недавно вновь, на примере уже Горбачева, могли убедиться.

Из дня нынешнего какими спокойными, какими бестревожными, если с теперешним временем равнять, кажутся те дни. Я писал увлеченно, и в том, что писал, душою был свободен, ну — почти свободен. Сижу, бывало, на топчане, передо мной на табуретке — пишущая машинка (эту книгу я не только набело переписывал на машинке, но частично на машинке писал), за окном — снега, мороз, а здесь сквозь стекло жарко от солнца, и в зимнем солнечном луче дремлет, нежится кошка Мурка, выросшая

у нас из котенка, урчит во сне. А то заберется за спину, греет поясницу. Прибегут дети с гулянья, наигравшиеся в снегу, надышавшиеся морозным воздухом. Что еще для счастья надо? А я все гнал себя, предчувствуя: вот-вот захлопнется дверь и роман мой уже не напечатают. Впрочем, с каждой книгой так: хочется донести наконец этот груз, сбросить с плеч. А потом — жаль.

Отработав самому себе назначенный урок, читал написанное жене. В романе «Июль 41 года» многое — от нее. Дом, тот, в каком жила она в Киеве. В 37-м году по ночам один за другим из него исчезали жильцы, недавние хозяева жизни, и гасли, гасли, темными становились окна квартир. А потом свет в них вновь зажигался, на место арестованных въезжали новые хозяева жизни, устраивались навечно, не подозревая, что и они — перекладные, которых много еще будет сменено в пути. Да и класс, в котором она училась, я написал по ее рассказам, и одноклассники узнали себя, обзванивали друг друга: «Это — про нас», — и спустя много лет встретились у нас дома.

Когда книга вышла, Юра Трифонов прочел ее, зашел, было это на даче. Помню, стоял в дверях кухни, почему-то не входя, говорил:

— Странно... Я жил в таком доме, а ты его написал...

Все такие дома и уклад жизни в них, видимо, похожи друг на друга, масштаб разный, но по одному стандарту кроены. А имел он в виду дом на набережной, который еще не стал его повестью.

Вообще на даче заходили они нередко: то Нина с дочерью, то он с Ниной. Как-то среди дня, под настроение распили мы бутылку холодного шампанского, а еще и апельсины были, получилось неожиданно и хорошо. Не то чтобы Нина и Элла сдружились, но в Друскининкай, где и случилась

трагедия, она звала Элли поехать вместе, не хотелось ехать одной.

От прежней жизни осталась привычка хорошо одеться к вечернему выходу, и вот Нина оденется, подкрасится, а пойти особенно некуда, они заходили к нам, и по взгляду можно было видеть, как Юра любит красивую жену. Это был трудный период его жизни. «Студенты», благополучие, блеск — все осталось в прошлом. В отсвете прежней славы написал он пьесу, она без успеха прошла в театре имени Ермоловой. Нина пела уже не в Большом театре, а в Москонцерте, гастрольные поездки по городам, Юра писал ради денег документальные сценарии, заставлял себя писать роман о строителях Туркменского канала, было это ему не близко. Другая жизнь шумела на дворе, другое время, другая литература. И как-то по-холостяцки неуютно было в их большом доме, хотя жило там три поколения одной семьи. О главном, что отдалило их, он инскапательно упомянет в одной из своих повестей. Но вот именно в этот период душевного неустройства, когда, казалось, все — в прошлом, накапливался в нем опыт жизни, зрели будущие его книги, которые дадут ему имя и оставят в литературе. Началом их стала трагедия.

К концу лета Нина все же собралась в Друскининкай. Она жаловалась на недомогание, но было такое впечатление, что просто она тяготится собой. И вдруг оттуда сообщили: Нина умерла. Как стало потом известно — сердечная недостаточность.

Встречали мы гроб у загородного мотеля и потом ехали по Москве. У Смоленской площади, у магазина похоронных принадлежностей, остановились, кто-то туда зашел, а мы с Юрой ходили вдоль машины, туда и обратно, и он говорил: «Почему это со мной должно было случиться? Почему именно со мной?...».

После похорон были суматошные поминки. В квартиру, которую Нина с огромным трудом выменяла (сам процесс обмена тоже войдет в одну из его повестей), набилось много народу, стояли на кухне, стояли в тесном коридоре. Зазвонил телефон, и мы услышали, как дочь, уже взрослая, Нина любила ее такой же страстной любовью, как мать любила ее, отвечает кому-то громко, немного в нос, отчетливо произнося каждое слово: «Мамы нет. Она умерла... Да, умерла... Похоронили...».

Потом стали выходить повести Трифонова, о них заговорили, критика молчала, потом обвиняла в мещанстве, бог знает в чем: верный признак, — в литературе появилось нечто незаурядное. Я не сразу прочел, хотя был уже наслышан, я слишком близко знал их с Ниной жизнь.

«Дом на набережной» я прочел раньше других вещей, уже напечатанных. Мы тогда оба в Литературном институте, который сами когда-то кончили, вели семинары по мастерству. Как раз перед занятием собрались преподаватели, среди них едва ли не половина Юриных недоброжелателей, я был под впечатлением его книги и при всех горячо похвалил ее. Он как-то радостно вздрогнул, достал из портфеля другую свою книгу, трогательно надписал, забыв, что такую книгу уже дарил мне однажды.

Долгое время его не выпускали за границу, где широко издавались его повести, причиной, кажется, было избрано то, что в свое время там остался его двоюродный брат. Потом он начал ездить, ездил часто, он неплохо говорил по-немецки, изучал английский. Его хорошо принимали, как, впрочем, он того заслуживал, и чувствовал он себя там хорошо. «Знакомый воздух парижского вокзала, в котором слито было много всего, и это создавало впечатление какой-то горьковатой и душной сладости, охватил Глебова, как зной». Это из по-

вести «Дом на набережной», это не про себя, но и про себя тоже.

И вот вернулся он из очередной поездки, на этот раз — в Германию, тогда еще — Западную Германию, где особенно широко издавали его, вернулся освеженный, помолодевший, и мы шли вдоль леса, уже осеннего. Юра был в новых, больших очках, такие тогда начали носить, грузно ступал, давя опавшую листву, новые синие туфли на дымчатой литой подошве тонули в траве, она уже не росла, приготовилась к заморозку; в божий этот день мы, словно каждому из нас по три жизни отпущено, не солнцу, не осени и лесу радовались, а шли, уставаясь в свои мысли, головы наклоня.

— Все шели здесь забиты говном, — говорил он, как на больной зуб давя. Резок был переход между тем, как его там принимали, и возвращением домой. Включишь телевизор — очередное награждение, те же старцы окружают Ильича, у каждого сквозь черты лица уже череп проступает, на одного Кузнецова посмотреть, которого Брежнев избрал себе в заместители: согнутый позвоночник и череп на нем, и все это облачено в костюм обвисший. Советники моложе старцев, но все такие благополучные, хорошо устроившиеся, пишут доклады, подают мысли, одерживают маленькие победы: в таком-то абзаце с риском удалось вставить нечто между строк, и сразу — толки, толки, не начало ли это благих перемен? Про них он сказал в тот раз: — Они, когда дорастут и что-то могли бы сделать, они сами уже ничего не хотят.

И вдруг, улыбнувшись неловко, в слабости признаваясь, сказал о нашем однокашнике, осыпанном в брежневскую пору всеми мыслимыми наградами, в том числе — орденом за освобождение страны, которую он не освобождал, но орден тем не менее взял:

— Знаешь, а у меня почему-то нет к нему зависти.

Я поразился: ну чему тут может завидовать писатель, да еще такой зоркий? Из этого человека фальшь сочилась, он уже с самим собой разговаривал на «вы», была бы возможность, он и в постель въезжал бы на черной «Волге».

— Нет, правда, я спрашивал себя: завидую я ему? Нет.

Первая книга зрелого Трифонова — «Отблеск костра»: «На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опаляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех. История полыхает, как громадный костер, и каждый бросает в него свой хворост».

Отблеск истории и на всех его последующих книгах. Он вновь и вновь, и все глубже, переосмысливал и себя, и время, в котором досталось ему жить, и время, когда его отец был молодым. А что тогда начиналось, знать было не дано. Не случайно к этой книге об отце Трифонов взял эпиграфом слова старой песни времен революции: «В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы неизвестные ждут...».

Судьба его отца завершилась в ночь на 22 июня 1937 года: «...ночью приехали люди в военном и на той же даче, где мы запускали змеев, арестовали отца и увели. Мы с сестрой спали, отец не захотел будить нас. Так мы и не попрощались».

И он расскажет об этом еще раз, умудренный всей прожитой жизнью, в которой выпали ему и испытания, и искушения, но, пройдя через них, он сохранил в себе дар божий. Как просто и как горько начат последний его роман «Время и место», в этой книге предвидение своей судьбы и, может быть, скорой кончины: подлинная литература вообще обладает даром предвидения:

«Надо ли вспоминать о солнечном, шумном, воняющем веселой паровозной гарью перроне, где мальчик, охваченный непонятной дрожью, держал за палец отца и спрашивал: «Ты вернешься к восемнадцатому?». Надо ли вспоминать, о чем говорили отец с матерью, не слышавшие мальчика? «Ты мне обещал! Ты мне обещал!!» — ныл мальчик и дергал отца за палец. Надо ли вспоминать об августе, который давно истаял, как след самолета в синеве? Надо ли — о людях, испарившихся, как облака? Надо ли — о кусках дерна, унесенных течением, об остроконечных башнях из сырого песка, смытых рекой, об улицах, которых не существует, о том, как блестя до белизны металлическая ручка на спинке трамвайного сиденья, качался пол, в открытые окна летело громахание Москвы, мать смотрела сердито, ничего не слыша, мальчик вдруг закричал: «Ведь он обещал!» — топнул в отчаянии ногой? Надо ли — о том, как мать шлепнула его по щеке, лицо ее сморщилось, глаза зажмурились, и он увидел, что она плачет?..

Надо ли все это?

Мальчика звали Саша Антипов. Ему было одиннадцать лет. Отец Саши не вернулся из Киева никогда. Мальчик Саша вырос и давно состарился. Поэтому никому ничего не надо».

И снова осень. Всю ночь лил дождь, перестал под утро и вновь пошел, смывая последнюю листву с деревьев. Они как-то сразу оголились. Долго стояли зелеными и березы, и липы, только клены, первыми почуяв близкие холода, в день-два превратились в желтое облако. И посыпалась, посыпалась листва с деревьев, легла шуршащим ковром.

На выезде из поселка сквозь мокрое от дождя стекло, сквозь машущие по нему дворники вижу: встречно идет мальчик, школьник, бодро встряхи-

вает ранцем за плечами. И я узнал его: сын Юры Трифонова, такой же, как у него, близорукий, зату-маненный взгляд, когда, бывало, Юра снимет очки.

Как бодро шел он под дождем с прилипшими к мокрому лбу волосами, шел, о чем-то думая, и легок, весел был его шаг. Вот он уже открывает калитку...

ПОКА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ

Не знаю, как другие, но я своим детям, особенно когда они были маленькие, а сына, мальчика, война должна была интересовать, я про войну не рассказывал. Почему-то не мог. Виноватым вроде бы мне себя чувствовать не в чем, и нечего стыдиться. Просто не мог, в ясные, чистые, доверчивые детские глаза глядя, рассказывать про войну.

А однажды — сын тогда учился в четвертом или пятом классе — призван я был в школу по случаю Дня Победы и, повинаясь родительскому долгу и указаниям учительницы, надел немногочисленные свои наградные колодки, они-то более всего меня стесняли, вроде бы выставляюсь, и мальчик спросил: «Дядя, вы — ветеран?». Вот так впервые применительно к себе услышал я это слово, мне еще сорока не было.

Что хотел и мог, я рассказал в книгах. Книги — свидетельство о времени великом и страшном, когда решалась судьба нашей родины; каждый, кто участвовал, знал, помнит, обязан оставить свидетельство. На той войне, на Отечественной, не всем выпало совершать подвиги, даже не всем тем, кто способен был и мог, не каждый и до фронта доехал, воинские эшелоны, как, впрочем, и гражданские, бомбили и в тылу, но все вместе — и герои, и не герои, — все вместе спасли родину в годы небывалого нашествия. И тех спасли, кто ныне живет, получив жизнь в подарок, и за делами своими и заботами по-

вседневыми так и не нашел в себе желания и времени хотя бы предать земле кости павших на полях былых сражений; их втягивают в себя болота, мхом заросли они в лесах, и в том их погребение, да ветры укрывали пыльными бурями. Но нет-нет и поныне еще выпадет плуг человеческие кости. «У нас любить умеют только мертвых...». Это про великих сказано, про именитых. А рядовые? Есть ли еще на земле страна, где бы так относились к павшим воинам?

Вот пишет мне человек 53-го года рождения, не такой уж молодой, но явно сбитый с толку национал-патриотическим кликушеством последних лет. Он не хочет меня обидеть: «Вы — один из моих духовных пастырей. До церкви нас не допускали, так что нравственно воспитывались мы на книгах. Воспитались мужчинами, защитниками Родины». А дальше — про границу: «Все чаще печатают вести об актах вандализма на захоронениях наших солдат. Вам бы заступиться, Григорий Яковлевич, за память о погибшем солдате. Позаботиться о том, чтобы перенести останки на родную землю, пока еще есть что переносить».

Сам он из Старой Руссы, в 42-м году я воевал в тех местах. Там столько непохороненных! А вся 2-я армия, которую Власов предал, — кости и черепа тысяч и тысяч в районе Мясного Бора... Это туда из-за границы переносить останки? Знаю, знаю, что прах миллионов, погибших в фашистских лагерях — и солдат войны, и никогда не бравших в руки оружие мирных жителей, и детей малых, — развеян по полям Европы, втоптан в землю. Но там, где есть кладбища, в том числе в Германии, они сохраняются в образцовом порядке, нам бы так научиться. У нас же в лучшем случае — символы, всем сразу: горят вечные огни неведомо над кем, и, как бездомные, возлагаем к ним цветы, не нашлось на просторах нашей родины места для родных могил. А кое-

где огни эти уже погашены: дорог нынче стал газ, дороже памяти об отцах и дедах.

Пока мы были молодыми и мыслями все еще там, на войне, словно она не кончилась (это не просто — вернуться в мирную жизнь, многим в ней места не нашлось), бывало, соберемся, выпьем, и если пойдут разговоры, так все больше смешное что-либо вспоминалось: то ли будоражить в себе не хотелось главное, а может, из простого чувства застенчивости. И дух вольности жил в нас, цену, что ли, начали себе сознавать? Вот это, как мы после убедились, более всего ненавистно оказалось «отцу родному», которого мы всенародно славил: рабами управлять легче.

Впрочем, доводилось мне слышать и героические рассказы. Но странная закономерность: как правило, это рассказывают те, кто был далеко от фронта, немца видел разве что в бинокль, а чаще всего — охраняемого, пленного. Окажешься в таком обществе и чувствуешь, что ты вроде бы и не воевал.

Конечно, в 41-м году и фронт, и глубокие тылы нередко постигала общая участь, всех вместе, и тыловиков, и окопников, случалось, гнали по дорогам в общих сборных колоннах, немцы, сознавая себя победителями, даже и не очень-то их охраняли: тысячи, десятки тысяч, миллионы пленных, обреченных. Но под конец войны... Мне как-то довелось читать воспоминания комиссара, верней — замполита дивизии или бригады всего лишь. Был он в ту пору уже директором Свердловской киностудии, мы были знакомы, оказались одновременно в Доме кинематографистов в Болшево, он попросил, я не смог отказать, читал. А он рассказывал спроста, как они жили на войне, на каких сервисах ели-пили как раз в ту пору, когда шли тяжелые бои за Вену, как им австрийки прислуживали. И все это как будто так и

надо, хозяин жизни писал. Никогда уже он больше так не жил, как на войне. Да он ли один?

А вот в той же Вене. Бой в городе идет, заскочили мы в особняк, внизу, в холле (я и слова этого тогда еще не знал), — убитые лежат, и немцы, и наши. А по деревянной лестнице наверх — очередь пехотинцев. И все какие-то нетерпеливые, жаждущие. Там, наверху, — женщина, к ней и стоит по лестнице очередь. Артиллерийские разведчики тут же начали оттеснять, отпихивать пехоту, не для чего-либо, а чтобы самим вперед стать, уже за автоматы хватаются. Все же удалось отогнать и тех, и других. И видел я и всю жизнь это вижу, как она вышла. Была это не австрийка, наша, угнанная в неволю: эшелонами гнали в Германию, в Австрию — восточных рабов. И вот со своими повстречалась. Она вышла на эту площадку лестничную наверху, юбка сзади тяжело отвисшая, мокрая, скользкая — этого я забыть не могу.

Те, кто был на войне, всего про войну не расскажут. И не надо. Я тоже немало из того, что видел и знаю, унесу с собой.

Но вот прошли годы, десятилетия, целая жизнь минула, и, глядя отсюда, хочу сказать: не судите этих людей по меркам мирного времени. Да, не все даже война списывает, тогда и я готов был в эту очередь из автомата стрелять, а сейчас говорю: не судите. В том нечеловеческом деле, которое называют войной, даже нормальные люди звереют. И не всем, нет, не всем удастся сохранить себя, остаться человеком. Хорошо, если хотя бы потом покаяние очищает душу. Но это — твою душу. А жертвы?

ВАСИЛИЙ ШУКШИН

Ныне столько сказано, столько написано о Шукшине, разысканы и печатаются его неоконченные или отложенные до времени вещи, которые сам он не

печатал при жизни, что вспоминаются слова бунинского завещания: «Умоляю... не искать и не печатать моих стихов и рассказов, рассеянных по разным газетам и журналам и никогда не введенных мною в издание моих книг...».

Вершиной Василия Шукшина была «Калина красная», вершиной были те рассказы, которые при жизни увидел он напечатанными. Надо ли заслонять их тем несовершенным, что лежало, ждало своего часа?

При его жизни мы никогда не были лично близки, а встречались по разным причинам не однажды. Году что-то в 60-м возникло на «Мосфильме» объединение писателей и киноработников, так оно называлось. Это было время, когда разукрупнялись министерства, веяние докатилось до студии, и здесь тоже было образовано как бы несколько маленьких студий, имевших свои полномочия и права. Не впервые за нашу жизнь что-то разукрупнялось, что-то сливалось вновь. Так во время войны по несколько раз перешивали железнодорожную колею: займем местность — перешиваем колею на широкую, выбьют нас немцы — вновь перешивают на узкую. Потом опять мы расширяем.

Так вот, возникло новое объединение на «Мосфильме», и среди окончивших ВГИК, кого мы особенно привлекали, был Шукшин. Собирался он ставить один посредственный сценарий, собирался с неохотой. Придет, бывало, сидит на диване — был такой желтый плюшевый диван в комнате, — слушает, что говорит ему автор, вроде бы соглашается радостно, глаза думающие (но это — для автора: он был прекрасный актер), а взглядеться поглубже — томящиеся глаза.

Сейчас может показаться странным: Василию Шукшину предлагают посредственный сценарий, и он почему-то должен его ставить. Чужой сце-

нарий, а не свой... Но он тогда не был тем Шукшиным, которого знают теперь: и фильмов своих не поставил, и рассказов своих не написал, во всяком случае, не обнародовал. До зрелости мастера нужно было еще целую жизнь прожить, не утратив того, что в нем уже было.

Все же ставить тот фильм он не взялся. Когда у человека есть дар в душе, есть и то, что этот дар оберегает, не дает растратить по мелочам. Если б всегда остерегалось!

Спустя года два или три встретил я его однажды утром в трамвае: я вошел на остановке, он уже сидел у окна. Поздоровались. Был он с утра какой-то озябший. И не потому, что стояла осень. Все поводил плечами, будто спина зябла. Лицо несвежее, хмурое, руки в карманах пальто держал. И говорил о том, что вот никак не прописывают в Москве, что жить негде... Помочь ему я не мог, но у меня уже было жилье, а тут хоть и не виноват, виноватым себя чувствуешь. Оттого и разговора не получилось.

А последний раз видел я Шукшина вот как: позвонила Лидия Николаевна Федосеева, позвала нас с женой на просмотр «Калины красной». Ее еще только должны были принимать. Шукшин лежал в больнице, у него обострилась язва: конец фильма — это и силам конец, тут сразу все хвори набрасываются.

Не помню, чтобы какая-нибудь картина тех лет поразила меня так, как поразила «Калина красная». Вышли мы в коридор, сероватый после яркого света, зажегшегося в зале. А в коридоре у дверей — Василий Шукшин: убежал из больницы, стоит, ждет. Лицо нездоровое, похудевшее, щеки запали, жесткие, словно небритые, с тенями от скул: свет был верхний. Сергей Залыгин первым увидел его, обнялись, и у всех у нас слезы на глазах.

Удивительный это фильм. Многое можно в нем опровергнуть или, наоборот, объяснить, что и почему хорошо. Не объяснишь только, почему он так очищает душу. Да и нужно ли объяснять? Подлинное искусство — это всегда чудо. Потому и необъяснимо, неповторимо оно. Не только окружающую жизнь, но и себя понять, себе что-то важное объяснить хотел человек; без этого не бывает искусства. Со стороны тут вовсе не видней. Свое открытие мира художник делает сам, он один.

О фильме «Калина красная» писали много, обсуждали во многих аудиториях, словно ждали этот фильм, дождались. В одном таком обсуждении в журнале «Вопросы литературы» участвовал и я. Искусство, как жизнь, каждый понимает по-своему, если вообще способен понять. А есть люди, от природы лишенные слуха, самую простую песенку спеть не могут, но тем уверенней судят и пишут о музыке.

Вот из Бунина, из его статьи «Думая о Пушкине»: «После завтрака перечитываю «Повести Белкина» и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно, в сад, и долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из этой напряженной, беспорядочной, нелепой и восторженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствую бесконечное счастье от принадлежности к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней...».

И — далее, в связи с вопросом: «Каково было вообще его воздействие на вас?» — Бунин пишет: «Да как же это учесть, как рассказать? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее

небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так особенно — с самого начала моей жизни... Вот я радостно просыпаюсь в морозный день, и как же мне не повторить его стихов, когда в них как раз то, что вижу: "Мороз и солнце, день чудесный..."».

«Да как же учесть, как рассказать» обо всем, что дает нам искусство, что вбираем мы в себя большей частью даже неосознанно, когда читаем Пушкина, Толстого, сказки Андерсена? Какова доля искусства в том, что мы научились видеть и понимать мир, любить свою родину? И нужно ли, можно ли сводить воздействие искусства к чему-либо одному, полезному и практически годному?

Неосмысленными глазами, в которых мир перевернут, мы еще не видим своей матери, но уже согреты ее теплом. Не уча, а только любя и радуясь, она закладывает в нас человеческое. Вот так и искусство, которое «со мной — и так особенно — с самого начала моей жизни...».

Однажды в ВТО, то есть в зале Всероссийского театрального общества, был вечер, и в числе выступавших Солоухин читал свои стихи, посвященные защите природы, и то ли в стихах своих белых, то ли в речи известил слушателей с большой долей самоутверждения, что он за свою жизнь никого не убил. И раздались аплодисменты. По логике происшедшего, по всему этому внезапному одушевлению, мне надо было почувствовать себя неловко: все четыре года войны я был на фронте, а на фронте, как известно, затем и берут оружие в руки, чтобы убивать. И я подумал, что если бы во время войны человек моего поколения, то есть призывного возраста, сделал бы такое гордое заявление в прозе или в стихах да еще с трибуны, это бы совсем по-другому встретили. Во время Отечественной войны считалось, что для мужчины, для человека

достойное дело — не в тылу быть, а на фронте. Просто зал в своем гуманистическом порыве спутал времена.

Но можно ли искусство отделить от времени? В высших своих проявлениях оно становится вечным, но временным — никогда. И в искусстве всегда больше того, что сказано.

Наверное, дней десять я был под сильным впечатлением фильма Василия Шукшина и вряд ли вообще его забуду. И хотелось мне, чтобы и другие испытали ту же радость, которую дала мне «Калина красная», хотя, казалось бы, слово «радость» тут неуместно, фильм трагический.

После обсуждения «Калины красной» в журнале «Вопросы литературы» я неожиданно стал получать письма. Меня строго упрекали: вот, мол, мы читаем ваши книги, а вы кого же защищаете? Вора? Что, у нашего кинематографа других героев нет? Один мой читатель прислал пространное письмо, несколько строк оттуда я приведу: «Такое совпадение: перечитывал «Июль 41 года», а тут принесли «Вопросы литературы»... О «Калине красной» мне рассказывали москвичи — их здесь много. Мужчины говорили весьма общо, женщины определенно: фильм отвратительный. Любопытно, что первой такую оценку дала ученица 9-го класса, видевшая по телевизору отрывки фильма». Автор письма не видел фильма, но высказывается определенно: «Еще раз убедился, что самые не знающие преступного мира люди — писатели, очеркисты и... прокуроры, следователи, доктора юридических наук... пишущие о нем со слезою гуманности... Это даже не шлак, а человеческая популяция неизмеримо худшая. Прав Чехов — люди эти не интересны, как их преступления. Трагедии здесь нет».

Вот так, обо всех — разом. Валяй всех! И пишет это, по всей видимости, начитанный человек,

приводит десятки имен: и Диккенса, и Глеба Успенского, и почему-то Петрова-Водкина. Он и о Шукшине заботится: «Что Шукшин талантлив — это известно по его игре и рассказам... А если ему настойчиво говорить, что он художник, произведения которого заставляют «испытать радость», что он затронул «мировую тему», то у него закружится голова».

Но уже ничья забота в то время ему не была нужна: Василий Шукшин начал свой путь, отдельный от тех, кто остался жить. Еще не пускали в Дом кино, а на улице, сдерживаемая милицией, выстроилась долгая очередь ко гробу; за несколько часов, что были отведены, не все успели пройти.

В огромном фойе напротив парадной лестницы, по которой столько раз в своей жизни он подымался, был установлен гроб. Привезли мать. Поразительно он был похож на нее лицом.

Случилось так, что заранее приготовленные микрофоны забыли выключить. И когда мать запричитала над ним в голос и отдалось во всех динамиках, стало жутко. Она все спрашивала: «Где у тебя болит, сыночек? Где болит, скажи, где?..».

Потом детей привели за руки — двух девочек. В одинаковых курточках с откинутыми капюшонами, они бойко шли по лестнице вверх. Уводили их веселых. Не знаю, так ли это, но говорили, что они не поняли, куда их привели, зачем? Они уже снимались в фильме вместе с отцом, возможно, думали, что это — съемка.

После смерти Александра Трифоновича Твардовского ничья смерть не подействовала на меня так сильно, как смерть Василия Шукшина. Мне позвонили из журнала «Искусство кино», попросили написать некролог, и я написал, что думал тогда и чувствовал:

«Василий Макарович Шукшин умер в сорок пять лет, сделав лишь часть того, что он хотел и мог. Но сделанного им хватило бы на несколько жизней.

Уже не сыграть ему Степана Разина. Многие годы он готовился к этой работе, носил в себе мечту. Что уж теперь гадать, но я убежден, если бы он поставил этот свой фильм, то как Чапаев стал для нас таким, каким увидели мы Бабочкина с экрана, так же точно и живой Степан Разин для миллионов и миллионов стал бы неотделим от Шукшина. Он словно рожден был для этого подвига.

Могучий талант жил в этом человеке. И могущая страсть.

Написанные им сценарии могли бы сделать славным имя кинодраматурга, который останется в истории кинематографа.

Сыгранных им ролей вполне хватило бы для прекрасной актерской биографии. Какой же он молодой, с пушистыми усами, в фильме Марлена Хуциева «Два Федора». Но это уже — Шукшин. И какого зрелого, жесткого, горького, какого умудренного жизнью увидели мы в его последнем фильме — «Калина красная».

За гробом Шукшина среди стольких цветов несли ветки осенней красной калины.

Страшно сказать, но фильм этот оказался пророческим. Мне все видится последний кадр, как Люба топит баню, смотрит на огонь, такая созревшая для долгой замужней жизни; смотрит на огонь, а голос Егора Прокудина говорит ей, что все хорошо у них будет... Неужели нет больше голоса этого, чуда, которое он нес в себе? В сущности, его ведь не с кем сравнить, Василия Шукшина. И это в нашей литературе, где столько ярких дарований, в нашем кинематографе. Он был самим собой. Редчайший дар: быть и оставаться самим собой, единственным.

Кому он подражал, хотя бы в первых своих рассказах? Просто даже не назовешь такого имени, хотя, конечно же, вся великая русская литература, ее бессмертные традиции стояли за ним. Только на них и мог вырасти такой самобытный талант.

Если говорить об искусстве Шукшина, то удивительная его сила как раз в том, что искусства как бы и нет вовсе. Как будто это — сама жизнь: так просто все, так естественно, так свободно рассказано, словно бы между прочим. Многим и казалось поначалу, что это не всерьез. Чего-то привычного не хватало. Монументальности? Многозначительности? Позы?

Истинный талант не спрашивает: как нужно? как можно? Он прокладывает свой путь. По этому пути еще пойдут, ему будут подражать. Только второго Шукшина не будет. Вот уж где не было ни позы, ни словечка фальши. Только правда. Глубокая правда жизни, рассказанная просто, со смехом, а то и простовато. Это дорогая простота, которая под силу только подлинному искусству. Это мудрая простоватость.

Василий Шукшин ввел в искусство целый мир людей, будто со всей своей деревней вошел в литературу и на экран. Имя этой деревни — Россия. Спасибо ей, спасибо матери, которая родила такого сына. И как рано она потеряла его.

Только ли потому писал Шукшин о самых простых людях, что их одних он знал? Нет, жизнь от низу до верха открылась его глазу и пониманию. Но он знал, что и самая простая жизнь и боль ее не меньше ничьей боли:

«Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте:

«Емельянов Ермолай ...вич».

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю — стою над могилой, думаю. И дума моя о нем — простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю иначе! Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?».

Он не додумал до конца эту простую свою думу, которая не оставляла столько великих умов. Быть может, не успел додумать: оборвалась жизнь. Она оборвалась на самом взлете, в самой яркой точке. Теперь уж точно: в самой яркой. А какая была бы ярче ее, какая высота была под стать и под силу Василию Шукшину, этого мы не знаем и не узнаем никогда.

Плохо пережить самого себя. Но еще горше, еще несправедливей, когда умирает человек в расцвете сил, в расцвете такого несравнимого таланта, который в стольких проявлениях искал выхода и одаривал, одаривал людей.

Он не был обойден при жизни ни признанием, ни любовью, этот истинно народный художник. И все же только смерть показала, кого мы потеряли».

КРУГ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БРАТСТВА

Пасмурным осенним утром, каких в Ленинграде в эту пору больше, чем ясных дней, поезд наш «Красная стрела» прибыл на Московский вокзал. Из мелкого моросящего дождичка, из серого с копотью ту-

мана въехал мокрый состав под крышу перрона, в свет электричества, как в солнечный день, и замелькали за окнами на сухом асфальте носильщики с тележками, встречающие — все это замедлялось, оставлялось, стало.

Уже по другую сторону перрона стоял такой же нарядный состав красных вагонов с занавесками на окнах, прибывший по расписанию за четыре минуты до нас; проводницы в высоких шапках, в черных юбках, белых блузках и черных форменных жакетах выстроились у дверей, последние пассажиры выходили, откланиваясь. В нашем вагоне побритые и попившие чаю командированные нетерпеливо теснились в коридоре с портфелями, «дипломатами» в руках: из Москвы в Ленинград, из Ленинграда в Москву ездят теперь налегке. Наконец и наша проводница вышла, обтерла тряпкой поручни, стала у дверей, и двинулись мимо нее пассажиры.

Вслед за дамой, прямо из тамбура с радостными восклицаниями попавшей в букет роз, я тоже вышел на перрон. Мимо, упираясь ногами в асфальт, носильщики рьяно катили перед собой горы заграничных чемоданов, клетчатая толпа туристов, обвешанных фотоаппаратами, сопровождала их, громко разговаривая по-английски. Они шли во всю ширину перрона, и по мере того, как проходили мимо состава, открывалось: группа военных перед дверью вагона, все цвета хаки, ожидают выхода начальства; группа священнослужителей, все в черном до пят, ожидают выхода своего начальства.

Офицеры вдруг разом взяли под козырек; в соседних дверях пред смиренно склонившимися головами явились белые руки на черном и массивный золотой крест.

На площади перед вокзалом блестели под дождем две группы новых черных машин. Стоя на ступеньках, я соображал, как проще мне ехать в гос-

тиницу, и тут мимо меня прошел человек в демисезонном пальто с поясом: один конец его был сунут в карман, другой болтался свободно. Он шел без шапки, нес под мышкой блок болгарских сигарет «БТ», клок рыжей бороды торчал на сторону. По этой рыжей, будто не своей бороде, по обожженному лицу я узнал Сергея Орлова. Шел он хмурый, то ли невыспавшийся, то ли задумавшийся под мелким моросящим дождичком. Себя со стороны не видишь, как видишь других, и в мыслях ты все еще моложе, чем есть на самом деле. Наверное, это и потому еще, что на фронте — и солдатами, и офицерами став — мы были самые молодые: год рождения 21-й, 23-й, 24-й... И как-то так укоренилось в сознании, что старшие офицеры не только званием, но и годами непременно старше тебя.

А время шло, и вот уже старшие офицеры, ожидавшие сейчас на перроне выхода начальства — майоры, полковники, подполковники, — все они по годам моложе нас. И планки их, украшающие грудь, — это послевоенные медали и ордена, выданные к датам. Словом, как в том стихотворении Орлова: «Когда это будет, не знаю, / В краю белоногих берез / Победу девятого мая / Отпразднуют люди без слез. / Поднимут старинные марши / Армейские трубы страны, / И выедет к армии маршал, / Не видевший этой войны...». Все почти так, только Победу девятого мая еще не празднуют у нас без слез.

Если бы от всего, написанного Орловым, осталась только эта строка — «Его зарыли в шар земной...», — то и тогда можно было бы сказать, что и послевоенная наша поэзия, и поэты его поколения многим ему обязаны.

Кто-то первый сказал: «Я бы с ним не пошел в разведку». Сказано было без позы, просто: человек еще мерил мерками недавних в памяти лет. И многие спохватились: так удачно сказано, поче-

му же это не мое? И пошло из книги в книгу, из пьесы в пьесу: «Я бы с ним не пошел в разведку!...». И особенно рьяно восклицали те, кто и во сне туда не ходил.

Была годовщина Победы, и в Доме литераторов в Москве был устроен литературный вечер, на котором с воспоминаниями выступали бывшие фронтовики. На войне осталось больше, чем вернулось с войны. «Самые отважные солдаты были те, что не пришли домой», — сказано у Орлова. И на таком вечере, конечно же, следует говорить в первую очередь о тех, кто не вернулся; о них есть что сказать, а скоро уже сказать станет некому.

Но когда со сцены перед большим собранием людей выступают поэты, вольно ли, невольно возникает некое соревнование, соперничество, слушатели сравнивают, оценивают, кого-то награждают аплодисментами. И уж совсем в эстрадном духе был представлен молодой поэт, который к победе имел только то отношение, что родился 9 мая 1945 года. В зеленом замшевом пиджаке он вышел на сцену.

Наконец была очередь Сергея Орлова. Уже прозвучало немало настоящих стихов, но, как говорится, след первой телеги ведет за собой все остальные, и поэты фронтового поколения, средний возраст клонился к пятидесяти, один за другим читали либо ранние стихи, либо те, в которых говорилось, что они по-прежнему — в строю.

Вот в этой подогретой атмосфере председательствующий поднялся и взволнованным голосом стал рассказывать о том, что Сергей Орлов в 44-м году, когда в атаке подбили его танк, предпочел сгореть заживо, но не сдаться врагу. Зал зааплодировал, хлопали проникновенно и долго, а он, уже выйдя читать стихи, застигнутый этим рассказом о себе, внезапным одушевлением зала, стоял на трибуне и

терпеливо ждал, помаргивая голыми веками, в явном смущении трогая рыжую свою бороду, которую он отпустил для того, чтобы скрыть часть шрамов, стянувших на лице глянцевою после ожогов кожу. Вот что он прочел в тот раз после аплодисментов, которыми встретили его:

*Мы говорим, задумываясь редко,
Что время беспощадное течет.
Как на войне — с кем бы пошел в разведку? —
А думать надо: кто с тобой пойдет?*

*Да, так и было. Встанешь с автоматом,
Кисет за пазуху и на народ.
И говорилось: — Кто со мной, ребята? —
И добавлялось: — Два шага вперед...*

*Все меньше, меньше остается рядом
Товарищей хороших и друзей
Не потому, что падают снаряды
Давно на территории твоей.
Скорей всего, что ты не тот, который
Когда-то был, и в этом вся беда.
Металл заржавел, порастрачен порох,
И незачем ссылаться на года.*

*Крутые горки укатали сивку —
Не поговорка, мука — поделом.
Ах, не в разведку, в юность на побывку,
И запастись бы верой и теплом.*

*Тогда бы можно и не хитровато:
— С кем я пошел бы? — молвить в свой черед.
А очень просто: — Кто со мной, ребята? —
И помолчать. И два шага вперед...*

Не раз я слышал от поэтов, что, мол, читают они свои стихи так, как пишут их и слышат сами, стремясь передать музыку, смысл, страсть. Чаше все же наоборот: чем холодней стихи, тем сильней

взвинчивает себя поэт, и страдает, и завывает с эстрады.

Сергей Орлов читал просто, без внешних эффектов. Это было раздумье о себе, о прожитой жизни, о сверстниках. Из всего, что я слышал в тот вечер, остались в памяти эти его стихи и то, как он их читал.

В Театре на Таганке Юрий Любимов ставил нашу с ним пьесу «Пристегните ремни!». Время действия в ней разделено тремя с лишним десятилетиями, все относящееся к предвоенным годам, к годам войны, взято из моих книг «Пядь земли» и «Июль 41 года», и люди на сцене возникали в разные периоды своей жизни, в разном качестве. Пьеса проходила сложно, приемка спектакля все откладывалась, и о пьесе уже говорили. На один из прогонов пришел Сергей Орлов. К тому времени он переехал в Москву.

После спектакля мы поднялись на второй этаж в кабинет Любимова. Разговор под свежим впечатлением шел несколько сумбурный, были похвалы, но нам было интересно в первую очередь послушать людей, с чьим мнением мы считались, послушать — не значит соглашаться, но вдруг что-то и пригодится. Однако больше и горячее всех говорил режиссер Карасик. Человек полнокровный, красивой внешности и несокрушимой бодрости духа, он обхватил носками ботинок ножки кресла, высоко подтянул тонкие брюки на коленях, так что всем были видны его глянцевые от загара ноги, и говорил, говорил с бутербродом в руке, и все — о своем фильме. Едва разговор начинался о спектакле, он перебивал и вновь рассказывал, как от него что-то требовали, к чему-то склоняли, но он ни в чем не уступил. Орлов, сидевший на диване, поднял голову, глянул на режиссера:

— Так это ваш фильм?

Тот всей душой подался навстречу:

— Мой!

— Не понравился мне фильм.

Режиссер смешался, заговорил о том, что у него было лучше, но испортили... На него было жалко смотреть. Но Орлов покачал головой, не представляя себя на его месте:

— Стыдный фильм.

Он как-то сказал: «Чем дальше от войны, тем больше обнаруживается ее участников». Он не был ни остроумцем, ни циником, и не из тех он был, кто ради красного словца не пожалеет ни матери, ни отца. Совсем иной склад души. Но, вникая в суть вещи, думая о людях и о происходящем, о человеческом достоинстве и суете сует, он сказал емко и точно. И все чаще, чаще в его стихах — «друзей погибших молодые лица» и молодость поколения:

*...За пятьдесят товарищам моим,
Им некуда от времени деваться,
Лысеющим, стареющим, седым.
А мне все кажется,
Что им по двадцать.
Гляжу на них и вижу те года,
Где шли они
Во всей красе и силе,
Когда была Россия молода
И судьбами ее
Они вершили.
Там в кирзовых планшетах
Вся она
Лежала поквадратно на двухверстках.
Коричневая, желтая и зеленая,
Им во владенье отдана
По горсткам.*

ЖИЗНЬ, ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

«Я люблю рыбную ловлю, — писал он. — День Победы встретил на Белом озере, в устье реки Ковжи, на рыбалке. Ни одна травинка не колыхалась, река и озеро сливались с чистым небом — так было тихо. Вместе с встающим солнцем из озера пришла лодка. По воде далеко слышно, и до нас долетел приглушенный дально крик с лодки: «Эй, что вы сидите! Кончилась война!». Мы глянули на огромное солнце за лодкой, не смежая век, и заплакали, не потому, что на солнце нельзя смотреть без слез».

Ему было тогда двадцать четыре года. Уже год, как его демобилизовали по инвалидности. Впереди — вся жизнь.

Был август или конец июля. В Москве стояло дождливое лето, среди бледных, незагорелых москвичей человек, приехавший с юга, был замечен сразу.

Я шел вниз по улице Герцена, подхожу к Дому литераторов, стоит Сергей Орлов в плаще, лицо, освеженное загаром. Он возвратился из Крыма, куда возил внука «пасти». Дед он был удивительный. Кто рано стал отцом, еще не готовый к отцовству, тот нередко внукам возмещает сразу все: и отцовской, и дедовской любовью.

И вот, приехав с моря, из Крыма, соскучась по Москве, он пришел в свой клуб, пообедал и стоял, ждал кого-то. Мы поговорили недолго, и я ушел. Не знал я, что вижу его в последний раз, не мог думать, что скоро из этих дверей, у которых мы стояли, понесут к машинам венки впереди гроба.

Мне позвонила рано утром его жена Виолетта, я только сел работать:

— Ночью умер Сережа.

Хоронили его с воинскими почестями. Молодые солдаты стояли в почетном карауле, молодой

капитан командовал. Траурные марши, речи, приглушенное бряцание оружия, шаг сменяющихся караулов. Есть строки у Михаила Дудина: «Кончается наша дорога — дорога пришедших с войны...». Вот об этом же думал и я: о нем, о тех, кто ушел ранее, о тех, кто скоро уйдет.

Посмертно были напечатаны его стихи разных лет и среди них — «А мы прошли по этой жизни просто, / В подкованных пудовых сапогах...» И это:

*Остается небольшая малость:
Жизнь дожить без лишней суеты, —
Так, как в дни, когда она касалась
Ежечасно бешеной черты
И могла сгореть в одно мгновенье,
Может, тыщу раз на каждом дне...
Не пугаться, не искать спасенья,
Не питать надежду на броню...*

В дни, когда она касалась той черты, мы были молоды, а в молодости мир иной. Бывало, лопнешь на слух летящий снаряд — твой? мимо? — разорвался, просвистели осколки, а ты вскочил живей живого, и жизни тебе прибавилось, и рад: ее обманул! Все время рядом с ней, а верилось, что вся твоя жизнь впереди. С годами — иное. Уже с мыслью о смерти связана главная мысль: как жизнь тобою прожита?

Он прожил ее достойно, без суеты, не питая надежды ни на какую броню: ни в молодости, ни в зрелые годы.

СТАРЫЙ СТАРИЧОК

При Хрущеве построили эти особняки вблизи киностудии «Мосфильм». Построили, обнесли высокой каменной стеной, встала за стеной стража, и москвичи прозвали все это — «Заветы Ильича». Раскрывались, бывало, массивные железные ворота, и вы-

ЖИЗНЬ, ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

езжали длинные черные машины. И въезжали. И вновь наглухо закрывались ворота. В одной из этих черных машин с пуленепробиваемыми стеклами ездила бывшая ткачиха, член политбюро (или президиумом это тогда называлось?) Фурцева, а другая ткачиха, с Трехгорки, построенной еще купцами, лежала в роддоме, в районе Сретенки, в одной палате с моей женой — есть там такой старый родильный дом в глубине квартала, за новыми домами, многие поколения будущих москвичей вынесены оттуда на руках, прежде чем они сами, своими ногами пошли по земле.

Лето. Окна распахнуты на всех этажах, в каждом окне — женщины в халатах, временно сюда заключенные. Внизу, под окнами, — мужья и матери, перекликаются с ними, задрав головы. Но к этой ткачихе не муж приходил с передачами, а подруги.

— Мы к Пурцевой, к Пурцевой пойдем! — кричали они.

— А кто она, Пурцева?

— Ну — Пурцева! Не знаешь, что ли?

И все, кто приходил сюда проведать жен и дочерей, знали: ткачихе этой идти некуда, в общежитие с ребенком не пускают, хоть здесь, в роддоме, оставайся. Вот за нее и собирались ходатайствовать перед бывшей ткачихой, а в те времена, при Хрущеве и недолго после него, — она была первым секретарем Московского городского комитета партии.

Не знаю, кто помещался в соседних с Фурцевой особняках, все это были люди временные, хотя и всевластные, вспомнить нечем. Впрочем, у одного из них, то ли Беляева, то ли Аристова, я побывал. Покойный Федор Иванович Панферов, тогда еще — редактор журнала «Октябрь», повел нас, молодых, для поучительной беседы на Старую площадь. И вот то ли Аристов, то ли Беляев — говорят вам что-нибудь эти имена? — рассказывал нам в огромном ка-

бинете, где он кого-то сменил и где потом его кто-то сменил, о перспективах Сибири: какая, мол, там дешевая электроэнергия, как понастроят там повсюду теплиц, и будут в этих теплицах на сибирском морозе произрастать огурцы да помидоры, и окажутся они дешевле тех, что сами в южных краях растут под жарким солнцем, ими завалят всю нашу страну, а самолеты и пароходы повезут их в дальние и ближние страны... Мы же все тогда Америку обгоняли, задача была такая поставлена: обогнать в короткий срок. И на задних бортах грузовиков, где по трафарету нанесено: «Не уверен — не обгоняй», появились надписи мелом: «СССР» — «США». А на одном из писательских пленумов Ольга Берггольц, увидев Софронова, эту осалившуюся тушу, объявила громко: «Софронов по мясу, салу и яйцам уже обогнал Америку!...». А в кабинете на Старой площади грезили масштабно: даровыми помидорами завалить весь мир и тем доказать зримые преимущества социализма. Как же такому деятелю не построить отдельный особняк?

В конце улицы особняков, и тоже за каменной стеной, был Дом приемов. Там должно было состояться чествование Нобелевского лауреата Шолохова, мне прислали приглашение, и я решил пойти из любопытства. Впрочем, не только любопытство было причиной. Несколько месяцев подряд я писал повесть «Карпухин», никуда не ходил, не позволял себе даже в обед выпить стопку водки. А тут такой удачный повод подвернулся, пойду, авось не выбьюсь из рабочего состояния. И правда, хоть вернулся поздно, в пять утра стал под душ, голова свежая, сел работать, оставалась последняя глава. Ее в тот день и закончил. И даже не переписывал ни разу.

На прием я несколько опоздал, за огромными, уходящими в бесконечность столами уже ели-

пили, стоя, слышалось дружное жужжание ублаженных голосов. В ту пору на жителя Москвы в среднем приходилось в год что-то около ста тридцати граммов красной рыбы, истребленной стремительным нашим продвижением к светлому будущему. А на жителя страны — и того меньше. Но здесь, в огромном зале, на столах, сверкающих под электричеством, и семги, и лосося нежнейшей, и белуги, и севрюги — всего было вволю, и приглашенные жужжали над ними, чуть принижая голоса, когда очередной по списку оратор выходил к микрофону. Вот там, у почетного стола, который по обычаю ставят поперек, бродил невысокий седенький старичок с подстриженными седыми усами. Он плохо слышал и с тарелкой в руке, с надкушенным слоеным пирожком — в другой, близко подступал к оратору, глядел ему в рот. А поставит тарелку на стол, она тут же исчезает, и оглядывается он, как ребенок обиженный: где его недоеденный пирожок? Но рослые официанты с хорошей строевой выправкой тут же убирают посуду грязную. И он берет из стопки другую тарелку, опять надкусит, опять — огорчение.

Его и толкали, пробегая: молодые подросли, деловые, целеустремленные. Толкнут и не оглянутся: мол, не заметили. Он с опозданием оглядывается им вслед. Кто в армии служил, знает, как это не заметить офицера даже в малых чинах, не поприветствовать. «Меня не заметил? Я что, такой незаметный?». И вернет, и раз, и два заставит пройти мимо него, печатая шаг, неся ладонь у виска: меня не заметил!.. А тут, хотя и в штатском, маршал бродит с тарелочкой в руке. Про него не одна песня сложена: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет...». Из первых наших пяти маршалов только он и Буденный уцелели. А Егорова, Тухачевского, Блюхера объявили врагами народа, расстреляли, и он ко всему этому руку приложил.

Впрочем, жертвы прежде, чем стать жертвами, были судьями. Блюхер судил своих товарищей, маршалов и командармов, и они стояли перед ним, опозоренные, и он в глаза им смотрел. А по завершении кровавых дел, рассказывают, был приглашен на обед к Сталину и, отобедавший, сел в поезд, который увозил его на отдых, на курорт, к морю, к солнцу... Там, в поезде, его и взяли.

Наверное, это сладко было, все зная наперед, обедать со своей жертвой, с обреченным, который готов служить, да только служба его кровавая больше не требуется.

Так это было или не так — дела не меняет, всего мы не узнаем никогда, но и того, что знаем, — довольно. Жертвы сами создавали и укрепляли машину, которая в дальнейшем перемалывала их. А он уцелел, седенький старичок с подстриженными усами. Мы вырастали под его портретами. Сохранилась фотография четвертого нашего класса 7-й воронежской средней школы, случайно сохранилась, ее пересняли и прислали мне в подарок. Стриженные, сидим мы в три яруса — на полу, на стульях, на сцене, — а передние прилегли, как разместил фотограф, в стандартных позах, — и наши учителя на переднем плане почетно среди нас. А над сценой — два больших портрета: Сталин и Ворошилов с кожаной портупеей косо через грудь. «Климу Ворошилову письмо я написал: товарищ Ворошилов, народный комиссар, товарищ Ворошилов, когда начнется бой, пошли моего брата в отряд передовой...». Как для нас все было несомненно! Так ли несомненно было и для наших учителей, они пережили многих из своих учеников. Мне отчего-то жаль их, они ведь и другую жизнь знали, из нее вышли, другие понятия были им ведомы.

А вот рассказывают, как арестовывали Ковтюха, героя гражданской войны, с которого Сера-

фимович писал своего железного Кожуха: будто пришли его арестовывать, а он позвонил Ворошилову, с которым был на «ты»: «Я их тут держу под дулом пистолета. Положить их?». Но Ворошилов заверил своего боевого товарища: не сомневайся, мы разберемся. Как же Ковтюха потом били на допросах, как издевались над ним!.. Но и это, может быть, легенда: людям всегда хочется, чтобы трогательней выглядело, чем в жизни, легенды понятней, сами прилегают к сердцу. В самые кровавые годы Ворошилов был народным комиссаром, своей рукой визировал расстрельные списки, где было столько его товарищей, где были и люди, которым он завидовал.

Но вот сам не понимаю, как это получается, когда его толкали, пробегая, молодые, полные сил, устремленные в карьерные выси, а он, как обиженное дитя, оглядывался беспомощно, ища глазами недоеденный пирожок, мне жаль его становилось. А ведь уже знал я, как он боялся Берии, как готов был с ним вместе пойти на все, то ли за жизнь свою тщедушную опасаясь, то ли страшась, что прошлое откроется; как плакал, когда при Хрущеве причислили его к антипартийной группировке, но потом все же решили сохранить его, оставить символ, чтобы народ не разуверился.

Он прожил после того дня еще четыре года, столько же, сколько Отечественная война длилась. И как-то под праздник возился я на огороде, что-то сажал, и тут пришли сказать: Ворошилов умер, но чтобы праздника не омрачать, тело заложили в холодильник, а сам факт смерти пока что держат в тайне. Но минул праздник и выяснилось: жив.

Умер он поздней и похоронен был с почестями, и долго еще города и улицы назывались его именем.

НАВЕКИ — ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ

Как возникают книги? Ну, конечно, это происходит по-разному, я могу говорить только о своем опыте. Ехал я однажды в электричке и услышал историю о шофере, который задавил человека, вроде бы не был виноват, но судили его по всей строгости: проходила как раз очередная борьба с пьянством. В общем, как в лесу: бежит заяц, себя не помня. Что случилось, куда бежишь? Комиссия в лес прибыла, у кого пять ног, одну сразу отрезают! Так у тебя — четыре. Да-а, они сначала отрезают, потом считают.

Рассказ про шофера доносился издалека, под стук вагонных колес, сквозь голоса о чем-то спорящих, и я не все слышал, а что услышал, забыл. Но оказалось, не забыл. И как нарочно, стали попадаться похожие истории. У нас ведь так: если проводится какая-то кампания, допустим, борются с тем же пьянством, трезв ты или пьян, сиди лучше дома и не попадайся на глаза, пока все не стихнет. Вот и шофер этот (тот ли, про которого рассказывали, или тот, про которого думалось) попал под горячую руку, когда требовался свежий пример. И тут уж виновен, не виновен, значения не имеет: государственное мероприятие, на примере одного надо научить остальных.

Знал я и по фронту похожие истории, механизм действовал один и тот же, только там они — кровавы. Вот едет эшелон, везут маршевую роту. На каком-то полустанке, а то и вовсе в чистом поле — построение. Выводят одного, двух или трех бедолаг. Они уже без ремней. Зачитывают над их стрижеными головами приговор трибунала: дезертиры, пытались бежать из эшелона. Тут же расстреляли, закопали, движется эшелон дальше. А они никакие не дезертиры, ничего они не злоумышляли, выдернули

их, чтоб других припугнуть, чтоб никто бежать не вздумал.

Теперь люди научились чуть что в суды обращаться, ищут там свою поруганную честь, оценивая ее во столько-то миллионов: честь отныне имеет таксу. А прежде много получал я писем, и каждое второе — крик о помощи. Кому-то удавалось помочь. Но вот не идет у меня из головы этот шофер, которого я знать не знал, видеть не видел. И весь этот страшный механизм, с которым мы сжились и не замечаем, пока самих по затылку не стукнет. Понять и объяснить, как мы живем — это задача литературы, а не выдумывать нечто чрезвычайное. Беды наши просты, можно сказать — все они на виду, да только видеть мы разучились, усвоили главный принцип: тебя не выдернули, сиди и молчи.

Словом, история обычная, но тем-то и интересная, многое в ней сошлось. Как-то за городом вкапывали мы столб для калитки, глянул я на руки плотника, вот такие руки у того самого шофера, его руки. И лицо его встречать стал среди многих лиц, взгляд много натерпевшегося человека, вроде бы покорного судьбе, но нет, не утерявшего себя. А голос его временами так явственно слышал. Он для меня уже живой. Да и фамилия пришла, будто вспомнилось: Карпухин. И городок, где это происходит, и люди, которые судьбой его распорядились. Их огородные заботы, тихие летние вечера, когда можно посидеть на лавочке у калитки, покурить, глядя, как солнце садится. В общем-то все они неплохие в обыденной жизни люди, но самые позорные, самые страшные дела чаще всего совершаются при участии неплохих людей.

Начал я без определенной цели ходить по судам, смотрел, что и как там происходит. Запахи, лица. Особый запах у этих стен, у этих залов-клетушек, этих коридоров. Случалось, ночью проснешь-

ся вдруг от предошущения беды. Ничего вроде бы ни с кем из близких людей не случилось. И все равно, пока не выкуришь в котел отопления сигарету, не заснешь: я тогда еще курил. Казалось бы, уже все ощутимо, зримо, все есть, садись и пиши. А чего-то главного не хватало. Другой раз садишься к письменному столу, ничего еще толком не представляя, а оно само перед тобой начинает раскрываться, о чем и не подозревал даже. И в то же время есть у меня маленький рассказ, который я десять лет не мог написать, а потом написал мгновенно.

Но в этот раз еще вот что мешало: роман «Июль 41 года», который я начинал писать. У каждой книги, как я это называю, есть внутриутробный период, когда ты ничего еще про нее не знаешь, не чувствуешь ее, а она уже зреет. Было время, когда я совершенно не мог читать художественную литературу, читал документы, мемуары, разговаривал с людьми, которые знали, что происходило в приграничных районах перед войной, в первые часы войны, сами испытали это. Это были и рядовые люди, и военачальники, мужчины, женщины, очень интересна и точна детская память. Меня интересовали мельчайшие подробности. А за всем за этим стояла и судьба моего брата Юры, про него я ничего тогда не знал, да и сейчас знаю мало: он сам пошел в это страшное пекло 41-го года и погиб. Я не думал об этом писать, я хотел понять, как это было, когда и как начиналось, как следствия сами становились причиной и события обретали гибельный ход. И вот однажды читаю книгу, название которой вам ничего не скажет, и на одной фразе остановился. И, бросив читать, ходил из угла в угол, страшно взволнованный. Все вдруг само стало организовываться. Возник сюжет? Нет, это не сюжет, это нечто более значительное. Назовем это воронкой. Она втягивала в себя и события и людей, часто против их воли, пото-

му что логика событий значительней логики людей. И стала открываться последовательность, неминуемость того, что как будто и не замышлялось. И возникло ощущение, образ романа, к которому в дальнейшем стремишься, но достичь его не удастся никогда.

Короче говоря, я начал писать роман «Июль 41 года», быстро написалась первая глава, а дальше не пошло. Почему — не знаю. Чехов говорил, что к столу надо садиться совершенно холодным. Возможно — так. Я пробовал взять упорством, писал, переписывал по многу раз, но силой тут не возьмешь. Тогда я отложил роман и начал повесть «Карпухин». И тоже первая глава написалась легко, что называется, себе в удовольствие. А дальше — стоп. И вот две вещи начаты, и ни одна не идет. Тогда я начал вырезать палку, в детстве я это умел. Сажу на террасе и вырезаю и ни о чем стараюсь не думать. А вот когда не думаешь, оно само думается. И постепенно, постепенно вернулось главное. Сначала был написан роман «Июль 41 года», следом за ним — повесть «Карпухин».

Но повесть эту преследовал какой-то рок. Попросили у меня главу, напечатать в газете. Прочли, понюхали — нельзя: идет очередная кампания по борьбе с пьянством. И когда экранизировали повесть, вот-вот должны принимать фильм — снова началась кампания по борьбе с пьянством.

«Июль 41 года» пытались экранизировать не раз. Я даже как-то заключил договор с киностудией им. Горького, написал сценарий, но из разговоров с режиссером понял, что к моему роману фильм будет иметь весьма отдаленное отношение. И я вернул аванс. Тем дело и закончилось.

После повести «Пядь земли», повести «Мертвые сраму не имут», романа «Июль 41 года», после рассказа «Почем фунт лиха», по которому в

дальнейшем мы вместе с Марленом Хуциевым написали сценарий и он поставил телефильм «Был месяц май», я думал, что больше ничего о минувшей войне писать не буду. Да и брежневское мертвое безвременье не вдохновляло. Я занялся кино. Первый, самый неудачный фильм произвел на меня впечатление чуда: люди, которые некогда возникли в моем воображении, — вот они, на экране, как живые. Да такие похожие! Но изумление быстро прошло.

Хорошо было работать с Иосифом Ефимовичем Хейфицем. Мы познакомились с ним вскоре после того, когда на Каннском фестивале его «Дама с собачкой» и «Баллада о солдате» Г. Чухрая поделили первый приз. Хейфиц вернулся в Ленинград и заинтересовался одной моей работой. Мы мельком встретились на студии, а вечером — дома у Михаила Дудина и Ирины Тарсановой.

В Ленинграде была пора белых ночей. Мы ехали с Алексеем Баталовым на Кирочную улицу, и в странном свете не утра и не вечера я видел его в бороде, в которой он играл Гурова, разговаривал с ним и одновременно видел кадр, вернее — сцену, где Гуров и Анна Сергеевна сидят в Ореанде над морем на скамье.

Удивительна эта сцена. Поставлена и снята она не совсем так, как написал ее Чехов. Но передано главное: ощущение вечности. Дреmlют в упряжке лошади, гривы их влажны от росы, это чувствуется. Коленями на каменистой земле молится извозчик, повернув лицо на восход. И в шуме моря, в освещенных зарей древних горах, осыпавшиеся камни которых перетирают волны внизу, во всем — вечность.

Для меня, человека не театрального, а в ту пору еще далекого от кинематографа, было странно ехать с живым Гуровым белой ночью по пустым ка-

менным улицам. И в каменном подъезде, где раздался шум отъезжавшего такси, в поздний час был тот же сумеречный свет раннего утра.

Мы вошли. Хейфиц, смуглый от загара, седующий, в белом, ослепительно белом при электричестве воротничке, выглядел весьма импозантно. Загар, белый воротничок — все это, как подумалось мне, фестивальное, с берега Средиземного моря. Таким было первое впечатление.

Хейфиц временами надевал очки, в их выпуклых стеклах полосами отражалось электричество, он становился еще представительней. Позже я видел не раз, как, выбирая актера на роль, он вот так заслонялся очками, из-за блестящих притемненных стекол наблюдал человека.

А «Дама с собачкой» совершала свое, как бы отдельное от режиссера, шествие по экранам мира. Английская кинокритика признала этот фильм лучшим из иностранных фильмов, показанных в Англии в 1962 году. Журнал «Филм энд филминг» обратился к известным деятелям мирового кино с вопросом: какие десять фильмов взял бы каждый из них с собой на необитаемый остров? Десять фильмов были названы, и среди них — «Дама с собачкой». Международная конфедерация киноискусства отобрала за всю историю кино 31 фильм, оценив их как фильмы высшего качества. В их число вошли «Иван Грозный» С. Эйзенштейна и «Дама с собачкой» И. Хейфица. ««Дама с собачкой» является для меня благословением, как стакан оздоровительной родниковой воды после принудительного принятия перно в течение длительного времени», — писал Ингмар Бергман.

— Вам, писателям, хорошо, — говорил не раз Иосиф Хейфиц, когда мы уже подружились и работали вместе, — хотите — садитесь за стол, не хотите — не сядете. А я не могу не идти на съемочную

площадку: группа ждет, счетчик включен. А я не знаю, что завтра буду снимать, нет цельного ощущения.

Но шел утром, и работа начиналась, и дубль за дублем, и еще новый дубль. Пододев под пальто меховую безрукавку, поверх пальто — брезентовый плащ с капюшоном, натянув теплые сапоги, в восьмом часу утра Хейфиц уже на съемочной площадке. И так до позднего вечера на ветру, на морозе с красным задубевшим лицом. Вот так создается то, что в дальнейшем будет названо «благословением, как стакан оздоровительной родниковой воды». Вот так возникает этот загар, который при белом воротничке и галстуке выглядит курортным, средиземноморским.

Мы были связаны с Иосифом Ефимовичем Хейфицем почти двадцатилетней дружбой, подружались семьями. Вот одно из его писем: «Не писал вам целую вечность. Переписка с друзьями — роскошь для меня, идущего к финишу. Я в том состоянии, когда сон после обеда, чтение газет и соображения «что к чему» кажутся уделом счастливых нормальных индивидуумов. Картину заканчиваю, рассчитывая лишь на инстинкт и некоторый опыт. Через месяц-полтора, то есть к Новому году, покажу, что из этого вышло. Выбираю дорогу, как старый журавль, ведущий стаю по слепому пути предков. Более молодые машут крыльями позади меня». И еще письмо, когда он уже ставил фильм по Чехову, которого бесконечно любил: «А я скучаю по этим годам, по комаровским, пахринским вечерам, — писал он со съемочной площадки. — Но уже донашиваются в памяти образы той картины, которая прошла и начинает отдаляться».

Я благодарен судьбе, что встретились с Иосифом Ефимовичем Хейфицем, подружались, работали вместе. Но даже в самые лучшие минуты ме-

ня не оставляло чувство, что занят я не главным делом своей жизни, а как бы отхожим промыслом.

Фильм по моей повести «Пядь земли» ставили режиссеры Андрей Смирнов и Борис Яшин, они только что кончили ВГИК, это была их первая после диплома картина. Они порывались и сценарий написать, но хорошо хоть этого я им не дал, сценарий написал сам. Много лет спустя Андрей Смирнов скажет мне: «А фильм мы ваш, Григорий Яковлевич, пропили». Действительно, выпито за время съемок было много, я на неделю приезжал и смог в этом убедиться. Они оба были молоды, не все еще чувствовали и не все умели, но актеров подобрали хороших, Мотовилова играл Збруев, это была едва ли не первая его роль в кино. И дорого мне было то, что они старались показать войну такой, какой она была. Потому местом съемок выбрали плацдарм, с которого немцы пытались сбросить нас в Днестр и откуда мы в дальнейшем пошли в наступление, когда началась Ясско-Кишиневская операция. И окопы для съемок рыли на месте старых, засыпанных и заплывших окопов времен войны. В одном из них отрыли скелет. Он сидел, с давних пор сидел он, засыпанный землей, забытый. И был он, возможно, мой ровесник, зубы все молодые, крепкие. И может быть, видел я его в бою, знал, но вот мне уже — сорок, у меня двое детей, я прожил вторую, подаренную мне жизнь, а он остался здесь, навеки — девятнадцатилетний. Слова эти не сами пришли ко мне, есть поэма-плач Павла Антокольского: о его погибшем на фронте сыне. И там — «во веки веков — девятнадцатилетний».

Когда я писал повесть «Пядь земли», я был еще относительно молод, и все так живо было перед глазами, словно происходило вчера. А минуло уже двенадцать лет с тех пор, как война закончилась. Возможно, цифра эта, срок этот не случаен: книги о

Первой мировой войне, которые остались в литературе, тоже написаны на таком отдалении. И можно было бы объяснить, почему это так, но теория есть теория, я привожу здесь факты. И вот еще что любопытно: книги эти написаны от первого лица, написаны словно бы из самой войны. И оттого, что молодцы герои, авторы, перенесясь, перевоплотаясь в них — кажутся моложе своих лет. Многое они видят и чувствуют, как видели и чувствовали тогда, и эта абсолютная достоверность дала книгам долгую жизнь.

Но повесть «Навеки — девятнадцатилетние» я писал, когда мне было пятьдесят. Вячеслав Кондратьев в одной из статей назвал ее реквиемом. Возможно, это так. Я писал ее с отцовским чувством: моему сыну было столько же, сколько этим мальчикам, сколько мне в ту военную пору. И когда я писал повесть, я уже знал, я убежден был, что Второй мировой войны могло не быть. Но она была, она случилась, и с горечью, и с гордостью, и с болью я думал об этих мальчиках, об их молодых жизнях, которые они так бесстрашно отдали. И насколько же мир, который они собою заслонили, насколько без них мир стал бедней.

Во многих письмах, особенно письмах матерей, читал я, что вот такой и у них был сын, как Володя Третьяков, себя ради других не пожалевший. Горькие это письма: «Вечер. Заканчиваем посевную, я и дочь моя, инвалид. Радует июню, теплу. На Победу я услышала зозуленку, а вчера — соловейка. Вот тогда я особенно остро чувствую, что сына нет, и нет навсегда».

Я посвятил эту повесть «Тем, кто не вернулся с войны. И среди них — Диме Мансурову, Володе Худякову — девятнадцати лет», я взял к повести как благословение слова Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые!», и — взгляд совре-

менника и моего товарища Сергея Орлова: «А мы прошли по этой жизни просто, / В подкованных пу-
довых сапогах».

Повесть «Навеки — девятнадцатилетние» тоже была экранизирована, но мне никогда не хотелось посмотреть этот фильм второй раз, как, бывает, хочется заново перечитать любимую книгу.

...Примерно в то же время, когда вышла повесть «Навеки — девятнадцатилетние», в Театре на Таганке должна была идти наша с Юрием Петровичем Любимовым пьеса «Пристегните ремни!». Предшествовала ей моя поездка на стройку. Тогда начинали строить в Татарии Камский автозавод, будущий КамАЗ, я поехал посмотреть, написал очерк в «Литературную газету», я и до этого ездил на многие стройки: интересно было знать, что и как происходит в стране.

Очерк этот прочла заведующая литературной частью Театра на Таганке Элла Петровна Левина, дала прочесть Юрию Петровичу Любимову, и они стали уговаривать меня написать пьесу: театру требовалось и от него требовали что-то современное. Написать пьесу, честно говоря, мне уже давно хотелось. В дальнейшем одна моя пьеса шла в театре Вахтангова, инсценировка повести «Навеки — девятнадцатилетние» шла в театре «Современник», шли пьесы в нескольких областных театрах, но я не драматург, это особый жанр, мне это не дано. Например, мне хочется написать хорошую комедию, но что поделаешь...

Так вот, уговаривали меня, уговаривали, и я предложил Юрию Петровичу: поедemте вместе на КамАЗ, походим, поедem, посмотрим, а потом подумаем. И мы поехали. Было интересно, и выпито было немало с хорошими, интересными людьми под свежую уху. Однако, вернувшись и подумав, по-

няли, что если можем написать что-то, то не о самой стройке, а о нашей жизни, о нас самих, о прожитых годах, а часть сцен будет проходить на стройке.

Как-то стоим мы с Любимовым у меня дома у окна, говорим о возможной конструкции пьесы, она что-то не придумывалась. И тут я сказал, что вообще-то мне давно хочется написать пьесу, действие которой происходило бы в самолете. Что там будет, я пока не знаю, но уже то интересно, что — между небом и землей. И хотя вроде бы люди уже привыкли летать, для многих это стало повседневностью, а все же ощущение, что взлететь-то ты взлетел, а сядешь ли, это подспудно остается, хотя и виду не показывают. И оттого разговоры откровенней, чем на земле. Любимов тут же сказал: отдайте это нашей пьесе. Жалко. Ничего, ничего. Отдадите. И сразу стал фантазировать, какая будет чудная декорация: вид салона, настоящие кресла, по одному борту кресла опускаются, по другому поднимаются — полное впечатление виража. И пошло, и поехало. И даже название он придумал сразу — «Пристегните ремни!». Как после этого не отдашь? В общем, пьесу мы написали: обсуждали вместе, писал, разумеется, я. Потом читал вслух, потом опять все переделывалось. На худсовете читал Любимов.

Принимали пьесу трудно, начальство все в этом театре принимало через «не хочу». Об этом еще будет рассказано. Но вот приняли, пошел слух по Москве, и вдруг известили: лично Гришин пожелал увидеть спектакль.

В те, не столь давние времена, Гришин в Москве был человек всевластный: первый секретарь городского комитета партии, член политбюро, словом — Первый. Уже население Москвы подступало к девяти миллионам, жили здесь и люди, чьи имена войдут в историю народа, станут его славой и гордостью, но Гришин был — Первый. Так это говори-

лось на аппаратном языке, так мыслилось. Был свой Первый в Ленинграде, и в каждом городе и селе — Первый. И слово Первого — закон.

Стоят сейчас у метро «Тургеневская» в Москве какие-то вроде бы недостроенные здания. Затевалось что-то большое, но потом, как рассказывал мне архитектор, в макете показали Гришину, возможно, искали благорасположения. Тот прицелился взглядом — высоки. И, будто на его кровные строилось, усек мановением пальца наполовину. Они и стоят усеченные.

И вот он едет смотреть спектакль «Пристегните ремни!». Директор театра Дупак, в обязанности которого входило все знать и предвидеть, уверял, что члены политбюро имеют обыкновение посещать театры по средам, и упорно на среду вставлял наш спектакль. Каких уж милостей он ждал, сказать не берусь, но человек он был решительный, во время войны служил в кавалерии и в кинофильмах о войне играл эпизодические роли командующих... Я пытался втолковать ему, что ничего хорошего из такого посещения не выйдет, довольно и того, что народ ломится. В Театр на Таганке в те годы вообще было не попасть, за билетами записывались с ночи, а уж на премьеру съезжались известнейшие, влиятельные люди, ну и, разумеется, торговые работники в немалом числе. Это было престижно, этим в какой-то степени измерялось положение в обществе: зван на премьеру, не зван... Интересно было наблюдать, как в фойе перед началом прогуливаются гости, словно бы соизмеряясь ростом.

Пьеса же «Пристегните ремни!» шла с большим шумом, на нее стали привозить иностранные делегации: вот, мол, какое у нас свободомыслие. Что и как переводили им — не знаю.

Между прочим, достиг этот шум ушей Шелеста, бывшего Первого человека Украины, к тому

времени — пенсионера, то есть, по нашим меркам, канувшего в небытие. При Сталине в отношении «бывших» все решалось фундаментально и просто, если канул, так уж канул без следа: «Бубнов Андрей Сергеевич... 1 августа 1938 г. военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян... Рыков Алексей Иванович... 13 марта 1938 г. приговорен к расстрелу, расстрелян 15 марта 1938 года...». И всех, кто знал и близок был, и соприкасался, и соприкасался с теми, кто соприкасался, всех, как правило, заматали.

Это уж Хрущев, возможно свою судьбу предвидя, завел мягкие порядки: соратников не казнить, а со всеми удобствами отправлять на пенсию. Они вскоре и отправили его, а потом друг друга начали ссаживать с кресел, и вот бывший Первый Украины, как все бывшие, обрел место жительства в Москве, а не среди благодетельствованного им народа, который в праздники, ликуя, нес над собой многочисленные его портреты, омоложенные лет на пятнадцать, на двадцать, полагая простодушно, что на себя нынешнего, освинелого, и ему смотреть не захочется. И живой Шелест в шляпе, подпертой ушами, в окружении сподвижников, жестом руки приветствовал с высоты трибуны свои портреты и колонны трудящихся. Все это было, а теперь бывшим стал он и захотел на досуге посмотреть наш спектакль.

Он не помнил, разумеется, что подобно тому, как Гришин мановением пальца усек здание, так он тоже чуть было не запретил наш с Хейфицем фильм. Сам он фильма не видел, но «письменники» донесли, нашептали ему в ухо, что махновцы в фильме все говорят по-украински, это же что получается? Он тут же приставил к уху трубку правительственного телефона в Киеве, а зазвонило в Москве.

В ту пору, как говорили, правила династия Романовых: один Романов сидел в Ленинграде, другой возглавлял цензуру, а третий Романов удобно расположился в кресле председателя комитета по кинематографии. И всем троим кресла были велики. Вот у кинематографического Романова и раздался телефонный звонок из Киева. А он уже имел неосторожность похвалить фильм. И даже торжественно пригласил к себе Хейфица и меня, был принесен чай (ему одному!), и он, отвалившись в кресле, только что ноги свои короткие под себя не подобрав, со вкусом прихлебывал из стакана в серебряном подстаканнике, поздравлял, делился своими умозаключениями, я даже подумал, грешным делом, нет ли чего стыдного в фильме, если он так хвалит. Но раздался звонок из Киева и — «Я любил тебя, Маланья, / До партийного собрания, / Как открылись прения, / Изменилось мнение».

Переделывать украинский язык, на котором и говорили махновцы, ну, например, переделать его на суржик, то есть смесь русского с украинским, я отказался, предложив: пусть они говорят на еврейском языке, начальство и тех самых «письменников» это должно устроить. Все переделки совершались без моего участия, а Романов, заявивший вначале, что выдвигает фильм на какую-то премию, теперь, убаготворяя Шелеста, добился, чтобы премию дали украинской актрисе.

И вот я стоял в фойе, издали смотрел, как в общей толчее Шелест проходит в зал, приметной была его круглая, наголо бритая голова с толстыми губами и жировой складкой на шее под затылком. Но в самих дверях по-деловому поспешающий заместитель министра культуры Воронков оттеснил его, проще сказать, локтем отодвинул и прошел, не извинившись, не оглянувшись даже. Чиновник и Шелеста не заметил!

Был Воронков из комсомольской рати, а комсомол, дело известное, готовил кадры не только для партии, но и для КГБ, и со временем не случайно поместили Воронкова в Союз писателей, осуществлять надзор. Мог ли он при такой должности не стать писателем? Писатель Воронков! Чтоб это осуществилось, предложил ему свои услуги Анатолий Алексин: он что-то написал, Воронков — соавтор, он же и организовал обоим премию имени Ленинского комсомола, поскольку был оттуда родом и связей не порывал.

Но и на старуху случается проруха. В самый разгар его успешной деятельности поехал в Англию Анатолий Кузнецов, ныне покойный, да и исчез там, попросил политического убежища. Рассказывали, готовился он задолго, был даже план под водой пересечь границу и вынырнуть из турецких вод... Но в конце концов выбрал путь самый проверенный: еду, мол, собирать материалы о Ленине. Воронков лично ходатайствовал за него. А уж когда случилось и посыпались выговоры на всех причастных и не причастных, один Воронков, только он единственный не пострадал. И не будучи пророком, я сказал тогда же: этого ему не простят, пострадавшие друзья не простят. Действительно, вскоре он был пересажен в кресло замминистра культуры, что по незримой табели о рангах означало понижение. Как же было ему не стараться в новой должности? И он успел-таки запретить в Театре на Таганке спектакль «Живой» по повести Бориса Можаева и проделал это мастерски.

Был год страшной засухи и пожаров, дымом горящих торфяников заволочло Москву. И вот в эту жару и сушь свезли в театр председателей колхозов, прибыли работники министерства сельского хозяйства. Все первые ряды блестели Золотыми Звездами Героев Социалистического Труда, духота в зале

стояла страшная, а актеры... Знали, что запрещать съехались, видели, как хмуро глядят на них из зала, но играли вдохновенно. Когда же, отыграв, удалились, чтобы послушать из-за кулис, вот тут начался главный спектакль. Один за другим по списку выходили к микрофону председатели колхозов и, обливаясь потом от жары, гневно клеймили авторов, будто одну и ту же передовицу «Правды» читали: очернение, искажение колхозной действительности... А тем временем из Москвы в их подмосковные колхозы гнали поливальные машины, чтобы на огородах хоть что-то спасти от засухи. И постановщиком всего этого спектакля был Воронков. Вот он и оттолкнул в дверях бывшего Шелеста.

Теперь через эти двери, в этот зал, впервые со дня основания театра почетным гостем должен был пожаловать Виктор Васильевич Гришин. Уже в час дня явились товарищи в штатском, осмотрели помещение, обследовали все ходы и выходы, все проверили. А жизнь в театре шла своим чередом. Обычно в четыре, в начале пятого буфетчица начинала готовить бутерброды. Бывала это и белуга горячего копчения, и осетр, но чаще уже — горбуша, кета. Острейшим ножом снимали шкуру, отделяли нежное мясо, чтобы, нарезав тоненько, разложить по бутербродам. Этого часа ждал рабочий сцены, который помогал буфетчице подносить тяжести, доли своей ждал. Он уносил шкуру, на ней что-то неминуемо оставалось, иногда уносил и голову рыбы, хорошая закуска под пиво, одного запаха и то могло хватить. Постепенно сходились актеры, ненадолго разъехавшиеся после утренней репетиции. К шести часам, к восемнадцати ноль-ноль, в театре были все. Я пришел в половине седьмого. В кабинете Любимова, где все стены в автографах знаменитых людей, дежурили у телефона два товарища в штатском, чем-то похожие друг на друга. Я поздоровался, назвав-

шись, они скромно не назвали себя. Потом мне понадобилось позвонить по телефону, и я разговаривал под их бдительным присмотром.

Из окон кабинета была видна Таганская площадь, пустая, будто вымершая: ни машин, ни троллейбусов, ни пешеходов: движение перекрыто, одни лишь чины милиции с полосатыми жезлами прогуливаются посредине, по голому асфальту. Примерно без четверти семь что-то донесли радиоволны, все на площади вздрогнуло, напряглось, и возник черный ЗИЛ, черная машина сопровождения следом. Они развернулись по широкой дуге, поворачивая за собой головы милиционеров. Стали перед служебным входом. Почетных гостей встречали хозяева: Любимов, Дупак. Я встречать не пошел; ощущая за спиной двух не назвавших себя товарищей в штатском, смотрел сверху: как распахнулись дверцы машин, как просияли улыбки, и все общество — в центре Гришин с женой — двинулось от машин к служебному входу в пространство, которое сверху уже не просматривалось.

В фойе тем временем прогуливался ничего не подозревавший народ, и буфет, как всегда, был полон: театральный буфет для людей, пришедших на спектакль, — это начало праздника. В кабинете для гостей тоже было приготовлено — чай, минеральная вода, бутерброды, — для видимости приготовлено: высокие гости непроверенного есть-пить не станут.

После узнал я случайно, что в этот самый день Андрей Дмитриевич Сахаров тоже хотел попасть на спектакль, но сочли это неуместным, присутствие опального академика могло омрачить впечатление. Знали бы, что жизнь приготовила...

По служебной лестнице, не очень, надо сказать, удобной, поднялись в кабинет, здесь некоторое время разговаривали почему-то стоя и тихими

голосами, особую благостность и тишину распространял вокруг себя высокий гость. За дверьми ощущалось незримое присутствие сопровождающих. Возможно, из-за того, что они там находились неотлучно, и произошло все дальнейшее.

Без пяти минут семь вспыхнула лампочка над дверью кабинета: первый звонок.

— Может быть, не будем заставлять народ ждать нас? — сказал Гришин.

— За нами придут, — заверил Дупак. Он как раз показывал гостям на ватмане, на специально внесенном планшете, будущее здание театра, заранее благодарил за заботу, и это воспринималось благосклонно. А то, что ранее тот же Гришин чуть было не закрыл театр, и Любимов уже сидел у него в приемной, ждал, когда вызовут, чтобы исключить из партии, готовился, не провидя дальнейшей своей судьбы, — так ведь кто старое помянет, тому глаз вон. Ну, а встречать благодарностями, преподносить любое дело как личную заслугу высокого гостя, это был установившийся ритуал, даже школьники знали частушку: «На дворе утихла вьюга, прилетели два грача, это — личная заслуга Леонида Ильича».

Вновь вспыхнула и длительно замигала красная лампочка над дверью: семь часов, третий звонок дан. И снова Дупак заверил: за нами придут. Однако не шли. Пять минут восьмого... Как-то неуютно становится. Двинулись сами.

В буфете, через который надо было пройти, — пусто, неубранная посуда на столах. Пуста и безлюдна широкая лестница вниз, и там, внизу — ни души, двери в зал закрыты, спектакль начался. Только у ближних к сцене дверей толпятся актеры, сейчас им входить. Кто-то спешно кинулся задерживать их, а я, приотстав, вижу, слышу, как по широкой пустой лестнице с тихим благостным разговором спускаются вниз гости, с ними — онемевшие от

предстоящего позора хозяева, а внизу отпихивают актеров от дверей как раз под ироничным портретом Брехта, он словно бы понимает, что сейчас произойдет.

Я уже говорил, что сцена в спектакле представляла собой салон самолета, проход посреди — это черта между прошлым и днем нынешним, между тем, что было с людьми и что с ними стало. И все в этом салоне было натуральное, и кресла натуральные, и когда под рев турбин закладывался вираж, сцена как бы накренилась. И стюардесса по радио объявляла то же, что объявляют в полете... Правда, когда на первый показ спектакля пригласили строителей и авиаторов, строители одобрили все, кроме строительных проблем, авиаторы похвалили спектакль, но стюардессу не одобрили: ну, жели не могли проконсультироваться, она же совсем не то и не так говорит... Не знали они, что на пленку записан голос победительницы конкурса стюардесс.

Загружалась сцена в два приема. Сначала из задних дверей шумно пробежали через зал актеры в солдатском обмундировании: плащ-палатки, каски, шинели... Это солдаты сорок первого года, те, кого уже нет в живых; они рассаживались по одну сторону прохода в полутьму. А затем с почетом входила из ближних дверей комиссия, направлявшаяся этим рейсом на стройку учинять разгром. Прожектор ловил ее и от дверей вел до самых кресел, где белые салфетки на подголовниках, где стюардессы сразу же начинают порхать над ними. Вот эту комиссию, этих актеров срочно отпихивали от дверей, чтобы пропустить вперед высокого гостя, с перепугу сами не понимая, что делают. И Виктор Васильевич вместе с женой вступили в зал во главе комиссии, как бы возглавив ее. А прожектор осветил их и повел, и повел...

Сначала никто из зрителей ничего не понял, потом смехок раздался, потом — смех. В театре этом, на беду, и ложи не было, чтобы, скрывшись в глубине, только белые руки выложить на бархат барьера. При всеобщем, как говорится, оживлении зала, ведомые прожектором, сели они, по бокам и за спиной сидела охрана.

После в театре говорили, что произошло все это не случайно, кто-то специально все так подстроил, чтобы убрали Любимова. Учиняли даже собственное расследование. Но я думаю, все было проще: слишком уж страху нагнали. Шутка сказать, с часу дня явились в театр товарищи в штатском, движение на площади перекрыто, у телефона дежурят... Когда страх, люди глупеют непредсказуемо.

Имел я случай наблюдать нечто подобное после войны в Болгарии, в чудном городе Пазарджик, где мы тогда стояли. Прознало тогда командование, что едет с проверкой из армейских верхов, из Софии, генерал. И будто бы генерал этот любит цветы. В казармах, как известно, цветы не полагаются. Но раз любит... Приказано было офицерам нашего полка сдать по столько-то левов, навезли цветов видимо-невидимо, повсюду расставили в горшках. А генерал этот, как оказалось, превыше всего чтит устав и цветов не любил. Садясь в машину, приказал кратко: «Разминировать!». То-то смеху было, когда эти цветы потом не знали, куда деть. Но что тот генерал в сравнении!..

И вот сидим в кабинете Любимова наверху (сам Юрий Петрович в зале), слушаем спектакль по трансляции. Конечно, гостей не ставят в такое положение, что уж говорить. Но теперь важно: уйдет Гришин со спектакля или не уйдет? Спектакль, как нарочно, без антракта, при всеобщем любопытстве высидеть два часа... И хоть бы без жены это произошло, руководящие жены особенно чувствитель-

ны. Но встать, выйти на виду всего зала, все это завтра же разнесется по Москве, смеяться будут...

А как трудно проходила пьеса, столько было многообразных комиссий. Специально для спектакля Владимир Высоцкий написал песню «Шар Земной». И когда он с гитарой шел через сцену, через весь зал и пел: «...От границы мы Землю вертели назад, было дело сначала, но обратно ее раскрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала...», у меня мороз шел по щекам. Слова, музыка, голос его, он сам! Но в комиссии подбирают людей нечувствительных, ничего на их лицах не мелькает, ни мысль, ни чувство. Встанут, поблагодарят и направятся к выходу, наденут пальто в гардеробе: поприсутствовали, идут доложить. Мнения своего не высказывают. Не люди, микрофоны на ножках. Но микрофон хоть воспроизводит с точностью, а эти натасканы предугадывать мнение начальства. И нередко от них начальство и узнает свое мнение.

Один раз я не выдержал. В комиссии был отставной полковник бронетанковых войск, он тоже вот так направился к выходу, ни слова не уронив. И тогда я громко, на все пустое фойе — вслед ему: «Товарищ полковник! Вы — фронтовик! Вы и на фронте были так застенчивы?». И что-то в нем дрогнуло: повернулся, пошел не в гардероб, а в кабинет Любимова на второй этаж. Комиссия — за ним. Но что они говорили, чтоб ничего не сказать, так уж лучше б и не оставались.

А последний раз принимали спектакль под самый Новый год, 31 декабря, когда в квартирах наряжают елки. Руководил тогда культурой в Москве, то есть заведовал ею в Моссовете, некто Покаржевский. И вот туда, к нему, в главк призвали нас с Любимовым. Мы — двое, а с той стороны видимо-невидимо бойцов, и все — испытанные. Заместителем Покаржевского был Шкодин, известный тем, что

кто-то, спутав или нарочно, сказал: «Вот тут выступал товарищ Паскудин...». Так за ним и закрепилось.

Некогда закончил Шкодин то ли факультет, то ли курсы театральных режиссеров, и надо же так случиться, что на стажировку направили его к Любимову. Тот посмотрел его, послушал: «Не надо вам этим заниматься, режиссера из вас не получится. Вам это не дано». И стал Шкодин руководить искусством в точном соответствии с принципом: кто может — делает, кто не способен — учит. Вот он-то вместе с Покаржевским решал судьбу спектакля.

Во время обсуждения Любимову стало плохо. Объявили перерыв. В приемной, где не так сильно было накурено, он сел в кресло под распахнутой форточкой, дышал. Пощупал я у него пульс: то частый, то выпадает. Принесли стакан воды, первое наше российское лекарство. Тут Шкодин вышел из кабинета, глянул, воткнул сигарету в рот, закурил. Стоит и дымит.

Когда вновь началось обсуждение, я предупредил: если Шкодину дадут слово, я выйду: вот за этот его поступок. Шкодину слово дали. Я вышел. Послали за мной: надо же продолжать. Опять он встает, начинает говорить. Я опять вышел...

И после всего, что вытерпели, когда спектакль наконец пошел, надо же такому случиться! А по трансляции слышно, идет лихо, весело, может, потому, что адресат в зале, уже не первая реплика в него попадает, хотя писалось не о нем. И каждый раз, как в зале смех, администратор хватается за голову: «Запретят!». А мне какое-то чувство подсказывает: нет, не запретят. Ведь это получится вот что: пришел, увидел, запретил... У нас привыкли делать не своими руками, не оставлять следов.

И еще соображение, которое по прежним временам должно было напугать: некая уругвайская

газета, переврав и название и содержание, заявила сенсационно: в Москве, в Театре на Таганке идет антисоветская пьеса. Уругвай от нас далеко, но мы традиционно чувствительны к тому, что подумает или скажет о нас самый захудалый иностранец. И председатель ВЦСПС Шелепин, глава наших тогдашних профсоюзов, «школы коммунизма», член политбюро, которое в тот момент почему-то называлось президиумом, немедленно подхватил: лично сам я не видел, но мне докладывают...

Прозванный Железным Шуриком, Шелепин хотя еще и занимал высокий пост, на самом деле доживал последние дни на политической арене, звезда его покатилась к закату, и все, кому положено знать, знали: он есть, но его как бы уже нет, он — бывший.

Мир мал, и в этом постоянно убеждаешься. Шелепин — из Воронежа, земляк мой, и даже его младший брат учился в одном классе с моим двоюродным братом Юрой Зелкиным, который погиб под Харьковом. Не знаю, был ли младший Шелепин на фронте, а старший благополучно учился в Москве, готовил себя к великим деяниям и уже в студенческие годы, когда зашел разговор в общежитии, кто хочет кем быть в дальнейшем, заявил твердо: хочу стать членом ЦК и им стану. И стал. А помогла ему в том, чего она знать не могла, Зоя Космодемьянская: то ли комсомольский билет он ей вручал, то ли напутствовал, когда ее и других таких же девочек отправляли на подвиг и смерть мученическую, а он, здоровый мужик, оставался в тылу.

В длинной офицерской шинели, в звании капитана, и дня на фронте не пробыв, Шелепин шел за гробом Зои Космодемьянской, сопровождал в последний путь героиню, как бы воспитанную им, есть эта хроника, я ее видел. Вот с того дня и пошел он вверх резво: сначала по комсомольской линии, по-

том по партийной, и все выше, круче, а в 58-м году уже занял пост председателя КГБ, сдав его в дальнейшем Семичастному, тоже комсомольскому секретарю, выросшему под ним, участвовал в удалении Хрущева на пенсию, после чего зашептали, а по «голосам» заговорили уверенно, что Брежнев — фигура временная, скоро власть переймет Шелепин, Железный Шурик, он-то и наведет порядок.

Но в чем, в чем, а в аппаратных играх Леонид Ильич простаком не был. Случайно или не случайно Шелепин послан был с миссией в Англию, там его встретили и проводили с таким позором, что быстрый его закат стал неминуем.

Просчитал ли все это Гришин, пока сидел в зрительном зале, но единение с Шелепиным даже по самому незначительному поводу (а запрещение пьесы у нас вообще ни за что не считалось) ни славы, ни очков ему не прибавило бы.

Когда спектакль кончился, я увидел совершенно потерянного человека. Поднялись в кабинет Любимова, шли, как на собственные похороны. Мы думали, сразу уедет. Не уехал. Вошли. Стоим. Долгая пауза.

— Так что же, мне теперь в свою машину не садиться? — спросил он голосом тихим и как бы даже болезненным.

Тут надо пояснить, иначе смысл этих слов и глубина обиды останутся не поняты. Пьеса заканчивается тем, что на обратном пути в столицу самолет едва не потерпел аварию, сел где-то во глубине России. И вот, не вполне осознав случившееся, в некоем потрясении председатель комиссии привычно распоряжается: «Значит, так: за мной машина прибудет. За вами — тоже. А вы тогда возьмите с собой в машину...». И только когда ему шепнули на ухо, что они не в Москве, за всеми выслан автобус, он вдруг поумнел: «А? Тогда — на общих основаниях. На об-

щих основаниях...». Вот к этому и относились с тихой горечью и обидой сказанные слова: «Так что же, мне теперь в свою машину не садиться?». И все услышали бурное дыхание супруги. Да что вы, совсем не то имелось в виду, садитесь, садитесь... Ох!

Около получаса длился тихий разговор и опять же почему-то стоя. И я старался слушать, момент серьезный, судьба спектакля решалась, но что-то мне мешало вслушаться. Вот как если у человека один глаз живой, свой, а другой стеклянный, тянет тебя смотреть в этот мертвый глаз, хоть и понимаешь, нехорошо. И в лице Гришина притягивало меня какое-то несоответствие. Вроде бы и подбородок у него не тяжелый, но вот эта часть лица, это расстояние от низа подбородка до носа, проще сказать, жевательная часть была просторней, больше прижатого лба. Не того лба, что открывался за счет лысины да жиденьких зачесанных волос, отступающих все дальше, а лба, где что-то наморщивается, если вдруг возникает мысль или какое-то соображение. И тянуло меня смотреть, как вверх-вниз двигается эта жевательная часть, а слова воспринимал не все, что-то, возможно, и упустил.

— Вот пехота у вас... Теплые слова сказаны про пехоту. Это — хорошо: теплые слова. А почему не про летчиков? Летчики — героическое племя. Я в войну с летчиками был, — сказал он, скромно полуприкрыв глаза.

Я, правда, знал, что в войну Виктор Васильевич Гришин, как бы это поаккуратней выразиться, лишь мысленно «с летчиками был». С 41-го года он — на партийной работе: секретарь, второй секретарь, первый секретарь Серпуховского горкома партии, потом выше, выше подымался, до Москвы дошел. И так же, как Шелепин (а может, это не совсем уж случайное совпадение биографий), всю войну был нужен родине в тылу, золотой ее кадр, а на ка-

ком-то витке своей карьеры занял пост главы профсоюзов — школы, как было уже сказано, коммунизма... И всего-то у него образования, если не считать партшколы, — Московский техникум паровозного хозяйства. Но мы стоим, слушаем Первого человека Москвы.

Имел я перед самой войной вовсе небольшой, четвертый разряд слесаря-лекальщика. Так я и сейчас, лучше ли, хуже, но все же могу напильник держать в руках. Был я во время войны солдатом, командиром взвода управления. Я и сейчас смог бы вывести снаряд на цель, хотя и нет уже тех орудий и, слава богу, не надо мне этого делать. Или ту же строевую команду подать: «Бат-тар-рея!..» Раскаты по всему строю, и это уже со мной до гробовой доски. Но росли у меня дети, и, если заболели, я за врачом шел. И чужим детям не давал медицинских советов.

Все же когда о пехоте речь зашла (а слова там из «Пяди земли» взяты, самые обычные слова про то, что значило быть пехотинцем на войне), я сказал, хотя опыт общения с такими людьми учит: кивай, а делай по-своему:

— Летчики, конечно, героическое племя, но народу-то больше всего было в пехоте. И погибало там бессчетно.

Вот тут раздалось:

— Народ и партия во время войны были едины!

Это не он сам, это — супруга за его спиной. И все услышали бурное дыхание. Едины-то едины, а все же и тогда один по службе рос, другой в окопах мерз.

Потом они уехали. И движение на площади восстановилось: троллейбусы пошли, машины хлынули сплошным потоком. А мы сидели в кабинете Юрия Петровича Любимова: что-то надо было ре-

шать. И пришла простая мысль: закуска есть, гости побрезговали, но нам она как раз. Нашлось и к закуске. И просветлело на душе, вспоминалось уже со смехом, как директор все на среду, на среду вставлял в программу спектакль: в ожидании милостей. Вот и дождались.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ НАЖИВАТЬ НЕПРИЯТНОСТИ

Позвонил мне приятель: ты читал статью Аннинского? Не читал. А ты прочти. И другой позвонил вскоре: читал? Да что стряслось? А вот прочти, прочти...

Лев Аннинский — интересный критик, пишет живо, легко. Что он такое мог написать, что взволновало умы? А тут и жене моей позвонила приятельница, далекая от литературы, но и ее возмутила статья. Нашли мы этот номер «Литературной газеты», прочел. Хотел было позвонить Аннинскому: Лева, бог с вами, что вы пишете? Но «Литературная газета» в то время выходила тиражом то ли миллион, то ли три миллиона экземпляров, решил я написать открытое письмо, та же «Литературная газета» его напечатала. Вот оно:

«Уважаемый Лев Александрович!

Вы знаете, я всегда с уважением относился к Вашей работе, но статья «Штрихи к блокадному пейзажу», напечатанная Вами в № 4 «Литературной газеты», вынудила меня написать это письмо. Цель статьи, как Вы ее определили, уточнение самого себя. «С чувством величайшей признательности я привожу здесь замечания ленинградского журналиста О.В. Рисса, уточнившего мой «пейзаж». То, что Седьмая симфония Шостаковича была исполнена в Ленинграде 9 августа 1942 года «под канонаду», казалось мне бесспорным фактом истории музыки», — пишете Вы. Но журналист уточнил: по при-

казу командующего Ленинградским фронтом были предприняты меры, чтобы город не подвергся обстрелу, велась контрбатарейная борьба. «Вот факт посильнее «канонады», — восхищаетесь Вы. — Контрбатарейная борьба — самопожертвование. Это на себя вызвать огонь противника. Чтоб он по тебе боезапас израсходовал. Артиллеристы, прикрывшие собой музыкантов, — вот музыка той войны».

Вы не артиллерист, Вы литератор. Тем более хочу спросить Вас: неужели Вы считаете нравственным, если бы так было на самом деле, чтобы одни люди шли на самопожертвование, вызывали огонь на себя, то есть погибали для того, чтобы другие люди в это время могли слушать и исполнять музыку? Даже если это исполнялась Седьмая симфония Шостаковича. Неужели это может вызвать у литератора восторг, а не скорбь и многие, многие размышления?

Но так в данном случае не было, и мне приходится разъяснить, что такое контрбатарейная борьба. Я был командиром взвода управления в ту войну, о которой Вы пишете, и одной из моих обязанностей было как раз вести контрбатарейную борьбу. Обнаружив батарею противника, получив разрешение уничтожить или подавить эту цель, я с наблюдательного пункта передавал данные для стрельбы на свою батарею, которая находилась далеко позади на закрытых огневых позициях, а не на прямой наводке, как, например, при стрельбе по танкам, и батарейцы заряжали и стреляли, выполняя команду, но не видя, куда они стреляют. Что же тут героического? Разумеется, могли и нас обнаружить — «засечь», — на то война. Из всего, что выпало на долю артиллеристов в той войне, контрбатарейная борьба — относительно спокойное дело, никакого особого самопожертвования она не

требовала. Я ни в коей мере не преуменьшаю подвига ленинградских артиллеристов, но они выполняли свой воинский долг, а Вас долг литератора обязывал к точности, а не к вольному обращению с фактами.

Действительно, во время войны бывали случаи, когда вызывали огонь на себя. Но это вызывали огонь своих батарей. Это было последнее, что мог совершить человек, если противник захватывал наш наблюдательный пункт или врвался на огневую позицию и отбиться не было возможности. Тогда, чтобы погибнуть не зря, а смертью смерть поправ, мужественные люди вызывали огонь на себя. Но вызывать на себя огонь противника, «чтоб он по тебе боезапас израсходовал», иными словами, помочь ему уничтожить нашу артиллерию, — этого не только командующий фронтом, этого ни один командир, находясь в здравом уме, приказать не мог. Человек сугубо штатский, Вы, возможно, в таких вещах не разбираетесь, но Вы объясняете людям популярно, что есть что, и тут уж полагается знать. Ведь не трудно заглянуть хотя бы в 4-й том Советской Военной Энциклопедии, прочесть, что такое «контрбатарейная борьба», и не писать бог знает что «в целях уточнения».

Я удивляюсь, как не режет Вам ухо рядом со словом «блокадный», выстраданным ленинградцами, слово «пейзаж»? И посмотрите, что Вы пишете дальше, все в тех же целях уточнения: «Дом, пробитый фугасным или бронебойным «чемоданом» в 1941 году, не погребал столько жизней, сколько дом, прошитый осколками в 1942-м». Ну какие же это осколки могли «прошить» каменный дом? Да еще той кладки. Я уж не говорю о почерпнутых из литературы о Первой мировой войне «чемоданах».

А теперь о Вашем предположении, как погибла рукопись Андрея Николаевича Лескова, дело его жизни, два тома, написанных об отце (которые

после войны он написал заново, будучи уже в преклонных годах). Ваше предположение просто: «...спасаясь от холода, сжег ее на исходе первой блокадной зимы». Каждый, кто читал эти книги, мог убедиться, какой высокой нравственности и чувства долга был этот человек. Предполагать Вы вольны что угодно, но, не проверив, печатать предположение, бросающее тень на человека, которого уже нет, который не может защитить себя... В каком свете во всей этой истории предстаеете Вы сами, это Ваше дело. Однако тут речь выходит за рамки одной судьбы и одной рукописи.

Свое предположение, что Андрей Николаевич Лесков якобы сжег рукопись об отце, писателе Лескове, чтобы согреться у этого огня, Вы обосновывали в статье в журнале «Новый мир» вот чем: «Как бы то ни было, а пережить первую блокадную зиму в Ленинграде ни одна рукопись шансов не имела. Вся бумага: архивы, библиотеки — все сожжено было в печах в первую зиму вслед за мебелью».

Это Вы пишете после того, как миллионы людей читали дневник Тани Савичевой в музее на Пискаревском кладбище. После «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина, в которой приведены отрывки из дневника историка Георгия Алексеевича Князева, а всего в том дневнике 1200 машинописных страниц. Верный добровольно взятому на себя обязательству не позволить блокадной мгле «сразу же стирать память о погибающих», — Г.А. Князев рассказывает о всех умерших, близких и дальних знакомых, людях, которых и имени никто и никогда не вспомнит. Там же, в «Блокадной книге», дневник пятнадцатилетнего Юры Рябинкина, которому нечеловеческие страдания дали силу остаться человеком, даровали недетскую мудрость. До последнего часа он вел свой дневник, не сжег его, чтобы обог-

реться, а умирая, «Юра приподнялся с кровати, по-искал свою папочку (дневник при нем), попытался встать, не смог, не сумел, упал на кровать...».

«Во время блокады дневники вели многие... — пишут авторы книги. — Нам присылали, приносили эти тетрадки, старые конторские книги, где карандашом, бледными чернилами, аккуратно или наспех, коротко или подробно, иногда коченеющей рукой люди записывали пережитое... Откуда силы брались у ленинградцев, об этом рассказала нам дневниковая память Ленинграда, сами же ленинградцы... Это тоже было противостояние, и не менее важное для исхода борьбы на северном фланге бескрайнего фронта».

Эти люди, обычные в обыденной жизни, поднялись в час испытаний до вершин духовного подвига, они оставили нам завещание, а Вы походя все это зачеркиваете: «ни одна рукопись...». Ради красивой ситуации — «вот музыка той войны» — Вы придумываете некое самопожертвование, которого не было, и не замечаете того, что было истинным подвигом. Как же, «уточняя», этого не уточнить?

А вот что касается архивов и библиотек, которые, как Вы утверждали, все были сожжены. «Есть замечательные рассказы работников Публичной библиотеки, которые в самое голодное, отчаянное время перетаскивали в хранилища частные библиотеки умерших собирателей, ученых, библиофилов, те собрания, которые остались бесхозными, спасали книги из разбомбленных домов». Там же, в «Блокадной книге», приведен рассказ Зинаиды Александровны Игнатович, как с мужем они перевозили на санках брошенную библиотеку («Как можно бросить Достоевского? Если бросить, их ведь сожгут!»), как муж по дороге потерял сознание и она думала, что он умер, как все же пришлось бросить санки у самого дома: мужа она дотащила до кварти-

ры, а поднять книги без лифта уже сил не было. На следующий день — «Прихожу с работы, вижу: санки пустые! Вот ужас, думаю, человек чуть не умер из-за книг, а кто-то на растопку взял! Стала подниматься к себе наверх, на пятый этаж. Когда я дошла до четвертого этажа, слышу странный такой звук, как будто собака идет на четырех лапах, вот так вот шлепает! Я думаю: откуда в сорок втором году собака? Давно всех собак съели. Когда я поднялась на площадку четвертого этажа, вижу такую картину: муж, у него сзади торба с книгами, и он на четвереньках несет эти книги!!! Увидев меня, сел и говорит: «Вот не успел! Думал до тебя перенести». Идти он уже не мог. Так он на четвереньках, как собака, перетаскал все книги».

Вы можете не знать этих фактов, не читать «Блокадной книги» (прочитавший, ее уже не забудет), но откуда это право писать так безапелляционно? Зачеркивать то, что всем нам следует помнить и знать?

И даже когда ленинградский журналист, лично знавший Андрея Николаевича Лескова, написал Вам, что такой человек не мог сжечь рукопись, Вы поначалу не соглашаетесь. Вот ход Ваших рассуждений: «Нужны были положительные свидетельства — без них мне ничего не оставалось, как придерживаться своего предположения». А может быть, все-таки наоборот? Может быть, сначала надо иметь «положительные свидетельства», а потом уж что-то утверждать, тем более если эти Ваши утверждения бросают тень на человека? И вот из Америки американский лесковед представил «положительные свидетельства»: «...Андрей Николаевич вручил рукопись на хранение одному близкому приятелю, у которого была большая семья, думая, что во всяком случае выживет хоть кто-нибудь из этой семьи. Однако после войны выяснилось, что погиб-

ли все... и экземпляр рукописи». Не странно ли: из Америки пришло свидетельство! А ведь Америка не-сколько дальше от Ленинграда, чем Москва.

«Я хочу, — пишете Вы, — чтобы как можно больше людей узнало эти подробности. Не только потому, что это мой авторский долг читателям, есть долг побольше: долг всех, кто пережил, выжил, помнит, перед теми, кто, к счастью, знает ту войну уже только по книгам». Зачем эти высокие слова, производимые с такой легкостью? Их особенно неловко читать после всего, что было приведено.

Я бы ограничился личным письмом к Вам, если бы вольное обращение с фактами (к чему это приводит — очевидно) не стало почти нормой. Вы не исключение, но я пишу Вам потому, что Вы походя, между прочим, с непозволительной небрежностью и, в общем-то, равнодушно задели то, в чем наша память и боль.

В свое время я был поражен, как в беседе с покойным ныне Ю. В. Трифоновым Вы доказывали, что «с известной точки зрения безнравственно вообще художественное творчество, ибо оно выволакивает сокровенные вещи и заставляет обсуждать то, что обсуждать неловко».

Нет, Лев Александрович, вне нравственности художественного творчества, литературы вне нравственности быть не может. А те сокровенные вещи, которые сохранили для живущих и грядущих поколений дневники блокадного Ленинграда, показывают, до каких вершин духа способен подниматься человек».

Вот так я написал Льву Аннинскому, в «Литературку» пришло много писем в поддержку, отношения наши с Аннинским не улучшились, да что же делать?

Но пришло и гневное письмо лично редактору газеты от некоего Лобаня, бывшего артиллери-

ста: оказывается, я недохвалил ленинградских артиллеристов, хуже того — оскорбил. С точки зрения артиллериста, письмо было совершенно безграмотное. Я даже усомнился, что человек этот был когда-то командиром батареи. Но вежливо ответил ему. Вскоре письма от Лобаня и «примкнувшего к нему» Кузнецова лежали чуть ли не во всех газетах. Они оба приезжали в Москву, ходили по редакциям. Продолжалось это несколько лет, а когда я был уже редактором «Знамени», они написали Лигачеву. Артиллерия их уже не волновала, они требовали «поставить прочный заслон» мне лично и всему тому, что печатается в «Знамени». Это их письмо я напечатал в журнале с небольшим комментарием.

А вот другая история, которая начиналась весьма благостно. Позвонил мне Анатолий Рыбаков, он только что закончил роман «Тяжелый песок»:

— Гриша, прочти, получишь а-а-агромное удовольствие!

Я прочел роман, наверное, это лучшая его книга. Позвонил ему:

— Толя, прочел. Получил а-а-агромное удовольствие.

После этого заговорили о делах: Рыбаков просил отнести роман в журнал «Октябрь», где я в ту пору был членом редколлегии, рекомендовать его. Я отнес, был у меня разговор с Анатолием Ананьевым, главным редактором журнала, я сказал, что я бы роман напечатал, объяснил, почему именно сейчас стоит это сделать. Разумеется, решает главный редактор. В том, что роман был напечатан (а в ту пору это сделать было не так легко), заслуга целиком — Ананьева. Роман пошел широко, его читали, перевели во многих странах.

Проходит время, Рыбаков снова звонит, просит прочесть новый его роман. Это были «Дети

Арбата». И условие такое: прочесть и написать ему отзыв. Он хотел собрать отзывы известных людей и ими пробить сопротивление цензуры и власти. В художественном отношении этот роман был слабей, эта книга не из тех, которые перечитывают. Но политическое значение ее было огромно. Это был политический бестселлер. Как мог, я способствовал тому, чтобы роман вышел в свет. А когда возникла заминка в журнале «Дружба народов», где его уже разрешили печатать, но некоторые поправки не устраивали Рыбакова, он пришел ко мне в «Знамя», и я сказал: «Отдаешь нам — печатаю сразу». Вышел роман в «Дружбе народов», тираж журнала подскочил до миллиона с лишним. Роман читали все, рецензии печатали все газеты. И вот тут Рыбаков сделал довольно странную вещь: отзывы о романе наиболее известных людей, которые по его просьбе писали ему, чтобы помочь издать книгу, он, не спросив, даже не известив никого из нас, напечатал в многомиллионном «Огоньке». Вполне понятно, что в этих запрошенных автором отзывах было похвал больше, чем книга того заслуживала, писались они, повторяю, с единственной целью: помочь. Сейчас это выглядело как всеобщий вопль восторга, дескать, не могу молчать!

Когда мы с Юрой Трифоновым отнесли в «Литературку» письмо в защиту Твардовского, а копию отправили ему в больницу, Александр Трифонович писал: «Я способен понять необходимость в данных документах известных преувеличений в оценке моей персоны...». Свидетельствую: преувеличений не было. Назвать великого поэта великим поэтом — это не преувеличение, а констатация факта. Верил ли Рыбаков всем похвалам, которые содержались в отзывах? Скорее — жаждал.

Но ни одно доброе дело, как известно, не остается безнаказанным. Вышла талантливая книга

Георгия Владимова «Генерал и его армия». Я говорил о ней по телевизору, писал. Талантливая книга — событие. И вдруг Рыбаков, вообще тяжело переживавший чей-либо успех, это известно, а тут еще Владимов получил премию Букера, вдруг он, выступая по радио, назвал книгу Владимова «апологией измены и предательства». И это после «Детей Арбата»! Я был поражен. В одной из статей, не назвав его фамилии, я написал, что в прежние времена после таких обвинений сажали, и человек, сам в прошлом гонимый, не может этого не знать. В следующей книге Рыбакова я узнал много интересного о себе. Я узнал, что, оказывается, я не только не помог ему напечатать в журнале «Октябрь» роман «Тяжелый песок», а чуть ли не препятствовал этому всеми силами. Впрочем, вряд ли стоит перечислять, что он написал там.

«ПАРТИЯ ВЫМАГАЕТ З НАС...»

В тот день зачем-то поехал я в Союз писателей, может быть, так просто. И в троллейбусе, а это еще будет иметь значение, встретил секретаря парткома Винниченко. Вместе вышли, перешли улицу Герцена, в дверях, как водится, произошла гоголевская сцена: поуступали друг другу право первым войти. Крупный мужчина цветущего вида, мог ли он думать, что жить ему осталось недолго? А случилось с ним вскоре вот что: на собрании его не выбрали в президиум. Ну и что? — скажете вы. Как что? Секретаря парткома не выбрали в президиум, где его законное место! Тот, кто знает весь механизм изнутри — а он-то знал, — может себе представить, что произошло: вышестоящие товарищи не вставили его в список. Или, что еще страшней, вычеркнули. И уже кто-то, наверное, присмотрен на эту должность, а ему возвращаться в первобытное состояние, стать просто писателем...

Вот представьте: снимет он трубку телефона у себя в кабинете (в этот момент секретарша никого не пустит к нему: занят!), звонит в издательство или в редакцию журнала и посреди ничего не значащего разговора — «Я тут одну вещичку закончил... Не берусь даже определить жанр. Само вылилось. Так рука легла...». А там, хоть и представляют, что могло вылиться, знают его руку, тем не менее радостно приветствуют. И в служебном конверте доставляется курьером, и сразу — в набор.

И вместо этого, удобного, привычного, самому со своей рукописью просителем являться в редакцию, а там еще и злорадствовать начнут: «Это — бывший секретарь парткома, тот, которого поперли... А за что, кстати говоря, поперли? Числится что-то за ним?». Бывший... Это ведь вот что значило: в плане издательства «Художественная литература» стоял однотомник одного из секретарей Московской писательской организации, было уже известно, под каким номером, когда намереваются выпустить, и вдруг секретаря переизбирают; и под тем же номером, в том самом утвержденном плане появляется однотомник, но уже не его, а нового секретаря; сменился человек в кресле, заменили и книгу в плане...

Так что дороже, возможно, спросите вы: пребывание в должности или жизнь? А если пребывание в должности и есть жизнь? Не берусь утверждать, так ли, не так думал он, когда узнал, что не избран в президиум, но он вернулся домой и его разбил паралич. В дальнейшем, когда я писал роман «Друзья», историю гибели Немировского, вспоминалось мне все происшедшее с Винниченко, жизнь его и смерть. Но в тот день был он еще здоровый, цветущий, мы поговорили любезно ни о чем, и к обеду я вернулся домой.

Обедали, как обычно, на кухне. И только поставила передо мной жена тарелку, помнится, кислых щей, горячих, с плиты, — звонок телефона. Звонит Ильин, секретарь по организационным вопросам, так эта должность называлась. Со времен Горького, к которому комиссаром был приставлен Щербаков, со дня первого съезда Союза, то есть с той поры, когда вслед за коллективизацией крестьян была проведена коллективизация писателей, учредили этот пост, и занимал его по традиции либо партийный функционер, либо работник КГБ. Впрочем, почему либо — либо? Чаше это совмещалось в одном лице. Ильин в прошлом, до ареста, был генерал-лейтенант КГБ.

— Слушай, приезжай сейчас в партком.

И голос дружеский, и «ты» доверительное, в нем как бы дух партийного товарищества. Но я только что там был, с Винниченко разговаривал, что за это время могло стрястись?

— Созывают...

Сказано уже официально, строго, как говорят магическое «есть мнение». А я терпеть не могу безличных предложений. Чье мнение? Не твоего, дескать, ума дело. Достаточно и того, что оно есть. И, уверенный, что со мной все решено, Ильин вдруг спрашивает:

— А где Слуцкий? Не знаешь, где Слуцкого найти?

Никакой беды я не ждал, ничего не подозревал и не предчувствовал, но меня вдруг как током пронзило. Созывают... Созывали однажды. Под конец жизни Сталина, когда готовилось выселение евреев в бараки, уже сколоченные в тайге, как до этого выселяли другие народы, рассчитав, что не меньше половины до места не доедет, по дороге в теплушках перемерут, вот тогда созывали именитых интеллигентов подписать соответствующее воззвание. При-

глашали по одному, первый подписал его Каганович, а Эренбург будто бы отказался... Не могу сказать, что в тот момент мне это вспомнилось, нет, но в каждом из нас что-то отложилось, оно и остерегает: один глаз спит, другой бодрствует. Я почувствовал: затевается что-то грязное. И уже голос Ильина по-другому услышался: это был сознательно умягченный голос ловца душ. И он уверен: свистнул, и я приеду, прибегу, буду исполнять — солдат партии.

Положил я трубку телефона и с таким сожалением посмотрел на тарелку шей, к которым уже было всей душой расположен. Да что ши! На меня всем теплом обжитого нашего дома повеяло, будто пришло время и его лишиться, вот она и сюда, в самое заветное, вторглась, черная сила.

Пересказав разговор жене, я позвонил в Ленинград на киностудию «Ленфильм», где в ту пору Иосиф Ефимович Хейфиц снимал фильм по нашему с ним общему сценарию, попросил забронировать номер в гостинице и поехал на вокзал за билетом. Ильин вскоре позвонил вновь: где я? Выехал. Потом звонки стали чаще, истеричней, с угрозами.

А жили мы с ним в одном доме, он — в третьем подъезде, я — в первом. По утрам за ним прибывала черная машина Союза писателей. Пожилой, с крашенными в черный цвет волосами, шофер открывал багажник, нес в подъезд ящик боржома. Разумеется, не каждый день по ящику, бывало, связку книг несет. Из подъезда выходил с хозяйской собакой на поводке и в садике, где играют дети в песочнице, выгуливал ее по полчаса и более, пока она обнюхивала деревья, выбирая по запаху свое, перед которым задирала лапу. Машина тем временем на виду у всех окон ждала, так, видимо, утверждалась незыблемость бытия.

В бытность свою действующим генерал-лейтенантом КГБ Ильин имел определенное касатель-

ство к печатному слову, к искусству, вернее — к деятелям искусства, не берусь сказать, какое. Отсидев, как говорят в таких случаях, «свои» семь лет, выпущенный при Хрущеве, восстановленный в правах, но не на прежней своей службе, он был определен на должность в Союз писателей: здесь, как в отстойнике, много пребывало на должностях надежных товарищей, и тех, кто засветился за границей, и тех, кто вышел в тираж. Все они сохраняли боевую готовность и корпоративный дух: кадры, резерв всемогущей организации, объявшей страну, пронизавшей ее насквозь.

Как Ильин сам рассказывал, он был арестован за то, что предупредил товарища, над которым нависла угроза ареста: случайно узнал и предупредил. Но не исключены и другие варианты, может, просто пришел его черед, настала пора очередной смены караула, Сталин проделывал это регулярно, в таких вещах он знал толк. Чтобы править единолично, всевластно, требовалось периодически менять сподвижников, не давать им обрастать зависимыми от них, верными людьми. И ничье имя не должно было осеняться беспримерной славой.

Кончилась война, и Жуков был отброшен, создана была вокруг него пустота: одного за другим пересажали его окружение — от рядового до маршала. Поразительно, но даже сам Жуков верил, что это дело рук Берии, что Сталин чуть ли не спас его, не дал арестовать. Но тогда еще безумным Сталин не был. Жестокий, лукавый, кровавый, но не безумный. Своих ближайших подручных — Молотова, Кагановича — всех он под конец жизни готовился сменить, придавить прокуренным ногтем, как с ними вместе давил других. Не успел, смерть помешала. Но что, кроме кровавых дел, за этими его подручными числилось, за каждым из них? Да ничего, в сущности, если отбросить пропагандистский грим. Ис-

полнители высшего ранга. Калинин, умильный все-союзный наш староста с козлиной бородкой, олицетворявший союз рабочих и крестьян, поскольку сам был вроде бы из тверских крестьян, но сколько-то и на заводе поработать успел, это усиленно подчеркивалось. А фамилия уж куда народной, прямо с куста калины снята. Вот он и подписал указ — казнить двенадцатилетних детей за колоски, которые они с голоду подбирали в поле. Молотов твердолобый, прозванный каменной задницей. Оба они отдали своих жен в залог, в лагеря. А Каганович и этих превзошел: двух братьев, старшего и младшего, отдал на расстрел в знак высшей преданности. Заложив душу дьяволу, они и свои жизни заложили.

Но за Жуковым была вся Отечественная война. И — Победа. Этого уже не отнять, не отделить от него в сознании народном, как нераздельны Отечественная война 12-го года и Кутузов. Не понимать этого Сталин не мог, другое дело — умалить значение Жукова, принизить, присвоить его славу, как присвоил он себе все победы в гражданской войне. Но жизнь маршала Жукова уже история хранила. А какой-то генерал-лейтенант КГБ... Таких и в расчет не брали. Для обычных советских граждан он — божий суд, а тут — ничто. Потребуется — другому его звезды навесят, рядового топтуна произведут в генералы. И производили.

Однако Ильин был по-своему интересный человек, с определенным пониманием долга, порядочности, работать умел четко: совершенное, отшлифованное создание системы и времени. Выпущенный на свободу при Хрущеве, он относился к Хрущеву пренебрежительно, Сталина же боготворил, и фотография, где Сталин — в группе людей, а молодой Ильин на заднем плане проглядывает, эта фотография висела у него в кабинете на почетном месте. А как, бывало, во время собраний, пленумов

входил он на сцену, осуществляя живую связь. Роста выше среднего, с хорошей выправкой, он прини-жался, сознательно умалял себя во имя Службы, шел только что не на цыпочках, помахивая ладоня-ми, как лапами. У микрофона, в президиуме — На-ровчатов, в прошлом неплохой поэт и фронтовик, но уже разьевшийся. И вот к его оттопыренному толстой щекой уху приклоняет Ильин седую голову, показывая лысину всему залу (что — зал, зал для не-го не существовал), докладывает сокровенное и ухо-дит, нацеленный, помахивая ладонями.

До того, как нам поселиться в одном доме, я месяцев семь работал в Союзе писателей ответст-венным секретарем секции прозы, так называлась эта должность. Помещались мы в бывшей масон-ской ложе, в старинном особняке. Внизу, в Дубовом зале, — ресторан, над ним — служебные помеще-ния. После работы я оставался там писать. Из ресто-рана подымались наверх запахи ресторанные и — писатели от столиков: позвонить по телефону. «Вы здесь работаете? Нет, я бы не смог...». И севши яго-дицей на край стола, накручивая диск телефона, рассказывает, как важен для работы привычный ритм, привычный вид перед глазами... А я жду тер-пеливо, мне в ту пору жить было негде, я за жильё работал.

Весь мой штат — машинистка, пожилая ку-рящая дама Софья Михайловна, милый, интелли-гентный человек «из бывших», тайная страсть ее — игра в карты. Вполне понятно, она подрабатывала. Ильин предупредил меня: я должен следить за тем, что у нее в машинке. Я сказал ему сразу: этого делать я никогда не буду. Узнала ли Софья Михайловна про наш разговор или так поняла, но отношения у нас с ней установились самые доверительные.

Позднее одна из секретарш, вышедшая за-муж за польского писателя (для многих девочек,

приходивших сюда работать, да и старившихся, это было и мечтой, и надеждой: выйти замуж за писателя, — ей удалось), рассказывала мне в Варшаве, как Ильин вербовал ее в органы, не ее одну вербовал. Вменялось ли это ему в обязанность или повелевал инстинкт размножения таким внеполовым путем, но при всех обстоятельствах возглавлять тех, кто дал подписку, наверное, привычней и удобней.

Вот он и вызывал меня «срочно» по телефону. И можно было просчитать, как все это происходило: раздалась команда «сверху», из ЦК спущен список, и он выдергивает по списку одного за другим. Отлаженный, привычный механизм, сколько судеб завершилось телефонным звонком...

Вечером я вышел из подъезда. Метро, Ленинградский вокзал, а там, на перроне, уже стоит состав «Красная стрела». У меня был билет в международный вагон. Тогда еще ходили один или два таких старинных международных вагона с бронзовыми бра, начищенными бронзовыми ручками купе, а в купе — красное бархатное кресло, дверь в умывальную — одна умывальная на два купе, — там и побриться, и умыться, а при желании можно и душ принять, и все это — за государственный счет: в таких вагонах, как правило, ездили высокопоставленные командированные. Неслышно трогался поезд, словно это не он пошел, а перрон за окном сдвинулся со всеми провожающими на нем и отъезжает, отъезжает в глубину вокзала. А в буфете уже открыта большая жестянка черной икры, и вот идет по вагону официантка с подносом: коньяк армянский, бутерброды с икрой, холодные свиные отбивные.

Как-то за коньячком, которым я его угостил, старый-старый проводник, совершающий уже последние свои рейсы, рассказал мне, как в те самые годы — 37-й, 38-й, 39-й — входил, случалось, к нему

в вагон человек с небольшим чемоданчиком, он уже в лицо его знал и знал, что произойдет. Где-нибудь в Бологом или ранее человек этот выходил среди ночи, а в купе обнаруживали утром пассажира, умершего от разрыва сердца. Правда это или нет — утверждать не берусь, но и не такое бывало, да и врать ему вроде бы ни к чему.

Уже в Ленинграде, в гостинице, увидел я по телевизору, во что вовлекали меня, какая роль мне предназначалась. Транслировали пресс-конференцию, группа, как их потом прозвали, «дрессированных евреев» клеймила тех, кто от всех оскорблений решил уехать в Израиль; доказывали, что антисемитизма у нас не было и нет, всенародно покрывали себя позором. И это были именитые люди, до той поры вроде бы не запятнанные. Дважды Герой Советского Союза, герой Отечественной войны генерал-полковник Драгунский. Как уживались в одном сердце герой и раб? Или мужество воина и мужество гражданина — два разных мужества? В дальнейшем Драгунский возглавит так называемый антиссионистский комитет, и как-то начальник политуправления пограничных войск, входивших в систему КГБ, привезет туда делегацию писателей и точно по Фрейду, представляя Драгунского, скажет: «Председатель антисемитского комитета...».

Так вот — Драгунский. Еще — Дымшиц, заместитель Председателя Совета Министров. Ну, этому по должности положено, хлеб свой надо отбавывать. Там ведь не только было выступление по телевидению, напечатали потом еще и обращение в газете. И Дымшиц организовывал это, по одному вызывал к себе: ставить подпись. Известный режиссер, ныне здравствующий, сказал: не могу подписать. Почему? Тут напечатано — народный артист СССР, а я пока еще — народный РСФСР. Будете, будете!.. И — подписал. Но бог с ним. А вот Райкин,

Райкин! Один из самых знаменитых актеров, ему же потом перед людьми на сцену выходить. У него было лицо трупа на экране, но он сидел там, участвовал. Что заставило его лгать принародно, чем пришили? Много их там было, не хочется всех называть. Да я уже и не помню.

А в это время дома у меня, в день той самой пресс-конференции, раздался ранний телефонный звонок:

— Это Мелентьев.

Жена рассказывала потом: голос ласковый, прямо-таки родственный голос.

— Кто? — не поняла она.

Еще ласковее:

— Мелентьев.

— Не понимаю, кто говорит?

Мог ли человек такого ранга, заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС, поверить, что его не знают, да еще в доме писателя, да еще писательская жена? Настоящие писательские жены лучше секретарш знают, на ком какие блага растут, от кого что зависит. Ему стоит трубку снять, слово промямлить, и набор моей книги рассыплют или поддержат издание на несколько лет. Но жена моя действительно не знала никого из официальных лиц, ни одной фамилии. И не хотела знать. Довольно невежливо она переспросила:

— Не понимаю, кто говорит?

— Мелентьев! — сказал он грозно. И было спрошено, где я нахожусь, и приказано, когда объявлюсь, сразу же звонить ему, в ЦК.

Мы договорились с женой заранее: домой звонить я не буду, не ровен час, прослушивается аппарат. Ей сообщать, не называя меня, номер телефона, и если что, она позвонит мне, но не из дома. И она ходила на переговорный пункт, высиживала очередь, звонила мне.

Выждав несколько дней (спешить мне было ни к чему!), я позвонил Мелентьеву. Но не из автомата гостиничного, а заказав телефонный разговор с Москвой, чтобы секретарша доложила: звонят из Ленинграда. Был ли у него «народ» в кабинете или он один сидел там в кресле, не знаю. В номере ленинградской гостиницы я лежал на кровати, и мы разговаривали.

— Что же это вы в такое время уехали? Такое напряженное время, а вы...

— Да вот это и беда, что весна ранняя, натура уходящая, все зимние сцены еще не отсняты, — разыгрывал я дурачка.

— Вы телевизор смотрите? — спрашивает он строго; похоже, все же «народ» был в кабинете. — Газеты читаете?

— С этими съемками не то что телевизор смотреть, забудешь, как тебя зовут. С утра до ночи...

А на душе пакостно. Есть мелкое удовлетворение: он там в галстук, при всем параде, внизу — охрана, а я лежу себе... Но это ведь не трубку телефонную держу в руке, а конец поводка; другой конец у него на руку намотан. Но почему вообще я должен скрываться? Война? Враг вторгся? Так от врага я не бегал.

Был у нас на фронте командир дивизиона... Впрочем, на командиров дивизиона нам как-то особенно везло: что Яценко, что Гулин — оба не гении, но о себе заботиться ума хватало. Гулин только тем и отличался, что ростом был поменьше да брови подбрасывал. И вот в Венгрии приказывает он мне добраться к командиру роты (и это — днем, местность открытая, бой идет) и оттуда ракетой указать свое местонахождение. Он по себе меряет: мол, засяду где-нибудь на полдороге, в пехоту не пойду, буду пережидать. Но какой же дурак станет в бою указывать ракетой свое местонахождение? Или командир ро-

ты позволит мне показать немцам, где он сидит? Они, в пехоте, и раций-то наших боялись, станешь передавать команду — «Отключи свою шарманку к такой-то матери!..». Уверены были: сейчас немцы засекут рацию и ввалят из минометов.

Добрались мы до командира роты, где ползком, где перебежками, доложили, и тут же приказал я больше на связь не выходить. Сюда Гулин не полезет, а мало ли какая дурь ему в голову взбредет. Нужно будет вести огонь, включусь.

Так что же, на войне, на фронте я свободней себя чувствовал? Выходит — так. Я был в ту пору — сам по себе: отец и мать умерли, детей у меня еще не было, а своя голова, хоть она и не лишняя, но — своя. Когда же дети есть, человек более всего уязвимый; свободен только тот, кому некого любить и у кого нечего отнять.

— Вы когда возвращаетесь? — спросил Мелентьев, заканчивая разговор.

— Мы еще в Киев поедem, там съемки. — И аппаратное словечко с языка скатилось: — Затрудняюсь сказать.

Начальство всегда затрудняется, вот и я затруднился.

— Когда вернетесь, попрошу зайти ко мне.

И я зашел. Офицер госбезопасности за своей конторкой при входе сличил меня с фотографией, громко произнес фамилию; солдат в такой же фуражке, за такой же конторкой, но по другую сторону прохода, нашел в ячейке выписанный пропуск, все это вручили мне, и я прошел.

Такого количества ондатровых шапок, столько серых каракулевых генеральских папах, генеральских шинелей голубоватого сукна, вернее, драпа, не встречал я ни в одном гардеробе. А вот академику Сахарову Андрею Дмитриевичу подал я однажды в гардеробе, но не в этом, а в соседнем, еще

более значительном подъезде, серую его курточку (приглашал нас на беседу тогдашний член политбюро Медведев, удостоил, и беседовал с нами, не снимая темных очков), так вот, помог я надеть в рукава легкую эту, не пуховую, а на чем-то вроде поролона курточку, воротник ее затертый вижу до сих пор. И вижу, как потом стояли мы в темноте на улице, ожидая чью-то машину. Была поздняя осень, когда холод переносится трудней, чем зимой, а он боялся холода, единственное, чего он боялся в жизни, стоял, сгорбившийся, в продуваемых на ветру брюках, прямо чувствовалось, как в них зябнут его худые ноги. Но это было позже, много позже.

А тогда разделся я в гардеробе, повесил свое пальто в почетном обществе, и — коридоры, коридоры, ковровые дорожки, тишина особенная, можно сказать, священная тишина: коридоры власти. По ту и по другую сторону — массивные двери, фамилии на дверях, одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, какая прополка шла по стране, какой из десятилетия в десятилетие отбор совершался.

Секретарша, заранее предуведомленная, положила, и из кабинета, заканчивая разговор: «А я и не знал, что Быстрицкая — еврейка...» — «Но как Аксинью сыграла в «Тихом Доне»!...» — вышли два работника ЦК. Белые воротнички, галстуки, походка, манера держаться, да и костюмы одинакового покроя. А может, от одинаковой кормежки они такие друг на друга похожие?

И вот сидим: Мелентьев — за массивным столом, я — перед ним за столиком. Путь его в этот кабинет мне более-менее известен. Два мощных потока партработников вливались всегда в Москву: с промышленного Урала, из Свердловска, и из Ставрополя, куда ездило на отдых высшее руководство и где его соответственно обхаживали. Сейчас никому ничего не говорит фамилия Кириленко, вспом-

нить нечем. Маленького роста, с бульдожьим лицом, человек этот начал партийную карьеру в 38-м году, когда по стране шел великий отстрел кадров, дорос до должности первого секретаря Свердловского обкома, был переведен в Москву, куда и потянул за собой своих людей. Мелентьев был в их числе. Пройдет время, и, отодвинутый другими карьеристами, удаленный на пенсию, впавший после инсульта в слабоумие, Кириленко еще долго будет по утрам собираться «на работу», экипироваться — костюм, вычищенные ботинки, галстук — и совершать в полном параде марш до дверей своей квартиры...

Но в то время, о котором я рассказываю, Кириленко был на вершине власти, весь государственный гранит, вся эта мощная пирамида — под ним: член политбюро, третье по значимости лицо в партии. А Мелентьев — в его фарватере, распространился даже слух, что он — зять Кириленко. Впрочем, и про Ермаша, тоже привезенного из Свердловска, говорили, что он — зять Кириленко. Ни один из них этого не опровергал. Но была ли дочка? Во всяком случае, если не зятем, если не правой рукой Кириленко, то уж указательным пальцем его руки Мелентьев был, а стоит этим пальцем погрозить, чтобы слабонервного ввести в трепет.

— Вы свою форму участия продумайте, — сказал он. — Свое отношение вам надо высказать.

Я молчал. Продумывал. Значительный разговор в значительном месте и вестись должен значительно. Склонить себя я все равно не дам, но хотелось, ох, хотелось уйти с наименьшими потерями. Да и силу всей этой огромной машины я уже не ощущал на себе.

Как-то на IV съезде писателей, когда Солженицын попросил дать ему слово, с письмом обратился в президиум, и было ясно, что слова ему не да-

дут, мы с Тендряковым поехали на его машине собирать подписи в поддержку. Встретили Александра Яшина. «Нет, — сказал он, — не обижайтесь, ребята. Не подпишу». Его громили, просто-таки уничтожали за его «Вологодскую свадьбу». «Вы не знаете силы этой системы». И рассказал к слову анекдот, как позвали слесаря чинить кран. Починил он на кухне, потек кран в ванной. Починил в ванной, опять потек на кухне. «Нет, не возьмусь, всю систему менять надо...».

Вот я сидел, слушал и услышал, что, оказывается, я в литературе — генерал, что ко мне прислушиваются, потому очень было бы важно... Нет, Юрий Серафимович, я — лейтенант. Генерал, генерал, настаивал он, чувствовалось, и в маршалы произведет меня охотно, лишь бы я что-то подписал. Ну, прямо толстовская сцена: он врёт, я понимаю, зачем он врёт, и он понимает, что я понимаю, и тем не менее... Вдруг вырвалось у него с досадой:

— Думаете, мне доставляет удовольствие всем этим заниматься? Мне в радость?

Вот это, похоже, правда. При Сталине разве уговаривали бы? Кнопку стоило нажать...

— Ильин не мог как следует организовать!

Вот тут я за Виктора Николаевича Ильина вступился, я буквально оду ему пропел:

— Зря вы его не цените, он — идеальный работник старой выучки. И действовал в лучших традициях: преступник должен быть доставлен ничего не подозревающим, должен сам, как за наградой, стремиться. Нет, таких, как он, осталось уже немного.

И еще некоторое время длится наш разговор, тягостный для обоих, но нельзя ему, не полагается отпустить отсюда человека незамаранным, да я ему помочь в этом не мог.

Однажды на Украине услышал я в официальной речи: «Партия wymagaє з нас...». Как понимаю, это означало: партия требует, ждет от нас. Но странное звучание в родственных языках обретают одни и те же слова, обнажая вдруг сокровенный смысл. Вот это и происходило в кабинете: wymagaє...

А Ильина на одной из фотографий я видел молодым: юноша из полуинтеллигентной семьи, принадлежность же к интеллигенции для новой власти была тем родимым пятном, тем пороком, который полагалось изживать, отмывать в чистилище заводов и шахт, соскребать с себя многими покаяниями, иначе путь в жизнь был закрыт. Кто у нас не проходил через бесконечные чистилища, через ложь, отречение от отцов-матерей, от самих себя, превращаясь из гонимого в гонителя. Какие судьбы втапывались! Вот так, наверное, и оказался он в надежнейшем из чистилищ.

Ильину было под семьдесят, потом и за семьдесят, когда, спущенный сверху в Московское отделение Союза писателей, держал он все нити управления в своих руках, уже исхудавших, бледных. Но так же четко работал аппарат из множества секретарш, и все вертелось, и дела делались, и бумаги подшивались. А он сохранял хорошую выправку, хотя уже и губы стали дряблыми, пришепетывал, забывчив становился, это видели, он один за собой не замечал. В огромном, необъятной высоты кабинете он скромно в обеденный час включал электрический чайник, пил чай с бутербродами, принесенными из дому. Для других в его должности держали неприкосновенным столик в ресторане: вот спустится, и будет долгое застолье, на которое никакой зарплате не могло хватить. Но странность: парикмахер Дома литераторов, бривший когда-то командующего нашим фронтом Толбухина, жаловался мне на Ильина: «Почему я должен стричь его бесплатно?

Мне не жалко, пожалуйста, но почему?». Думаю, дело тут было даже не в экономии, во всяком случае, не в ней одной: просто он считал, ему это положено по должности.

В ондатровой шапке, сшитой в литфондовском ателье, где тоже все шилось по рангу (кому — ондатровую, кому — кроличью), в демисезонном пальто, он выходил к машине, садился, захлопывал дверцу, ехал в должность. Мне он как-то сказал: «Зимнего пальто я никогда не носил, в любые морозы — в демисезонном». Но в теплой машине этого и не требовалось.

Потом он был свергнут, все как всегда: те люди, кого он поддерживал и растил, свергли его, посадили своего человека. И вот, встречая меня во дворе, он вновь и вновь рассказывал историю про какого-то проходимца Першина или Паршина, который, как ему удалось установить, присвоил себе чужой орден, а он его разоблачал, но им этот проходимец был нужен, они встали за него горой... Если бы лишь в этом дело и только — Паршин-Першин!

Как-то включаю радио — «Писатель у микрофона». И слышу такой текст: «...на снегу в Сталинграде лежал молодой капитан. Кровь текла из его губы. Этот капитан был я». По голосу — Падерин. Был такой полковник, он же литератор, он же в непонятной должности при отошедшем от дел маршале Чуйкове: то ли ординарец, то ли приближенный. Оттуда он метал на своих литературных недругов громы и молнии за маршальской подписью. Потом между ними возник какой-то денежный конфликт, и маршал погнал его со двора. И вдруг выясняется: в бытность свою комиссаром полка Падерин украл орден Боевого Красного Знамени, снял с убитого сержанта, присвоил и носил многие годы. Об этом двадцатимиллионным тиражом сообщила

газета «Труд». И что же? А ничего. Для жалостливости обзаведясь палочкой и прихрамывая, все так же приходил Падерин на писательские собрания, держал себя жертвою невинной, случалось, и с трибуны выступал: стыд не дым. Это прежде офицеры от позора стрелялись.

Ильин, удаленный от дел, продолжал жить той жизнью, которая теперь без него вертелась, собирал компромат на своих недругов, гордился, что писатели не забывают его, присылают книги с дарственными надписями. «Как хорошо, — говорил он, — что ты остаешься самим собой». Прежде почему-то именно это его не устраивало. Но, освобожденный от груза обязанностей, он говорил теперь это вполне искренне. И возмущался, возмущался теми, кто предал его, чей авторитет ранее был для него неколебим. А ведь он такую школу жизни прошел, такой многоопытный человек. Но так же, как легко понять и принять, что все люди смертны, но трудно к себе это приложить, так же, видимо, трудно свыкнуться с мыслью, что те, кого ты взрастил, тебя и предали.

Теперь он ходил зимой в рыжеватой матерчатой шубе с меховым воротником и на меховой подстежке, шапка ондатровая уже потерлась. Идет, бывало, по скользкой улице в магазин, уставясь в свои очки на кончике носа. Нередко — видел я в окно — стоит во дворе с хозяйками, они с кошелками, он с кошелкой, разговаривают. Без должности, без смысла жизни он быстро старел, перемены последних лет ошеломили его. Однажды он позвонил мне, предложил для журнала материал о прежней своей службе, еще той, до Союза писателей, до ареста: о святой святых. И говорил со мною на «вы», по имени-отчеству. Редактор журнала, я стал в его глазах как бы начальством, он явно робел. И чтобы сделать ему приятное, я заговорил о том, какой порядок был

при нем и как все измельчало теперь, развалилось. Кстати, это была правда.

Погиб он, переходя дорогу, наш Ломоносовский проспект. Возможно, вот так же загляделся в очки на кончике носа, задумался, и машина сбила его. Узнал я об этом задним числом, меня не было в Москве, когда его хоронили.

ЛЮДИ И РОЛИ

Люди живут, строят планы, рожают детей с надеждой, может, им достанется жизнь посветлей, а где-то наверху, не за облаком, а в кабинетах распределяют им роли. И не так страшен царь, как бывает страшен псать.

Сам-то наш царек в те времена, как нередко случалось в России, был жизнелюбив, но не блистал умом. А когда после инсульта часть мозга залило ему кровью и походка у него сделалась петушиная, что уж от него было ждать. Что подсунут, то и подпишет. Он коллекционировал иностранные машины, орденами себя награждал, прознавшие про эту его слабость иностранцы начали весьма для себя небезвыгодно вешать на него свои ордена. А еще до слез умилялся он, когда подносили ему свежие издания его книг про славные его деяния, которых он не совершал. Разумеется, писал не он, было кому за него писать, вряд ли он даже прочесть все это усилился, но в знак высокого расположения любил дарить приближенным авторские экземпляры, погладит переплет, да и надпишет дрожащим почерком. И хотя книг этих я не читал, но столько про них писали да по телевизору, да по радио возглашали, что один эпизод все же запомнился.

А запомнился потому, что был не сочинен, а под магнитофон рассказан с гордостью, это чувствовалось. Шла к фронту пехота, и обгоняет ее на своей машине бравый в ту пору комиссар с полков-

ничьими звездами на погонах — Брежнев. Так бы, может, и проехал, обдав пылью, но из колонны его окликнули: солдат после ранения попал в чужую часть, просил, чтобы забрали его обратно, в свой полк. Порадовался Леонид Ильич и тому, что его узнали, и вот такой приверженности солдата. И рассудил: ты пока иди, воюй, а я направлю соответствующий запрос, и законным порядком будешь запрошен и переведен... Ох, канцелярист, и мышление канцелярское. Пехотинцу жизнь на фронте отмерена короткая, пока бумаги будут ходить снизу вверх да сверху вниз, ротный писарь как раз и напишет ему похоронку, где-то на полпути бумаги встретятся.

Похожий случай и у нас был. На Украине, под Кравцами, когда немецкие танки и бронетранспортеры раздавили нашу батарею, произошло нечто прямо-таки невероятное. Солдат, фамилия Мартузалиев, бежал от бронетранспортера по снегу, тот нагонял его, непременно хотел раздавить. Мартузалиев упал, бронетранспортер, машина эта страшная, стальная, переехала его, а он — представьте! — остался жив. Снег ли был глубокий, гусеница ли широкая, но выпало такое счастье человеку.

Двигается наш полк к фронту, я к тому времени тоже из госпиталя вернулся, движутся пушки за тракторами, оттесняя пехоту к обочине, грязь ботинками месить, и слышу сквозь рокот трактора: «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!...». Мартузалиев! Из госпиталя, из запасного полка загнали в пехоту. «А ну, иди к нам!». Он было засомневался: вдруг хватятся, еще за дезертира сочтут. Да кто хватится? И всю оставшуюся войну провоевал он в нашем полку, в своей батарее.

Но это — к слову. А в те времена, о которых я рассказываю, Брежнев сидел в своем кабинете в сером здании ЦК, а через площадь, в другом здании,

на Лубянке, в кабинете, куда нормальному человеку и войти страшно, столько здесь кровавых дел вершилось, столько людей в подвалах замучено, сидел тот, кто сменит его: Андропов. Его путь наверх — обычный путь изломанной души, путь предательств, а предадут в первую очередь тех, кому больше всего обязан. Вот так предал он в свое время Куприянова, секретаря ЦК Карелии. Тот выдвигал его, опекал, секретарем ЦК комсомола Карелии сделал, пришло время Куприянова сажать, Андропов против него свидетельствовал.

Вот в этих двух зданиях судьбы решались, за каждым записывались его грехи. В сотнях кабинетов на разных этажах сидели писаря разных рангов и званий, каждый по соответствующей норме накормлен, удовлетворен, убажен, да еще надежда оставлена: будешь усерден, удачлив — переместишься в кабинет повыше. Вот они-то и ведали судьбами, они составляли списки, подавали на подпись, а по этим спискам то одного, то другого выдергивали на позор.

Год 1973-й, развернулась травля Сахарова и Солженицына, все новые и новые голоса требовались в общий хор. Сохранились у меня на пленке голоса моих коллег, с каким гневом клеймили они по радио и с экрана гонимых, сейчас о тех своих выступлениях хотели бы забыть. И доярки, и академики, и плотники, и писатели именитые кинулись дружно, как у нас и полагается, побивать словесными камнями. Вот тут и про меня вспомнили. Начали раздаваться звонки из редакций. Обычно милый женский голос сообщал, что такой-то, такой-то и такой-то уже откликнулись, написали им о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», выразили свое возмущение, они не сомневаются, я тоже присоединюсь. Это подавалось как дело чести. Ответ мой был стандартен: этой книги Солженицына я не читал,

пришлите, прочту. Как это они пришлют, когда они ее и в руки брать брезгают. Возникла долгая пауза. И холодел голос: но вы верите нашей газете? Я объяснял терпеливо: у меня правило — не высказываться о том, чего не читал. Особенно настойчивы в те дни были «Советская культура» и «Правда». Сначала звонили рядовые сотрудники, потом — выше, выше.

В «Известия» написал Войнович: позвольте через Вашу газету выразить презрение всем токарям, слесарям, академикам, Героям Социалистического Труда и т. д., и т. п., кто участвует в травле. Он свою судьбу решил, он уезжает из страны, он хлопнул дверью, но я уезжать никуда не собирался, для меня это значило то же, что от себя самого уехать. И я о сущем чуде мечтал, чтобы обо мне забыли. Не нужно мне ни чинов, ни орденов, забудьте. Но видел уже: не оставят добром, нельзя допустить, чтобы человек сам распоряжался своей совестью, твоя совесть не тебе принадлежит.

А были, были за мной грехи записаны. И рецензия на повесть «Один день Ивана Денисовича», на нее Твардовский ссылался в письме к Федину, стыдя его за отступничество, а Федин возглавлял Союз писателей, и был он человек обидчивый, памятливым. Еще в институте в Литературном, ничего не смысля, зашел я как-то на семинар, который он вел, послушать зашел, и дернуло же меня спросить: а как это получается, вот читаешь книгу, и не то видно, про что рассказывается в ней, а видишь, как трудно ее писали, прямо потом от нее разит. Я и сам в тот момент не отдавал себе отчета, что подсознательно его роман «Первые радости» имею в виду, я не догадывался, а он догадался сразу. И, благодущный, барственный, оскалился вдруг: «Вы почему меня спрашиваете? Вы мою книгу имеете в виду?..»

Второй же мой грех — публичное выступление в защиту «Ракового корпуса». Было устроено обсуждение книги, вот тогда я впервые увидел Солженицына: небольшая вокруг лица подстриженная рыжеватая шкиперская бородка, модная куртка с шерстяными рукавами и замшей на груди, взгляд поверх голов и лиц: шел боец на бой с нами.

А третий мой грех такой: вызвали меня в отдел культуры ЦК и там предложили прочесть рукопись пьесы Солженицына «Олень и шалашовка», вручить мне ее хотели. Я спросил, как положено по авторскому праву: автор дал согласие, чтобы его пьесу читал я? Мне назвали ряд известнейших имен, они прочли, выражают свое возмущение. Так же, как я, они знали: пьеса конфискована при обыске. Я отказался взять рукопись. В дальнейшем на заседании парткома Сергей Сергеевич Смирнов высмеял меня за это: «Бакланов, видите ли, отказался. А я прочел». Его имя в ту пору много значило, его телевизионные передачи смотрели все, его узнавали на улицах, он реабилитировал героев Брестской крепости, вернул их к жизни. Вечная для меня загадка: как такие несовместимые вещи уживаются в одном сердце?

И опять стала передо мной та же проблема: куда-то надо деваться. Но не набегаясь. Да и стыдно мне бегать, что я, преступник государственный? В поселке же нашем под Москвой столько глаз, что оставаться там было нельзя. И решили мы с женой так: буду сидеть в Москве один, на звонки не отзываться, если крайняя нужда, она позвонит условным звонком, положит трубку, а я перезвоню. Не бог весть какая конспирация, но все же...

И вот сижу я днем, работаю. Звонок телефона. Я не снимаю трубку. Он звонит, а я печатаю на машинке сценарий. И продолжалось это с короткими перерывами — замолчит и вновь звонит — два-

дцать одну минуту по часам. Не выдержал, взял трубку. И женский голос, как показалось мне — телефонистки, накаленный голос: «Почему не берете трубку?» — «А вам какое дело! У меня за телефон уплачено!».

Я оделся, закрыл квартиру, вышел во двор. За четырнадцать лет, что стояли наши дома по сторонам кинотеатра, образуя как бы квадрат, деревья и кустарники во дворе разрослись. Я сел на дальнюю скамейку, жду. И вот подъезжает черная «Волга», остановилась возле нашего подъезда. Дверца открылась, вышел товарищ в сером костюме, обойдя машину, вошел в подъезд. Примерно столько времени, сколько требовалось, чтобы подняться на седьмой этаж, постоять безуспешно перед закрытой дверью и вернуться, он пробыл там. Машина отъехала.

С улицы, из автомата, я позвонил Марлену Хуциеву, он был дома, я сказал, что сейчас приеду к нему. Когда-то давно, прочтя мою повесть «Пядь земли», он пришел познакомиться, сразу предупредил, что ставить фильм по повести не собирается, а хотел бы вместе со мной написать сценарий. И рассказал — о чем. Меня это не интересовало, я писал другую книгу. Но минуло больше десяти лет, и я дал ему прочесть мой рассказ «Почем фунт лиха». Уже несколько режиссеров предлагали поставить фильм, но весь мой предыдущий опыт работы в кино не радовал. Пришло предложение западногерманского телевидения, я даже не ответил. Да, это были бы немалые деньги, но что сделают там из моего рассказа, я не знал, а прав у меня никаких не было, в авторскую конвенцию мы тогда еще не вступили.

Рассказ небольшой, страниц восемнадцать на машинке, читал его Хуциев, не соврать, месяца три. И сказал: «Я бы поставил по нему фильм. Но я

не могу сказать уверенно, что я буду его ставить...». Тем не менее вскоре мы начали писать сценарий. И вот, захватив пишущую машинку, кое-какие вещички, рукопись взяв, ехал я к нему. Рассказал, как и что. Потом сидел у него в квартире, ждал, пока он ездил за путевками в Дом кинематографистов, в Болшево. И на его машине мы уехали туда.

Фильм в дальнейшем по первой фразе рассказа назвали мы «Был месяц май». И хорошо нам работалось, понимали друг друга с полуслова. Как-то я сказал Марлену: «Вот представь: смотрю я в окно на людей, они заняты своими делами, свои заботы у каждого, а я на них смотрю, и один я знаю, что завтра мир исчезнет, этот день — последний. А они не знают, ведут себя как всегда. Понимаешь, с каким чувством я бы смотрел на все вокруг? Вот и предвоенную хронику я так смотрю: я знаю будущее этих людей, что их ждет, а им оно неизвестно. Как в фильме это чувство передать?». И он смог. И самое для меня удивительное, что он, не воевавший (да и не мог он ни по возрасту, ни по здоровью), так точно почувствовал, что чувствовали мы в первые дни мира, еще не отрешившись, не веря еще, что война кончилась.

И вот сидим мы с ним, работаем затворнически в Болшево, и приезжает Геннадий Шпаликов. Вечером. Один. На нем — белые, растоптанные, черна пропотелые кеды, лицо отекающее, живот огромен: это распухла печень. В такие запойные или послезапойные дни здесь, в Болшево, директор Дома принимал его без путевки, без денег, кормил, поил, выхаживал, стол и кров для него всегда здесь были. Какой яркий талант и как быстро просверкал он!.. А многие его строки у меня в душе: «И на валенках уеду в сорок первый год... Там, где мама молодая и отец живой...». Не знал он, когда писал это, что недолго уже осталось, скоро он соединится с ними.

На следующий ли день или через сутки поехали мы на машине Хуциева на рынок, обалдев от работы, захотелось перерыв сделать. Марлен куда-то отошел, а я стою у машины. Подходит Шпаликов: «Дайте рубль...». Лицо водянисто-опухлое, дышит тяжело. Понимал я, нельзя давать, гибнет человек, но как не дашь? Вот так последний раз я его видел.

Вернулся Марлен, заодно газеты купил. Уже в машине раскрыл «Правду», на видном месте — письмо: клеймят Сахарова и Солженицына, чье поведение «не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения...». И — подписи. Некоторые ошеломили меня. Не буду перечислять, это все были известнейшие имена.

В «Бесприданнице» Островского, склоняя Ларису к сожительству, старик купец Кнуров говорит: стыда не бойтесь, я могу заплатить такую цену, что самые смелые критики умолкнут...

Все, кто подписал это письмо в «Правду», стали впоследствии Героями Социалистического Труда. Некоторые, впрочем, были уже удостоены, но кто еще не был Героем, стал им.

ПАРОДИЯ

На VII съезде Союза писателей произошел со мной некий казус, другого слова и не подберу.

Обычно съезды проходили торжественно, на несколько дней писателей допускали в Кремль, в тот самый зал, где еще со сталинских времен собирали съезды партии, пока посреди старинных соборов не воздвигли стеклянный сарай — Дворец съездов. И все дни на съезде писателей обычно присутствовало правительство: в первый день до перерыва сидело политбюро в полном составе, потом сменяли друг друга, но все равно было кому надзирать. Присутствие высшей власти предопределяло: ничего лишнего, возмущающего слух, сказано делегатами

не будет, каждый, кому разрешат выйти на трибуну, вышьет свои узоры по готовой канве. Да и узоры-то эти просматривали заранее: видел я, как тогдашний зам. зав. отделом культуры ЦК водил пальцем по строчкам заготовленной и отпечатанной на машинке речи известного писателя, в прошлом — фронтовика, моего ровесника, и тот послушно вычеркивал то, что «не так может быть понято». А внешне все выглядело вполне пристойно: беседуют дружески писатель и партфункционер. Ну, а уж кого посадить в президиум — эти списки утрясались, взвешивались, согласовывались, и окончательно их утверждали в высоких кабинетах.

И вот — съезд, в зале речь о духовных ценностях, а в гостинице «Россия», в полуподвальном этаже, тем временем уже раскладывают на прилавках богатства иные: сюда устремляются вечером делегаты с женами: покупать! И какие страсти разгораются, какие обиды. Кто-то будет осчастливлен, кто-то уязвлен: как в кремлевском зале.

Дня за два до съезда Георгий Мокеевич Марков собрал у себя в кабинете делегатов от Москвы, знакомя в общих чертах с расписанным сценарием, и, как бы между прочим, сказал, что там, в президиуме, в Кремлевском Дворце, может быть прохладно от кондиционеров, потому он советует быть в костюмах и в галстуках. Мне бы как раз и прислушаться, оценить деликатность и даже тонкость этого замечания: я сидел в летней полувоенного вида рубашке с короткими рукавами. И вот в таком виде явился в Кремлевский Дворец. Началось ритуальное действие, выбирали тех, кому сидеть все дни лицом к залу, в президиуме, рядом с правительством. Вдруг слышу свою фамилию. Голосуют. Поднявшись с разных мест, идем из зала в президиум, образуется у подножия ступеней небольшое скопление, и Грибачев бубнит мне в спину: «Костюм надо было

надеть...». А я — не оборачиваясь: «Вы знали заранее, вам там сидеть, а я откуда мог знать?». Но в том-то и дело, что знать ничего не требовалось, надо было просто прочесть. Всем делегатам выдали так называемые дипломаты, в них — набор скучнейших отчетов из всех республик, которые никто не читал и читать не станет, а еще — блокнот, ручка, записная книжка — стандартный набор. Я как получил «дипломат», так и поставил дома, даже не заглянув туда. А напрасно. В этот раз и на моей записной книжке, оказывается, было золотое тиснение:

**Президиум
VII съезд
писателей СССР
Москва 1981 г.**

Но выдвигают, голосуют: «Кто — за? Против? Воздержался?», а имена тех, кому в президиуме сидеть, уже в бронзе отлиты. И вот — политбюро в полном составе, правительство, высшие армейские чины, мундиры, костюмы, галстуки, один я в чем-то летнем с короткими рукавами. И уж не знаю, от кондиционеров ли, от взглядов, но мне и правда холодило спину.

Однако было это в 81-м году. И вот июнь 1986 года, еще звучны, не стерлись слова «перестройка», «ускорение» (надо же такие подобрать), но уже появились частушки веселого содержания: «Мой миленок сделал в койке лишнее движение, думал, выйдет перестройка, вышло ускорение». Позже пойдут и анекдоты: «У нас как в тайге: вершины от ветра шумят, а внизу — тишина...». Но в среде интеллигенции, особенно столичной, — небывалый энтузиазм. Уже на съезде кинематографистов так разгорелись страсти, что без всякой подготовки свергли старое руководство, ожидалось нечто и на нашем съезде.

На прошлом съезде, когда Брежнев был уже в полном маразме, зашептались, зашептались по кулуарам, что, дескать, решено: Федин, почетно возглавлявший Союз писателей, подает в отставку, председателем станет Марков, первым секретарем — некто помоложе. «Писатель без власти — не писатель», — в простоте душевной изрекла одна из руководящих писательских жен, и фраза эта стала крылатой. А этот «некто» известен был своей ненасытной жаждой власти. Власть у нас — все. От нее — и благополучие, и даже талант. Это где-то талант — от бога, а у нас им власть наделяла.

Он только что получил и орден Ленина, и Ленинскую премию за длиннейший, многосерийный во славу Сталина фильм, в нем была представлена вся галерея маршалов, и ныне здравствующие, как на подбор, были и умней, и заслуженней, и куда значительней умерших. Специально для избранных был устроен просмотр, маршалы глядели на себя и одобряли. Епишев, начальник Главпура, удостоенный звания Героя Советского Союза через тридцать три года после окончания войны, так тот на экране даже поучал маршала Жукова, как ему воевать: Жуков в то время был в опале, а Епишев — в силе, от него зависело, быть фильму или не быть. Имея такую, можно сказать, бронетанковую поддержку, с такими заслугами да Маркова не одолеть!..

Но Симонов поехал к Федину, объяснил положение вещей, уговорил не уходить с поста, и, когда Марков, Верченко и заведующий отделом культуры ЦК Шауро прибыли в Переделкино принимать отставку, Федин, имевший прозвище «чучело мертвого орла», а в жизни — прекрасный актер с богатыми голосовыми модуляциями, встретил их на даче такими словами: «О, хитрецы, хитрецы! Знаю, приехали уговаривать меня остаться. Ладно, остаюсь!...». И, как сказано у классика, «и пошли они,

солнцем палимы», а точнее — расселись сообразно чину в «Чайки» и «Волги» и отбыли докладывать Суслову. И верховный идеолог Суслов сказал: «Федин — это Федин...». Достойные войти в историю, слова эти означали: не будем менять декорации, они хоть и обветшали, но еще послужат верно.

Но на VIII съезде ожидалось иные перемены, шло закулисное шептание: «Маркова будем валить...». Однако началось все, как всегда: Марков вышел на трибуну, положил перед собой доклад, рассчитанный на час с небольшим; сделать, скажем, получасовой доклад было бы просто неприлично, не соответствовало величию происходящего. И вот он ровным голосом читает скучнейшее это произведение канцелярской мысли, отпечатанное без единой помарки на лучшей финской бумаге. Во время такого успокоительного чтения кому-то и вздремнется, а другого, наоборот, захлестывает вдохновение. Однажды плод такого вдохновения, забытый вместе с газетой, попался мне на глаза, и я прочел на полях: «Ты послушай меня, будь ласка, я вернулся, друзья, из Дамаска...». И дальше, само собой, была и «сказка», много чего было дальше: в порыве чувств писал человек. Неужели эти вирши так и пропали, утрачены навеки?

Но всегда настает момент, которого более всего ждет зал: начинается распределение по рангам, называют имена, книги. И все обращается в слух: «Упомянут? Не упомянут?...».

И упомянутые в докладе, оглашенные, вскоре выходят, смущая несолидным поведением кремлевскую охрану в дверях: правительство сидит в президиуме, а эти бродят. Но внизу — кремлевский буфет, нежнейшие сорта рыб, икра, настоящие, нецеллофанованные сосиски, вкус которых обычными советскими гражданами давно забыт. Помимо сиюминутного удовольствия, эдакого по-

глаживания по самолюбию, быть упомянутым в докладе означало и нечто более вещественное: переиздание книг, прочие, прочие блага. Упомянут, значит, ты есть — в отличие от тех, кого как бы и нет. И упомянутые ели с аппетитом, принимали поздравления. Ели, хотя и без аппетита, и неупомянутые, презирая упомянутых, всем своим видом давая понять, что им это вовсе и не нужно.

А Марков стоял на трибуне, аккуратно перекаладывал прочитанные страницы, скопческое лицо его, на котором почти ничего не росло, блестело гладкой кожей, маленькие зоркие глаза поблескивали, голос поздравителен и тих. Вдруг на какой-то фразе запнулся. Помолчал. Опять ту же фразу прочитывает заново... Молчание... И уже смотрят на него с тревогой, тревога прошла внизу. Снова, как в забытии, читает он с запинаниями все ту же фразу... И разворачивается, разворачивается боком к залу, взгляд отрешенный, меркнувший... Из президиума рванулся к нему Верченко, из зала — врачи. Все произошло как-то быстро, умело. Подхватили, осторожно сводят под руки, свели, ведут к дверям... После краткого замешательства поручили Карпову читать доклад, он извинился, что текст ему не знаком, и читал, как по кочкам ехал.

В перерыве все кинулись допрашивать врачей: «Что? Как?», — забыв, что есть такое понятие: врачебная тайна. Отвечали: инфаркт. Позже — спазм. А еще позднее распространился слух, и говорили уверенно: все это — инсценировка, знал, предвидел, что произойдет на съезде, а лежачего не бьют... Не знаю, не решусь утверждать. Я сидел с правой стороны, как раз туда и разворачивало его на трибуне, я видел отрешенное его лицо, на миг меня даже страхом обьяло: рухнет.

Тогда же, в перерыве, подошел ко мне Залыгин: «Ну как после этого станешь его критико-

вать?». Оба они сибиряки, были на «ты», за что-то Залыгин держал на него обиду. Собирался ли он в самом деле критиковать Маркова — не знаю. У меня этого и в планах не было. Каждому овощу — свое время. Сталинскому царствованию требовались пышные декорации, личности, они еще были, отстрел шел плановый, не всех истребили враз. И социалистический реализм обосновывал Горький (знал ли он, что это такое?). Его со временем, не сразу, сменил на посту Фадеев, тоже человек незаурядный. Отдавая писателей на погибель, одного за другим, он на адовой этой службе и талант свой погубил, и душу продал дьяволу. А, видно, болела душа, не зря заливал ее вином, так и жил под наркозом.

Александр Трифонович Твардовский рассказывал мне, как был у него разговор с Фадеевым про аресты, какие идут по стране. Я выясню, сказал Фадеев и при следующей встрече разъяснил: арестовано всего... Он назвал цифру с точностью до единицы: девятьсот с чем-то человек. Миллионы уже сидели по лагерям, миллионы расстреляны, уморены голодом — девятьсот с чем-то... «Если ты не веришь — тебе не место в партии». Вот так он сказал. И взгляд у него был в тот момент... Впрочем, я и сам наблюдал у него этот взгляд человека, который все человеческое оставил за чертой, переступил.

Маркову выпало возглавлять Союз писателей в пору, о которой у Булата Окуджавы сказано: «Римская империя времени упадка / Сохраняла видимость строгого порядка: / Главный был на месте, соратники — рядом, / Жизнь была прекрасна, судя по докладам...».

Безликому времени нужен был безликий канцелярист. И из нашего ведомства литературы тоже исходили поздравительные доклады. Все строилось по образу и подобию, повторяя даже в мелочах

то, что делалось «наверху». И почему, в самом деле, Маркову не возглавлять Союз писателей, если во главе страны — Брежнев? Да ведь и он не худший, если на его окружение поглядеть, оно так и подбиралось, чтобы главный, даже в маразме, оставался на полголовы выше других.

Мало кто помнит, что до Брежнева президентом числился Подгорный, про которого говорили, что он в своем президентском достоинстве принял итальянского посла за испанского и имел с ним дружественную беседу... В день, когда без всяких объяснений его отправили на пенсию (как сметают с подоконника засохших мух), я остановил на улице Горького «левую» машину. Был это черный ЗИМ, возможно, ранее возил он кого-то из министров, большая машина, сиденье двухспальное, шофер солидный. Слово за слово, и он говорит: жаль Подгорного. А чем вы его можете вспомнить, что он вам хорошего сделал? Ну, наверное, все же обидно ему теперь... С этим не поспоришь.

В своем окружении, которое Марков сам же подобрал, был он заметной фигурой. Взять хоть того же Сартакова, тоже призванного на должность в Москву из Сибири.

Вот, кстати, интересный феномен: в 41-м году спасти Москву, на помощь московскому ополчению, на помощь остаткам кадровой армии прибыли сибирские дивизии, и много под Москвой полегло сибиряков. Но наши руководящие сибиряки, в послевоенное время хлынувшие в Москву, почему-то все, как один, не были на фронте. Зато к 40-летию Победы, когда награждали орденами Отечественной войны, первым, вместе с Героями Советского Союза, получал боевой орден и Георгий Мокеевич, — прямо в Союз писателей, в кабинет к нему прибыли высокие армейские чины, и там происходило торжественное вручение.

Так вот — Сартаков. Он когда-то пробовал петь, но повредил голосовые связки, и нам уже досталось слышать просто-таки женский сиплый голосок, из-за этого однажды совершил я непростительную ошибку: позвонил ему, а секретарши на месте не было (не помню, как ее звали, допустим, Мария Павловна), и трубку телефона, чего ожидать было невозможно, снял он сам. «Мария Павловна?» — «Это — Сартаков!...». Мне бы затихнуть, положить трубку, а я извинился и продолжал разговор. Какое после этого должно быть ко мне отношение, если я спутал его с женщиной, с секретаршей?.. А еще была у него склонность, как у всех не шибко образованных людей, иностранное словцо подпустить в разговоре. Вызвав к себе консультанта иностранной комиссии, на которую нажаловались арабские коммунисты и ее из-за этого увольняли, он так разъяснил причину: «Вы — персоне не грата... Понимаете?».

После неудавшейся певческой карьеры стал Сартаков бухгалтером, писал годовые отчеты, а там и романы пристрастился писать. Его и определил Марков контролировать финансы и ведать изданиями, то есть самое главное держать в руках: кого не издавать, чью книгу издать, а кому и собрание сочинений поднести к юбилею. Уж тут-то Сартаков себя не обижал. И вот в издательстве «Художественная литература», в «Роман-газете» печатается очередной его роман под названием «Козья морда». «Роман-газета» в то время выходила с фотографией автора на обложке. И представил себе зрительно директор издательства Косолапов, как это будет выглядеть: резко сужающееся к подбородку лицо Сартакова, а под фотографией — «Козья морда»...

Летели мы с Косолаповым в Болгарию, и он, смеясь, рассказал, как звонил автору: мол, прочел ваш роман, прочел, огромная в нем философская глубина, хорошо бы, чтоб и в названии это как-то

отразилось... И вместо «Козьей морды» назван был роман «Философский камень», так и подписано было под фотографией.

Нет, повторяю, Марков был не худший, дела при нем в свете исходивших сверху указаний велись исправно, а сам он определенно возвышался над своим окружением. Бывало, подъезжает к старинному «Дому Ростовых»... Если это действительно дом Ростовых, описанный в романе «Война и мир», как тут не вспомнить возвращение Николеньки с войны:

«Ростов, забыв совершенно о Денисове, не желая никому дать предупредить себя, скинул шубу и на цыпочках побежал в темную, большую залу. Все то же, те же ломберные столы, та же люстра в чехле; но кто-то уже видел молодого барина, и не успел он добежать до гостиной, как что-то стремительно, как буря, вылетело из боковой двери и стало целовать его. Еще другое, третье такое же существо выскочило из другой, третьей двери; еще объятия, еще поцелуи, еще крики, слезы радости. Он не мог разобрать, где и кто папа, кто Наташа, кто Петя. Все кричали, говорили и целовали его в одно и то же время...

Петя повис на его ногах.

— А меня-то! — кричал он.

Наташа, после того, как она, пригнув его к себе, расцеловала все его лицо, отскочила от него и, держась за полу его венгерки, прыгала, как коза, все на одном месте и пронзительно визжала.

Со всех сторон были блестящие слезами радости, любящие глаза, со всех сторон были губы, искавшие поцелуя».

Черная «Волга» Георгия Мокеевича Маркова осторожно въезжала в ворота, огибала скверик, где на каменном пьедестале задумался Лев Толстой, и останавливалась у главных дверей. Открывалась

дверца, нога в вычищенном до блеска ботинке ступала на асфальт, зимой — на разметенный снег. И, не испачкав подошв, в шубе с бобровым (или из выдры?) воротником, добротной такой шубе, какую шьют один раз и на всю жизнь, не успевший раскраснеться на морозе, прямо из теплой машины в тепло, Георгий Мокеевич поднимался по двум маршам мраморной лестницы, и мраморная нагая дева в нише, по мере того как он пушистой меховой шапкой достигал ее подошв, коленей, выше, выше, прикрывала мраморной рукой свое очарование.

Отразясь на последней ступеньке в полный рост в старинном зеркале, он соступал с мрамора на паркет навстречу самому себе, выходявшему из зеркала, а уже разносилось дуновением: «Прибыл! Идет!». И все живое почтительно уступало дорогу, и во всех комнатах и отгороженных клетушках, над всеми канцелярскими столами охватывал служащих трудовой энтузиазм.

Он же, в шубе и шапке, мерным шагом шел мимо белых старинных закрытых дверей той самой залы, где теперь не ломберные столики, а буквой «Т» сплошной огромный стол для заседаний под зеленым сукном, где и воздух, и сукно, и стены впитали запах окурков, входил в приемную, в свой кабинет, увешанный дареными коврами, раздевался, причесывался, садился за стол, и согласно рангу и чину начинали входить к нему с папками для доклада. Департамент оживал.

Не могу опять не отвлечься. Однажды в Дубултах, в июльский жаркий день, когда и солнце и море слепили настолько, что без защитных очков невозможно было смотреть, появился на пляже Георгий Мокеевич. Он только что прибыл и шел по песку в своих черных, вычищенных до блеска кожаных ботинках, в темном костюме, в галстукe, а в море плескались, а на белом песке, как на лежбище,

грелись загорелые тела, они выглядели неприлично обнаженными, когда он проходил мимо.

Возможно, совпало так, но в тот день всех писателей и их чад и домочадцев кормили в обед икрой.

И другое совпадение: к вечеру, когда огромное на закате солнце уже коснулось моря и море на всем пространстве засияло, по берегу, тоже в ботинках, в костюме и в галстук, прошел, гуляя, премьер, Алексей Николаевич Косыгин, прибывший на отдых в свою резиденцию. Не было замечено торпедных катеров на рейде, но со стороны суши его сопровождала охрана: спереди, сбоку и в арьергарде. У каждого охранника в руке — маленький чемоданчик. Прошел он по пляжу в сопровождении охраны и на следующий день, но был уже без галстука, лицо его, обычно сумрачное, нездоровое, лицо человека, который вслед за жизнелюбивым Брежневым считает и считает, подсчитывает, во что в рублях обходится бодрое царствование, было на этот раз слегка освежено загаром. Но Георгий Мокеевич и на другой день в жару прогуливался по пляжу в темном костюме, в галстук, и среди множества следов босых ног на мокром песке четко печатался след его ботинок. Обнаженным, купающимся видеть его не довелось.

И вот врачи под руки сводят его с трибуны и дальше, дальше, и дворцовые двери закрылись... И заволновался съезд. О чем? Да все о том же. В министерстве и волнения все — министерские: кого назначат, что кому от этого перепадет? Хотя, казалось бы, единственная власть, которой может и должен обладать писатель, — власть духовная, власть над душами и умами людей. И достигается она не должностью, не внешними отличиями, а единственно силой таланта, силой нравственного примера. Но в залах, в коридорах, во дворцовых палатах, в Георгиевском зале, где золотом по мрамору — име-

на героев, кому благодарно отечество, шло великое шептание. Не просто так прогуливались по наборному паркету властители дум, составлялись партии, зрели планы... А может, просто воздух дворцовый таков? Какие только планы и заговоры не зрели здесь, каким еще суждено быть!

И позади президиума, там, куда не всех допускают, для чего и поставлены у дверей вежливые люди в штатском, тоже шло невидимое борение. Каюсь, в том, что первым секретарем Союза стал в конце концов Карпов, есть и моя доля вины. Не решающим был мой голос, далеко не решающим, знаю и других, кто его предлагал, а еще больше — не знаю. Была незримая рука, которая двигала его, и, кажется, не одна рука, в этом я в дальнейшем мог убедиться.

И ничему не учит опыт жизни. Когда нет имени, авторитетного для всех, когда рвутся к власти самые ярые, решают до наивности просто: надо, чтобы кто-то занял место, хоть шляпу на кресло положить.

Мог ли я тогда думать, что пройдет не так уж много времени и Карпов потянет и журнал «Знамя», и меня в суд, и будет происходить нечто позорное? Но это — отдельный рассказ.

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ

Курить я начал в госпитале, в Красном Лимане, в 43-м году: покуришь — и есть не так хочется. Лежали в нашей офицерской палате в основном тяжело раненные, в общей сложности я в тот раз полгода провалялся по госпиталям. А кормили так: жив будешь, но больше ничего не захочется. Однако молодость брала свое. И вот когда я уже был ходячим и только левую руку, как ребенка грудного, носил на перевязи перед собой, настигла меня любовь. Она — врач, старше меня лет на восемь, красивая, казалось

мне, никого красивее ее нет. Любила ли она меня или жалела — не знаю.

И вдруг на короткий срок с фронта прибыл ее муж, летчик. Вхожу к ней в кабинет на перевязку и по лицу ее понял, кто это. Помню, жутко покраснел. Жив ли он остался на войне? Жива ли она сейчас? И где? В своей Эстонии? Какие светлые были у нее глаза, какими они бывали ласковыми. А ведь может случиться, что, встретясь теперь, мы друг друга уже не узнаем.

В институтскую пору я по бедности курил махорку. И хотя в дальнейшем и «Золотое руно» курил из трубки, привезенной с фронта, и самые дорогие сигареты, для меня с дымком махорочным весь фронт связан.

Но родился сын, жили мы за шкафом, впятером в одной комнате, и надоело мне выходить на лестницу, выкуривать сигарету наспех, а потом все равно дышишь на сына табачным перегаром. Марк Твен утверждал, ничего нет легче, как бросить курить: он, мол, бросал раз тридцать. То же и со мной происходило. А бросил совершенно неожиданно, и вот как это получилось, могу поделиться опытом.

В тот день я купил в запас двадцать пачек сигарет «Лайка», были такие сигареты с милой мордой собаки, которая проложила дорогу в космос всем нашим прославленным космонавтам, на ней испытывали, что им придется испытать. Так вот, набрал я сигарет, взял на почте газеты, письма за целую неделю и поехал за город, на дачу, к семье. Было лето, в Москве — бензиновая гарь, зной, и оказаться после городской суеты, холостяцкой жизни всухомятку вдруг за семейным столом, когда и по левую и по правую руку от тебя сидят дети — что еще душе надо? А потом в кабинете открыл я окно в сад, закурил и в таком блаженном послеобеденном состоянии разворачиваю «Литературную газету»: поглядим

сквозь табачный дым, что пишут. А с газетного листа в глаза мне — моя фамилия. Большая статья Грибачева на самой первой полосе, ею, в сущности, газета открывается. И пишет он, что водораздел в русской литературе «отделяет Пушкина от Бенедиктова, Некрасова от Надсона, «Судьбу человека» М. Шолохова от «общечеловеческой» «Пяди земли» Г. Бакланова».

Заканчивалась кратковременная хрущевская оттепель, сменяли ее крутые заморозки, уже Хрущев стучал кулаком по столу, созвав к себе интеллигенцию, и такой вот Грибачев, известный со сталинских времен погромными делами, вновь становился надеждой и опорой, и его статья рассматривалась уже как прямое указание свыше. Что за этим следует, я знал по собственному опыту. Молодой критик Барабаш, переживший войну и оккупацию на Украине в нежном возрасте, именно разгромнейшей статьей об этой моей повести сделал первый заметный шаг в карьерные выси. Он писал, что и воевали мы не так, и совсем не о том думали солдаты на фронте: ему это лучше было знать. Карьера в Харькове или в Киеве была тогда еще не карьера, заветное — в Москве. Его статью напечатала правительственная газета «Известия», выдержки из нее украшали суперобложку французского издания «Пяди земли»: хорошая получилась реклама. А Барабаш перебрался в Москву, рос быстро: зам. редактора «Литературной газеты», зам. зав. отделом ЦК (как оно звучно пролаивалось: замзав!), уже и черную машину «Волга» подавали под него...

Есть у меня странная привычка: иногда я мысленно переодеваю людей, так легче представить человека в других обстоятельствах. Глянув как-то на Барабаша, на светлые его, негустые волосы, лоб белый, особенной белизны, глаза голубоватые, холодные, я мысленно примерил на него эсэсовскую фу-

ражку и поразился... Конечно, быть бы ему со временем заведующим отделом: смекалист, не глуп, ум схватчивый, не созидательный, такой и требуется, чтобы не дело делать, а расти, но ранний инсульт подкосил.

А еще был у меня сосед, Иван Тимофеевич Козлов, в прошлом — армейский политработник, ставший литературным критиком. Он трижды, в трех статьях, громил эту мою повесть, статьи его я не читал, но, встретив у лифта, сказал: «Вы бы хоть бутылку поставили, все же трижды получили гоно-рар». Был он мужик неплохой, но богобоязненный и службу знал. И дернуло же меня сказать ему в его кабинете (а он к тому времени подвинулся высоко, стал главным редактором издательства «Советский писатель» и полтора года упорно не пропускал «Пядь земли» в печать), дернуло же меня сказать ему: «Вы все-таки на фронте были, должны знать...» И рассказал я ему, как 11 октября 43-го года (как раз в этот день меня ранило) под Запорожьем пошли в контратаку немецкие танки и рядом со мной в траншее убило пехотинца. Он только спрыгнул туда с термосом на спине, завтрак принес пехоте, и — разрыв снаряда. Лежит он убитый, ничком, крышка термоса открылась, и на спину ему, на землю ползет густой пшениный кулеш, белые куски сала. А я вторые сутки не ел, и — ложка за голенищем. Если б не люди кругом, если б стыд не останавливал, я бы хоть пару ложек того кулеша ухватил под обстрелом. «То — война, — сказал Иван Тимофеевич, — и совсем другое дело — литература».

В следующей его статье все это появилось как пример натурализма в повести «Пядь земли». Он же, кстати, первым поставил на повести клеймо «окопная правда».

Однако время прошло, все вроде бы улеглось, с чего это Грибачеву заново подымать волну?

Случайностей тут не бывает. А главное, на «Мосфильме» как раз на следующий день должны утверждать план запуска фильмов в производство, среди них — режиссерский сценарий по этой моей повести. Неужели специально подгадано? И подумалось: будь что будет, а вот я возьму за это да и брошу сегодня курить, хоть какая-то мне польза. И бросил. Несколько лет спустя рассказал я об этом Алексею Суркову, был какой-то прием, стоим мы с ним рядом у шведского стола, набираем себе в тарелки, и я рассказал, как бросил курить. «Хоть этим Грибачев послужил литературе!» — не упустил Сурков случая, у них с Грибачевым давние были счеты.

И вот — «завтра», сидим в кабинете директора «Мосфильма» Сурина, утверждают один сценарий, другой. Подходит очередь «Пяди земли». Ждал я этого момента, но не один я ждал. Сразу же встает парторг Шавкуненко, заходит за директорский стол, как за трибуну:

— Товарищи!

Ах, не знаем мы своего будущего. И полугода не пройдет, как дочь его, дочь парторга главной киностудии страны, останется в Италии, совершит позорнейший по тем временам антипатриотический поступок, несовместимый с гордым званием советского человека. А вскоре Шавкуненко будет тяжело умирать от рака, рак горла уже съедал его, когда он, перенапрягая гортань, произносил свою страстную речь. А произносил он ее, как могло показаться, в мою защиту, киностудия, мол, должна защищать своих авторов. Вот выпустили фильм по повести Казакевича, а критика разнесла его. Так давайте не торопиться запускать фильм в производство, пусть автор еще и еще поработает, если уж раздалась критика.

Какая критика? — вскинулся Сурин, придремавший было под привычный поток слов. Кто

критикует? Где? Да вот же! И из пачки непрочитанных газет на столе достает вчерашнюю «Литературку». Вот, пожалуйста, Николай Матвеевич Грибачев. Грибачев? Грибачев!

И, развернув, Шавкуненко показывает всем первую полосу газеты, да еще вслух, с выражением, с поглядом, какое впечатление производит, читает избранные места. И кладет газету перед Суриным, как кладут обвинительное заключение, пристукнув по нему костяшками пальцев. Вот тут действительно настала тишина. Сурин читает, а Шавкуненко жестикулирует, что-то говорит, но будто с выключенным звуком. И странное спокойствие на меня снизошло, худшее случилось, я уже не волнуюсь. Только вот курить хочется до смерти. Конечно, не судьба мира решалась, всего-то судьба одного фильма, но когда тебе сапоги тесны, какой толк, что мир обширен?

Долго читал Сурин. А может, и не читал: глядел в статью, соображал. Потом вздохнул, взял ручку, зачем-то поглядел на кончик ее, на шарик в пасте, и расписался: подписал фильм в производство. Могу свидетельствовать: не один я был изумлен. Почему он решился, служивый человек, когда не только парторг, но и «свободные художники» молчанием своим в его кабинете подсказывали ему другое, привычное решение, — не могу сказать. Знаю только одно: я ему благодарен.

О Сурине говорили разное, и, надо полагать, был он разным в разные времена, иначе не занимать ему этот пост. Трудный пост, опасный пост, если учесть, сколько знаменитостей снималось на «Мосфильме», сколько из них обласкано было и любимо вождами еще от сталинских времен. И депутаты они, и лауреаты не по одному разу, а кто-то имеет доступ к высочайшему уху, кто-то в старческую постель. Сурин же и не депутат, и не лауреат, стань по-

перек — и головы не сносить, если профессией твоей сделалась руководящая должность.

Как раз в ту пору создавалась на «Мосфильме» гигантская экранизация романа «Война и мир». Рассказывают, консультант картины профессор Гудзий сказал после просмотра: «Я думал, Бондарчук не понял романа. Теперь я убедился: он его и не читал». И еще говорили, что на съемках этого фильма было сожжено дворянских усадеб больше, чем погибло при нашествии Наполеона. Вся студия работала на него, все трепетало, а если что и доставалось другим съемочным группам, так из остатков, из обносков. И вот приехала высокая министерская комиссия освятить своим посещением государственную важность того, что создается, и в кабинете Сурина задан был вопрос: «Ну что, помогает вам студия?». Благодарственный ответ предполагался заранее. «Нет, ничем не помогает», — сказал Бондарчук. И взгляд его, рассказывают, был ясен, и голос жертвен и тих, как в лучшей его роли в фильме «Тарас Шевченко», за которую Сталин из заслуженного сразу произвел его в народного артиста СССР, сделав неприкасаемым.

Такая служба была у Сурина, ошибаться ему было нельзя, а вот почему-то решился.

Фильм с его благословения снимали молодые в ту пору режиссеры Андрей Смирнов и Борис Яшин. А актеры собрались хорошие, достаточно одного Урбанского вспомнить. Такого могучего человека природа создает, наверное, для того, чтобы самой полюбоваться: вот ведь на что я способна, не оскудела, могу! Но сцена, когда он в последнюю атаку подымает свой батальон, прижатый к берегу, никак что-то не удавалась. А все это с нами было на плацдарме, когда немцы пытались сбросить нас в Днестр. Но в фильме сцена не получалась. Позже Урбанский рассказал мне, что в лагерях его отец,

когда замерзали в бараке, поднял обессиленных, уже покорившихся людей, заставил в лютый мороз валить лес и тем спас их. «Вот это и нужно было играть!» — сказал я. Возможно, что-то в рассказе об отце не совсем точно, но переспросить уже не у кого: Урбанский погиб.

И вот интересное совпадение: на первый мой фильм, вернее — фильм по моему сценарию, называть его не буду, фильм плохой, приглашена была на главную женскую роль красавица Дзидра Ритенбергс, на мужскую — Урбанский. Он был занят, не смог, но от судьбы, видимо, не уйдешь: встретились они не в фильме, а в жизни, и поженились. Редкостная была пара.

А погиб он, по рассказам, так: на съемках у него украли деньги. И вот, чтобы заработать, привезти жене, он начал сниматься без дублера, проделывал то, что должен совершать каскадер. Машина перевернулась, он сломал шейные позвонки.

Режиссеры сами войны не видели, и консультантом был приглашен генерал-лейтенант в отставке, в прошлом — командующий артиллерией армии. Человек скромный, преклонного возраста, он смущен был всей этой вольницей, особенно же — присутствием молодых актрис. А молодежь веселилась, при нем в автобусе по дороге на съемку рассказывали «генеральские» анекдоты, как, например, пообедав, генерал вдруг вылил себе на голову кисель. «Товарищ генерал, это же кисель!» — «Да? А я думал — кефир...». Он словно не слышал за шумом мотора, только лысая голова краснела. А тут еще актрисы разузнали, что наедине с собой любит он пропустить перед обедом стопочку армянского коньяка: для аппетита. И, подкараулив момент, учинили набег, с весельем, с шумом выпотрошили его чемодан, где хранилась-таки пара-тройка бутылок: как можно красивым женщинам отказать?

И вот пришел первый отснятый материал, в просмотровом зале потушен свет, замелькало, замелькало, и я увидел на экране... А увидел я траншеи, обшитые первосортнейшим тесом, землянки, как вековые курганы, способные выдержать прямое попадание бомбы. У нас на плацдарме, если и были землянки в три наката над головой, так все три наката, как говорилось, кукурузные. Надо было срочно ехать на съемки.

Войну я закончил лейтенантом, лейтенант — это тот, кому меньше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют. А тут — генерал, командующий артиллерией армии... «Иван Васильевич, — говорю ему в некотором смущении, — разве такая была война? И где это на передовой траншеи обшивали тесом?..». А он, будто Иваном Тимофеевичем Козловым проинструктированный, объясняет: «Так то — война, а это — кино, люди смотреть будут, нельзя! Я хотел как лучше». И из глаз его поблекших, уже слезою подернутых, такая преданность долгу светится, что, как на солнышко, больно глядеть. Весь этот материал пришлось переснимать.

А режиссерам, недавним выпускникам ВГИКа, забавно казалось, что у них в подчинении генерал-лейтенант. На фронте артиллерией целой армии командовал, а здесь — «Иван Васильевич, надевайте китель!». В Кишиневе, в гостинице, собрались мы обедать, а ресторан в обеденную пору закрыт на обед, и швейцар в галунах сидит за стеклянными дверьми для порядка. Иван Васильевич, впитавший в плоть и кровь привычку подчиняться старшим по должности, надевает кремовый чесучовый китель, на нем яркие орденские колодки от сердца до пояса, и во всем параде идет первым, за ним — остальные. И швейцар распахивает двери, и в пустом ресторане начинают обслуживать нас одних.

Снимали фильм на местах бывших боев, и я узнавал и не узнавал наш плацдарм: столько лет прошло, молодой лес поднялся. Но самое поразительное, каким узким казался мне теперь Днестр. А тогда, под огнем, многих жизней не хватило, чтобы его переплыть.

Когда фильм вышел на экраны, я получил от Виктора Некрасова письмо:

«4.1.65.

Дорогой Гриша!

Вчера посмотрел «Пядь земли» и сразу же захотелось написать тебе, что это очень, очень славный фильм, многое во мне всколыхнувший. И ребята, и выцветшие гимнастерки, и вся эта бессюжетность, недеklarативность, правдивость — все это очень хорошо. «Живые и мертвые» я, например, проспал (правда, для этого были и другие основания кроме качества фильма), но второй раз не пошел... Кстати, я в этих местах тоже воевал и тоже на пятачке — у Ташлыка, поэтому я должен быть особенно придирчив, а вот и не к чему придираться. Очень рад! А кто эти ребята — режиссеры? Мотовилов? Молодец! Пацан, а ведь здорово сделал лейтенанта тех лет... Даже (не дай бог!!!) немного взгрустнулось, что прошли те «пламенные» годы. Впрочем, просто моложе и веселее все мы тогда были.

Вот так-то, Гриша. Передай всем привет и мои поздравления. Заодно и тебе. Заодно и с Новым Годом!

Сейчас еду с мамой в Дубулты — говорят, там сейчас тихо и можно поработать.

Обнимаю. Твой В. Некрасов.

А где Володя Тендряк? Я уже забыл, как он выглядит! Он, кажется, твой сосед по Пахре. Зайди к нему, передай привет и выпей 100 гр., хотя ты, кажется, этого не любишь...».

Запятые Вика, случалось, и забывал расставлять, а насчет ста грамм, был бы он жив сейчас, я бы сказал: обижаешь. И вот интересно, и не мной первым это замечено: Симонова, который был моложе его по годам, мы ощущали человеком совершенно другого поколения, другой иерархии, а Виктор Некрасов словно бы ровесник был наш и не только по войне. А ведь ни одна книга не повлияла так на всю нашу литературу о войне и на каждого из нас, как его повесть «В окопах Сталинграда», исповедь мужественная и честная.

Дорого мне это его письмо. Он фронтовик, я понимаю, что могло ему понравиться в фильме. Правда войны там была, для проверки я попросил режиссеров вмонтировать хронику в сцены боев, ее было не отличить. Но вот искусства в фильме, к сожалению, не было.

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Западные интеллектуалы, к ним у нас относят и американцев, живущие в обстановке относительно комфортной, а бытовые условия способствуют и душевному уюту, привыкли до последней возможности «не допускать мысли». Уже и Гитлер пришел к власти, а все «не допускали мысли», и Сталина, рябого изверга, повидав вблизи, Фейхтвангер все же написал бог знает что, книгу его — «Москва 1937 года» читать мерзко. Тому, разумеется, была причина, не о ней сейчас речь, но факт остается фактом. С нас спрос не меньший, но другой: это спрос с тех, кто либо сам побывал в пыточной камере, либо ожидал своей очереди в нее, а уж как ожидание калечит душу, на что способно толкнуть человека, известно хорошо. Молодые же просто были отравлены слепой верой.

Но вот, чтобы дальнейшее понять, попытаемся представить себе нечто вовсе уж невероятное:

ЖИЗНЬ, ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

состоялась беседа Томаса Манна с Гитлером. И говорит ему Томас Манн: «Я удручен Вашими многочисленными антисемитскими высказываниями и действиями... Мы восхищались Вашими ораторскими способностями. Мы ценим Ваш глубокий вклад в ликвидацию безработицы. Но написанное Вами в книге «Майн кампф» и Ваши публичные высказывания могут быть использованы для интеллектуального обоснования идеологии ненависти, ведут к массовым убийствам. Вам следует пересмотреть свои взгляды...».

Томаса Манна нет. Испробовав яд на собаке, сдох, как собака, и Гитлер, успевший прежде погубить миллионы и миллионы, об одном только сожалел перед смертью, что с ним вместе не погибнет немецкий народ, который оказался не достоин своего фюрера. Где-то хранится у нас, если еще хранится, его челюсть, по которой и опознан был труп обгорелый.

А теперь от Томаса Манна, от великого, спустимся с той нравственной высоты в дни наши. Вот — письмо. Не Гитлеру, разумеется, но тоже антисемиту, правда, куда меньшего масштаба, возможности у него не те: открытое письмо И. Р. Шафаревичу. Под ним — четыреста пятьдесят подписей американских математиков, среди которых три бывших и нынешних президента Американского математического общества, 24 члена этого общества, 14 членов Национальной академии наук США. Они пишут:

«Мы удручены многочисленными антисемитскими высказываниями в Вашей книге «Русофобия» и в Ваших публичных заявлениях по поводу текущей политической ситуации.

Мы восхищались Вашей борьбой за права личности в тяжелый период недавней русской истории. Мы ценим Ваш глубокий и фундаментальный

вклад в математику. Разум, которому открыта красота науки, который способен ее развивать, должен быть так же способен видеть пустоту и безосновательность теории заговора, сторонником которой Вы являетесь.

Поддержка Вами давно скомпрометировавших себя суждений о роли евреев в мировой истории, и в особенности в русской истории, способна только повредить Вашим взаимоотношениям с математиками-евреями и неевреями, а также улучшившимся в последнее время связям Востока и Запада. Написанное Вами может быть использовано для интеллектуального обоснования идеологии ненависти, приведшей в прошлом и способной привести в будущем к массовым убийствам.

Мы призываем Вас пересмотреть свои взгляды и публично отречься от Вашей антисемитской позиции».

И — четыреста пятьдесят подписей...

Все очень интеллигентно, цивилизованные люди, цивилизованный разговор. Да для него улучшившиеся связи Востока с Западом — нож острый, как это не понять? Россия под колпаком, санитарным кордоном отделенная от мира, — вот его идеал. Есть бактерии аэробные, есть анаэробные, одни без воздуха жить не могут, другие в безвоздушной среде и живут, и чувствуют себя прекрасно.

Интересно, как же он «пересмотрит свои взгляды», «публично отречется от антисемитской позиции», когда это — его промысел, который он за божий промысел выдает? В той самой книге, в «Русофобии» (я убежден, только русофоб и мог ее написать), он же заявляет, что, не опубликуй он ее, не влей этот яд в сознание людей, не смог бы он спокойно и в могилу слечь. Какой извращенный ум! «Мы восхищались... Мы ценим глубокий...». Ах, интеллектуалы, интеллектуалы! Правильно сказано:

гром не грянет, мужик не перекрестится. Так ведь грянул уже. Или в самом деле история ничему не учит?

Однажды я наблюдал этого человека по телевизору. В тот раз он говорил о Ельцине и Горбачеве, о том, что они принесли России бед несравнимо больше, чем татарское нашествие. У нас теперь для этого смелости не надо, дозволено говорить все, и кто прежде жаловался на вынужденную немоту, на тяжкий гнет цензуры, они-то первыми теперь и клянут тех, кто дал им возможность говорить. Но не то важно, что он говорил, это и старухи яростные на улицах любому корреспонденту в микрофон кричат, хоть бы и иностранному корреспонденту, от которого прежде шарахнулись бы в ужасе, гораздо важней было, как он говорил, лицо его в этот момент. Это было лицо человека, неизлечимо больного ненавистью, она сжигала его, исходила с экрана. Бледный, искаженный, пиджак перекошен, сполз с одного плеча, ненависть была такова, что даже взгляд временами казался безумен.

В Израиле шел суд над одним из самых жестоких палачей Треблинки, Демьянюком. Четыре с лишним десятилетия разыскивали его, ловили, привезли, судят. Какая долгая жизнь подарена ему, уничтожившему столько жизней. Я как-то присутствовал при разговоре об этом процессе, возник даже небольшой спор. Было это в Беэр-Шева, в милой семье киевлянина, переехавшего в Израиль, собралось у него несколько семей.

У Демьянюка в Треблинке был не то чтобы подручный, а мальчик, выполнявший, что ему прикажут, еврей по фамилии Эпштейн. И вот разгружают очередную душегубку, в которой газом отравлены люди, и под голыми телами, где все же сохранился воздух, осталась жива двенадцатилетняя девочка, без сознания, но жива. Тоже голая, полумертвая,

она ожила на свежем воздухе. И Демьянюк приказывает мальчику: «Снимай штаны!» И тот вынужден снять, он боится, в страхе живет. Но сделать с ожившей девочкой то, что от него требуют, не может от ужаса. Поняв, что не удастся, что тот физически не способен, Демьянюк взял дрель и вот этой дрелью... Тут женщины закричали: «Хватит! Это невозможно слушать».

Эпштейн жив, он свидетельствовал на суде, приехал с женой, с детьми. Он сказал, что не хочет никакой мести, его месть в том, что вот живут его дети, а Демьянюка судят. Ну, а та девочка? А пепел сожженных в печах Треблинки?

В Иерусалиме, в Яд Вашеме, каждую минуту голос произносит детское имя, день за днем, год за годом. Из шести миллионов евреев, уничтоженных фашистами, полтора миллиона — дети. И, может быть, самое страшное — детский зал. В сплошной темноте горят пять свечей, отраженных множеством невидимых зеркал, и ты словно в центре Вселенной, в центре мироздания, где витают души; над тобой, под тобой, повсюду — бесчисленные звезды — огоньки во тьме космоса; душа человека — свеча Господа. И голос, отсчитывая минуты, произносит и произносит детские имена.

Но в конце концов, что такое демьянюки, вместе взятые? Исполнители. Их руками творилось зло, и одни творили его с садистским наслаждением, другие — от страха за свою жизнь. Но чтобы все это оказалось возможно, началом всего было слово. Словом надо было отравить сознание людей, пробудить ярость, сказать: дозволено. И прежде чем атомная бомба взорвалась, было сказано слово. Без него не сбросили бы ее на людей.

Убеждения неподсудны, за них нельзя казнить. Но слово сказанное, написанное — это деяние, дело. В истории человечества в начале дел, великих

и страшных дел, всегда было слово, оно предшествовало. Так кто же главный убийца, кто палач: тот, кто бросил слово в толпу, как огонь в стог сена, или тот, кто исполнял приговор? «...Дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя — о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть». Да, да, это из поэмы «Великий инквизитор», которую Иван Карамазов читает своему брату Алеше. И это — руководство к действию всех тех, кто обольщал и обольщает совесть человека в кровавый наш двадцатый век. «Разум, которому открыта красота науки... должен быть также способен видеть...». Видит, знает, ведает, что творит, можете не сомневаться.

Для Шафаревича евреи — источник мирового зла, так он их пытается представить. Но, может быть, он любит молдаван? Или американцев? Он любит русских. Но не тех, что живут на свете, радуются, маются, а тех, какими они обязаны быть по его заветам и повелениям. Он любит Россию. Но Россию Пуришкевичей, Шафаревичей, где — лжепророки «и ты, послушный им народ». Оттого-то он не прощает Лермонтову эти строки.

Я еще высуну вам язык после смерти, пообещал в свое время В. Розанов. И дочь, войдя к нему, мертвому, с ужасом увидела высунутый мертвый язык. В дальнейшем она покончила с собой. «Русофобия», написанная с ненавистью в сердце, — не такой же ли высунутый мертвый язык?

У КАЖДОГО СВОИ ЗАБОТЫ

Народы разные и разная вера и обычаи, а опыт жизни, пронесенный через века и религии, схожий, как это ни покажется странным. «И я мастер, и ты мастер, кто же наш сор выметет?». Это армянская по-

словица. А вот — арабская: «Я эмир и ты эмир. Кто же погонит ослов?». И в Абхазии, и в Армении говорят: «Чужой покойник спящим кажется». Или вот адыгейская пословица: «На чьей арбе сидишь, песни того и пой». Это — перевод, и слово к слову тут плохо прилажено. А вот русская: «По которой речке плыть, той и славушку творить».

Сегодня самым себе в оправдание винят время: «Время было такое...». Мол, что я? Я — как Илья... Время понуждало, ему и списывать грехи. А у китайцев, если не тысячи, так уж сотни лет этой пословице: «Змея говорит: “Это не я извиваюсь — дорога извивается”».

Как-то рассказывал мне большой наш литначальник, сидел он за просторным столом, по правую его руку — телефон правительственной связи и еще телефоны, по левую его руку — несгораемый сейф: «Какие тут у меня заявления писателей лежат! В депутаты Верховного Совета просятся... А сколько заявлений на Звезду Героя Соцтруда!..». Я предложил: «Давайте напечатаем» — «Нет, с этим уйду».

Да ведь и на фронте, даже там это было. Были такие, что если не выпляшут, так выпросят. Вот в Венгрии хотя бы, под Секешфехерваром. Брали мы его, и оставляли, и снова брали, много народу полегло там. Ночью, помню, вернулся я с передового наблюдательного пункта, из пехоты, оттуда огонь корректировал, сменять меня должен был командир второй батареи Коропенко. Только я завалился спать, командир дивизиона вызывает. Невыспавшийся, злой иду к нему, спрыгнул в окоп, хотел уже плащ-палатку в землянку откинуть, да голоса меня остановили, один из них был голос Коропенки: на судьбу жаловался. Выпало ему несчастье быть в оккупации, и теперь, мол, нельзя ему умирать без ордена, пусть самый маленький, но орден, чтобы

смыть позорное пятно, не ради себя, ради жены и детей.

До войны Коропенко закончил Одесское военное училище, росточка был маленького, а маленьким людям большие сны снятся. Но в первых же боях попал он в окружение, а там, сняв с себя военную форму, переодевшись в гражданское, вернулся домой. Освобождая Одессу (наш полк в этом участвовал), мы и его освободили. Военная карьера испорчена бесповоротно, единственное, что требовалось ему теперь, — орден.

Вошел я. Смолкли. Гулин, командир дивизиона, придвинул к себе карту города, при свете снарядной гильзы, в расплющенной горловине которой коптил плоский фитиль, разглядывает ее. А там, в городе, грохочет все. «Значит, так, — Гулин нахмурил подбритые брови. — Бери разведчика, бери телефониста, пойдешь туда. Там тебе все известно. Нужен сейчас там такой человек, который уже находился... Я на тебя надеюсь...».

Не услышь я только что их разговора, я бы возгордился по молодости лет: как же, на меня надеются! А Коропенко сидит в землянке, ножки свесил, лицо обиженное на жизнь, словно бы опять проявлено к нему недоверие, от почетного дела отстранили. И что самое поразительное — действительно обижен. Так мне противно, так гадко стало, что ничего я не сказал, повернулся и вышел. Но тоже, если подумать трезво: я — из гордости, из презрения, а разведчик, телефонист, которым идти со мной, они за что? Туда живым добраться — и то везение. Но их судьбу я в тот момент не брал в расчет, вернулся и приказал: «Собирайтесь!».

Коропенко получил орден Красной Звезды, пришел с войны орденосцем, не инвалид, даже не ранен ни разу. Но и в дальнейшем, в мирной жизни,

тоже у него что-то не ладилось, может, хотел больше того, что мог, такие люди всегда несчастны.

Войну повидал я достаточно, но штабы высокие, где рукою белой прочерчивают стрелы на карте, стрелы нашей судьбы, повидать не пришлось. Бывало, раздается по телефонам, когда уже стрелы нацелены: «Огурчиков тебе подбросят... Шестой тебе спичек передаст!...». Огурчики — это снаряды, спички — мы. Вот такая конспирация, куда уж немцу догадаться!.. И не раз после войны жалел я, что эту жизнь не видел, не знаю: не для понимания даже, чего уж не понять, для бытописания, без которого невозможна проза.

Покойный ныне Черноуцан под Сталинградом был близок к Жукову, в ту пору еще не маршалу, что-то он делал на штабной радиостанции. И после войны, по цеховской своей службе, встречался с ним. В одной из статей в «Литературной газете» он писал, что Жуков читал мою повесть «Пядь земли», сказал: «Эти ребята знают, с какого конца пушку заряжать». Да, науку, «с какого конца пушку заряжать», я прошел в полной мере, а вот Жукова повидать не довелось. Мог, хотел, да постеснялся. А теперь жалею. И никакие мемуары этого не заменят.

Было утро, я сидел, работал. Надо бы, конечно, в такое время выключать телефон, но мог позвонить внук, названный Юрой в память о моем брате, ныне уже — старший мой внук, он едва ли не с полутора лет научился набирать номер телефона.

Но позвонил не внук, раздался звонок из Союза писателей: «Сейчас с вами будет говорить Юрий Николаевич Верченко». Оказалось, завтра, в такой-то час — совещание в ЦК, мне надо быть. Что-то я слышал, будто Гришин собирается побеседовать, как говорят в таких случаях, в узком кругу. Мне любопытен был этот человек. Невыразитель-

ное его лицо выражало эпоху, и было интересно наблюдать, как ведут себя люди в его присутствии, театр, и какой театр!

Еще памятна была позорная сцена по телевидению, когда к умирающему, задышающемуся Черненко в больничную палату, декорированную так, будто дело не в больнице происходит, пришли вручать удостоверение депутата Верховного Совета РСФСР. Он уже был депутатом Союза, но по ритуалу, введенному еще в сталинские времена, полагалось ему быть депутатом еще таких-то и таких-то советов, чтобы за него, как семь городов за Гомера в древности, чуть ли не сражались города и веси, оспаривая право наречь если не земляком, то хотя бы своим избранником. И его подняли с одра, надели брюки на тощие ноги, надели пиджак с тремя Золотыми Звездами Героя (последней Звездой он уже сам себя награждал), с депутатскими значками и лауреатской медалью — все это скоро разложат на алых траурных подушечках, а пока что оно висело, блестело на нем, — и зажужжали телевизионные камеры, засверкали блицы...

Вот передо мной фотография той поры: четверг, 28 февраля 1985 года, газета «Известия». Седой, с косыми скулами Черненко держится рукою слабой за спинку кресла, ноги сами уже не держат его, а перед ним густоволосый партийный чиновник не говорит, прямо-таки поет поздравление. И Прокофьев, этот еще взберется по лестнице на самый верх московской партийной иерархии, а тут — относительно молод, востроносенький, губы поджал, в руках с подобострастием держит букет цветов, и почему-то в том букете каллы белые, какими обычно невесту сопровождают. А из глубины снимка, как бы оставаясь в тени, Гришин наблюдает с благодатной улыбкой: его постановка, его дрессура.

Надо полагать, был во всем этом сокрыт высший государственный смысл: народу предъявили генсека, жив, прочна наша держава. И я слышал на следующий день в очереди, как люди впервые с сочувствием говорили о Черненко: «Надо же так над больным человеком надсмеяться!..».

А ведь легли бы карты по-иному, ну, например, не умри внезапно Устинов, тогдашний министр обороны, и у Гришина были шансы стать после Черненко во главе партии, над народом и страной. Были определенные шансы, хоть сам он впоследствии даже мысль такую опровергал. Но и в страшных снах ему не снилось, что через каких-то семь лет, лишенный даже персональной машины, ведомый под руку, придет он в районный отдел социального обеспечения, он, недавний хозяин Москвы, которому все на стол подавалось, и принесет, как рядовой пенсионер, справки, чтобы ему пересчитали и увеличили пенсию.

Бывал я в собесе, знаю, что это за учреждение. Инспекторша лет тридцати с небольшим, возможно, оттого и злая, что без кольца на руке, и это при ее-то плоти, когда джинсы на мощных бедрах едва сошлись, неведомо, как молния затянулась, не устаивая меня и взглядом, вновь отправляла за справками, и я собирал их три раза: сначала — за два последних года, потом — за пять предыдущих, а потом — за два года десятилетней давности с такого-то по такой-то месяц, да еще, еще разные справки. Но меня от волнений, от тех гневных речей, которые люди потом сами с собой наедине дома произносят — они-то и сжигают сердце, — меня от этого любопытство хранило, мне интересны люди, получившие хоть малую власть над людьми, чем меньше человек сам по себе, тем власть для него сладостней. Я просто наблюдал ее. Вот она шла в кабинет, а за ней, как

утята за тенью, целой очередью старики с вопросами. Не слышит, закрыла за собой дверь, отсекала. Вот вышла, опять к ней устремились было. Щелкнула замком, прошла, не отвечая. Учреждение это открывается в девять утра, а они, восьми еще не было, уже выстроились на улице в очередь под дверьми, каждый хочет раньше других попасть. Вот опять она идет, несет целлофановый мешочек с продуктами в холодильник. В четверть десятого приняла первого.

А в коридорах — волнение, толкотня, сидят, ожидая, стоят у стен, кому присесть негде, на больных ногах стоят старики, тычутся бестолково не в те двери, и в самом деле бестолковы они и некрасивы в старости их лица, старость не красит, а ведь я их молодыми помню, ну, не их, других таких же: «Гляжу на них, и вижу те года, где шли они во всей красе и силе, когда была Россия молода и судьбами ее они вершили...». Дожившие до пенсии по старости, привыкли они стоять в очередях, ими столько помыкали в благодарность за то, что родину спасли...

Но каково человеку, для которого, когда он в театр ехал, на площади Москвы все движение перекрывалось, каково ему прийти сюда, толкаться!.. Да ведь в лицо узнают, каждому любопытно... Какую обиду, какую боль надо было в сердце своем запереть, смирить себя, решиться... «Гришин скончался 25 мая в возрасте 77 лет в Краснопресненском райсобесе, куда пришел переоформлять пенсию. На приеме у инспектора ему стало плохо, он потерял сознание и перестал дышать. «Скорая помощь» прибыла через 13 минут, но все, чем могла помочь, — это констатировать смерть от острой сердечной недостаточности. Гражданскую панихиду провели в ритуальном зале морга бывшей Центральной клинической больницы 4-го Главного управле-

ния при Минздраве СССР в Кунцеве, на ней выступили дети Гришина».

Будущего своим людям знать не дано, и вновь и вновь я убеждаюсь: хорошо, что не дано.

А было ему тогда ровно семьдесят, когда позвонили мне утром, что надо, мол, ехать на совещание, и я так понял, что это он созывает. И хотя считалось подобное приглашение престижным, да и посмотреть хотелось, я прикинул мысленно: до автобуса идти — три километра, автобусом до Москвы — час, да по Москве, да возвращаться — вот день и пропал. А как раз работалось, жаль мне стало день терять. Я отказался: не могу, да и не на чем. Однако вскоре опять позвонили: за вами пришлют машину.

В нашем иерархическом обществе, где все регламентировано и каждому отмерено ровно столько, сколько полагается, ничего так просто не бывает. Мне бы догадаться: происходит нечто чрезвычайное. Но потому ли, что писал, мысль другим была занята, я как-то всю эту механику не сопоставил.

И даже на другой день, прибыв, пройдя проверку вниз, а потом еще и на пятом этаже, где два офицера КГБ вновь удостоверились, что я — это я и фамилия есть в списке, все еще я не понимал, где нахожусь, меня на этот этаж заветный, где судьбы решаются, никогда прежде не приглашали.

И вот — приемная. Уже несколько руководящих писателей здесь, и странное, общее для всех сдержанное сияние на лицах, предощущение чего-то. Чего? Разделенные в обычное время множеством незримых перегородок, они держатся здесь, «распри позабыв». Пройдет время, и тончайший знаток аппаратной жизни разъяснит мне эту мудрость: «В присутствии самого все равны. Но — до дверей. А вышел за двери, и опять каждый знай свое место». И уже в себе начинаю замечать здесь нечто подмы-

вающее, словно бы в своих глазах расту: допущен, причислен... А я давно для себя решил: умей сохранять дистанцию. Иначе попадешь в стаю, а там закон один: лай не лай, а хвостом виляй. И тот, кого признаешь над собой хозяином, тот тебя холопом и сочтет. Вдруг мощной когортой вошли писатели-депутаты, как с боя, с заседания Верховного Совета, из Кремля, все в блеске лауреатских медалей и Золотых Звезд. Они еще дышали воздухом кремлевских залов, кремлевских коридоров, они внесли его с собой, и сразу будто светлей стало, сияния и блеска прибавилось, когда все они вот так вошли. Мог ли кто думать тогда, что этот Верховный Совет, куда назначали, — последний, а дальше... О том, что дальше, еще поговорим.

И вот когда вспоминаю и вижу, как они вошли, видится мне и другое, не мною испытанное: «Входя сквозь лагерные ворота, зэки, как воины с похода, — звонки, кованы, размашисты — пасторонись!» Несопоставимо? Несовместимо? Но так оно и совмещалось десятилетиями: одни — в царские врата, другие — в лагерные ворота. И немало было тех, кто из кремлевских палат — да на нары, и в холодных, голодных лагерных снах бывшее снилось в дымке золотой. На том и держались, чем выше горы, тем страшней бездны.

Наконец нас всех позвали в зал, и мы проходили, сопровождаемые прямо-таки родственными взглядами хорошо вышколенных мужчин, стоявших у дверей, чем-то незримо одинаковых, сидевших за столами при входе женщин в белых блузках. А я по первому своему жизненному опыту, по армии, по фронту усвоил прочно: когда ординарец встречает тебя глазами дяди родного, входи смело, от начальства беды не ждать.

Зал этот я видел прежде на фотографиях: и стол поперечный для президиума, и длинный стол

торцом к нему, и столики у стен, до половины обшитых темным деревом, а сами стены выше дерева — белые. Открылась дверь боковая, не очень даже приметная на первый взгляд, из нее ход прямо в президиум. И вошли... Нет, не Гришин, его и подъезд, и этаж другой, и созывать к нему должен был не Верченко, а московский оргсекретарь, но все это, по незнанию иерархии, я позже сообразил. Вошел Горбачев, за ним — Лигачев и Яковлев.

Горбачева вот так вблизи я видел впервые. Могу сказать: он был моложе. Нет, не на семь минувших лет, намного моложе он был тогда — и духом, и лицом. И весь дышал уверенностью, энергией и силой.

О чем он говорил на протяжении примерно так получаса? В дальнейшем я не раз это слышал и по телевизору, и при встречах, и многое из того — теми же словами, хотя время менялось, требовало уже других слов и дел, но тогда, впервые услышанное, поражало откровенностью. Ведь не на московской кухне, где за рюмкой водки и не такое говорят, а здесь, в святая святых власти, генеральный секретарь ЦК говорит, какой отдельный коммунизм построили для себя высшие и как народ живет, говорит убежденно, страстно. И не старческая слеза застилает взгляд, которая всей стране светила целых восемнадцать лет, а живой ум в глазах. И губы, произносящие слова, — свежие, твердые, еще не начавшие вянуть. Да и выговор его южный, близкий к воронежскому, приятен был мне на слух: «хфакт», «жисть»... Хотя и думалось не раз в дальнейшем: неужто он отвыкнуть не может, так уж непроизносимо для него слово «жизнь»? Или и это — политика, вот так ненароком, незаметно подчеркивается народно-комбайнерское происхождение? Но это позднейшие наблюдения, а тогда он понравился мне, поверилось в него, мне давно хотелось поверить.

Он говорил и отпивал изредка из стакана что-то молочно-кофейное на цвет, как бы и не смачивая губ. Многих, я знаю, интересовало впоследствии, что же это ему приносят, говорили, тонизирующее что-то, даже вопросы такие в печати я встречал. Но одна мелочь меня смутила: отопьет едва на треть, и входит официант — грудь белая, пиджак черный, под пиджаком мышцы груди, спины, рук ощутимы на расстоянии, — входит, жестом фокусника сдергивает крахмальную салфетку, ставит новый стакан, а этот уносит под салфеткой. Но ставит ему одному, ни Яковлеву, ни Лигачеву не ставят ничего. И на наших на всех столах — блокноты с золотым грифом ЦК КПСС, замечательно отточенные карандаши.

В какой-то из своих вещей Солженицын возмущался задним числом, что и на фронте, где, казалось бы, перед смертью все равны, даже там было разделение: офицерам, в отличие от солдат, полагался дополнительный паек. Прочел я и поразился: неужели есть в чем каяться? Был я солдатом (в начале войны говорили не «солдат», а «боец»), видел не раз, как для командира батареи повар из общего котла в отдельный котелок снимает «пробу»: сверху — пожирней, из глубины — погуще. Был офицером, командиром взвода, полагался мне дополнительный паек: банка рыбных консервов или сало, пачка печенья, полпачки легкого табаку... Но получать шел кто-нибудь из разведчиков и делилось поровну на всех, кто в этот момент находился со мной на передовом наблюдательном пункте в пехоте. Неужели ж в одном окопе сидим, а табачок врозь?

Вот этот персональный стакан из-под крахмальной салфетки отвлекал внимание, озадачивал меня. Думалось: ну, уж в следующий раз, наверное, поставят всем троим. Нет.

В остальном же, повторяю, Горбачев понравился мне, говорил увлеченно, видно было, как мысль рождается. А еще не забылся анекдот про Леонида Ильича, как звонят в дверь, он надевает очки, достает записку из кармана, прочитывает: «Кто там?..». Да если бы анекдот!.. На встрече с французским президентом по бумажке читал свои ответы и громко спрашивал переводчика: а вот это, дальше, тоже читать?..

Закончил Горбачев вопросом: «С кем вы, мастера культуры?». Первым встал, а он первым и сидел, Георгий Мокеевич Марков, при жизни удостоенный памятника на родине и, как балерина Уланова, — двух Золотых Звезд Героя. Еще не так давно Брежнев всенародно целовал его в Кремле в обмен на Ленинскую литературную премию, которую Георгий Мокеевич самолично вручал ему, и в газетах и на многих фотостендах красовалось это торжественное целование. А еще помнят редакторы издательств, как приезжал он из Сибири — не Брежнев, разумеется, Марков, — приезжал с бидончиком для масла, когда редактировали первый его роман. В этом нет позора, некогда Сибирь вывозила масло за границу, что сделаешь, если дожили: из Сибири ездили за маслом в Москву. Просто хочу сказать, помнят его тихого, скромного, с бидончиком.

Или вот приезд Твардовского в Сибирь. Застолье. И заметил Александр Трифонович, что свою рюмку Марков не выпивает, а незаметно выливает под пальму, в кадку позади себя (он вообще не пил и никогда не летал самолетами, жизнь свою доверял только поезду и автомобилю, хотя статистика свидетельствует, что железнодорожные катастрофы и автотранспорт уносят куда больше человеческих жизней). Но Твардовский, находясь уже в подпитии, заметил и оскорбился: с ним пить не желают!.. И был человек там, который все это мне рассказал, тоже

участвовал в застолье, он будто бы и предрек: мы еще доживем до того времени, когда Марков станет во главе Союза писателей. Тогда ли было явлено пророчество или, как многие умные мысли, родилось задним числом, не поручусь.

Георгий Мокеевич Марков был идеальным руководителем брежневского царствования, время позвало его, и он пришел, и к нему «на ковер» являлись востребованные и Твардовский, и Солженицын. Осторожный, осмотрительный исполнитель высшей воли и сам — высшая воля на вверенном ему посту, он умело осуществлял главный принцип: не колыхай, доплывем. Куда доплывем — не обсуждалось, престарелое руководство полагало уверенно: на его век хватит, страна большая; еще и Ломоносов оставил заверение: богатства наши будут прирастать Сибирью.

Марков встал, говорил, как положено здесь, тихим голосом, интонация, успокаивающая, благостная, заверяла: он понимает, знает, одобряет заранее и не сомневается, что все останется по-прежнему. А уже ссутулилась его спина от возраста ли, от привычки ли держать себя принагнута в присутствии высших руководителей, это не зазорно, в том — особое достоинство служилого человека: ты считаешь, тебя почитают... А видно было со стороны, видно, чего, возможно, он и сам не сознавал: минуло его время.

И Чаковский поднялся следом, опытнейший царедворец, он еще при Сталине прошел школу жизни. Как-то он сказал: «Знаете почему Аджубей сгорел?». Я думал, тут все ясно: свергли тестя, пострадал и зять. «Не-ет! Он сгорел потому, что недооценил силу аппарата, привык все наверху решать. А я, когда иду на самый верх, я потом во все кабинеты спущусь, я и к инструктору зайду поговорить, он знает, откуда я иду, оценит, что я к нему за-

шел...». Тут я возьми и скажи: «Ну, ваша близость к Брежневу известна» — «Никакой близости особой у меня нет, слухи распускают!» — «А что вы так напугались?» — «Изучайте историю...». Тем удивительней, что на этой встрече он сразу захотел показать всем, что уже бывал здесь, успел заручиться поддержкой; может, потому, что опытен и умен, и знал, что умен, поскользнулся с первых же слов: «Прошлый раз, когда мы с вами, Михаил Сергеевич, беседовали здесь...» Позже обнаружится тактика Горбачева — ничью сторону не принимать явно, ни правых, ни левых, ни средних, оставлять себе простор для маневра. Но тогда это «мы с вами...» прозвучало, скажем так, неуместно, многие это заметили.

Мне ничего не было нужно, я делал главное дело своей жизни, пост какой-нибудь занимать или играть роль, какую мне поручат, нет, к этому я не стремился. Но поверилось: вот человек, который действительно хочет изменить постыдную нашу жизнь. Я поднял руку, мне дали слово.

— Не знаю, Михаил Сергеевич, представляете ли вы, какую тяжесть на себя взваливаете. Плохо ли, хорошо, но люди привыкли так жить, знают, как быть в этой жизни, и для себя, для детей, для внуков продумали жизнь наперед. И вдруг все заново? На это надо решиться, поверить надо.

Ни имени моего, ни в лицо меня он не знал, но слушал, я видел, слушает. В высоком собрании не станешь говорить о мелочах, а как раз незадолго до этой встречи ездил я с плотниками на склад за досками, там разгрузили несколько платформ леса. По всему двору на штабелях отобранного леса, на досках сидели разомлевшие от жары бабы, накрывшись платками, стерегли: из-под них не вытащат. Мужья тем временем где-то добывали транспорт. Отобрали и мы. Два продавца в вельветовых джин-

сах, здоровые, как лоси, проходили не замечая: обмеряют только на машинах. Но грузить на машины самим или нанять кого-то нельзя: три алкаша халтурят при складе, у одного из них левая рука сухая, висит плетью. И машины есть, трейлеры стоят за забором. Они — государственные, но шоферам позволено халтурить здесь, разумеется, не задаром. И вот как вся цепь выстраивалась: грузчики две трети отдают продавцам, соответственно отстегивает и шофер, потому продавцы в будний день в вельветовых джинсах. Отъехали мы километров десять, нагоняет милицейская машина, она заранее стерегла. И милиции отстегнули по таксе. Так это же — прообраз всего нашего государства, где каждая шестеренка смазана, потому только вращаются они, вся жизнь — по двойной бухгалтерии, кто откажется добровольно? Вот об этом я сказал. И еще — о законах.

В тот момент как раз вышли два закона: о развитии инициативы — один и о борьбе с нетрудовыми доходами — другой. Как два поезда, пустили их навстречу друг другу. И было совершенно ясно, какой закон сразу примут к действию: тот, что призывал к борьбе, здесь все накатано, механизм отлажен, сколько живем, столько боремся. И милиция, и прокуратура, и добровольные помощники — все сразу пришло в действие. В Москве милиционеры отбирали у старух пучки зелени, выращенные на грядках, нетрудовые их доходы. Только и слышалось: «Сыночки, сыночки!...». Но сыночки суровы, они при исполнении, ногой опрокидывают ящик с товаром. А в Саратове партийная власть посадит пэтэушников на машины, железные прутья — в руки, и отправит громить помидорные теплицы пенсионеров, ветеранов войны. Все это легко было предвидеть, зная нашу жизнь. И я сказал на той встрече:

— Закон не должен рождать преступления, а получится вот что: на эту весну солдатские вдовы останутся с невспаханными огородами. Раньше тракторист за бутылку вспашет, а теперь бутылка — нетрудовой доход.

Горбачев перебил:

— Вот я им это на политбюро говорил.

— Но вы помните, Михаил Сергеевич, — сказал я, — меня на политбюро не было.

Они сидели так: Горбачев — посередине, Яковлев — по левую руку, Лигачев — по правую. Очень наглядная расстановка сил. И я попросил, обращаясь ко всем троим:

— Нельзя допускать, чтобы от самых лучших намерений старые женщины остались с невспаханными огородами, я просто прошу, может, можно как-то через райкомы, что ли, подействовать...

Смешно, конечно: через райкомы. Когда совершаются космические перемены, до старух ли? Да они и привыкли, старые люди, — всю жизнь не до них.

Несколько дней спустя сидели мы с Расулом Гамзатовым в Доме литераторов за столиком, и он, уже рюмку подняв, сказал, как бы для себя что-то решая:

— Ты разговаривал с ним, как равный с равным.

У меня не было таких намерений, и не об этом я думал. Но Расул полжизни провел в президиумах, ему видней. И хотя занимал он массу официальных и почетных постов, не растерял ни таланта, ни юмора. Когда родилась у него вторая дочь, снова — дочь, а был Расул в это время на сессии Верховного Совета в Москве, и ему позвонили поздравить, он закричал: «Куда смотрел обком!..».

Пройдет семь лет, и Михаил Сергеевич Горбачев, уже не генсек, не президент, а экс-президент,

вернется из Соединенных Штатов Америки, где он читал лекции, где экс-президент Рейган принимал его на своем ранчо. Его обидит невнимание нашей прессы: «Я четырнадцать тысяч километров исколесил по Америке, десятки самых разных встреч... И всюду — внимание, тишина. Две недели вся американская пресса, все телекомпании освещали визит. Не может же быть так: их интересует одно, а нас это вообще не интересует».

А в нашей прессе в майский день, как раз когда он вернется на родину, будет напечатано в «Известиях» письмо из Донецка:

«16 января в 6 часов 30 минут умерла мама. Обегал 18 телефонных автоматов — все раскурочены. Лишь в медицинском институте от дежурной дозвонился до «скорой»: «Стариков в морг не берем. Обращайтесь в поликлинику».

Из регистратуры направили к терапевту. «Это не мое дело», — был ответ. Пошел ко второму, от него — по той же причине — к третьему, третий послал к руководству. Заместитель заведующей поликлиникой № 2 горбольницы № 3 Донецка отправила меня во ВТЭК, оттуда — опять к заведующей поликлиникой, которая поручила врачу Париге выдать справку о смерти матери.

Со справкой в руках пошел в городское похоронное бюро — заказать гроб, но это, оказывается, дефицит, хотя и стоит 1300 рублей. Потом отправился за свидетельством о смерти. В загсе минут через 20 после того, как я отдал справку, выяснилось, что врач неправильно списала из паспорта номер дома и поэтому документ мне выдать нельзя.

Расстояние от поликлиники до загса километра три, расположены они друг от друга так, что можно добраться только пешком, а мне 63 года. Пришел в поликлинику, там уже другая смена, врач Парига прием окончила. Никто и слушать не хочет.

Побежал к заведующей: «Ничего не знаю, ищите врача, которая вам выдала справку». Со скандалом выписали справку без ошибок. За пятнадцать минут до закрытия загса получил свидетельство о смерти матери.

На следующий день пошел в Сбербанк поменять 800 рублей на купоны — надо было готовиться к поминкам, да и вырыть могилу стоит 1450 рублей в купонах. Не поменяли, несмотря на свидетельство о смерти. Гроб сколотил ночью сам: доски подобрал рядом с домом, а ночью наломал из забора (когда к нам приезжал Горбачев, на проспекте Ильича сделали хороший забор, чтобы спрятать мусорники).

Утром соседи помогли обить гроб материей, помогли и похоронить. Хорошо еще, что место на кладбище в Макеевке было — рядом с отцом. А соседский парень похоронил мать в огороде.

У каждого, как видим, свои заботы.

ПУТЬ КРЕМНИСТЫЙ

В сущности, я жил замечательной жизнью — только потеряв и оценишь. С утра садился за стол и до обеда писал. День — лучше, день — хуже, бывала и такая полоса, когда казалось, ничего уже больше не получится, и жизнь теряла смысл. Вот в такую пору откроешь прошлую свою какую-нибудь книгу, хоть ту же «Пядь земли» — да неужели я это когда-то смог? Но если каждый день работать, не дожидаться вдохновения, вновь наступит просвет. Вот тогда, перед обедом, сам себя поздравил стопочкой: заслужил. И бережешь в себе это счастливое состояние, никогда не перечитывал на ночь написанное: вдруг то, чему радовался, окажется стыдно читать. И еще одно правило установилось, просто из опыта пришло: до дна себя не вычерпывать, не дописывать сцену, чтобы с утра интересно было, тянуло к столу.

И вдруг мне предложили (а лучше сказать — предложено было) поменять жизнь: стать редактором журнала.

Случилось это после VIII съезда писателей, он проходил парадно, все политбюро во главе с Горбачевым сидело в президиуме, мог ли кто думать в ту пору, что это — последний съезд? В величайшем по военной мощи государстве, огражденном ракетами, флотами воздушными, подводными, надводными, в величественном этом здании каждый камешек был камнем краеугольным, тронь, шевельни, и все здание посыплется. Знали об этом отцы перестройки, ведали? Или неведение давало решимость? Помню, один из них, человек умный, много повидавший, спросил меня вдруг: «Вы, писатели, кожей чувствуете. Ну как, получится у нас?». Именно этими словами, вот так было спрошено, и сам вопрос меня удивил. Я ответил: «Если есть экономический план, получится, нет — растрясет телегу», то есть сказал то, что само собой разумелось.

Было это зимой 85—86 года за городом, на одной из тихих дач, где составлялись доклады, проекты, готовили решения, и в комнатах-кельях писали, писали и днем, и за полночь, а потом из частных сводилось нечто общее. Черная «Волга» (номер ее сообщен был мне заранее), вся такая чистая, обдугая, словно только что с конвейера, привезла меня к сплошным железным воротам, ворота расступились, и въехали мы в совершенно иной мир, где и зима мягче, и снег чище: снег, сосны, воздух легкий, таким только дышать и дышать. И оглушающая тишина. А в самом здании, хорошо натопленном, со сверкающим паркетом, с белоснежными горничными, — холодноватый казенный уют. Дважды довелось мне там бывать.

И представилось как-то: вот приезжает САМ в огромной машине, охраняемый, предвараемый, и

сразу все обретает смысл. Каждое слово, и недомолвка, и умолчание, и жест отмечается, все ловят на лету: и в каком порядке сели за стол, с кем чаще говорил за ужином, кто не был приглашен — вся эта сложная, сложнейшая система знаков, в новом облики унаследованная от минувших столетий. Нет, не одни лишь судьбы страны решались здесь, судьбы народов и стран в конечном счете подвластны времени, но всякий раз на незримых весах взвешивалась, а то и колебалась судьба каждого. А своя рубашка, что ни говори, ближе к телу. И вот окруженному особым воздухом, читая все это в подвластных глазах и в лицах, как не вознестись, как голове не закружиться? Некий правитель сказал: я не поддаюсь лести. Значит, вам плохо льстили.

Немногим позже я спросил у одного из близких стоявших к Горбачеву людей, мы с ним пили чай у меня дома, он любил крепко заваренный чай, спросил его, подсчитано ли, во что обойдется государству шумно начатая в ту пору борьба с алкоголизмом. Нет, сказал он. Я не поверил: не может быть! Не мы первые вводим сухой закон, есть мировой опыт, запретное пьют больше, и растет преступность, богатеет мафия, одним словом, это именно тот случай, когда закон рождает преступление. Но он, хорошо знавший, как у нас принимают решения, весь этот механизм, спокойно покачал головой: нет, никто не считал.

И все-таки я не поверил. Нанести такой силы удар по собственным финансам изнутри, да еще в момент, когда на мировых рынках катастрофически упала цена нефти... Кремлевские старцы, давно уже махнувшие рукой на будущее — после нас хоть потоп! — только нефтедолларами и поддерживали уровень жизни, распродавали нефть, газ — достояние наших детей, внуков и правнуков, как промотавшиеся помещики, а везли из-за океана парохода-

ми хлеб, тряпки, создавали видимость благополучия. И все равно денег не хватало. А когда нечем было платить зарплату, гнали в регион эшелоны водки, она тут же раскупалась, — вот вам зарплата.

Все мы, конечно, умны задним числом, но это — не мысли за дверью, не сегодня мне это пришлось, ребенку было ясно, что пить не перестанут по мановению, только деньги мимо государства к самогонщикам потекут. И будут самогонщиков вылавливать, будут покалеченные судьбы... Но человек этот, умудренный долгой аппаратной службой, с усмешкой поглядел на меня: говорю вам, никто не считал.

Мне почему-то всегда хочется верить в лучшее, а жизнь многому должна бы научить. Начавшиеся в стране перемены я принял с величайшей надеждой, не мог поверить, что делается это на ощупь: вот, мол, раскрутим маховик, а там пойдет, само пойдет... И вскоре на одном из почетных заседаний, куда приглашены были главные редакторы газет и журналов, Горбачев приводил уже первые вдохновляющие результаты антиалкогольной кампании: на восемьдесят с лишним тысяч меньше стало инфарктов, сердечных заболеваний... Я знаю, говорил он, в очередях за водкой меня ругают, пишут на стеклах: «Миша, ты не прав!» — я все знаю, мне докладывают. Природный артистизм, желание нравиться воспринимались как искренность, и верилось, хотелось верить, мы ведь не избалованы, а еще и вечное наше российское: может, в самом деле так надо?

Интересные это были сидения. Тыходишь, многократно проверенный, ощупанный пристальными взглядами, поднимаешься на заветный пятый этаж, в святая святых, куда немногие допущены, и это тоже пьянит, чего уж скрывать, сам воздух здесь такой пьянящий. Как же им-то не пьянеть, небожи-

телям, когда приближенные с придыханием говорят, с обожанием смотрят. А размеры кабинетов, а безграничность власти... Ох, какой это крепкий напиток, как тут голову трезвой сохранить?

У самых дверей в небольшой зал, где происходили эти совещания, — Медведев, начальник личной охраны и Брежнева, и Черненко, а теперь и Горбачева, тот самый, что потом в Форосе предаст; скромно стоит у окошка, всех знает в лицо. Ну и, разумеется, несколько охранников в штатском рассажены будут в зале. Тут же непроницаемый Болдин в огромных очках сидит за поперечным столом, присутствует как скромный приближенный, не более того; кто тогда подумать мог, что этот серый человек уже сосредоточивает, сосредоточит в своих руках безмерную власть, будет отцеживать, что нужно знать Горбачеву, а что ему знать не следует, сокровит это в своих сейфах. И пока генсек блистает в заграницах под ликующие крики: «Горби! Горби!...», он, Болдин, неприметный, держащийся всегда в тени, уже заворачивает, завернет его, как в кокон, в нити заговора, а потом, решившись и страшась, явится вместе с несколькими заговорщиками принимать у Горбачева отречение от власти, диктовать условия... Но это все будет не скоро, пока что это непредставимо.

Пока что мы входим, чувствуя себя облеченными особым доверием, рассаживаемся попарно, как ученики за партами, а все политбюро — лицом к нам. По пять, по шесть часов длятся совещания, и все это время молча сидят они позади главного стола, за которым — Горбачев, Лигачев, Яковлев, еще кто-нибудь, но эти все, кроме него одного, молчат.

Маршал Язов, он обычно во втором ряду помещался, угреется там в шерстяном кителе, спину ему распарит, и задремывает, и задремлет, благо

глазки в морщинах скрытые, небольшие, только тогда и заметишь, когда уже голову на грудь уронил.

Но однофамилец начальника охраны, Вадим Андреевич Медведев, бдит. Странное у него лицо, будто однажды оно уже меняло кожу, а эта, как послеожоговая, но белая-белая, не загорает и летом. И на белом невыразительном лице — темные очки слепца.

Каков человек на самом деле, что он собой представляет, узнается не тогда, когда он посажен на высокий трон и начинают творить о нем легенды, и все зависимые склоняются и льстят, и он уже сам себя таким видит и жаждет лести, а она неуголима, отныне лесть — единственная правда, которую он способен воспринять. Сажал же Иван Грозный на царский трон вместо себя Саин Булата Бекбулатовича, предварительно сведя его с мусульманского удельного княжества и женив на овдовевшей дочери князя Мстиславского. А сам, отрекшийся в его пользу от престола, Иванец Московский, как повелел именовать себя, слал челобитные вчерашнему басурманину, которого окрестил, дав ему имя Симеон. Правда, там за шутовством дела шли серьезные, начинался новый раздел государства на земщину и опричнину, очередной «перебор людишек», и, как пишет историк, «покатились по дворам боярские головы». Так ведь не день, не месяц просидел на троне татарский хан, а около года.

Когда сегодня поражаются нелепости обвинений 37-го года, как, мол, верить было возможно, что этот, безвинный — английский шпион, а этот — японский и польский одновременно, думаешь: хоть глазом загляните в историю, все это было, ничего нового не придумано. Архиепископа Новгородского Леонида, которого Грозный царь, по одной версии, будто бы зашил в медвежью шкуру, «медведно ошив, собаками затравил», а по другой версии —

уморил в погребке, посадив на хлеб да на воду, его ведь, Леонида, судили как еретика и государственного преступника: с двумя королями, шведским и польским, поддерживал изменнические связи. Все это было, забыто и минуло.

А вот вижу недавно: не в машине огромной, в которой в бытность членом политбюро возили его, а пешком идет к метро Вадим Андреевич Медведев, обычный советский служащий и даже не столоначальник. Так ведь таким и был, хоть высоко сидел.

Мысль моя проста: не тогда познается истинное величие, когда на человека все прожектора нацелены, а когда он, как Андрей Дмитриевич Сахаров, лишен всего, кроме того единственного, что и богу не подвластно: своей сущности. Но Сахарова в этом президиуме «не сидело».

А сидел там еще Никонов, если помните такого. Ведал он сельским хозяйством, поилец наш главный и кормилец. И в щеках, оттопыривших мочки ушей, и в плечах, а особенно — в поясе он поперек себя шире. И глядишь другой раз по телевизору, как он, от полноты широко расставляя ноги, хозяйски перекачиваясь, ходит по американским полям (у нас каждый вновь назначенный, прежде чем дело делать, за границу мчится), — нет, это мы весь мир хлебом кормим, не может быть, чтобы при таком родстве мы закупали хлеб, побিরались.

Украшение президиума — пышная, начесанная и в цвет хны выкрашенная парикмахершами прическа Бирюковой, яркий рот. Чем прославился этот представитель женского пола, какие деяния совершил — сие тайна великая есть. Но полжизни провела в президиумах, президиум — ее постоянное местообитание, она там привычно размещается. И все вместе они — мощная декорация.

А Горбачев свеж, глаза живые, если выступающий интересен ему, он прервет не раз, говорит

сам. Когда это бывало, чтобы высшая власть советовалась с интеллигенцией? Еще Николай I определил надолго вперед: мне нужны не умные, а послушные. А тут вроде бы не только указания дают, но выслушивают.

Однажды я сказал, что запретами да запретами мы из пьянства не выберемся, не водка, так пиво хотя бы нужно, его вся Европа пьет, Япония... И вреда большого нет, и для государства доходно. А рядом с трибуной, с которой я это говорил, фактически над его головой говорил, сидел Лигачев, отец борьбы с алкоголизмом, по его приказу купленные за валюту пивоваренные заводы переоборудовали под производство безалкогольных напитков, да так переоборудовали с нашим старанием, что не вышло из ветлы ни оглобли, ни метлы. Ну, да не свои деньги угрохали.

Однако я забежал далеко вперед. А тогда, попив крепко заваренного чайку, вышли мы во двор, и я спросил этого, весьма близкого к Горбачеву человека: неужели не найдется кто-либо сказать Михаилу Сергеевичу, чтобы он не брал жену в поездки по стране? За границу — другое дело, там по протоколу положено, но на Север, к нефтяникам, где бабы — в телогрейках, а она — в парижском пальто «от кутюр»... И хорошо бы стояла незаметно, а то ведь в камеру обязательно норовит и в микрофон что-нибудь скажет назидательное, свободно перебивает его.

Дома я не стал спрашивать: это был человек, воспитанный в недрах системы, осторожность впитал в плоть и кровь, а телефон, прослушивается он или не прослушивается, мы его при разговоре всегда чувствуем третьим лишним. Мы стояли под навесом кинотеатра, но не с парадной стороны, где поток людей, а со двора, отделенные капелью, мелкий дождик моросил, ждали вызванную им машину, и вот

тут я спросил его. Он усмехнулся наивности вопроса: «Этого ему никто не решится сказать. Никогда!». И правда, если сам не видит, сказать не решатся: своя голова дороже. А люди выключали телевизор, когда столь же подробно, как его встречи, показывали, что посетила она с сопровождавшими ее лицами, кого и как поучала.

Муж и государственный муж — не одно и то же. Никому нет дела до невидимых миру слез. Но что простительно в семье, не прощается на вершине государственного гранита. Да еще после деспотии Сталина, который, подобно Гитлеру, как бы и не знал иной жизни, кроме служения народу, такой лепили образ. А тут парижские наряды, сменяющиеся не по одному разу на день, и это видит беднеющая страна.

Плохо мы изучаем историю, а не грех бы заглядывать в нее хотя бы одним глазом. Ныне, когда собрались канонизировать последнего царя, предстают царь с царицей, как голубок с голубицей. А ее ведь многие в России ненавидели, считали немецкой шпионкой, виновницей поражений и бед. И все за то, что при слабовольном царе посягала править империей.

Однако вернемся к рассказу, к тому, с чего начато. Было лето 86-го года, закончился VIII съезд писателей, и Сергею Залыгину предложили стать редактором «Нового мира», мне — редактором «Знамени».

Не стану скрывать, хотелось мне этого, но — в свое время, думалось даже: вот уж я тогда... Потому и хотелось, что мне это не угрожало. Ничего бы я в ту пору не сделал, а кончил бы ранним инфарктом или инсультом, пример тому — подвижническая судьба Твардовского. В истории отечественной словесности «Новый мир» Твардовского остался, но сам он ушел из жизни раньше срока, такой ценой

это далось. А ведь официальное его положение, оно у нас прежде всего в расчет принимается, было прочным: и депутат Верховного Совета, и кандидат или даже член ЦК, и чуть ли не всеми наградами награжден, словом, отмечен властью, приближен и любим. Но быть любимым властью означает быть подвластным. Перед тобой раскрываются многие двери, тебе даже разрешают открывать их ногой, но связывают руки, таков закон.

Твардовский был не рядовой приближенный, от которого, отбери его пост, и ничего не осталось. Он своим именем был огражден, его «Теркин» давно уже стал народным достоянием, это и правители уразумели. Но проявил непокорность, и на очередных выборах в Верховный Совет народ узнал, что отныне его избранник не Твардовский, а Чаковский.

Для Солженицына, который ненавидел этот строй, точнее сказать, не столько строй жестокий, сколько его идеологию (скиньте с себя эту кровавую рубашу, писал он в «Письме вождям»), для него подобные звания и должности вроде бы не должны были иметь значения, у него их не было, а чего нет, невозможно отобрать. Хотя, случись такое чудо, избрали бы его вдруг в Верховный Совет, не уверен я, что он в ту пору непременно бы отказался, он искал тогда трибуну, почему эту не использовать?

Но то, от чего сегодня многие отрекаются с легкостью и выгодой, для Твардовского было убеждением. На пути к нему он через многое в жизни переступил. И теперь собственную плоть отрывал от себя. Я видел, как оскорблен, мало сказать — оскорблен, унижен был, когда по выделенной квоте вместо него «избрали» в Верховный Совет Чаковского.

Помню шестидесятилетие Александра Трифоновича. Ранее, когда ему полвека исполнилось,

он отказался от пышного празднования в Колонном зале: дайте мне лучше квартиру, сказал он. И вот — шестьдесят. Уже известно было, что ему пожалуют или, как официально именовалось, «присвоят» звание Героя Социалистического Труда. Быть может, странно теперь покажется, но ему хотелось этой звездочки. А ведь имя его само по себе было выше наград, он наградил народ своей поэзией.

Но перед самым юбилеем сажают в сумасшедший дом Жореса Медведева, он написал книгу о Лысенко. Многие хотели бы совершать смелые, честные поступки, но каждый раз обстоятельства мешают: у одного вопрос квартиры решается, у другого дочка в институт поступает... Твардовский сказал: «Если не я, то кто же? Если не теперь, то когда?». И вместе с Тендряковым поехал в сумасшедший дом к Жоресу Медведеву, начал борьбу за его освобождение.

Разумеется, такой предерзостный поступок власть не могла оставить без последствий. Мы с женой были приглашены на грустное его шестидесятилетие, справлялось оно за городом, на даче. Он, Мария Илларионовна радушно встречали гостей. У большого, во всю террасу, стола хлопотала, еще и еще поднося из кухни, Оля, младшая, особенно, как мне казалось, любимая, даже с какой-то болью любимая дочь. Однажды, в тяжком запое (по времени это совпало с очередным запрещением уже сданного в набор номера «Нового мира») пригрезилось Александру Трифоновичу, что Оля умерла. И, плача, он рассказывал об этом, и невозможно было его переубедить, пробиться в помраченное сознание, страшно представить, что он тогда пережил.

Гости съезжались, уже было известно, что награда снижена до минимума: орден Трудового Красного Знамени. Ниже — только многоцветный,

как мордовский сарафан, новоизобретенный орден Дружбы народов, еще ниже, в самом уже низу — «Знак Почета», прозванный «Веселые ребята». Орденов не хватало, горстями для убоготворения швыряли их из кремлевского окна в народ, измысливали новые: беря себе, надо было давать другим. Это про императора Павла сказал Карамзин: «Он отнял у казни стыд, а у награды честь». О чести говорить уже не приходилось, но унижить наградой могли.

Александр Трифонович, виду не подавая, шутил с гостями, но еще не переступил он в себе ту грань, за которой человек свободен. И за стол не сажались, ждали Шауро, слух прошел, что выехал, едет, ему поручено поздравлять...

Шауро, прозванный великим немым, еще не так давно был завучем в школе, всего лишь. Звездный час его настал, когда в республику с визитом прибыл Подгорный. Шауро, к тому времени уже занимавший какую-то должность в ЦК Белоруссии, сопровождал его в поездке, понравился и вскоре был вызван в Москву, посажен на отдел ЦК: оттуда, с вершины, руководил культурой. Обходительный, голос тихий, манеры мягкие, глаза лживые, но глядит с такой искренностью, прямо из души — в душу. «Народу вера нужна, — внушал он мне однажды у себя в кабинете, когда я в очередной раз пришел к нему ходатайствовать за Быкова, которого травили в республике, а я по дурости предположил, что, будучи сам из Белоруссии, заступится Шауро за земляка, поможет. Но он всякий раз пропускал мимо ушей то, что говорю я, словно вовсе ничего не говорилось, и продолжал с той фразы, которой кончил. — Вера нужна народу. Вот веру литература и должна дать, в этом главная ее задача». По вере ли это была тоска или по страху, который долго держал народ в повиновении, не знаю. Но вот ленинградский пар-

тийный царь и бог Романов выражался ясней: «Надо, чтобы люди любили, не рассуждая».

А я смотрю, бывало, в лицо Шауро и вижу деревянную лопату: раньше из липы резали прямоугольные деревянные лопаты — снег убирать, — чуть вогнутые с лицевой стороны. Желтое продолговатое лицо Шауро было точно как эта лопата. Но с глазами. И вот его-то ждали к столу, не садились некоторое время.

Маршала Жукова, с которого опала не была снята, прибыл поздравить с днем рождения, верней сказать, высочайше посетил министр обороны маршал Гречко, получивший маршальское звание из рук Брежнева после войны. Доложили: «Маршал Гречко!» — «Генерал Гречко! — не выйдя, отчеканил Жуков. — Маршала такого я не знаю!». Скинувший уже было на руки адъютанту шинель, Гречко надел ее в рукава и отбыл.

Больно мне было в тот день за Твардовского, когда мы, в свою очередь виду не подавая, прогуливались по участку, занимали себя разговорами. Трудно отрывал он от себя привычное прошлое. Но отрывал. А только тот и заслуживает уважения, кто себе в ущерб поступает по долгу и совести.

Когда летом 86-го года предложили мне стать редактором журнала, я и этот юбилей вспомнил печальный: а не наденут ли на меня седло, не затянут ли подпруги так, что и не вздохнешь? Первая, главная несвобода человека — дети. Много ли найдется таких, кто бы детьми пожертвовал, чтобы мысль свою доказать? Но кто и на это пойдет, страшный человек. А другая несвобода — дело, тут ты опять же не себе принадлежишь. Меня отговаривали дома: ради чего весь уклад жизни менять?

В пьесе «Пристегните ремни!» была реплика, которая всякий раз почему-то шла под смех и аплодисменты зала: «Самые опасные те люди, кому ни-

чего не нужно. Каждому человеку должно быть что-то нужно: кто квартиру просит, кому должность нужна... Это хорошо, это по-нашему, пускай. И после смерти человеку все равно что-то нужно: где похоронят? какая пенсия семье? А вот те, кому ничего не надо, они-то и есть самые опасные, от них чего угодно жди!».

Рассказывали, в Ленинградский обком партии приглядели с завода толкового инженера: дряхлеющему телу требовалось вливание свежей крови. Поработал немного, предложили ему квартиру. «Спасибо, у меня есть». Предложили со временем дачу. «Спасибо, у меня хоть плохонькая, но своя, сам строил». И пришлось от него избавиться, рядом с ним другие неуютно начинали себя чувствовать.

Вот и мне, серьезно говоря, ничего не было нужно, жил я не дарованным, а заработанным. Но на журнал «Знамя» мощно рвались четверо. Одного подпирал Московский комитет партии, членом бюро которого он состоял. Другого двигало Главное политическое управление армии, немалая сила, надо сказать. Третий претендент сам сидел в цеховском кресле: зав. сектором. Четвертый же, по обыкновению своему, должность бы взял, возглавил почетно, а работать за себя посадил бы кого-нибудь.

Есть у Достоевского мысль про ошибки ума и ошибки сердца. «Недоумения ума, — писал он, — исчезают скорее и бесследнее, но ошибки сердца — это уже дух зараженный, это такая степень слепоты, для которой факты ничего не значат, она и факты перерабатывает на свой лад».

Этих четверых я хорошо знал: и дела их, и лица. Вглядывайтесь в лица. Слова могут лгать, по лицам читается многое. И вот им, про кого и сказано «дух зараженный», отдать журнал? Виктор Астафьев, узнав, что я стал редактором, писал мне в

дальнейшем: «На это можно решиться только ради литературы».

Началась моя редакторская жизнь звонком инструктора ЦК: «К нам тут обратился автор... Вы прочитайте ее роман доброжелательным свежим глазом. Роман на важную тему...». Автор этот — пожилая крашеная графоманка в мужской шляпе — уже успела побывать у меня, совала на стол свое изделие весом в пять-шесть килограммов. При двух прежних редакторах ей отказали, истратив на рецензии полтысячи. У меня лишних денег нет, сказал я инструктору. «Ну, вы найдете!» Тон барственный, сверху — вниз, сказано так, что обсуждению не подлежит. Вот она, первая проба сил.

— Где это я найду? Я свою первую зарплату отдал на Чернобыль. Давайте из вашей зарплаты две с половиной сотни, пошлем на рецензию, не жаль.

Инструктора этого я немного знал: пожилой, седой, приличного вида. До войны окончил ИФЛИ, славившийся в то время Институт истории, философии, литературы. Ему, по его сединам, не расти уже, не продвигаться вверх, его путь — с горочки, к пенсии, но — служит ревностно, пенсии тоже бывают разные. Я сказал: «У меня была назначена встреча с вами. Теперь я вынужден ее отложить» — «Нет, нам надо встретиться!» — всполошился он. В обязанности его входило «курировать» наш журнал, разузнавать, докладывать. И он приехал. Я поручил второму заместителю принять его и разговаривать. И все бы хорошо, да мысленно я не один день с ним разговаривал: это же как надо пасть, старый человек... Не скоро научился я не пропускать все через сердце. Да и научился ли?

А тут и второй звонок подоспел: бывший, как он представился, заведующий отделом черной металлургии ЦК, персональный пенсионер такой-то. Очень приятно. Как раз шла редколлегия, гово-

рил я при открытых дверях. Он начал с напором: известно ли мне, что роман Александра Бека, который мы хотим печатать, запрещен? Известно. А известно ли, что именно он и Шауро, два заведующих отдела-ми, запретили роман? И это известно.

Мой приятель, служивший во время войны в разведотделе штаба армии, сказал: «Вам надо было сразу же спросить номер его пенсионной книжки» — «Зачем?» — «Тон сбить. Мол, обождите, обождите, я номер запишу...». Но я в разведотделе не служил, а тон был именно такой, каким этот бывший привык разговаривать с подчиненными: «Подготовленную к печати рукопись я требую прислать мне для ознакомления!». Ничего уже требовать он не имел права, но права не дают, права берут, он знал, сколько повсюду в креслах сидит его бывших коллег и единоверцев, им стоит кнопку нажать...

Набравшись терпения, я объяснял, что есть авторское право, что никому без согласия автора редакция не имеет права давать рукопись. Кстати, знает ли он, что роман уже издан в Италии? «Как издан? Кто передал?». Он буквально вскричал. И действительно, они с Шауро запретили, а в Италии ослушались, издали книгу. Я не смог отказать себе в удовольствии: «Это вас с Шауро надо спросить — кто? Вы читали, размножали, давали на прочтение... Вас и надо спросить — кто?».

Александр Альфредович Бек, рослый, крупный мужчина, когда умирал от рака, весил сорок два килограмма. Уже перед самой смертью доставили из Италии изданную там его книгу, умирая, он подержал ее в руках. Василий Гроссман и этой горькой радости был лишен: отсюда, из «Знамени», его роман «Жизнь и судьба» передали в ЦК, в КГБ, и серый кардинал Суслов, полагавший, что история тоже ему подвластна, предрек: и через двести лет книга эта не будет издана. И вот я разговариваю с одним из

прежних душителей, он уже на пенсии, доживает свой век, но страсть к убийству не остыла в нем, звонит в журнал, требует...

Однако всех последствий я, конечно, предвидеть не мог, обвал писем обрушился на нас. И звонки телефонные, руководящие.

Впрочем, об этом обо всем будет подробно рассказано дальше.

Еще это дело не завершилось, как — новая напасть, вовсе для меня неожиданная. В Москве был сентябрь, за окнами редакции на Тверском бульваре — жесткая, пыльная листва на деревьях, уже чувствовалось, скоро ей опадать. А на Черном море как раз начинался бархатный сезон. И вот, прилетевший оттуда, овеянный морскими ветрами, позолоченный пляжным загаром, входит ко мне в кабинет человек приятной внешности, и во взгляде, и в голосе, и в позе, и в манере — особая, прямо-таки притягивающая мягкость. На нем по московской погоде легкое заграничное пальто цвета курочки-рябы, мягчайшее, неяркое, но оттеняющее кашне, ничего броского, все дорогое, а я уже знаю, кто это, телефонный разговор с ним был у меня: зять Андрея Андреевича Громыко. Он достает визитную карточку, шикарная визитная карточка и ранг — дай бог памяти — то ли посланника, то ли уже посла, иными словами, как говорят в их среде, упакован на всю жизнь. Небрежно, как ничего не стоящую тряпку, сбрасывает пальто на спинку кресла, но падает оно, как козырная карта, картинкой вверх: на шелковой подкладке фирменная этикетка — золото, пурпур, гербы с коронами — Париж? Лондон? Брюссель?

Он явился ко мне за ответом, позавчера прилетел оттуда, с моря Черного, а завтра возвращается на пляж и должен привезти ответ Андрею

Андреевичу Громыко. В журнале, еще до моего прихода, запущен был и печатался роман Юлиана Семенова. И была там глава: наш разведчик, сидя в кабаке одной из стран Латинской Америки, читает в газете речь Громыко на Генеральной Ассамблее ООН. И вся эта скучнейшая, напечатанная во всех газетах, длиннейшая речь, смысл которой сводился к единственному слову: «Нет!», целиком вставлена в роман. Автора устыдили, он вроде бы устыдился, забрал главу, но летом, оказавшись на пляже рядом с Громыко, будучи допущен поплавать рядом с ним, пожаловался, что вот он, мол, написал об Андрее Андреевиче, а из журнала изымают. Громыко выразил неудовольствие, и в Москву прибыл зять.

Мне тоже, если признаться, приходилось купаться с Громыко в Черном море: он — в Крыму, я — на Кавказе, но, может быть, та волна, что его ласкала, достигала и меня. Однако видеть Громыко вблизи, не таким, каким представлял он перед членами Генеральной Ассамблеи ООН, а выходящим из пены морской в одних плавках на старческом теле — избави бог, я никогда не стремился быть прикосновенным к государственным тайнам.

И вот мы сидим с его зятем, и решается вопрос — будет ли возвращена в роман речь Андрея Андреевича? Конечно, будет, вчера еще мы это решили между собой: и одна, и две, и три таких речи ухудшить роман не могли; я не читал и читать не буду, но те, кто читал и редактировал, заверили меня. А главное, зачем журналу на самых первых порах обретать такого, мягко скажем, недоброжелателя? Громыко — член политбюро, Председатель Президиума Верховного Совета, на дворе только еще 86-й год, телефонное право в самом расцвете, ему бровью стоит повести, и надолго испортят нам жизнь, словом, игра не стоит свеч. Но мне интересно другое:

неужели стыд не дым? Или там, на холодных вершинах, такого понятия вообще не существует? А ведь достигнуто в жизни все, достиг и того, что в радужных снах не снилось: «...с ключом и сыну ключ сумел доставить... пережил детей, внучат...», зять уже в ранге посла или посланника, но, оказывается, еще и вот это потребовалось, не упускают ничего. Я знал, редактору другого журнала, где было только упоминание о Громыко (кстати, в произведении того же автора), Андрей Андреевич по простому городскому телефону лично звонил и выражал благодарность.

— Главу мы напечатаем, — говорю я. — Но надо, чтобы Андрей Андреевич лично визировал. Такое Лицо!.. Тут каждое слово имеет особый смысл...

Зять мягко перебивает меня: в их семье я, оказывается, — любимый писатель, Андрей Андреевич очень любит мою повесть... И он без запинки, совершенно правильно произносит название.

Быть любимым в такой семье — да ведь это какие радужные открываются перспективы! Захоти я завтра, допустим, полететь на Мадагаскар, и посол будет меня встречать там. Нет, что ни говори, а интересное занятие — жить на белом свете.

Но без визы — совершенно невозможно. Вдруг — неточность, запятая какая-нибудь исказит смысл... Помните: казнить нельзя помиловать...

Знаю я, знаю заранее: визировать он не будет, не станет оставлять следы. Все должно делаться устно. Да и не нужно мне никакой визы, дурака валяю, интересно в глаза поглядеть. И вдруг находится решение: да ведь можно сличить с газетным текстом! Вот как непросто простые мысли приходят в голову.

Мы прощаемся, я обласкан почти родственным взглядом маслянистых глаз. Мягкое пожатие

загорелой на южном солнце руки. Я слышал, дипломаты проходят сложнейшую науку этикета. Но вот мужчина пожимает руку. По руке его, по тому, как он жмет, многое про него узнается. Интересно, это им объясняют?

НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ

Какие цензоры бывали в России! Не все подряд, но вспомним: цензором был Иван Александрович Гончаров. А Никитенко! Его дневники — это пища уму. Вот он писал: «Мнение или идея, старающаяся поглотить все другие и присвоить себе господство над умами, мне так же противна, как власть, которая хочет подклонить под свое иго всех людей с их действиями и правами». Он, государственный чиновник, писал: «...у чиновников есть начальства, а нет отечества». Или: «Чиновник считает канцелярию или департамент своим отечеством». А еще вот это он, цензор, пишет: «В продолжении моей жизни я видел много запретительных мер против печати, но ни одна не достигла своей цели, то есть не останавливала потока мыслей, а только извращала его и заставляла уходить вглубь, чтобы затем вырваться из-под земли уже бурливым ключом в каком-нибудь темном углу. Но да не смущается сердце ваше: верьте в живучесть и производительную силу мысли, а если бы не так, то деспоты и невежды всякого рода давно бы погасили ее».

Ну, а вот это не сегодня ли писалось: «Массы могут быть проводниками свободы, но не могут быть хранителями ее. Да и проводниками они бывают наподобие судоходных каналов, которые несут грузы от места к месту, но не знают, какие это грузы и из чего они состоят. Потому-то на массы, или на демократию, могут с равной для себя выгодой опираться самый суровый деспотизм и самый крайний либерализм».

Но одновременно и это сказано им: «В политической будущности России я не отчаиваюсь, потому что народ есть все-таки сила, но я отчаиваюсь в том, чтобы в России установилась когда-нибудь хорошая администрация... чрезвычайная редкость найти в истории государя, который бы добровольно захотел подчинить свою волю законам».

И все это понимая и записывая, он тем не менее был цензором. Почему? Да потому, наверное... Впрочем, еще раз процитирую его самого: «...нетрудно мужествовать со ста двадцатью тысячами дохода и когда знаешь, что в нынешнее царствование тебя за то ни в крепость не посадят, ни в Сибирь не сошлют».

Так будем хотя бы заочно снисходительны к нашим вовсе нищим цензорам, в страхе воспитанным, в страхе пребывавшим всю жизнь. Много я от них натерпелся, каждую мою книгу пытались они искалечить и калечили, но для того они и выставлены были против нас, заградотряд мирного времени. А впрочем, кто заставлял их влезать в эту подлую шкуру, где дня без лжи не прожить, где ложь становится твоей сущностью?

Вот так однажды должна была идти в театре имени Вахтангова моя пьеса, уже принятая художественным советом, уже журнал «Театр» печатал ее в пятом, майском, номере. И вдруг, как после я узнал, вызывают редактора министерства культуры (а там тоже она одобрена) в цензуру и говорят ему: «Что тут, мы до конца понять не можем, но чувствуем: тут что-то есть». И с тем дают ему пьесу под мышку, и он уходит.

А в Москве — апрель, тает, солнце жаркое, и вот, разморенный солнцем, ничего не предвидящий, вхожу я в редакцию журнала «Театр», зачем-то мне верстка пьесы понадобилась. Обычно автора, чья вещь печатается, встречают как родного, а тут

вижу — шарахаются от меня. Что такое? Никто ничего не говорит, каждый стремится исчезнуть. И уж редакторша моя — «На меня не ссылайтесь, я не имею права!» — сказала потаенно: цензура запретила, пьеса вынута из номера, срочно заменили другой...

И вот предстоит мне уже в ином качестве встретиться с цензурой: в двенадцатом номере «Знамени» все за тот же 86-й год запретили очерк Елены Ржевской о маршале Жукове.

Ржевская была на фронте переводчицей в штабе армии, которая брала Берлин. И в ночь, когда закончилась война и гремели салюты, и пили и плакали от радости, Лена держала под мышкой парфюмерную коробку, в которой была челюсть Гитлера, по этой челюсти, по ее строению, по всем ее пломбам и мостам личный врач засвидетельствовал, кому она принадлежит, чей обгорелый труп найден.

Долгое время это сохранялось в тайне. Уже и труп Гитлера привезли в Москву, есть у меня фотография: над ним, лежащим на столе, — люди в белых халатах. А может, это и не он, кто их разберет со всеми их тайнами. Для меня и Гитлер, и труп его — падал, но преврати его в сувениры, выставь на аукцион по костям, так ведь безумные деньги будут платить: шутка сказать, кость такого злодея у меня хранится, гостям показать, дать потрогать... И хоть Сталин знал все документально, до конца ему мерещилось, что Гитлер жив, где-то скрывается.

Но умер Сталин, прошли годы, Елена Ржевская смогла опубликовать книгу, в которой рассказано, как и где их разведгруппа нашла обгорелый труп, что показал врач на допросах. Маршал Жуков книгу прочел, и для него это, по меньшей мере, был удар по самолюбию. Он, командующий фронтом, которому все подчинено, ничего не знал, втайне от него по приказу Сталина совсем другое ведомство

ведет розыск, и он узнает обо всем из книги, годы спустя после войны. Он позвонил Ржевской, пригласил к себе; был он тогда в опале, не у дел. Об этом дне у маршала Жукова с большим тактом, глубоко и сердечно написала Ржевская, сохранив и дистанцию, и достоинство. И этот очерк запрещен. И в редакции ждут, что я решу. Это проба сил, очередная проба сил.

Ох, не хотелось мне ехать в цензуру, как не хотелось! Я и всегда-то обходил ее, как грязное место. Многие именитые писатели, трибуны и громовержцы, заводили с цензорами негласные шашни, старались ублажить сами или через опытейших жен, меня от этого бог хранил. А вот теперь придется. А если и дальше так день за днем и одно за другим будет на тебя валиться, зачем мне? И что это за жизнь?

Чтобы писать, нужно, чтобы душа была спокойна. Под Новый год стоял я в очереди за подарком, за духами жене, очередь был долгая, но ничуть мне это не мешало, потому что мысленно я писал в это время письмо к матери, письмо мальчика, воина, героя моей книги. Я ничего не знал, что будет с ним дальше, обычно все-таки знаешь наперед, а тут я не знал его судьбы, как сам он ее не знает. Утром — бой, предошущение боя, а жив ли он останется — откуда знать ему? Но и не это главное. А главное, что любим не он, вот самое главное и больное. Только что видел он человека, которого любит Рита, он видел его своими и видел ее глазами, и понял ясно: ему нет места в ее сердце. Была ли это влюбленность, любовь? Когда из всей жизни тебе остались не дни даже, а часы, чувства обостряются, и неизвестно, что сильнее: любовь или потребность быть любимым. И он вернулся к себе в землянку, шел один под южным звездным небом, и мысленно слагалось письмо к матери перед боем, конечно, он не

отправит письмо, но кому еще, как не матери, осталось сказать: «Родная моя!».

Наверное, в магазине было душно, женщины расстегивали шубы, скидывали на плечи платки, а у меня мурашки шли по щекам, когда он, то есть я, в этот момент я был им, так его чувствовал, мысленно говорил то, что написать ему было не суждено.

Что мы знаем о тех письмах ненаписанных, о мыслях невысказанных? Вместе с мальчиками ушли они в бой, и нет их, растаяли, как пар на восходе солнца. И, отстояв очередь, я шел домой счастливый, спешил все это еще раз пережить и записать. Да, это было счастье.

А вот сейчас надо было ехать в цензуру. Я сидел, думал, собирался, наконец снял трубку телефона, позвонил начальнику Главлита (так называлась наша цензура), и в этот момент, когда звонил, я сознавал себя имеющим право; нельзя начинать дело, если не уверен, это чувствуется, передается. Я сказал, что нам надо познакомиться. Как можно было ожидать, начальник Главлита уезжал в командировку, завтра он как раз уезжает в Чехословакию. Руководство у нас все время уезжает и, чем выше ранг, тем — дальше, преимущественно в страны со свободно конвертируемой валютой.

— Я могу приехать сегодня. Назначьте час.

По всем аппаратным правилам игры ему проще всего было переложить на заместителя, он понимал, зачем я еду: начальник добр, он ничего не запрещает, но зам свиреп, обычный расклад карт. Просчитал ли он что-то в уме, но, поколебавшись, назначил время.

И вот впервые я подъезжаю к этому зданию в Китайском проезде, где на последнем этаже — система пропусков и все такое прочее. В кабинете начальника Главлита Болдырева уже сидят двое: его заместитель и цензорша. Но не та, что приставлена

к нашему журналу, та мала для такого разговора, а рангом повыше. И весь исчерканный красными и синими карандашами очерк Ржевской на столе. Подготовились. И сценарий, надо полагать, распи-сан, роли распределены. А мне, за недостатком опы-та, придется, как плотники говорят, «по месту» ре-шать, как обстоятельства сложатся.

Но подали чай (хороший знак!), подали пе-ченье в вазочке. У нас все — по рангу: кого — к пус-тому столу, кому подать чай и с чем.

Однако разминка закончена, действие нача-лось. Не помню уже фамилий тех двоих, кого спу-стили на меня. Вот так же, когда Любимов ставил на-шу с ним пьесу «Пристегните ремни!», спущена бы-ла на нас свора испытанных бойцов.

Да, повторяю, надо быть снисходительным к нашим цензорам, воспитанным в страхе, служба у них тяжелая. Но это — на отдалении, когда не со-прикасаешься, не видишь их лиц. Как они меня рва-ли с двух боков, как зажигались друг от друга! Еще она не кончила, он нетерпением горит. И какой гнев благородный, как искренни оба.

— Вы посмотрите, как она Сталина подает!

Не забудем — 86-й год, о гласности, по сути дела, и речи нет. После Хрущева, который приказал вынести Сталина из мавзолея и сжечь, восемна-дцать лет брежневского царствования, и Сталину уже установлен памятник у кремлевской стены. По-мыслить тогда было невозможно, что мальчишка-пэтэушник специально приедет в Москву, переле-зет через ограду и стальным прутотобьет камен-ному Сталину нос и не будет за это судим. Впрочем, нос уже восстановлен.

— Вы — фронтовик! С именем Сталина мы шли в атаку!

Это они-то шли? Он шел? Но я киваю глубо-комысленно, я как бы соглашаюсь с правомерно-

стью подобных чувств. Мне важно понять, на испуг берут или у них такой пункт в инструкции восстановлен. А может, он и не исчезал? Тогда они стеною каменной ограждены. Я отхлебываю чай, и вспоминается мне вдруг фраза чеховской госпожи Мерчуткиной: «Нынче кофий пила без всякого удовольствия...». Без удовольствия, без удовольствия... Но на душе все же легче: слишком уж гневливы, сильному достаточно тихо сказать.

— А Жуков как у нее представлен! Человек, имя которого войдет в историю, приглашает ее приехать к нему, а у нее, видите ли, путевка в санаторий, она не торопится. Да кто она в сравнение с ним!

И ведь — искренни, вот что самое интересное — искренни! Имя опального маршала Жукова они вымарывали отовсюду, упоминания о нем не допускали, и они же теперь готовы за него жизнь положить. Это даже не ложь, это высшее нечто. Когда самим себе отвыкают говорить правду, нет страшней такой лжи. И для таких людей нет ничего святого.

Я понял, вот он момент, когда надо встать и вспылать гневом праведным: а вам какое дело, поехала она в санаторий или не поехала? Это что, тоже входит в обязанности цензуры? Да выйти, да дверью хлопнуть. Пусть посидят да поглядят друг на друга, знают, что перебрали.

Но вот я хлопну дверью, а они вдруг не испугаются. Перезвонятся с кем следует, и пока что не будут подписывать номер в печать, им торопиться некуда. Завтра сядет он в самолет Москва — Прага, и засвистят турбины...

За каждым из них, за всей этой организацией такой многолетний опыт безнаказанности! Еще никого у нас не наказали за то, что книгу удушил, а вместе с нею и автора утопил, как младенца в ван-

ночке. Но вот если не то слово пропустил, недовольство «наверху» вызвал, конец карьере. Нет, мне надо, чтобы подписали номер в печать, мне штамп нужен, я не имею права не сдержаться.

С тех пор как я стал редактором журнала и притерпелся к этой мысли, я чувствую, будто несу корзину с яйцами, не переколотить бы их. На встрече нашего журнала с читателями в Библиотеке имени Ленина я даже заслужил упрек от микрофона из зала: в журнале вы смелей, чем отвечаете на вопросы. Милая, похорошевшая от волнения женщина требовала, чтобы общество выявило и покарало тех, кто так или иначе способствовал всем нашим бедам, всех покарать. А я сказал, что нельзя этого делать, иначе на каждой лестничной площадке люди окажутся врагами друг другу. И все силы общества уйдут на эту борьбу, и ничего мы не сделаем. Нельзя, чтобы волна смывала волну, иначе конца этому не будет. Она упрекнула меня в робости. Не очень это приятно, однако переживем, есть ради чего. Я не себя шел показать, мне журнал дорог.

И на другой встрече, в Доме актера, на Пушкинской площади, где зал был полон и в фойе, куда открыли двери, стоял, дышал народ, только что на люстрах не висели, я перед выходом на сцену попросил товарищей моих — и Николая Шмелева, и Юрия Карякина, — слово с них взял не упоминать всуе имя Лигачева. Только что произошел скандал в «Московских новостях», где мы, несколько человек, подписали некролог — умер в Париже Виктор Некрасов. И Лигачев едва не орал на редактора: как, мол, посмели вообще печатать некролог! В седую его голову и мысль такая не поступала, что, лишись он завтра своей должности, и кто он? Старец никому не нужный, мало ли уже сменилось таких временщиков, некогда всесильных. Лигачев? Кто такой

Лигачев? А книга Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» уже осталась в литературе, в истории нашей культуры.

Товарищам моим не терпелось под смех зала цитировать Лигачева, ведь что ни слово — золото. Но решалось, дадут или не дадут новое помещение для журнала, у нас уже оба этажа залило, потолок внизу подперт щитами и бревнами, даже неошкуранными, в редакцию войти невозможно. Они выступают эффектно, зал поаплодирует, а Лигачев завтра снимет трубку телефона, и остались мы сидеть посреди потолка.

Ради журнала не раз приходилось мне делать то, чего никогда для себя делать бы не стал: где — просителем представиться и не стыдиться этого, а где и на ногу наступить, хотя вот это мне более всего противно.

Но сейчас требовалось терпение, возможно, они и ждут, чтобы я взорвался, наговорил лишнего и тем самым развязал им руки, возможно, весь сценарий с таким расчетом разработан. Я сидел, слушал, наблюдал. И новый начальник Главлита Болдырев, с которым в дальнейшем установились у меня приемлемые отношения, тоже наблюдал. За могучим, просторным столом — сколько судеб через этот стол прошло! — он сидел в высоком кресле, как бог Саваоф на пушистом облаке, а его «воинство земное» рвало меня с двух боков только что не до живого мяса.

Еще не так давно, перед XXV или XXVI съездом партии, — все они теперь слились в нечто, равно безликое, а тогда каждый из них подавался как всемирно-историческое событие, — цензура срочно заменяла на афишах названия классических спектаклей: вместо «Много шума из ничего» — «Любовью за любовь», «Перед заходом солнца» переименовали во что-то жизнеутверждающее... Родилась

ли эта гениальная идея на Старой площади или отсюда была подана услужливо, но осуществляли ее здесь, в этих прокуренных кабинетах, где сам воздух отравлен. Он впитался в поры стен, в души людей, да разве выветришь его?

А у меня в самых ближних планах было — напечатать поэму Твардовского «По праву памяти», которую ему, редактору «Нового мира», не дали напечатать при жизни. Она уже отправлена в набор. В этом разговоре и ее судьба в какой-то степени решалась, как начнешь, так и пойдет дальше.

Я поставил чашку на блюдо, поблагодарил.

— Ваши гражданские чувства, вашу озабоченность я понимаю вполне. Я тоже, можете поверить, озабочен. И я рад, что у нас возникло такое взаимопонимание. Но как редактор я должен стоять на почве закона...

Разговор длился более полутора часов, я успел продумать, что буду говорить, и почему-то мне особенно вот эта фраза, эта поза понравилась: как редактор я должен стоять на почве закона. Портрет маслом можно с такого редактора писать, был бы тут свод законов, я бы для пушнего эффекта еще и руку на него положил.

Я попросил показать мне параграфы инструкции или что там у них есть, дающие право снять в рукописи то-то, то-то, то-то. Есть — соглашусь, нет — под мою ответственность. Прямо здесь, на верстке напишу: «Под мою ответственность».

Они имели право снять всего лишь один абзац, в котором был упомянут еще не рассекреченный документ. Всего лишь.

Было поздно, когда я подъехал к редакции. Свет наверху, в кабинете, горел. Ждали.

И вот подымаюсь по лестнице, вхожу. На лицах — «Ну?». Успокаиваю: подписано в печать. Потери — один абзац.

И — общее ликование, автор, Лена Ржевская (мы с ней когда-то вместе учились в институте), только что не целует меня, а может, и целовала. Выдержанная, не склонная к восторгам, она говорит мне какие-то восторженные слова.

Некоторое время мы сидим, не расходимся, час поздний, но это, как нам кажется, победный час, и нам хорошо вместе. Курить я бросил давно, а впервые закурил в пять лет: сухие листья сирени. И в кабинете у меня не курят. Однако сейчас говорю: «Курите!». Конечно, надо бы ради такого дела бутылочку открыть, да нету, нет. Жаль.

Но вот цензуры не стало, и — странное дело — вместе с ней ушли из литературы известные имена, просто исчез целый ряд известнейших имен. Это те, за кем персонально была закреплена дозволенная смелость.

ЛАКШИН

Был момент, когда на даче Александр Трифонович Твардовский пришел ко мне и предложил стать его первым заместителем в журнале «Новый мир». Не смогу сейчас воспроизвести дословно весь разговор, но одна фраза его запомнилась: «Дементьев говорит: иди, зови Бакланова».

Александр Григорьевич Дементьев только что с этой должности был снят, он и ответственный секретарь журнала Закс, не самые, надо сказать, смелые сподвижники Твардовского. Но дело было не в них: Твардовского подталкивали оскорбиться — что ж он не волен в своем журнале? — вспылить, оскорбиться и уйти. А ему жаль было журнал, только в нем литература и дышала, жаль потраченных лет и сил. И вот он предложил мне занять место Дементьева.

Отказаться было невозможно, отказаться в ту пору значило предать Твардовского. Согласиться — погубить себя: пришлось бы бросить писать. Видел я не раз, как после очередного цензурного запрета черным возвращался Твардовский из редакции. А я после контузии на фронте и так-то не очень уравновешен. Война кончилась, а у меня еще лет десять случались такие головные боли, что полголовы отнималось и я ложился пластом. Я попросил время подумать, но про себя решил: надо соглашаться. Однако больше Александр Трифонович о своем предложении не напоминал. И вдруг узнаю: заместителем стал Лакшин. У меня от сердца отлегло.

И вот прошли годы, я стал редактором «Знамени» и первым делом звоню Лакшину. После разгона «Нового мира» он был трудоустроен в журнале «Иностранная литература» на тихой должности, изредка вел интересные передачи по телевидению. Помимо глубоких знаний он был артистичен, неплохо пел под гитару, но опала с него не была снята, он оставался невыездным, ни в одну заграничную поездку его не выпускали. Я предложил ему пост первого заместителя.

— Ну, это обвальное предложение, — сказал Владимир Яковлевич. — Дайте неделю подумать.

Я не сомневался, что он согласится, не уговаривал. Я только сказал:

— Можете поверить, мы станем первым журналом. А выходить вперед удобнее со второй линии, как в волейболе.

Почему-то мне в тот момент волейбол пришел на ум. Но хоть в дальнейшем он и объяснит свое согласие так: «Если тебе дают ружье, отчего не пострелять?» — ему было о чем подумать. «Новый мир», в котором он был заместителем Твардовского, уже вошел в историю литературы, и это ни изменить, ни отменить. А за журналом «Знамя» шла ху-

дая слава. Член редколлегии «Знамени», весьма почтенная дама, начисто лишенная чувства юмора, который, впрочем, по ее обязанностям был ей просто ни к чему, говорила гордо: «Мы никогда не отклонялись от линии партии. Вадим шел на этажи и узнавал линию партии на неделю...». И кто забудет, что отсюда, из «Знамени», передали в ЦК и в КГБ рукопись романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»...

Пока Владимир Яковлевич думал, дела в редакции шли своим чередом: мне торжественно доставили роман постоянного автора «Знамени» Чаковского, который в иерархии Союза писателей занимал одно из первых кресел. Роман был объявлен заранее, на всякий случай автор справился, ждет ли новый редактор его роман. И Катинов, многолетний первый зам, доложил мне об этом в благостных тонах, и роман был привезен, и сразу — мне на стол. А вслед за этим Чаковский уведомил меня по телефону, что рукопись романа он уже давал прочесть Андрею Андреевичу Громыко и Андрей Андреевич высоко отозвался о романе. Иными словами, арт-подготовка началась.

Что полагалось сделать редактору и что делалось здесь в таких случаях? Не приступая к чтению, а только взвесив этот кирпич на руке, согласовать с именитым автором, с какого номера начать печатать его роман. Затем вызвать редакционных работников, чтобы они, не углубляясь, что-то подчистили, застругали несообразности, и — с богом, или, как теперь говорят, — вперед!

Когда смещены все нравственные понятия, стыд становится уделом дураков. И что уж говорить о самоуважении... Представим себе: Чехов, передавая рукопись издателю, предуведомляет, что ее прочел министр двора такой-то и дал высокую оценку. Эка хватило: Чехов! Тоже нашли с кем сравнить.

Я не сравниваю, я только о том, что нравственные нормы в обществе — не для одних избранных. Впрочем, чего уж так высоко забираться, все обычно и привычно: делались дела.

Я отправил рукопись в отдел, тем самым устанавливая тот нормальный и естественный порядок, при котором решает не занимаемая должность, не знакомства, а талант. Чаковский занервничал: сам факт, что его роман читают как обычную рукопись, а не директивно спускают сверху, ведь, помимо всего, есть уже и высокое мнение Андрея Андреевича, — все это было воспринято как личное оскорбление. И доживавший в редакции последние дни Катинов в осторожных выражениях, голосом тихим и сожалеющим, как разговаривают с больным, постарался объяснить мне возможные последствия, чем все это грозит журналу: ведь Чаковский помимо всего прочего — редактор «Литературной газеты»...

Наконец роман прочли все, последним читал я. Сочинение было беспомощным, оно никак не украсило бы журнал. Но другие его сочинения печатались же здесь раньше!.. Автор прислал машину, и другой журнал в пожарном порядке печатал этот роман.

Почему я пригласил Владимира Яковлевича Лакшина? Он был одаренный человек, литературу, как, впрочем, и театр, любил и понимал. Но главное, он прошел в «Новом мире» у Твардовского прекрасную школу, и я надеялся добрую половину редакционных забот переложить на него. Я даже решил для себя так: первые полгода целиком отдам журналу, налажу дело и в дальнейшем буду приезжать не каждый день, опять начну писать... Было и такое соображение: хотя дважды в одну реку не войти, напомнить о «Новом мире» следовало. Так что соображения мои были весьма

просты. А вот отношения наши были не столь просты. Когда в «Новом мире» решалось, печатать или не печатать мой роман «Июль 41 года», а книга эта была мне особенно дорога, Владимир Яковлевич высказался против. Ну, против так против, это бы еще ничего. Отказывать мне взяли на себя труд Дементьев с Заксом, приятных воспоминаний этот разговор у меня не оставил. Забрав рукопись, выхожу от них, никого в редакции видеть не хочется, но, оказывается, венгерский издатель разыскивал меня, специально пришел, узнав, что я здесь, и сидит у Лакшина, ждет. Он и раньше издавал мои книги, заранее интересовался «Июлем», в дальнейшем издал его в самой почетной серии. Знать бы, что он не дождался, но мне сказали — ждет. Приоткрываю дверь маленького кабинета, Владимир Яковлевич привстает из-за стола. Именно привстает, как делают, когда просителю надо дать понять сразу, чтобы он не задерживался. Он знал, какой разговор со мной только что состоялся, да и роман у меня под мышкой, и его лицо, официально-вежливое, холодный блеск очков, строгий взгляд, определивший дистанцию, — все это заранее исключало возможные жалобы и просьбы, которых у меня, естественно, и быть не могло. Впечатление осталось сильное, выражения лиц запоминаются.

Но то — дело прошлое, а теперь речь шла о журнале, и какое это все могло иметь значение? Он был нужен мне, я почему-то не сомневался, что он согласится, а внести его в журнал я готов был даже на руках. Прошла неделя, он дал согласие. Оставался суший пустяк: получить согласие начальства. Вот как в том анекдоте, когда муж уговаривает свою жену выйти замуж за принца Люксембургского (не знаю, есть ли такой принц?). Уговорил. «Ну, слава богу! Теперь осталось принца уговорить...».

Опытный человек, прежде чем делать предложение, заручился бы согласием «наверху», где в те времена все решалось, утверждалось, где раскладывался пасьянс. Но мне важно было, чтобы Лакшин согласился, и, как выяснится, действовал я правильно. И месяца не прошло, Залыгин предложил ему стать членом редколлегии «Нового мира», дать туда свое имя. Возможно, Владимир Яковлевич и согласился бы, но теперь он сказал: «А мне уже предложено стать первым заместителем главного в журнале “Знамя”».

И начались мои хождения. У Александра Николаевича Яковлева, а он тогда был членом политбюро, как принято выражаться, я сразу «нашел понимание». Но был еще Лигачев, он вел секретариаты ЦК, а там, за немногим исключением, все те же старцы. И стал я ходить на приемы, на скучнейшие торжественные заседания, присылают приглашение — иду. Там, в задней комнате, перед выходом на сцену в президиум, есть возможность переговорить в неофициальной обстановке с кем-нибудь из должностных лиц. Удалось переговорить — обожду, пока пройдут в президиум, как бы пропуская всех вперед, да и уйду незаметно домой: сидеть там, красоваться — для меня это всегда было тяжелой повинностью. Не вышло переговорить — остаюсь до перекура: за чаем с бутербродами опять может возникнуть возможность. И вот так, месяц за месяцем, никто не возражает, но и никто не говорит определенно «да».

В Союзе писателей из «Дома Ростовых» был прорыт подземный ход в Дом литераторов, чтобы руководству не надо было идти двором, зимой надевать шубу, шапку, а прямо под домом пройти в ресторан или — в президиум. Но когда подземный ход оборудовали и выложили кафелем, разделение по рангам продвинулось дальше, и обедать было

уже приятней в своем кругу. Да и то сказать, у нас не редкость, увидев начальство, устремляться к нему: он рюмку налил, ко рту несет, вот тут ему самое время про квартиру напомнить. И даже в дни похорон, в траурной очереди — сам я видел это не раз — норовят стать в затылок, например директору издательства, и, пока надевают на рукава траурные повязки, успевают с печальным лицом шепнуть: «У вас там моя книга в плане...». И — мерным шагом, вслед за разводящим двинулись ко гробу в почетный караул.

Так вот ход прорыли и оборудовали, но еще под главным кабинетом, где Горький когда-то сидел, где стены увешаны дареными коврами от всех республик, устроили под ним в полуподвале отдельный кабинет с маленькой кухней: для, как выражаются в таких случаях, «узкого круга лиц». Туда я тоже стал приезжать иной раз, чтобы за обедом, среди разговора, решить какое-нибудь дело для журнала.

И вот один такой обед. Как раз накануне получил я наконец твердое заверение: Лакшин будет утвержден. И Воронов, заведующий отделом культуры ЦК, вполне официально подтвердил это. Но посреди обеда председатель нашего Литфонда Горбачев, тем только и заметный, что тоже — Горбачев, спрашивает:

— Это правда, что к тебе все-таки идет Лакшин?

В армии, в мирное время, дослужился Горбачев до полковника, поговаривали, что армейскую службу совмещал не без пользы для себя с деятельностью по другому ведомству. Когда мы напечатали роман Бека «Новое назначение», он вот так же за обедом спросил меня: «Это что, такая теперь линия журнала?» — «Такая, — успокоил я. — Именно такая».

И вот Лакшиным заинтересовался: правда ли, мол?

— Правда, — говорю.

Он держит в пальцах двух рук вареную куриновую ножку, обкусывает ее, поворачивая. Подышал широкими ноздрями, в них глубоко видно. От этих широких ноздрей да от бровей кустистых, концами вверх загибающихся, и выражение лица у него свирепое:

— Ну-ну...

А Карпов, который в то время фактически возглавлял Союз писателей, благодушно слушает, сидит без пиджака, в подтяжках, в галстуке. Молчит.

Через пять лет, когда разразится августовский путч и над этим подвалом в главном кабинете соберется секретариат во главе с Михалковым, вот этот Горбачев яростней всех будет напирать, чтобы вынесли резолюцию в поддержку ГКЧП.

А тогда он обкусал ножку до голой кости, оглядел внимательно, не осталось ли на ней мяса; сгрыз хрящ, вытер пальцы бумажной салфеткой и еще раз с тихой угрозой:

— Ну-ну...

Вот это «ну-ну» меня разозлило:

— Ты Литфондом заведешь? Вот и заведуй. И не волнуйся зря.

Но еще и день не кончился, а начали твориться вещи странные. Не знаю до сих пор, что тут и как и с чем связано, и связано ли, но вечером того же дня позвонил мне на дачу Александр Николаевич Яковлев:

— Лакшин сейчас где работает?

— В «Иностранной литературе».

— Вот пусть пока там и работает.

Молчал я долго, такой разговор меня огоршил.

— Нет, Александр Николаевич, — сказал я. — Нет. Нам надо встретиться.

— Пусть пока остается там...

Жена моя узнала, о чем речь, обрадовалась:

— Вот и уходи. Самый удобный момент отказать.

Она хотела, чтобы я писал, а не служил. Но для меня это была уже не служба, а дело жизни. Но вот писать не оставалось времени: работа урывками — это не работа. Журнал отбирал и время, и мысли. И дел все прибавлялось.

Была поздняя осень, вечер за городом холодный, пар изо рта. Луна, хоть и на ущербе, светила ярко, я ходил по дорожке сада, чтобы унять нервы, и жаль уже мне было моих трудов, и журнал жаль, его подхватят.

А уже начинало выстраиваться понемногу то главное, что я хотел сделать. А хотел я вернуть людям часть культуры, которая была у них отнята, хотел, чтобы журнал стал центром притяжения всего талантливого: и в прозе, и в поэзии, и в публицистике, и в критике. И уже потянулись к журналу, уже несли сокровенное. Анатолий Приставкин принес повесть «Ночевала тучка золотая». Уже лежала в редакции «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка, за которую он расплатился жизнью. О ней ходили легенды: это повесть о том, как Сталин отправил на операцию Фрунзе, своего возможного соперника, хотя операция ему не требовалась. И Фрунзе не стало. И хотя имена в повести были другие, все поняли всё. И Пильняк закончил свое земное существование.

Но более всего мне хотелось напечатать «Собачье сердце» Булгакова. Я объявил другую его вещь, «Роковые яйца», это был пробный шар. И на первом же секретариате Союза писателей Чаков-

ский кричал: «О чем мы здесь разговариваем? Гады уже ползут на Москву!..».

Из концертной студии Останкино, где был мой вечер, я обратился к молодым: журнал ждет вас. Я даже так сказал: «Я каждый день надеюсь: вот откроется дверь и войдет Лев Толстой нашего времени». И действительно, это произошло несколько лет спустя — к моему заместителю вошел молодой писатель: «Ваш редактор говорил, что он ждет, откроется дверь и войдет Лев Толстой. Я пришел». Это был не Лев Толстой, далеко не Лев Толстой. Это похоже на анекдот, но так было.

Однако прежде всего мы пригласили на чай лучших публицистов, экономистов. Люди хотели знать, что происходит в стране, что ждет нас. Что там ни говори, но традиция «толстых» журналов в России — это еще и традиция просвещения. Я сел в сторонке, попросив Юрия Дмитриевича Черниченко вести наше застолье. Ныне уже нет Василия Селюнина, редкостного ума и честности был человек. Вот он и сказал, что в этой пятилетке ничего в экономике не изменится. Поверить в это было невозможно: такие надежды, планы, призывы. Но он спокойно и просто, как говорится, с цифрами в руках доказал, что резервы все распределены, перенастроить так быстро экономику не удастся. Мы никого ни о чем не просили, мы собрались поговорить. Но в итоге журнал получил несколько первоклассных статей, а публицистов тогда читали и слушали, как пророков.

Точно так же пригласили мы на чай прозаиков из поколения сорокалетних, как критика окрестила их. Это были очень разные люди и по-разному проявили себя в дальнейшем. Но мы всем им хотели сказать: в этом журнале вас ждут. И действительно, Владимир Маканин, которого я пригласил в ред-

коллегию, передал журналу свою повесть «Отставший», другие авторы дали рассказы.

Все только начиналось. И бросить, уйти? Но помнил же я, как было в «Новом мире». Твардовский не ушел, пожалел журнал. Тогда обложили его со всех сторон.

Позволить командовать собой с первых шагов — дальше будет хуже. И я решил: уйду. И как только решил, легко стало душе, таким свободным человеком почувствовал себя! Жил, всех этих забот не зная, и дальше буду так жить.

И таким легким показался мне осенний воздух, так хорошо, так глубоко дышалось, и до чего же чуден был мир под луной, я ходил и радовался. Я словно заново открывал все, и правда — заново, журнал мне весь божий свет застил.

В половине восьмого утра я сидел за столом, но не писалось. Звонок телефона. Вновь — Александр Николаевич:

— Работаете?

— Нет. Думаю.

Он иногда переходил на «ты», но мне «ты» не дается так просто. И он, как не впервые, сошел на нейтральное:

— И о чем мысли?

— О нашем вчерашнем разговоре.

— Хорошо. Считайте вопрос решенным.

Пусть он переходит к вам.

Что произошло за это время, я не знаю, не узнавал и узнавать не хочу. Но что-то произошло. Жизнь и служба там, в заоблачной выси, заставляет многое делать против своей воли. Но Александра Николаевича я знал как человека слова. Однако и мне вернуться было непросто, я уже освободился.

— Нет, Александр Николаевич. Нам надо прежде поговорить.

— Добро!

И назначил час.

А не успел я приехать в журнал, звонит Севрук, в то время — заместитель заведующего отделом ЦК. Он, оказывается, уже звонил несколько раз, и первый его вопрос: «Лакшин еще не у вас? Пусть остается там, где работает!».

Со мной говорила власть, я слышал голос власти. И отвечать следовало на языке внятном:

— Так разговаривать, Владимир Николаевич, мы не будем. Этот вопрос я подыму выше.

Стало ясно: сработала Система. Не бывает столько случайных совпадений, не может быть. Вчера — застольный разговор с человеком, который, как утверждали, прикосновенен ко всемогущему ведомству, многообещающее «Ну-ну...», и вот — звонки, звонки... От него, от мелкой сошки, до тех, кто звонит мне, как до небес, но вот же звонят. Срочно. И какие разные силы пришли в движение. Дело уже, как видно, не в конкретном человеке, в данном случае — не в Лакшине, сам принцип Системы не должен быть поколеблен.

Твардовского невозможно уже чего-то лишить, вызвать «на ковер». Теперь выгодней возвеличивать поэта. Великие покойники нам нужны, поэма «Василий Теркин» — наша классика. А «Новый мир» Твардовского не прощен.

Самый проницательный ум может ошибиться, инстинкт не ошибается. Инстинкт самосохранения древнее ума. Он заложен в основу Системы. И он подсказывает: ни один камешек не следует шевелить — все здание рухнет.

В назначенный час я был у Яковлева. Вся эта сложная церемония пропусков, берущие под козырек офицеры, коридоры, приемные, величие кабинетов, постоянный трепет и соблазн — архитекторы новой, земной религии знали, что строили, брали из

прошлого незыблемое. Мог ли я думать на войне, что по обе стороны фронта религия, в сущности, строилась по схожим образцам. А мы, мальчишки, свято верующие, убивали друг друга. Убивали, не жалея собственной жизни.

Александр Николаевич Яковлев в свободной, домашнего вида куртке с голубой замшей на груди и вязаными рукавами, но под ней — в белой рубашке и галстук, так что в случае срочного вызова сразу можно переоблечься в пиджак, он там, в комнате отдыха, на плечиках, дверь туда неотличима от деревянной панели стен, шел мне навстречу. Пожимая руку, улыбнулся. А я возьми и скажи, как бы между прочим:

— Мне Севрук звонил. Требовал, чтобы все оставалось по-прежнему.

— А при чем тут Севрук?

Он заходил по кабинету, прихрамывая на раненую ногу. На фронте он был командиром взвода морской пехоты, а что это такое, представляет себе каждый, кто воевал.

Егора Кузьмича Лигачева спросили, что он делал во время войны в Сибири, в глубоком тылу? И он, человек призывного в ту пору возраста, сохранивший и в старости отменное здоровье, отвечал с достоинством: «Строил социализм...».

— При чем тут Севрук? Севрук здесь ни при чем!..

Я мог только догадываться, какие линии и как сошлись на самом острие: Севрук — это лигачевская линия. Но думалось мне не об этом. Сидя в кресле, поворачивая голову вслед за Александром Николаевичем, ходившим по кабинету, я думал: бог ты мой, такое простое дело не решается месяц за месяцем и вот в стену уперлось. Как же главное-то будет двигаться? Будет ли?

Я остался редактором, я, как видно, из той породы лошадей, которые, впрягшись, везут. Лакшин был утвержден первым заместителем, опала с него была снята. А вскоре он отправился в свою первую заграничную поездку, что означало на языке всемогущих бумаг: стал выездным.

МУЧЕНИКИ ДОГМАТА

Мой предшественник на посту главного редактора «Знамени» Юрий Петрович Воронов сказал, передавая мне журнал: «Портфель пуст». Портфель журнала действительно был пуст, а «Новый мир» объявил, что у них в портфеле то ли две, то ли три тысячи рукописей. Это все равно как в телефонном справочнике Союза писателей значилось девять с лишним тысяч членов Союза, а писателей можно было пересчитать по пальцам. Но все-таки им, видимо, было что пересчитать.

Не вина Воронова, что последнее время ему практически некогда было заниматься журналом. На него свалились сразу две должности: главного редактора и председателя иностранной комиссии Союза писателей. Приемы иностранных делегаций, поездки за границу, банкеты... Жизнь закружила его. И вдруг — новая должность: заведующий отделом культуры ЦК.

По пословице, за одного битого у нас двух небитых дают. Но это — по пословице, а в жизни от битья, возможно, ума прибудет, но и — осторожности: на что прежде решился бы с задором, теперь в затылке почешет. Воронов, будучи редактором «Комсомольской правды», решился: напечатал правду о знаменитом в ту пору капитане китобойной флотилии «Слава» Солянике, о каторжных условиях труда матросов, от этой каторги, случалось, умирали в море. А на судне, в бассейне, плескалась любовница Соляника, возимая им с

собою для утех. Говорилось в статье и об операциях с валютой. Но Соляник был дружен с секретарем ЦК Подгорным, из плаваний привозил ему подарки. Воронова, в назидание другим редакторам, сняли с должности, отправили корреспондентом «Правды» в ГДР и выдерживали там долго. Однажды мы встретились с Юрием Петровичем в Берлине, пили пиво, разговаривали, и создалось у меня впечатление, что даже в своей газете его печатают неохотно. Но не стало Подгорного... Впрочем, сегодня многие спросят: а кто это, Подгорный? Да в том-то и штука: НИКТО. Ни дел достойных не свершил, ни памяти светлой по себе не оставил, подобно многим и многим, с кем он делил власть. Но вот по иерархической лестнице сумел взобраться выше некуда, судьбы людские держал в горсти. Не стало его, и через какое-то время Воронова вернули.

Передавал он мне дела в своем цеховском кабинете и успел только сказать: «Портфель журнала пуст. Есть, правда, роман Бека, наметили печатать, но с ним опять все не так просто...». И раздался звонок главного телефона, и заспешил Юрий Петрович, срочно проверил в папке для доклада нужные бумаги. Вышли мы вместе, но мыслью он уже был там, где ему предстояло докладывать, и я приотстал, посмотрел вслед, как он идет-спешит по ковровой дорожке, моложавый, но с сильной сединой. Он уже перенес микроинсульт.

Роман Александра Альфредовича Бека «Новое назначение» я читал лет двадцать назад в рукописи, когда он еще лежал в «Новом мире». Прочел теперь во второй раз. Нет, ничего он за эти годы не утратил. Но не потеряли пыла и те, кто все это время бдительно стерег его. Впервые запрет был наложен Косыгиным, к нему обратилась с просьбой жена Те-

воясяна: был такой небесталанный хозяйственный деятель, зам. пред. Совмина Тевоясян. Как же мог Косыгин отказать ей? Не стало Косыгина — она обратилась к Брежневу, и тот в 1972 году продлил запрет.

Нам только кажется, что мы изобрели что-то новое, что наша жизнь строится на иных принципах, чем сто, тысячу лет назад. Есть основы, которые не меняются, как бы ни назывался строй. И я опять вернусь к любимому мною Толстому, на этот раз к «Анне Карениной»: «Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьевича.

Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья — были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного были все ему приятели и не могли обойти своего...».

Половина Москвы и Ленинграда не были роднёй Тевоясяну и не знали его «в рубашечке», он родился в Нагорном Карабахе, и тем не менее он был свой среди своих. То, что раньше складывалось столетиями, после революции создалось в считанные годы, новые властители жизни, сильные мира сего, номенклатура, хотя периодически они уничтожали друг друга, тем не менее были спаяны, как никогда, и дать в обиду одного значило подорвать усю.

Недавно мне удалось найти ту переписку, связанную с романом А. Бека; кое-что из нее я приведу. Вот доставленная мне фельдъегерем под расписку копия письма сына Тевоясяна М. Горбачеву, на это я должен был отвечать.

«ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ
ЦК КПСС
ТОВАРИЩУ ГОРБАЧЕВУ
МИХАИЛУ СЕРГЕЕВИЧУ
от Тевосяна Владимира Ивановича

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!
Обращаюсь к Вам с большой просьбой.

В 10 и 11 номерах журнала «Знамя» предполагается публикация романа А. Бека «Новое назначение».

В этом романе клеветнически изображается мой отец Тевосян Иван Федорович, моя мать Хвалебнова Ольга Александровна и я, их сын.

В свое время моя мать обращалась в ЦК КПСС по поводу этого романа. Роман не был издан. Поэтому я обращаюсь к Вам с огромной просьбой — оставить в силе решение и не издавать роман А. Бека, остановить его издание и дать возможность старейшим металлургам и мне ознакомиться с новой редакцией романа.

С уважением
В. И. Тевосян».

Не для сравнения, а все же представим себе, так будет наглядней: речь идет, допустим, о романе Толстого «Война и мир». И вот — донос царю: «Остановить его издание и дать возможность старейшим генералам ознакомиться...». Прочли бы мы «Войну и мир»?

Я знал Александра Альфредовича Бека, вот уже много лет минуло, а вижу его как живого. Бывало, идет он своей странной, как мне казалось, плоскостопой походкой, взгляд — будто на охоту вышел. Из многих лиц вдруг выхватит нужное ему: «Ну, что слышно? Как? Какие новости?». Это был проница-

тельнейший писатель, мудрый, отважный человек, со своей особой манерой изучения жизни и людей. «Я исподволь распутывал узлы и узелочки, — писал он в дневнике, — находил сведущих людей, выпрашивал, сказанное одним проверял у других, собирал, накапливал подробности, действовал по испытанной своей методике, для которой все не придумаю определения. Следовательская? Исследовательская?».

Он проник в тайное тайных Системы, показал механизм ее действия. При внешней протокольности письма характер главного героя, сформированного этой Системой, исследован с необычайной глубиной и пристальностью, Бек создал даже не образ, а тип. Могла ли Система допустить такое вторжение, если главные ее стражи — Тайна и Страх?

Онисимов, герой романа, был одним из ее столпов, он одновременно и жертва и творец. Он прошел все чистки 30-х годов и уцелел. Как? Помните у Твардовского: «Предай отца, родного брата и друга верного предай...». Но и этот способ спасал далеко не всех. Его спас.

Есть в романе сцена, решившая участь Онисимова. Его пригласил к себе домой Серго Орджоникидзе, которому Онисимов многим был обязан в жизни. Но в доме они оказались не одни, Онисимов слышит разговор Сталина и Орджоникидзе, он стал случайным свидетелем.

«Разговор шел на грузинском языке, Онисимов ни слова не знал по-грузински и, к счастью, не мог оказаться в роли подслушивающего. Но все же надо было немедленно уйти, разговор за стеной становился как будто все более накаленным. Как уйти? Выход отсюда лишь через большой кабинет. Александр Леонтьевич встал, шагнул через порог.

Серго продолжал говорить, почти кричал. Его бледность сменилась багровым, с нездоровой

просинью румянцем. Он потрясал обеими руками, в чем-то убеждал и упрекал Сталина. А тот в неизменном костюме солдата стоял, сложив на животе руки.

Онисимов хотел молча пройти, но Сталин остановил его:

— Здравствуйте, товарищ Онисимов. Вам, кажется, довелось слышать, как мы тут беседуем?

— Простите, я не мог знать...

— Что же, бывает... Но с кем вы все же согласны? С товарищем Серго или со мной?

— Товарищ Сталин, я ни слова не понимаю по-грузински.

Сталин пропустил мимо ушей эту фразу, словно она и не была сказана. Тяжело глядя из-под низкого лба на Онисимова, нисколько не повысив голоса, он еще медленнее проговорил:

— Так с кем вы все-таки согласны? С ним? — Сталин выдержал паузу. — Или со мной?

Наступил миг, тот самый миг, который потом лег на весы. Взглянуть на Серго еще раз Александр Леонтьевич не посмел. Какая-то сила, подобная инстинкту, действовавшая быстрее мысли, принудила его... И он, Онисимов, не колеблясь, сказал: «С вами, Иосиф Виссарионович».

Это было за полторы недели до самоубийства Орджоникидзе.

И еще одна сцена. Онисимов — уже начальник танкового главка, все его заместители арестованы. Его вызывают к Сталину, он не сомневается: настала его очередь. В кабинете у Сталина — Берия. Много лет назад, в Баку, при перерегистрации членов партии от Онисимова зависело, выдать или не выдать Берии партбилет. Он не выдал: «Подозрительный тип. Чувствую, авантюрист».

«Теперь грузин-бакинец ведал огромной машиной арестов, допросов, расстрелов, тюрем, лаге-

рей. С улыбкой он острыми зрачками сквозь очки поглядывал на Онисимова.

Что же, все ясно. Будет последний допрос...».

Но его не арестовали. Сталин, вершитель судеб, неожиданно назначает его наркомом танкостроения. И Онисимов, потрясенный, пишет ему записку: «Товарищ Сталин, мой брат Иван Назаров арестован как...». «На мгновение перо Александра Леонтьевича приостановилось. Не хотелось собственной рукой клеймить Ваню, своего младшего брата от второго замужества матери... Но Александр Леонтьевич тут же подавил сомнения. Перо снова заскользило: «...арестован как враг народа. Считаю нужным сообщить об этом Вам».

И на этой же записке Сталин начертал то, что всю дальнейшую жизнь служило Онисимову охранной грамотой: «Тов. Онисимов. Числил Вас и числю среди своих друзей. Верил Вам и верю. А о Назарове не вспоминайте. Бог с ним. И. Сталин».

Они погибли в заключении, брат Онисимова и его жена. Потом их реабилитируют. И до конца дней Онисимов не может простить себе, что, отрекшись, даже фотографии брата уничтожил, «...даже детскую — на той карточке Ване, уставившемуся в объектив, было не более десяти».

Так в романе.

А вот что писал один из «старейших металлургов» академик В. Емельянов, ярый противник романа, которому член редколлегии «Знамени» Юрий Жуков, не имевший права этого делать, но борьба есть борьба, послал рукопись на уничтожение. «Знамя» по духу своему был журнал охранительный, здесь однажды уже отвергли роман, я читал стенограмму обсуждения. Но вот и времена вроде бы другие настают, а борцы старые, испытанные. И Катинов, мой первый заместитель, подает мне

как предостережение отзыв Емельянова. О своем мнении скромно умалчивает, он все еще надеется остаться в должности, да я его мнение знаю, читал.

Емельянов работал в свое время вместе с Тевосяном в наркомате оборонной промышленности, наркомом был один из братьев Кагановича, Михаил Моисеевич. В частности, и о нем Емельянов пишет:

«Только М. Каганович открыл заседание раздался телефонный звонок, стоявшего перед ним на столе кремлевского телефона. Каганович поднял трубку и тотчас встал. Мы сразу же поняли, а первые же слова Кагановича подтвердили наши догадки. Каганович произнес: «Передаю трубку Тевосяну, товарищ Сталин! — и обращаясь к сидевшему рядом с ним Тевосяну тихо произнес: — «Товарищ Сталин!». Тевосян взял трубку и через минуту произнес: — Сейчас же выезжаю к Вам товарищ Сталин!».

Сохраняя стиль, орфографию, знаки препинания академика, я вынужден пропустить ряд мелких подробностей, их много, и перейти к главному.

Тевосян вернулся. «Тевосян вытирал мокрую голову полотенцем, а на бледно-зеленом лице я увидел все ту же улыбку. «Что — голова болит?» — спросил я. «Да очень — мне помогает холодная вода — вот смочил волосы». Положив на стул полотенце — он полез в карман пиджака и вынул из него какую-то записку, произнес протягивая ее мне: «— прочитай!»

На записке рукой Тевосяна было написано:
Товарищ Сталин!

Моя сестра замужем за Мирзояном. Мирзоян как Вы знаете арестован. Моя сестра также — о чем хочу поставить Вас в известность.

А далее рукой Сталина написано:

«Товарищ Тевосян, я Вам верил и верю. Бог с ним, с Мирзояном, забудьте о нем, а о Вашей сестре подумаем.

Сталин».

...Вот эту историю с запиской я и рассказал А. Беку, когда он был у меня. Но он в своей книге все искажил».

Даже по этим отрывкам можно понять, что роман А. Бека — не документальное свидетельство, а художественный документ времени. Несомненно, Тевосян послужил прототипом Онисимова. Он ли один? Два брата Кагановича — и этот, Михаил Моисеевич, и другой, нарком авиационной промышленности, — оба они были арестованы и расстреляны, а Лазарь Каганович продолжал верно служить Сталину. И серебрилась на мавзолее рядом со Сталиным борода Калинина, жена которого сидела в лагерях. И жена Молотова была сослана.

В делах преступных крепче крови родственной связывает кровь, совместно пролитая.

«Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, — писал Лермонтов, — точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии».

Можно понять родственников Тевосяна, понять их чувства. Но не методы. Тевосян-младший не ограничился письмом М. Горбачеву, второе письмо на 14 страницах он отправил в ЦК.

«Дорогие товарищи!

К Вам обращается сын И. Ф. Тевосяна в связи с тем, что в 10 и 11 номерах журнала «Знамя» будет издаваться клеветнический роман о моем отце «Новое назначение».

В нашей семье роман А. Бека «Новое назначение» называют доносом... Насколько мне известно, такой же «метод» применяет и А. Солженицын в своих сочинениях. Тем же методом пользуется и буржуазная пропаганда, когда она обращается к Стране Советов... Откуда же возникает желание из-

дать клеветническую книжку А. Бека... А. Бек написал книгу в период Хрущева, запретили ее издание в период Брежнева, значит, сейчас ее можно издать... А может быть, за издание книги люди, смертельно ненавидящие Сталина?».

Письмо, как уже сказано, длинное, перо «местию дышит»: «величайшая подлость А. Бека», «работа уголовника» — всей брани не перечесть. И на это письмо мне тоже полагалось отвечать. Но мы предложили автору напечатать его труд в журнале. Полностью. Пусть люди прочтут. Это была идея одного из моих заместителей, В. П. Гербачевского. Тевосян не решился. Привычной, удобней действовать негласно. И телефонные звонки пошли гуще: и бывших, и тех, кто еще прочно сидел в креслах. И письма, письма: в секретариат Союза писателей, в комитет по печати, в цензуру. Обкладывали со всех сторон.

«Мы, коммунисты, проработавшие в металлургии десятки лет, обращаемся с просьбой не допустить опубликования клеветнического романа А. Бека под названием «Онисимов» о металлургах...».

Эх, господа!.. Верней — товарищи!.. Сколько вы сил и души потратили на литературу, а рельсы мы сейчас... Ну, ладно бы — электронику, а то — рельсы(!) покупаем в Японии. На Октябрьской железной дороге будут менять полотно и на протяжении сорока километров, как сообщалось, уложат японские рельсы, повезут их через всю Сибирь. Своей руды в Японии нет, наверное, нашу будут плавить, а мы у них рельсы покупать: японские, оказывается, и надежней, и бесшумней, и служат в два с половиной, в три раза дольше, чем наши...

«Этот роман развенчивает идейность, преданность партии, делу индустриализации, концентрированным усилиям в работе... Это произведе-

ние будет влиять на нашу молодежь, будет давать богатую пищу буржуазным пропагандистам за рубежом. Все это противоречит решениям XXIII съезда партии и рекомендациям партии XV съезду комсомола...».

И громкие подписи под всем этим. Читаешь, бывало, очередное такое письмо, где каждое слово — расстрельная статья Уголовного кодекса, да и вспомнится само собой: «Наверно, вы не дрогнете, / Сметая человека. / Что ж, мученики догмата, / Вы тоже — жертвы века».

А на дворе только еще 1986 год, и даже Горбачев в беседе с корреспондентом «Юманите» вынужден говорить, что у нас не было сталинизма.

Но память наша короткая, отрывочная, торопливая; те, кому сегодня по двадцать лет, были тогда еще в нежном возрасте, откуда им знать, как представить себе, чего стоило в ту пору напечатать роман А. Бека.

«Почему-то грустно, — записывал он в своем дневнике, — когда вещь, с которой много-много дней, складывающихся в годы, ты оставался с утра наедине, наращивал, вытачивал главу за главой, вещь, которая была твоей, только твоей, — тем более эта, задуманная как твоя Главная книга или, во всяком случае, первое звено такой книги, — вдруг от тебя уходит, идет в плавание, будет сама жить, сама себя отстаивать».

Александр Альфредович не знал, да, наверное, и представить себе не мог, что книге его суждено двадцать лет оставаться под запретом. Но 10-й номер «Знамени» мы открыли романом Бека. Я написал к нему предисловие, и это был первый номер журнала, который я подписал как главный редактор.

ПО-РОДСТВЕННОМУ

Мы сели в машину, на заднее сиденье, Залыгин и я. Минуло примерно два месяца с тех пор, как нас обоих назначили редакторами журналов: Залыгина — редактором «Нового мира», меня — редактором «Знамени». В те годы назначали. Он сразу же поехал отдыхать в Дубулты, на побережье Балтийского моря, и хотя берегся солнца, с непокрытой головой не ходил, но выглядел сейчас загорелым и свежим.

На повороте машину качнуло, его прижало к моему боку, он что-то сказал, но левое мое, контуженное ухо не расслышало. Я повернулся к нему другим ухом: «Что?».

— Гриша, — сказал он дружески, — отдай мне поэму Твардовского.

Поэму Твардовского «По праву памяти» мы уже запустили в набор, но даже не это было решающим. При жизни Александр Трифонович читал мне ее у себя на даче, читал и курил сигарету за сигаретой: поэма, уже набранная, была запрещена цензурой. Однажды я упоминал об этом, но все быстро забывается, а в мир входящим нелишне знать, что и как до них было. Мы тоже вступали в жизнь с наивным убеждением, что все прежние века и тысячелетия хотя и были, конечно, но мелькнули, как дни, весь свой путь человечество пробежало, стремясь к главному событию, которое настало, когда в мир явились мы, вот теперь и пошел новый отсчет времени, свершений и дел. Однако проживешь жизнь, и все обрывает свои масштабы.

Александр Трифонович читал, волнуясь, в груди его, старого курильщика, хрипело, наверное, он тогда уже был болен, но не знал об этом, на хвори он не обращал внимания. Поэму свою в верстке он разослал членам редколлегии «Нового мира», своим, так сказать, единомышленникам, а в редколле-

гии были и депутаты Верховного Совета, был даже Член Президиума Верховного Совета (тут каждое это слово полагалось писать с заглавной буквы!). Ни один не откликнулся. А Чингиз Айтматов, вылупившийся в свое время из «Нового мира», как птенец из гнезда, немалыми стараниями Твардовского удостоенный Ленинской премии, приехав в Москву, зашел в редакцию, как обычно. «Вы получили верстку моей поэмы?» — спросил Твардовский. Айтматов прекрасно владел лицом: «Нет, не получал».

— Но не сказал: дайте!

Дважды Твардовский повторил: «Но не сказал: дайте!». И пухлым кулаком ударял по столу. Я обещал ему, если от меня это будет зависеть, я сделаю все, чтобы поэма была напечатана. Ее издали в Италии, но у себя на родине Твардовский так и не дождался, не увидел ее при жизни. Как же я мог отказать? Я был связан словом. На третий день после того, как я стал редактором, я пришел к вдове Твардовского, к Марии Илларионовне, и она передала мне поэму.

— Гриша, та, прежняя верстка, у нас в сейфе лежит, — по-родственному уговаривал меня Залыгин. — Сам понимаешь, печатать ее должны мы. «Новый мир» — журнал Твардовского.

Ох, как при жизни травили Твардовского за журнал! И как мало было у него защитников. Да если б только власть травила. Власть наша строила державу на века, но даже в дне завтрашнем не была уверена. Ее напугали события в Венгрии, в Чехословакии, она увидела, как незыблемое рушится в одночасье. И, оградив себя атомными ракетами, имея танков больше, чем все остальные государства, вместе взятые, держа многомиллионную армию под ружьем, пронизав все общество политическим сыском, она при внешнем величии боялась своего народа, а уж интеллигенции, «прослойки» этой зло-

вредной, — тем более. Заветной мечтой было: чтобы любили, не рассуждая. И не Твардовский, гордость нации, а вот такой Кочетов был ей понятней, ближе по духу. Ему принадлежит фраза после венгерских событий: «Они повесят нас на фонарях».

Мы жили в одном доме, но в разных подъездах. Соседи рассказывали, как он выходил к лифту: первым появлялся взрослый сын, жена, они осматривали лестничную площадку, тогда уже, сквозь этот строй, быстро проходил он, спускался, садился в машину. У него было желтое, нездоровое лицо со втянутыми висками, плоско прилегшие к черепу волосы, темный воспаленный взгляд: лицо человека, съедаемого страхом и ненавистью. Между прочим, став редактором «Литературной газеты», он прислал мне телеграмму, предлагая сотрудничать. Я не ответил. Вскоре они переехали из нашего дома куда-то в престижное место, и мадам Кочетова оставила по себе память фразой: «Уезжаем из этого засратого, неохраняемого дома».

Вот он особенно изощрялся в травле Твардовского. Все, конечно, придавался высокий идеологический смысл, но не последней была обыкновенная ненависть бездари к таланту. И — страх перемен. Целая когорта ублаженных властью литературных чиновников подписала тогда донос на Твардовского, печатался донос в софроновском «Огоньке»: протрубили начало гоньбы. Никто из них в литературе не остался. Но вполне возможно, в примечаниях к Твардовскому останутся их имена: имена тех, кто сократил ему годы жизни.

А как нужна была ему тогда дружеская поддержка! За роман, напечатанный в «Новом мире», Сергей Павлович Залыгин стал лауреатом Государственной премии. «Но вы им сказали при вручении, где ваша *Alma Mater*?» — спросил Твардовский. На моей памяти он повторял это не раз: и у себя дома, и

у нас в беседке, где любил сживать. А когда выпьет — с особой болью: «Но вы, говорю, сказали им про вашу Alma Mater?». И, не за себя устыдясь, другим голосом: «Молчит. Улыбается...».

Нет, не мог я отдать поэму Твардовского. Не имел права. Да и журнал «Знамя» был мне теперь не чужой. С первых шагов я хотел дать понять: дух «Нового мира» не убит. Невозможно и не нужно возродить тот «Новый мир», журнал Твардовского принадлежал истории. Но то, что при жизни не дали напечатать ему, должен был напечатать я.

Кто бы представил себе в ту пору, что изгнанный с родины, объявленный чуть ли не агентом ЦРУ Георгий Владимов за роман «Генерал и его армия» будет удостоен премии Букера, и вручать ее будут в Москве, в Доме архитектора, в торжественной обстановке, и газеты наперебой будут брать у него интервью, печатать его портреты? А ведь предыдущий его роман «Три минуты молчания» срочно изымали из книжных магазинов, из библиотек. Я заказал его в Лавке писателей, приехал дня через два забрать. «Что вы! Изъят...». И повесть Владимирова «Верный Руслан» была запрещена. Должна была закончиться одна эпоха и начаться другая, чтобы невозможное стало возможным. Но и при смене эпох ничего само собой не делается. Запрещенную в «Новом мире» повесть Владимирова «Верный Руслан» напечатали мы, в «Знамени». И напечатали тогда, когда это казалось еще абсолютно невозможным. Вполне понятно, что свой роман «Генерал и его армия» Георгий Владимов обещал нам, мы его объявили, и вот тут произошло примерно то же, что и с поэмой Твардовского. Приехав в Париж, Сергей Павлович Залыгин пришел к Максиму домой и попросил: позвоните Владимову в Германию, попросите, чтобы он свой роман отдал в «Новый мир».

— Я сказал ему: вот телефон, пожалуйста, звоните сами.

И Максимов непроизвольно указал на один из знаменских телефонов в тогдашнем моем кабинете, где и происходил этот разговор.

— И позвонил?

— От меня звонил. Но Владимов ему отказал.

Владимов работал медленно, что-то сокращал, переделывал, дописывал, а у нас были определенные обязательства перед читателями, их следовало выполнять: роман объявлен. Я позвонил Владимову.

— А мне уже Сергей Павлович звонил, — не без удовольствия похвастал он.

Не то чтобы сердце у меня екнуло, но чем черт не шутит. Все же «Новый мир» осенен именем Твардовского, и хоть не тот он теперь, но все та же на нем привычная глазу синяя обложка... Я знал, что Владимов — человек чести, однако мне небезразлично было, что он ответил.

— А я сказал Сергею Павловичу: но я другому отдана и буду век ему верна.

Можно ли осуждать редактора, если он предлагает автору более выгодные условия, попросту говоря, переманивает, заботясь о своем журнале? И в нерыночные времена это бывало. Так-то оно так, но еще существует порядочность, не случайно Максимов, он мне не сват был и не брат, отказался соучаствовать: вот — телефон, звоните сами...

Вообще же, наверное, надо уметь взглянуть на происходящее с некоторого отдаления, из будущего, тогда и нервы не тратишь зря. К сожалению, я это не всегда умел. Вдруг зашептались, зашептались: «Новый мир» все же печатает поэму «По праву памяти». Мария Илларионовна дала им первые варианты поэмы, а они вместе с первыми вариантами

и саму поэму запустили в набор... И уже кто-то слышал, как в ЦДЛ за столиком обсуждали: «Новый мир» выйдет в свет раньше второго номера «Знамени»... Словом, что-то назревало в окололитературной среде, жизнь становилась содержательней.

Выйти раньше нас они никак не могли. Став редактором, я сразу же договорился с директором издательства изменить график: весь тираж «Знамени» должен был поступать подписчикам в первые пять дней месяца. Я и сам подписался на журнал, чтобы знать, какого числа опустят его в мой почтовый ящик. Договор был жесткий: опоздай мы хоть на день сдать номер в набор, платим штраф. И мы строго выдерживали сроки, еще ни один журнал не вышел, а свежий номер «Знамени» уже у подписчиков. Так что волноваться вроде было не из-за чего, а все же думалось: как же так?..

Но еще не раз об это «как же так?» суждено было спотыкаться так, что изумлялся порой. А потом и изумляться перестал. Вот договорились мы с Сергеем Павловичем Залыгиным: он печатает главную книгу А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», печатает роман «В круге первом», печатает все, что журнал сможет вместить, а в «Знамени» будет напечатан роман «Раковый корпус». Одно дело, когда читаешь запрещенную книгу в рукописи, и совсем другое дело, когда заново перечитываешь ее в ряду других книг. Испытание временем выдерживает только подлинное искусство: все боится времени, но время боится пирамид. Есть и в литературе свои пирамиды, пережившие века и тысячелетия. «Раковый корпус» не из их числа, но у меня были свои причины, почему я хотел напечатать этот роман и, как мне казалось, имел основания надеяться.

Уже Хрущев, еще не свергнутый, стал заметно сдавать позиции, следствием чего, между прочим, явилось и то, что Ленинскую премию за по-

весть «Один день Ивана Денисовича» Солженицыну не дали, а он ждал ее, во всяком случае, не отказался, как это сделал Шнитке. Мыслимое ли дело, по советским понятиям, чтобы комитет, во всем подвластный, привыкший согласовывать каждый свой шаг, вдруг осмелился сказать «Нет!». Да кому? Генсеку, высшей власти. Ведь это Хрущев лично разрешил печатать повесть. И после этого комитет голосует против. И Хрущев стерпел, он, стучавший ботинком в ООН, не осмелился на этот раз у себя дома стукнуть кулаком по столу. Следом запрещен был «Раковый корпус». Вот тогда секция прозы Московского отделения СП решила встать на его защиту. Устроили обсуждение. На том обсуждении выступал и я, говорил, что это — позор, что запрет должен быть снят и т.д. Хотел еще что-то сказать, но волновался, забыл, и Солженицын, сидевший в президиуме, говорит: «Вы вспомните, вспомните». Не вспомнил. А вскоре магнитофонную запись обсуждения издали книгой. Не у нас, разумеется, в Америке. Я об этом не знал, а ехал как раз в США.

И вот встреча с профессорами, преподавателями — славистами университета Беркли. Обычно тему занятий согласовывали заранее, а тут подходим уже к аудитории (двери открывались прямо во двор, жарко), и профессор, если не ошибаюсь, Пашин, говорит: «Да, кстати, забыл предупредить: у нас сегодня вольная беседа по Солженицыну». Ах ты родной ты мой, забыл! Вот ведь эмигрант, да еще первого поколения, а методы те же: у нас Воронков, оргсекретарь, забыл предупредить меня, что магнитофонная запись обсуждения издана за границей книгой, она у него по долгу службы имелась под рукой, здесь этот забыл...

Первый вопрос, который задали мне, походил скорее на допрос: что говорил я на том обсуждении «Ракового корпуса» в секции прозы? Память у

меня, слава богу, не отшибло, говорю и вижу: сверяются. А ведь некоторые из них принесли с собой мои книги, подходили потом, просили автограф. Но не суди и не судимым будешь, часто я это повторяю себе. Мир пронизан недоверием. Оно не исчезает и в тот миг, когда главы государств обнимутся, расцелуются и заявят о вечной дружбе. С кем только мы не дружили, против кого мы только не дружили! А потом все это менялось местами.

В другой мой приезд в Америку, все еще в пору брежневского царствования, наш эмигрант военной поры хотел подарить мне «Окаянные дни» Бунина, запрещенные и не издававшиеся у нас. У него дома на книжной полке стоял мой роман «Июль 41 года». Он сразу же прочел мне из него то место, где рассказывалось, как перед войной нашу авиацию согнали на приграничные аэродромы, она стояла там скученная, не защищенная от бомбового удара, пока войска НКВД переоборудовали главные аэродромы, все сразу. «Я был в тех войсках! — восторгался он, словно тут он лично поименован. — Все точно. Тогда же я и перебежал». Не питая особой симпатии к любым перебежчикам, я не взял у него книгу. Но не взял еще и потому, что никак не исключал такого варианта: он даст, он же и сообщит.

Попытался я купить «Окаянные дни» в магазине Камкина. В самый первый свой приезд я был у них дома, с симпатией писал о них, и Елена Андреевна не захотела подвести меня. Она будто не слышала, а когда возник удобный момент, зажмурила один глаз, а к другому приставила руку трубочкой, как в глазок дверной глянула на меня: дала понять, что и в ее магазине может быть тот, кто наблюдает.

А за день до возвращения домой, после того занятия со славистами в Беркли, сообщили, что в

Рязани Солженицын исключен из Союза писателей. Ночью, над океаном, летчики позвали меня к себе, воздушное пиратство тогда было еще редкостью. Мы летели над Атлантикой, на высоте десяти километров. Под нами — тьма, над нами, вокруг — тьма кромешная, будто мы повисли в космосе, и только гудят моторы. И — красноватый отсвет приборов на лицах летчиков. Командир корабля сидел в кресле, я видел его профиль, и вот так, не поворачивая головы, он вдруг спросил меня о Солженицыне. Книг его они не читали, но шум, поднятый газетами, голоса в эфире — все это дошло до них, они хотели знать, что — правда. Я рассказывал им о книге «Один день Ивана Денисовича», одна из первых рецензий на нее была моя, рассказывал об авторе, что знал, и долгий этот разговор над океаном во тьме, при марсианском свете приборов, мне памятен.

А дома все было так, как должно было быть. Председатель иностранной комиссии, встретив меня во дворе Союза писателей, прошел не поздоровавшись, посмотрел на меня как на покойника: здесь уже все было известно, что и о ком я говорил в Беркли. В тот же день Владимир Максимов, Василий Аксенов (оба тогда еще жили в Москве), Борис Можаев, я, возможно, еще кто-то, да я запомнил, пошли к Воронкову, через которого текли все указания сверху: пошли требовать срочно созвать пленум правления Союза писателей и на нем все решать заново. Когда сойдется сто с лишним человек, надавить на них трудней, чем на шесть или семь рязанских писателей, всей жизнью своей, каждым дыханием и шагом в быту подвластных обкому.

Воронков сидел за большим столом. Белый телефон с гербом Советского Союза на диске, так называемая вертушка: это все государство, вся власть подпирала его своим могуществом. И в продолжение разговора смотрел на нас с некоторым да-

же томлением духа: ну что докучают зря? Не возражал, не спорил: ждал. Мы уйдем, он снимет трубку, доложит, кто был, поименно, получит указания, как жить, какие принимать меры, что говорить.

В прошлом — комсомольский работник, а комсомол, как уже говорилось, готовил кадры не только для партии, но и для КГБ, незримые погоны явно ощущались под его отлично сшитым пиджаком, временами казалось, они приподымаются. Было ему тогда что-то в районе пятидесяти, полнокровен, в самой мужской силе, не случайно столь всевластна его секретарша, неохотно пропускавшая нас к нему в кабинет, за высокие, массивные дубовые двери с начищенными бронзовыми ручками.

Никто не знает своей судьбы. Не так много лет прошло, и увидел я Воронкова, иссохшего, желтого, пригнутого страхом и болезнью. Из последних сил пришел он платить партийные взносы. Было это не в перестроечные времена, когда одни слетали с качелей, других круто возносило, а еще в достославное брежневское безвременье, когда казалось, крепка наша держава, и рак, разъедавший ее изнутри, не проступил столь явно, как из-под желтой кожи Воронкова обозначился череп. Он оглядывался пугливо, стыдясь самого себя, боялся в глазах людей прочесть свой приговор, а рука, подававшая партбилет, недавно еще мясистая его рука, дрожала. Вижу его таким, и уж какие тут могут быть старые счеты, обиды? Он был частью божества, имя которого — аппарат, служил преданно, верно; части изнашиваются, их заменяют, божество бессмертно.

Однако мы далеко отошли от того, с чего начал рассказ. Но в жизни редко бывает что-либо само по себе, люди и события связаны зримыми или незримыми нитями. И все же почему непременно надо было договариваться с Сергеем Павловичем Залыгиным, практически спрашивать у него разре-

шения, чтобы напечатать в «Знамени» роман Солженицына? А все просто: Залыгин пригласил к себе в редакцию на оплачиваемую должность Вадима Борисова, который оставался здесь доверенным лицом Солженицына. Сначала его пригласил, в дальнейшем и сам съездил к Солженицыну в Вермонт, где, надо полагать, покаялся за то письмо в «Правде», которое подписал, и получил отпущение грехов. И стал Сергей Павлович главным распорядителем. Он действительно немало сделал, чтобы возможно стало напечатать книги Солженицына, ускорил неизбежное. Но не будем забывать, что в делах людских значит ВРЕМЯ. В одно время выходят на улицы требовать казней, в другое — со страстью и верой борются за справедливость, и нередко это одни и те же люди, только времена разные. Словом, есть «время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить... Время разбрасывать камни, и время собирать камни...».

Уже возвращен был из горьковской ссылки академик Андрей Дмитриевич Сахаров, он сразу же потребовал освободить всех узников совести, всех поименно, представил список. Газеты, а в их числе даже «Правда», рассказывали о сталинских лагерях, о пытках, о расстрелах. Из небытия возвращались имена, которые не так давно опасно было произносить.

Уже напечатаны были в «Знамени» «Собачье сердце» М. Булгакова, «Новое назначение» А. Бека, «Верный Руслан» Г. Владимова, «Черные камни» А. Жигулина (рассказ об этом впереди). Удивляться ли, что самая значительная книга А. Солженицына — «Архипелаг ГУЛАГ», — когда была наконец издана, не произвела в обществе того действия, как в свое время маленькая по размеру его повесть «Один день Ивана Денисовича»; та буквально взорвала сознание людей.

Я считаю «Один день Ивана Денисовича» лучшей художественной вещью Солженицына, быть может. И тем не менее и ее судьба, и судьба автора могли сложиться по-иному. Это у нас в стране только начинали узнавать в то время бездонную правду о сталинских лагерях. Хотя мало оставалось семей, кого не коснулись бы аресты, ссылки, депортации, но страх, печать молчания давили на всех, как надгробная плита. А на Западе было издано множество книг о гитлеровских, о сталинских лагерях, написанных в том числе и теми, кому удалось бежать. Кто знает, не стала бы и эта повесть в общий ряд? Но она пришла отсюда, голос из ада, да еще вслед ей раздался лай официальной критики, как лай сторожевых псов, спущенных вдогон. И мир принял гонимого, мир взял его под свою защиту. Но чтоб это случилось, надо было прежде решиться напечатать повесть у нас. И это сделал Александр Трифонович Твардовский. Он, как известно, убедил помощника Хрущева, и тот, служивый человек (а ведь тоже понимал, что мог и головы не сносить!), сам читал повесть Хрущеву вслух. И тому понравилось. Понравилось, какой хороший работник Иван Денисович: вот и в неволе, в лагерях, а как умело да с азартом возводит каменную стену. Только ли это понравилось или она легла в масть к его докладу на XX съезде? Никита Хрущев был с виду простоват, но далеко не прост. И он, как известно, заставил членов политбюро читать повесть, и они читали добровольно-принудительно, как в свое время добровольно-принудительно сгоняли в колхоз. Ну, не комедия ли, если представить их лица, которые Эрнст Неизвестный назвал кусками стирального мыла. И главный идеолог, серый кардинал, живой мертвец Суслов (он-то уж с первых строк все понял и унюхал хрящеватым носом своим), даже он ослушаться не посмел. Вот оно, сталинское воспитание,

сталинская наука, которая теперь против него же и обернулась.

Нет, это все же чудо, что так все сошлось. Нечасто усилия людей так совпадают с велением времени. Но, может быть, странно мое предположение? А что, собственно, странного? Не получил же Пастернак за свою великую поэзию Нобелевской премии, пока не разразилась история с романом «Доктор Живаго», далеко не лучшим романом века, так поаккуратней выразимся. Издать бы его нормальным тиражом, это чтение для избранных, и никакие основы не сотряслись бы. Но по соображениям, далеким от литературы, роман был запрещен. А, между прочим, Чехов этой премии не был удостоен.

И вот сидим мы как-то с Сергеем Павловичем Залыгиным за сценой в Доме литераторов, должен начаться вечер, на котором обоим нам надо присутствовать. А по общей атмосфере уже ясно: не сегодня-завтра печатать Солженицына разрешат. И я напомнил: «Значит, «Раковый корпус» печатает «Знамя»?» — «Да, да. Я сам заинтересован, чтобы печаталось как можно шире...». Но подошло время, звоню ему домой: ну что, наш уговор остался в силе? «Нет, нет, нет!». Да резко так, вот что поразило.

Честно говоря, сомнения у меня всегда были. Предположить, что он все еще держит на меня обиду за поэму Твардовского, которую я не мог ему отдать? Так он ее напечатал. И в общем-то получилось даже лучше: вышла поэма двойным тиражом. Случалось после этого, заезжал Сергей Павлович к нам в редакцию: чайку попить, поговорить об общих делах. А дела «Знамени» складывались весьма неплохо. Посмотришь в вагоне метро — читают. В восьми номерах журнала печатали мы «Воспоминания» А.Д. Сахарова, а после, собрав их вместе, издали два отдельных номера. Задолго до того, когда они выйдут книгой.

«Вашей редакцией рассматривается повесть моего отца Андрея Платоновича Платонова «Котлован»... я официально ставлю Вас в известность о том, что право на ее публикацию я оставляю за Вашим журналом», — писала мне Мария Андреевна, дочь Платонова. Шутка сказать — «Котлован» Платонова! Но в это время я добивался возможности напечатать «Собачье сердце» Булгакова, почти уже добился. Конечно, если думать только о своем журнале, надо было заключить договор, тянуть, сколько возможно, под разными предложениями, но не выпускать такую книгу из рук. Но я рассматривал литературу как дело общее, не можем сейчас напечатать мы, пусть сделает другой журнал. Платонов и так долго ждал, умер, не подержав в руках своей книги. И с моего согласия «Котлован» ушел в «Новый мир».

И вдруг такое резкое «Нет!». Вместить все, что написано Солженицыным, «Новый мир» не мог, для этого журнал надо было превратить в собрание сочинений, что для журнала губительно. И можно было предвидеть, что вскоре начнут выходить книги, опережая журнальные публикации, так оно и произошло. И «Новый мир» начал по кускам раздавать «Красное колесо», предложили и нам одну из глав, вернее, как это называлось — «узлов», но зачем же нам спица от колеса?

А «Раковый корпус» напечатать хотелось, пусть даже по соображениям личным. И я написал Александру Исаевичу Солженицыну. Разумеется, ни строкой, ни намеком не упоминая, что когда-то защищал эту его книгу, я писал о том, что русскую литературу мы не мыслим без его книг и журнал «Знамя» хотел бы и просит разрешения напечатать его роман «Раковый корпус». Одно письмо отправил почтой, другое — через верного человека, чтобы опустили там, в Америке. Удивительно быстро получил ответ:

«18.4.89

Главному редактору жур. «Знамя»

Г. Я. Бакланову

Многоуважаемый Григорий Яковлевич!

Ваше письмо от 31 марта получил сегодня.

И «Раковый корпус» и «В круге первом» уже отданы мною «Новому миру».

А вообще из моих книг первым на родине должен появиться «Архипелаг ГУЛАГ».

Всего доброго.

А. Солженицын».

И подумалось: э-эх!.. А как хорошо сказано в «Одном дне Ивана Денисовича»: «Брюхо-злодей, старого добра не помнит...»

ЕГО ДУША, И БОЛЬ, И СОВЕСТЬ

Десятый и одиннадцатый номера журнала «Знамя» 1986 года, в которых мы печатали роман Александра Бека, по сути дела, и стали началом того журнала, который хотелось создать. Ныне уже не найти большинства писем и телеграмм, гневных, радостных, обрушившихся на нас. Многие читатели не знали, что автора нет на свете, и на адрес журнала писали ему. Вот телеграмма из Ленинграда, одна из немногих сохранившихся:

«Москва Тверской бульвар 25 редакция журнала Знамя

Александру Беку =

В последнем своем романе Вы переплюнули самого Солженицына Благодарю = Ефимов =».

Двенадцатый номер журнала, последний в году, чаще всего — бросовый. Помешают туда все,

ЖИЗНЬ, ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

что накопилось, откладывалось на потом, поскольку славы не принесет, но есть обязательства перед авторами, и, вздохнув, печатают. Тем более что читатель никуда уже не денется, подписка закончена. Иногда этот номер отдают молодым.

Мы решили не снижать уровня, хотя портфель наш в то время был еще пустоват. И получился один из лучших номеров. В нем были рассказы Фазиля Искандера, еще не обремененного почестями, в такую пору пишется молодо, свежо. Был последний, если не ошибаюсь, рассказ Юрия Трифонова «Недолгое пребывание в камере пыток», стихи Давида Самойлова, очерк Елены Ржевской о маршале Жукове «В тот день, поздней осенью». Я уже писал, как трудно проходил через цензуру этот очерк. Но он вызвал еще и возмущенные письма отставных военных. Повторюсь, но причина, оказалось, вот в чем: прочтя книгу Ржевской, в которой она рассказывала, как искали и нашли обгорелый труп Гитлера, маршал захотел встретиться с ней и поручил позвонить ей, назначить день и час. Но у Ржевской была путевка в Переделкино, куда она ехала работать. Прочтя все это в очерке, отставные военные возмутились: да кто она такая вообще? Как смеет? Ей от маршала звонят... Особенно досаждал нам один полковник. Он прислал огромное письмо с немыслимым количеством грамматических ошибок и восклицательных знаков, звонил неоднократно, грозил. По бессвязности того, что он писал, можно было предположить, это человек преклонных лет, про таких говорят: полковник — это тот, кто сидит и ждет, пока его догонит лейтенант. Но явился к нам далеко не старый человек спортивного вида, в кожаной куртке на меху с множеством застёжек, «молний» и пряжек, в ондатровой шапке на голове: пришел забирать письмо. А пришел потому, что я попросил передать ему: если бы я сам в прошлом не

был офицером, не уважал армию, я бы непременно опубликовал его безграмотное письмо. И он прибыл мгновенно. Вначале с напором требовал вернуть письмо, потом просил, сунув шапку под мышку, но видно было, этот не отступится, будет кляузничать. И на хорошем, понятном ему канцелярском языке было разъяснено, что письмо — это документ, получено, пронумеровано и возвращено быть не может. Письмо осталось у нас, божий страх — у него в душе.

Не обиделся только маршал. Ржевская пишет: через полтора месяца он сам ей позвонил. «Елена Моисеевна? Это Жуков говорит». И вновь назначил встречу.

Разумеется, подписка будущего года не могла нас не беспокоить. У «Знамени» был свой читатель. Здесь печатались и на будущий год были объявлены романы Чаковского, Георгия Маркова. В пяти номерах 1986 года печатался роман Юлиана Семенова «Экспансия-2», а на 87-й год обещали продолжение: «Экспансию-3». Читатель у Юлиана Семенова был огромен. Особенно — после фильма «Семнадцать мгновений весны». Когда этот фильм шел по телевидению, улицы пустели, его смотрели и уборщицы и министры. А в нашем поселке у двора Семенова, у калитки и у ворот, съехалось однажды не то восемь, не то десять черных «Чаяк», все — одного ведомства: в своем кругу отмечали успех. По этому поводу кем-то было сказано: «Слетались голодные чайки...». Ни разу этот фильм я не смотрел целиком, но и того, что видел, хватило вполне. Думаю, ни один фильм так не ободрил наших чернорубашечников, дав им образец и «информацию к размышлению», а многих завлек в их ряды. Вся эта романтика фашизма, особой, кастовой избранности: форма, выправка, портупеи, ремни, «Мой фюрер!», шелканье каблуками, стальные взгляды, стальные

мышцы — какие ребята, как смотрятся! И дело делают умело! И власть над жизнями людей каждому из них дана: ты — раб, но ты и господин, ты — божий суд! Чем ничтожней человек, тем больше эта власть возвышает его в собственных глазах, кто перед таким соблазном устоит? А в главного гестаповского палача, которого играл актер Броневой, в него просто влюбиться можно.

И — серая скотинка, наша пехота. Пока герой-разведчик «мыслит» под тиканье метронома, пускают для заполнения пауз хронику Отечественной войны: бежит по смертному полю наша пехота, бегут в атаку среди разрывов, серые, как поле, по которому они бегут. И падают, падают. А ведь это не актеры, которые, смыв грим, пойдут чай пить, это отец, дед, муж чей-то убит. И, может быть, сын, сам того не подозревая, видел только что, как убили его отца, миг этот, но как различишь, они сняты в спину, оператор-то позади, и все они одинаковые, а тут такой сюжет раскручивается, думать некогда, скорей бы уж кончилась эта пауза и пошел фильм. И за душу брала прекрасная музыка Микаэла Таривердиева, жаль, что она тут звучала. Редкое по аморальности зрелище. Но пустели же улицы, когда шел этот фильм. Можно понять, почему он устраивал наше высшее руководство, из которого песок сыпался: любые средства хороши, любые образцы, лишь бы «любили, не рассуждая».

И вот представьте: в первом своем интервью о планах журнала на будущий год я не назвал ни одного из перечисленных выше имен. А назвал я Твардовского, Приставкина, Замятина, Пильняка, Льва Гумилева... Люди опытные предрекли мне: потеряете тираж. И вот — второй, февральский, номер 1987 года, поэма Александра Трифоновича Твардовского «По праву памяти». И — обвал писем.

«Я знаю, люблю бесконечно эту поэму уже 6 лет. Собственноручно переписала ее в тетрадь с такого же переписанного от руки текста. Читала ее всем своим друзьям и многие куски из нее знаю наизусть. И тем не менее, когда прочла, что она выйдет во 2-м номере Вашего журнала, пошла и оформила подписку на Ваш журнал. А первый номер купила в киоске.

С искренним уважением Подкацина.

Курская обл., Курчатов.

Нет, тираж журнала не упал, он даже вырос. Не намного по тем временам, на 40 тысяч, но и в дальнейшем, от месяца к месяцу, продолжал расти. И почта была такая, что нам пришлось взять второго учетчика писем. Социологические исследования еще были не в моде, и отношение к ним было как к тому бухгалтеру, которого нанимали на работу: «Сколько будет дважды два?» — «А сколько вам надо?». Мнение критики? Писал же Твардовский о другой своей книге, о «Василии Теркине»: «Что ей критик, умник тот, / Что читает без улыбки, / Ищет, нет ли где ошибки, — / Горе, если не найдет...».

И подумалось — не интересней ли представить обществу, что думают читатели? В какой-то степени это — картина самого общества. Пусть — неполная (в одно время особенно активны одни люди, в другое время — другие, все так), ну что ж, будем считать, что это мгновенный снимок. Он тоже имеет смысл: и сейчас, и на будущее. И, подсчитав всю почту, мы дали в точном процентном соотношении письма тех, кто «за», и тех, кто «против». При этом соблюдена была полная объективность, не подбирали специально, чтобы одни выглядели карикатурно, другие выигрывали на их фоне. И никакой, разумеется, редактуры. Сокращать многостра-

нические письма приходилось, но сокращали повторы или самое несущественное, сохраняя суть и дух письма. Соблюдая этот принцип, приведу отрывки тех писем.

«В моей семье нет репрессированных и надзирателей, я обыкновенный карась-идеалист. В связи с «коллективным прозрением» появились шансы, извините, надежды высказаться до конца тем, кто вынужденно молчал... Хотим изменить экономику, боремся за обновление общества, но пока наша совесть не будет чиста — ни в какой сфере не будет успеха. У медиков есть такое понятие — дремлющая инфекция. До тех пор, пока существует ее очаг, здоровье организма постоянно под угрозой. Не может быть двусмысленной оценки тому или иному периоду нашей истории, как, впрочем, и личности.

г. Петропавловск-Камчатский Кочетков Е.С.».

«Особенно ощутил, читая «По праву памяти», что Александр Трифонович Твардовский являл собой редчайший нравственный пример гражданина и патриота Родины. Понятно, в те годы поэма не могла увидеть свет, и в этом трагедия величайшего советского поэта, его последних лет жизни...

г. Львов Б.С. Смага».

«Редакция журнала благодарит Марию Илларионовну и комиссию по литературному наследию поэта за предоставленное право первой публикации. Это хорошо, но крайне мало. Пусть Мария Илларионовна и вышеуказанная комиссия примут благодарность широкой массы читателей журнала...

Алма-Атинская обл., г. Толгар Евстай Дюсекаев,

участник Великой Отечественной войны».

ЖИЗНЬ, ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

«Я никогда не писала писем в редакцию, но, прочитав в вашем журнале поэму А. Твардовского «По праву памяти», хочется выразить огромную благодарность. Признаюсь, я читала и плакала... Мой отец не был ни кулаком, ни попом. Он был простой рабочий, только активист и горой стоял за советскую власть... 3 марта 1938 года его вызвали в РОНКВД, и домой он больше не вернулся... Сейчас трудно представить, как могли мы выжить. Сбережений никаких не было, т. к. отец один работал, а семья — 8 чел. Мама вынуждена пойти работать в ту же сплавную контору за 3 км от дома. В 1939 году бабушка умерла, вскоре умер один из близнецов. Но, как говорится, беда не приходит одна. В том же году у нас заболела и пала корова. А какой сельхозналог надо было платить! В первую очередь рассчитывались с государством. Приходилось покупать мясо, молоко и яйца и сдавать. Ниоткуда никакой помощи и сочувствия, а наоборот. Маме моей сейчас 81 год, и я преклоняюсь перед ней за ее мужество и стойкость... Прошу извинить за мое такое подробное письмо, но захотелось высказать кому-то свою душевную боль.

С уважением Кытманова М. А. Волгоградская обл.».

«...Я никогда не был репрессирован. В том страшном 1937 году 17 марта я только родился. Никогда не был репрессирован ни мой отец, ни кто-либо из моих близких родственников. Но я всей душой ненавижу эти культы и культики, потому что именно они породили самое темное в истории социализма — массовые репрессии. Иногда даже задаешься вопросом: «А был бы 1941й год, если бы не было 1937-го?..

г. Абакан Ю. Бурмистрович».

«Мы, студенты, рабочие, служащие, глубоко возмущены публикацией в ж. «Знамя» № 2, 1987 г. поэмы Твардовского «По праву памяти» (1966—1969).

Автор, покойный уже полтора десятилетия, перся показать — во всех ошибках и просчетах виноват Сталин. Это лживый хрущевско-солженицынский взгляд на личность и на деятельность И. В. Сталина. Здесь, в этой гнусной, тенденциозной поэме, явное стремление Твардовского наделить Сталина темными сторонами...

Сказано правдивое партийное слово о трудном времени — Ивана Фотиевича Стаднюка («Война», «Москва — 41-й», будет «Москва — 41—42»), И. Свистунова, И. Акулова и других писателей... Народу — нашему тем более — нужно строгое, суровое руководство. Ибо наш народ имеет чудное свойство превратиться в козло-пьяных скотов, грязных свиней, готовых пить, воровать, гадить, где возможно...

Мы знаем, что дети Сталина, Молотова, Ворошилова никогда не были хапугами, пьяницами и предателями, как детки да зятки очередных «верных ленинцев». Бувайте здоровы.

От киевлян-читателей».

(Без подписей и обратного адреса.)

«...Я вот смотрю на своих дочек и с тревогой думаю, в каком обществе им жить? Правдивом, смелом, демократичном или нет? И могут ли они вырасти достойными гражданами своей родины, если не будут знать и понимать своей истории? Я хочу, чтобы они знали все — и великие победы, и трагические ошибки. Я не хочу, чтобы они выросли такими, как те 15—16-летние подростки, которые, не досмотрев фильма «Покаяние», уходили из зала равнодушными, или как те, которые досидели до конца

фильма и потом комментировали его так: «Самые интересные кадры — это где она голая ходит...» Мне страшно за них, но я их не обвиняю, я обвиняю нас с вами, и прежде всего — вас! Именно вы несете ответственность за воспитание подрастающего поколения, поскольку имеете возможность влиять на ум и чувства миллионов... Впервые за много лет журнальная публикация взволновала...

Ленинград Сенников Николай Михайлович.

«С большим негодованием мы встретили публикацию в журнале «Знамя» поэмы «По праву памяти» А. Твардовского...

После войны я стал кремлевским курсантом, затем служба в прославленной дивизии имени Ф.Э.Дзержинского. Здесь я впервые в парадном расчете вступил на Красную площадь и впервые увидел И.В.Сталина. Особую заботу и радость доставляла служба по охране правительства и по обеспечению праздников на Красной площади. Нам пришлось пережить и много тревожных дней при похоронах видных деятелей партии и правительства, особенно при похоронах И.В.Сталина.

...Изо дня в день, из года в год я слышал от вас, наши писатели, слова благодарности Сталину, постоянно звучали слова песен «Два сокола ясных вели разговоры» или «Золотыми буквами мы пишем всенародный Сталинский закон». Каждое утро мы начинали с прослушивания нашего гимна, в котором были слова: «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». В строю мы пели популярные песни, в которых были такие слова: «Сталин и Мао слушают нас», «Артиллеристы, Сталин дал приказ», «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет», «Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага».

...Мы за это время выросли настолько, что не доверяем вам и сами разберемся во всем.

г. Москва Демин Иван Петрович».

«...Нам бы только уяснить, что стоит мучительной памяти о 37-х годах раствориться во времени, они в любую эпоху могут вернуться, медленно обволакивая нас парализующим ужасом. Я — Колесник Владимир Иванович. Мне 39 лет. Рабочий. Беспартийный. Женат, растут три сына. Да, в моем роду, насколько я знаю, пострадавших в годы культа нет, так что мое личное пристрастие исключается.

г. Херсон».

«Спасибо, уважаемые редакторы, за поэму Александра Трифоновича Твардовского «По праву памяти». Жаль, что нет его в живых! Это народный, уважаемый, любимый и после смерти поэт!..

г. Курган Носкова Н. К.».

«Я и раньше любил Твардовского за хорошие, правдивые стихи, как «Василий Теркин» и «За далью — даль», но впервые опубликованная поэма «По праву памяти» поразила меня своей смелостью, настоящим патриотизмом... От правды никуда не скроешься, с каким бы лицом она ни была. Звучат пророческие строки: «Но за всеобщего отца мы оказались все в ответе...» Все правильно.

г. Ярославль Смирнов М.».

По отрывкам писем, которые приведены здесь, тем более по огромному множеству пришедших в редакцию, видно, где образовалась трещина, как прошел раскол общества. Но, может быть, раньше его не было? «Народ безмолвствует», и народ пригнетенно молчит, когда «обволакивает нас парализующим ужасом», — это не одно и то же. Полное

ЖИЗНЬ, ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

единодушие, любил говорить Сталин, бывает только на кладбище. И добивался полного единодушия...

Обществу открылась картина зла, пока только самый краешек ее. Удивляться ли, что люди пишут главным образом не о пронзившей их силе и красоте поэзии, а о пронзительной силе правды?

У Достоевского есть рассуждение о том, что если бы после лиссабонского землетрясения, при котором столько погибло и столько разрушено, потрясенные жители вдруг бы прочли наутро на первой полосе газеты что-нибудь вроде следующего:

*Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья...
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря! —*

они в разоренном городе, возможно, казнили бы на площади своего знаменитого поэта, «...потому, что вместо трелей соловья накануне слышались под землей такие трели, а колыхание ручья появилось в минуту такого колыхания целого города, что у бедных лиссабонцев не только не осталось охоты наблюдать —

В дымных тучках пурпур розы

или

Отблеск янтаря,

но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни».

ЖИЗНЬ, ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

То, что творилось у нас не год, не десятилетия, с чем поколения рождались на свет и уходили из жизни, а «колыхания» все длились, и вдруг все забыть, как не было?.. «Прошу извинить за мое такое подробное письмо, но захотелось высказать кому-то свою душевную боль...».

Сколько у меня таких писем-исповедей, писем, в которых человеку нужно «высказать свою душевную боль». Да ведь литература наша и сама была исповедью, исповедью общества в самые мрачные времена. Не дай бог утратить эту, в такой мере присущую ей способность пробуждать ответный отклик в душах и сердцах людей.

Да, искусство должно быть и оставаться искусством: о человеке и для человека. Но выпало нам жить в эпоху войн и революций, когда умопомрачение охватывало целые народы и жизнь человеческая переставала что-либо значить. И это все забыть?

Но и года не пройдет, как настойчивей, все уверенней начнет утверждаться мысль: «Ну, слава богу, наконец-то искусство освободилось и занялось самим собою!». Освободилось от чего? От всего, что было и есть его душа, и боль, и совесть? Это все равно как если бы человека убеждали, что он свободен, поскольку освободился от обязанностей перед близкими, от тех обязанностей, которые и сделали его человеком.

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ

Кто только и с чем только не шел в редакцию. Чаше, разумеется, — с рукописями. Однажды пришел, не скажу — литератор, но член Союза писателей. Так совпало, что года за два до этого, осенью мы одновременно оказались в Гаграх. Поблескивая смоченными слюной золотыми зубами, он подолгу рассказывал о том, каким крупным начальником был он на золотых приисках, не уточняя, кто добывал там

золото. Из всех его рассказов запомнилось только, что конь под ним весил столько же, сколько весит язык кита. Вот он, не конь, разумеется, а этот автор, посетил нас. Явился он во всем параде: фуражка с высокой тульей, эдакая небольшая посадочная площадка для вертолетов, китель с золотыми галунами и шитьем, все это блесело и сияло. На старушку гардеробщицу, на Александру Яковлевну, она же и уборщица, она же у нас и чаем заведовала, произвел он сильное впечатление: адмирал. Таких «адмиралов», то есть завершивших свою служебную карьеру чиновников статских и военных, в Союзе писателей было немало. Само собой разумеющимся казалось им на покое стать писателем. И становились: бывшие дипломаты, генералы, армейские и неармейские, замминистры... Другой, возможно, поразмыслив, выбрал бы Союз композиторов: за каждую, даже в самом захудалом ресторане исполненную песенку капали деньги на текущий счет, да вот беда: нотной грамоте не обучены. И Союз композиторов был спасен. А в наш Союз этих нужных людей, в просторечии — «нужников», сохранивших немалые связи, принимали просто и как-то негласно, вроде бы с черного хода: не было до сего дня такого писателя, а вот он есть... И сидит передо мной. Разговор, конечно, не о рукописи, к ней он подойдет как к делу решенному, а пока вот что: «Та блондинка высокая, фигуристая, я замечал, вы в Гаграх тоже на нее глаз положили, — подмигнул, — вам, вижу, больше повезло...». И тут Александра Яковлевна, ослепленная блеском его золотого шитья, с почтением вносит чай на подносе...

Зато поэта Федора Сухова допустили ко мне не сразу. Выхожу к машинистке, сидит на стуле старец с посохом, ждет. Плащ на нем серый, заношенный, то ли плащ, то ли халат, небрит, но не так, как теперь модно, а просто двухдневная щетина с седи-

ной отросла, сидит, бормочет стихи. Обнялись мы с ним, расцеловались.

В институтскую пору, в Переделкино, жили мы в общежитии в одной комнате, бывало, не раз едим из одной кастрюли, как на фронте из одного котелка, и когда покорно и благоговейно нес он ко рту ложку каши, всякий раз перед ней изумленно вздымал брови. А порядок мы там завели такой: не скандалить, не спорить. В комнате жило то ли четверо, то ли пятеро, но каждый волен был поступать так, как считал нужным. Например, захотел я спать, могу отвернуться носом к стене, а могу пойти и выключить общий свет. Но другому как раз читать хочется. Он идет и включает свет. Если не лень, я опять выключаю. Он опять включает: кому раньше надоест. Но — молча. Никаких споров.

Война каждого ударила по-своему. Федя, как мне казалось, так и не отошел от войны. А выпало ему воевать под моим родным Воронежем. Однажды он написал мне: «А я все живу...». Я это и по себе знал: война столько унесла молодыми, а нам выпала долгая вторая жизнь. Он жил отшельником, в деревне под Нижним Новгородом, присылал оттуда стихи, мы их печатали. Но однажды прислал записки: он прошел и проехал по местам бывших боев. Хотелось мне их напечатать, но что сделаешь, если ни ему, ни журналу они славы никак не прибавили бы. И не скроешься за спину редколлегии: мол, я — за, но они все... Людям близким я должен был отказывать сам, всякий раз брать этот грех на душу.

Вот и с Вячеславом Леонидовичем Кондратьевым так получилось. Когда я пришел в «Знамя», там уже лежал его новый роман, уже был принят. Я прочел его. Портфель редакции был пуст. Но я высоко ценил Кондратьева, его поразительную повесть «Сашка». Не помню уже, сколько лет назад он принес мне ее домой в рукописи, не очень чисто

отпечатанную, склеенную. В ней чувствовалось не-
которое влияние художественных, ранних вещей
Солженицына — «Матрены», «Ивана Денисови-
ча», — но это была его, Кондратьева, война, такого
Сашки до него в литературе не было. Прочел я, и на
душе праздник. Дал жене прочесть, рассказывал
знакомым, какой появился удивительный писатель.
Конечно, тут бы и отметить, тут бы те самые наши
фронтовые сто грамм, но я знал: ему нельзя. Мы си-
дели вдвоем на кухне, ели винегрет с холодными
котлетами, пили крепко заваренный чай. На склоне
лет он сразу и ярко вошел в литературу, писал мно-
го — и прозу, и публицистику, замечательные были
у него статьи, — шли фильмы по его книгам, стави-
ли спектакли. Мы сблизились за эти годы, а ведь
именно в ту пору время разделило многих, друзей
сделало врагами. И вот я — редактор, и в редакции
журнала лежит его роман, и уже принят, но как по-
сле «Сашки» его печатать? Если б чей-то, можно, за-
жмуриясь. Но это Кондратьева роман. А как отка-
зать? Я позвонил ему. Это был тяжелый разговор.
Он сказал: «А мы вас так ждали...». Потом он запил и
в таком состоянии звонил мне, кончилось тем, что я
положил трубку. Года два, наверное, мы не встреча-
лись, хотя все это время оставались, так сказать, по
одну сторону баррикады, я глубоко уважал его. А по-
следний раз позвонил он мне за день до того, как уй-
ти из жизни. Меня не было дома, он говорил с моей
женой, я думаю, он прощался, и то хорошее, что бы-
ло у него на душе, он не хотел унести с собой, не вы-
сказав.

В том, как приняли «адмирала» в блеске га-
лунов и как не решались допустить ко мне Федю
Сухова, был дух редакции, дух чинопочитания, ко-
торый впитали эти стены. И даже водитель редак-
ционной машины Александр Дмитриевич Трапез-

ников с первых дней пытался обратить меня в здешнюю веру. Как бы к моей выгоде он рассказывал, что вообще-то раньше он ни по каким редакционным делам не ездил, он возил Главного. Привез с дачи, и стоит машина под балконом на улице, а он тем временем чай пьет. Потом домой отвозит или, если надо, в ЦК...

Был Александр Дмитриевич роста малого, ботинок, которым давил на газ, примерно так тридцать девятого размера, руки маленькие и не очень умелые. Про такие говорят: не в одну пятницу куплены. Но — точен: скажешь время — придет минута в минуту. А раньше работал он на самосвале. Бывало, въезжает в ворота гаража самосвал без водителя, все знают, это Александр Дмитриевич едет — в высокой кабине кепку его не видать с земли.

От физической своей малости чувствовал он себя в жизни незащищенным, потому, наверное, пытался хитрить, только хитрость его неумелая насквозь была видна. И по-детски выговаривал не «сейчас», а «сяс» и почему-то «тормозит» вместо «тормозит». Возвращались мы с ним как-то в редакцию, свернули с улицы Чехова, от кинотеатра «Россия», к площади Пушкина, и вижу, у самой бровки тротуара, отталкиваясь утюжками, гремит подшипниками по асфальту инвалид без ног, пристегнутый к деревянной площадке. Мы одновременно глянули друг на друга: он — снизу, я — с высоты сиденья через стекло. Примерно моих лет, только судьба у нас разная: я — в машине, и ноги мои при мне, а его ноги остались на каком-то из полей войны.

— Александр Дмитриевич, давайте подвезем его, — не столько приказал, а скорее уж попросил от внутренней неловкости: люди с троллейбусной остановки будут смотреть, как мы под мышки поды-

маем его, втягиваем в машину. Да и послать он нас может, таких благодетелей.

Не слышит Александр Дмитриевич, не «тормозит». Я — строже:

— Александр Дмитриевич!

И он, такой осторожный в езде, вдруг — по газам, проскочил в последний момент под замигавшим светофором, и два потока машин, хлынувших через площадь сверху и снизу, разделили нас: инвалид остался по ту сторону, а мы уже подкатывали под балкон редакции. «Да что, Григорий Яковлевич, всех не перевозишь. И чехлы после него надо чистить...».

Между прочим, году в 77-м, задолго до начавшейся у нас перестройки, переводили в тогдашней ГДР мой роман «Друзья», и была там как раз такая сцена: в весенний праздничный день среди гуляющих по улице людей грохочет на подшипниках инвалид без ног, отталкиваясь от тротуара деревянными утюжками. Издатель и переводчик, стесняясь несколько, спросили меня, нельзя ли эту сцену вычеркнуть. Или пересадить инвалида на коляску: у них такое не встретишь. И вот год 87-й, центр Москвы, четыре с лишним десятилетия минуло с тех пор, как кончилась война, и — «после него чехлы надо чистить...».

Кто знает, как сложилась бы дальше судьба Александра Дмитриевича, но года через два он нашел себе место спокойней и легче: в той редакции работать надо было полторы смены, но через день. И вот как-то зимой выехал он из гаража на черной «Волге», и больше никто его не видел. Искать его было некому, был он одинок, хотя какая-то родня вроде бы имелась. Милиция же брать на себя лишнее дело не торопится. Весной, когда стаял снег, обнаружили в лесочке, недалеко от шоссе, его останки. По зубному протезу, который делали ему в поли-

клинике «Правды», опознали. Кому-то понадобилась его машина, а он был такой слабый и маленький.

С первых дней своего пребывания в редакции я взял за правило: фронтовиков, то есть участников войны, принимать обязательно, и на письма фронтовиков я отвечал собственноручно. Помните песню эту: «Брала русская бригада / Галицийские поля, / И достались мне в награду / Два дубовых костыля. / Ворочусь в село родное, / Поселюсь на стороне, / Ветер воет, ноги ноют, / Будто вновь они при мне...».

Песня эта, если не ошибаюсь, времен Первой мировой войны. Потом — гражданская, а еще бесславный поход Тухачевского на Варшаву, да на Дальнем Востоке заварушка с китайцами, про которую сегодня уже забыто, сражалась там наша ОКДВА — Отдельная Краснознаменная Дальневосточная армия, Блюхер командовал ею. Тоже были и убитые, и раненые, и искалеченные. Кто помнит про них? Да Халхин-Гол. А Финская война. Только в Финляндии (подумать — в Финляндии только!) стоит памятник нашим воинам, а у нас постеснялись поставить, война-то постыдная, всему миру показали тогда, как мы умеем воевать. И где же наши пленные той войны? Финны отпустили их, а мы каким-то северным путем погнали их всех в лагеря, чтобы страна ничего не знала, не ведала, всю вину и весь позор той войны спихнули на них. Да еще так называемый освободительный поход в Западную Украину, в Западную Белоруссию, когда по тайному договору с Гитлером разодрали Польшу на части. И тоже остались калеки, только уж про них вовсе некогда было думать: грянула Отечественная война. Цвет нации остался на полях Отечественной войны. Сколько миллионов? Это вряд ли когда-нибудь уз-

нается. В стране, где счет на миллионы, одна человеческая жизнь ничего не значит. Было — семь миллионов, так Сталин определил, мол, семь миллионов наши потери. Чем дальше от войны, тем смелей становились в подсчетах: при Брежневе уже называли цифру двадцать миллионов. Теперь к тридцати приблизились. Ну, а сами-то победители, те, кто с войны вернулся, им какой почет? Вначале за боевые ордена платили орденские деньги. На фронте тому, кто из противотанкового ружья подбил немецкий танк, давали орден Отечественной войны. Вот за него после войны платили то ли пятнадцать, то ли двадцать рублей в месяц, не упомяну уже. Что они значили? А вот что. Одноклассница и подруга моей сестры в Воронеже, Тоня Мельчикова, погибла на фронте. И брат ее погиб. Так за них, за двоих, за сына и дочь, погибших за родину, получала мать пенсию: тринадцать рублей.

Однако велики ли, малы орденские, вскоре их платить перестали. Деньги деньгами, но если разобратся, если подумать, так это ведь чести лишили: такой вам и почет. Да кто слово мог сказать, кто бы осмелился? Война кончилась, страна вновь примолкла, пригнулась под сталинскую пятой, теперь он не скликал, как в гибельный час: «Братья и сестры!..». Теперь за кровь пролитую, за жертвы немыслимые, за подвиг всенародный полагалось славить и славить его одного, ему бить поклоны и возносить хвалу, все, что народ совершил, верноподданно повергнуть к его стопам, как повергли вражеские знамена.

Ну а инвалиды? Самых изувеченных упрятали с глаз долой, так что и родные не знали о них. А те, кто работать мог... Я тоже вернулся с войны инвалидом третьей группы. И вот каждые полгода переосвидетельствование: не пора ли тебя пенсии лишить? У меня нерв перебит в локте, рука искале-

чена, но все же она есть. А у него полруки отнято. Спросят, бывало, пока очереди ожидаемся: ну, как рука? Да отрастает помаленьку... Три раза приходил я на освидетельствование, а потом стыдно стало, больше не смог, невозможно было видеть, как из дверей медкомиссии выходят растерянные, приниженные люди: выпихнули в жизнь, здоров, живи как знаешь, отныне увечья твои увечьями не считаются...

Правда, еще такое отличие оставалось для фронтовиков: каждому выдана была красная книжечка с талонами. По ним раз в год бесплатно полагался билет первого класса на поезд, на пароход. И вот однажды, поверивши, пошел я на вокзал. «Чего-о? — сказали мне. — В общую очередь! Какие останутся...». Так и хранится у меня с тех пор та памятная книжечка со всем набором нетронутых талонов. Спустя много лет эту льготу все же восстановили. А под конец брежневской эры для участников войны сделали даже отдельную кассу на вокзалах. И вот как это выглядело: для обычных пассажиров на каждое направление — своя касса. Для фронтовиков особая, на все направления одна. Те очереди быстро движутся: есть, нет билетов, у кассира все перед глазами; в особой этой кассе, где стоят одни старики, самому молодому участнику войны в ту пору уже за шестьдесят перевалило, в этой кассе каждый раз надо запрашивать да ответа ждать, и очередь не движется, стоит. Стал и я в хвост. Меня предупредили: тут по семь часов ждуг. Не поверилось. Семь с половиной часов простоял я в той очереди. За все это время ни один человек не получил билета в мягкий вагон, даже в купейный. Либо — нет вовсе (это после семи с лишним часов стояния!), либо — в общий. Мне с женой дали билеты в общий вагон, на боковые полки: на верхнюю и на нижнюю. Я взял и отправил их в подарок министру путей сообщения:

мы, надо полагать, примерно одних лет, писал я ему в «Литературной газете», если вы считаете, что мне или моей жене удобно взлезать на верхнюю боковую полку, то и вашей жене, и вам будет так же удобно. Полежайте и поезжайте бесплатно. Дарю.

С перепугу мне дважды вернули деньги за билеты, пришлось обратно отсылать. Но я хотя бы мог написать в газете, ославить. А другому оставалось утереться и, отдышавшись от обиды, принять валидол. И сколько тех обид, и больших и малых, накопилось за жизнь, сколько по стране никому не нужных, и людьми, и богом забытых калек, это не счесть, счет им потерян. «Брала русская бригада / Галицийские поля, / И достались мне в награду / Два дубовых костыля...». Так было в России и раньше, так есть, но того, что в сталинскую пору выпало, этого еще не знали. И когда сегодня самые оголтелые несут на палках над собой его усаые портреты и орут, как не вспомнить: «Люди холопского звания / Сущие псы иногда, / Чем тяжелей наказание, / Тем им милей господа...». Впрочем, не исключаю, что в большинстве своем это те, кто на войне был далеко от передовой, там, где не война, а мать родна. Либо в обязанность их входило писать политдонесения. А еще ведь и заградотряды были, в спину своим стрелять, в них тоже служило немало.

Однажды получил я письмо от пожилой женщины: младший брат ее, студент третьего курса института, добровольцем ушел на фронт, танкист, провоевал всю войну, был ранен, награжден двумя боевыми орденами. Под Берлином в бою, будучи уже старшим лейтенантом, пропал без вести. И вот, сколько ни писала она в совет ветеранов института, откуда он уходил на войну, сколько ни обращалась к ним, не хотят, чтобы его имя было на мемориальной доске: а может, он к немцам перебежал, откуда мы знаем? Написал я им официальное письмо. И на

бланке получил официальный ответ: все то же, нам, мол, неизвестно, где, как, при каких обстоятельствах имярек пропал без вести и «где находится в настоящий момент». Вот она, в плоть и в кровь ввевшаяся сталинская наука: каждый каждого должен подозревать, нет таких, чтоб не находились под подозрением. Рано утром, может, даже с постели подняв, позвонил я председателю этого совета ветеранов домой: «Вам не стыдно?». Те же заученные слова в ответ. «Вы кем были на фронте?» — спросил я. «Начальник боепитания» — «Ах ты, вошь тыловая!» — «Я подвергался опасности!» — взвизгнул он. Эта его фраза особенно меня умилила. И уж тут я отвел душу, как бывало на фронте. Положил трубку, а рука дрожит.

К тому времени, когда я приехал в журнал, он уже звонил секретарю редакции Марине Валерьевне: могло это быть, что ваш редактор звонил мне сегодня? Что и как они там решали на своем совете ветеранов (на бланке и «совет», и «председатель» — все с большой буквы), не знаю. Но вскоре я был официально уведомлен: имя старшего лейтенанта занесено на мемориальную доску, однако они все же «вынуждены приписать: пропал без вести».

Был вечер в Останкинской телестудии. Пользуясь случаем, обратился я к телезрителям: у кого сохранились письма с фронта, пришлите, мы напечатаем. Присылали. Но как мало. А ведь это, быть может, последнее, что оставалось от человека, последнее слово его, завет остававшимся жить. Да сам почерк родной, его рукой писано. Это должно храниться, переходить от детей к внукам, к правнукам. Должно. Да мало сохранилось.

Но когда по частям утрачивается то, чему нет цены, может ли народ сохранить полное нравственное осознание своей сущности? А ведь именно литература, по словам Толстого, «литература народа

есть полное всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития».

Вот он пишет в романе «Война и мир»: «Та барыня, которая еще в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и со страхом, чтоб ее не остановили по приказанию графа Ростопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию».

Я читал записки такой барыни, может быть, даже той самой, не поименованной. Они уцелели, их сохранили, издали, хотя ничего вроде бы осмысленного они собой не представляют: дорожные неудобства, разные мелкие беды, меньше всего в них размышлений о войне, о Бонапарте. Но в них воздух того времени, та подлинность, без которой литературы нет, и без них, без всего этого богатства, может быть, что-то и потерял бы великий, не знающий себе равных роман.

А заветной моей мечтой было устроить в Подмоскovie хоть небольшой госпиталь для инвалидов войны, для одиноких: последнее их прибежище. Можно было это сделать, наш журнал был в то время прибыльным. Четырнадцать миллионов — немалые деньги по тем временам, для начала вполне годилось. И хотя нам они не принадлежали, оседали в издательстве «Правда», я поговорил с Кручиной, могущественный был человек, управляющий делами ЦК КПСС. Можно найти подходящий дом в Подмоскovie, отремонтировать, достроить, если потребуется, объявить подписку на благое дело. Словом, был целый ряд соображений, далеко не беспочвенных. Кручина обещал поддержать, не только не отбирать эти деньги, но и добавить к ним.

Добром вспоминаю его, Николая Ефимовича Кручину. Случалось, позвонил ему, не застал. Утром, в половине девятого, отзванивает мне домой: «Вот у меня записка на столе: вы звонили». Просьбами я не обременял его, но иногда для журнала что-то требовалось. И как-то раз у себя в кабинете он сказал мне: «Если б вы себе на штаны просили, не дал бы. А ко мне все с такими просьбами обращаются. Вот только что... Бывший министр. На пенсии. Его обслуживает «Волга». Звонит, просит, чтоб «Чайку» прикрепили: семья, мол, большая...».

Когда завершился путч ГКЧП, Кручина выбросился из окна. Сам ли он на это решился, вряд ли когда-нибудь станет известно. Он многое знал. Ему ведомо было тайное тайных: деньги партии.

Расскажу в завершение о трех посещениях, одно из них анекдотическое. Сегодня уже редко приходят в литературные журналы искать заступничества, многое изменилось в обществе, в том числе — и роль, и вес журналов. А тогда, что ни день, кто-нибудь идет со своей бедой. Как-то пришли врачи-онкологи, целая делегация. Всесильный в ту пору Блохин решил закрыть их лабораторию. И по бумагам, которые они принесли с собой, по рассказам их, да и по лицам этих людей вижу: помочь бы надо. Но как? И что я могу обещать? Позвонил я редактору «Комсомольской правды», он послал толкового корреспондента разобраться, что на самом деле происходит, и появилась в газете большая статья. Ну, и слава богу. Я уже забывать стал об этом за другими делами, вдруг приходят они же с огромным букетом роз. И до того повергли меня в смущение, что я даже имен их не записал. И вот что удивительно по нынешним временам: никакой «четвертой властью» пресса тогда не была. Но одна статья в газете решила дело.

Врачи пришли в наш журнал, скажем так, не случайно, читали его. А вот почему та женщина из Рыбинска приехала к нам, не знаю, хотя с такими, как у нее, бедами шли особенно часто. Сын — шофер, молодой парень. Левый рейс. Ехали они вдвоем с приятелем. Ночь. На шоссе будто бы с потушенными стоп-сигналами стояла военная машина. Врезались. Двоих солдат — насмерть. Их жалко, и у них матери. Но срок дали — пятнадцать лет. Через десять лет тюремной, лагерной жизни в наших условиях наступают необратимые изменения, кем же он выйдет оттуда через пятнадцать лет?

Это было долгое дело, советовался с адвокатами, писал в прокуратуру. Кончилось тем, что суд пересмотрел свое решение, пять лет парню скинули. И вот приезжает эта женщина снова, ждала у дверей редакции, меня в тот день не было. Через несколько дней приехала вновь. У меня сидел один из членов редколлегии, она хотела переждать его. Но я сказал, чтоб заходила. Вижу — мнется, явно хочет остаться с глазу на глаз. Я уже чувствую, в чем дело: «Говорите, у нас тут секретов нет». Потянулась к своей сумке на полу: «Я вот хотела... Может, кого надо поблагодарить... Чтоб еще раз пересмотрели...». Мать есть мать, она на что угодно решится, чтобы спасти сына. Заплакала. Достала его письмо. Из лагерей. Она с ним советовалась, и он запретил ей идти с деньгами, писал: «тебе по-человечески сделали». Это она уже в оправдание дала мне прочесть. И подумалось, может, парень не пропал еще.

Но эти три пришли в редакцию, как с базара, расторговавшись. Они уже везде побывали, где только можно. И, видимо, так получилось: шли по улице, скорей всего — в ГУМ, увидели нашу табличку: «Журнал “Знамя”». Решили и сюда зайти, попытать счастья: они приехали в Москву за сынов ходатайствовать. Бойкие, шумные, говорили в три голо-

са, но громче всех — немолодая, крашенная, во рту стальные зубы, один выпал, как пуля из гнезда. Сыновья их, все трое, сидели за групповое изнасилование, ждали суда. «Она сама их изнасиловала!» — «Всех троих сразу?» — «Ага! На пустыре. У нас там пустырь есть, как идти ночью...».

Я попросил их оставить заявление, меня уже научили, как поступать в таких случаях. И вот думаю: многие писатели забудутся. Но Гоголь... Гоголь в России бессмертен.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...

Когда меня назначили, у редакции и помещения своего не было. Ну, не так чтоб совсем не было, не на улице же мы сидели. Был дом двухэтажный в центре, окнами на Тверской бульвар. На втором этаже — большой кабинет главного редактора. Два кабинета поменьше — двух замов. Проходная комната с балконом — для ответственного секретаря. Дальше — хуже. В приемной, проще сказать — предбаннике, за одним столом — секретарь редакции Марина Сотникова; к концу рабочего дня на ее столе вырастали такие стопы больших редакционных конвертов, что ее самое за ними видно не было. Здесь же грохотала на старинной пишущей машинке машинистка, тут же и учетчица писем, и курьер — все друг у друга на голове, а еще и посетитель сидит, ждет, поджав под стул ноги: все об него спотыкаются. И поскольку стул один, остальные посетители и авторы курят на лестничной площадке. Это — второй этаж. А на первом, в отделе прозы, — три стола, за ними зимой сидят в шубах, холод гуляет по ногам. И дверь открывать надо не рывком: напротив дверь туалета под лестницей. Когда распахивались одновременно обе двери, уходили после такой встречи, опустив глаза. Да и зашибить можно было невзначай.

Как-то пришла американская делегация, в кабинет подали кипящий самовар (первые месяцы моей зарплаты как раз хватало на то, чтобы принимать иностранные делегации, они зачастили к нам), побеседовали, попили чаю с чем, как говорится, бог послал, пошел я их провожать, и вот тут набрался стыда. Чай, видимо, свое действие оказывал, выстроились американцы в очередь под лестницей к той самой заветной двери в туалет, а дверь-то фанерная, закрывается на крючок, согнутый из проволоки, за ней и мысль слышна.

Но даже в этом здании с его «удобствами» мы были жильцы временные, принадлежало оно Литературному институту, в любой момент нас могли отсюда попросить. Почему мои предшественники, люди государственные, располагавшие широкими возможностями, ничего не предпринимали, сказать не берусь. Возможно, потому, что кабинет главного редактора был хорош, просторен, вид из огромного окна и с балкона замечательный: липы, Тверской бульвар, Пушкинская площадь рядом. Жалко было отсюда уходить, да делать нечего. Я попросил знакомых архитекторов разузнать, где что есть подходящее, лучше бы всего — небольшой особняк.

В 1987 году мы дали издательству «Правда» многомиллионную прибыль, а доллар тогда, как считалось официально, равнялся то ли 62, то ли 67 копейкам. Да еще мы начали издавать библиотеку «Знамени»: десять книг в год. Тираж доходил до полумиллиона. В основном это была военная проза. И начали библиотеку, разумеется, «Севастопольскими рассказами» Льва Толстого. Следом — «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Это было первое издание его книги с тех пор, как его, солдата Отечественной войны, героя Сталинграда, гордость нашей литературы, изгнали из страны. Да еще и медаль «За оборону Сталинграда» хотели не пропус-

тить на таможене. Но он прикрепил ее к своей книге «В окопах Сталинграда» и так нес перед собой. Не посмели.

Все лучшее, что отобрало время, мы издали в этой библиотеке. Не раз мой заместитель В. П. Гербачевский включал в план и мои книги, но я — главный редактор журнала, и в знаменской библиотеке не считал возможным издавать свою вещь. Принцип мой был прост: не журнал для меня, а я для журнала, раз я здесь и должность эту принял. И хотя вся наша немалая по тем временам прибыль уходила в издательство, оттуда — в ЦК КПСС, как в бездонную яму (не одно нынешнее баснословное состояние и не один банк взошли на партийных деньгах, как на дрожжах), я не сомневался: будет помещение, ремонт нам сделают и мебель дадут.

И вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Зимой, в сильный мороз, Владимир Яковлевич Лакшин, уходя, забыл закрыть форточку. Эта ли причина была главной или время пришло, но батарею под окном разорвало, говорили — разморозило. И всю ночь хлестала горячая вода. Залило второй этаж, на первом обвалилась штукатурка. Потолок там срочно подперли деревянными щитами, щиты — неошкуренными бревнами, мокрая кора лохмотьями свисала с них. И все отделы — и прозы, и поэзии, и критики — переселились в мой кабинет.

А между тем составила уже очередь корреспондентов различных зарубежных изданий, которых я обещал принять. Оперативней всех были японцы: не успеет выйти номер журнала, они уже переводят из него что-либо, чаще — публицистику. Но с улицы дверь открывалась в журнал как в шахту: крепежные стойки, на голову капает, под ногами, под настилом хлюпает. И корреспондента «Асахи» я принимал в ресторане ЦДЛ. Заказывая обед (кор-

респондентка была миловидна, довольно молода, хотя японки обычно выглядят моложе своих лет), спросил: какого она хочет вина? Или — водки? Мне перевели дословно: «Можете взять водки». То есть она мне разрешала... Я отнес это за счет перевода. Но когда закончилось интервью и мы пообедали, платить пошла она. Разумеется, сделать этого я ей не дал.

Но вскоре стало известно: берут наши. И у японцев, которые считали нужным платить, поскольку отняли время, и не у японцев. Берут чиновники за то, что допустят взять интервью у шефа. И есть такса, и себя при этом не обижают. Впрочем, «шефы», как бы не ведая, брали и раньше. Например, появляется в газете выступление ответственного чиновника. Себя он, разумеется, утруждать не стал: прислали корреспондента, побеседовали под магнитофон, а то и не беседуют, и, только визируя, узнает высокое лицо, какие, оказывается, были у него дельные мысли. И в зависимости от ранга следовал повышенный гонорар: не корреспонденту, разумеется. Организовывал все помощник, «шеф» рук не пачкал, подробностями не интересовался, деньги сами ложились к деньгам. Но тогда брали у своих, у подъяремных. Да что о чиновниках говорить, знал я известных литераторов, секретарей Союза, за которых писали их выступления в газете, а они гонораром не брезговали. Но теперь у иностранцев наловчились брать, нашли доходный промысел. Корреспондент лондонской газеты рассказывал мне, какова такса в одной так называемой патриотической газете: за интервью, взятое у редактора, — столько-то долларов, у замредактора — столько-то.

Японского посла я принимал все там же, в ресторане ЦДЛ. Ответно пригласил он меня в Хаммеровский центр, в японский ресторан. Он доволь-

но хорошо говорил по-русски, так что беседовали мы вдвоем, но нет сомнения, что все это записывалось.

Я был однажды в Японии. Поразительная страна. Но вот возвращаемся домой, и, пока самолет набирал высоту, все дальше открывалось, как от тесноты страна уже вылезла в море: корабли, корабли, корабли... А потом под нами — и час, и два — пустынная планета: Сибирь. Складки хребтов, реденький на севере лес. Знаменитая сибирская тайга южнее, еще южнее — Китай, население которого давно перевалило за миллиард. И каждый год прирастает столько же, сколько всего народу живет в Сибири. И — теснящаяся на островах Япония с ее техникой, тончайшей электроникой, страна, которая завалила товарами весь мир и продает не достояние детей своих и внуков, не нефть, не газ, не золото и алмазы, не грабит будущие поколения, лишь бы день прожить, а продает труд, который возобновляется вновь и вновь.

И под гул моторов, повиснув над полупустым простором, так мало заселенным, где сокрыты несметные богатства, думалось о том, что ждет нас. Долго мне виделась эти марсианские пустынные пространства Сибири под крылом самолета, видятся и теперь.

Интерес иностранцев к журналу в какой-то степени помог мне получить новое помещение. Еще в прошлом веке маркиз де Кюстин отмечал: в России очень чувствительны к мнению иностранцев. А тут в центре Москвы в таком убожестве такой журнал... И как раз на Никольской (в то время — улице 25 Октября) освободился целый этаж: выехала «Строительная газета». Конечно, хорошо бы особнячок отдельный, но это — журавль в небе. Отправил я туда чуть ли не всю редакцию: смотрите, решайте. Поехали, поохали: почти каждому

выходит по комнате. Да еще зал огромный. Переезжать, переезжать! И начался ремонт. А ремонт у нас всегда приравнивали к малому землетрясению.

Помня ту очередь американцев под лестницей, я поставил непереносимое условие: должно быть два женских туалета, два мужских, кафель, зеркала, сушилки для рук — короче, чтоб все сверкало. Но здание старинное, стены метровой толщины, пробивали их что-то больше месяца: на две стройки был один отбойный молоток. То мы у них отберем, то они у нас отбирают. Ну и, само собой, где-то по дороге ему еще работа находится, не без этого же. Вот так, помню, на съемках фильма по моему сценарию плотник сколачивает декорации, два других, задрав головы, стоят внизу, смотрят. Режиссер Кира Муратова, в ту пору еще не знаменитая, увидела, накинулась на них: «А вы что стоите?» — «Так молоток же один...».

Но долго ли, коротко, а настал тот день, когда ремонт закончился и мы переехали. «Тогда считать мы стали раны...». Что смогли строители утешить, уташили, что сумели недоделать, недоделали. Имея кое-какой опыт, я сказал: прежде всех дел перекрыть крышу и сменить паровое отопление, этим батареям уже сто лет. Следили неуклонно два человека от редакции, в том числе — один из замов. Когда все обшили деревянными панелями, постелили ковровин, выяснилось — батареи не меняли: «А чего их менять, они — годные...». Не одну зиму помучились мы с отоплением: то одна сторона не греет, исправят здесь, другая сторона ледяная. И идут кланяться сантехнику, а он, как полагается, с утра уже принял. И в первые же осенние дожди закапало с потолка, полезли латать крышу: ее так и не перекрыли, характер у моего заместителя оказался мягкий.

Теперь и сюда зачастили иностранные делегации: через две арки, через два двора, весьма грязных, и дальше на третий этаж, пешком вверх по лестнице, ступени которой были стерты еще в прошлом веке. Да хорошо, если сухая погода, а в дождь разливалась под одной из арок такая лужа, какую Гоголь и в Миргороде не видывал. Через нее либо вброд пешком, неся туфли в руке, либо машиной переправляться. И превращался наш водитель на время в паромщика: насажав полную машину, партия за партией перевозил всю редакцию с одного берега на другой, то есть из двора во двор.

Однажды позвонили из ЦК, из отдела культуры: срочно надо принять высокую западногерманскую делегацию: Ганс Й. Фогель, Эгон Бар, еще кто-то, еще. И все это — в 11 утра.

Я знал старинный анекдот про то, как Савва Морозов, прогуляв ночь, поехал под утро освежаться в кабак, и подана была водка, селедка... А в это самое время некий поручик праздновал там свое производство, хлопали пробки, лилось шампанское... И позволил себе поручик пошутить по поводу водки с селедкой. Савва Морозов позвал кучера, велел налить ведро шампанского, отнести рысаку. Вскоре кучер вернулся, докладывает: «Они не пьют-с...» — «Какой же дурак, — громко, чтоб слышно было, сказал Савва Морозов, — какой дурак станет с утра шампанское пить?».

Понадеялся я, что немцы этого анекдота не знают, и решено было встретить их шампанским, объяснив, что сами мы обычно не начинаем так день, но ради столь высоких гостей... И пока я вел делегацию вверх по лестнице на третий этаж, рассказывал, какое сильное впечатление произвела на меня речь Фогеля, которую я слышал в Бонне незадолго до его приезда сюда. Врал, конечно, не сомневаясь, что поверит, похвалам верят охотно. Показа-

лась мне его речь цветистой, как оперение самца, незря же он — Фогель, что в переводе с немецкого — птица. Но эта «птица» соперничала тогда с канцлером Колем: то ли собиралась, то ли уже выставила свою кандидатуру на предстоящих выборах. Все топтали вверх, поглядывая, далеко ли еще, а он, восприняв похвалу как должное, шел сияющий.

Могу свидетельствовать: с утра шампанское бьет в голову. Прием прошел весело и шумно, о чем говорилось — не помню, и вряд ли немцы поняли толком, куда и зачем их привозили. Кем-то где-то, как всегда у нас, ставилась «галочка». А в это самое время по планам другого отдела ЦК, отдела агитации, должны были привезти их в «Новый мир», там ждали, звонили, искали. Позвонили в Союз писателей, оттуда на всякий случай позвонили нам...

«ХВАТИТ НАМ СОБАЧАТИНЫ!»

Если бы нужно было назвать, ну, например, пять лучших повестей XX века, я бы сказал, что одна из них — «Собачье сердце» Булгакова. Книгу эту, пророческую, о пришествии вселенского хама, писал Булгаков с отвагой и весельем в сердце и, может быть, не раз сам себе радовался: ай, Мишка, ай, молодец!..

Я прикинул по своей жизни: мне было два года, когда Булгаков написал свою повесть. И вот мне шестьдесят четвертый пошел, и давно нет на свете Булгакова, а повесть его все еще не издана у нас, на его родине, не прочитана теми, для кого он писал, редким удалось это, из рук в руки тайно передавая. И как-то на совещании у Лигачева (ну, не странно ли, когда вспоминаешь эти ушедшие в небытие имена, что одно слово, им сказанное, решало судьбы и людей, и книг? Нет, не странно. Это еще не прошлое наше: одни ушли, но сколько изготовилось сменить их, ждут своего часа), так вот, на сове-

щании у Лигачева, а посмотреть — шли туда будто повышенные в ранге, готовые служить, на каждом — незримый знак отличия: ты приглашен, так вот там, на этом совещании, раздалось гневно: «Хватит нам собачатины!». Это один из секретарей Союза писателей, предугадывая начальственную мысль, не сдержал благородный гнев. И это был выстрел дуплетом: и в «Собачье сердце» Булгакова, и в «Верного Руслана» Георгия Владимова. Обе эти повести я намерен был печатать, хотя о Владимове появилась огромная статья в «Литературной газете», где представили его фактически агентом ЦРУ. Я снесся с ним окольными путями, получил от него письменное подтверждение, что он разрешает печатать его повесть в «Знамени». И вот теперь, на этом совещании, лишний раз убедился: действовать надо осторожно, не торопясь, но и времени не упуская. Один журнал уже попробовал было, довел повесть Булгакова до верстки, и тем дело кончилось. Решимости не хватило? Не знаю. А мы пока что, как бы ничего этого не зная, не ведая, запустили «Собачье сердце» в набор. И начались мои беседы с заведующим отделом агитации ЦК: для цензуры слово этого отдела было решающим.

Не помню, чей юбилей отмечался в ресторане «Прага», были приглашены туда и мы с женой. Выходим из метро, вот уже — «Прага», только дорожку перейти, и вижу: длинная фигура, сторонящаяся людей, бледное лицо под черной шляпой, поля опущены на лоб и на уши, движется по старому Арбату, явно стараясь быть неузнанным. Я показал на него жене: это и был тот самый заведующий отделом агитации, с которым я вел переговоры. И шел он не случайно: на каком-то очередном совещании все тот же Лигачев возмутился громогласно: во что превратили старый Арбат!.. И он шел проверить, лично удостовериться. Но — инкогнито. А кто бы, спра-

шивается, узнал здесь его, кабинетного сидельца, хоть под шляпой, хоть без шляпы вовсе, кто знал его?

Вот с ним периодически и вел я переговоры, а тем временем повесть набирали в типографии, вычитывали гранки, вот-вот верстка должна быть, а все еще ни «да», ни «нет» не сказано. И думалось другой раз, глядя на него, уже облысевшего на службе: ты ведь моложе меня всего на год, у меня разведчик был 25-го года рождения, Обухов, кубанский казак, хорошо воевал. Что же тебя там не было, когда война шла? А теперь защищаешь народ наш от... Булгакова. Да нет, не народ, себя защищал в кресле.

Но когда сегодня, спустя десять лет, читаешь стенограмму политбюро тех времен, как не пожалеть и его тоже? Вроде бы и гласность объявлена, а вот что говорится в своем кругу, когда речь зашла о литературе, о телевидении:

Горбачев: «Зачем нам предоставлять трибуну для всякой падали? А уж если предоставлять ей трибуну, то надо подобрать таких людей, которые могут отвечать на любые вопросы с наших, советских, партийных позиций... Здесь нужна хорошо взвешенная порция, если можно так сказать, советского шовинизма...».

И Громыко, прозванный за границей «Господин Нет», а в здешних кулуарах — Андрушей — за неистребимый свой выговор, — тут как тут: «Я согласен, что, видимо, жестковато поступили в свое время с Ахматовой, Цветаевой, Мандельштамом. Но нельзя же, как это теперь делается, превращать их в иконы... Ленин вообще умел работать с интеллигенцией, и нам надо у него учиться. Можно напомнить, как, например, мудро Ленин учил Горького, доказывая ему, что мы не можем быть добренькими. Тут сомневаться нечего».

Ленин умел, Ленин мудро учил. Ленин писал Горькому: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитализма, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно...». И — пароход, на котором он выслал из страны цвет российской интеллигенции. Да это еще хорошо, не потопили тот пароход в открытом море, как Сталин потопил баржу с белыми офицерами в Волге.

Как же после всего этого малой сошке, заведующему отделом, решиться? На его должности требовался и абсолютный слух, и абсолютный нюх. Шаг в сторону — и лишен всех благ. И кто он тогда?

Мы объявили: в шестом, в июньском, номере журнала «Знамя» читайте «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Одним словом, поставили перед фактом. А гласность и запрет, о котором сразу же станет широко известно, вроде бы вещи несовместные. Я написал главному цензору, то есть начальнику Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР, что, в соответствии с объявленным принципом самостоятельности редакторов, принимаю на себя полную ответственность за эту публикацию и прошу не задерживать подписание номера.

И посыпались звонки: в редакцию, ко мне домой. Звонили с «Ленфильма»: вам разрешили? Я отвечал: «Ждем запрета. А пока печатаем». Там, на «Ленфильме», уже готов был сценарий, ждали сигнала, чтобы сразу же запустить фильм. Какой прекрасный фильм получился в дальнейшем! Профессор Преображенский — одна из самых блестящих ролей Евстигнеева. А каков Шариков!

И из московского ТЮЗа звонили нам: разрешено? Там тоже готовили постановку. Вот так, не разрешенная и не запрещенная, повесть Михаила

Булгакова «Собачье сердце» была напечатана в июньском номере журнала «Знамя». Впервые. В 1987 году, через шестьдесят два года после того, как она была написана.

Этот номер журнала шел нарасхват. Сколько знакомых, полужнакомых, вовсе не знакомых людей звонили, просили журнал, присылали курьеров. Дочь нашей приятельницы стояла в метро на станции «Маяковская», у нее назначена была встреча, и посторонний человек, увидев у нее в руках этот номер журнала, стал предлагать за него любые деньги.

А тем временем в редакцию шли и такие письма:

«В 1982 году по моему указанию было снято три копии с повести «Собачье сердце» М. Булгакова. За это Мордовский обком КПСС объявил мне строгий выговор с занесением в учетную карточку с формулировкой «за тиражирование политически вредной литературы» и освободил меня от работы. В январе с. г. (то есть в январе 1987 года!) обратился в парткомиссию с просьбой изменить формулировку, но в ответ от меня потребовали документ о том, что повесть не является политически вредным произведением. Прошу Вас, очень прошу прислать мне краткую характеристику повести...».

А в Чебоксарах, в присутствии понятых Денисовой М. С. и Куклиной Е. А., было произведено уничтожение «идейно ущербных» книг. В том числе — «Собачьего сердца» Булгакова. И, как утверждала прокурор отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах мл. советник юстиции В. Н. Занина, «какого-либо нарушения закона при этом не усмотрено». Этот ответ Заниной на его жалобу прислал нам Ю. В. Галочкин, осужденный по статье 190 прим к 2 годам лишения свободы: за чтение и распространение «идейно порочных» книг. В том числе «Собачьего сердца» Булгакова (форму-

лировка: «автор клеветает на вождей революции...»). Уж не Шарикова ли зачислили в вожди революции?

Пришлось мне обращаться к Генеральному прокурору СССР, поскольку все та же несокрушимая В. Н. Занина констатировала: «Оснований для пересмотра приговора не усмотрено». Но еще год прошел, прежде чем получил я наконец ответ из Чувашии: «Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР по протесту первого заместителя Генерального прокурора РСФСР приговор суда изменила, исключила из обвинения Галочкина эпизоды, связанные с распространением произведений А. Платонова «Котлован» и М. Булгакова «Собачье сердце», и дело в этой части прекратила за отсутствием в его действиях состава преступления. В остальной части приговор оставлен без изменений».

А что же в той «остальной части»? Помните, еще год назад на политбюро Громыко предупреждал, что «нельзя же, как это теперь делается, превращать их в иконы...», и среди трех имен была названа Цветаева? Так вот «Лебединый стан» Марины Цветаевой и был в той «остальной части приговора», которая оставалась без изменений, то есть книга — под арестом, а с Галочкина судимость не снята. И «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, и книги Набокова, и «Воспоминания» Надежды Мандельштам — все это оставалось под арестом, «приговор оставлен в силе».

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

Много, а теперь уже много-много лет назад в селе Истобенском председатель колхоза, немолодая женщина, рассказывала мне, как ей довелось видеть Сталина, единственный раз в ее жизни. Закончилась сессия Верховного Совета СССР, и вдруг всех депутатов задержали в Москве еще на день. Зачем —

сказано не было, но прошел слух: прибудет Сталин. Он где-то отдыхал, вернулся, и его покажут депутатам. И вот собрались в Кремлевском зале, сидят, ждут. И вышел Сталин. «Мы все встали, хлопаем, а у меня слезы текут из глаз, ничего не вижу». И когда она рассказывала, глаза ее наполнились слезами.

Разумеется, Сталин тоже был депутатом Верховного Совета СССР. И Верховного Совета РСФСР. И всего, чего только возможно. Но смешно сказать или подумать даже, что и он вроде бы тоже должен присутствовать на сессии... Властитель никому ничего не должен, но каждый перед ним в неоплатном долгу. Все, кому это позволялось, жаждали видеть его своим кандидатом в депутаты. Соответственно — и его соратников, кого из них он еще оставил в живых. Потом соратники коллективно общались в прессе — появлялось в газетах всякий раз такое стандартное сообщение, что, мол, они благодарят тех, кто их выдвинул, но решили баллотироваться от таких-то и таких-то округов: кто — в Совет Союза, кто — в Совет Национальностей. Так им было предписано свыше. И рядовые депутаты, «лучшие люди», тоже появлялись не вдруг, все решалось в высших сферах, там сводился общий баланс: столько-то рабочих, верней, рабочей аристократии, столько от колхозников, столько по половому признаку, то есть — женщин, молодежь не забыть, ну и прослойку эту, интеллигенцию. А когда в процентах все сведут, тогда уж — поименно. Случилось так: забыли одного депутата вновь выдвинуть в Верховный Совет РСФСР. Просто забыли, проскочил как-то меж пальцев и меж строк. Но для него это — крушение мира: всех благ лишат и надежд. А он немалую должность занимал в Союзе писателей, ему по должности положен значок эмалевый на грудь, чтоб от людей отличаться. А теперь он кто? Сольется с общей массой. Даже в некрологе не напишут, как

другим покойникам его ранга: был депутатом таких-то и таких-то созывов... Но собралась делегация уже выдвинутых кандидатов, пошли к Лигачеву. И нашлась-таки автономия, которой не успели еще никого дать, отыскиали такую в списках и на карте. Возможно, будущий депутат пожелал бы себе что-нибудь попредставительней, да уж не до того теперь, бери, что дают. И повезли его туда с почетом, в окружении доверенных лиц, и получил тамошний народ своего радетеля и заступника, лучшего друга, знатока их нужд, чаяний и печалей.

Это не анекдот, это было в Союзе писателей. И случай этот не единственный.

И вот первые горбачевские выборы в пору гласности. Гражданского общества в стране еще нет. Партия одна, коммунистическая, сама себя именующая честью и совестью... За семьдесят с лишним лет жесточайшей диктатуры, озаренной солнцем сталинской конституции, забыт и тот малый опыт выборов в Думу, который был перед революцией. И решили так: помимо выборов по округам, от каждого так называемого творческого союза — по десять человек, столько-то от профсоюзов, столько-то от Академии наук, от женских организаций... А сто человек выставляет партия, их так и прозвали в дальнейшем: партийная сотня.

И вот в Доме литераторов, в зале на пятьсот человек, собрался пленум: выдвигать кандидатов в депутаты. Обстановка нервная, перебегают с места на место, сбиваются группами, выкрикивают каждый своего. И все больше, больше накаляются страсти. Когда согласились наконец подвести черту, в списке было уже под восемьдесят человек. Список этот у меня сохранился, диво дивное, когда читаешь его теперь: фамилия, инициалы, а кто таков — и не вспомнишь, нечего вспомнить. Как говорят, человек, широко известный в узких семейных кругах. Но

вот поразительно: ни один не отказался. Готовые государственные деятели. Политики. И смотришь, уже на лицах выражение соответствующее: попользовались благами вы, слазьте, наше время пришло...

За несколько дней до пленума покойный ныне Верченко, оргсекретарь Союза писателей СССР, в обязанности которого входило не только все знать, всем ведать, но и на каждое веяние реагировать, сказал мне:

— Тебя будут выдвигать обязательно.

— Валяйте. Только депутатом я не буду. Ни при какой погоде.

Разумеется, он не поверил:

— А чего особенного? Это если от округов, отчитываться надо перед избирателями. А от Союза писателей будешь просто сидеть там.

Но дома у меня знали, что депутатом быть я не собирался. На это надо жизнь положить и ничем другим не заниматься. Еще на VIII, на последнем, съезде Союза писателей я говорил, что единственная власть, которой может обладать писатель, — это власть духовная, власть над умами и душами людей. Не власть имущий, а властитель дум — вот высшее назначение.

Началось голосование, из огромного списка осталось в итоге одиннадцать человек, среди них — Леонид Леонов. Ему то ли исполнилось уже, то ли вот-вот исполнится 90 лет. Как выяснится в дальнейшем, его уговорили баллотироваться. Мол, выберут его непременно, а завтра, во втором круге, он снимет свою кандидатуру, и можно будет на его место вставить кого-то. А пока что место занято, шляпа на стуле лежит.

Ранние его вещи — «Вор», «Скутаревский» — я в свое время читал. Ничего из них не помню. Но «Русский лес»... Пытался читать. И не единожды. Одни фамилии героев чего стоят. Отри-

цательный персонаж, конечно же, — Грацианский. Положительный — Вихров. А лучше бы уж — Правдин. И всего-то содержания, разыгранного в лицах, хватило бы на небольшую брошюрку о лесе. Но язык... Ничего так не выдает литератора, как язык. Натужный, выдуманный, подделывающийся «под народ», об этом ни друг, ни критик услужливый сказать ему не решатся, он давно уже в том ранге, когда положено хвалить. В письмах Горького есть уничижительные высказывания о Леонове, их можно брать, а можно и не брать в расчет. Но есть и поощряющее. Его, как мандат в пиджачном кармане, как медаль на груди, пронес Леонов через всю жизнь.

На следующий день было решающее голосование. В ту заветную «десятку» я попал по числу поданных за меня голосов. Мне это было важно. Я поблагодарил пленум, выйдя к микрофону, сказал, что рассматриваю это как вотум доверия журналу «Знамя», а кандидатуру свою снял, объяснив, что в планы мои не входит быть депутатом, я хочу писать и вести журнал, раз уж взялся. Этого более чем достаточно. Но почему-то решили голосовать. За что, собственно, голосовать — непонятно. Не хочет человек, не принуждать же силой. Но — голосовать! Залыгин спросил меня, мы сидели рядом с ним в зале, у крайнего левого микрофона: «Ну, как мне голосовать?». Чувствовал он некоторую неловкость: сидим рядом, а руку поднимать надо, чтоб меня отставили. Я облегчил его сомнения.

И тут вдруг в правой стороне зала, у самой сцены, подошел к микрофону Валентин Распутин и тоже снял свою кандидатуру. Что он говорил, не помню, да и не все я расслышал за шумом, возникшим в зале, но эту фразу привожу дословно: «...я тоже хочу, как Григорий Яковлевич». Фраза эта поразила меня.

Не так давно, на XIX партконференции, когда я говорил с трибуны перед пяти тысячным залом, большая часть которого были партийные функционеры, и они хлопали, не давая мне говорить, он, Распутин, на балконе для гостей дирижировал хлопанием и топанием. И вдруг — «как Григорий Яковлевич...».

Я сказал тогда залу: люди за свою историю не раз боролись за свое порабощение с такой энергией и страстью, с какой позволительно бороться только за свободу. Тот, кто сегодня борется против гласности, — борется за свое порабощение. Неужели мы только вдохнули глоток свободы и все уже поперхнулись? Уже закашлялись? В стенограмме значится: (Шум в зале). «Шум» начался много раньше. Дважды подымался Михаил Сергеевич Горбачев, призывая зал к спокойствию. Говорят, в такие моменты от волнения все плывет перед глазами, лиц не различишь. Не знаю. Возможно. Пусть не покажется это сравнение нескромным, но, как в бою, чувства обострились, я видел зал, я четко видел лица. Бледный человек — кто он, не знаю — кричал мне снизу, из первого ряда: «Говорите! Говорите!». Ректор МГУ той поры академик Логунов, седой и красный, с огромной белой бородой, яростно бил в ладони, подняв руки над собой. Сидевший рядом с ним Егор Яковлев (я это позднее узнал) сказал ему: «Вы же культурный человек». Но он не слышал, что он культурный, он еще и ногами топал.

Могу сказать по себе: борьба дает силы. Я не мог сойти с трибуны, не сказав то, что должен был сказать. И в первую очередь — об афганской авантюре, стоившей стольких жизней. Один из ее виновников, Громыко, в то время — Председатель Президиума Верховного Совета, то есть Президент страны, сидел за моей спиной и выше, к нему, по сути, я обращался, говоря, что виновники должны быть на-

званы поименно. И всем хлопавшим и топавшим я сказал: вы не волнуйтесь, я выстою здесь, выстою.

Это показывали по телевидению, я этого, естественно, не видел и не знал. Но, оказалось, за стенами зала все воспринималось людьми не так, как в самом зале, где сильно разгулялась партократия, ее, выходя на сцену, как рать свою, каждый раз приветствовал Лигачев ободряющим жестом.

Первый звонок в редакцию был из Магадана. И раньше, чем почта стала доставлять письма, пришли в «Знамя» военнослужащие. Афганцы. Они принесли письмо в поддержку. И письмо это поразительно было тем, что тридцать пять человек, подписавших его, указали полностью свои звания, фамилии, имена: офицеры, прапорщики, вольнонаемные женщины. Они рассказывали ту правду, на которую пресса еще не решалась. А ведь военные люди несравнимо более зависимы, чем штатские. И, читая их письмо, этот акт мужества, я убедился: в обществе происходят серьезные изменения, быть может, необратимые.

Ни за одну мою книгу, если не считать повесть «Пядь земли», я не получал столько писем, как за выступление на XIX партконференции. И было даже письмо от тысячи четырехсот восемнадцати человек. Совпадение случайное, но война Отечественная длилась 1418 дней.

А потом телевизионщики показали мне, что происходило на балконе для гостей, как там дирижировал Распутин. И я увидел его лицо. Могу сказать, я не желаю ему когда-либо увидеть свое лицо таким, каким оно было у него в тот момент. А ведь он мне и письма хорошие писал, и книгу свою прислал с трогательной надписью: «...от души, от моей души».

И вот снова, как ни в чем не бывало: «...хочу тоже, как Григорий Яковлевич». Но тут поднялся

крик в зале: «Два места освободилось!», «Не два, одно!», «Два места!». Особенно горячилась узбекская делегация: от нее никто в «десятку» не прошел. «Так два или одно?». Но Распутин больше не подошел к микрофону. И на одно освободившееся место действительно выдвинули кого-то из Узбекистана.

Наш редакционный шофер, Игорь, потом не раз говорил мне: а вот редактор такой-то ездит обедать в цеховскую столовую... Ничего, Игорь, мы и в редакции чаю попьем, Марина нас не обидит. Хороший он был парень, и дело свое знал, и машину любил, только вспылчив немного. Смотрю однажды, у него кисть правой руки опухшая. В чем дело? Нахмурился: «Да тут один подрезал меня. Хорошо, у меня тормоза отрегулированы» — «Ну и что?» — «Пришлось с ним поговорить...». Очень ему хотелось почему-то, чтоб был у нас в машине телефон, а на крыше — синяя мигалка. А я так его разочаровал.

ЧЕРНЫЕ КАМНИ

Они еще только шли, двое в штатском, только еще подымались по внутренней деревянной лестнице на второй этаж, а ответственный секретарь журнала, с балкона увидевший их машину, доложил: «Прибыли!». И надо было видеть блеск торжества в его глазах.

Одного из них я знал по голосу: вот уже довольно долго мы вели с ним переговоры по поводу автобиографической повести Анатолия Жигулина «Черные камни». Это был генерал КГБ. Второй, в больших притемненных очках, — глаз его в продолжение всего разговора я так и не увидел, но взгляд, напор чувствовал все время — этот был ниже ростом, мощный: плечи, шея, кисти рук как у штангиста. Он обернулся на дверь кабинета, оставшуюся открытой, и, повинувшись его взгляду, она стронулась, пошла, пошла и захлопнулась плотно. Обычно я ее

не закрывал: в проходной комнате сидел за столом ответственный секретарь журнала, в прошлом — инструктор райкома партии, не лишенный профессионального любопытства. Чтобы не томить его, я вел служебные разговоры при открытых дверях, и ему без поучений предоставлялась возможность усвоить то, что отныне усвоить ему следовало.

Вскоре на столе у себя обнаружил я подметное письмо в большом конверте: четыре страницы машинописного текста на хорошей бумаге и без подписи. И хотя машинка вроде не имеет почерка, характер писавшего, нервность его прочитывались ясно. Ужасные вещи узнал я из письма о втором моем заместителе. Я читал не спеша, а ответственный секретарь трудился за своим столом, пригнув голову, нам было видно друг друга. Прочтя, я разорвал письмо и бросил в корзину для бумаг. К концу рабочего дня оно странным образом исчезло. Но вскоре появилось другое письмо. Тоже отпечатанное на машинке и тоже без подписи. Я порвал его, не читая, и бросил в корзину. И оно тоже исчезло из корзины.

А вообще, раз уж зашла о нем речь, это был по-своему интересный человек. Работал он много, заполошно, все что-то писал, считал, цифры с цифрами у него не сходились, он яростно считал заново и от постоянной спешки опаздывал принимать лекарства: спохватится, а уже пять — десять лишних минут прошло. И горестно запивает нужную таблетку, теперь она, конечно, так хорошо уже не действует. И опять со всем рвением ушел в работу, пишет скорым почерком, рвет, снова пишет. От чтения рукописей я вскоре освободил его, сказав, что он и так перегружен сверх меры: в литературе он ничего не понимал. Но он не освободился. И хотя к обсуждениям его не привлекали, читал он все. Он должен был знать, что посылают в набор. А вот от каких болезней он лечился, я так и не понял, хотя он подро-

но и не раз это объяснял и даже пытался давать мне медицинские советы. Внешне это был крепкий, мускулистый, здоровый мужик, только глаза беспокойные, немного навывкате и водянистые.

Я понимал, конечно, что рано или поздно мы расстанемся, и не только с ним, но не торопил события: перестройка перестройкой, однако что же, сменить народ в стране и завезти откуда-то новый? Так для кого она? А когда дело все же подошло к логическому концу, он в тот вечер, крепко выпивши (склонен он к этому был всегда), позвонил мне домой, предупреждая, что пишет сейчас письмо заведующему отделом агитации ЦК (тому самому, который в надвинутой на уши черной шляпе, сторонясь людей, ходил, нацеленный Лигачевым, проверять, что делается на Арбате), вот ему он пишет обо всех безобразиях в редакции, и обо мне в том числе, и утром лично вручит письмо. Я положил трубку. Утром, протрезвясь, он снова звонил, просил прощения, просил оставить его членом редколлегии, не вычеркивать из списка хотя бы до конца года. Последний раз он приходил в «Знамя», когда мы уже переехали в другое помещение, принес первые выпуски начавшей выходить полуфашистской газеты, от которой очень скоро отскочило это «полу». Он работал теперь там, о чем сообщил не без торжества; любопытно, как судьбы прочерчивают свой путь во времени. Умер он внезапно, в сущности, довольно молодым.

Однако вернемся к тому, с чего начато: они пришли, я пригласил их в кабинет, мы сели за приставной столик. Был подан чай.

Штатский костюм преображает военного человека. Лейтенант — это еще куда ни шло, молодость красит. Но трех-четыrehзвездный генерал, блеск золота погон, лампасы, броня многоцветных колодок на мундире (как правило, теперь это уже

послевоенные медали да ордена за выслугу лет), в штатском сразу превращается в обычного старичка, седина уже не украшает благородством, но старит. А то вдруг вылезет наружу такое простоватое, что и подумаешь: да он ли это?

Гостей своих я раньше не видел в форме, но невозможно было не заметить, что костюмы на них будто взяты напрокат.

— Ну вот, — сказал знакомый мне по телефонным разговорам генерал, — можем уже предъявить вам некоторые замечания.

Это «уже» вместило в себя примерно тот срок, за который дитя рождается на свет. Гласность объявленная — гласностью, а цензура — цензурой. И кроме обычной цензуры была тогда еще военная цензура, где, в частности, сохранялось такое ограничение: о некоторых непорядках в масштабе роты писать дозволялось, это, по мысли цензоров, могло восприниматься как нечто нетипичное, но замахиваться на происходящее в батальоне — это уже обобщение, это бросает тень на всю армию и потому подлежит изъятию. Был еще ряд ведомственных цензур, но самая грозная, самая непредсказуемая — цензура КГБ.

Думается, для Главлита сладостен был тот миг, когда можно было отпасовать рукопись в ведомственную цензуру: с нас взятки гладки, обращайтесь туда. Вот так повесть Анатолия Жигулина попала в цензуру КГБ, ухнула туда, как в темный колодец без дна. Спешить им было не для чего, месяцы прошли, пока я узнал, что «зайца погнали дальше»: из Москвы переправили рукопись в Воронежское КГБ, по месту действия. Там начиналось все то, о чем писал Жигулин в своей автобиографической повести, там его и его товарищей арестовывали, допрашивали с пристрастием, так, что один из них, Иван Подмолодин, от избиений сошел с ума.

А проходивший по другому делу сокамерник Анатолия Жигулина укреплял себя молитвой. «Удивительной духовной и нравственной силы был человек. Когда открывалась дверь в камеру и в дверях показывался надзиратель или дежурный офицер, он всегда осенял себя крестным знамением со словами: “Изыди, сатана проклятый!”». «Его, — пишет Жигулин, — как и меня, часто били. Но он терпел побои мученически — читал во время избиений молитвы, славил Господа. Какая это была чистая, светлая душа! Он успокаивал меня: “Анатолий, не горюй! Ведь за правду сидишь!”».

Но он все-таки был старше, а они, подростки, только еще начинали жить. В 9-м классе мужской средней школы создали они организацию КПМ: Коммунистическую партию молодежи антисталинской направленности, конечная цель которой — «построение коммунистического общества во всем мире». За это и получили по 10 лет каторжных работ.

Диктатура не терпит отклонений, не говоря уже о свободомыслии: путь мысли предначертан. И шагать надо в общем строю. А если ты больший роялист, чем сам король, не сносить тебе головы. И уж, конечно, самый незащищенный тот, у кого не отмерла совесть. «Да, мы были мальчишки 17–18 лет, — пишет Жигулин. — И были страшные годы — 1946-й, 1947-й. Люди пухли от голода и умирали не только в селах и деревнях, но и в городах, разбитых войной, таких, как Воронеж. Они ходили толпами — опухшие матери с опухшими от голода маленькими детьми. Просили милостыню — как водится на великой Руси — Христа ради. Но дать им было нечего: сами голодали. Умиравших довольно быстро увозили. И все внешне было довольно прилично».

Организатор КПМ Борис Батуев не голодал: он, сын второго секретаря обкома партии, жил в де-

сятикомнатной квартире, в охраняемом особняке на Никитской, куда нищих не пускали. Но с двумя товарищами он совершил лыжный поход в одну из деревень. «Он увидел лежащих на полу от голода, распухших людей, он увидел, как люди жуют прошлогоднюю траву, варят березовую кору... Там березы много, и район назывался Березовским». И они решили бороться, создали организацию, быть может, наивную, если смотреть из дней нынешних, но за это заплачено жизнями.

Теперь повесть Жигулина прошла в Воронеже теми путями, которыми когда-то прошел он сам. Уничтожить ее было уже нельзя, но искалечить можно. И один из двух моих посетителей достал из внутреннего кармана пиджака пачечку бумаги — листы небольшого размера — и начал перечислять так называемые замечания.

— Но вы оставьте это нам, чтобы мы могли...

— Нет. Я вам прочту из собственных рук.

Иными словами, никаких следов их деятельности не должно было оставаться.

Я позвал ответственного секретаря, посадил его за свой стол в кресло, как бы на председательское место, попросил записывать дословно все. По пунктам.

Было в повести несколько неточностей. Иной раз слух пронесшийся закрепляется в памяти как факт, да еще представится зримо, как тут не поверить себе? Но, разумеется, не для разговора об этих частностях они приехали. Главное высказал человек в темных очках, все время молчавший:

— Он ненавидит органы!

Локти и большие кисти рук его лежали на столе.

— А вы бы любили органы, если бы вас, как этих мальчишек, вырвали из дома да на десять лет — в лагерь? И вся жизнь искалечена.

Он не ответил. Но я почувствовал его взгляд.

В окно сверху было видно, как они вышли из-под балкона, сели в черную «Волгу», оба — на заднее сиденье, машина с затемненными стеклами все время ждала их.

Пришли они в этот день не потому, что была закончена проверка: вот проверили и сразу же пришли. Мы их поторопили, устав ждать. Мы сделали то, что я проделал однажды, когда надо было печатать «Собачье сердце» Булгакова: мы объявили повесть Жигулина. Тираж журнала к тому времени удвоился, 500 тысяч экземпляров — это не меньше двух с половиной миллионов читателей. А разразись скандал, так журнал будут рвать из рук. И в январском номере 1988 года мы объявили на обложке (обложку цензура как-то обходила вниманием), что в следующем, февральском номере печатается повесть Жигулина. И в газетном интервью я подтвердил: да, в февральском, хотя в это время ее только еще «изучали» в Воронеже. Это была ложь во спасение. Если запретят — пусть станет известно, кто запретил, это я решил твердо. Одним словом, мы сознательно шли на скандал, другого способа напечатать «Черные камни» не прорисовывалось. Объявили повесть на февраль, напечатать удалось только в июльском и августовском номерах.

Можно понять, каково автору было ждать все это время. Но и нам с Лакшиным, по сути дела, единственным его защитникам, он помотал нервы. Ну, да что вспоминать.

Не вина, а судьба этого поколения, что родились они и жили в жестокое, кровавое время. И дурилось иной раз о совершенно невероятном: окажись вдруг власть в их руках, и вот они приступили бы к главному пункту своей программы, а пункт этот гласил: «Конечная цель КПМ — построение коммунистического общества во всем мире», каки-

ми средствами пришлось бы им достичь своей цели? И не оказалось бы, что те самые средства, против которых они так самоотверженно боролись, столько пострадали, в итоге стали бы их средствами?

Есть в повести сцена побега. Бежать собрались четверо. Один «отковал из прекрасной шведской стали (из обломков шведских шестигранных буров) четыре великолепные пики — обоюдоострые (можно резать, можно колоть), кинжалы с лезвием 22–23 сантиметра». Насколько подробности точны, решать тем, кто прошел лагеря. Сам же план побега был такой: вчетвером напасть на машину, которая в определенный час вывозит рудный концентрат. В машине два солдата с автоматами. «Один хватается за автомат, второй режет солдата пикой».

Я не мог запрещать, превращаться в цензора. Я мог попытаться убедить, объяснить свою позицию.

На фронте мне приходилось убивать: война есть война. Но вот читаю: «режет солдата пикой...». Да, у беглецов другого выхода не было. Один из них, в прошлом — майор, Герой Советского Союза, «воевал всю войну и даже не только до Берлина дошел, но и до Порт-Артура». Но ему припомнили, что в начале войны он попал в плен и, хоть бежал оттуда, все равно в 46-м году получил срок 25 лет «за измену Родине». А Жигулину 19 или 20 лет исполнилось. Столько же и солдату. Для заключенного в солдате этом, возможно, все зло воплотилось. Чтобы получить отпуск домой, тот мог спокойно застрелить зэка, у Жигулина есть стихотворение об этом. Короче говоря, что чувствовал заключенный, который сам, вероятней всего, шел на смерть, понятно. Но тогдашний взгляд заключенного и взгляд писателя, который пишет об этом через сорок лет, не одно и то же. Смог же Георгий Владимов так глубоко понять психологию служебной собаки, Верного Руслана,

написать его так, что душа за него болит, а смерть его воспринимаешь как трагедию. В верных русланов обращены были тысячи и тысячи, они тоже — жертвы, как не понять этого? И нужны не слова, нужны два взгляда: взгляд мальчика оттуда, из глубины события, и умудренный взгляд человека, все пережившего, знающего, что сделали со страной, с людьми. Но убедить Жигулина мне не удалось, я разговаривал с ним часами. До боли в затылке, до того, что у меня подымалось давление. Он заменил слова: «второй режет солдата пикой» на «второй действует пикой», но в отдельном издании, которое он мне в дальнейшем подарил с трогательной надписью, восстановил: «режет солдата пикой». Ох, да не в словах этих суть. И тогда я решился на то, чего вроде бы по всем журнальным канонам делать не следует. У нас лежала лагерная переписка Али Эфрон с Борисом Пастернаком. Две вещи о лагерях в одном номере журнала? Да не в одном, в двух... Но это были не только очень разные вещи, это был взгляд на событие с двух разных сторон.

Аля Эфрон, дочь Марины Цветаевой, навсегда осталась в тени великого имени своей матери. Но если даже судить по одной этой переписке, она была редкостно одаренный человек, и вот уж, говоря словами повести Жигулина, «какая это была чистая, светлая душа!».

В Париже она входила в круг патриотически настроенной просоветской молодежи, на два года раньше матери вернулась в Советский Союз, чтобы здесь ее, любящую, любимую, накануне свадьбы арестовали. Восемь лет лагерей она отбыла полностью, а в 49-м году, когда вновь хватали отбывших свой срок, — пожизненная ссылка в Туруханск Красноярского края. Она писала оттуда Пастернаку: «Воду таскаем на себе из Енисея — далеко в гору. От всего вышеизложенного походка и вид у меня

стали самые лошадиные, ну, как бывшие водовозные клячи, работающие, понурые и костлявые, как известное пособие по анатомии. Но глаза по старой привычке впитывают в себя и доносят до сердца, минуя рассудок, великую красоту ни на кого не похожей Сибири. Не меньше, чем вернуться, безумно, ежеминутно хочу писать и рисовать. Ни времени, ни бумаги, все таскаю в сердце. Оно скоро лопнет».

Ее реабилитировали полностью в 1955 году «за отсутствием состава преступления». Права, доброе имя восстановили. Но кто вернет отнятую жизнь?

Не нам, нет, не нам, кого, как говорится, бог миловал, кто не прошел всех этих кругов ада, судить. И все же, видимо, если можно было уцелеть в тех условиях, где столько осталось погребенных и непогребенных, так только духовно. В каждой строке Алиных писем — бессмертие человеческого духа.

«МЫ ВАМ ПЕРЕКРОЕМ КИСЛОРОД»

Оглядываясь в недавнее прошлое, все больше убеждаюсь: закон о печати приняли по недосмотру, просто депутаты оплошали. Нынешние ни за что бы не пропустили его. Где это видано, чтобы власть сама на себя надевала смиренную рубашку? Но помogli два обстоятельства: некоторый дух волюности, его ощутило общество, и твердое убеждение, что законы у нас пишут для наглядности, исполнять их не обязательно. Приняли и этот.

Что же до мнения народного, то за свою историю немного пословиц о законе сложил наш народ, куда больше — о начальстве, о приказе, о послушании: как жили, так и сложили. Но и в тех многих — твердое убеждение: где закон, там и грех. А потому — «что мне законы, когда судьи знакомы».

И вообще у нас, как в той районной бане, про которую, возможно, не все знают, тогда надо

рассказать, потому что это не выдуманно, все так было. Отремонтировали баню, лавки новые, чистые, и над лавкой каждому — свой персональный душ. Но рукоятки управления, краны все вынесли на одну, главную панель. Вот сквозь пар идет намыленный человек включить над собой душ и стал в недоумении: где его кран, где чей?.. Повернул один, кто-то с криком вскочил, ошпаренный. Повернул другой, кого-то холодной водой окатило.

Журналы наши тоже, хотя и располагались по разным лавкам, но краны все на одну панель, в Союз писателей, были вынесены. Туда подадут команду, они и поворачивают кран. Хорошо, если умелой рукой, но наверх-то рвутся не те, кто умел, а кто смел.

Покойный ныне Михаил Ильич Ромм рассказывал, как встретил он однажды на улице бывшего министра кинематографии Ш. Возможно, должность эта называлась тогда иначе, например председатель комитета или нарком, но суть не в названии. Разные люди в разное время возглавляли наш кинематограф, побывал в этом кресле даже глава Воронежского НКВД Дукельский и тем остался памятен, что, бывало, докладывает ему секретарша, мол, режиссер такой-то пришел на прием. «Введите!..». Так вот, встретились они как раз у «Мосфильма», и Ш. пожаловался с тоскою: «Не то мне обидно, Михаил Ильич, что меня сняли. Я за этот год начал уж было в кинематографе разбираться, и вот тут меня как раз снимают...».

Помню, прочли мы закон о печати, увидели, что отныне можем сами стать учредителями журнала, независимыми, никто над нами не будет поворачивать ручки кранов, а нас то ошпарит, то окатит ледяной водой, одним словом, разрешено жить своим умом, прочли и себе не поверили. Однако пригласили юристов, они растолковали нам: можете. Состав-

вили все нужные бумаги, и 1 августа 1989 года, ровно в девять утра, к началу регистрации, был я в комитете по печати. Но не один, с юристом, он за меня знал все наши права. Месяц оставался до конца подписки, и весь этот месяц комитет мог решать, регистрирует нас или не регистрирует, то есть, в сущности, быть нам или не быть.

Начало не предвещало добра: сорок с лишним минут отсылали нас из комнаты в комнату, а комнат было много, еще больше столов, и все эти милые барышни и дамы министерские с яркими ноготками, тенями на веках и помадой на губах, успевшие подкраситься или занятые этим, все они почему-то были очень недовольны нами: «Вот начнут теперь ходить все подряд!..».

Наконец попали мы к девице, у которой на столе лежала большая книга для регистрации. «Оставьте ваше заявление», — сказано было нам холодно, и «заявление» прозвучало как «прошение». Но не зря юрист сопровождал меня, он потребовал тут же записать нас в эту амбарную книгу, дать номер, под которым мы значимся в ней от сего числа. Как после мы убедились, дело тут было не в обычной неразберихе. Система подала сигнал — «Горим!», и сомкнулись начальство и рядовые служащие, каждый бежал, кто с ведром, кто с багром, отражать надвигавшийся на них закон.

Проделав всю канцелярскую процедуру, поднялся я наверх, к первому заместителю председателя комитета (кресло председателя в ту пору пустовало, вакантно было, ждало), к Дмитрию Федоровичу Мамлееву, знакомы мы с ним были не один год. Секретарша, одетая как манекенщица на последнем показе мод, пошла доложить, овевая меня французскими духами, по их запаху, как по следу, я и шел в кабинет, в распахнутые наружную и внутреннюю двери. Мамлеев встречал по-братски, шум-

но. Темный стол письменный, такой же, темного дерева, стол для заседаний, высокие потолки, переливающим пурпурным шелком обтянутые стены — богатый достался ему в наследство кабинет.

— Вы бы сразу ко мне! — узнав, что я тут чуть ли не битый час хожу, повозмущался он.

У меня тоже, если честно сказать, был такой позыв, сразу — к начальству, и чтоб оттуда, сверху, пошло вниз, но юрист Левон Левонович Григорян, годившийся мне в сыновья, мудро предостерег: сначала соблюсти все необходимые формальности. Я это оценю со временем.

— Ко мне надо было, а я бы уж вызвал сюда...

И он вызвал другого зама, рангом ниже, но юриста по образованию, Горковлюка. Первое впечатление — точное впечатление. Горковлюк вошел с доброжелательностью во взгляде, поздоровались, и через его руку, через рукопожатие я почувствовал: тут жди беды. Сели. Обычный, ни к чему не обязывающий разговор, расположение Мамлеева отражалось на его лице, и первое впечатление постепенно стиралось. И тут Горковлюк предложил мне:

— А почему бы вам самому не стать учредителем журнала? Вы, в своем лице, — учредитель. Вы имеете на это право.

То есть чтобы я был не только редактором, но и как бы владельцем журнала. И даже не как бы... И смотрит мне в глаза. А у меня, когда я решался стать редактором, намерение было простое: вот наладжу дело, перевалю половину забот на заместителей и буду писать, много ли мне жизни осталось?

— Поверьте, — внушает Горковлюк, — я целиком на вашей стороне, вы мне гораздо ближе, чем Карпов.

Странно. Мы видимся в первый раз. Карпов возглавлял в то время Союз писателей, наше министерство по делам литературы, министерство ближе

министерству, с этим ничего не поделаешь. И я не сомневался, еще и до редакции не доеду, а отсюда уже доложат по правительственному телефону в ЦК и в Союз писателей сообщат: мол, не опоздайте подать заявку, журнал вознамерился стать независимым. Так все и произошло. На третий день Союз писателей прислал бумагу, что учредителями будут они, на волю нас не отпустят. И настолько не сомневались, настолько чувствовали себя в своем праве, что даже не стали утвержденную законом заявку подавать, решили, простой записки хватит. На пятый день родителей заботливых стало у нас уже двое. Раздался звонок из управления делами ЦК, говорил некто Костров. Мы не были знакомы, но говорил он директивно:

— Вашими учредителями будем мы.

— Как же вы можете быть нашими учредителями? — удивился я. — Мы не журнал «Коммунист», не «Блокнот агитатора», а литературно-художественный журнал.

— Вот нам как раз и нужен литературно-художественный журнал.

— Прекрасно. Создайте себе.

— Создадим. Вместо вас.

— И думаете, это легко? Сразу люди захотят подписываться?

— В общем, так: либо ваши учредители — мы, либо издательство «Правда» не будет вас печатать.

Дело серьезное, прикажут — и не будет. А нам тогда деться некуда.

Но каждое действие, как известно, рождает равное по силе и обратно направленное противодействие, жизнь этому учит.

— Хорошо, — говорю. — Тогда мы подсчитаем, сколько за все эти десятилетия дал издательству «Правда» журнал «Знамя», а много дал, и поставим

вопрос о разделе имущества. Разводиться так уж разводиться.

Можем ли мы «поставить вопрос», где его «ставить», ничего этого я не знал, слышал только или прочел, что в Сибири то ли издательство, то ли газета начали тяжбу с обкомом, и вот об этом напомнил:

— И хорошо вы будете выглядеть?

На седьмой день — семь дней, как вы помните, потребовалось господу, чтобы сотворить и небо, и землю, и отделить свет от тьмы, и назвать сушу землею, а собрание вод морями, и населить землю, и человека сотворить по образу и подобию своему, вдохнуть в него душу живую и, убедившись, что хорошо весьма, почить от дел своих, вот в этот седьмой день, когда бог почил, Горковлюк завершил свое дело. Той самой рукой, которой дружески пожимал мне руку, написал он, а «Советская Россия» напечатала информацию. В ней рассказывалось, как усердно трудится комитет во исполнение нового закона, но вот журнал «Знамя» они пока что, к сожалению, зарегистрировать не могут: не решено, кто станет нашим учредителем. Сам же скликал желающих, а вот теперь как бы оказался бессилён перед этим внезапно открывшимся обстоятельством.

По прошествии времени могу оценить изящество и тонкость работы Горковлюка. Его информация канцелярской поэзией дышала, возможно, создавая ее, он истинное вдохновение испытал. И это был точно рассчитанный удар под ребро. Читателей, по сути дела, извещали, что, если учредитель не определится, журнала может и не быть. Как же подписываться на такой журнал? Как верить тому, что мы обещаем напечатать, когда решать, возможно, будем не мы? По сути дела, нас тихо удушали, брали измором в науку другим: уже несколько

журналов вслед за нами решили стать независимыми.

А тем временем все больше объявлялось желающих стать нашими учредителями: и Союз писателей, и издательство «Правда», и еще кто-то, и даже — типография издательства. Интересно, знал ли кто-нибудь в типографии, что они — желающие? Или один Костров за них знал?

Сколько беззвучных монологов было произнесено в эти дни... И думалось: здесь, в Москве, где властей много, и то выворачивают закон наизнанку, как же во глубине России добиться своих прав крестьянину, если он, допустим, захотел фермером стать? Вся пирамида египетская над ним: и председатель колхоза, и пьянь, которая вокруг него сплотилась, из его руки чужим трудом кормится, а еще соседи косятся нелюдимо — лучше меня захотел жить?.. — а райком, а обком... Да это как из темных глубин океана подняться на поверхность, всю толщу воды преодолев над собой.

Однажды я все же не выдержал, позвонил Мамлееву:

— Дмитрий Федорович, мы еще недавно вроде бы уважали друг друга, неужели жизнь ничему не учит? Многие каются теперь за прежние грехи. Так для чего новые набирать? Все это минет, вы уж поверьте мне, минет, а позор останется. Не обижайтесь, рано или поздно я об этом напишу.

Тем временем мощные силы собирались в комитете, в роскошном этом здании. Приезжал и Карпов от главного Союза писателей, приезжало известное черносотенными выступлениями руководство СП РСФСР, приглашали на подмогу прокуратуру, законодателей Верховного Совета, требовали изменить закон о печати, в муках рожденный.

И представил я себе однажды: хорош бы я был, последуй дружескому совету Горковлюка, зая-

ви, что хочу сам стать учредителем и владельцем журнала. Сколько грязи на меня вылилось бы! И не докажешь, что не нужно мне это, мыслей таких не имел. Но это к слову. А журнал надо было спасать, пока его не растащили по частям.

Я не ходил на эти толковища: чести много. Сидеть там, слушать, включать магнитофон — эту обязанность исполнял второй заместитель Виталий Петрович Гербачевский. Мне надо было сохранять спокойствие, хотя бы внешнее. И по телевидению я заверил читателей, чтобы они не сомневались, подписывались на журнал, в случае чего мы к ним обратимся: тираж журнала достиг в то время миллиона экземпляров, то есть читателей — минимум миллионов пять.

Как-то позвонила мне Ирина Мишина (она вела программу новостей). Вместе с оператором поехали они по доброй воле в Союз писателей расспросить, что же происходит на самом деле. Дать интервью им отказались, но Колов, исполнявший должность оргсекретаря, сказал через дверь: «Мы им перекроем кислород», нам то есть.

Но мы пока еще дышали. И вот руководство Союза пригласило нас на переговоры. Подумали мы, подумали и решили: пусть они едут к нам. Накрыли стол, самовар кипящий на столе. Глянул я в окно с третьего этажа — въезжает во двор черная «Волга», стала, распахнулись дверцы, из передней вылез Карпов, из задней — Колов. Так они и шли к подъезду: Карпов — впереди, Колов с кожаной папкой в руке за ним поспешает. Если вспомнить всех, кто до него сидел в этом кресле, он самый молодой, но уже заметно раздобрел, общее выражение лица такое, будто горячего шашлычка только что поел, еще мясо в зубах застряло, весь вкус во рту.

Вошли. Мы с Карповым однокашники, когда-то на одном курсе учились в институте. Но люди

растут, должность прибавляет веса. Прошелся он хозяйски по кабинету.

— Ну что? Из этого помещения мы вас, конечно, выгоним!..

Хорошее начало разговора. Но пока не выгнали, зовем к столу.

— Как же, интересно, ты выгонишь нас? — спрашиваю его. — Ты нам это помещение давал?

Но Карпов, вижу, не шутит, придя гостем, сел хозяином. На лацкане пиджака — красный эмалевый значок депутата Верховного Совета СССР, и он уже не кандидат, а полный член ЦК, так что это его «мы» солидно звучит. Еще недавно, на VIII съезде писателей, когда к власти рвались самые ярые, решили посадить кого-нибудь, ничем не выдающегося, как вот кладут шляпу на стул, повторяю это снова. И хотя голос мой не был главным, я как раз Карпова предложил. Ах, не перечитываем мы классику, Гоголя забыли.

Пройдет время, и, отставленный от должности, встретив меня в поликлинике, Карпов скажет голосом болезненным и слабым: «Гриша, не держи на меня сердце. Время было такое...». Я не держу. Но он это время и создавал.

Когда появилось мракобесное письмо Нины Андреевой, то самое, собрались в Союзе кинематографистов руководители нескольких творческих Союзов, чтобы ответить на это письмо. Карпов отдыхал в правительственной Барвихе. Я позвонил ему. «Да нет, обожди... Так это не делается. Должна быть дана команда сверху». Я еще стал объяснять, что тут команды ждать нечего, это дело совести каждого. «Ну, дай подумать...». А думал он там, как потом выяснилось, не один, Лигачев там отдыхал в это время. И снова звоню ему, звонят из Союза кинематографистов. «Дайте подумать...». Словом, время тянул. Выступили все Союзы, только Союз писате-

лей отмолчался. Тогда мы, несколько человек, от себя написали в главную газету тех времен, в «Правду». Но вернулся из командировки Верченко, сразу все понял, и было организовано отдельное письмо Союза писателей, лучше бы оно не появлялось: рядом с именами достойных людей стояли фамилии тех, кому руки не подадут. Но обзванивали поодиночке.

К слову сказать, Верченко — единственный в этой должности, кто не стал членом Союза писателей. Даже его заместитель был уже «принят в писатели», а он как бы полагавшейся взятки не взял, нарушил обычай.

И вдруг как-то утром звонят мне от Лигачева: Егор Кузьмич (вернее — Юрий Кузьмич, так почему-то надо было называть его при личном общении) желает встретиться. У меня такого желания никогда не возникало, но раз хочет, почему не встретиться, любопытно все же. И быстро я свое любопытство удовлетворил, увидев в приемной его секретарей. Незабываемые лица. На них было написано все: и уровень их, и уровень их хозяина. И то, что могло бы ждать нас всех. Вошел я в кабинет, и Лигачев, пожимая приветственно руку, сказал мне вот что: «Поздравляю вас со сто девятнадцатой годовщиной со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Я принял поздравление: действительно, в этот исторический день была как раз сто девятнадцатая годовщина...

За свой барвихинский подвиг, за то их совместное с Лигачевым осадное сидение Карпов был из кандидатов переведен в полные члены ЦК: Лигачев отблагодарил.

Имея такую опору за спиной, он и заявлял уверенно: мы вас выгоним. И надо бы напугаться, но всегда мне в такие моменты думается: ничего, бог не выдаст, свинья не съест.

В последние дни августа, буквально за три дня до конца подписной кампании, министерство печати и массовой информации России, само только что созданное, зарегистрировало нас, журнал был спасен. И мы уже было вздохнули легко, но тут новая беда — издательство отказалось от аренды помещения: вы, мол, независимы, сами арендуйте, добивайтесь разрешения у исполкома.

Принесла эту весть завхоз. Дама крупная весьма, она шла по коридору тяжелой поступью и возвещала: «Погибли-и!..». И тут впервые за долгое время стало мне смешно. Покойный ныне писатель Борис Бедный, не по своей воле отбывавший годы в республике Коми, рассказывал мне, будто у народа коми есть выражение: «пукси да вакси» — садись и смейся. Вот когда уж совсем худо, когда некуда податься, садись и смейся. Но мы не думали в тот момент, что нас еще суд ждет.

Пятеро в лавке — Колов с Карповым, Суровцев со Скворцовым да еще Н. Горбачев — от имени семидесяти с лишним секретарей Союза, которых об этом не спрашивали и не извещали, подали иск: соответствующие слова в соответствующей последовательности были напечатаны на бланке, иск приняли, и дело завертелось. И хотя виднейшие писатели заявили письменно, что они не давали права от их имени судиться с журналом, это уже во внимание не было принято: они — просто писатели, те — должностные лица, эти пижут на простой бумаге, те — на бланке. Кто главней?

В очередной раз встретились мы с Карповым в Доме литераторов: бургомистр Берлина давал прием.

— Гриша, — говорит мне мой друг-приятель, — передай мне вон тот бутербродик с икоркой.

— А ты сам возьми.

— Ну, будем цивилизованными людьми.

И лицо у него вроде бы такое симпатичное.
И — фронтовик. Что-то оттаяло у меня в душе.

— Володя, — говорю, — забери иск из суда, не позорься, еще не поздно. Все было: и сажали, и со света сживали, и журналы закрывали, — но чтобы Союз писателей судился с литературно-художественным журналом — этого еще не было. Ну, для писателей же — позор. С этим и войдешь в литературу. Забери иск.

А у него на лице вдруг улыбочка появилась, жестокая и ласковая к жертве:

— Не заберу.

Я отошел, выпил рюмку водки, тут Колосов возник:

— Григорий Яковлевич, а суд вы проиграете. Смотрите, статьи седьмая, одиннадцатая и тринадцатая говорят, что...

И наливает по рюмке, а хитрость из глаз так и прышет, он и скрыть не пытается. Ему, конечно, полагалось по должности иметь какой-то кагэбэшный чин, но он так усиленно давал понять, что сотрудничает, что сомнительно становилось: хочет — да, но, возможно, его туда и на порог не пускают?

Рюмку я выпил, не чокаясь с ним.

— Вы от меня аргументы наши хотите услышать? Услышите в суде.

— А мы туда не пойдем. И вам идти не надо. Пусть наши адвокаты решают дело между собой.

— Нет, так не получится. Я пойду. И вы пойдете. Это будет известный процесс.

И вот прилетает Карпов из Египта. Нил, пирамиды, в детстве не снилось все это повидать. Само собой, что лететь туда не было никакой надобности, но валюта в кассе Союза еще не исчерпалась, своя рука — владыка, чего не полететь первым классом, со всеми удобствами. Вернулся. Депутатский

зал, жена встречает, шофер за ним, за бывшим чемпионом Узбекистана по боксу, несет чемоданы к машине. А как приятно, вернувшись домой, разобирать подарки, принять душ, выспаться после дороги в своей постели. И завтра — в Кремль, на пленум ЦК. Но назавтра ждала его повестка в суд. И вот в суде впервые мне стало жаль его. В тесном зале стоял он с шапкой в руке, отвечал на вопросы, путался в ответах, а в это время высшие его товарищи заседали в Кремле... Посмел бы прежде обычный судья тревожить повесткой, в такой день такое лицо вызывать. Да откуда! При одной мысли этой дерзновенной у судьи бы уже телефон раскалился на столе.

Но по-настоящему мне было жаль Карпова после писательского пленума, на который я не пошел, зная, во что это хотят превратить. Уж, кажется, все он сделал: при закрытых дверях вдвоем-втроем учредили они газету «День», в обход закона, нигде ее не регистрируя, выпустили первый номер, раздали на руки делегатам, и после этого шпана литературная криками сгоняла его с трибуны, он сделал дело, уже не нужен им. И, не ожидавший такой неблагодарности, он ушел со слезами на глазах и подал в отставку.

Помню, после войны, я был еще студентом, послали меня в командировку на Кубань с корреспондентским удостоверением. И как раз в тот день приезжает в колхоз высокая комиссия из крайкома партии. Ходят по полям, дают председателю ценные указания, даже мне, городскому человеку, понятно: ну ерунду несут. А он — вдумчиво: «От эт вы правильно указали...». Угостили их хорошо, посадили убоготворенных в машину, пыль схватилась за ними следом по степной дороге, тут я и спрашиваю председателя: «Что же вы теперь будете делать?» — «Как что? Пахать и сеять».

Вот и мы хотели немногого: пахать и сеять. И чтоб каждый, кому вздумается, не давал нам ценных указаний. Но для этого, оказалось, надо было через суд пройти.

Декабрь, мороз небольшой, но ветрено, сухая поземка. Через обледенелые трамвайные пути спешим, бывало, в перерыве в забегаловку дощатую, куда сходится вокзальный люд, дрожащий с перепоя, выстаиваем там очередь. Голодные мы, в суде как-то быстро все в тебе перегорает. Зато здесь освободим местечко, сдвинем к краю неубранную грязную посуду, стоим тесно, толкают нас, дым табачный глаза ест, но дружно, весело, это дорогого стоит. Беда сплачивает, если общая: и страну сплачивает, и самый малый коллектив. В беде и познается, кто — кто. Крепости не извне, изнутри берут.

А впрочем, беда ли это? К нам, в наш зал в суде, — по коридору налево. А направо — закрытые стеклянные двери, вооруженная охрана, овчарки жарко дышат, высунув языки, и — смотришь — конвой проводит стриженных парней, руки у всех назад. Вот она, беда. Все познается в сравнении.

Но бывали и смешные моменты. Как-то я возьми да скажи: нет, это не гражданский иск, это процесс политический. Знал, что Колов сразу ухватится за это слово, оно у нас с давних времен — страшное: политический! Так и случилось. Я попросил у судьи разрешения прочесть любопытный абзац из газеты.

— Мало ли чего теперь в газетах пишут! — заранее отмахнулся Колов.

— Но это — «Правда». И вот сказано: «Конфликт, возникший между СП СССР и отдельными редакционными коллективами, выходит за рамки юридического спора. Он приобретает политический характер».

— Кто это пишет?

— А пишет... — Я будто в самом деле ищу, кто же это написал. — Пишет... Да вот внизу сказано: Владимир Карпов. Первый секретарь правления Союза писателей СССР.

Общий хохот, даже судьи улыбались.

Мне кажется, истцы наши так и не поверили, что суд — это всерьез. Они сознавали себя частью Системы, которая десятилетиями была не подсудна. И еще нам повезло, что от министерства печати и массовой информации ответчиком был М.А. Федотов. Тихим голосом, ставя точные вопросы, он раздевал истцов догола, и выяснилось, что из огромного перечня обязанностей, которые возлагаются на учредителя, Союз писателей фактически ни одного обязательства не выполнял никогда, а может, и не подозревал, что, кроме прав, у него еще есть и обязанности. И хорошо говорил в суде Ю. Д. Черниченко, он не только прислал заявление, он сам пришел свидетельствовать.

От них выступал сначала один, потом — два, потом — три адвоката. Одному я сказал:

— Неужели Союз писателей никого поумней найти не смог?

Червин, наш адвокат, выговаривал мне за это в коридоре:

— Вы что хотите, чтобы у них действительно был умный адвокат?

Червин — фронтовик. Одна рука у него — своя, живая, вместо другой нечто железное торчит из рукава. И — множество орденских планок на груди. Вот этой железной рукой в самый гололед он лихо водил машину.

Мы отстаивали правое дело, мы действовали по Закону, и тем не менее судье Емышевой на многое нужно было решиться. Это было первое явление Закона о печати на суд, новый Закон и Система во-

шли в противоречие. И вот прозвучало последний раз:

— Встать! Суд идет!

И мы стоим. Обманет меня предчувствие или не обманет? Несколько раз я замечал, казалось мне, и заседатели, и судья вроде бы больше к нам расположены. А это опасно: та сторона, к которой судья не скрывает расположения, обречена, приговор вынесут не в ее пользу, — все видели, судья добр, но закон суров. Я смотрю не на судью, стою, опустив глаза. И вся наша редакция так стоит, пока читают приговор. И вот: «Обсудив все собранные доказательства в их совокупности, судебная коллегия пришла к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат».

Тишина. Долгая пауза. Смысл прочитанного доходит до нас не сразу, и не по словам «в их совокупности», а по лицу нашего адвоката мы поняли: победа. И мы аплодируем суду.

— Ну прямо как дети! — пытается сохранить серьезность судья Емышева.

Был конец декабря, а начиналось все в августе. И все это время мы выпускали журнал, как бы между делом. И думалось: а ведь и страной вот так же занимаются между делом, весь пар уходит в свисток, борются наверху, кто — кого.

Но нам предстоял еще один суд. Зима сменилась весной, весну сменило лето, и вот уже в июне Верховный суд России признал законное — законным, подтвердил нашу правоту. Сбылось то, о чем в одном из своих стихотворений писал, почти что молил Твардовский: «Не стойте только над душой, над ухом не дышите...».

Был ясный, солнечный день. От здания Верховного суда до нашей редакции — рукой подать. Мы шли по улице гурьбой, наверное, шумно шли. По дороге что-то купили, наспех собралось дружное

застолье. И решили на радостях, пусть среди государственных праздников будет и наш собственный: День независимости журнала, 7 июня, нерабочий день.

Десять с лишним месяцев нам «перекрывали кислород», но в конце концов, как полагается в хорошей сказке, добро победило, зло наказано.

Как наказали зло? Как в старой песне с веселым припевом: «Потом его, конечно, разоблачили, и дачу он тогда себе купил...». Зато, как любил говорить Михаил Сергеевич, все мы сидим в одной лодке. Не беда, что гребцы гребут в разные стороны.

Впрочем, и это все, такое еще недавнее, все это — уже прошлое. Новому дню хватает новых забот, довлеет дневи злоба его. Нас оторвало от берега и влечет, а мы не замечаем этого, как не замечают люди вращения Земли.

Редки моменты, когда ощутишь становится неслышный, подспудный ход истории. Мне было двадцать лет, в рассветном сумраке, когда лица солдат кажутся бледными, испытанными, стоял я в окопе. Ждали начала нашей артподготовки, считанные мгновения оставались до нее. И я вдруг почувствовал, что все сдвинулось, движется, и это уже не зависит ни от кого из нас, и этого не остановить. Никто не знал, кому из нас сколько осталось жить, а чувства в такие минуты обостряются. Явственно ощутил я, как вся эта махина из тысяч и тысяч людей и всего вокруг, как будто еще неподвижного, стронулась, движется уже не чьей-то волей, а сама, начав свой ход, неостановимо движется к последней черте. И полыхнет сейчас во тьме за нашими спинами, толкнется в уши и будет грохотать и сверкать, а потом мы выскочим из окопов и побежим по полю, бодря себя криками...

С того берега, от которого оторвало нас ходом истории, странно видеть, наверное, как люди все сражаются, сражаются друг с другом, не замечая, что всех их вместе, будто на льдине, влечет течением в распахнувшееся впереди открытое море, в никому не ведомое будущее.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Примерно так в мае или в начале июня зашел ко мне Владимир Яковлевич Лакшин. Это был 89-й год, мы — в новом помещении, свежем после ремонта, и день, помню, был солнечный. Он сел спиной к свету, я пересел к нему за приставной столик. Обычно не один раз за день то он ко мне зайдет, то я к нему, а самое приятное, когда удавалось, отбросив дела, посидеть, не спеша попить чайку вдвоем или с интересным автором, поговорить ни о чем. Из этого «ни о чем» самое-то главное для журнала потом и рождается. Мысль лучше не торопить, она сама вызревает в свой срок, был бы толчок дан. Но в том, как он вошел в этот раз, тяжелей обычного прихрамывая и опираясь на палку, сел, и лицо его было в тени, и некоторое время как бы в задумчивости потирал залысину крупными пальцами, ото лба вглубь, я почувствовал: разговор предстоит серьезный. И я догадывался о чем. В принципе я даже готов был к этому разговору.

Он сказал, что его избрали членом-корреспондентом Академии педагогических наук, там ему поручено сложное дело, связанное с учебными программами, учебниками, и он уже не сможет столько времени отдавать журналу, а потому... Что ж, я вполне понимал его, нас двоих для одного журнала было уже много. Я был бы рад, если бы он и дальше оставался в «Знамени», я ценил его, и разногласий серьезных у нас не было, хотя, возможно, сам бы он повел дело как-то по-другому. Он был из породы

лидеров. Не случайно захотел он и даже попытался баллотироваться в депутаты Верховного Совета РСФСР, от чего я и на этот раз отказался, но журнал в меру сил помогал ему. А вообще это был уже готовый редактор журнала, он и стал им в дальнейшем, возглавив журнал «Иностранная литература». И, предвидя возможность такого разговора, я держал на примете человека, которого смог бы пригласить: Сергея Ивановича Чупринина. Он работал в «Литгазете», как-то я позвал его в журнал заведовать отделом прозы, он отказался. И как раз на этих днях я прочел его беседу с одним из критиков и подумал: рано ли, поздно ли, а быть ему в «Знамени».

Пройдет несколько лет, и при встрече Сергей Павлович Залыгин скажет мне: у тебя смотри вон какие заместители! Чупринин, Наталья Иванова!.. Между прочим, когда нас с ним решили назначить редакторами, первой мыслью моей было позвать из Костромы Игоря Александровича Дедкова. Но в какой-то момент Залыгин закапризничал: мол, он уже стар, тяжело ему будет, нет, не пойдет он редактором... Я представил себе, кто может оказаться на его месте, наверняка окажется и, от сердца отрывая, сказал: «Зови Дедкова». Он поразился: «А ты?» — «Зови». И он пригласил, и был у них разговор, как мне говорили, двухчасовой разговор, и из кабинета в кабинет уже радостно передавали: к нам Дедков идет... Но разговором все и закончилось. Не пригласил. Не решился. О причинах нетрудно догадаться, но главная, скорей всего, была та, что Дедков сам по себе личность.

Расстались мы с Владимиром Яковлевичем дружески. А в тот раз, выходя из кабинета, он сказал, как бы между прочим, что и с сердцем у него последнее время как-то неважно, было вроде бы даже предынфарктное состояние. Но, повторяю, сказано это было так, словно в оправдание своего ухода. И я,

больше привыкший переносить болезни на ногах, так и воспринял. А это, как время покажет, и было самым главным, куда важней той лестницы, что повела его вверх.

Журнал наш уже прочно стоял на ногах. Возможно, сравнение такое покажется странным, но в жизни писателя и в жизни литературного журнала есть много общего. Значительное произведение создает писателя. Значительное произведение, напечатанное в журнале, создает имя и поле притяжения журналу. Разумеется, книги пишут (я говорю об искусстве) не по расчету, а потому, что «песня зреет», пришел для нее свой срок и час, и весь мир и людей начинаешь видеть и понимать сквозь нее, сквозь эту твою книгу, важней ее для тебя сейчас ничего нет. И пока не напишешь, не освободишься. В дальнейшем имя само работает на тебя.

Вот и «Знамя» вступило в эту пору. Впрочем, это произошло не в 89-м году, когда тираж поднялся до 980 тысяч, а в дальнейшем и до миллиона, это началось раньше. Мы напечатали ряд вещей, которыми можно гордиться. Ни один журнал не взял повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая», отговорки были разные, не говорилось главное: побоялись. У нас, при социализме, тем более — при развитом социализме, не было, как известно, и не могло быть никаких национальных проблем, примерно так же, как, по телевизионному заявлению одной труженицы, у нас не было и нет никакого секса. Наоборот, в пример всему миру национальные проблемы у нас полностью разрешены, сплошное братство и дружба народов, все поют и пляшут. А повесть Приставкина, в значительной мере автобиографическая, что усугубляло дело, поскольку все это не выдуманно, была о детском доме, который во время войны привезли в Чечню, откуда, хватая и старых и малых, стреляя пытавшихся скры-

ваться, войска НКВД выселили чеченцев в то самое время, когда многие их сыны сражались на фронте. Когда речь о детях — русских ли, чеченских ли детях, — все воспринимается больней, а мир, искаженный взрослыми, — в его естественной, первоизданной глубине. Мы сразу взяли эту трагическую вещь, она в дальнейшем стала широко известна, сыграла большую роль и в судьбе автора. Приставкин писал ее о прошлом, о том, что было сорок с лишним лет назад, кто мог подумать тогда, что ей еще суждено стать злободневной?

В страшном сне могло ли присниться, что после трагедии сталинского времени, столько раз официально осужденной с высоких трибун, после безумия афганской войны наши верховные правители «в защиту конституции» решатся бомбить Грозный, на своей земле уничтожить свой народ, начать необъявленную войну, конца которой не видно в обозримом будущем? Решились бы они бомбить, скажем, Ярославль, начать военные действия против Ярославской области? Одним этим многое было сказано и чеченцам, и всему Кавказу.

Я обратился к Президенту страны, это было напечатано на первой полосе «Известий»:

«Россия — великая, сильная страна, она может быть милосердной. Безмерно жаль молодые жизни. Пригласите Дудаева в Москву. Сделайте еще этот шаг. Верю, он будет оценен и понят».

Все еще можно было остановить, решить миром. Но традиция старая, сталинская: человеческая жизнь — ничто.

В Израиле арабские террористы захватили школу. И герой войны, министр обороны Моше Даян решил штурмом освободить детей. Дети были освобождены, но три или четыре ребенка погибли. И народ проклял своего героя, он тут же подал в отставку.

Сколько безногих, безруких, искалеченных детей, и чеченских, и русских, осталось после этой преступной войны! Сколько погибло под бомбами! Общий счет — а у нас счет всегда на тысячи, на десятки тысяч — война унесла свыше ста тысяч человеческих жизней. Собаки растаскивали и грызли трупы убитых наших солдат на улицах Грозного, это показывали по телевидению. Кто-нибудь понес ответственность за все за это? Кто-нибудь подал в отставку?

Но тогда, в 1987 году, мы печатали повесть Приставкина, уверенные, что с прошлым покончено, прошлое не повторится.

В том же номере печаталась повесть Николая Шмелева «Пашков дом». Шмелев в ту пору уже был известный экономист, его статья «Авансы и долги», напечатанная в «Новом мире», наделала много шума. Но повесть он принес нам. Помню, начал я читать и, не отрываясь, прочел до конца. Были у меня две небольшие просьбы к автору, именно просьбы: по части вкуса. Шмелев тогда работал в Институте США и Канады, мне зачем-то нужно было к директору института, к Георгию Арбатову, и вот мы встретились со Шмелевым в коридоре, в лицо я его еще не знал.

— У вас моя повесть лежит. «Пашков дом».

Ах, как мне знакомо это состояние, когда от одного слова душа либо возликует, либо мир рушится. Так вот он какой, Николай Петрович Шмелев, написавший эту повесть, от которой я оторваться не мог: невысок, очки поблескивают, лоб уже распространился туда, где была шевелюра. Да еще вся эта обстановка академического института. Ученый, доктор наук. И при том, что лоб его заметно вспотел, а ведь всего только спросил про повесть, я тем не менее понял, в глазах его увидел за стеклами очков: это человек твердый. И во мне

проснулся редактор, сам удивился, откуда что взялось:

— Да-да... Я прочел. У нас есть несколько соображений...

И на зимнее солнце, сквозь мороз ярко светившее в окна, словно бы туча нашла. Ничего, ничего, все хорошие слова я ему еще скажу, а пока пусть поволнуется, пусть ждет худшего, тогда и на мелочь согласится. Но, помню, он отстаивал до последнего буквально каждое слово. И это никак не испортило наших отношений, наоборот, мы сошлись с ним близко и уважительно.

Расчетливо ли было одновременно печатать две такие вещи, если каждая из них могла стать центром номера, вызвать у читателя то драгоценное чувство, когда мало, что ты прочел, надо еще с кем-то поделиться нечаянной радостью: «Вы не читали? Прочтите непременно!..».

А еще в этом номере мы возвратили из небытия стихи Георгия Иванова. Я приведу два коротких стихотворения, не уверен, что и сегодня многим знакома его поэзия:

*А что такое вдохновенье,
— Так... Неожиданно, слегка
Сияющее дуновенье
Божественного ветерка.
Над кипарисом в сонном парке
Взмахнет крылами Азраил —
И Тютчев пишет без пометки
«Оратор римский говорил...»*

* * *

*За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть отчего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли.*

ЖИЗНЬ, ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

— В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней
По снегу русскому домой.

А еще были там стихи Беллы Ахмадулиной, рассказ Булата Окуджавы «Искусство кройки и житья», один из лучших его рассказов; «Из неопубликованного» Ольги Берггольц, сопровождаемое глубокой статьей В. Лакшина «Стихи и судьбы»; а еще и острая публицистика Ю. Черниченко.

Разумеется, не все номера журнала были такими. Скажу не для сравнения, «Новому миру» А. Твардовского сравнения нет и не будет, но даже и у «Нового мира» тех времен далеко не каждый номер был так насыщен. Произошло главное, о чем мечталось: «Знамя» становилось центром притяжения всего талантливого. Начало было положено, повторяю, романом Александра Бека «Новое назначение».

Как-то случился у меня разговор с Ольгой Васильевной Труновой, на мой взгляд, лучшим редактором «Знамени». «А ведь мы так не выдержим, — сказала она, — давать все время прозу первого ряда... Ее столько не бывает». Я знал, она права, то, что она назвала прозой первого ряда, — это все штучные произведения, они редки, но сказал: «Выдержим». Главным было — утвердиться, давать сейчас лучшее, и следующий, четвертый, номер мы составили по тому же принципу: тут было окончание «Тучки», два рассказа Василия Гроссмана, статья Владимира Шубкина «Бюрократия», которую тут же перевели в Японии, статья Игоря Дедкова «Былое и настоящее». И — стихи Евгения Евтушенко «Из старых и новых тетрадей».

Перед Евтушенко я в какой-то степени был в долгу, и старый этот должок рад был возвернуть, хо-

тя не уверен, что он помнил. Он наделен прекрасной способностью: забывать то, что может как-то испортить настроение, когда речь, разумеется, не о деле. В свое время в Театре на Таганке недолго шел спектакль, если не ошибаюсь, назывался он «Под кожей Статуи Свободы». В основе — поэзия Евгения Евтушенко, но не только его поэзия. Я был на премьере, сижу по окончании несколько смущенный, надо что-то автору сказать. Но подошел Юрий Петрович Любимов: «Пойдите похвалите Евтушенко». Подымаюсь в кабинет, Евтушенко стоит, выше всех ростом, жму ему руку, говорю какие-то слова. И все бы хорошо, похвалам верят охотно, а он их вообще принимал как должное, да дернуло меня еще сказать: «Ах, как это глубоко у тебя:

*Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты».*

Общая немая сцена. Евтушенко отвернулся, будто не слышал, заговорил с кем-то. Каюсь в своем позоре: не знал тогда, что это — Пастернак. Но какой грандиозный образ!

Мысленно обозревая напечатанное в журнале в 1987 году, — а тут был ряд значительных вещей, известных имен, — я для себя по другому счету выделил никому не известного молодого автора Виталия Москаленко. Он принес нам рассказ «Дикий пляж». Все в нем, по видимости, обыденно. Действие происходит на пляже в жаркий день. Замужняя женщина с маленьким сыном. Ее любовник, с которым она удаляется в лес. Брат любовника. И — дурачок, над которым все потешаются, его и подговаривают прыгнуть с моста головой вниз в обмелевшую реку, где под водой скрыты камни. И из всего этого

ЖИЗНЬ, ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

несложного повествования ярко и яростно выступает природа фашизма. Москаленко в ту пору было под тридцать, актер, писал пьесы, которые то ли где-то шли, то ли не шли, — не помню. Мы сидели с ним, разговаривали у меня в кабинете. Вот оно, думалось, племя младое, которое сменит нас. Должна прийти новая литература, молодая, она сама расскажет о своем времени.

Так было уже, так входили в литературу наше и последующее поколения. А всего только открылась тогда форточка, чуть пахнуло весной, и как все ожило: в литературе, в живописи, на сцене... За короткий срок наша литература, наше искусство обошли мир. Но недолги были радости. Помню, дописывал я роман «Июль 41 года», чувствуя: вот-вот захлопнутся и форточка, и двери. И захлопнутся надолго. Успел. Дописал. Напечатали. А в дальнейшем — запрет на целых двенадцать лет. Роман выходил за границы: в Италии, во Франции, в Швеции — во многих странах.

Наверное, Владимир Корнилов не помнит, как вместе с Владимиром Войновичем, еще с кем-то они спустились в буфет Дома литераторов, по-своему историческое место, все стены здесь были расписаны дружескими карикатурами, шаржами: и тех, кто сживал там, и тех, кого уже нет, — вошли, сели к стене, заговорили взволнованно, негромко, голова к голове. Я было хотел пересест к ним со своим бокалом, но то ли на взгляд кого-то из них наткнулся, то ли почувствовал: не надо, не хотят. Я не знал, что этажом выше, в секретариате, у них только что произошел решительный разговор. И сейчас, сидя за этим столиком, возможно, последний раз, они уже отделились ото всех. Но у нас всегда были самые дружеские отношения. Знал бы я, что происходило, не осталось бы у меня некоторой обиды от того раза.

Но, став редактором журнала, я позвонил Корнилову. Он бедствовал многие годы, его совершенно не печатали, как бы исключили из жизни. Я попросил у него стихи, ну, скажем, десять стихотворений. Я помнил давнюю его поэму, такую свежую, молодую, благодарный страстный шепот героини: «Родька, спасибо, Родька, / Ты так всегда меня...». И в прозе, и в поэзии всегда отличишь то, что взято из жизни.

В кабинет ко мне вошел старик: борода, почти вся седая, мерцающие зрачки — признак больной щитовидки, — голос... Вот, говорят, голос не меняется. Нет, это был не его голос.

Наверное, он тщательно отбирал стихи для первой после стольких лет вынужденного молчания публикации. Но, увидев его, я понял: напечатаю все, что бы он ни дал, добьюсь. Одно слово показалось мне не совсем точно найдено, я сказал ему. И вдруг он рукой чуть вздрагивающей махнул все четверостишие крест-накрест. Мы тут же вместе восстановили его.

Стихи были напечатаны, откликнулись многие. Вот — из Армении:

«Ереван 19/2214 з1 25 1210=

Серия Е-52 Москва Тверской бульвар 25
журнал Знамя Бакланову=

Прочла подборку Корнилова Больше чем автора поздравляю Вас нас всех Спасибо=Сильва Капутикян=».

Но, бог ты мой, сколько бездарей приходило ко мне с записками от должностных лиц, предваренные телефонным звонком, уверенные, что после такого ходатайства я непременно сам прочту и все пойдет без задержки. Уж эти-то рукописи я тут же отправлял в отдел. Такой порядок я попытался установить сразу.

ЖИЗНЬ. ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

Вообще порядок нужен во всяком деле, да вот что из этого иной раз получалось: первая и лучшая вещь Кураева «Капитан Дикштейн» была у нас, но не понравилась в отделе, не поняли ее, и ушла в «Новый мир», а я об этом узнал задним числом. Еще того обидней, что ушел из журнала роман Домбровского «Факультет ненужных вещей». Ну, да что теперь вздыхать. И год, и три года спустя, случилось, подойдет ко мне знакомый писатель: «Что же вы, Григорий Яковлевич, уж так Владимир Яковлевич Лакшин хотел напечатать мою вещь, а вы отказали наотрез...». И это обида, которую не прощают, а я про его вещь, как говорится, — ни сном, ни духом. И уж если бы Владимир Яковлевич хотел напечатать, непременно показал бы мне. Но ведь не поверят, в лучшем случае — сделают вид. Главный редактор журнала — крайний, должность такая, грех на него не свалить. Да это-то ладно, обидней всего, когда хорошие вещи уходили из журнала. И случилось — тайком.

Мы печатали в трех номерах воспоминания Е. А. Керсновской. В прошлом — мелкая бессарабская помещица, настолько небогатая, что и пахать самой приходилось, она уже в преклонных годах написала эту книгу. А книга была поразительная: сама судьба автора, память, точнейшие подробности. Тут и предвоенная жизнь, и приход наших войск, освободивших ее от всего, чем жила, что имела; в летнем платьице схватили ее, посадили в битком набитый грузовик. А дальше — Сибирь. Эта женщина совершила невероятное: зимой, в страшный мороз, бежав с лесоповала, она с севера на юг прошла сибирскую тайгу, кормилась бог весть чем. Однажды удалось палкой убить утку. Съела ее сырой. Потом — лагеря. Когда мы печатали эту ее книгу (ее сразу же издали в Германии, еще где-то), Керсновская уже не вставала, жила она далеко от Москвы, мы посылали к ней

редактора. Журнал наш не иллюстрированный, а Керсновская еще и рисовала прекрасно: была рукопись, и была пачка иллюстраций. Мы, конечно, отдали бы их в иллюстрированный журнал, предварительно напечатав воспоминания. И вдруг — номер «Знамени» еще в наборе, а в «Огоньке» неделя за неделей выходят иллюстрации Керсновской, и подписи кратко пересказывают содержание. И мы, открывшие эту вещь, гордившиеся ею, печатаем как бы уже известное читателям, вслед за «Огоньком» — из милости. Я до сих пор не знаю да и знать не хочу побудительные мотивы редактора отдела, которая тогда работала у нас и тайно передала иллюстрации в «Огонек». В наивность я не верю, а случайно такие вещи не делаются.

Прошло полгода после рассказа Москаленко, и Алена Холмогорова, тоже в то время — редактор отдела прозы, говорит как о несбыточном: «Какие хорошие рассказы по почте пришли, но мы их, конечно, не напечатаем». Я взял их у нее. Это были «Афганские рассказы» Олега Ермакова. Прислал из Смоленска.

Олег Ермаков — солдат афганской войны. Однажды мы устроили в редакции прием солдатам и офицерам-афганцам, в большом зале были накрыты столы, ребята рассказывали, беседу с ними мы после напечатали. Запомнился мне молодой капитан на протезе. Говорил он твердо, мыслил твердо, сомнения не коснулись его. Может, и хорошо, что не коснулись. Верный воинской присяге, он выполнял свой долг. Но ребят бросили в преступную войну, которая не была нужна ни им, ни их стране, вполне возможно, она и стала началом развала их родины, а многие последствия ее далеко еще не видны. И что, легче жить с этим сознанием? Все это назовут ошибкой. И то, что он, молодой, красивый парень, вы-

бравший в жизни карьеру офицера, гордившийся своим призванием, теперь инвалид без ноги, — ошибка. И то, что матерям никто не вернет их сыновей, погибших неизвестно за что в чужой стране, — ошибка. Какое-то время они будут держаться своего фронтового братства, жить прошлым, заменяя им настоящее, а потом... Тяжелое впечатление осталось у меня после этой встречи.

И вот рассказы Ермакова. Они должны были быть написаны после всей бесчеловечной, бессовестной официальнойщины, оправдывавшей то, что оправдания не имеет. Написать их мог только человек, пришедший с этой войны. В них было осознание всего этого бедствия, разразившегося неведомо зачем. В их краткости чувствовалось влияние Хемингуэя, но это было свое, пережитое. Рассказы мы тут же поставили в номер, сложными путями (телефона у него не было) вызвали Ермакова из Смоленска. Хотелось посмотреть на него, поговорить, устроить ему праздник, хотелось, чтоб он знал: отныне его здесь ждут.

Через три года он принес нам роман «Знак Зверя». Тоже об афганской войне. Это — лучшее, самое глубокое, что о ней написано. А о чем же еще он мог писать, когда все виденное и пережитое — перед глазами, как день сегодняшний. Думаю, не раз он к этому вернется, о чем бы ни писал.

Этот роман в дальнейшем выдвинули на премию Букера, и к тому дню, когда ее должны были вручать, мало кто сомневался, что получит ее Ермаков. Уже телевидение снимало его, расспрашивало: телевидению положено знать и предвидеть. Но в банкетном зале, где за обедом оглашается решение жюри, я не увидел Ермакова. И вот уже раскрывают конверт, за столиком, рядом со мной вдруг оказалась молодая в то время Нарбикова, откуда-то пересела. Она уже не раз предпринимала усилия быть

выдвинутой на эту премию. Нервно сжимая пальцы, она была в пол под столом каблуком туфли примерно так 39-го или 40-го размера и заклинала, себя не помня: «Только не Ермакову, только не Ермакову!». Он — молодой, она — относительно молодая, дело в общем-то понятное, но я все же поинтересовался: «А что вы так против Ермакова?» — «Он писать не умеет...». Да, зависть — самое искреннее признание. Премию дали не ему.

На другой день в редакции я спросил Ермакова:

— Вас не было в банкетном зале. Почему вы ушли?

— Мне что-то сказало, что мне не надо туда идти.

Хранило ли его на фронте вот это «Мне что-то сказало»? Не берусь гадать. Но с первого шага, когда он, никому не известный, прислал по почте свои рассказы, вел он себя достойно, как полагается вести себя в литературе, где только бездарям тесно, вел, как должно человеку вести себя в жизни.

Если посмотреть оглавления тех лет, мы действительно напечатали ряд значительных вещей. Жанр? Самый различный. Ну, например: антиутопия «Мы» Евгения Замятина, публицистическая статья Юрия Карякина «Стоит ли наступать на грабли?», вызвавшая огромный резонанс в обществе, и «Воспоминания» академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Уверен: остынет время, и книгу Сахарова еще перечитают не раз.

Большим успехом у читателей пользовалась книга Константина Симонова «Глазами человека моего поколения». Он был известен, даже знаменит и у нас, и за границей, но прозу его я читать не мог, это была скорей журналистика. Однако эта книга, я сразу понял, будет иметь читательский успех, а та-

кие вещи журнал должен учитывать. И не видать бы нам ее, если бы не Лазарь Ильич Лазарев: возглавляя комиссию по литературному наследию Симонова, он убедил своих коллег передать ее в «Знамя». Вот ее я прочел, и более всего интересен мне был сам автор.

Помню, шли мы с ним улицей нашего поселка, он вернулся из Средней Азии, куда уезжал после того, как на него прогневался Хрущев. По этому поводу Борис Полевой, с которым мы оказались в одной делегации в Праге, сказал: «Можете мне поверить, я в этом деле лучше разбираюсь, зря он туда поехал. Не надо было ему уезжать. Зря! Только потерял темп». Не берусь судить, кто из них прав. Но вот Симонов вернулся с новой повестью и, рассказывая о ней, сказал поразившую меня вещь: как он шел к самолету и подумал, что несет в руке сейчас сто двадцать тысяч рублей, потому что повесть его будет издана там, там и там, и все вместе это даст сто двадцать тысяч. Это были тогда большие деньги, но не для него, человека весьма состоятельного; тем более поразило меня, что, закончив вещь, он оценил ее в деньгах, посчитал, сколько она даст, и говорил об этом совершенно естественно. И все же не из редких встреч и разговоров, которые случались, а прочтя книгу «Глазами человека моего поколения», я, как мне кажется, понял Симонова. Можно не уметь написать психологию героя, не владеть этим даром, но о себе ты вольно или невольно рассказываешь и то, что, может быть, не хотел бы рассказать. Конечно, это были не глаза поколения, это увидено глазами человека, приближенного Сталиным, испытывавшего и страх, и сладость быть приближенным. А ему казалось, что он рассказывает о Сталине такое, что при своей жизни напечатать не решался, не мечтал и оставлял в столе как завещание.

Однако мы печатали и то, чему суждена была совсем недолгая жизнь. По ошибке? Нет, сознательно. Это не значит, что мы не ошибались. Ошибались. Не раз. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но в памяти у меня был опыт войны. Перечитайте публицистику тех лет. Очень немного сохранило свое значение настолько, чтобы сегодня это было интересно прочесть. «...Умри мой стих, / Умри, как рядовой...». И злободневное умирало, но оно помогло победить. Вот и теперь оно должно было помочь победить.

А время было странное: всеобщая эйфория и всеобщая, все возрастающая неуверенность, тревога. Великое дело начиналось, как мы теперь видим, на авось. Сели, сохраняя ранг и чин (тут тоже свои сложности: как бы кто кого не пересел поближе к главному, с древнейших времен это у нас ведется), но все же сели, разобрались, главный взял в руки вожи шелковые: «Н-но!...». И покатили славно. А как тряхнуло на первом ухабе, тут-то и оказалось, что и думают врозь и что делать толком не знают. Главным представлялось стронуть приржавевший маховик, раскрутить его, а дальше пойдет, само пойдет... Но у жизни — своя логика, и она сильнее логики людей, убежденных, несомненно, что они прочерчивают пути в истории, движут и направляют.

Да, в жизни отдельных людей и даже миллионов эти люди бывают всевластны, к несчастью, это так. Но много ли дел в нашем XX веке завершилось, как было предначертано? Ни одно! А вот какой-то незапланированный Норберт Винер (тысячи таких уморено в гитлеровских, в сталинских лагерях, вспомним хотя бы нашего Вавилова, а юные гении, которые и слова своего сказать не успели, им вообще несть числа), вот этот самый Норберт Винер, отец кибернетики, хотя создатель ее не он один, «лженауки», как нас учили, они изменили ли-

цо мира, а как оно изменится в дальнейшем, к чему все это приведет — неведомо, и нет таких, кто на грани века уходящего и нового века, который скоро воссияет над горизонтом, могли бы уверенно предсказать будущее. И, при всех блестящих успехах науки, не ждет ли мир новое одичание? А уж невежество, предрассудки, пережившие столько веков, можно не сомневаться, переживут и следующее столетие. Пока что при свете разума они сгустились еще мрачней.

Осознать свой век, самих себя, кто мы, когда, где сбились с пути, что ждет нас всех, что с нами происходит, осознать и в публицистике, и в критике, и в поэзии, а главное — в прозе, вот это с самого начала было одной из главных задач журнала. Но странное дело: вроде бы упала завеса с глаз, раскрывались многие тайны, о происходящем ныне пишут довольно свободно, а вот те вещи, которые были раньше запрещены, их напечатать — каждый раз как на стену каменную натыкаешься. Странно? Ничего странного. Вроде бы и горячо, и злободневно то, что на глазах пеклось, подавалось газетами с пылу, с жару, но мысль не минутную, мысль современную, глубокую, охватывающую и вчера, и сегодня, провидящую завтрашние беды, содержали в себе те книги, что создавались под прессом, отстоялись за эти годы и уже не подвластны веяниям. Понимали ли это наши запретители? Вряд ли. Но нюх, инстинкт, чувство самосохранения вполне заменяли им ясное понимание.

Помню, на приеме в американском посольстве, верней, в «Спасо-хаузе», где и происходили обширные приемы, в шумном круговращении разных языков людей, стоял одиноко у белой колонны Георгий Владимов, заложа руки за спину и придавив их собой. К нему подходили, разговаривали мимолетно, отходили. Он был еще здесь, в Москве, но

уже и не здесь. Как после он сам напишет, перед ним поставлен был выбор: или уехать из страны, или — лагеря, то есть медленная смерть: он только-только перенес инфаркт. Вот таким он долго оставался у меня в памяти. У нас не было с ним никогда особо близких отношений, но он написал одну из лучших книг в нашей литературе: «Верный Руслан». И хоть сказано было грозно: «Хватит нам собачатины!» — я знал, эту книгу я напечатаю.

Классика неприкосновенна, она уже как бы расставлена на полке рукой всевышнего, и не властная воля людей, а время дополняет этот ряд. Но для меня было несомненно, что книга Владимирова, имевшая подзаголовок «История караульной собаки», — в том ряду, который начат бессмертным «Холстомером» Толстого, где «Изумруд» Куприна.

День, когда привезли из типографии сигнальный номер журнала и я взял его в руки, и раскрыл — Георгий Владимов. Верный Руслан, — этот день для меня и для нас для всех был праздничным. Мы сделали то, что обязаны были сделать.

Гласности, главному достижению так называемой перестройки, еще и двух лет не исполнилось, когда по ней был нанесен первый удар: ввели лимит на подписку. В сущности, это было не так уж нелогично. Бюджет страны, подорванный сначала антиалкогольной кампанией, потом всеми остальными безграмотными действиями, трещал, полки магазинов пустели, ясной стратегии в экономике пока что не прорисовывалось, и обещания оставались обещаниями.

Мы вступили в войну без полководцев. Жуков, Василевский да еще выпущенные из лагерей на свободу Рокоссовский, Мерецков... Сорок три тысячи офицеров, генералов и адмиралов было арестовано, посажено в лагеря, расстреляно. Армия была

обезглавлена, наши полководцы учились воевать и вырастали на войне, за это заплачено солдатскими жизнями, счет которым бог весть.

Вот так, в ходе самой перестройки, учились и вырастали наши экономисты, и это — одна из причин, почему все идет так трудно и бедственно для народа. Тут-то и пригодился старый испытанный опыт: а зачем, собственно говоря, народу все знать? Критика хороша, когда ты критикуешь, но ты и даешь. А дать-то было нечего, жизненный уровень потихоньку снижался, самое время вернуть цензуру. Но — нельзя! Мы столько вешали миру, какие отныне мы есть да какими еще станем... И решили по-тихому: ограничить подписку. Мол, бумаги не хватает, типографии не справляются...

Помните, не стало вдруг в Москве яиц. Про другие города я уж не говорю, но Москва всегда являла собой некую витрину для иностранцев. А тут даже яиц не стало. Что такое приключилось? Оказалось — это же придумать надо! — у подмосковных кур открылся понос, и куры самым нахальным образом перестали нестись. Так объяснили по телевизору, так напечатали в газетах. Не знаю точно, у кого в высших сферах открылся понос от гласности, как у кур от перестройки, но вдруг стали вводить лимит на подписку.

Однако люди уже вдохнули глоток свободы, не прошли зря два года духовного подъема, небывалых надежд. Письма протеста хлынули во многие редакции и инстанции, я их не читал, но я прочел сотни писем, пришедших к нам, в «Знамя». Мы потом напечатали отрывки из них, пусть власть прочтет, что люди думают о ней, как видится этот трусливый шаг. Не благ, не хлеба насущного лишали, отнять хотели духовный хлеб, и вот что он значил для людей в ту пору:

«Народ опять сочли за болванчиков... Неловко, конечно, говорить от имени народа, но если я — не народ, мои друзья — не народ, страждущие возле агентства «Союзпечать» — не народ, мои сослуживцы — не народ, то кто же народ? И кто решает, что ему можно читать, а что нет?

А. Л. Иванов, Ставрополь».

«На нашем предприятии выделен лишь один экземпляр «Знамени» на 800 сотрудников.

Карпова Н. Н., Москва».

«На 7000 человек нашего завода имени Петрова ПО «Волгограднефтемаш» не дали ни одного номера «Знамени»!

Инженеры завода» (19 подписей).

«На 13 кафедр и 2 лаборатории плюс деканат юридического факультета МГУ выделено всего 7 подписок на «Знамя».

К. Новицкая».

«Сам я работаю механизатором в совхозе. В этом году наша семья была единственным подписчиком в нашем почтовом отделении. И вот теперь лимит. Каждый дефицит прежде всего обращается на нас, рабочих. У нас только нет лимита на грязь, которую видим, работая на тракторе. Узнав, что в 1989 году «Знамя» будет печатать интересные материалы, нас взяли и отбросили.

Кувшинов В. А., Дмитровский район Московской области».

«Только на нашей маленькой улице Тельмана, где всего пять домиков, журнал выписывают пять человек... Сахар по талонам, маслом не торгуют

жизнь, подаренная дважды

у нас уже 17 лет, а теперь и гласность будет по талонам?

Клюкас А. Г., деревня Сенгилей Ульяновской обл.».

«Я инвалид 1-й группы, лежу без движения уже несколько лет и нахожусь на длительном лечении в больнице, куда и выписываю «Знамя». Читают его и все больные, находящиеся на лечении, а теперь даже в этой малости мне отказали.

Саяпина М. С., Пензенская обл., ст. Чаадаевка,

туберкулезная больница, дача номер один».

«Одна была радость — «Знамя», и ту отняли. Мы живем, ничего не видим, по телевизору показывают только третью московскую программу... Будем теперь сидеть, как медведи в берлогах. Извините за писанину. Не могу совершенно успокоиться.

Николаева К. И., Белово Кемеровской области».

«На весь Владимир с населением 350 тысяч человек выделено 127 подписок на «Знамя»! На заводе, где работает муж, подписок хватило только на администрацию.

Алеева А. А., Владимир».

«На Запорожский электроламповый завод дали всего два номера «Знамени»!

Семья Задорожных. Запорожье».

«Мы столько говорим и пишем о помощи старикам и об уважении к ним. Так проявите его на деле, подпишите, пожалуйста, на «Знамя». Может быть, это мой последний год, ведь я ровесница века.

Гарбер М. П., Иваново».

«Нам с мужем чуть больше тридцати, мы представители поколения, обделенного правдой, поэтому читаем взахлеб «Знамя» и сохраняем все журналы для подрастающих детей.

Супруги Борец, Ухта».

«Я работаю в школе, филолог... Согласитесь, что жить в селе, преподавать литературу и быть ограниченной в возможности познакомиться с публикациями «Знамени» — положение далеко не нормальное.

В. П. Головатенко, поселок Вулканешты, Молдавская ССР».

«Меняю квартальную норму сахара на годовую подписку «Знамени».

Киев, Трегуб».

«Мне не надо тряпок, не надо журнала «Бурда Моден», я насчет этого спокойна. Но отказаться от «Знамени»... Обидно! Долгие годы сидели, как в конуре, не высывая голов, мало чем интересуясь, и только-только потянулись к своей истории, экономике, экологии, к судьбе Родины, а тут...

В. Трефилова, Новокузнецк».

«Живу одна с детьми и целый год собираю по крохам на подписку. Я лишена многих жизненных благ, у меня нет связей и средств, но книги и журналы для меня святое. И вот теперь я этого счастья лишилась. Что делать? Бегать по библиотекам я не могу, дети малые, а на дом не выписать. Добывать «блат» ценой унижений — не для меня.

Н. Смирнова, Львов».

«Введение лимитов на журналы сродни наморднику на гласность.

Колодиев А. Ф., Москва».

Всесоюзный центр общественного мнения провел опрос. И вот что говорилось в нем, в частности: «В этом году трудности подписки затронули практически все издания (5 процентов не смогли так или иначе подписаться даже на «Правду»)... Однако максимум недовольства связан не с этими изданиями, а со сравнительно небольшим числом журналов и газет, вышедших на передовые рубежи общественного интереса... Именно эти издания поставлены под удар введением лимитов... На «Огонек» не смогли подписаться 73,1 процента желающих, на «Знамя» — 61,7 процента, на «Новый мир» — 55,2 процента, на «Дружбу народов» — 51 процент».

Не помню, у кого это сказано про занятую женщину: если бы господь бог вошел вдруг к ней, она бы не поразилась, а сказала: «Господи, как хорошо, что ты пришел! Пойди посмотри на кухне, не сбежал ли у меня кофе?..». В те дни мы были подобны ей. И все же сознавали, это — миг счастья: жив народ, если для него так много значит хлеб духовный. И народ не позволил тогда не посчитаться с его мнением.

Было это еще на Тверском бульваре, заезжает среди дня недавний наш сосед, бывший ректор Литературного института Егоров Владимир Константинович, а в то время — работник ЦК. Разговариваем, пьем чай, и вдруг он спрашивает:

— Как вы думаете, если установить такой предел: главный редактор журнала работает десять лет? Не больше.

— Максимум — пять!

Мне и пять-то казалось много. Думалось: вот налажу дело и года через три передам журнал Лакшину.

Никогда бы не поверил в то время, что придется мне семь лет жизни отдать журналу. Выдержали мы и давление цензуры, и чем трудней проходила вещь, тем радостней было, когда напечатаем. И гордость появлялась за журнал, неведомая мне прежде.

Выдержали мы два суда — Московский городской и Верховный суд России, — когда решили избавиться от опеки Союза писателей. Но и в это время я все же пытался писать. Бывало, встанешь пораньше, пройдешься по саду, сядешь за стол — хорошо! И вдруг вспомнил: а вот эти документы еще представить бы в суд... И пошли-поехали мысли в другую сторону.

И все же... Все же это были хорошие годы: и работалось с азартом, и было ради чего. А какую литературу печатали! И писем в журнал шло столько, что один учетчик не справлялся. Журнал прибыльный, подписчиков — миллион, еще и библиотечку издаем знаменскую. О чем, казалось бы, беспокоиться? И вдруг цены понеслись вверх. Бумага, типография, доставка почтой — все стало непредсказуемо. И такое хищничество проснулось в людях! Не заработать (заработать надо уметь), а сорвать с ближнего. А нам брать не с кого. Подписчик уплатил за год вперед и знать ничего не хочет. И прав. Сойдемся, бывало, у меня в кабинете — Чупринин, Наталья Иванова, Гербачевский (тогда еще у редактора было три зама) да Евгения Александровна Кацева, надежнейший ответственный секретарь, — и вот примемся считать да «умом раскидывать». Но куда ни кинь, все — клин. Назначить цену за журнал повыше — читателей потерять. Самых неимущих. Не подымать цену — деньги откуда возьмутся? И до

каждого в редакции дошла тревога: зарплату нам никто не платит, сами от себя зависим.

Сейчас смешно вспомнить, как решали мы, собравшись: два с полтиной поставить цену за номер или сразу на три рубля отважиться? Отважились. А месяцев через пять выпустить номер журнала стоило уже полторы тысячи, а читатель получал его все за те же три рубля. Трамвайный билет стоил дороже. Но ничего не поделаешь, мы перед подписчиками на год вперед взяли обязательство.

Умилил меня в эту пору телефонный звонок. Дама — если по голосу внешность представить — холеная, в годах, но живости не утратила. Удостоверившись, что говорит именно с главным редактором, мягко попеняла мне, что на обложке такого-то журнала стоит цена ниже нашей, как же, мол, вы? И не без игривости: раз уж взялись за гуж...

Что ты ей объяснишь? Да и зачем объяснять?

— А вы берите, как колбасу в магазине: по своим возможностям.

Обиделась:

— Слишком амбициозно...

Но стали приходить письма с вложенными в них деньгами. Не так уж много было этих писем, и деньги невеликие, но не дорог подарок, дорога, как говорится, любовь: в трудный час читатели сами захотели помочь журналу.

Почему-то я не сомневался, что с бедой справимся, не знаю, откуда у меня эта уверенность бралась. Вот только ночью проснешься другой раз, подумаешь, и сон как рукой сняло. И пожалеешь, что бросил курить.

Первым помог нам академик Владимир Александрович Тихонов, ныне покойный. На приеме в Чехословацком посольстве, тогда еще — Чехословацком, он сам подошел ко мне:

— А я ваш давний читатель.

Слово за слово и — «А как в журнале дела?». Пили мы оба пиво, пивичко, а под такой разговор надо бы что-нибудь покрепче. Он — экономист, ему и без моих объяснений все понятно.

— А вот сведу я вас, пожалуй, с Боровым. Не знакомы?

Боровой Константин Натанович возглавлял тогда РТСБ: Российскую товарно-сырьевую биржу, самую мощную. Мы встретились у меня на даче. И появилась на уголке журнала, на обложке, маленькая ленточка, в середине — знак РТСБ. Вряд ли биржа так уж нуждалась в нашей рекламе, но мы за эту крошечную ленточку получили большие деньги. Сразу. И на какое-то время нас это спасло.

Однако что-то надо было решать в принципе. Повторяю, была у меня странная уверенность: «Знамени» помогут. Но не побираться же от случая к случаю. Каковы они, законы нарождавшегося рынка, мы понятия не имели, но уже звучало уверенно: ничего, ничего, слабые вымрут, уступят место сильным... Ну примерно как у Иудушки Головлева в сладостных его мечтах: вот если бы у соседа все коровы пали, а мои коровы стали бы давать молока вдвое... Но речь о культуре. Что радости, если выживут один-два журнала? Слезы горькие.

Собрались мы вчетвером в «Дружбе народов». Журнал этот тогда возглавлял Руденко-Десняк. Итак — Ананьев, Залыгин, Руденко-Десняк и я. Пожаловались друг другу в меру сил. Однако был у меня план, который я предложил на пробу: помогать сейчас надо в первую очередь библиотекам. Почему библиотекам? Да потому, что цены растут непредсказуемо, наши читатели — не миллионеры, большинство из них вскоре на журналы подписаться не смогут. И у библиотек денег на подписку не будет. Вот поэтому надо как-то организовать помощь библиотекам. И сразу три проблемы решим:

читатели, особенно — нищие наши интеллигенты, смогут хоть в библиотеке прочесть журнал. Соответственно и тиражи журналов не так резко упадут. И писателям будет где печататься. Молодых, неизвестных какой частный издатель решится издать себе в убыток? А толстые литературные журналы всегда открывали новые имена, с их страниц входили в литературу.

Честно говоря, большого энтузиазма мое предложение не вызвало. Прошло время, молчат редакторы. Решили выживать поодиночке? Ну что ж, бог им судья.

И вот однажды ужинаем мы в фонде с Джорджем Соросом. В свое время, когда он создавал свой фонд «Культурная инициатива», нас познакомила переводчица Нина Буйс, она переводила мою повесть «Навеки — девятнадцатилетние» для американского издательства. Сорос пригласил меня стать членом правления фонда. Он знал, что я отказался быть депутатом Верховного Совета, если не ошибаюсь, в том, первом, правлении я один только был не депутат. Знал он, что со временем я собираюсь оставить журнал, такой разговор у нас с ним был.

— Вам будет скучно, — сказал он, — вы лучше сделайте так: неделю не появляйтесь в журнале, пишите, за эту неделю соскучитесь, и вам захочется в журнал.

Но то было в хорошую пору, а как мог я оставить журнал сейчас? Это, помимо всего, и судьбы людей, с которыми я работал. И вот, поскольку фонд наш — «Культурная инициатива», я рассказал ему свой план.

— Пока что я плана не вижу, — сказал Джордж Сорос.

Ну что ж, он не видит, значит, надо попробовать доказать. Я попросил знакомую мою, замести-

теля директора Ленинской библиотеки Морозову, посоветовать мне четырех человек. Фонд заключил с ними трудовое соглашение, дал технику, и в двадцать пять тысяч библиотек России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Прибалтики направили мы список из восьми толстых литературно-художественных журналов. Условия были простые: библиотека может выбрать любые три журнала из списка, подписывается на месяц, а пять месяцев получает бесплатно. Но и те деньги, которые библиотека платит, пойдут не фонду, а на доставку от коллектора до места. Распространять решили через коллекторы: «Роспечать» уже просто грабила подписчиков. Интересно, что ни одна библиотека не подписалась на три журнала. Подписывались, как бы не поняв, сразу на все восемь.

Двадцать пять тысяч библиотек от Камчатки до Калининграда, адреса каждой... Вспомнить страшно: это эти разграфленные листы, да не листы — простыни. Потом работал экономист. Составлялся бизнес-план. И вот этот бизнес-план в следующий приезд Джорджа Сороса в Москву я представил ему.

— Вот теперь вижу.

И ассигновал миллион долларов на эту программу. Ему ни с кем ничего не надо было согласовывать, он давал свои деньги. Еще через год в гостинице «Балчуг», где собрались члены Наблюдательного совета, он попросил меня рассказать, как осуществляется программа. Итог был такой:

— Вот на это мне и трех миллионов не жалко.

И мы поддерживали уже девятнадцать журналов.

Наверное, не мне одному трезвые мысли иногда приходят ночью. Проснешься вдруг, будто

не спал, тихо, голова ясная. Так было и в тот раз. Еще днем продумывал я, какие перемены надо произвести в журнале да сколько сил, времени на это уйдет... А ночью, проснувшись, сам себе поразился: что я, с ума сошел? Зачем мне это нужно?

И тоже была осень, луна светила сквозь шторы в окне. Только тогда я ходил по саду, и жаль мне было бросать журнал, и все равно решил: уйду. Семь лет минуло с тех пор. Семь лет жизни. Нет, я ни о чем не жалел. Были годы, особенно первые годы перемен в стране, когда журналы становились властителями дум, и «Знамя» среди них был не последним, нет, далеко не последним. Я знал это, я читал это в письмах — ах, какие письма шли, исповеди! — и убеждался: что ж, это — дело жизни. А чем я занят теперь? Отчет коммерческого директора, бухгалтерия, бумага, префектура требует покрасить фасад, типография прислала новые расценки... И ради этого бросить писать? Что, мне другую жизнь дадут?

А печатаем что? Что другие журналы печатают? Событие в литературе — вообще редкость. Приятно, конечно, утешаться, что тебя поймут через столетие, но чаще современники все же оказываются способны оценить событие. Их в последние годы не было. «Знамя» представило на своих страницах несколько талантливых вещей новой литературы, по мере возможности представляло разные стили, жанры, направления. Пусть читатель сам видит, сам оценивает: модернизм, постмодернизм, постпостмодернизм, конструктивизм — что еще не назвал? Но иной раз читаешь — и мысль грешная: ты ведь знаменит был. По слухам. Но вот, пожалуйста, тебя печатают, люди прочли, кто смог одолеть. Почему ты не захотел остаться знаменитым?

Так случилось, что я никогда не служил. Я не служил в армии, хотя в школе нас сильно уговаривали идти в военные училища. Началась Оте-

чественная война, я пошел на фронт рядовым. И это было делом моей жизни, быть может, самым значительным делом, хоть там я был — один из многих миллионов. В 1943 году (не в самом страшном 41-м, когда судьба страны висела на волоске), в 43-м, это был год побед, мы разгромили немцев под Сталинградом, на Курской дуге, так вот, в 43-м году мы потеряли убитыми и ранеными три с лишним миллиона человек, вдвое больше, чем немцы и их союзники. В этом году меня тяжело ранило под Запорожьем. Шесть месяцев в госпитале. Меня штопали, резали, снова зашивали и выпустили из госпиталя не годным в строй. Но я все-таки вернулся в свой полк, в свою батарею, и прошел с ней до конца войны. Между прочим, присяги я не принимал: на фронт пошел добровольцем, никто присяги с меня не потребовал, а в училище попал уже с фронта. Но это как-то не мешало воевать. И всю мою жизнь после войны я писал книги, хорошо зная, что мои книги за меня никто не напишет. А сейчас я служил. Я не мог оставить журнал, пока он был в тяжелом положении. Но теперь у него неплохое имя, финансово он окреп.

Я написал обращение к читателям: надо было попрощаться. Но печатать его мы решили в декабрьском номере, потому что подписка еще шла. И, выступая по телевизору, я тоже не сказал, что оставляю журнал.

И ушел — вновь заниматься делом моей жизни.

Ну а что же те семь лет, журнал, с которым столько связано, это все как отрезал? Я знал, отныне журнал будет постепенно становиться другим и тем, кто делает его, не надо давать советов. Материально, через фонд Сороса, поддерживать его бу-

ду, пока это в моих возможностях. Но и только. Я бы ведь тоже не хотел, чтобы кто-то стоял у меня над душой.

Еще в бытность мою редактором некий автор, ранее известный «в узком кругу ограниченных лиц», а теперь получивший широкую рекламу, принес нам рассказ. Содержание такое: на первом или втором этаже многоэтажного дома юноша, один в комнате, занимается онанизмом. И на шестом или восьмом этаже этого дома юное создание другого пола, уединясь, занимается тем же самым. И завершают они одновременно. Написал это и желал напечатать человек примерно лет шестидесяти, широко прославляемый в ту пору. Боязнь ли прослыть ретроgrадами в эпоху вседозволенности сподвигла моих коллег обсуждать это, сказать не берусь. Печатать, разумеется, не стали.

Не помню, как в древности назывался этот город и чьи войска осаждали его много веков назад. Но сопротивлялся он мужественно и был взят неприятелем, когда многие воины его были перебиты. Ждали казней, грабежей, насилия. Но неприятель не стал мстить. Он открыл в городе увеселительные заведения, и постепенно город предался веселью и разврату, и вскоре воины перестали быть воинами, они уже не способны были взять в руки оружие. Неприятель не истребил, он растлил жителей, и они уже были не опасны ему.

В Канаде, если не ошибаюсь — в Монреале, я видел примерно то же, но проделанное на мышах; в музее это было выставлено на всеобщее обозрение. В первом отсеке — только что отловленные мыши, живые, быстрые, привыкшие сами добывать себе пищу. Но еды, питья поставлено было им вволю: ешьте, пейте, совокупляйтесь. И постепенно, отсек за отсеком, можно было видеть вырождение мышей. В последнем ползали уроды. Ни бегать, ни ходить,

ни добывать себе пищу они уже не могли, они ползали.

После многих лет официального ханжества, что не мешало власти имущим иметь тайные дома свиданий и проч., и проч., вдруг — воля. Словно распахнулись лагерные ворота и хлынули оттуда, сами себе не веря, но опьяненные вседозволенностью: крой, Ванька, плетки нет и бога нет. Прокормить себя до сих пор еще не в состоянии, но по части вседозволенности обогнали всех, в том числе и Америку. Такое вдруг хлынуло с телеэкранов, с обложек книг, с эстрады! Очень просто объяснил мне это один из наших телемагнатов. Нам предстояла беседа в эфире, уже загримированный, он сидел на подоконнике, меня прихорашивала гримерша.

— Вот вы говорите — «пошло». А что значит «пошло»? Пошло! Пошло-о! Народ требует этого, хочет видеть. Готов платить деньги!

Я ничего не говорил: гримерша как раз действовала пуховкой, и я сидел не дыша.

Однако вскоре и так называемые толстые журналы, смысл существования их совсем в другом, гляжу, тоже поспешают не отстать. В том числе — «Знамя», которое и на отдалении было мне дорого. Поговорив предварительно с редколлегией, я написал и напечатал в «Литературной газете» статью.

ПОДТАНЦОВКА

Вечером включаю телевизор наугад. Знакомое лицо режиссера. Говорит об эротике в кино. Мол, она была всегда, но то, что раньше шокировало, теперь выглядит невинно. Сцена из старого фильма. Опять говорит режиссер. Я убрал звук. Видеть лицо, мимику, жесты, не слыша голоса, иногда очень интересно. Глаза режиссера были хороши. В них — мысль и страсть и глубокая озабоченность. Чем же? Я вновь включил звук. Режиссер рассказывал, с какими

трудностями снимал он сцену то ли совокупления, то ли изнасилования: на начало рассказа я не попал. Актриса сразу согласилась раздеться. Но актер — вот уж не ожидали! — в последний момент вцепился в свои черные трусы и ни за что не хотел снимать их. Под простыней — да, а так, при всех — нет. Но с ним работали, и в третьем дубле «чуть не произошло самое непоправимое», сказал режиссер с той же глубокой тревогой мыслителя во взгляде.

«Чуть не произошло» надо понимать так: привели двух взрослых людей изобразить случку. Она сразу согласилась сыграть эту роль, а он в последний момент вцепился в свои жалкие трусишки. И тогда общими силами стали принародно лишать его стыда, который дан от природы. Удалось, лишили. И на съемочной площадке чуть не произошло то, что свободно на улицах совершают наши четвероногие братья на радость мальчишкам, которые при этом с палками гоняются за ними. Но, может, так нужно для искусства?

В Америке, в Лос-Анджелесе, видел я в одном из крупнейших банков фотографию льва под стеклом. Когда этот банк был построен и состоялось торжественное открытие, льва (тем он отныне и знаменит!) первым запустили в помещение, как у нас в новый дом или в новую квартиру первой пускают кошку. Впрочем, теперь все больше освящают, окропляют: и закладку камня, и крест, который вознесут, и купленный автомобиль.

Современная наша критика так радостно освящает, окропляет все то, что «чуть не произошло» или произошло, такая вокруг этого идет подтанцовка, что жить радостно. На сцене подтанцовка знает свое место и задачи, план ее — второй. В литературе, работая острыми локтями, она давно уже вырвалась вперед. Касается это не только критики, речь о ней впереди.

Вот простенький рассказ. Собачка. Хозяин собачки. Все мило-хорошо. Однако — весна, собачка подросла, стала отлучаться по ночам, «трахнули» собачку, так значится в тексте. Дальше — больше: «стала приходиться в грязных трусиках». Изящно сказано. Однако хозяин, человек жестокосердный, посадил ее в машину, куда-то завез да и выпустил. Нехорошо. Тем более нехорошо — глубокая эта мысль проходит через весь рассказ, — что сами-то люди себе позволяют это при всяком удобном случае, хоть та же жена хозяина, а с собакой вон как поступили. Дотянулась из прошлого столетия добрая рука старушки Чарской, только слова некоторые заскочили из нынешних времен: «трахнули», «говно». Чарская таких слов не употребляла.

Скромностью своей наводит на размышления подзаголовок: «Рассказ конца века». Что бы это могло означать, тем более что конец века — он же и конец тысячелетия? Не иначе, тут зашифровано что-то значительное, ну, например: после двух мировых войн, после ГУЛАГа, освенцимов, атомной бомбы, сброшенной на людей, XX век докатился до последней низости — собачку не пожалел. А может, имелась в виду литература: мол, не старайтесь, до конца века, то бишь — тысячелетия, ничего уже лучше не написать вам. Был же в Доме творчества случай, когда поэт, написав стихотворение, вышел к обеду и объявил народу: сегодня я закрыл тему любви. Впрочем, еще задолго до нас сказано: снес я яйцо, курица кудахчет так, как будто снесла шар земной. Так, может, не искать смысла там, где его нет? Есть подтанцовка и есть литература. Просьба не путать одно с другим.

Повесть Георгия Владимова «Верный Руслан» — тоже о собаке. Но эта история собаки, написанная в лучших традициях русской литературы, вместила трагедию народа. Правда, новейшими

изысканиями критика В. Новикова удалось установить, что автор по наивности считал свое произведение реалистическим, оно же, как выяснилось, — модернистское. «Но кто станет отрицать, — пишет В. Новиков, — что «Верный Руслан» — произведение модернистское без какого бы то ни было обидного оттенка значения?». Да никто. Раз обнаружена недееспособность и недостаточность личного состава модернистов, постмодернистов и прочее, объявляется срочный набор. И В. Новиков действует решительно, как воинский начальник: годен? не годен? в строй! Туда же и «Изумруд» Куприна, и «Холстомер» Толстого, явные модернисты, от них ведет свою родословную «Верный Руслан». Но интересно, как само слово не дает соврать: ратуя за модернизм, вроде бы повышает его в ранге, и тут же проговаривается: «Без какого бы то ни было обидного оттенка значения».

Однако на этом мобилизация не кончается. «...Ждет своего исследования, — продолжает В. Новиков, — тема «Солженицын и модернизм»: во всяком случае, «Архипелаг ГУЛАГ» — это субъективная эпопея, невыносимая в допрустовскую эпоху». Понятно, невыносимая: в допрустовскую эпоху еще и ГУЛАГа не было. Так что интересные новые исследования ждут нас.

Но к достоинствам В. Новикова надо отнести хотя бы то, что даже и не вполне понятное самому себе он все же пишет понятными словами. А то ведь редкая критическая статья обходится у нас без «пейоративных суждений», «парадигмы», «дискурса», «медитирования», «мейнстрима», а уж «римейк», так без него русского языка просто не стало. Или вот такая простенько выраженная мысль: «Всякий дискурс тоталитарен, всякое письмо магично, всякое высказывание фундируется каким-либо абсолютом, и все попытки выпутаться из тоталитарно-

сти обречены...». Вы, конечно, все поняли? Я так и думал.

Критика — дело серьезное, ученое. Это Пастернак мог позволить себе писать:

*В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту...*

Но он был поэт и романист, какой с него спрос?

«В ЖИВОПИСНОМ СОСТОЯНИИ»

Живой интерес публики вызывают книги, основанные на собственном опыте, например «Записки дрянной девчонки». Что тут правда, что вранье — не суть важно. Главное, как сказала одна читательница, «все показано в живописном состоянии».

Ну, а у кого нет столь богатого опыта, те пишут книги грез. И в грезах своих оказываются куда смелее профессионалок. Не зря еще в прошлом веке было отмечено: если обнародовать мысли самой благовоспитанной дамы, разразится общественный скандал. Наивный XIX век! Обнародовали. Не разразился. Изделие называлось «Строгая дама». И обслуживала эта дама клиентов у себя на дому, а также выезжала по вызовам. Но клиенты ее — особого рода: извращенцы. В голом виде она их порет и проделывает еще кое-какие манипуляции, о которых говорить не хочется, и вот таким способом они получают полное удовлетворение. Возможно, профессионалки найдут какие-то неточности, смеялись же путаны, когда в одном из первых наших фильмов, посвященных нелегкому их труду, гигантом секса представлен японец: «Мы их зайчиками зовем!». Но вообще технология описана подробно, возможно, все-таки не с чужих слов. Вот закончена

процедура, клиент ушел, и она «...схватила простынку за четыре угла, соединила их в щепотку и на вытянутой руке понесла... смысла скользкую горку сильной струей горячей воды». Это по части технологии. Что касается самого текста... Как-то Булат Окуджава неплохо сказал о текстах современных песен: «текст слов». Да и что скажешь о таком вот припеве: «Теперь ты больше не моя, / Жить одному, конечно, проще, / Теперь ты больше не моя, / Тебя zapomню я на ощупь...».

Вот и прозаические эти грезы, весь «текст слов» запоминаются скорей «на ощупь». Зачем писалось? Позволено. То есть каждый решает сам, что пристойно, что непристойно, до какой степени можно заголять душу и тело. Это полагается решать именно самому. А раз самому (самой!), чего не прославиться? И мужу приятно. Помните, актриса сразу разделась, а актер вцепился в свои трусы и не соглашался снимать их принародно. Но с ним работали... Работают и с авторами, которые еще не осознали. И тут появляются теоретики и даже создана «теория голизны», которая строго предупреждает: «А разговоры о том, что автор ищет в запретных темах собственной славы и выгоды — это вульгарные разговоры... И нагота проблемы касается всех, как все причастны к голизне...». Но мы еще вернемся к этой теории.

А пока что — газетная заметка. Суть ее такова: женщина, доведенная до крайности, пришла в отделение милиции и со стыдом рассказала, что сын ее, мерзавец, требует, чтобы она сожительствовала с ним, иначе грозит убить. Но кому охота вешать на себя лишнее дело. Ей объяснили, что поскольку факта совершения преступления как такового еще не имеется, то и разбирать пока что нечего.

Это — в жизни. А вот — в очередном литизделии, в так называемом «романе». Герой его, в ко-

тором уже усмотрели подражание «Подростку» Достоевского и еще подражание подражаниям, впервые возмужал в постели своей тридцатидвухлетней тетушки: «Научите меня! Я обещаю, мама никогда об этом не узнает...». Научила. Теперь во всеоружии благоприобретенного опыта можно и к матери приступить. Он сообщает ей, «что уже видел ее всю целиком, включая интимные места, и видел много раз», пора, мол, от созерцания переходить к действиям. Мать отнеслась к этой проблеме деловито, на всякий случай осведомилась у некоей девицы: «Ты спала с моим мальчиком?.. А как он в постели, мой сын, ничего?». И все это обсмаковывается и обсмаковывается почти до последних страниц. И когда уже про Эдипа упомянуто, приступают наконец: «Ма, но ведь это бывает? Мы не первые с тобой?» «Господи!.. Господи!.. Что же мы делаем?! Господи?...».

У всего этого есть фон: война. Воюют где-то на Кавказе. Чего ради оказались там мать и сын, автор, видимо, и сам не знает. Но зато он знает, что война, дескать, все спишет. Еще в ту, в Отечественную, ходила песня: «Поначалу не хотела, / А потом — сполна, / До утра кровать скрипела: / Все равно — война...». Вот эта логика и эксплуатируется. А уж крови, трупов, страхов!.. Но все — выдуманное, меркнет вся эта бутафория перед любым свидетельством очевидца чеченской войны.

Но позвольте, это не реалистическое произведение, автор не обязан в конце концов, так сказать... Да какое бы ни было. Бесчеловечно, когда из трагедии народа делают занимательное чтение: опытная рука сочинителя детективов смешивает в должной пропорции кровавый коктейль: столько-то трупов, столько-то ужасов, столько-то «голизны».

Я не называл до сих пор издания, где все это напечатано, не буду называть и впредь. Издания эти

не тем славны и не эти вещи, надеюсь, будут определять их в дальнейшем. Не случайно не назвал и фамилии авторов; даже частое упоминание в печати не дает еще имени в литературе. А говорил я главным образом о том, что литературой не является, но все больше и больше в последнее время заслоняет собой литературу: о подтанцовке. А теперь перейдем к теории, освящающей ее.

ЭРОТИЧЕСКОЕ ДНИЩЕ

Я не читал последнего романа А. Королева, возможно, он заслуживает похвалы, судить не берусь. Но кто-то в печати непочтительно отозвался о нем, и Королев пригвоздил обидчика гневной статьей. Статья заинтересовала меня: это своеобразный манифест. Отметив, как само собой разумеющееся, что мы — «патологически нездоровое общество», что после многих лет запретов любой публичный разговор на темы «низа» вызывает шок, Королев объясняет и суть и причины этого шока: «хомо читающий сталкивается на странице с подлинностью своего собственного бытия».

Теперь о «хомо пишущем»: «И писатель — если речь об ответственном писателе — не может отвертываться от подлинности недозволенного... Человек, отрывающий свое эротическое днище от собственного восприятия, не сможет понять суть и смысл жизни на любом уровне».

Сказано — как в бронзе отлито: «эротическое днище». И вся беда русской классики — Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого — все они Королевым упомянуты и снисходительно пристыжены за то, что не только «отрывали свое эротическое днище», но у них у всех «фаллическое начало отнималось от героя и отдавалось предмету, вещи, настроению», а «сам герой был благороден и отделен от низа». Вот потому-то, видимо, как ни сили-

лись они, а не смогли понять ни сути, ни смысла жизни «на любом уровне». Остается, впрочем, не вполне ясно: были ли они «ответственными писателями», если «отвергивались» от «подлинности недозволенного»?

Приведенные ранее примеры, где авторы, то бишь «хомо пишушие», ни от чего «не отвергиваются», надо полагать, доказывают, насколько плодотворней новый метод, как он помогает понять «суть и смысл жизни».

Перечисляя ряд запретов, нанесших вред литературе, классической в том числе (тут и христианское отношение к плоти как к бремени души, и так далее, и тому подобное), Королев переходит к главному: «Все это давление запретов не могло не привести к тому фаллическому взрыву эротики, который произошел и происходит на наших глазах. Но меньше всего в этом процессе можно обвинять последствие — то есть писателя и художника. Рухнул железный занавес между сознанием и подсознанием общества, и его падение коснулось каждого из нас. Секс стал таким же проводником в пространство свободы, как плюрализм, партии и, наконец, деньги. Но только Эрос уводит нас так далеко и глубоко, на самый край бытия... Что же оставалось делать писателю? Оставалось только одно — пуститься в пространство изнанки жизни».

Вот и нашлось наконец дело для писателя: «пуститься в пространство изнанки жизни». Чем не вторая древнейшая профессия, прошу простить, если сравнение грубовато. Платят нынче за это хорошо: что за живой товар, что за книги «на темы низа». А винить в чем-либо писателя или художника никак нельзя, их положение страдательное: они — последствие. И бегало одно такое «последствие» в голом виде, бегал художник Кулик за машинами на улице и облаивал их, рыскал себе славы. И в Стокгольме

на выставке современного «революционного авангардизма» предстал он в том же образе: у собачьей будки, сбитой из досок, стоял на четвереньках с цепью на шее и совершенно голый, даже без набедренной повязки, которую по непросвещенности своей все еще носят дикари в жарких странах. И кусался: укусил за ляжку шведского искусствоведа Леннарта Лундквиста. Тут уж полицейский, не ведавший, что перед ними — последствие, которое винить нельзя, надел на Кулика наручники и увел, и шведы аплодировали полицейскому. А мы-то надеялись, мы-то верили: где-где, но уж там — истинные ценители авангарда.

Что же ждет русскую литературу, в том числе — классическую, раз произошел «фаллический взрыв» и прорваны «границы псевдореализма»? А ждет вот что: «Мечтательное неяркое пейзажно-девственное тело русского текста увенчивается патетическим лингамом». Кто не знает, что такое лингам, может прочесть в энциклопедии «Мифы народов мира»: «Лингам (др. инд. «характеристика», «знак пола») в древнеиндийской мифологии... обозначение мужского детородного органа...». Словом, где была русская литература, где была совесть, там вырос и увенчал ее... Нет, на др.-индийском как-то это пристойней звучит: лингам.

Если же вы решитесь сказать, что, «сметая запреты», автор на их месте возводит новые, да по жестче, возражение и тут готово: «Да, мне понятна та паническая реакция профанической критики, которая этически реагирует на эстетический беспредел свободного текста». Вот на таком языке и будем реагировать на реакцию: панический, профанический, этический, эстетический...

Покойный Юрий Трифонов любил слово «обрящик». Кто-то из мастеров пообещал принести ему образец линолеума: «Я тебе обрящик покажу...».

Не могу не привести еще один «обрящик» из этого манифеста: «Покрывать собственным почерком простор новейшей цельности — занятие, близкое к отчаянию. Насколько приятней было гулять пером в парке Аннибала, где нет сомнений в совершенстве Бога. Но дух и долг писателя — диалог, и потому он всегда открыто стоит перед агрессией невозможных вопросов». Не уверен, что я до конца и полностью понял высокий смысл сказанного, но, в общем, получается так: трудно сегодня А. Королеву, открыто стоящему «перед агрессией невозможных вопросов», писать свой уже объявленный триллер, то бишь «покрывать собственным почерком простор новейшей цельности» (занятие, близкое к отчаянию), и насколько же легче, насколько приятней было не знавшему долга, не ведавшему сомнений (боюсь, не Пушкин ли имеется в виду?) «гулять пером в парке Аннибала».

А МЕЖДУ ТЕМ...

А между тем без шума и самовозвеличивания, с каким вырвалась на сцену подтанцовка, стремясь все вытоптать копытами, создавалась в эти годы литература. И среди тех, кто создавал ее, есть имена молодых талантливых людей. Не очень удачное время? А когда оно было удачным? И не вспомним ли мы еще добрым словом время, когда рухнули стены рабства, погубившего стольких? Понятно желание людей: если уж самим не выпало, так пусть хоть детям, внукам выпадет жить в более удобные для жизни времена. Но искусство создается и в пору трагедий, и в глухое безвременье. И художник, жалующийся, что не в то десятилетие досталось ему жить, на мой взгляд, явление убогое. В конечном счете не время правит художником, а талант.

Молодым, вернувшись с войны, написал Олег Ермаков свои «Афганские рассказы» и в редак-

цию «Знамени» прислал их из Смоленска по почте. Тираж журнала был в ту пору огромен. Мы напечатали, Ермакова прочли, но книгой они так и не вышли. Помню, я дал номер журнала японскому профессору-слависту и вскоре получил от него такой отзыв: если бы жил сейчас Чехов, он бы написал об Афганистане то же и так же, как «Эрмаков». И только недавно в смоленском издательстве вышел сборник — роман Олега Ермакова «Знак Зверя» и рассказы. Это глубокая, настоящая литература: о жизни, о смерти, о смысле жизни, о той трагедии, которая по воле полумертвых старцев постигла нашу страну и Афганистан. И длится, длится, унося и там, и здесь молодые жизни.

То ли память у нашей критики коротка, то ли время такое суетливое, каждый своими делами занят, но не упоминают уже Илью Митрофанова, словно и вовсе его не было. А как свежа, как сочно и живо написана его повесть «Цыганское счастье»! Ее еще будут издавать, прочтут не раз, такие книги не исчезают. Что это — реализм? романтизм? модернизм? По мне, как бы ни называлось, было бы талантливо. И нет застывшего реализма, как нет застывшего языка, если это язык живого народа. И устоявшиеся традиции когда-то были новаторством, но не всякое новаторство по прошествии времен становится традицией.

Иной опыт жизни, иная среда, иная манера письма у С. Гандлевского, но его книга «Трепанация черепа» явление заметное. И не вина автора, что узок круг ее читателей: тиражи журналов стали малы.

Или вот повесть Алексея Варламова «Здравствуй, князь!». Последующие его вещи мне нравятся меньше, но эта повесть, как легкое дыхание, прочел, и хорошо на душе. Отметил бы я и несомненную одаренность Олега Павлова, его роман

«Казенная сказка», да В. Курицын не велит. Я уже упоминал, что однажды со сцены телевизионного театра сказал: мечтаю, откроется дверь и войдет в литературу молодой Лев Толстой. Но пока что вошло много курицыных. А этот, уже упомянутый мною В. Курицын, сначала только проглядел «Казенную сказку», а потом уже и с карандашом перечитал: «Олега Павлова я не полюбил. Есть такая проблема. Писательское мастерство в том самом «социально-психологическом» контексте — дело не особенно хитрое. При всеобщей грамотности-то и при здешнем-то читательском опыте». Повезло, крупно повезло Толстому-то с Достоевским-то и Гоголю тож: не полюбил бы их Курицын. Делали они дело, как теперь выясняется, не особенно хитрое, осрамил бы он их при современном-то читателе, «есть такая проблема».

Впрочем, с литературой классической еще Королев разделался довольно успешно и даже обозначил, что ныне выросло на ее месте. Так называемых «шестидесятников» топтали долго, сладострастно, один автор текста объемом аж в полторы тысячи страниц (не признак ли явной графомании?) даже воскликнул: я вас изживу!

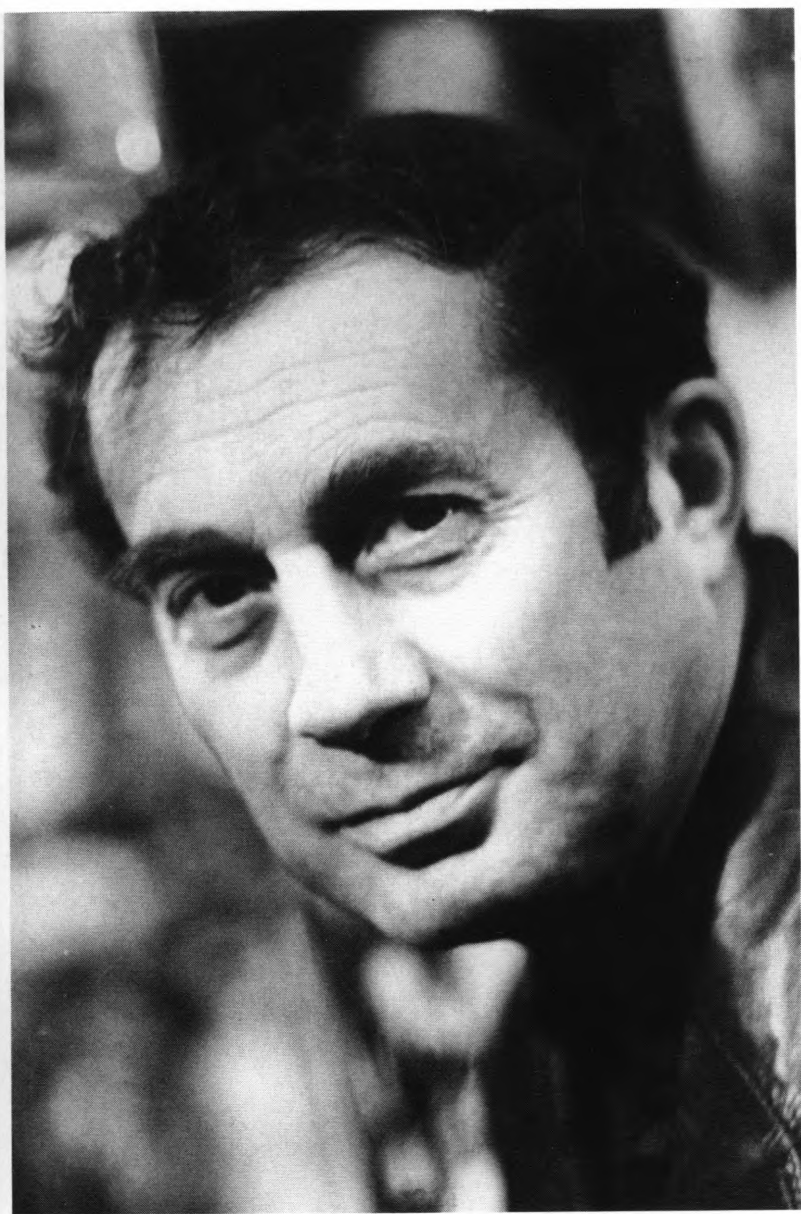
И все это было. Все ныне забытые софроны, грибачевы, все эти большие и малые литературные палачи именно так и поступали, вытапывали все талантливое: на скошенном лугу и гнилой пенек возвышается. Но тут, как на грех, увенчивают Буковской премией глубокий реалистический роман Георгия Владимова «Генерал и его армия». И молодой прогрессист, некий модернистский критик печатно называет Владимова «литературный власовец». Точно так же, теми же словами клеймили Солженицына, когда изгоняли из страны. И один из старейших писателей (я о нем уже упоминал), возможно, обиженный, что удостоен премии не он, за-



1944 год.



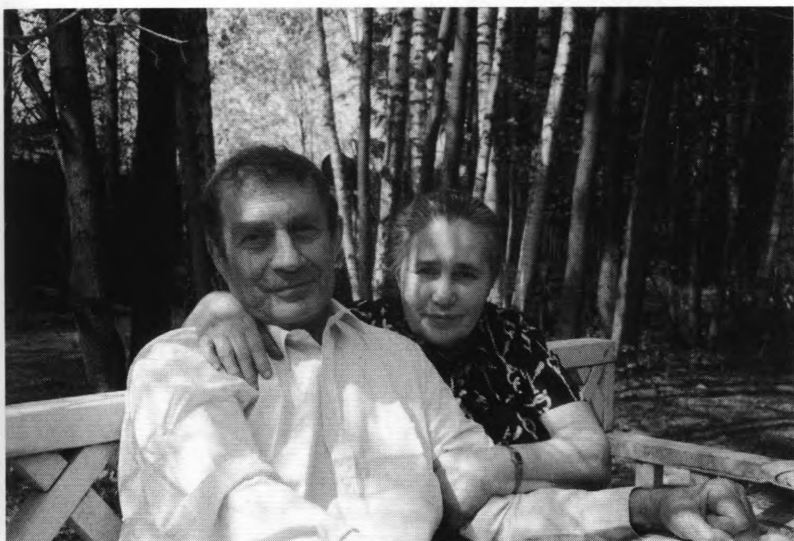
Последняя фотография моего старшего брата Юры Фридмана. На фронте был командиром орудия, погиб в 41 году под Москвой.



70-е годы.



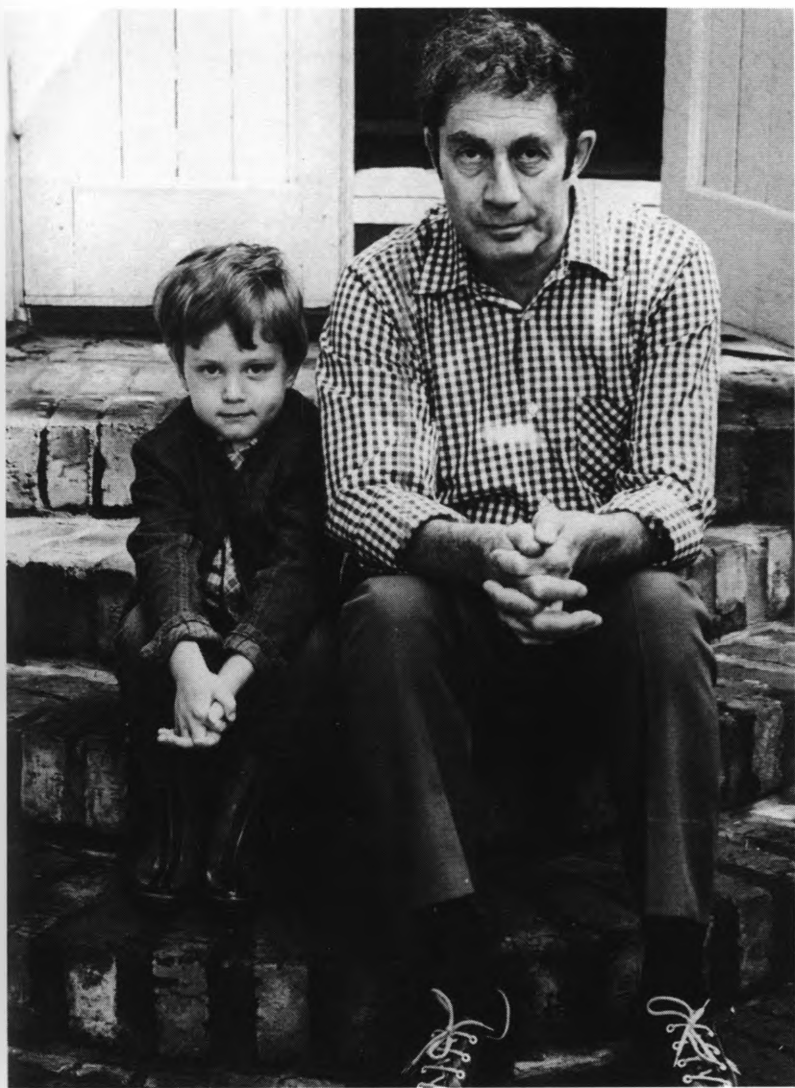
Моя будущая жена Элла.



Мы с Эллой на скамейке.



80-е годы.



С первым внуком Юрой на крыльце дачи.
Ему 5 лет.



Внучке Маргарите — 8 лет.
Она в первом ряду справа.



Бабушка с внуками и с внучкой.



У камина.



Семья моего сына Миши: он, Оля, их сыновья, мои внуки — Илья и Юра.



И вот мои внуки уже взрослые. Справа — Юра. Ему 24 года, слева Илья — 20 лет.



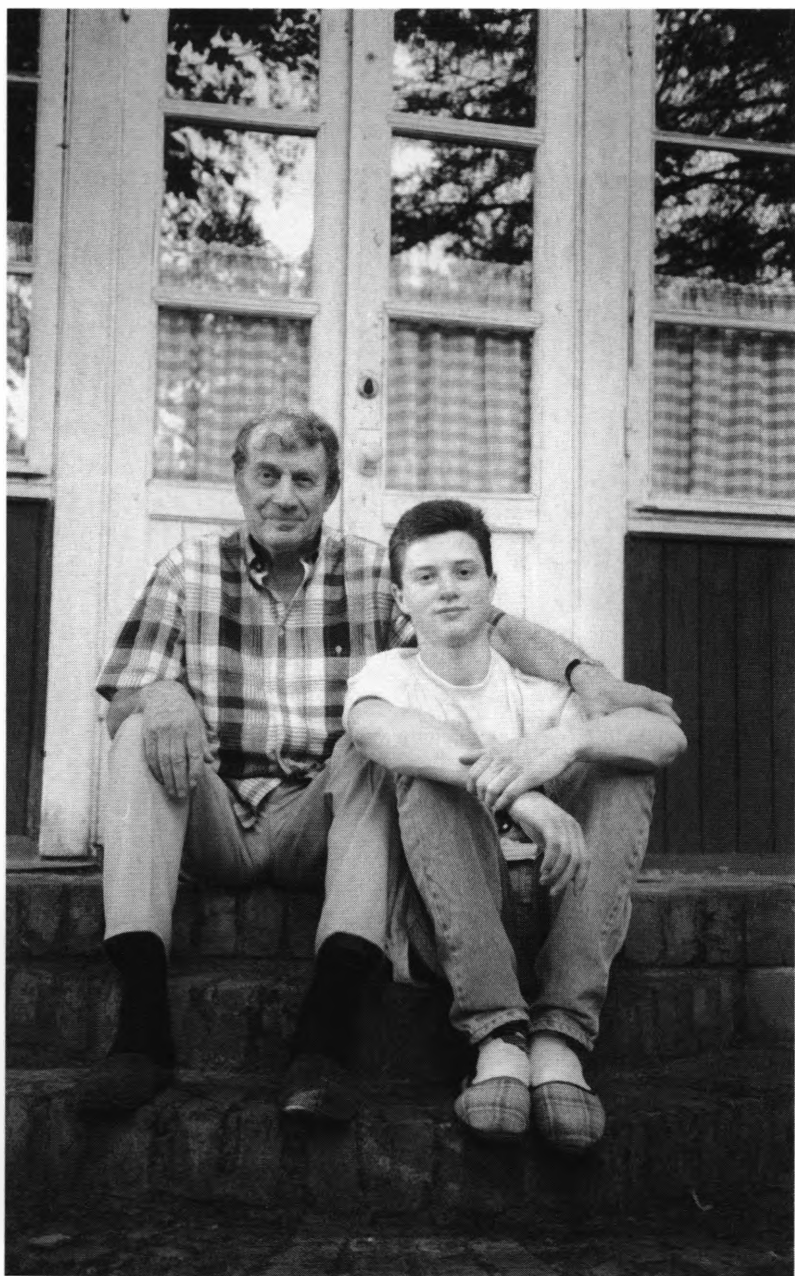
Моя дочь, Шура и внучка Маргарита
у Ниагарского водопада.



И дома.



Внучка Маргарита с любимой собакой,
Бандитом.



И снова я с внуком на крыльце.

являет по радио, что роман Георгия Владимова — «апология измены и предательства». А ведь по такому обвинению в его времена сажали в лагерь. Ну, не стыдно ли?

Впрочем, стыд — не дым. «Появились издания, готовые платить сумасшедшие гонорары, но печатающие только очень маленькие тексты. Сначала казалось, что можно упихнуть в такой объем рецензию, но вскоре выяснилось, что можно упихнуть и обзор... я пишу в «Матадоре» о книгах, на рецензию мне уже отводят три строчки. Лучше две. Я понял, как от этого можно получать удовольствие, — восторгается Курицын, — начинаешь ощущать себя художником».

Ну, как тут не вспомнить «На святках» Чехова: «— Что писать? — спросил Егор и умокнул перо». Над ним стоят неграмотные старик со старухой, пришли они на святках в трактир к этому самому Егору, «про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить как следует». Правда, «как следует» — это пятиалтынный, но Егор «ощутил себя художником» и катал, «получая удовольствие» и не укладываясь ни в две, ни в три строчки: «Обратите внимание в 5 томе Военных Постановлений. Солдат есть Имя общее, Знаменитое. Солдатом называется Перьвейший Генерал и последний Рядовой... И поэтому Вы можете судить, какой есть враг Иноземный и какой Внутренний. Перьвейший наш Внутренний Враг есть: Бахус».

Во времена, когда Егор писал старикам это письмо к их дочери, жил уже на свете будущий поэт Тимофеев. Из его литературного наследия, пожалуй, наибольшую известность заслужили «Бублики», под них танцевали фокстрот: «Купите бублички, / Горячи бублички, / Гоните рублики да поскорей...». Однако ценил он себя высоко, и вот с каким посланием обратился к грядущим поколениям:

*Потомки! Я бы взять хотел,
Что мне принадлежит по праву —
Народных гениев удел,
Неувядаемую славу!
И пусть на карте вековой
Имен народных корифеев,
Где Пушкин, Лермонтов, Толстой —
Начертан будет Тимофеев!*

Не начертали. Минуло. Минет и нынешнее временное помрачение умов.

Жизнь человеческая коротка. Искусство вечно.

МИР ВХОДЯЩЕМУ

Первые дни марта 98-го года. Остров Маргит. Двумя рукавами Дунай обтекает его. По одну сторону Дуная — Буда, по другую — Пешт. Старая гостиница Grand Hotel Romada. Парк. Несколько старых деревьев, они росли здесь тогда, более полувека назад. А весь этот парк вырос после, он моложе меня.

Прыгают белки по деревьям. Тихо. Черные дрозды с желтыми клювами скачут по земле, что-то клюют. Гул неумолчный, гул большого города, где живет теперь каждый четвертый житель Венгрии, на его фоне ощутимей тишина здесь, на острове. Я сижу, подставив лицо весеннему солнцу, закрыв глаза. Вот опять, размеренно дыша, пробегает за спиной у меня группа спортсменов над Дунаем. Обвязавшись по поясу рукавами свитеров, в белых трикотажных безрукавках, в спортивных кепках, — мужчины и женщины, и с ними — рыжая собака. Каждое утро и перед вечером их белые кроссовки мелькают над асфальтовой дорожкой, их белые торсы и кепки — над мутной весенней водой Дуная: сначала — против течения, потом — по течению, когда они возвращают-

ЖИЗНЬ. ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

ся. И так же, глядя на них, не отставая, бежит рыжая собака с длинными ушами... Мир и покой.

Позавчера в Москве было пятнадцать градусов тепла, слепило солнце, снег сползал с крыш. А когда улетали из Шереметьева на следующее утро, мороз опять сковал землю. Прилетели в весну. Солнце, холодный ветер с Дуная. В атмосфере — война: циклоны, антициклоны... Я тоже был частью циклона более полувека назад. Вслед за отступавшей немецкой армией мы вошли в Венгрию, мы были неразрывны: те, кто отступал, и те, кто наступал. Потом опять они теснили нас к Дунаю. Примерно в то самое время высоко-высоко над нами, в ходе встречи в Кремле, Черчилль и Сталин делили на клочке бумажки, кому что достанется: Болгария, Греция, Югославия, Чехословакия, Венгрия... Столько-то процентов наши, столько-то процентов — вам. Черчилль спросил: порвать бумажку? Сталин расписался на ней: зачем? А мы в очередной раз брали венгерский город Секешфехервар, и мертвые еще с прошлой атаки лежали в кукурузе, их заметало снежком. И впервые я позавидовал мертвым: им спокойно. Мог ли я думать в то время, в тех боях, что будет впереди еще век XXI, третье тысячелетие, и я, возможно, увижу его, переступлю ненадолго за ту грань? Есть магия чисел, некая незримая черта: вот начнется новый век... А он уже начался. По парку, ярко и разноцветно одетые, с яркими ранцами за спиной, во главе с учителем и охраняемые эскортом бабушек и матерей, идут школьники младших классов, и парк звенит их голосами и посвистом птиц. Вот он, век грядущий, вот оно, новое тысячелетие. Жаль, что я не понимаю их языка, только несколько слов сохранилось со времен войны. Что они говорят, указывая на белок на ветвях? То же, наверно, что и моя младшая внучка Маргарита, их ровесница, она любит кормить белок. То же, что и мы говорили

когда-то в их возрасте. Для моих глаз нет зрелища прекраснее детей. Невозможно поверить, что из детей вырастают и гитлеры, и сталины.

Наш XX век, кровавый век, вставал из окопов Первой мировой войны (а до нее были еще войны), потом — Вторая мировая война и наша Отечественная, а между ними и после них — все войны, войны, так называемые малые войны, которые унесли не меньше жизней. Неужели только войнами и будет памятен наш век? Век великих научных открытий. И великого одичания.

Кто не задавал себе этого вопроса: хотел бы ты жить в другое время? Я бы не хотел. Это мой век. Мне хочется верить, что от многих ослеплений мы все же избавили человечество, заслонив его собой, и оно не повторит безумств нашего времени. Мне хочется верить, что мужество и человечность пребудут с ними, как не покидали они нас в самые тяжкие часы испытаний. Мне хочется верить, что в будущем веке не будет ни победителей, ни побежденных. И, глядя на детей, я мысленно говорю всякий раз: мир входящему.

НОВЫЙ ВЕК

АВСТРИЯ 9/V 1945
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПОСЛЕДНИЙ НАБЛЮ
ПОСЛЕДНИЙ ПЛАН



2000 ГОД

В августе 2000-го года попал я в больницу. Как-то вечером, сидим мы там при свете настольной лампы с Дмитрием Васильевичем, бывшим зав. отделением, разговариваем. Он — человек пьющий, за что и был снят с должности. А расположился он ко мне вот почему: его приятель узнал, что я здесь лежу — «он всё читает», — заохал: как же ты, мол!.. И Дмитрий Васильевич попросил у меня книгу. Я никогда не дарю, если меня не просят. Сын привёз, и в следующее дежурство я подарил Дмитрию Васильевичу «Военные повести». «Вот эти самые!» — обрадовался он: видимо, о них-то и говорил ему приятель. И вот сидим с ним вечером, тихо, тьма в палате по углам. Он обнаружил у меня опухоль. Позже всё подтвердилось. Мне 77 лет, такая долгая и по годам и по событиям жизнь. У покойного Сергея Орлова есть строчка: «Остается небольшая малость: жизнь дожить без лишней суеты». Да ведь важно еще и качество жизни, а не только сама жизнь.

Выписавшись из больницы, начал писать рассказ, он мне и там смутно мерещился. Но так трудно ни одна вещь не шла. Правда, есть у меня рассказ: «Бабичев», маленький этот рассказ я не мог написать десять лет. Но то — совсем другое дело: попробовал, не получается — отложил. И ещё раз попробовал, и ещё раз отложил, другим был занят. А пришло время, и написался легко. Но тут, чувствую — не могу. Надо молодо, свежо, ведь — о молодом парне. А у меня выходит нечто пресное. Вот тогда и выкорчевал я в саду облепиху: разрослась непомерно. На месте её вырыл яму для молодой антоновки, тут — солнце, сюда в дальнейшем и пересадил. Яблоч её я, скорей всего, не увижу. Тем более пусть растёт. И мысли приходят, когда копаешь, делаешь что-то в саду. Потный сидел я под яблонь-

кой на чурбаке, остывал, смотрел на вершины берёз, и душе моей было хорошо. Эти берёзы мы тоже сами сажали: возьмёшь в руку вместе с комом земли и не сёшь из лесу. Какие огромные они вымахали. А есть у меня любимая яблоня. Когда-то, лет пятнадцать назад, отсадил я от корня дичок, потом привил в него белый налив. И такая красавица выросла! Обрезал её, сформировал, яблоки на ней — каждое светится.

Так вот этот рассказ. Сам не понимаю, почему мне так важно было написать его. Ведь главное уже сделано. Я получал письма: «Вы мой духовный пастырь». Или письмо отца, который благодарит за то, что его взрослый сын успел перед смертью прочесть мою повесть «Навеки — девятнадцатилетние». Да и сейчас незнакомые люди, встретив случайно в метро, говорят всякие такие слова о том, что значили для них мои книги, как они выписывали, зачитывали до ветхости журнал «Знамя», когда я был его редактором, как до сих пор его хранят. Умом понимал: ничего не изменится, напишу я этот рассказ или не напишу. Но вот не давал он мне покоя. Ночью проснусь, и сон как отшибло. Зажгу настольную лампу, за окном — тьма. Прав Фет: «Нечасто к нам слетает вдохновенье». Ох, как прав! Но когда не ждёшь, слетает всё же. И были счастливые часы, спешил к столу, как в лучшие времена: не утерять, пока свежо, пока пишется, как дышится.

Никогда в жизни не вёл я дневников, хотя понимал: надо. Для того и бумага, чтоб закрепить на ней и оставить то, что не удержится ни в памяти, ни в ощущении. И вдруг стал вести этот дневник — не дневник, но записывать течение дней и кое-какие воспоминания. До сих пор я жил как-то без времени, от книги — к книге, будто всё остальное ещё успеется. Ни архива не собирал (впрочем, и сейчас всё

никак не могу этим заняться), рецензии вообще никогда не хранил, статьи, напечатанные или не дописанные, где-то на антресолях, если целы. А тут вдруг интересно стало: меняется ли человек, меняется ли мир в его глазах, если он узнал, что срок его уже отмерен? И я стал записывать.

Снег выпал и растаял на четвёртый день, так, кое-где белеет ещё. Сегодня — 11 ноября, с цифрой одиннадцать у меня вообще немало связано. Ну, например: родился я 11 сентября, а 11 октября, но 57 лет назад, меня тяжело ранило под Запорожьем. Мы отбивали контратаку танков, четыре осколка, два до сих пор сидят во мне. И вот интересно: когда мы ещё не взяли эти траншеи, из которых потом отбивали контратаку, ещё не выбили оттуда немцев, а только бежали по полю, и я упал под огнём, увидел вдруг с земли, как пулей в воздухе убило голубя. Черный дым горящей деревни и белый, падающий с вышины голубь. И подумалось почему-то: сегодня меня ранит (потом я написал это в одной из повестей). Но сроки-то какие: 57 лет минуло! Для стольких поколений, живущих ныне, Отечественная война — история и уже давняя, для меня она всё ещё — как живая.

По примете снег должен лечь до трёх раз. А вот другую приметку забыл: то ли на мокрую землю снежок — лежок, то ли, наоборот, на сухую. Кажется всё же — на мокрую.

В мае прошлого, 99-го года закончил повесть «Мой генерал». Писал долго, но получилась. Я не обманываюсь, вижу, когда не получается. В мои годы написать просто, но чтоб всё зримо, чтобы читатель и не почувствовал, как трудно далось, — задача не из лёгких. В равной мере не люблю вещи бессюжетные, некий поток сознания, и те, которые на од-

ном сюжете держатся. Все эти «потoki сознания» чаще всего у тех, кто не способен выстроить самый примитивный сюжет: «У меня стихи текут легко, как слюни...». Ну, а если в книге сюжет — главное, значит, на большее автора не хватило или на большее и не посягал. Но торопитесь, авторы детективных романов, скоро компьютеры начнут вычерчивать линии сюжетов, и никакой Сименон, никакая Агата Кристи с ними не сравнятся. А самая великая тайна из тайн была и есть — человек. И хотя всё вроде бы в жизни повторяется, тайна эта бесконечна, интересна всегда. И нет, и не будет того, кто бы всё раскрыл и за всех всё сказал. Вот расшифрован геном человека, но в этом отношении ничего не изменилось.

Если судить по письмам, по телефонным звонкам, повесть читается. Но написал, отдал и стало пусто. Оно и всегда так, когда закончена книга: закончилась часть жизни. Но обычно в это время другая книга подпирает, уже её хочется писать. А тут — пустота. Бывало, выйдет журнал, а там твоя вещь напечатана, раскроешь, увидишь — этот миг дорогого стоит. А в этот раз целый месяц не шёл за своей повестью, она издана, уже звонят, уже от Василия Быкова из Германии пришло письмо, а я её ещё и не видел. И не хочется. На фронте говорили, и многие верили в это: вши от мыслей заводятся. Вот, наверное, и я «от мыслей» попал в больницу. С тех давних пор, когда за счастье считалось посреди войны поваляться в госпитале на чистых простынках, я не то чтобы стремлюсь, но и в больнице время у меня не пропащее. И там — люди, и там — жизнь. Несколько лет назад, после операции, два рассказа там сами пришли вдруг, я их потом написал.

В своё время, когда так называемая перестройка только начиналась, но цензоры повсюду

сидели крепко, принёс Приставкин мне в «Знамя» свою повесть «Ночевала тучка золотая». Об этом я уже упоминал. Носил он её во все журналы, и в «Новый мир», и в «Дружбу народов», и в издательство «Советский писатель» толкнулся. Нигде не взяли. Не решились. Я прочёл, взял, напечатали. Многих нервов мне это стоило, сильных врагов нажил, но «Тучка» заслуживала того. Были у Приставкина и раньше книги, писал он и в дальнейшем, ни одна не оставила следа. А тут проснулся знаменитым. Уехал он отдыхать в Прибалтику и там, в курортной прибалтийской газете сообщил, что повесть в рукописи была гораздо лучше, но её искалечили в редакции, пришлось ему сделать 235 поправок. Врёт несусветно, да и что осталось бы от повести после двух с лишним сотен поправок? Но поразила меня эта чёрная неблагодарность. Ещё года не прошло, как я стал редактором, не привык. Потом привыкну, буду только с удивлением наблюдать эту нередкую у господ писателей трансформацию. Ни одной политической или, как тогда говорилось, идеологической поправки в повести Приставкина не было сделано, хотя напирали на меня сильно. Но там, где даже не в диалогах, а в авторскую речь вывалил он детдомовский жаргон, как помой из ведра выплеснул, тут приходилось его просить, повторяю — *просить*. Например, не раз и не два с особым смаком пишет он: «сели срать», «посрали»... А у Шукшина в «Калине красной» бывший вор — уж ему ли не знать всего набора слов! — говорит: «Чудак ты на букву эм». Насколько это лучше и запоминается и смешней, чем ляпнул бы: мудака. Потом пойдёт — повалит на страницы журналов и матерщина, и бог знает что, и даже наш Нобелевский лауреат не удержится, в одном из своих беспомощнейших рассказов (а ведь он когда-то написал с натуры «Матрёнин двор»!) попытается не отстать от молодых, напишет о комсомольской

свадьбе: «С законным браком, в конюшне — раком». Но в «Знамени» я этого не допускал, литература — не заборная живопись. Интересно, что в дальнейшем, многократно переиздавая повесть, Приставкин оставит текст таким, каким он был напечатан (искалечен!) в журнале.

Возвращается Приставкин с курорта, встретились мы после книжной ярмарки на приёме в ресторане «Прага». Кинулся он ко мне, как родной. Тут я и высказал ему всё, что о нём думаю. Громко. При всех. И он, как миленький, принёс в редакцию покаянное письмо на трёх страницах: «Знамя», дескать, его дом родной, «...получалось, что, сделав это опрометчивое интервью в Юрмале, обидел Вас...обидел журнал и всех, с кем работал и благодаря кому появилась на свет моя повесть... А главное — нельзя кусать кормящую мамку за титьку. И нельзя подставлять свой родной журнал, у которого и так бока трещат от ударов... до сих пор вспоминаю Ваше лицо там, в «Праге». Получил от Лакшина по телефону. Получил от некоторых своих друзей». Ну, и, как водится, его не так поняли...Время — лучшая мельница, многое перемалывает. С годами установились у нас довольно хорошие отношения. Но свой позор он не забыл, не раз я в этом убеждался. И другое мое ощущение подтвердилось. Образовался Российский ПЕН-центр, по первым программным заявлениям — полная противоположность бывшему коррумпированному министерству: Союзу писателей СССР. Но начали, как всегда, с одного и того же: помещение под офис, квартиры писателям... И получили от новой власти два подъезда в огромном доме. Тут же совершён был базарный обмен: один подъезд отдали какой-то фирме, она за это бесплатно отремонтировала квартиры в другом подъезде, то есть отдали половину квартир за бесплатный ремонт. И все эти свежоотремонти-

рованные, а были среди них и пятикомнатные квартиры, не церемонясь, забрали себе руководители ПЕНА — Битов, Попов, Приставкин, ещё двое-трое имярек. А прежние свои квартиры (у Приставкина — четырёхкомнатная) сдают за доллары. В новых живут. Кто-то спросил их: «Чем же вы отличаетесь от руководителей прежнего Союза?» — «Мы талантливей их!» — был ответ. И это — *писатели*.

Когда начиналась первая чеченская война, я обратился к Ельцину через газету «Известия», писал: безмерно жаль молодые жизни, пытался побудить сделать последний шаг, позвать Дудаева для переговоров. Мне, лейтенанту той, далёкой, Отечественной войны, было ясно то, чего не понимал наш Верховный главнокомандующий и вся окружавшая его рать. Я только представить себе не мог, что в своей стране будут бомбить без разбора свои города, уничтожать, не глядя, хоть младенцев, хоть стариков, проявляя при этом полный интернационализм: в Грозном тогда погибло примерно поровну и чеченцев, и русских. Так ещё ни один царь на Руси не умирал бунтовщиков. В дальнейшем Ельцин заявлял не раз: «Самая серьёзная ошибка, о которой жалею до сих пор, одна: Чечня». Но, может, в годы своего правления, он хоть помог кому-то из жертв этой «ошибки», кому ещё можно было помочь?

У китайцев есть поговорка, которой, впрочем, сами они не следуют: «Лучше спасти одну человеческую жизнь, чем построить величественную пагоду». Беженцы уж как взывали о помощи, а изувеченные солдаты, а родители тех, что годами лежат неопознанные в морозильниках, а у лаборатории для опознания нет необходимого?.. Может, на это отстегнул он что-то хотя бы из своих гонораров? Нет, какую-то часть денег дал на лабораторию американский миллиардер Джордж Сорос. Президенту

нашему, Ельцину (а ведь когда он шёл к власти, он числился борцом с привилегиями, даже на трамвае ездил), строили ещё одну резиденцию, на этот раз — в Карелии: «Шуйская Чупа», восстанавливали царское крыльцо в Кремле, с которого в прежние времена метали неугодного боярина под ноги разъярённой толпы. Вот это крыльцо заново восстановили, как одно из самых срочных дел. Да если б только крыльцо! Художественную концепцию реконструкции Кремлёвского дворца Ельцин определил сам по-царски: «Чтоб было державно». Версаль и Фонтенбло, Букингемский дворец — всё объездил, осмотрел управделами Бородин. «Но ничто мне не понравилось, а после осмотра папского дворца в Ватикане, я так прямо и сказал: «Чистенько, но бедненько». Из этих поездок я вынес убеждение, — делился опытом Бородин, — что нужно как можно больше использовать натуральных материалов, мрамора, редких древесных пород, металлов». И, влезая в долги по всему миру, годами не платя детские пособия, зарплату врачам, шахтёрам, учителям (а ещё и тысячи бездомных офицеров ютятся где попало), денег на реконструкцию не жалели: «Чтоб было державно!» На одну позолоту ушло 50 килограммов золота, паркет для Большого Кремлёвского Дворца делали на родине Микеланджело по чертежам XIX века, редкие породы дерева везли со всего света, в том числе — из Африки. Ельцин лично контролировал ход ремонтных работ.

Царь и народ.

Потребовалось, как писали, два миллиарда долларов: сколько-то на дворец, сколько-то ещё на что-то. А в бюджете страны на все инвестиции было всего 5 миллиардов. Крошечная по сравнению с нами Южная Корея с населением вдвое меньше, чем у нас, производит сейчас продукции в стоимостном выражении больше, чем мы. И мы у неё в долгах.

Но раз нет денег, Бородин потребовал дать ему нефть. Дали. А фирма, одним из учредителей которой была Московская патриархия, перекачала нефть «за бугор», по одним сведениям — 4,5 миллиона тонн, по другим — 8 миллионов: это не слухи, это газеты пишут. И будто бы при расчёте (об этом тоже писали) утаено из них что-то около 45 миллионов долларов, так сказать, поучаствовали. Впрочем, что к чьим рукам, в том числе — к рукам Бородина прилипло, и что потом и где отмывалось, всем этим занимается — ну не диво ли! — швейцарская прокуратура (подряд, видимо, не за красивые глаза был дан швейцарским фирмам), нашей прокуратуре недосуг, она дело закрыла. А ещё не так давно Бородин, лично водил президента Клинтона по раззолоченным залам Кремля, и американский президент будто бы пришёл в полнейший восторг, но выразил свой восторг такими странными словами: «И эти люди просят у нас в долг деньги!». А маршал Куликов на приёме подошёл ко мне, (тогда первый раз приём устроен был в этих залах), показал рукой на золотые ворота, покачал седой головою: «Сколько же на это на всё истрачено!».

Скоро в Челябинской области будут судить мать и сына. Старший сын вернулся с чеченской войны контуженным. Большой, красивый, сильный и — помутившийся разумом. А, может, и не разум помутился, душа надорвалась. Рассказывал, как на войне отрезал головы. Он пропил в доме всё, ночами держал нож под подушкой, пригрозил матери и брату, что зарежет их, спящих. Они спасались от него у соседей. Длилось это годами. И мать, мать! решилась: пьяного, спящего, задушила его подушкой, сына своего. А брат держал его за ноги. Спасала ли она младшего сына или старшего, несчастного, избавила от мученической его жизни — кто это теперь рассудит? Судить будут не причину а — следствие.

Дудаев посмертно — национальный герой, наши битые генералы получили большие звёзды на погоны и ордена, чеченские бандиты («полевые командиры»), понастроили себе хоромы, не счесть тех, кто за кулисами этой войны разбогател, а Ельцин, ныне — бывший президент, живёт барином, 2 миллиона долларов в год вместе со всеми чадами, домочадцами, слугами, конюшней стоит он государству, т.е. всем нам. Судить же будут этих несчастных, мать и сына, над кем уже состоялся суд их совести, муки на всю жизнь.

В книге «Вторая мировая война» Черчилль рассказывает, как в августе 1942 года в Москве, в Кремле, полночь, во время позднего обеда он спросил Сталина:

«— Скажите мне, — спросил я, — на вас лично так же тяжело сказываются тяготы войны, как проведение коллективизации?»

— Ну, нет, — сказал он, — политика коллективизации была страшной борьбой.

— Я так и думал, что вы считаете её тяжелой, — сказал я, — ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или крупных помещиков, а с миллионами мелких людей.

— С 10 миллионами, — сказал он, подняв руки. — Это было что-то страшное, это длилось четыре года...

... — Что же произошло? — спросил я.

— Что ж? — ответил он, — многие из них согласились пойти с нами. Некоторым из них дали землю для индивидуальной обработки в Томской области или в Иркутской, или ещё дальше на север, но основная их часть была весьма непопулярна. Они были уничтожены своими батраками».

Советская власть, по которой и доныне сохнут те, кому при ней хорошо жилось, то есть, глав-

ным образом те, кто жизнь прожил не с сошкой, а с ложкой, привык кормиться из рук, превратила деревню в свою колонию. И первой заповедью было — сдать хлеб государству фактически задарма, дороже обходился бензин, чтоб отвезти хлеб на элеватор. А там, на элеваторах, видное издалика, красовалось мудрое изречение, написанное аршинными буквами: «Уборка — дело сезонное, она не любит ждать. Убрал вовремя — выиграл, опоздал с уборкой — проиграл. И. Сталин». Но колоски, оставшиеся в поле после уборки, запрещалось подбирать голодным людям, пусть лучше под снег уйдут. Могло ли всё это не отложиться в характере народа, в нравах?

Наш главный дефицит сегодня — независимые талантливые люди. Личности. Они, как правило, ненавистны и верхам и низам. Посмотришь вокруг, их более всего не хватает. Сталин так прополол страну, что и сто лет пройдёт, а не забудется. Разумеется, побивать камнями лучших умели и до него. Но всё же не в таких масштабах и не с такой жестокостью. А вообще — это древнее занятие человечества. Например, по свидетельству Аристотеля, эфесцы отправляли в изгнание лучших сограждан: «Да не будет никто из нас лучшим, не то пусть он живёт в другом месте и у других». А булгары, жившие на Волге, (есть свидетельство X века), говорили, увидев человека расторопного, сведущего в делах: этот должен служить богам. И вешали его на дереве.

В VII веке до нашей эры коринфский тиран Периандр направил посла к милетскому тирану Фрасибулу, разузнать, как тот добился порядка в своём государстве, как поддерживает этот порядок? И рассказывает Геродот, что повёл Фрасибул посла за город и там, гуляя с ним по хлебному полю, расспрашивая, зачем тот приехал из Коринфа, срывал да срывал между делом самые высокие и крупные

колосья, срывал и затапывал, пока поле не стало ровным. С тем и отпустил посла, не дав ему никакого совета. Но то, что послу оказалось невдомёк, тигран понял сразу: казнить выдающихся людей, тогда и будет порядок. И Фрасибул довершил ранее начатое им дело: добил и изгнал всех выдающихся сограждан, кого ещё не успел уничтожить.

Только ли в том причина, что легче властвовать покорными: мне не нужны умные, заявлял Николай I, мне нужны послушные... Не исключая, что тут и гены замешаны: в одном народе два народа живут, и очень разные. Эти два народа гораздо более несовместимы, чем люди разных наций и племён.

Можно только удивляться, что после семи с лишним десятилетий всевластия шариковых в нашей стране мы живы и ещё на что-то способны. Но живы и они и, кажется, востребованы вновь.

Сима появилась у нас, когда ей только семнадцать исполнилось. Была она моя землячка: не из самого Воронежа, но всё же из Воронежской области, а название деревни не помню. Рассказывала, смеясь, она вообще была смешлива, как в дождь, бывало, укрывалась жестяным корытом: крыша хаты текла. И ещё рассказывала, как бабка — то ли по отцу, то ли по матери её бабушка, никогда со всеми за стол не садилась. Все едят дружно из одной чашки, а она зачерпнёт ложкой и несёт на хлебе в угол избы, где кровать её стояла. Вот так с ложкой и ходит от стола к кровати. Рассказывала Сима, любила бабка лечиться: выпишет фельдшер кому-либо лекарство, она тут как тут с ложкой. Выпросит, примет: полегчало. От какого-то лекарства, говорили, она и померла.

Отца Симы убили на войне. У матери, кроме неё, ещё двое, Сима — старшая. Весной только крапива и спасала от голода, щи варили из крапи-

вы. А парни уходили из деревни в армию, и не возвращались. И мать сказала ей: уходи в город. Ей ещё и шестнадцать не было. Как ехала в Москву без паспорта, без какой-либо справки, одно помнила: боялась. Боялась милиции, боялась за кипятком сбежать на остановке, от поезда отстать. На вокзале в Москве прочла объявление: требуется няня. В стране рабочих и крестьян, где все равны, какие могли быть домработницы? Были горничные, садовники, официантки, кормилицы, повара на дачах сановников, они, как правило, имели КГБэшные офицерские звания. Они кормили, поили, ухаживали, они же и надзирали. Но домработница? Слова такого не было в официальном советском языке. В пьесах персонаж этот назывался: «Свой человек в доме»... А дом, в котором отныне предстояло жить Симе, был высотный, в нём — гостиница «Украина». В дальнейшем перед ним установят на площади памятник Тарасу Шевченко, и вся высшая власть во главе с Хрущёвым обойдёт его хороводом в знак вековой дружбы двух братских народов, за что Никита от великого ума и подарит Украине Крым вместе с Севастополем, как шубу с барского плеча.

Так вот в этом, по тем временам «элитном» доме, где и теперь гостиница «Украина», давали квартиры не кому попадая. Хозяин Симы был что-то вроде начальника главка министерства, то есть по прежним временам — столоначальник. Сам — из деревни. Как-то в воскресенье вышел он прогуляться с собакой, а когда вернулся, парадный вход закрыт. И хотя объяснили ему, что в таких-то и в таких-то целях состоялось решение оставить только вход со двора, он полчаса на виду всего дома, бил в дверь каблуком, пока не прибежали с ключами и персонально для него не открыли парадные двери. Прощёл, двери снова заперли.

Симе наперёд было сказано: служи хорошо, паспорт тебе выправим. И перечислили, что возлагается на неё, а что запрещается. Возлагалось многое, ещё большее запрещалось. Никаких выходных дней, ходить в кино нельзя, заводить подруг, ездить в метро откуда она могла принести детям заразу, тоже нельзя. Детей было двое, хозяйин с хозяйкой и бабушка с дедушкой, те — совсем деревенские, бабушка и дома повязывалась ситцевым белым в крапинку платком: уши мёрзнут. Так прожила Сима год с лишним, говорила, бабушка с дедушкой жалели её, но сыну и невестке перечить не смели.

Тёща моя, Тамара Кондратьевна, приклеила на трубе у Киевского вокзала объявление: требуется няня. Она действительно требовалась: мы ждали дочку, но Элла продолжала работать в школе учительницей старших классов, Мишутка, сын наш, ещё маленький, тёща перенесла инсульт, как-то надо было справляться. Первой позвонила Сима. Приехала. Конопатенькая, нос уточкой, чуть картавит, ноги носками вовнутрь. Что умеет? Да ничего практически не умела. Бывало пожарит картошку, она у неё почему-то всегда синяя. Но было в ней то, что дороже умения: из глаз её растерянных человек смотрит, нам она сразу понравилась. И сын наш в дальнейшем не отходил от неё ни на шаг. Вот Сима гладит бельё, Мишутке уже четыре года и два месяца, он вертится около неё и рассказывает (первые слова, первые разговоры наших детей я записывал):

— Сима, знаешь, в кинотеатре, когда глядят и подают бельё, этот дядя называется гинеколом.

Бабушка услышала и в ужасе начала уговаривать:

— Мишенька, такого слова нет. Ты, наверное, хотел сказать: зубной врач...

Но Мишутка в своём познании твёрд, отвечает тоном взрослого:

— Зубного врача в кинотеатре не бывает.

И — Сима:

— Ты не слушай, Сима, бабушка глупости говорит. Вот пойдёшь в кинотеатр, прочти, там написано: «Г» — гинеколом. Гинеколка — тётя, гинеколом — дядя.

Сима только закатывается беззвучно, схватится за живот, рот разинув: «Ой, меня смех разнял!».

Познания Мишутки были не совсем случайны: мы, как уже сказано, ждали дочку, какие-то разговоры он слышал. Через год с небольшим снимали мы на лето времянку, а сами на пустом голом участке ставили финский дом, будущую нашу дачу. Осталась фотография: всё разрыто, тренога с блоком над колодцем и Сима, как беженка, с младенцем на руках, с дочкой нашей. И вдруг однажды слышим радостный её крик:

— Эльга Анатольевна, Шурочка пошла!

Видим, топают по дорожке: впереди — дочка наша крошечная на нетвёрдых ногах, за ней и над ней, ограждая руками и юбкой — Сима. И такая счастливая, такая радостная.

Вот здесь, в нашем посёлке, верней — в трёх километрах отсюда, в военном городке, встретила она Сашу: на короткое счастье своё и на беду. Эти три километра — от военного городка до нашей калитки, столько раз были ими исхожены, вся их любовь здесь прошла. Бывало зайдёт Саша за ней, и тут же Мишутка бежит к нему. Пока Сима принаряжается, они разговаривают за калиткой, как равный с равным, Саша наденет ему на голову свою солдатскую фуражку. И вот вышла Сима, платье белое красными маками, в волосах душистая роза-ругоза, возьмутся они с Сашей за

руки, а сын наш не отстаёт, позвали его, даже прикрикнули, а у него в святой его наивности — слёзы негодования:

— Саша не к ней, Саша ко мне пришёл!..

Саша дослуживал последний месяц, дальше — дембель, и уже всё у них было сговорено, они уедут к нему в город Горький, так тогда назывался Нижний Новгород. А познакомились, конечно, на танцах, где же ещё могла Сима себя показать? Там Саша и разглядел её, подошёл, пригласил и весь вечер танцевал только с нею. И — все остальные вечера. Это была первая и единственная Симиная любовь. И так они подходили друг другу, такой он был настоящий парень, все подружки завидовали Симе, а она только его и видела. Месяц оставалось Саше служить, кто мог знать, что жизнь его оборвётся раньше. И оборвалась внезапно. Майские праздники. Сашу, как самого надёжного, назначили в наряд старшим. Ездили они на грузовике, разыскивали и подбирали пьяных. Уже нескольких, допившихся до мычания, уложили в кузове, когда обнаружили в кустах ещё одного. Вместе с шофёром погрузили его, Саша только впрыгнул в кузов, стоял спиной к заднему борту, закуривал, шофёр дёрнул внезапно. Из Симиных рыданий узнали мы, что Саша, падая, сломал позвоночник, затылком ударился об асфальт.

Через год Сима вышла замуж: как-то надо было устраивать свою жизнь, вышла за сашинного товарища. И тоже был он родом из Горького и тоже звали его Сашей. А то, что ростом чуть пониже её, немного кривоног — такого уж судьба послала. Всё поначалу у них складывалось хорошо, если судить по Симиным письмам, которые прочесть надо было уметь: учиться ей не довелось. Однажды, дело уже к осени, смотрим, идут по дорожке Сима с мужем. Возвращались они из Воронежа, с похорон, путь ле-

жал через Москву, и подъехали на дачу к нам: проведать.

В такой же осенний день пропала у Симиной матери корова. Искала, искала её, потом, взобралась на самый высокий пригорок, может отсюда увидит, куда корова забрела, стояла в ватнике, с палкой в руке. Ни дождя не было, ни тучки на небе. И вдруг — молния, одна единственная. Прямо в неё. Поплакала Сима у нас, и всё поражалась, как Шурочка выросла. Уходили они, увозя чешскую кровать: Сима уже ждала ребёнка. Потом как-то заехал к нам в Москву Саша с двумя детьми: мальчик и девочка, вёз их куда-то на юг. Потом были письма к праздникам. Но всё реже, реже. Знали мы, что живут они в развалюхе, зимой вода в ведре замерзает. Помочь Симе я тогда не мог. Мы тоже начинали жизнь, как в осаде: в одной комнате нас четверо с крошечным сыном, в двух других комнатах — соседи с открытой формой туберкулёза.

И вот лето 1988 года. Дочка наша, Шура, — майская. И Шурина дочка, Маргарита, тоже родилась в мае. И вскоре случилось так, что Шуру забрали в больницу, а маленькая гаснет у нас на глазах: в роддоме её заразили стафилококком. Лежит тихенькая, не плачет, не ест и не пьёт. Мы уже из пипетки пытались её поить. Ночью Элла позвонила в неотложную помощь, попросила, чтобы приехал детский врач. Приехала немолодая женщина: «Бабушка, вы её не спасёте». Страшно было ночью везти крошечную в больницу, отдавать в чужие руки. Может, до утра отложить? «Вы не понимаете, тут час решает». И врач села к телефону и не ушла, пока не добилась места в 7-й детской больнице. Ни фамилии своей не назвала, а, может, мы в тот момент и не запомнили: пришла, спасла и ушла. Душной майской ночью везли мы нашу внучку в больницу, она была вся потная во фланелевом одеяле,

боялись, что она подхватит ещё и воспаление лёгких.

Когда сегодня я вижу нашу внучку, рослую красивую девочку с огромной косой, мне страшно вспомнить, что жизнь её зависела от одного нашего слова: повезём — не повезём. Потом мне удалось разыскать профессора Тоболина, ему я тоже благодарен всю жизнь: «Посмотрите, какие у неё глазки, — сказал он, — У неё умные живые глазки. Это — живчик». В ту ночь у себя дома я впервые спал убойным сном. И когда разбудил меня ранний телефонный звонок, страхом обдало: из больницы звонят. Мне что-то говорят, а я ничего не пойму. И голос вроде знакомый, картавый.

— Григорий Яковлевич, это — Сима!

Оказывается, она уже несколько дней звонит нам, да мы-то в те дни дома не жили. А у Симы последняя надежда рушится. Третий раз за эти годы выстаивала она очередь на квартиру, и каждый раз в последний момент её выкидывали из очереди, квартиру отдавали кому-то другому. И вот опять сдают новый дом, кирпичный, ей уже называли номер квартиры, тайком с дочкой они ходили смотреть. И вдруг узнала: на фабрике — новый главный инженер, ему решили отдать эту квартиру. А она... Кто она? Зимой и летом сгружает на фабричном дворе коровы, свиные шкуры.

— Григорий Яковлевич, я уже седая вся.

Это почему-то больней всего меня ударило: Сима уже седая. А я всё ещё помню её девчонкой. Я взял у Симы телефон фабричной проходной, своего телефона у неё не было. И когда звонил, бежали искать её по двору, чувствовалось, многим беда её не безразлична, ждут, что из всего этого выйдет.

Я уже год в то время был редактором журнала «Знамя», был делегатом XIX партийной конференции, которая вот-вот должна открыться. Если бы

надо было просить за себя, у меня бы язык не повернулся назваться, что мол, такой-то и такой — то с вами говорит. Но другого разговора начальство не понимает, абы с кем разговаривать не станет. Да и не за себя прошу. Я позвонил первому секретарю Горьковского обкома партии. Он трубку, разумеется, не взял. Позвонил второму секретарю. Тоже занят. Говорить со мной поручили третьему секретарю обкома, женщине.

— А вы знаете, что муж её сейчас находится в ЛТП?

— От такой жизни запьёшь, — сказал я.

И при каждом новом разговоре она вываливала очередную корзину компромата на Симу, на её мужа, на сына.

Я сказал ей, что в Москве уже скинули Гришина. Первый секретарь Московского горкома партии Гришин недавно ещё казался незыблем, как сама Москва. Я сказал ей, что с трибуны конференции назову имя их первого секретаря обкома, а в «Известиях» будет напечатана статья, как они издеваются над рабочим человеком, пусть она всё это ему дословно передаст. «Рабочий человек» — это звучит с трибуны. Не интеллигент какой-то, к которому, как правило, пристёгивалось: «бесхребетный», «мягкотелый».

За два дня до открытия партконференции Сима кричала в трубку:

— Дали квартиру, Григорий Яковлевич, дали! Я уже занавески на окна купила! Мне бы, главное, дочку мою, Наташу спасти!

И вот первый день партконференции. Всё торжественно. Президиум. Там, среди мужских пиджаков и лысин — крупная крашенная дама, широкий ярко-красный рот: Бирюкова. В президиумах, в райкомах, в политбюро полагалось, чтобы представлена была женщина хотя бы в единствен-

ном экземпляре: олицетворяла собой... В дальнейшем, когда ещё только мелькнёт возможность что-то приватизировать, Бирюкова, одна из первых делает своей собственностью государственную дачу. А я смотрел тогда на неё из зала. Она тоже — воронежская. И думалось: вот сидит, красуется, а чем она обогатила, чем украсила жизнь? Лиши её должности, и завтра вспомнить будет нечем. (Так, между прочим, и случилось.) Но какая разница судеб: её и Симиной. А она с таким правом восседает на сцене, в президиуме, словно там пожизненное её место обитания.

Дома меня ждала телеграмма: Сима умерла, кровоизлияние в мозг. Похороны тогда-то...

С переменной века, тем более — тысячелетия, люди всегда связывали многие надежды и страхи. И у нас по ведомственной линии тоже готовились, строили какие-то планы — миллениум, миллениум! — как всегда, писалось множество бумаг. Я знал одну даму в администрации президента, которая года три была занята, как она выражалось, «третьим тысячелетием». Всё совершалось в строжайшей тайне, отдельный кабинет, дверь всегда на замке, открывалась не всякому. За это время успел и президент смениться, а она всё «готовила третье тысячелетие».

Тем не менее оно наступило: и новый век, и новое тысячелетие. 31-го я сел с утра за стол, и был рад, что работалось. Это стало суеверием: обязательно 31-го писать, чтоб в будущем году писалось. Встречали мы Новый год, как всегда, на даче. Это самый уютный, самый теплый домашний праздник. До этого, 30-го, был Новогодний приём в Кремле, я не поехал.

Сын с внуками спилили для нас ёлку, поставили в песок: каждый из них троих уже сильнее ме-

ня. А сыну хотелось всё сделать и зажечь огоньки, и полюбоваться, как они нам будут светить, потому что встречал Новый год он не с нами. С тех пор, как он — взрослый, он встречает праздники в своей компании, внуки — в своей, но под бой курантов они все звонят нам. Когда-то дети наши, Миша и Шура, ещё маленькие, решили сделать нам подарок. В темноте пошли в лес с ножовкой и там стали валить огромную, заранее присмотренную ель. Шурёнок, а было ей лет пять, повязанная шерстяным платком, во всём слушалась брата. Как их не придавила рухнувшая ель, ума не приложу, задним числом мы с матерью пережили это очень явственно. С тех пор мы выращиваем ёлки у себя на участке. И эту, срезанную под новый век, вырастили из зёрнышка: с голубых елей падали шишки и прорастали, и одну Шурочка отсадила. Думали, будет голубая, но выросла зелёная, круглая красавица — купчиха, жаль было спиливать. Весной посадим новую.

2001 ГОД

Утро 1-го января. Покой, тишина. Белый свет снега в окнах. Полнейшее умиротворение. И работать сегодня не буду, и читать не хочется. Разве что снег разгребу на дорожках. А пока лежу и слушаю тишину. И ни одной мысли о том, что начался новый век, новое тысячелетие на дворе.

Незадолго до Нового 2001-го года на одном из приёмов случился у меня разговор с академиком Раушенбахом. Ему — 86 лет. А года четыре назад была у него сложнейшая операция, считалось, он безнадежен. Потом была изготовлена металлическая рамка на колёсиках, его ставили в неё, он упирался руками, и вот так передвигался, на девятом десятке лет заново учился ходить. А недавно ездил в Петербург читать лекции, шофёр, который встречал его, рассказывал: смотрю, выходит из вагона

Борис Викторович с палочкой. Вам помочь? Нет, нет, не надо...

И вот сидит он с дочкой на банкетке, я стою перед ними, общий шум голосов сотни с лишним собравшихся людей, и Борис Викторович с просветлённой улыбкой рассказывает:

— Это всё — наркоз. Они передали мне наркоза. Я сам слышал, как они сказали: он безнадёжен. Но страха смерти не было, вот что интересно.

Мне подумалось: в его возрасте, в моём возрасте, уже и не должно быть страха смерти. Страх у тех, кто представить не может жизнь без себя: как же так, меня не будет, а мир будет и всё будет... Но я не сказал этого, всё-таки он уже пережил то, чего я не пережил.

Светлыми, детски чистыми, радостными глазами глядя, он сказал, что свою смерть он видел. Он потом читал об этом у одного американца. Но то, что он видел, он видел сам. Он видел свет, и так хорошо, так легко там, туда хотелось. А с противоположной стороны — тьма, мрачная, тяжёлая. Но он выбрал этот мрак и тьму. Жизнь.

— Вы записали это? — спросил я.

— Нет.

— Борис Викторович, вы великий грешник. Ну наговорите хотя бы на магнитофон.

— Папа, у нас ведь есть диктофон, — поддержала меня дочка.

У меня здесь всё скомкано: пересказ. Только глаза его, светлые, радостные вижу, когда пишу это. Соберётся ли, запишет ли?

Род Раушенбахов насчитывает в России 9 поколений, все они поимённо перечислены в его книге. Из княжества Ангальт-Дессау их предок Карл-Фридрих Раушенбах с женой в числе других 800 отъезжающих, переселился на Волгу при Екатерине II, при матушке Екатерине, как он называет её.

Однажды, в Германии, уже в наши дни, женщина спросила Бориса Викторовича, он рассказал мне об этом: на каком диалекте вы говорите? На умирающем диалекте, сказал он. Известнейший наш учёный академик Раушенбах, участвовал ещё в создании грозного оружия времён войны, «Катюши», тем не менее в 42-м году был арестован, сидел в Тагиллаге: немец. Как-то он сказал мне: я понимал, за что сижу, я понимал их логику.

В ЮАР индусы, как правило, — торговцы. В Индии большинство населения — земледельцы, эти тоже потомки земледельцев. Но были оторваны от земли, как 2000 лет назад насильственно изгнали с земли евреев. И если всем им дать сейчас землю не как форму собственности, а как средство прокормления, не многие кинутся обрабатывать её. Их профессией и призванием стало и ремесло, и торговля, и финансы, а сколько художников, музыкантов, физиков, учёных разных специальностей, писателей обогатили мир! Но в Израиле, после двухтысячелетнего изгнания, евреи возродили земледелие на своей отвоёванной родине: они возрождали свою страну. Они насадили апельсиновые, финиковые рощи (их солдаты, воевавшие в Африке против фашистской армии Роммеля, принесли в карманах шинелей косточки фиников), они вырыли в пустынях пруды и заселили их рыбой, они провели капельное орошение, и города их и кибуцы — все в зелени. Наш средний урожай картошки — 100 центнеров с гектара. В Израиле — 800 центнеров. Они производят продовольствия больше, чем им самим требуется и даже вынуждены были ввести квоту на вывоз продовольствия. При всём при том это страна самых высоких технологий. Например, мы продаём Индии истребители, а вся начинка в них, вся электроника израильская, она и составляет основную цену ис-

ребителя. Недавно мой знакомый, бывший министр, русский, лёг в клинику в Израиле по поводу операции на сердце. Такие операции делают и у нас, но он поехал в Израиль, и там его оперировал бывший московский хирург, который, видимо, не за был «дело врачей».

В феврале 2000 года газета «Известия» опубликовала один из результатов опросов ВЦИОМ. Был задан вопрос: «Как вы считаете, есть ли такие евреи, которые нанесли большой урон русскому народу или другим народам России и бывшего СССР? Если да, назовите их имена». И вот ответы: Л. Берия (5,8%), В. Ленин (2,5%), Л. Троцкий (2%), А. Гитлер (1,8%), Л. Каганович (1,8%). Далее — по убывающей и малоинтересно. Это атмосфера наших дней.

Хорошо помню, как у нас писали, что Мао Цзэдун в Китае объявил «великий скачок». Чтоб совершить его, повсюду, даже при театрах, строили или должны были строить свои небольшие домны, плавить сталь, и таким образом Китай по производству стали вскоре обгонит то ли Европу, то ли Америку, то ли всех разом. А в деревне создавались «народные коммуны», они должны были всех китайцев накормить. Но, пожалуй, больше всего говорили о том, как в Пекине уничтожили воробьёв, тем самым тоже решая продовольственную проблему: горожане, стоя на крышах домов, на улицах, били в кастрюли, в крышки кастрюль, орали, махали чем попадая, не давая воробьям садиться, и те метались в воздухе и, обессилев, падали замертво. Об этом много говорили, смеялись и жалели воробьёв. И вот недавно в связи с годовщиной смерти Мао Цзэдуна, который правил в Китае столько же, сколько Сталин у нас, т.е. тридцать лет, читаю в «Общей газете»: «По сути, всё время пребывания Мао Цзэдуна у власти было огромным несчастьем для Китая. Во

второй половине 50-х годов он устроил «великий скачок» и «народные коммуны», в результате чего в стране начался страшный голод и погибли 400 миллионов человек. Голодных смертей таких масштабов в XX веке не знал ни один народ.... По официальным данным, во время другого бедствия, спровоцированного Мао Цзэдуном — Культурной революции — пострадали (либо погибли, либо были в той или иной степени изувечены, репрессированы) более 100 миллионов человек». Прочёл и снова прочёл — невозможно поверить. Но сообщение промелькнуло, и даже не многими было замечено. Я потом спрашивал знакомых. «Неужели правда — четыреста миллионов?» — «Да? Не читал...» А ведь это почти столько же, сколько во всей Европе живёт. Можем мы представить себе: вся Европа вымерла от голода. А тут даже и не заметили. Впрочем, с той же лёгкостью, с которой названа была цифра 400 миллионов, вскоре в той же, в «Общей газете», вместо четырёхсот называют уже цифру 30 миллионов. Но и это — шесть Финляндий. А английский историк Дисаспер Бекер в своей книге «Китайцы», вышедшей в Нью-Йорке в 2001 г. утверждает, что за годы правления Мао погибло 75 миллионов, от голода — 30. Когда счёт на сотни, на десятки миллионов человеческих жизней, какое значение имеет — миллионом больше, миллионом меньше. А одна человеческая жизнь вовсе не в счёт: пушинка, её сдувает с весов истории. Если, конечно, эта пушинка — не ты сам.

И вот тут мне хочется вспомнить слова не художника, а политика, президента США Джона Кеннеди:

«В вихре ежедневных конфликтов и кризисов, драматических стечений обстоятельств, в суетоке политической борьбы поэт, художник, музыкант продолжают незаметный труд столетий,

создавая мосты общих переживаний между народами, напоминая человеку об универсальном характере его чувств, желаний и горестей, напоминая ему о том, что силы единения глубже сил разъединения... Память об Эсхиле и Платоне сохранилась поныне, а слава афинского государства канула в вечность. Данте пережил гордыню Флоренции XIII века. Гёте безмятежно возвышается над всей германской политикой. И я уверен, что, когда осядет пыль веков над нашими городами, о нас тоже будут вспоминать не за наши победы и поражения на поле битвы или в политике, а за то, что мы сделали для духовного развития человечества».

А Мао Цзэдун лежит богоподобно в центре Пекина, в мавзолее, палач своего народа, и ему поклоняются. И у нас поклоняются: и тому, кто — в мавзолее, и особенно тому, кого вынесли из мавзолея ногами вперёд и закопали поблизости. Не зря говорили после XX съезда, когда стали снимать памятники: «Сохранивайте пьедесталы, они ещё пригодятся».

Марлен Хуциев, вроде бы неглупый человек, талантливый режиссёр, по моему рассказу и моему сценарию ставил фильм «Был месяц май», в работе мы понимали друг друга с полуслова, и вдруг он публично возвеличивает Сталина. А ведь в ходе сталинских репрессий был уничтожен его отец, уж это-то он помнить должен. Система, созданная Сталиным, запрещала его фильмы, и он же — «Сталин создал великое государство! При Сталине мы выиграли войну!». Старый, седой, семьдесят лет ему исполнилось. Он же знает, мы говорили об этом не раз, что Сталин, а не кто другой поставил в 41-м году страну на грань гибели, уничтожив перед войной цвет Красной Армии. Что это, голос крови? Так ведь и кровь у него смешанная, в политике эти два народа,

грузины и осетины, так плохо совмещаются, а в нём слились.

Фильм наш «Был месяц май» Хуциев снимал в Калининградской области, а я по его просьбе приехал на съёмки. Войсками тогдашнего Прибалтийского военного округа командовал генерал Хетагуров, он дал нам полк для массовых сцен и сам иногда приезжал посмотреть, «как кино снимают». Сейчас мало кто помнит Хетагурова, а имя его в своё время было известно широко. В 30-е годы призвали девушек ехать на Дальний Восток, где стояла наша армия. Движение возглавила будущая жена Хетагурова Валентина. Был создан фильм, в котором её или прообраз её играла актриса Валентина Серова, и была песня: «Будьте зорки, девушки, / У границы, девушки, / Защищайте наш Дальний Восток». Многие из этих девушек стали в дальнейшем жёнами командиров, что, собственно, и планировалось. А имя Валентины Хетагуровой узнала вся страна, соответственно стал расти по службе и её муж, в ту пору ещё только лейтенант Хетагуров. И вот, на склоне лет он командовал округом.

Как-то нас с Марленом Хуциевым пригласил к себе на ужин командир полка, его солдаты участвовали в съёмках. Грузинский дом, грузинский стол, грузинское вино... Было уже достаточно выпито, когда Марлен куда-то вышел, и командир полка спрашивает меня: «Он что, осетин?». И такое брезгливое выражение лица... «Ну что вы! — говорю. — Грузин!». А вскоре и генерал Хетагуров, осетин, спросил меня на съёмочной площадке: «Он что, грузин?». И то же выражение лица только ещё и грозное при том. «Ну что вы! — говорю. — Осетин!». Тогда мне это смешно показалось. Знать бы, какой жар все годы тлел под пеплом, как он ещё полыхнет в наши дни.

«Тщательное наблюдение за русскими убеждало меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях. Во дворе крепости Бреста, который просматривался с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они проводили развод караулов. Береговые укрепления вдоль Западного Буга не были заняты русскими войсками. Работы по укреплению берега едва ли хоть сколько-нибудь продвинулись вперёд за последние недели. Перспективы сохранения момента внезапности были настолько велики, — пишет Гудериан, — что возник вопрос, стоит ли при таких обстоятельствах проводить артиллерийскую подготовку в течение часа, как это предусматривалось приказом».

Шестьдесят лет прошло, но читать это и сейчас больно. 22-го июня в 3 часа 30 минут немецкая армия начала наступление по всему фронту: от Чёрного до Балтийского моря. Ночью Жуков позвонил Сталину попросил разбудить, долго ждал. «Я доложил обстановку и просил разрешения начать ответные боевые действия. И. В. Сталин молчит. Я слышу лишь его дыхание.

— Вы меня поняли?

Опять молчание».

И наконец:

«Приезжайте в Кремль с Тимошенко. Скажите Поскрёбышеву, чтобы он вызвал всех членов Политбюро».

Но он всё ещё не верил, что это — война, он верил Гитлеру:

«И. В. Сталин был бледен:

— Не провокация ли это немецких генералов?

— Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Какая же это провокация... — ответил С. К. Тимошенко. — Если нужно

организовать провокацию, — сказал И. В. Сталин, — то немецкие генералы бомбят и свои города... Гитлер наверняка не знает об этом».

И когда Молотов после встречи с германским послом доложил, что германское правительство объявило нам войну, «И. В. Сталин опустил на стул и глубоко задумался». Теперь уже не суть важно, о чём он думал, думать надо было раньше. Многие месяцы ему сообщали, что германские войска сосредоточиваются у наших границ, в простой бинокль это уже видели наши пограничники. Наши закордонные разведчики, рискуя жизнью, предупредили заранее, когда на нас нападут, назвали месяц, день и даже час. «20 марта 1941, — пишет Г. К. Жуков, — начальник разведывательного управления генерал Ф. И. Голиков представил руководству доклад, содержащий сведения исключительной важности». Это был секретнейший план «Барбаросса». 6 мая адмирал Кузнецов направил Сталину записку: наш военно-морской атташе доносит из Берлина о готовящемся вторжении в СССР. И тоже называлась дата. О готовящемся на нас нападении сообщал из Германии наш разведчик, немец Арвид Харньюк, член знаменитой «Красной капеллы». В начале марта он информировал: «Немцами решён вопрос о военном выступлении против Советского Союза весной этого года». 17-го июня — он же: «Все военные мероприятия Германии по подготовке вооружённого выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время». Рихард Зорге 31 мая 1941 года сообщал: «Военный атташе Шолл заявил: следует ожидать со стороны немцев фланговых и обходных манёвров в стремлении окружить и изолировать отдельные группы. Война начнётся 22 июня 1941 г». И подтвердил 17-го июня: «Повторяю: 9 армий из 150 немецких дивизий совершат нападение

на советскую границу 22 июня!». В дальнейшем Сталин откажется выменять Зорге, когда он будет схвачен и посажен в японскую тюрьму. Японцы предлагали, он отказался: зачем ему такой свидетель?

Ещё в феврале 1941 года наша разведчица, немецкая журналистка Ильза Штебе (пароль — «Альта», в дальнейшем расстреляна в гестапо, но и под пытками не выдала другого нашего разведчика) раскрыла даже будущий характер действий Вермахта: «...Посвящённые военные круги по-прежнему стоят на той точке зрения, что совершенно определённо война с Россией начнётся в этом году... Сформированы три группы армий, а именно: под командованием маршала Бока, Рунштедта и Риттера фон Лееба. Группа армий «Кенигсберг» должна наступать в направлении Петербурга, а группа армий «Варшава» — в направлении Москвы, группа армий «Позен» — в направлении Киева. Предполагаемая дата начала действий якобы 20 мая. Запланирован, по всей видимости, охватывающий удар в районе Минска силами 120 немецких дивизий».

Короче говоря, заранее, задолго до «внезапного нападения», были известны не только примерные сроки, была известна точная дата, был известен стратегический план. Но разведданные, спецсообщения шли в три адреса: первый список — три человека: Сталин, Берия, Молотов. Во втором списке — они же и ещё двое. И только в третьем списке, где значилось пятнадцать человек, 14-м по счёту был Нарком обороны Тимошенко, 15-м — начальник Генерального штаба Жуков. То есть до них сведения могли и не доходить. Их могли и не посвящать.

13 июня С. К. Тимошенко в присутствии Г. К. Жукова просил разрешения дать указание привести войска приграничных округов в боевую готовность. «Это же война! Понимаете вы это оба или нет?!». И на следующий день — то самое знаменитое

сообщение ТАСС о том, что «по нашим сведениям» немцы, дескать, и не думают нарушать мирный договор... А через два дня, 16 июня — срочно передали из нашей берлинской резидентуры: Гитлер принял окончательное решение напасть на СССР 22-го июня. Сталину доложили. «Что за человек, сообщивший эти сведения?». Объяснили: проверенный человек, немец-антифашист, работает в Министерстве воздушного флота, весьма информирован. «Дезинформация! Можете быть свободны». Соответственно и робкий Голиков, Начальник нашего Разведуправления Генштаба, обладавший абсолютным нюхом, обобщая донесения разведчиков, приписывал: «... Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию...». И в том же духе — Берия 21-го июня, когда до войны оставалось меньше суток: «В последнее время многие работники поддаются на наглые провокации и сеют панику. Секретных сотрудников «Ястреба», «Кармен», «Верного» за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль как пособников международных провокаторов, желающих поссорить нас с Германией. Остальных строго предупредить».

Личный переводчик Сталина Валентин Бережков пишет в своей книге «Рядом со Сталиным», как в начале войны Сталин в его присутствии сказал Гопкинсу, которого Рузвельт прислал узнать обстановку, что нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. И поражается Бережков: «Как это могло быть? Ведь в нашем посольстве в Берлине имели достоверную информацию о готовящемся вторжении, знали даже точную дату — в ночь на 22 июня. Все эти сведения посольство посылало в Москву... Наконец, ночью 21 июня на стол «хозяина» легло донесение о перебежчиках, которые, рискуя

жизнью, переплыли Буг и Днестр, чтобы в последний момент предостеречь советское командование о начинающемся через несколько часов вторжении. Ничему этому Сталин не верил... В свете этого эпизода важно учитывать особое отношение Сталина к Гитлеру. Они никогда не встречались. Но Сталин ждал такой встречи, испытывал к нацистскому диктатору своеобразное тяготение. Судя по высказываниям Гитлера, он тоже высоко ценил Сталина. У них было немало общего. Их методы овладения волей масс во многом совпадали». Бережков переводил, когда Гитлер, пожимая руку Молотову в ноябре 1940 года, говорил:

«— Я считаю Сталина выдающейся исторической личностью. Да и сам лишь себя мыслю, что войду в историю. И естественно, что два таких политических деятеля, как мы, должны встретиться. Я прошу вас, господин Молотов, передать господину Сталину мой привет и моё предложение о такой встрече в недалёком будущем...

По возвращении в Москву Молотов, разумеется, передал Сталину предложение Гитлера, которое, судя по всему, сыграло существенную роль в просчётах Сталина, связанных с определением сроков нападения Германии на СССР».

До «встречи», до начала войны оставалось 7 месяцев.

Допустим, Сталин не верил Черчиллю, который тоже предупреждал: из европейских стран только Англия ещё сражалась с Германией, англичанам было выгодно столкнуть нас с немцами и «пусть они обескровливают друг друга». Но на то и глава государства, чтобы из множества фактов сделать правильные выводы. Тем более, если это — «гений всех времён и народов». Имея все карты на руках, он из всех возможных вариантов выбрал самый гибельный, самый катастрофический. А перечить ему ни-

кто не смел. И народ наш расплатился за это миллионами жизней.

Есть пьеса Алексея Константиновича Толстого: «Смерть Иоанна Грозного». При Сталине эта пьеса у нас не шла: Сталин испытывал к Грозному тёплые чувства. Вот одна из сцен: хан идёт с ордою на Москву, Ливонию воюют шведы. «Что делать мне? Как царство мне спасти?» — спрашивает Иоанн у схимника. И схимник советует призвать славных воевод: «Они тебе привыкли языцей покорять», и перечисляет их поимённо. Но после каждого имени — «Он изменил мне — и казнён... Казнён... Он мной убит... Он на пытке умер... Утоплен».

Будущие герои Отечественной войны, будущие маршалы ходили в лагерях под конвоем, сидели в тюрьмах: и Рокоссовский, и Мерецков. Из 5 предвоенных маршалов расстреляно было 3, а для decorations оставили двух самых бездарных: Будённого да Ворошилова, из 4-х командармов 1-го ранга расстреляно 3, из 2-х адмиралов флота расстреляно 2, из 12 командармов расстреляно 12, из 67 командиров корпусов расстреляно 60. Список этот бесконечен, 43 тысячи офицеров и генералов были арестованы, расстреляны, загнаны в лагеря. Накануне войны Сталин обезглавил армию. Трагедия 41-го года начиналась в 37-м году, я об этом писал в моём романе «Июль 41 года», который и пролежал под запретом 12 лет.

А теперь посмотрим, что предшествовало Сталинградской битве. После разгрома немцев под Москвой Сталин решил начать лето 42-го года несколькими наступательными операциями. Конечно, это было распыление сил и, неминуемо, — огромные потери. Но... «Совещание закончилось указанием И.В.Сталина подготовить и провести в ближайшее время частные операции в Крыму, на харьковском направлении и в других районах», —

пишет маршал Жуков. Известно, чем эти операции закончились. В Крыму — полнейшей катастрофой, пал Севастополь, который держался 9 месяцев. На Северо-Западном фронте наступление наше безуспешно шло целый месяц. Я был там тогда: рядовой 387-го артиллерийского полка, я и сейчас вижу, как вновь и вновь, понукаемая, подымалась в атаку наша пехота, а танков там у нас почти и не было, как с флажками в руках бежали пехотинцы на Белоборские высоты и падали под огнём. Это политруки придумали: вручать флажки, и с ними — кто первый добежит.

«Действительно ли И. В. Сталин был выдающимся военным мыслителем? Конечно, нет, — пишет маршал Г. К. Жуков. — Всё это нагородили в угоду И. В. Сталину, чему способствовал он сам... В начале войны он пытался проявить своё личное военно-оперативное творчество, основанное на опыте времён гражданской войны, но из этого ничего хорошего не получилось. До разгрома немецких войск в районе Сталинграда он имел поверхностное понятие о взаимодействии в операциях всех родов войск и видов вооружённых сил. Не разбираясь глубоко в сложности, методах и способах подготовки современных фронтовых операций, И. В. Сталин зачастую требовал явно невыполнимых сроков подготовки и проведения операций... Такие операции не только не достигали цели, но влекли за собой большие потери в людях, материальных средствах.... Мы убеждали И. В. Сталина в том, что преждевременный ввод в сражение необученных и не сколоченных частей приводит к излишним потерям. В таких случаях он сердился и говорил: «Нечего хныкать, на то и война»... за время войны он лично ни разу не побывал в войсках фронтов и своими глазами не видел боевых действий».

И вот по его приказу начато было наступление на Харьков. Здесь немцы уже сосредоточили крупные силы, готовясь начать наступление на Сталинград и на Кавказ. Они пропустили наши войска в мешок, ударили с флангов, отрезали, девяносто тысяч, как считалось ранее, а по последним подсчётам — 270 тысяч наших солдат и офицеров погибло, попало в плен. Это харьковское наступление, начатое по его приказу, фактически открыло немцам ворота на Сталинград.

Но даже когда немецкие танки вышли к Сталинграду на прямую наводку, он запретил эвакуировать из города мирное население, звонил специально, грозил. Двести двадцать тысяч мирных жителей погибло в городе за время боёв. Мужчины сражались, но дети, женщины, оставшиеся под снарядами, под бомбами. Неужели забыто всё, и пепел их не стучит в наши сердца?

Как знамёна разгромленного врага бросали к подножью мавзолея, на котором стоял он, так при его жизни все победы нашего народа, все достижения освящались его именем, приписывались его гению, повергались к его стопам. При нём мы победили. А поражения наши были не при нём? Не случайно вскоре после войны он запретил праздновать День Победы. Но нынче и это забыто, спросишь молодых людей — «Да? Разве не праздновали?». А ведь это он запретил. Почему? Да потому, что этот праздник — со слезами на глазах. Потому, что нет в нашей стране семьи, в которой не было бы убитых. Миллионы и миллионы павших на войне, вот какая цена победы. И это требовалось забыть.

Страна, которая не похоронила с почётом погибших на поле боя своих сынов и дочерей, обречена на многие бедствия. В своё время, Хрущёв сказал: «Не будем превращать Москву в кладбище».

И запретили мемориальные доски. Помню, с какими трудами удалось нам добиться, чтобы разрешили рабочим одного из московских заводов за собственные деньги установить во дворе завода мраморную плиту с именами тех, кто уходил отсюда на фронт и отдал жизнь за родину. С тех пор минули десятилетия, времена вроде бы переменялись. Но вот недавно — передача по TV: «Забытый полк». Передача человеческая: в основном, о тех, кто погиб безвестно, сохранился только на фотографиях, жив ещё в памяти родных. И одна из женщин в студии сказала, что, мол, как же так, до сих пор лежат по лесам и оврагам кости не похороненных солдат, а ведь больше полувека прошло. Ох, как тут взорвался генерал — полковник авиации: «Если нам начать всех хоронить, некогда будет строить!». Что он строить собрался, дачу? Вы, мол, мамаша с папашей, полежите усопшие, некогда, не до вас, мне строить надо... И такому пещерному дуболому подвластны в жизни своей и смерти наши стриженные мальчишки. Это он их матерям сказал, чтоб наперёд знали: хоронить будет некогда, надо строить. И лицо бурой кровью налилось, глаза выперли, никто в студии не нашёлся слова сказать в ответ.

На полях Воронежской области погибло во время войны около или более 400 тысяч наших солдат и офицеров. Сейчас добровольцы откапывают кости погибших. И вот уже третий год, ссыпанные в мешки, стоят эти кости в сараях: тут косить, тут сено возить, нет денег на то, чтобы похоронить с почётом, на горюче-смазочные материалы денег не хватает. В одном бумажном мешке — кости, каска и малая сапёрная лопатка опознанного солдата. Черенок лопаты так же, как и его плоть, сгнили в земле. Возможно, никого из родственников его нет в живых. Так и стоит этот мешок в сарае. Зато мы гордимся своей духовностью.

Был сентябрь, прозрачный день ранней осени. В такой день с особенной силой чувствуешь, какое всё же чудо — жизнь, подаренная нам неизвестно за какие заслуги. Иду из магазина вдоль заборов нашего посёлка. Навстречу Саша М. В чёрной куртке, в серой тёплой фуражке. Поздоровались. Остановились. Вижу, что-то хочет сказать, но вроде бы колеблется.

— Прочёл твою книгу, — сказал он, — Слушай, как похожи биографии!

Мы с ним по сегодняшним меркам — одногодки, но в войну три года разницы имели значение. Когда мне было 17, ему уже — 20. В двадцать лет я взводом командовал, и почти все солдаты и сержанты были старше меня, и было во взводе двое по нашим тогдашним понятиям — стариков: лет по сорок с лишним. На войне Саша М. был сапёром, за одно это можно уважать человека. После войны подымался по должностной лестнице, занимал ряд постов, дорос до инструктора ЦК. Тут мы не были близки. Но и это уже — прошлое. Как многим бывшим, неуютно ему в нынешней жизни. А прочёл он, оказывается, мою мемуарную книгу «Жизнь, подаренная дважды» и заговорил о том, что было общим, о годах войны:

— Читал и вспоминалось. Как всё похоже!..

Мы постояли, потом прошлись, сближенные прошлым. С тополей, с берёз уже сыпался понемногу жёлтый лист. С тех пор, как он купил здесь дачу, а этому уже лет двадцать минуло, не было случая, чтобы мы когда-нибудь гуляли вдвоём. И показалось мне, что-то его томит. Поёживаясь в этот тёплый сухой осенний день, он сказал вдруг:

— Я в больнице отлежал недавно. Что-то врачи вроде бы нашли у меня, да не говорят толком.

Темнят. Гулять, гулять, мол, надо побольше, дышать воздухом...

И сбоку, снизу (он меньше ростом) глянул: душой к душе, как к теплу, хотел прислониться. И взгляд его испуганный, спрашивающий, сказал мне всё: и что находят врачи, и что не говорят. И что сам он уже чувствует, да хотел бы обмануться. Я не обманываюсь, и вот уж что наверняка мне не требуется, так это чьё-либо сочувствие. На фронте бывало, я уже не раз об этом писал: глянет на тебя человек, а ты вдруг по лицу его поймёшь и испугаешься: его сегодня убьёт. Самое поразительное, что иногда случалось.

В октябре вышла книга недавно умершего Дмитрия Сергеевича Лихачёва. В связи с этим в концертном зале имени Чайковского был устроен вечер воспоминаний, и мне надо было там что-то сказать. По характеру я не публичный человек, хотя за жизнь приходилось мне и со сцены, и с трибуны говорить многократно, но каждый раз для меня это — испытание. А тут получилось так, что невозможно было отказаться. Под вечер, в шестом часу, прислали за мной машину, роскошный Volkswagen, вышколенный шофёр открывает дверцу машины, да не изнутри, а стоя при ней, чтобы закрыть, когда сяду. И как раз в этот момент проходит мимо Саша М. и видит всё это. Я задержался немного, но всё равно пришлось обгонять его, поневоле оттесняя к обочине. В своей серой тёплой фуражке, сосредоточенный, чуть присогнувшись, он шёл быстрым шагом, как предписали ему врачи, лицо было желтоватого оттенка.

И ещё несколько раз до Нового года видел издали ранними утрами, как он быстрым, а потом уже и не быстрым шагом прогуливает неизлечимую болезнь свою по снежной зимней улице, один в этот час. Вот он, жестокий и точный смысл пословицы:

«Перед смертью не надышишься». А сколько раз каждый употреблял её по пустякам.

Удивительно стремление людишек опознать великие творения человеческого духа. И тем прославиться. Некая дама составила комикс из «Анны Карениной» Толстого и утверждает, что из всех, читавших роман, только она поняла его: Анна была наркоманкой, потому, мол, и бросилась под поезд. Неплохое название у появившейся в связи с этим статьи: «Анка — наркоманка». А цель, меж тем, достигнута: теперь пишите, что хотите, хоть смейтесь, хоть ругайте — меня не было, а теперь я есть, обо мне пишут, а я даже под пролётку не попала, как тот чеховский чиновник, и не ушиблась, а прославилась. Её спросили на обсуждении: «Зачем вы всё это, к примеру, написали?» — «Ну как? Занять себя, денег заработать.» В книжном магазине «Мир Новых Русских» этот комикс продаётся по цене 600 рублей, примерно раз в десять дороже «Анны Карениной» Толстого. И вот критик, отъехавший в Америку, но пасующийся на здешней литературной ниве, пишет в журнале высокоумно: «Собственно, тут и кроется ответ на вопрос — кошунство или не кошунство сама идея и воплощение комикса «Анна Каренина». Здесь всё насмешливо. Добродушно. И, как ни странно, бережно. Авторы просто вычленили в гениальной книге одну лишь вневременную — или всевременную — мелодраматическую линию, которая в нём, разумеется, присутствует. Комикс уже залегал в романной толще, его лишь надо было разглядеть и извлечь... Уж как отплясывают вприсядку русские аристократы в американском фильме «Война и мир», а остаётся от него Одри Хепберн, вознёсшая Наташу Ростову ещё выше. Так и Анна в короткой юбке за стойкой бара — всё та же Анна, потому что Толстой запрограммировал её на разные обстоя-

тельства и многие века. На то и классический шедевр, чтобы быть неуязвимым и вечным».

Ну — бесстыдники! Та хоть откровенней: денег заработать... А этот солидно надувает щёки. Но русский язык подзабыл, «книга» у него мужского рода: «в гениальной книге... в нём...»

Одной серии американской «Войны и мира» я досмотреть не мог: увидел, как русские офицеры, аристократы, ложками едят чёрную икру, и ушёл. Впрочем, и фильм Бондарчука «Война и мир» я тоже целиком не видел, хватило одной серии вполне.

Слова исчезают из языка иногда бесследно, а иногда возвращаются вновь. Либо, пройдя сквозь века, предстают в новом своём значении. Обычно в ноябре месяце княгиня Ольга с дружиною своей собиралась к покорённым и обложенным данью древлянам на всю зиму: *на погост*, *на гощение*. Конечно, воздвигались там и строения жилые, и хоронили умерших. Слово *погост* живо и поныне, но только в одном определённом значении, хотя в городах более употребительно — кладбище.

Отчего вдруг приходят во сне те, кого давно уж нет, о ком даже и не думалось последнее время? Увидел недавно Ваню рыжего, смеялись, разговаривали, только, наверное, беззвучно: ни слова, ни фразы не запомнилось. С простодушной откровенностью он, молодой ещё, почёсывал за ухом под фуражкой, как бывало, когда дело к выпивке клонится. Уже лет десять, как его нет на свете, плотник был редкостный, цену себе знал, оттого не по годам рано стали по отчеству величать: Иван Васильевич. А рыжий был на удивление: глаза рыжие, весёлые, волосы такой рыжины я просто не встречал, руки крупные, все в веснушках, возьмёт доску в руку, сразу виден мастер. «Не кривая?» — озаботится хозяин.

«Нам из неё не стрелять». Любимая его поговорка. Многое он сделал и у нас в даче. Зимой, уезжая в Москву, когда дети ещё в школе учились, мы оставляли ему ключи, и он работал, как считал нужным. Очень не любил, обижался, если ему указывали, делать это нужно было в форме вопроса: «Как вы считаете, Иван Васильевич, не лучше будет, если бы, например вот так?». Задумается солидно. Иногда соглашался. А то вдруг лицо озарится озорной улыбкой: «Вот приедете, поглядите». Ему самому доставляло удовольствие сделать лучше, чем могли ожидать, удивить. Ну и, как водится, окончание дела отмечалось. За те лет тридцать, что я знал его, немало было выпито и в нашей беседке (он же и поставил её) и под хорошую закуску, и наскоро — под огурец да лук зелёный с огорода. Рядом с дачей Константина Симонова, на соседнем участке, стояла двухэтажная дача Евгения Воробьева. Построена она была с великим тщанием. Подоконники дубовые такой ширины, что спать можно на них, рамы огромных окон из дуба, петли бронзовые, полы паркетные, терраса гигантских размеров. И всё это сгорело от шаровой молнии. Как раз в тот день, а было это воскресенье, мы уезжали с дачи и на 36-м километре, у выезда на шоссе догнали машину Воробьевых: они ждали у светофора. А через несколько часов звонят: горит дача Воробьевых. Домработница Симоновых, оказывается, видела, как к ним в форточку влетел огненный шар: она как раз у окна стояла. Выгорело всё, крыша рухнула вовнутрь, стояли только обгорелые, закопчённые кирпичные стены.

Всю осень и зиму Иван Васильевич то с бригадой, то один отстраивал дачу заново. Как-то вечером поздно идём с женой по их проулку, могучие ели в снегу, а в глубине участка горит голая электрическая лампочка на недостроенной террасе, и под ней строгают он на верстаке. Конечно, уже не дубо-

вые вставляли оконные рамы, не стлали дубовый паркет, но построил он дачу и просторней и выше прежней. И терраса была огромная, а лестница на второй этаж — на загляденье.

Уже в эту пору случалось, придёт среди дня и — покаянно: «Григорий Яковлевич, налейте стакан водки». Денег в долг или бутылку никогда не просил: стакан водки. И отказать невозможно, и понимаешь, что губишь человека. «Иван Васильевич, мне не жалко, но ведь...». У него — тень по лицу, опустит глаза и — тише, ещё покаянней: «Если есть, налейте стакан». Впервые приступ белой горячки случился у него на даче Зыкиной, там была какая-то большая работа. Приехали его забирать, а он повторяет одно и то же: «Пришёл на работу — поработал. Получил благодарность — пошёл домой». С тем его и увезли.

Последнее, что он делал у нас — большой сосновый стол из доски пятидесятки, многие потом спрашивали: «Кто вам делал такой чудный стол?». А делал он его всё лето, три месяца. Бывало стоит почти уже готовая столешница под навесом, дождь льёт, а Ивана Васильевича нет: запил. И всё реже, реже становились просветления. Придёт хмурый, вялый, но за работой оживал. И дерево понимал и любил, а ведь нигде никогда не учился, да можно ли научить чувству красоты?

Мы наследуем цвет глаз, черты лица, голос, даже походку, и это не удивляет, это понятно, привычно. А вот нравственные начала, такое невещественное, неосязаемое, это можно наследовать? В своей работе «Этика» Кропоткин, князь, он же — теоретик анархизма, спрашивает: «Почему, в силу какого умственного или чувственного процесса человек сплошь да рядом, в силу каких-то соображений, называемых нами «нравственными», отказы-

вается от того, что должно доставить ему удовольствие. Почему он часто переносит всякого рода лишения, лишь бы не изменить сложившемуся в нём нравственному идеалу?».

А почему, в самом деле? Во время ашхабадского землетрясения, в конце сороковых годов уничтожившего город, верней — после землетрясения, погибших мужчин нередко находили раздавленными в окнах, женщин — над детьми. Что толкало их не спастись, а закрыть собою детей?

Поразительное исследование работа «Родословная альтруизма» ныне покойного генетика В. Эфроимсона, — при его жизни я был знаком с ним, имел честь: он приходил ко мне в журнал «Знамя». Все те гонения, в том числе — лагеря, где он катал тачку, всё, что с благословения Сталина обрушил на генетиков Лысенко, он претерпел, в лагерях, на общих работах, но ни от чего не отрёкся. «Есть основания считать, — пишет В. Эфроимсон, — в наследственной природе человека заложено нечто такое, что вечно влечёт его к справедливости, к подвигам и самоотвержению». Но как всё это происходило на протяжении сотен тысяч, а может быть, и миллионов лет? Каков, так сказать, механизм? Уважение к старикам, сочувствие слабым, что это, лишь результат целенаправленного воспитания, культурная традиция или под этим есть нечто более основательное? В глубокой древности, когда голод был вечным спутником наших далёких предков, встречались племена, которые относились к старикам, как к лишним ртам, обрекали их на смерть. Путь этих племён оказался тупиковым. Старики, по сути дела, были устной энциклопедией того времени. Они были хранителями опыта и знаний. Они знали, какие растения ядовиты, не пригодны в пищу, какими можно врачевать раны, знали, как хранить и добывать огонь, как шить одежду, выхаживать мла-

денцев и т. д. и т. п. От старых людей, владевших ни с чем не сравнимым богатством — знанием и опытом — нередко выживание племени зависело больше, чем от молодых, более сильных физически, но неопытных добытчиков пищи. И на этот фундамент новые поколения наращивали новые знания, свой опыт. Самым беспомощным, самым беззащитным в природе был человеческий детёныш: ни когтей, ни клыков, ни тёплой шкуры. И по мере роста полушарий мозга, дальнейшего могущества человека, период этот становился всё более длительным. Выжить могли те детёныши, которых защищали родители, защищала стая. На этой основе и происходил естественный отбор, хотя, разумеется, во многих ситуациях выживали и те, над кем тяготел инстинкт самосохранения, чистый эгоизм, они тоже выжили и оставили потомство. И всё же, всё же именно детёныши стай и орд, родов, племён, у которых достаточно развиты были инстинкты, эмоции, направленные не на личную защиту, а на защиту потомства, всей стаи, коллектива в целом, защиту молниеносную, полусознательную и сознательную, имели больше шансов выжить. И закреплялась, росла та система инстинктов, эмоций, на которую в дальнейшем осознанно опирались совесть, альтруизм. Это именно та группа эмоций, которая побуждала и побуждает ныне человека совершать поступки, лично ему невыгодные и даже опасные, но приносящие пользу другим людям. И у нейрохирурга М. Хейфица, с которым я познакомился в Лос-Анджелесе, есть в его книге, где он исследует природу таланта, утверждение, что положительные эмоции у людей в основе своей связаны с сохранением вида, отрицательные — с сохранением индивида. И высшую радость людям, так сказать, пик радости даёт то, что направлено на сохранение вида. Ради этого жертвуют собой.

Но вот дальше у В.Эфроимсона: «Можно с большой долей уверенности утверждать, что эмоции человечности, доброты, рыцарского отношения к женщинам, старикам, охране детей, стремление к знанию — это те свойства, которые направленно и неизбежно развивались под действием естественного отбора и входили в фонд наследственных признаков человечества... Возникнув на биологической основе, эта природная сущность человека проявляет себя в качественно иной области — социальной. И одна социальная структура может способствовать её проявлению, а другая, наоборот, подавлять и извращать».

Нам выпало жить в жестокое время и в той социальной структуре, которая подавляла, извращала природную сущность человека. Цифры перестали поражать: погибло двадцать миллионов, больше это, чем погибло, скажем, пятнадцать? Но вот — одна судьба. Недавно опубликовали разысканные в бывшем архиве ЦК КПСС документы, касающиеся великого художника Ильи Репина и его семьи. Вот справка ГПУ, подшитая в «деле» Репина, называется она: «Справка об имущественном и семейном положении дочери И. Е. Репина Татьяны Ильиничны Репиной-Язевой»: «Т. И. Репина-Язева проживает в бывшем владении художника по адресу: Витебск, почтовая станция Буяны, Николаевский с/с, Здравнево. Состав семьи: дочь, зять и 4 внука, из коих старшему 6 лет. Дочь её была учительницей с 1919 по 1926 г. Зять всё время был учителем в Здравневе по февраль текущего года, когда был снят с работы, исключён из Союза как обложенный индивидуальным налогом. Школа в Здравневе в течение 9 лет пользовалась бесплатным помещением в доме Т. И. Репиной. Т. И. Репина состояла учительницей с 1921—1923 г., оставила работу из-за потери слуха. 5 февраля с.г. у Репиной описано всё имущество

(включая надетое на теле бельё, детские пелёнки и т. п.) с предупреждением, что оно будет конфисковано. Ещё 3 февраля ею получена повестка о немедленном взносе в кооператив дифференцированного пая в размере 1000 р. Т. И. Репиной было велено лично возить лес из Николаевского с/с. Когда она явилась в с/с с заявлением о невозможности для неё выполнить предписанную работу, но с предложением воспользоваться её лошадью, она была подвергнута обыску и оставлена до вечера под арестом. Одновременно был проведен обыск в доме (как и у всех, обложенных индивидуальным налогом). 31 марта Т. И. Репина вызвалась в с/с на предмет выселения в Сибирь. Здравнево, где проживают потомки И. Е. Репина, было не поместьем, а дачей. Без всякого хозяйства. С 1918 г. приведено в порядок личным трудом Т. И. Репиной — Язевой, её дочерью и зятем. Наёмным трудом для работы на земле не пользовались, в последние годы за обилием маленьких детей в семье имеют прислугу-помощницу.

И в это же время самого Репина зазывали из Финляндии вернуться на родину: возможно, надеялись, что он напишет портрет Сталина (позировал же Сталин перед Фейхтвангером, перед Барбюсом и т. д.). Ворошилов писал Репину в Финляндию: «...Надеюсь, что Рабоче-Крестьянское Правительство, принимая во внимание величайшие заслуги Ваши перед страной и человечеством, сделает всё необходимое для удовлетворения Ваших требований. Но это пока моё личное мнение». Не без иронии Репин написал по этому поводу Бродскому в Ленинград: «Дорогой Исаак Израйлевич! Вчера я получил ответ от Ворошилова. Дивное письмо!...считаю себя счастливецем, получив такой автограф высокой ценности. Признание моих заслуг величайшими перед страной и человечеством (ещё никогда не подымались мы на такую высоту — «пе-

ред страной и человечеством»), завещаю отдать это письмо на хранение в музей. И кстати, я отрекаюсь от титула «народного художника», которым было выражено желание — некоторыми почтенными художниками — наградить меня. Я очень благодарен за столь высокую честь, но Ворошиловское письмо исчерпывает этот вопрос — я награждён. И. Репин. 26.9.26».

Репину в то время исполнился уже 81 год, а письмо его, как следовало ожидать, оказалось не в музее, а в ГПУ. Так вот его зазывали вернуться, а дочь его тем временем — в Сибирь.

И дочь Льва Толстого, хранительницу Ясной Поляны Александру Львовну, в эти же годы арестовывали пять раз, сидела она и на Лубянке. Вот как в её доме, в доме Толстого, поигрывая револьвером, разговаривал с ней секретарь партийной ячейки, некто Трофимов, командированный из Тулы: «Ох, гражданка Толстая, была бы моя воля, застрелил бы я вас на месте, рука бы не дрогнула. И чего центр смотрит?».

Во взбаламученном обществе революция подняла со дна на поверхность всю нечисть. Разумеется, шли в революцию и свято верящие в грядущую справедливость, шли, готовые жертвовать собой святые идеалисты: «Мы наш, мы новый мир построим...». Их первыми в дальнейшем и расстреляли, революция, как обычно, пожирала своих детей. И слой за слоем уничтожали лучших: интеллигенцию, про которую Ленин изволил сказать, что она не мозг нации, а говно, дворян, крестьян... Две руки, десять растопыренных пальцев показал Черчиллю Сталин: вот сколько миллионов выслано было кулаков: «...основная их часть была весьма непопулярна. Они были уничтожены своими батраками». Вот и не можем до сих пор сами прокормить себя.

Я уже писал однажды: с 20 года *все* должности начальников штабов дивизий и выше в Красной Армии были укомплектованы командирами, окончившими Академию Генерального штаба в царское или советское время. К 22 июня 1941 года только 7,1 процента командиров имели высшее образование. Но, может, оно и не нужно? Чапаев, как известно, «академиев» не кончал. А смог бы ты, Василий Иванович, армией командовать? Смогу, Петька, смогу. А фронтом? Смогу. А в мировом масштабе? Нет, Петька, языков не знаю... К началу Отечественной войны в Киевском военном округе было 4 армии, двумя командовали люди без военного образования. А ведь время самородков давно прошло, да и они в большинстве своём были уничтожены в 30-е годы.

Гражданская война, это было самоистребление народа. Отечественная война... Физик Флёрков был отозван с фронта, академик Сахаров не воевал, оба они в ту пору были молодые люди, но целое поколение их ровесников сгинуло на войне. Конечно, бомба убивает без разбора, и, тем не менее, на войне в первую очередь погибают лучшие. Они и в атаку поднимают, и на самое опасное дело идут они. А сталинские лагеря. Да если мы начнём перечислять имена тех, кто уцелел чудом — Королёв, Туполев, будущие маршалы Мерецков, Рокоссовский... — страшно становится от размеров бедствия. За каждым уцелевшим — тени творцов и героев, безвестный, нескончаемый ряд их теряется во мгле.

На всю страну восславлен был несчастный мальчик, предавший отца: пионер Павлик Морозов. Предавал он, не предавал, и что и как там было — теперь уж не узнать, да и не в этом суть. Отлит в бронзе и поднят на пьедестал символ предательства, целые поколения воспитывали на его примере, поэма написана о нём. И это шло сверху донизу. Каганович предаёт брата, Молотов и Калинин отдают

жён на закляние в лагеря, и служат, преданно служат тирану. Поскрёбышев, личный секретарь Сталина, тридцать лет преданно служил ему при том, что жену его, которую он любил, от которой была у него дочь, умурили в лагерях. Вот эта дочь, уже немолодая, недавно рассказывала по телевизору, что отношения между Сталиным и её отцом были *товарищескими*, что она уважает Иосифа Виссарионовича, хотя, конечно, у него были ошибки... А Поскрёбышев в санатории в Барвихе рассказывал Твардовскому и плакал при этом: *он* ведь меня лицом по столу возил, возьмёт вот так за шею и возит лицом по столу. (Это напечатано в «Рабочих тетрадах» Твардовского). Поскрёбышев умер, не оставив никаких записок. Всемирно известный академик Вавилов погиб в саратовской тюрьме, уморенный голодом, а брат его возглавлял академию наук страны. Нормой стало на собраниях, на комсомольских и прочих, принуждать отречься от арестованных, обречённых на смерть родителей, с кровью разрывать родственные узы, то, что сделало людей людьми. Какая уж тут нравственность? И тех, кто отрекался, и тех, кто принуждал, их ведь принародно раздевали догола, «включая надетое на теле бельё». И всё же воспитать поколения рабов любимому вождю не удалось. Война доканчивала это дело, лучшие полегли на её полях. Та природная сущность, которая позволила выжить далёким предкам человека, та система инстинктов, эмоций, которая совершенствовалась на протяжении сотен и сотен тысячелетий, опираясь на совесть, альтруизм, она-то и подавлялась в первую очередь. «Возникнув на биологической основе, эта природная сущность человека проявляет себя в качественно иной области — социальной. И одна социальная структура может способствовать её проявлению, а другая, наоборот, подавлять и извращать».

Врач отсекает худшее. Тиран отсекает лучшее.

Году в 81-м возвращались мы из Америки: была очередная встреча наших и американских писателей. Проходила она в Калифорнии, в Пепердайнском университете. И вот — ночь, летим над океаном, свет в салоне приглашен. Спать в самолёте я не умею, не получается, читать темно, сижу, пытаюсь дремать. Впереди, за спинками сидений разговаривают Кугультинов и Солоухин. Кугультинов достал бутылку водки, они пьют не спеша и разговаривают. Слышу окающее, басовитое:

— А что ты для своей нации сделал?

Это — Солоухин.

— Я за свою нацию воевал! Я за свою нацию в лагерях сидел! — голос Кугультинова дрожит. Кугультинов — калмык, а калмыков в сталинскую пору высылали так же, как ингушей, чеченцев, крымских татар. — А что ты для своей нации сделал?

И Солоухин — басовито:

— Я всю войну Сталина охранял.

Он, действительно, всю войну был кремлёвским охранником, потому и жив остался, когда сверстники его погибали на войне

В годы перестройки в газете «Русский голос» было напечатано интервью Солоухина, в котором он говорил: «Сталин, конечно, был вампиром, на его совести и коллективизация и 424 разрушенных церквей и многое другое. Но... он уничтожил всех интернационалистов, которые делали революцию и составляли кадры ГПУ, Чека, ЧОН и так далее. Сталин освободил от интернационалистов три основных института: ЦК, Чека и армию». Они допили водку. Я всё же придремал под гул моторов. Вдруг слышу изумлённый, обиженный голос Кугультинова:

— Что ж ты один пьёшь коньяк? Мою водку пили вместе, а теперь ты достал коньяк и пьёшь?!

— Пью.

Когда Пастернак получил Нобелевскую премию, и московские писатели по приказу свыше клеймили его, среди четырнадцати человек, выступивших на том собрании, был и Солоухин. Скажем, в выступлении Леонида Мартынова, возможно я ошибаюсь, явно ощутима зависть: «Так пусть Пастернак останется со злопыхателями, которые льстят ему премией, а передовое человечество есть и будет с нами». Галина Николаева, была такая известнейшая в то время писательница, в одной из её сельхозповестей есть чудная фраза о колхозной корове: «Корова, чистая, как невеста». (перевернуть: невеста, чистая, как корова...), так вот Галина Николаева не ограничилась выступлением со сцены, она ещё прислала Пастернаку письмо и в нём: «...пулю загнать в затылок предателю. Я женщина, много видевшая горя, не злая, но за такое предательство рука бы не дрогнула». Ну, дословно, как сорок лет назад секретарь партийной ячейки Трофимов угрожал Александре Львовне Толстой: «Ох, гражданка Толстая, была бы моя воля, застрелил бы я вас на месте, *рука бы не дрогнула*».

Выступление Солоухина не было самым рьяным: «Когда наша партия критиковала ревизионистскую политику Югославии, то мудрый Мао Цзэдун сказал, что она нужна американцам только до тех пор, пока остаётся в нашем лагере. Пастернак «там» будет нужен до тех пор, пока он у нас». На этом собрании предлагалось лишить Пастернака гражданства, выслать из страны, так что это выступление Солоухина было как раз в масть. И всё же интересней другое. В пору гласности про кого-то из выступавших забыли, кто-то умер, но

Солоухину припомнили его выступление. И вот он прислал в газету «Советская культура» письмо: «Пора объясниться». Вот что он пишет: «Раза три (а этого достаточно) на литературных встречах у нас и за рубежом мне напоминали, что я состою в «чёрном списке» и что это навечно, на все грядущие поколения, что это несмыслимое клеймо». И он приводит пофамильно весь список. «На всех перекрёстках планеты этих людей клеймят как травителей и чуть ли не как убийц «величайшего гения XX века» Б. Пастернака. Вот и читательница «СК» клеймит меня за то, что теперь я читаю наизусть стихи Пастернака и при этом, проявляя явную непорядочность, не вспоминаю о своём прошлом выступлении... Наверное и читательница «СК» говорила что-нибудь на своих собраниях, не употребляя, скажем, словечка «застой»... Удивлю, но скажу, что острого желания каяться и «отмываться» я как-то никогда не испытывал, не потому что я тогда, выступая, был уж очень умён и хорош, а потому, что не чувствую за собой *особенного* греха... Такие уж были времена. Не знаю, кто из выступающих какими соображениями тогда руководствовался, кто по молодости, кто по глупости, кто по трусости, а помоему, никто никакими дополнительными соображениями не руководствовался, просто это действительно было в духе времени. Надо понимать и то, что существовало ещё и такое понятие, как партийная дисциплина», — пишет монархист Солоухин. И далее в свою очередь клеймит тех, кто на собрании присутствовал, но не выступал, они, дескать, ещё более виноваты: «распятие Иисуса Христа связывается в сознании человечества не столько с именем Каифы, первосвященника иудейского, настаивавшего на смертной казни, сколько с именем Пилата Понтийского, промолчавшего и умывшего руки».

Вчера, 30-го марта, хоронили Бориса Викторовича Раушенбаха. Имя его с довоенных времён было хорошо известно в ракетном, позже — в космическом сообществе страны. Что им сделано в науке, можно перечислять и перечислять, ну, например, с группой сотрудников им создана была космическая система, которая впервые в истории позволила получить изображения невидимой с Земли обратной стороны Луны. Он был энциклопедически образованным человеком, одним из немногих остававшихся энциклопедистов. Он умер во сне. Не помню, чьи это стихи: «Лёгкой жизни я просил у Бога, лёгкой смерти надо бы просить». Он не просил себе легкой жизни. В лагерях он продолжал заниматься наукой: начальство поняло, что он может быть полезен, поняло, какой это незаурядный ум. И вот всех выгоняли на общие работы, а он сидел в бараке и по двенадцать часов увлечённо работал. Он говорил: голодно было, но что ещё нужно учёному, если ему позволяют работать, если эта возможность не отнята. Он был верующим человеком. «Для России, — писал он, — не вижу иной подходящей конфессии, кроме православия. Почему? А потому, что у нас вся жизнь столетиями текла по-православному. Православие вошло не только в облики храмов, но в язык, в поговорки, в народные приметы». Мне всегда хотелось поговорить с ним о начале начал, было ли вообще начало, и начало чего, да как-то не пришлось. Считается, сознание, ум работает и там, где кончается воображение, верней сказать, где воображение бессильно. Но так же, как я не понимаю бесконечность, я не могу понять и то, как всё началось, из чего возникло? Всегда было? Как это?

Материалистическое объяснение ничего не объясняет. Впрочем, Борис Викторович как раз и считал, что логическое, рациональное, научное объ-

яснение, то есть то, что подвластно левому полушарию мозга, односторонне и потому ущербно. «Мир следует постигать, повторю Гомера, — писал он, — и мыслью и сердцем, лишь совокупность научной и «сердечной» картины мира даёт достойное человека отражение мира и его сознания и может быть надёжной основой поведения». В своё время, будучи редактором журнала «Знамя», я попросил его дать что-нибудь для журнала, и он написал прекрасную статью «Наука и нравственность». В ней он цитирует академика Сахарова, его «Воспоминания», которые как раз мы печатали в восьми номерах: «...я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала. Без источника духовной «теплоты», лежащего вне материи и её законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным». А это «осмысляющее начало», оно всегда было? «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою». Какая прекрасная поэзия! Но вот академик Вячеслав Иванов пишет, что за последние десять лет в астрофизике сделано открытий больше, чем за всю предшествующую историю: «Открыты новые галактики, звёзды, много планет. Открыт потрясающий факт: Вселенная вначале не была освещена». То есть — «и тьма над бездною». Всё это уже не для моего понимания.

Борис Викторович лежал, как живой, будто не умер во сне, а уснул. Такое же, как при жизни, светлое лицо, смерть ничего не изменила.

Самое простое объяснение наших бед — мы обделены судьбой. И горько-сладостно вздохнуть да пожалеть себя. Возникло это не сегодня, но сегодня очень уж распространено. «Вот, скажем, так называемые, развитые страны. Это, по сути, дезориенти-

рующее понятие, потому что речь идёт о государствах, которые волею судеб оказались в оптимальных, с точки зрения экономики, условиях. Они окружены незамерзающими морями, по их территории протекают незамерзающие реки, что создаёт огромные преимущества, потому что водные перевозки во много раз дешевле сухопутных. И климат там намного мягче. Наша страна — одна из самых северных, с континентальным климатом, что ставит нас в очень неблагоприятные условия по сравнению с европейскими странами, Америкой... Вот как полтора века назад обращался к соотечественникам выдающийся поэт и публицист Пётр Вяземский, объездивший всю Европу:

*За трапезой земной печально
 место ваше!
Вас горько обошли пирующею
 чашей,
На жертвы, на борьбу судьбы
 вас обрекли:
В пустыне снеговой, вы —
 схимники земли,
Бог в помощь, свят ваш труд,
 на вечный бой похожий».*

Я кратко пересказал интервью довольно известного литературоведа, разумеется — «патриота», он умер недавно, а статью его я только что прочёл. У меня и мысли нет полемизировать с ним, какая уж тут полемика, когда он не может ответить, но это был неглупый человек, он точно выразил очень распространённое у нас настроение.

Где это в Финляндии или в Канаде незамерзающие реки? Финнов Пушкин назвал печальными пасынками природы: «...где ныне финский рыболов, печальный пасынок природы...». Сегодня мы, как в пушкинские времена, всё так же вывозим, в

основном, сырьё, ассортимент изменился, но суть та же: себя грабим. А финские товары конкурентоспособны на мировых рынках. Один из лучших мобильных телефонов «Nokia» — финский. И урожаи в Финляндии, как у нас на Кубани. В семидесятые — восьмидесятые годы все посольства в Москве закупали финские продукты. У нас ежегодно выгорают леса, нет денег тушить лесные пожары. И реки сибирские, по которым сплавляют лес на экспорт, устланы топляком. Мы гоним за границу кругляк, хотя экспорт, к примеру, обычной доски приносит вдвое больший доход. У нас в переработку идёт 15–20 процентов вырубаемых деревьев, а в развитых странах — все сто процентов. Финны предпочитают рубить лес в Карелии, а свой лес берегут, продают не лес-кругляк по дешёвке, а мебель, бумагу, и нам же их продают. Обидно покажется, но это так: мы станем сырьевым придатком Финляндии, некогда отделившейся от Российской империи. Цена тонны нашей экспортной древесины около 40 долларов, в соседней Финляндии эта цифра в десять раз больше и достигает 400–450 долларов. И хотя земля и климат в Финляндии и в Карелии одни и те же, удивляться ли, что в Карелии средняя зарплата 105 долларов, в соседней Финляндии — 1600? Средняя пенсия в Карелии 50 долларов, в Финляндии — 800. Средняя продолжительность жизни женщин в Карелии 69,5 лет, в Финляндии 81,4 года. У мужчин соответственно разница ещё больше. Финны сейчас строят бумажные фабрики ближе к границе, чтобы дешевле было вывозить наш лес.

И ещё о климате. Вспомним сорокоградусные морозы зимой 39-го года, когда наши красноармейцы, так тогда называли солдат, в шинелишках, с винтовками (а у финнов уже были автоматы) штурмовали ДОТы линии Маннергейма. Мы не только природу, мы людей своих никогда не жалели, не бе-

регли. Наши потери на «той войне незначительной» многократно больше, чем потеряли финны.

Я был на двух фермах в Канадской провинции Онтарио. Фермы здесь, как правило, молочно-животноводческие, хлеб сеют в степных провинциях Саскачеван, Манитоба. Климат, скажем, в провинции Саскачеван резко-континентальный, зимой морозы доходят до пятидесяти градусов, но по вывозу хлеба Канада занимает второе место после США. Я спросил фермера, вызревает ли у них кукуруза, ведь кукурузный пояс США южнее? Оказалось, у него новый сорт, выведенный учёными: листья опускаются рано, обнажая солнцу початок, эта кукуруза вызревает на 15 дней раньше. Надои молока стандартные: шесть тысяч литров в год на корову, у нас — две, три тысячи литров, а четыре тысячи, так это уже можно гордиться. Бывали, правда, у нас, например — в Караваево, рекорды, но рекордами сыт не будешь.

Впрочем, у Вяземского речь о судьбе, надо полагать, в высоком смысле этого слова: «Не может человек отвратить то, что должно совершаться по божественной воле,» — утверждал Геродот. Или у Сенеки: «Судьбы ведут того, кто хочет, и влачат того, кто не хочет». А я — о надоях, о лесных пожарах, когда нам, выходит, так на роду написано. И успокоимся на том: «На трапезе земной печально место ваше! / Вас горько обошли пирующею чашей...». Будем сидеть, ножки свесив: Фатум, Судьба. Но мы несметно богаты, природа не обделила, а одарила нас. Что есть у Японии? Острова в океане. Такие же, как острова Итуруп, Кунашир, которые после войны стали нашими. Но сравните. Сравнение невозможно. Под нашими северными снегами, которые тают не надолго, — нефть, газ, алмазы, в северных наших морях — нефть и газ. Да, это — не Саудовская Аравия, не Кувейт, где нефть фонтанирует.

У нас её надо добывать. Но это — богатство, которого нет у многих стран, «которые волею судеб оказались в оптимальных с точки зрения экономических условиях». В составе Советского Союза, а ранее — России была Туркмения, где нефть фонтанирует, а газа — несметно. И что, страна обогатилась? А нефть Каспия, которой сегодня владеют и Азербайджан, и Казахстан? А рыбные богатства Каспийского моря? Погубили их, а что ещё не погибло, хищнически разворовывается, так что иностранцы вынуждают нас принимать решения, бойкотируют вывозимую нами чёрную икру (большая её часть — браконьерская, некачественная), чтобы осетровые не исчезли вовсе. А иранская чёрная икра из того же Каспийского моря, ценится на мировых рынках во много раз дороже. Разведанных запасов нефти у нас хватит лет на 20-40 (сведения публикуют разные), газа — на 30-60 лет. В Ираке нефти — на два с лишним столетия, в Иране газа — на 300 с лишним лет. Но мы сегодня — вторая после Саудовской Аравии страна по экспорту нефти, уже делаем попытки конкурировать с Саудовской Аравией на американском рынке. А вот в Дубае, который на Аравийском полуострове фактически стоит на нефти, экспорт нефти составляет всего 14% бюджета, меньше даже, чем индустрия туризма. Понимают, что как бы ни были велики запасы нефти, они исчерпаемы и невозможны.

В Китае вырубка леса запрещена под страхом смертной казни. И казнят. А лес везут от нас: по железной дороге, морем, автотранспортом. Вырубают безжалостно, большей частью — браконьеры, а прикрывают их чиновники, разработана для этого целая система. И вырубает самые ценные породы: кедр, дуб, которые рубить запрещено. В прошлом году с Дальнего Востока вывезено в Китай леса на 2 миллиарда долларов. А ввезено к нам из Китая из-

делий из нашего леса на 6 миллиардов долларов. Как-ково?

Про наши чернозёмы, которые мы, как могли, истощили, говорилось: воткни оглоблю, вырастет тарантас. И богатство стало нашей бедой, мы живём в долг, как разоряющиеся помещики, распродаём то, что досталось нам в наследство, что принадлежит и детям нашим и внукам, а главное наше богатство, талантливые люди, уезжают и уезжают, не найдя на родине применение своему таланту. Нет, не природу и не «судьбу» надо нам винить и не «вражеское окружение», которое всегда требовалось нашей власти, чтобы держать народ в повиновении и оправдывать все свои злодеяния. Винить нам надо самих себя, в первую очередь — себя.

Интересные письма Леонида Соболева и его жены Сталину опубликовал журнал «Источник». Соболева я знал и мог наблюдать. Московское отделение возглавлял тогда Федин, а Соболев был его первым заместителем. В дальнейшем он публично предал Федина. И награда последовала незамедлительно: на загородном обеде, куда — одни для порки, другие для поощрения — созваны были деятели культуры (об этом — очень точный рассказ Владимира Тендрякова: «На блаженном острове коммунизма»), Соболев был высочайше поощрён Никитой Хрущёвым, эту сцену из рассказа я ещё приведу.

Помнится, приехал в Москву Ив Монтан, давал два концерта в двух разных залах. Часть билетов распределял Союз писателей, и оказалось, один зал считается рангом выше, другой — рангом ниже. Что тут поднялось! Сколько оскорблённых! Телефон раскалялся, когда звонила жена Соболева: Леонид Сергеевич в этот зал не пойдёт! Несколько лет спустя, уже в царствование Брежнева, пригласили,

верней — вызвали в ЦК группу писателей, был в том числе и я. Состоялась очередная ритуальная говорильня. На выходе из здания — офицеры охраны, им полагается предъявить удостоверение, они сверят его со списком приглашённых и, возвращая, могут даже «отдать честь». Дошла очередь до Соболева. Он стоит, удостоверения не предъявляет. А сзади подходят и подходят люди. Офицер вежливо напоминает. Соболев стоит. Молчит. Тогда один из подхалимистых писателей заскакивает вперёд: «Это — Леонид Сергеевич Соболев! Сегодня в «Известиях» напечатан его портрет!». В газете в тот день, действительно, были портреты заместителей председателя Верховного совета РСФСР, среди них — Соболев. И стало ему оскорбительно предъявлять удостоверение, его должны знать в лицо. Он продолжал стоять молча, как памятник самому себе, а позади собралась уже порядочная очередь, и люди всё подходили, видели, слышали это. А он стоял.

Так вот — письма. В 35-м году, когда шли аресты, Сталин, получив от Соболева письмо, прочёл его книгу и написал функционеру Ставскому: «Обратите внимание на т. Соболева. Он, бесспорно, крупный талант (судя по его книге «Капитальный ремонт»)». Так Соболеву на долгие годы была выдана охранная грамота. «Источник» приводит эту записку Сталина и четыре письма времён войны: Соболева к Сталину, письмо жены Соболева О. И. Михальцевой-Соболевой к Сталину и два её письма к помощнику Сталина Поскрёбышеву. Вот эти три её письма, датированные декабрём 1942 года и февралём 1943 года, особенно интересны. Не приходится сомневаться, что Соболев не только знал, но участвовал в написании этих писем. И выбран был тактически верный ход: пишет не он сам, пишет женщина, жена, сам же он выше каких — либо просьб.

«От жены писателя ЛЕОНИДА СОБОЛЕВА,
Ольги Ивановны Михальцевой-Соболевой

Сохранить жизнь и трудоспособность Леонида Соболева — вопрос не личный — и, после долгих размышлений, я решилась обратиться к Вам, товарищ Сталин. Пережив непосредственно Одессу и Севастополь, Леонид проделал за последние семь месяцев гигантскую работу: он подготовил к печати 63 1/2 листа, выпустил девять книг, в том числе известную Вам «Морскую душу», большой журнал «Город славы», две полнометражные картины «Черноморцы» и «69-я параллель». Эта работа поглощала всё время, все силы и, дополнительно, выматывала все нервы целым рядом производственных неувязок. Хотя бы в отношении «Морской души», которую Гослитиздат мытарит полтора года: до сих пор нет тиража, нет и не предвидится. (Сигнальные экземпляры были выпущены по инициативе рабочих типографии, подаривших Соболеву в ночь на 7-е ноября десять книг). Таким образом, оценки эта книга получить не может. Вся же работа в целом была отмечена тем, что Соболева перевели из столовой высшего комсостава, которой он пользовался, возвращаясь с фронта, в рядовую, отвечающую его военному званию. Нас никогда не занимали внешние знаки отличия: три нашивки, которые Леонид носил двадцать лет, забавляли, как признак нашей стойкой молодости, ордена... в отсутствии их была своеобразная оригинальная прелесть, лауреатство... но, по совести, всегда казалось, что «Капитальный ремонт» — первая книга нового высокого советского стиля, и единственная, которая, будучи так лестно расценена прессой Европы и Америки, не могла быть (и не была) дословно выпущена ни одной капиталистической страной мира, и что вместе с «Морской душой» несомненно переживёт нас. Неподобно, при самых неожиданных обстоятельст-

вах, мы убеждались в том, что Соболева знает и любит страна, и это было подлинной радостью. Мы жили устремлённо и полноценно.

Но неожиданно выяснилось, что внешние знаки, символ ценности художника, связаны с бытовыми возможностями, а таковые, в известном возрасте, влияют на жизнь и здоровье человека. Деньги сейчас, при полном отсутствии времени, почти потеряли для нас всякий смысл. До рынка не добраться, никого мы не «принимаем», «красных мебели» и разных «чернобурых котиков» не приобретаем. Работаем с утра до поздней ночи, после чего пилим дрова и топим нашу печурку, живя вдвоём без домработницы, уютно и ласково. «Анекдотически не умеем устраиваться» — пусть, но пока Леонид был здоров, это было неважно и, главное, не нужно. Сейчас Леонид очень плох. У него полное нервное истощение, мучительные непрерывные головные боли, с головокружениями, доходящими до потери сознания (не от успехов, как видите), тягостные явления со зрением, бессонница, сердечные боли, подавленное настроение, — и это самое грустное. Он обычно такой жизнерадостный, ребячливый, непосредственный и доверчивый! Он начинает думать, что, может, он действительно работает хуже всех... И, закончив громадную работу, точно опустошённый, стоит перед вопросом, что же делать дальше... Приласкайте его немного, товарищ Сталин, и прикажите выдать ему немного сладкого... Он большой ребёнок этот настоящий большой советский писатель...

И никогда не говорите ему, что я Вам об этом написала.

Ольга Михальцева-Соболева

17 декабря 1942 г».

Тут каждое слово — золото: «приласкайте», «прикажите выдать ему немного сладкого...». На-

кормите из руки. Сладкое выдадут незамедлительно: через несколько месяцев Соболев получит иско-мое: Сталинскую премию, о ней в письме упомяну-то: «лауреатство...». И — застенчивое многоточие. Что же касается «подготовил к печати 63 1/2 листа», так это не новые вещи написал, а переиздает давно написанное, разрешалось это не многим. События же начнут разворачиваться стремительно, Михаль-цева-Соболева перечисляет их во втором письме к помощнику Сталина Поскрёбышеву, присовокуп-ляя очередные просьбы:

«Товарищ Поскрёбышев,

хотя всё чрезвычайно таинственно, но дога-даться не трудно, откуда идут чудеса, и потому, пре-жде всего, Вам — громадное спасибо. А произошло всё это так:

17-го завезла письмо,

21-го начали печатать «Морскую душу»,

25-го вышел тираж!!

21-го Рогов вызвал Леонида, стал расспра-шивать об его работе, самочувствии, бытовых усло-виях. Настоятельно было предложено выехать в дом отдыха ВМФ, где были созданы, в пределах возмож-ностей этого дома, максимально благоприятные ус-ловия для поправки здоровья... А 1-го января был предоставлен Леониду пропуск в столовую рангом ниже той, которой он пользовался до 1-го ноября, но рангом выше той, которую ему предоставили по-сле 1-го ноября».

И — требование присвоить Соболеву высо-кое или высшее воинское звание, которое механи-чески (она употребляет это слово) даёт пропуск в столовую «рангом выше». Вот как обосновано это требование:

«И если величайший русский гений Пушкин до конца дней своих страдал от унижений, связан-ных с его званием «камер-юнкер», то не пора ли

предать забвению такие примеры русской действительности, даже если речь идёт о таланте меньшего масштаба, но имевшем счастье родиться в нашу эпоху. А достаточно было Рогову уехать, как его временные устные указания уступили место законам нормальной канцелярии, где в списках стоит имя «капитана 2-го ранга Соболева», что отвечает механически определённом положению и вытекающим из него бытовым условиям. И неверно требовать диалектических откровений от работников канцелярий тогда, когда нужен диалектический подход руководящих работников к своим подчинённым: если в силу исторических событий писатель стал носить военное звание, то звание это должно соответствовать его подлинному месту и заслугам в оборонной литературе».

Вот так!

Не менее интересно первое письмо к Поскрёбышеву. Письма к Сталину шли через Поскрёбышева, многое, о чём просят, он мог разрешить сам.

«Товарищ Поскрёбышев.

Первая настоящая моя просьба к Вам — сохранить письмо в секрете от прочих. Очень горько, если оно сыграет роль заявления и пойдёт по учреждениям. Даже при наличии благоприятной резолюции, горько будет и стыдно и тяжело. Особенно, если Леонид об этом когда-нибудь узнает.

Даже врачам, задававшим вопросы о наших бытовых условиях, я отвечала уклончиво. Никто не обязан считаться с особенностями того или иного характера, и если известно, что правительство отпускает писателям сверх карточек какие-то блага, то бесполезно вдумываться, почему их получают одни, и ничего решительно сверх карточек не получает член Президиума ССП Леонид Соболев. Отсюда вторая просьба: чтобы не обижать нашего адмирала

и его зама, которые очень хорошо к нам относятся, но как военные люди не имеют права приравнять капитана 2-го ранга Соболева к контр-адмиралам, сажая их за один стол, прикажите, если это возможно и удобно, просто прикрепить писателя Соболева куда-нибудь, чтобы поддержать надлежащим топливом этот несколько надорванный творческий организм».

Есть и третья просьба, но опустим её. Бесценен заключающий абзац:

«Тяжело обращаться к товарищу Сталину и тревожить его — может, всё Вы устроите сами... но боюсь, промолчу, если будет неладно, товарищ Сталин мне же скажет: «Почему не сигнализировала вовремя, «неизменный друг» называешься, это обязывает».

Тут рассчитано каждое слово, и есть даже определённая угроза всемогущему Поскрёбышеву: не поддержит «надлежащим топливом этот несколько надорванный творческий организм», не устроит всё сам, «товарищ Сталин мне же скажет: «Почему не сигнализировала вовремя...». Отношения, мол, короткие, на «ты». Словом, «Анекдотически не умеем устраиваться».

В заключение — та самая сцена из документального рассказа Тендрякова, о котором я уже упоминал:

«...весь свой монарший гнев Хрущёв неожиданно обрушил на Маргариту Алигер, повинную только в том, что вместе с другими участвовала в выпуске альманаха.

— Вы идеологический диверсант! Отрывка капиталистического Запада!..

— Никита Сергеевич, что вы говорите?.. Я же коммунистка, член партии...

Хрупкая, маленькая, в чём душа держится, Алигер — человек умеренных взглядов, автор право-

верных стихов, в мыслях никогда не допускавшая недоброжелательности к правительству, — стояла перед разъярённым багроволицым главой могущественного в мире государства и робко, тонким девичьим голосом пыталась возражать. Но Хрущёв обрывал её:

— Лжёте! Не верю таким коммунистам! Вот беспартийному Соболеву верю!..

Осанистый Соболев, бывший дворянин, выпускник Петербургского кадетского корпуса, автор известного романа «Капитальный ремонт», усердно вскакивал, услужливо выкрикивал:

— Верно, Никита Сергеевич! Верно! Нельзя им верить!

Хрущёв свирепо неистовствовал, все съёжились и замерли, а в это время набежали тучи, загредел гром, хлынул бурный ливень. Ей-ей, сам господь бог решил принять участие в разыгравшейся трагедии, неизобретательно прибегая к избитым драматическим приёмам. Натянутый над праздничными столами тент прогнулся под тяжестью воды, на членов правительства потекло. Как из-под земли вынырнули brave парни в отутюженных костюмах, вооружённые швабрами и кольями, вскочили за спинами правительства на ограждающий барьер, стали подпирать просевший тент, сливать воду — на себя. Потоки стекали на их головы, на отутюженные костюмы, но парни стойчески боролись — самоотверженные атланты, поддерживающие правительственный свод. А гром не переставал греметь, а ливень хлестал, и Хрущёв неистовствовал:

— Прикидываетесь друзьями! Пакостите за спиной! О буржуазной демократии мечтаете! Не верю вам...

Хрупкая Алигер с помертвевшим лбом стояла, вытянувшись, и уже не пыталась возражать.

Гости гнулись к столам, поёживались от страха перед державным гневом и от струек воды, пробивающихся сквозь тент, — атланты оберегали только правительство. И смущённый Микоян услужливо угощал ближайших к нему гостей отборной клубникой с правительственного стола. И Соболев неустанно усердствовал:

— Нельзя верить, Никита Сергеевич! Опасения законные, Никита Сергеевич!..

Жена, дама в широкополой шляпе, с ожесточённым лицом дёргала мужа за рукав и нащёптывала. И муж внял, обиженно засутился:

— Ведь я, Никита Сергеевич, имею право на уважение, но вот никак... никак не могу добиться, чтоб мне дали... гараж для машины.

Жена с удовлетворённостью закивала широкой шляпой.

А гром продолжал раскалывать небо. Мокрые атланты возвышались с вознесёнными швабрами. Затерянный среди гостей Самуил Маршак с бледным вытянутым лицом время от времени изрекал:

— Что там Шекспир!.. Шекспиру такое не снилось...

В завершение Соболева от усердия и перевозбуждения... хватил удар. Его уносили с торжественной встречи на носилках. А жена в чёрных перчатках по локоть бежала рядом и обмахивала мужа широкополой шляпой».

Прошлый век... В прошлом веке... Я пока не могу привыкнуть к звучанию этих слов. В том, прошлом веке, — вся моя жизнь, всё мыслимое. Для меня прошлый — это далёкий, ушедший за горизонт 19-й век. Он действительно далёкий. А новому веку, в котором мы сейчас живём, всего только три с небольшим месяца. Ничего не изменилось на грани

XX и XXI веков. Те же проблемы, та же беда, такой же, как в прошлом году, жаркий апрель, хотя в тени, под деревьями ещё лежит снег, но поют уже синицы и щеглы. Хорошо под вечер сидеть, слушать их. Земля ещё холодная, и день остывает, садится солнце за деревьями, хорошо садится, не в тучку, завтра тоже будет ясный день, а они щебечут-заливаются: живы, пережили лютую зиму. Помнят ли они тех, кто не пережил, что-то остаётся у них в памяти?

Соединяя век нынешний и век минувший, лежат с «прошлого века» в вагонах — рефрижераторах убитые неопознанные солдаты первой чеченской войны. Вот пишет корреспондент «Новой газеты» Юрий Сафронов из Ростова-на-Дону: «В первую войну здесь стоял один вагон-рефрижератор, часто не было электричества, тела размораживались, люди, работавшие здесь, напивались, чтоб не сойти с ума. Сейчас построили два огромных ангара-холодильника». Там же: «Первую войну мы держим при «минус 18», там уже непонятно что. А вторую... «минус пять» достаточно. Чтобы тело быстро разморозить, если надо будет посмотреть специалистам». И от себя корреспондент добавляет: «Это не цинизм. Это война всё упростила... Здесь так проста смерть».

Там же: «Валентина Демьяновна Каюкова — ростовская Мама. У неё большой и страшный опыт: она исколесила всю Чечню, искала сына. Год и семь месяцев искала, потеряла здоровье, а Серёжу своего нашла в родном Ростове в вагоне-рефрижераторе... Её телефон — накопитель боли. Таких Мам было семьдесят. Они искали своих сыновей, пропавших в первые дни первой войны. Чеченцы показывали им, где есть захоронения, они откапывали тела, смотрели на зубы. Если губы ещё сохранились — «расширяли» губы. И — смотрели. Кости смерть не трогает...».

Временами мне стыдно жить на свете.

Вторгаясь в историю, в течение жизни народов, как бандиты вламываются в дом, все эти фюеры, «гении всех времён и народов», последствий не предвидят, им это не дано. И всё повторяется. Самое поразительное, что в те же сроки, хотя и на новом витке. 1812 год. Разгром наполеоновской армии, изгнание Наполеона из России. Небывалое одушевление. Высоко взлетел в мире авторитет России. Не из Европы, как принято считать, принесли русские офицеры дух свободы, они его добыли на войне, победа превратила их из подданных в граждан. Декабристы. Николай I. Россия, придавленная державной пятой. В дальнейшем Блок напишет о Пушкине в ту пору: «Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха». Итог этого «отсутствия воздуха» — поражение в Крымской войне. Прошло четыре с небольшим десятилетия: от величественной победы до позорного поражения.

1945 год. Разгром гитлеровской Германии. Победа в великой Отечественной войне небывало вознесла Россию в глазах всего мира. Но мы ещё не понимали, что, победив беспощадного врага, мы одновременно укрепили *его* трон, ту систему, которая в 41-м году поставила страну на край гибели. Мы возвращались домой победителями, чтобы дома стать побеждёнными. От нас, мнилось *ему*, веяло духом свободы, он не забыл про декабристов, *ему* не нужны были граждане, нужны были винтики. И в стране, погрузившейся в страх и безмолвие, гремели заздравные песни и отстукивали по рельсам колёса эшелонов: в лагеря, в лагеря... Как век назад, ровно через сорок лет после великой победы, мы потерпели позорное поражение в Афганистане. И не гладкоствольными, как в Крымскую войну, ружьями против нарезного оружия сражалась армия, за её спиной были нацеленные баллистические ракеты с

ядерными боеголовками, способные выжечь весь Шар Земной. Не помогло, история вершила свой суд. Империя рухнула не в Беловежской Пуше, там происходило канцелярское оформление имевшего быть, оттуда каждый воровато увлакивал по куску в зубы: Россию без Крыма, Украину с Крымом в придачу, Белоруссию. Империя дала трещину и надломилась в Афганистане. (Об экономических причинах я здесь не говорю). А теперь — Чечня. Ещё Пестель планировал выселить чеченцев. Сталин осуществил это с размахом: чеченцев, карачаевцев, ингушей, калмыков... Не забылось, через четыре десятилетия всё это отозвалось. Очень опасаясь, что Чечня — не завершение, а только начало.

Что для нас 1905 год? Прежде всего — революция девятьсот пятого года, броненосец Потёмкин... От этой революции к революции 1917 года вроде бы прочерчивается прямая линия, но это далеко не очевидно. Можно ли это событие, в котором участвовали тысячи людей, убивая друг друга, сопоставить по значению с тем, что, в Берне, в Швейцарии, в том же 1905 году, некий молодой физик, известный только в очень узком кругу, написал и опубликовал три статьи? Их поначалу не заметили даже в научном мире. Но в них, в трёх этих статьях, Альберт Эйнштейн изложил свою теорию относительности. Один из его биографов писал впоследствии: «Эйнштейн создал теорию, которая помогла распутать целый узел физических проблем, но она способна окончательно запутать простых смертных». О ней спустя полтора десятка лет будут писать: «Новая теория строения вселенной». В Лондоне президент Королевского общества объявит теорию относительности высочайшим достижением человеческой мысли. Однако в девятьсот пятом году, повторяю, это всего лишь три статьи, почти не

замеченные. Но за ними с железной закономерностью последует атомный век, взрыв атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки, против чего Эйнштейн и ряд физиков в дальнейшем пытались протестовать, но предотвратить это они уже были бессильны.

*Не потрясения и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламенённой чьей-нибудь.*

Н-да... Очистили путь к атомной бомбе.

Кстати уж, поскольку упомянул о русско-японской войне: среди причин нашего поражения в войне с Японией 1905 года называли и отдалённость театра войны (эскадре нашей чуть ли не вокруг света пришлось плыть на помощь), и то, что генералы наши были едва ли не самые старые по возрасту, если сравнивать с другими армиями мира, и многое, многое ещё... Но вот такое обстоятельство почему-то не упоминается: обязательное всеобщее образование было введено в Японии в то самое десятилетие, когда в России отменили крепостное право: в шестидесятых годах 19-го века. И удивлялись: откуда у Японии вдруг взялся такой мощный да ещё чуть ли не самый современный флот?

Закончилась шумная эпопея удушения телевизионной компании НТВ. Вернее так: душить старались втихую, но тот, кого душили, кричал. Вместе с Союзом журналистов энтеवेशники созвали два гигантских митинга: на Пушкинской площади в центре Москвы и в Останкино, у телебашни, там сотни, может быть, тысячи людей стояли под дождём. Успокаивая свою совесть, я написал для спецвыпуска «Общей газеты» (первый её спецвыпуск — 20 августа 1991 г., т.е. на второй день путча): «Мне

стыдно. Стыдно за мою страну, где руками проходимцев пытаются удушить единственную независимую телекомпанию. За все годы её существования я ни разу не выступал на НТВ, не случилось. Тем более могу сказать непредвзято: это лучшая наша телевизионная компания. И вот её душат, и судьи лгут, а высшая власть безмолвствует. Опять испугались глотка свободы. И чего добьются? Добьются того, что ещё несколько тысяч светлых голов покинут родину, где вновь вводится единомыслие, поедут талантом своим обогащать другие страны. А мы будем по-прежнему распродавать богатство наших детей и внуков — нефть, газ, — оставляя наши города замерзать во мраке. Больно и стыдно».

Одно из объяснений смелости НТВ такое: надеялись сторговаться. Они перестанут из передачи в передачу полоскать президента, а им за это спишут долги: миллиард долларов. Возможно, в этом объяснении что-то и есть, не исключаю.

А вообще-то надо помнить свою историю, помнить, чем обычно заканчиваются у нас споры с властью светской ли, церковной. В 1682-м году, 5-го июля, началась в Грановитой палате Кремля знаменитая «пря о вере», т.е. богословский спор между никонианцами и староверами. Спор выиграли сторонники патриарха Никона, главу старообрядческой церкви казнили на Лобном месте, а староверы, как их называли — раскольники отправились осваивать земли за Уралом и в Сибири.

Году ещё в 88-м, может быть, даже и в конце 87-го, когда «перестройка» делала первые шаги, пришёл ко мне в «Знамя» известный журналист-международник Юрий Жуков, занимавший ряд важных постов; он сопровождал в своё время Хрущёва в Америку, был членом ревизионной комиссии ЦК, Герой соц. труда и т.д. и т.п. Разговор происходил

один на один. «Скажите правду, — попросил он, — вам дано указание не печатать меня?». Ни одной его рукописи в «Знамени» не было, очевидно, в каких-то редакциях вернули ему его статьи, раньше такое могло случиться только, если «сверху» дана команда. И вот, испуганный, он пытался выяснить, дана в отношении его команда или не дана? Поверить, что его статьи об империализме просто уже никому не нужны, он, конечно, не мог.

Рука его лежала на столе, и вот на эту руку я посмотрел, когда он говорил. Истончившаяся, глянцеви́тая, прозрачная кожа без жировой подкладки, сквозь неё видны сухожилия, они напрягаются, когда он шевелит пальцами. Набухшие вены. «О чём он хлопочет? — подумалось мне тогда. — Ведь дни его сочтены». И не ошибся.

Послезавтра, 23-го апреля, ложусь на операцию. Но книгу, ещё одну, дописать хочется. И знаю же, ничего в жизни не изменится, допишу я её или нет. Ни славы, ни денег я от неё не жду. Всё это было в моей жизни, было. Сорок два года назад вышла повесть «Пядь земли», обвал читательских писем, первые робкие рецензии «во славу» и — разгромная официальная критика, закрепившая за ней термин «окопная правда», которым потом, как я уже говорил, побивали многих. Впрочем, рецензии, как правило, я не читал, чтоб не мешали работать. В дальнейшем «Пядь земли» была издана в 36 странах мира, да не по одному разу, в Германии, например, тогда ещё Западной Германии, — четырежды, в Восточной — запрещена. А роман «Июль 41 года», который вышел и был запрещён на двенадцать лет? Обе эти книги и сейчас издаются, люди покупают, читают их. Так вот ни честолюбивые, ни материальные соображения меня не одолевают. Вполне возможно, ни одной живой душе книга моя не будет нужна, хотя, честно говоря, я так не думаю. Тогда что же? Она

нужна моей душе, я и всегда писал то, что требовалось не кому-то, а моей душе. И тянет, тянет к столу неодолимая эта сила: «ещё одно последнее сказанье — и летопись окончена моя...». В том-то и дело, что пока ты жив, она не бывает окончена, она обрывается неоконченной, ибо «недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил».

За день до того, как мне лечь в больницу, принесли нам отросток какой-то необычной сливы. Мы с Эллой посадили его. Интересно, примется ли, выкопан неумело, корни очень плохие.

4 июля 2001 г. Не писал два с лишним месяца: неудачная, безграмотная операция («Сделаем всё в лучшем виде!»), повторная срочная операция на следующий день, делал уже другой хирург, вскоре — ещё раз больница и ещё. Есть старый анекдот, который я полузабыл, но суть такова: у человека врос ноготь в палец ноги, операцию решено было делать в больнице. По дороге в операционную, в лифте, его уронили с каталки. Перелом двух рёбер, инфаркт с перепугу. Вылечили с грехом пополам, привезли домой. Тут-то и обнаружилось, что ноготь так и остался вросшим в палец, не до него было. Примерно то же получилось и со мной, лечился теперь уже от последствий операции, верней — от последствий лечения. За мою жизнь резали меня столько раз, что не припомнить. И вот интересно: 43-й год, полевой походный госпиталь, т.е. бывшая конюшня. Лежим на соломе, на плащпалатках. Ну, какие такие лекарства? Даже стрептоцида не было, не то, что, например, пенициллина. А тут, боясь заражения, сразу после операции без разбора — можно? нельзя? — колют антибиотики, какие покрепче. Результат — дважды аллергия. Да какая! Всю ночь — капельница, врачи сами перепугались. А ведь лежал в НИИ, в научно-исследовательском институте. Но

это — чиновничий департамент, чиновники в белых халатах. Переполох: приезжают американцы! Приехали американцы! Ожидание на цыпочках: пригласят ответно в Америку, не пригласят?! Про больных забыто, больные мешают, не до них. Десять дней лежал, десять дней в палате не мыли полы, за деньги не допросишься, санитарок нет, все разбежались: зарплата грошовая. Но в кабинете начальства мебель обтянута кожей, пробита золотыми обойными гвоздиками. И на поездку целой оравы в Америку, и на банкеты деньги есть. А во главе всего этого департамента — академик Лопаткин. Это он за большие деньги делал операцию Юре Трифонову: вырезал почку. Но про то, что после операции надо проверить протромбин, что может образоваться тромб, про это забыли. Юра уже смотрел телевизор, и — тромб в сердце...Мне операцию делал не академик, но дипломированный кандидат наук Сивков, этот ещё будет занимать посты. После операции, на следующий день, даже не зашёл в палату. И это — врач. В Англии такую операцию делает робот, и через три дня человек уже дома. Словом, несмотря на усилия врачей, я жив.

А слива диковинная, которую мы с Эллой посадили, прижилась, дала прирост. И три прививки моих, я сделал их весной, принялись. Но это потому, что не было жары, беспросветно лили дожди. Сегодня утром косил по росе, сколько живём, первые трава и сорняки — по пояс, не хочется всё же, пока могу.

P.S. После первой, неудачной операции, всю ночь — боль, спать не мог. И что же меня жгло? Как раз незадолго до того, как лечь в больницу, прочёл статью, которая меня возмутила. И жгло меня то, что напишу в связи с этим, статья сама по себе — мелочь, но за ней многое виделось. И уже фразы складывались в голове...

Читатель из Перми прислал мне ксерокопию статьи: «Сын еврейского народа» (подзаголовок — «К 53-ей годовщине учреждения ордена и медали Нахимова») из израильской русскоязычной газеты «Шолом» № 2 — 1997г. Орден и медаль Нахимова были учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года. Орденом 1-й и 2-й степени награждали особо отличившихся офицеров ВМФ за выдающуюся разработку и проведение морских операций, медалью — солдат и сержантов. В городах Ленинграде, Риге, Тбилиси были созданы Нахимовские училища. Это всё известно. А вот то, что никогда у нас не упоминалось, во всяком случае, я этого не встречал и не знал: дед Нахимова, Нухим «...был местечковым сапожником, а отца будущего флотоводца звали Самуил. В 12-летнем возрасте Самуил примкнул к проходящему через местечко полку. Был определён барабанщиком, а затем — крещён... После крещения Самуила назвали Степаном, а фамилию дали Нухимов — по родному отцу. Впоследствии он изменил букву и стал Нахимовым... в 1785 году за храбрость и находчивость произведён в офицеры. Вышел в отставку в звании майора и как штаб-офицер стал потомственным дворянином. Купил сельцо Городок в Вяземском уезде Смоленской губернии, женился. В жены Степан Нахимов взял еврейку Ревекку — дочку лавочника Янкеля из Пинска. Ревекка крестилась и была названа Раисой. В 1802 году у них родился сын, которого назвали Павлом. Следовательно, Павел генетически был евреем, родившимся от еврея Самуила и еврейки Ревекки. Он был четвёртым ребёнком в семье. А родила Раиса 11 детей, из которых 6 умерли ещё в младенчестве. Осталось пять сыновей. Все они, в том числе и Павел, были определены в Морской кадетский корпус... В 1845 году произведен в контр-адми-

ралы. А в 1852 — в вице-адмиралы... Особо отличился во время Крымской войны 1853-1856 годов. Командуя эскадрой Черноморского флота, он обнаружил и заблокировал главные силы турецкого флота в Синопе, а 18 ноября 1853 г. разгромил их в Синопском сражении... Во время Севастопольской обороны 1854—1855 годов, будучи командующим эскадрой, а с февраля 1855 года — командиром Севастопольского порта и военным губернатором, возглавлял героический гарнизон защитников крепости... Именно в это время он был произведён в полные адмиралы... В императорском рескрипте по случаю его смерти сказано: «Своим благоразумием, мужеством и замечательной распорядительностью адмирал Нахимов удивлял своих сподвижников и заслужил вечную признательность России». В Севастополе воздвигнут памятник П. С. Нахимову. Четыре брата адмирала Нахимова также связали свою судьбу с Российским флотом. Наибольшего успеха достиг самый младший брат — Сергей Степанович. Он был директором Морского кадетского корпуса. Имел чин контр-адмирала, а в 1864 году был произведен в вице-адмиралы. Потомки П. С. Нахимова тоже евреи, да ещё и некрещённые. Формально считалось, что Нахимов не был женат. Но у него была невенчанная жена, еврейка Рахиль, которая наотрез отказалась креститься и поэтому формально не могла считаться законной женой адмирала. У Нахимова и Рахили было три сына. После смерти Нахимова Рахиль вместе с сыновьями была изгнана из нахимовского имения в Курской губернии... Дети, внуки, правнуки знаменитого адмирала, считая себя евреями, гордо носили и носят еврейскую фамилию Нахимовы».

В годы кавказской войны XIX века, о которой писали и Лермонтов, и Толстой, и Бестужев-Марлинский, Шамиль через посредников награж-

дал шашкой самых смелых русских офицеров. Эта награда особенно ценилась. Был награждён генерал Скобелев и, как пишет Борис Васильев, «знаменитый на весь Кавказ «Барс Львович» — еврей из кантонистов, личной отвагой выслуживший генеральский чин». А первым русским солдатом, которого через месяц после начала Первой мировой войны царь наградил Георгиевским крестом, был Лев Осна́с, еврей.

В деревне, недалеко от нашего посёлка, доживает свой век пожилая женщина, Нина Дмитриевна, я о ней уже упоминал. Ей за семьдесят, но корове она ещё косит сама, старик не помогает.

Старик мой совсем с ума сошёл: вот тебе твоя пенсия, вот — моя. Хочешь, держи корову, хочешь — что хочешь. А мне надо будет молока, я себе куплю.

Рассказывает и плачет, и слёзы текут из-под очков. Помню, пришла зимой, пуховый платок от дыхания — в инее, села, протёрла побелевшие с мороза стёкла очков. До меня долетают отдельные слова, голос её слышен, я сижу, работаю, а она рассказывает Элле про свою долгую жизнь. Ей было четырнадцать лет, когда началась война и отца забрали на фронт. И мать призналась ей, что она беременна и хочет избавиться от ребёнка, больше посоветоваться было не с кем. Но Нина испугалась: вдруг что случится, а их уже трое, куда они без матери? И уговорила её рожать. Так, благодаря ей, родился на свет младший, Ваня. С голоду мать пошла собирать на скошенном поле оставшиеся колоски, ночью пошла. Поймали, судили, отец на фронте воюет, родину защищает, а ей от имени родины дали семь лет, и четверо детей её хоть помирай. Тянула всех на себе четырнадцатилетняя девочка, как она сама выжила, как младшим не дала умереть — Бог

весть. Вернулся отец с войны. Раненый. Помыкался, помыкался, а тут из Сибири сестра пишет ему: что ж ты будешь столько лет ждать её, приезжай, мы тебе невесту нашли. И он продал корову, единственное что у них было, деньги разделил: половину взял себе, половину четверым детям оставил. И уехал. Сжалился над ними дядя, мамин брат, поехал с Ниной на базар покупать тёлочку, сам выбрал. Оттуда, несколько километров гнали её домой: дядя тянул за верёвку, Нина подпихивала сзади. Он же и сосватал её замуж: одна ты не вытянешь. Отец вернулся года через два, у них уже была корова. Теперь у Нины Дмитриевы свои взрослые дети, сыновья женились, дочь вышла замуж. Один сын потерял работу в Москве, с женой переехал к ней, устроились в совхозе монтерами. И другие приезжают на выходной. Тут сметана, творог, масло — всё своё. Сядут обедать — отец, ну чего ты, иди за стол. Нет, нет, мне ничего не надо. Сам себе что-то готовит.

Дети жалеют её: что ж ты надрываешься, не мучайся, продай корову. Не помогает никто: некогда. Она им в дорогу и сальца отрежет, и молока нальёт: в городе всё покупное, всё за деньги. А они это молоко, прежде чем сесть на автобус, продают на базарчике: есть у нас небольшой базарчик у автобусной остановки, в четырех километрах от деревни и от нашего посёлка, там и заметили их односельчане, рассказали ей. Единственный, кто приезжает помочь, (картошку выкопать, с сеном управиться) — младший её брат, Ваня, тот, что благодаря ей живёт на свете. Рассказывает она про свою жизнь и плачет, плачет.

Уходят поколения, столько пережившие, столько изломанных жизней. Целый пласт истории уходит. Уйдут они, и как будто их не было, молодым и сегодня всё это уже не интересно, у них — своя жизнь.

Июль. Вчера в одиннадцатом часу вечера Элла позвала меня:

— Смотри, какой странный свет!

Стволы берёз были освещены, но не с западной стороны, куда недавно село солнце, а с востока, откуда надвигалась ночь. И свет, действительно странный, будто электрический из наших окон, но у нас — шторы. И яблони в саду, и весь сад и терраса были освещены с востока этим странным светом. Подумалось: уж не включил ли кто-то прожектор? Вышел на крыльцо. Высоко в небе, в восточной стороне, стояли светящиеся облака, они и отражали, отбрасывали свет уже закатившегося, невидимого солнца.

Власть пьянит. Что уж говорить о тех, кто на вершине государственного гранита, но вот — самые малые, у кого в руках, по сути, и власти — то никакой нет...

Когда у нас родился сын, то есть сорок с лишним лет назад, жили мы вблизи вокзала, на Киевской улице, на четвёртом этаже. Он родился в декабре, в самые морозы. И вот собираемся гулять: он тепло укутан, мы одеты тепло, входим с коляской в лифт, и тотчас — голос лифтёрши в микрофоне:

— Вывезите коляску, лифт не пойдёт!

Я и в диспетчерскую ходил к ней объясняться.

— Вы коляску закатите в кабину, а сами пойдёте пешком

— Так это же наш сын! Кому он дороже?

Непробиваема. И с четвёртого этажа коляску с сыном я сносил вниз. А вверх подымала в лифте.

С войны, с фронта, вернулся я к родственникам в шестиметровую комнату, как мы там помещались, сейчас даже представить себе невозможно. Го-

ду в сорок восьмом удалось с большой доплатой поменять её на двадцатиметровую комнату на втором этаже старого дома — низ кирпичный, верх деревянный — в Замоскворечье, во 2-м Кадашевском переулке. Казалась нам эта комната очень просторной, пол, крашенный масляной краской, немного, правда, покатый: дом покосился и был подпёрт. Печь топилась дровами из комнаты, но зато — старинная, кафельная. Машину дров я сам перепилил (была такая пила, одному можно было пилить), перепилил и переколол и сложил в сарае, всё — за один день, соседка сказала: «Это не работник, а угодник». Потом печи стали переделывать на отопление каменным углём. Пришёл печник, с ним — две молодые девки, разнорабочие. Как пришли они в ватных телогрейках, так и сидели в телогрейках в тепле. Скомандует печник поднести что-нибудь, поднесут и опять, как куры на насесте, сидят на корточках по бокам его, смотрят.

На другой стороне Кадашевского переулка в полном запустении — церковь. Оттуда, с церковного двора, приволок я огромную каменную плиту, ломом кантовал её через дорогу, образовался порожек у входа. До этого взлезали в дверь, задирая ногу, хватаясь руками за косяки. Мы — на втором этаже, а в мезонине над нами жили молодые женщины, вагоновожатые и кондукторы, все из одного трамвайного парка. Возвращались они поздно, а свет в доме выключали в 9 часов вечера. И выключал его наш сосед, столяр Буквинов. Во время войны, когда экономили электричество, он был назначен на эту должность: выключать. «Я — старший по свету!» — называл он себя. Война кончилась три года назад, но он всё так же в девять вечера выключал рубильник, и свет во всём доме гас. Я учился в институте, вечерами готовился к экзаменам, иду и включаю рубильник. Тут же он высказывает, пожилой меша-

нин: «Я здесь — старший по свету! Меня назначили!». И власти этой своей ни за что не хотел лишиться: чем меньше человек сам по себе, чем ничтожней, тем больше у него потребность возвыситься над другими, власть свою показать. Ни слова не говоря, я шёл и включал рубильник. Он выбегал с криком, выключал. Я снова включал...

Он же, услышав по радио об очередном присуждении сталинских премий (двести тысяч рублей, сто тысяч, а деньги тогда были такие: сотня с Лениным чёрного цвета, тридцатка с Лениным — красная), говорил мне на кухне:

— Она ногами дрыгает, ей — двести тысяч. А может она просверлить, например, дырку в стекле? А я могу!

И объяснял, как он это делает: дырку в стекле.

Перечитал цикл рассказов Юры Трифонова «Опрокинутый дом». Помню первое своё впечатление двадцатилетней давности: зачем он печатал этот рассказ — «Вечные темы»? Ну, написал в какую-то минуту своей жизни, прошло время, можно спокойно взглянуть. Это же закон литературы: о ком бы и о чём бы ты ни писал, ты одновременно рассказываешь о себе. Тогда, после книжной ярмарки, подошёл ко мне старик Троепольский (мне было под шестьдесят, ему под восемьдесят, т.е. столько же, сколько мне теперь), подошёл и спрашивает, прочёл ли я этот рассказ? Прочёл, говорю. «Ведь они оба уже *там*, — он показал вверх, он был верующий, — Как же они *там* встретятся?».

Писал Юра в последние годы точно, жёстко, зримо. Ну, вот, например: «Я приехал в город через восемнадцать лет после того, как был здесь впервые. Тогда мне было тридцать пять, я бегал, прыгал, играл в теннис, страстно курил, мог работать ночами.

Теперь мне пятьдесят три, я не бегаю, не прыгаю, не играю в теннис, не курю и не могу работать ночами. Тогда приехал в Рим в толпе туристов, теперь я здесь один. Тогда вокруг были друзья, теперь окружают малознакомые итальянцы, которые заняты своими делами, я их понимаю... тогда я был нищ, скуп, по городу ходил пешком, жалея тратить лиры на автобус, вечерами валился с ног от усталости, утром вскакивал бодрый, как пионер, на витрины книжных магазинов смотрел с жгучей тоской; теперь могу купить любую книгу, ходить пешком мне скучно и утомительно... Тогда я жил в бывшем публичном доме «Каиро», обитательниц которого на время Олимпиады выселили и в узких комнатах поселили нас, туристов, на пятый этаж мы поднимались пешком; теперь живу в «Сан-Рафаэле», рядом с площадью Навона, это совсем не похоже на пансион «Каиро». Цитата взята из того же цикла, но из другого рассказа. Он ещё понадобится.

Так вот — «Вечные темы». В рассказе — два времени: время унижения и время, скажем так, торжества. После Сталинской премии за роман «Студенты», шумного успеха... Впрочем, вот что об этом пишет Н. Иванова, прекрасно знающая творчество Ю. Трифонова: «...роман, опубликованный в журнале «Новый мир» в позднесталинскую эпоху (на дворе — 1950-й), роман конъюнктурно отвечающий сталинской идеологической кампании против «космополитов» в литературе и искусстве, он получает Сталинскую премию и немедленно возносится на недостижимую для его ровесников высоту, деньги и слава из рук палача родителей, молодая жена, певица Большого театра, машина, модное пальто и шляпа». Но Сталин умер, время переменялось, настала краткая хрущёвская «оттепель», новые имена в литературе, а Юра выпал из времени. Даже в «Новом мире», где его печатали, изменилось отношение

Твардовского к нему, соответственно — всех остальных. Вот в эту пору принёс он свои рассказы: «...я принёс в редакцию знаменитого журнала несколько рассказов, вернее — рассказиков, каждый не больше пяти страниц, все вместе страниц тридцать, жалковатая рукопись, тем более жалковатая, что несколько лет я не мог написать ничего путного. На меня махнули рукой, кучка рассказов была первым *произведением* после долгого перерыва, она много значила для меня, неизмеримо много, никто бы не догадался, глядя на тощую кипу листочков, что она значила для меня, я никому бы не мог объяснить — потому что разве объяснишь? — и кроме того человек не понимает своей судьбы в тот час, когда судьба творится, понимание является задним числом, я лишь чуял, что миг — судьбоносный, меня лишь охватывал смутный трепет. Какой-то озноб страха и нетерпения, и вот я пришёл за ответом в полутёмное здание на одной из самых старых улиц Москвы... Лицо судьбы было невзрачно: желтовато-пегое, со впалыми щеками, седоватым бобриком. Со взглядом печальным и одновременно безжалостным. Сидя вполоборота, окутанный дымом сигареты, торчащей в деревянном мундштучке, человек за столом сказал:

— Всё какие-то вечные темы.

Я напрягся, ожидая удара. Но удара не последовало. Всё было ясно и так, рассказы не будут напечатаны в знаменитом журнале по той причине, что — «вечные темы».

«Лицо судьбы» написано точно, человека этого я знал, должность его в редакции была в значительной мере палаческая. Я это испытал на себе. Кончалась краткая хрущёвская «оттепель», опять при имени Сталина шумно вставали военные в больших чинах, рукоплескали, и уже печаталось, что гибельное наше отступление до Москвы было

вовсе не отступление, а стратегический маневр: заманивали врага. А в «Новом мире» лежал в это время мой роман «Июль 41 года». Твардовский сказал:

— Выньте главы про тридцать седьмой год, иначе напечатать не сможем.

Сказано это было у меня на даче, на террасе, за столом, оба мы были в подпитии, а наркоз смягчает боль, по себе знаю: во время войны, в госпитале, в Красном Лимане, мне, раненному, дали перед операцией стакан водки.

— Если б ещё из жизни можно было вынуть всё это, — сказал я Александру Трифоновичу, — Без 37-го года не было бы трагедии 41-го.

В редакции возвращали мне роман первый зам. Твардовского Дементьев и «лицо судьбы». Вот он, младший по чину, и говорил главным образом.

Отказывать, по себе знаю, дело тяжёлое, но он от власти, данной ему, получал удовольствие. Я уже взял рукопись подмышку, поднялся уходить, и тут он сказал вслед:

— А ведь если мы не напечатаем, никто не напечатает сейчас.

И — жестокое любопытство в глазах. Должно быть, это, в самом деле, любопытно — посмотреть, как лягушка дёрнется под током.

Роман мой напечатали в другом журнале, а в дальнейшем он был запрещён надолго, я об этом уже упоминал.

«Лицо судьбы», что говорить, был, в общем-то несчастный человек, неудачник. Приближенность к Твардовскому, должность, костюм делали его значительным. Но наедине с самим собой, возможно, он всё же не обманывался: жизнь не удалась. И не кому-то, а своей судьбе он мстил. Всё это я понял позднее, не в тот момент, когда синие его губы произносили приговор. Какие уж с ним счёты задним числом...

«Прошло двадцать два года, — пишет Юра Трифонов, — Зимой в Риме в отеле «Феникс» мне передали в рецепции записку... такой-то находится в Риме и хочет меня видеть. Я удивился: за двадцать два года, с тех пор, как мы разговаривали о вечных темах, мы не сказали друг другу ни слова. Нет, не потому, что между нами возникла враждебность, а потому, что между нами *ничего не возникло*: мы остались чужими людьми. Зачем же, бог ты мой, я ему нужен?».

Отель, в котором остановился Юра с женой, был дорогой: зимний сад, «двор с подстриженной сочно-зелёной, не зимней травой, с пальмами, кирпичной стеной и ярчайшим голубым куском неба над ней». Трифонов к тому времени уже был писатель с мировым именем, книги его издавались и переиздавались во многих странах мира, известность, деньги. Генрих Бёлль писал о нём. Я как-то зашёл в Иностранную комиссию Союза писателей, там, в одной из тесных её комнат, сидел Юра Трифонов, он только что прочёл рецензию Генриха Бёлля на свой роман, привезенную из Германии консультантом инокомиссии Стеженским, держал её в руках и, увидев меня, прочёл её мне, бегло переводя с немецкого. А «лицо судьбы»... Ни чьи судьбы давно уже от него не зависели. И до отеля он добирался пешком:

«Господин добирался издалека. Потом я догадался, что он шёл из Трастевере пешком, как я когда-то, экономя лиры...

Он развёл руками и сказал, как бы извиняясь:

— Видите, как получилось...

Его первая жена умерла от болезни крови пятнадцать лет назад. Вторую жену постигло такое же несчастье. Теперь он женат в третий раз, нынешняя очень любит детей от своего первого брака, не

мыслит жизни без них, и оттого всё так получилось. Не было другого выхода. Её дочь с мужем уехали три года назад, у них девочка, она заболела тяжёлым нервным заболеванием, и жена не могла вынести того, что они там одни. Она их любит безумно. Какая-то неестественная любовь. Всё невероятно запуталось. Дело в том, что бывший муж жены, отец этой молодой женщины, которая сейчас в городе Атланта, был тем человеком, который принёс моему гостю больше всего горя. Так что приходится страдать и перестраивать жизнь из-за его внучек. Он оставил отца в Ленинграде, отцу девяносто один год... Я спросил: почему он мне всё это рассказывает? Ведь мы мало знакомы.

— Почему мало? — возразил он. — Мы знакомы. Я помню, мы отдыхали вместе в Ялте. Потом встречались как-то у Градовых. Я знал бывшего мужа вашей жены. Кстати, передайте ей большой привет.

— Я передам, — сказал я. — Всё запуталось, вы правы.

Мы просидели в подвале ресторана до десяти вечера... Мой гость не спешил. Он съел две порции спагетти по-болонски. Потом мы ели дыню, пили чай и курили».

Вот эти, съеденные гостем «две порции спагетти по-болонски», ох, лучше б не упоминать их. А написан рассказ хорошо. Не эта сцена, как они сидят в ресторане: Хемингуэй сживал примерно так же. Дела не меняет, что — в Испании. Возможно, именно это почувствовал «лицо судьбы», всё же он служил при литературе, ощутил больно свою приниженность: «...его лицо приобрело старое выражение — печального палача. Он спросил:

— Вам не надоело?

— Что?

— Всё время писать. Ещё надеетесь поразить мир? Думаете, мир крякнет однажды, прочитав ваш опус?».

Прекрасно написан конец рассказа, особенно — последняя строчка: «Далеко на севере был наш дом, сейчас там стояли морозы, заметало дороги, утром приходилось вызывать бульдозер, и белым паром сквозь кровлю выходило тепло». О, как много здесь сказано. И как убийственно. Бездомный, ни в одной стране никому не нужный старик, бывшее «лицо судьбы», он, наверное, и из гостиницы, хорошо поев на дармовщинку, тепло в животе, плёлся пешком, экономя лиры. Какой звучный язык итальянский: Трастевере. Примерно две тысячи лет тому назад, после того, как римские войска одержали победу и разрушили в Иерусалиме храм, здесь, в Трастевере, стали селиться пригнанные в Рим рабы-иудеи: и отпущенные на волю, и те, кто со временем смог выкупить себя из рабства. При фашистах здесь было еврейское гетто. Вот туда по римским улицам и плёлся старик в одиннадцатом часу ночи

«Как же они *там* встретятся?» — спросил Троепольский. Он ошибся, «лицо судьбы» тогда был ещё жив, он пережил Юру на восемь лет. Ехать в Италию, на жаркое солнце, Юре нельзя было, у него был рак почки, той самой, которую вскоре вырежут, а метастазы уже проникли дальше, он об этом не знал.

Запретить себе писать невозможно: и мысль, и чувство сами приходят в слово. Юра при жизни успел подготовить к печати весь цикл «Опрокинутый дом», куда вошёл и этот рассказ. А по мне, лучше б оставался он в столе: «из ненапечатанного».

P.S. Дописываю это в 2003 году. Дома, где зимой, в сильные морозы, «белым паром сквозь кровлю выходило тепло», где Юра написал последние

свои романы и этот рассказ, дома этого уже нет и нет его следа на земле. Прошло несколько лет после смерти Юры, жена продала дом, новые хозяева разделили участок, там теперь построены два дома с плоскими крышами, и новые жители посёлка, в основном это — «новые русские» всех кровей, знать не знают, помнить не помнят, что здесь прежде стояло, кто здесь жил. Теперь земля в Подмоскowie, зараставшая при советской власти кустарником, бурьяном, теперь она обрела цену, и всё дорожает, за неё идёт борьба, убивают за неё.

Перед 9-м мая, перед Днём Победы, прибыл в Петербург канцлер Германии Шрёдер. Не первого главу государства президент Путин принимает не в Москве, а в своём родном городе, и поговаривают уже и пишут, не подготовка ли это к переносу столицы: «И перед новою столицей / Померкла старая Москва, / Как перед новою царицей / Порфироносная вдова...». Один из главных вопросов на переговорах — о долгах: мы у Германии в долгу, должны ей больше, чем остальным странам. Так вот нельзя ли, мол, за долги отдать часть акций наших заводов, в том числе — Петербургских? Канцлер твёрдо сказал: нет. Мы торгуем нефтью, нефть сейчас подорожала, конъюнктура на рынках хорошая, Россия может и должна платить долги. Да и зачем им устарелые заводы?

В дальнейшем, на следующий день после театра, они посетили Пискарёвское кладбище: часть заведенного ритуала. Заранее доставлены были туда несколько ветеранов, они стояли шеренгой, как ряженные. На меня, например, уцелевшие галифе, в которых я вернулся с войны, не налезают, а меховая офицерская безрукавка, все эти годы я её зачем-то храню, рассыпается под пальцами, надеть её уже невозможно.

Были возложены цветы, канцлер и президент, стоя плечо в плечо, поклонились праху мучеников. Здесь — прах девятисот тысяч (по официальной статистике) ленинградцев, уморенных голодом в дни блокады. «Савичевы умерли все», написала девочка Таня Савичева, последнее, что она была в силах написать. Если что и светило ленинградцам на грани жизни и смерти, так это надежда, что всё-таки мы победим. И вот стоят плечо в плечо: президент страны — победительницы, и канцлер некогда побеждённой нами страны, у которой мы теперь в долгу. Хорошо, что мёртвые не видят, не ведают.

А потом канцлер пожимал руки выстроенным ветеранам, те бормотали заученные слова, совсем потерявшись от такой чести.

На Дальнем Востоке, на острове Русском, от истощения умерли призванные на флот матросы, мальчишки. Адмирал в это время там, во Владивостоке, спекулировал квартирами. Обнаружили, хотя было это и так широко известно. Что же, застрелился он, как того требовала офицерская честь, как бывало стрелялись русские офицеры, если тень позора ложилась на имя? Нет, судился, адвокат защищал его, и в зале суда он был освобождён из-под стражи по амнистии: орденосеиц! Даже орденов, а они «датские», не в боях за родину, а к датам для украшения мундира получал их, даже орденов не лишили его. И мы хотим возродить понятие офицерской чести...

Восемь лет назад, в 1993 году, я договорился с американским миллиардером Джорджем Соросом, что он будет помогать нашим, так называемым толстым журналам, где по российской традиции печаталось всё лучшее (но и худшее — тоже!), прежде чем оно выйдет в свет книгой. Американский мил-

лиардер и — наши литературно-художественные журналы... Странно вроде бы. А наши меценаты? А государство? Вот именно...

Джордж Сорос основал в России фонд, назывался он тогда «Культурная инициатива», предложил мне войти в правление, вот так всё это началось. Ныне, в 2001 году, программа эта заканчивается, за восемь лет дал на это Сорос больше восемнадцати миллионов долларов своих денег. Без этих денег многие журналы закрылись бы, рынок сразу сделал их убыточными. Джордж Сорос сказал мне тогда за ужином: но тираж журналов упадёт. Я это и сам понимал, да ведь речь шла о том, чтобы выжили пока что, а дальше, как можно было надеяться, они сами станут на ноги. При мне тираж «Знамени» достигал миллиона экземпляров.

Военный историк, директор Волгоградского музея-панорамы «Сталинградская битва» Борис Усик приводит цифры наших потерь в Сталинградской битве: (газета «Труд» 10/VII-2001г.): 2650000 человек. «Это число, — говорит он, — обосновано количеством потерь воинских частей, данными о гибели мирного населения. Мы считаем, что нельзя не учитывать и тех, кто был ранен на Волге, а скончался от ран в госпиталях в других регионах, погиб в гитлеровских лагерях вокруг города, был угнан отсюда или числится «пропавшим без вести». Вот так и набирается это страшное — 2 650 000 — число, которое, кстати, я никогда не встречал в печати». Я тоже не встречал. И это — в одной Сталинградской битве. Вот какова наших побед цена. Страшно. А мирное население, хотя немцы уже подходили, Сталин запретил эвакуировать: мол, пустой город армия не будет защищать. Погибло за время битвы около 220 тысяч мирных жителей, я это уже упоминал. В том же интервью: «Более половины участни-

ков битвы на Волге — выходцы из республик Средней Азии и Кавказа». Там же: «Например, лишь недавно открылся доступ к документам, которые свидетельствуют о том, что против нас сражались не только немецкие фашисты и их ближайшие союзники, но и болгарские добровольцы, целый бельгийский добровольческий легион, два батальона испанцев, восемнадцать батальонов, сформированных на Западной Украине, восемь батальонов советских мусульман, калмыцкий кавалерийский корпус... Об этом мы до сих пор не решаемся говорить открыто».

Перечитываю (и, может, не в последний раз) «Театральный роман» Булгакова. Вечерами читаю вслух Элле: что ж одному радоваться! Бог ты мой, какой удивительный, какой редкостный талант. Его сравнить не с кем. Да и почему вообще кого-то с кем-то обязательно надо сравнивать? «Всё познаётся в сравнении»? Но как можно проводить сравнение, например, с тем, что все последние годы печатается в наших, так называемых, толстых литературно-художественных журналах? А ведь когда-то они открывали новые имена. Да какие имена! Толстой печатал в журнале «Современник» свои «Севастопольские рассказы», в «Русском вестнике» начинал печатать «Войну и мир». Это великая традиция. Не каждый век Толстые случаются, но литературно-художественные журналы долгие годы сохраняли своё значение. Скажем, выдержав борьбу с цензурой (и это — наша традиция, «Севастопольские рассказы» печатали в усечённом цензурой варианте), так вот, выдержав борьбу с цензурой и двумя отделами ЦК, я напечатал «Собачье сердце» Булгакова в «Знамени». Весь мир обошла эта повесть, а в России намертво была запрещена, сорок лет не издавалась. И вот недавно на очередном годовом вручении премий жур-

нала «Знамя» (сами эти премии и количество их определяет не талант: сколько удалось выпросить долларов у различных спонсоров, столько и нарежут премий, тут тоже идёт состязание с другими журналами: кто главней!) выходит к микрофону премированный автор, когда-то я же и печатал первый его неплохой рассказ, был тогда этот литератор юн и худ, а вышел к микрофону рано расплывшийся и уже облезавший господин, автор нескольких сереньких книг, и говорит залу: славы мне достаточно, деньги нужны. Грустная картина. Литературно-художественные журналы умирают. Тираж того же «Знамени» в первом году нового века — 6800. А достигал, повторяю, миллиона экземпляров, не без гордости подписывал я тогда журнал в печать, грешен. «Для литературно-художественного журнала такой тираж это — неестественно...». А естественно, что лучшие книги, классика выходит тиражами три, пять, хорошо, если десять тысяч экземпляров, а тираж, скажем, детектива ростовского милицейского начальника «Антикиллер» сегодня уже превысил 12 миллионов экземпляров? И срочно снят по нему боевик.

Замечательный итальянский сценарист и поэт Тонни Гуэрро сказал недавно в одном из интервью, напечатанном у нас: цензура денег страшной политической цензуры. Он просто не пережил политической цензуры, во всяком случае — той политической цензуры, которая была у нас. Это, если не ошибаюсь, Мандельштаму принадлежат пророческие слова: нигде не ценят поэзию так, как в России, за стихи у нас расстреливают. Судьбу свою предсказал. А мы не пережили цензуры денег, мы только теперь начинаем ощущать, что это такое. Скажем, в репортаже с последней Московской книжной ярмарки приведены цифры: чтобы безубыточно издать томик Пушкина, нуж-

но издать шесть детективов, они оправдают затраты.

Политическая цензура давила, корёжила книги, но она же пробуждала силы бороться. Художник знал, чувствовал: он востребован обществом, его слова ждут, книга становилась событием. И вдруг — совершенно новое, неведомое, я бы даже сказал, ошеломляющее ощущение: не востребован Пушкин. В Тульской области, в нескольких школах опросили учеников, и 45% признались, что они ненавидят Толстого и Достоевского. Это там, где Ясная Поляна, где Толстой в свое время основал школу для крестьянских детей. Да, чтобы читать художественную литературу, нужен определённый труд души, сопереживать приходится, другой раз и сердце заболит. Потребность в лёгком чтении, в той видимости, которая заменяет сущность, была всегда, наши сограждане в этом — не исключение. Скажем, когда впервые шёл по телевидению политический детектив «Семнадцать мгновений весны», пустели улицы, его обсуждали и дома, и на работе. Словом, всё это не сегодня родилось, но, конечно, рынок сделал своё дело. С рынком же связывают и падение нравов в последние полтора десятилетия. Есть, есть тот грех. Но нам ли о нравах говорить?

По данным комиссии по реабилитации жертв политических репрессий с 1951 по 1953 год, т.е. в последние два года жизни Сталина, в стране было арестовано 6 миллионов человек. Из них расстреляно 900 тысяч. И это — после войны, на которой погибло как теперь называют, 26 миллионов пятьсот тысяч человек, после величайшей победы. Враг внешний разбит, и внутри страны, как до войны, возобновилось истребление народа, миллионы каторжан рабским трудом, киркой да лопатой, возводили циклопические сооружения, губельно перерождаяли реки, а дети этих каторжан, семьи их,

становились изгоями, с ними, как с прокажёнными, старались не соприкасаться. И официальные поэты, и акыны слагали стихи во славу земного бога: «Ты первый из гениев всех времён / Ты дал всем народам счастливый закон...». Это — безграмотный акын Джамбул. В самый разгар повальных арестов по стране.

На четвёртый день войны, 26-го июня 1941 года, лётчик, капитан Гастелло, совершил, как тогда и в дальнейшем писали, бессмертный подвиг: направил свой подбитый горящий бомбардировщик на колонну немецких танков. Что же было на самом деле? С аэродрома поднялись три бомбардировщика, истребители не сопровождали их, истребителей не было, они шли почти на верную гибель. Один бомбардировщик потом вернулся, дальнейшая судьба его экипажа неизвестна. Другой, ведомый капитаном Гастелло, совершил «огненный таран», третий вёл капитан Маслов. Тоже подбитый и загоревшийся бомбардировщик упал где-то на территории, занятой немцами, и в семью капитана Маслова, в семьи членов экипажа Балашова, Реутова, Бейсбаева пришли извещения, что все они «пропали без вести». Вплоть до 90-х годов формулировка «пропал без вести» означала, что они, возможно, предали врагу, стали изменниками родины. Маленькую дочку Маслова даже в детский сад не принимали, семья была лишена пенсии и пособия. Так власть карала семьи «пропавших без вести». Но если б — только власть. Отец Маслова отвернулся от внучки и невестки, оставил голодать, а был он председателем колхоза, возможности его были безграничны. 1951-й год, десятилетие подвига капитана Гастелло; белорусские власти решили перезахоронить своего земляка. Вскрыли на месте гибели старую могилу и при большом стечении народа обнаружили сохранившуюся кожаную планшетку, в ней —

документы но не Гастелло, а капитана Маслова. Там же обнаружен был медальон члена экипажа стрелка-радиста Реутова. Сомнений не осталось, подвиг, тот самый «огненный таран», совершил не Гастелло, а капитан Маслов и его экипаж. Их кости почётно перезахоронили, и кому же памятник был поставлен над ними? На их могиле поставили памятник капитану Гастелло. Через год жена капитана Маслова обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой восстановить в гражданских правах семью, присвоить её мужу звание Героя Советского Союза. Но даже когда она получила официальную справку: «Считать капитана Маслова не пропавшим без вести, а погибшим при выполнении боевого задания 26.06.41 г.», к ней домой, в коммунальную квартиру, явился чекист: «Ещё раз вякнешь о своём муже, пожалеешь». И она молчала ещё десять лет, жила под страхом. Вот какие нравственные нормы диктовала тоталитарная власть. Куда ж падать-то ниже? Легче было совершить поощряемый властью и обществом одноразовый подвиг, чем прожить жизнь порядочным человеком. Но уже выросли поколения, для которых всё это — давнее, давнее прошлое: прошлый век, прошлое тысячелетие. А люди, как правило, живут не прошлым, а настоящим: жизнь-то даётся один раз. Да ещё такие события обрушились: из крепостных да враз — на свободу. Но о свободе хорошо мечтать, а быть свободным не так-то просто. В жизни, где нет запретов, столько соблазнов! Поразительно легко поддались им даже писатели с именем. И в общем-то механизм происходившего и механизм происходящего оказались очень схожи.

Ныне покойный, а в прошлом многолетний редактор журнала «Знамя» Вадим Кожевников, которому я не отдал одну мою повесть, а напечатал её в еженедельнике, сказал, помнится:

— Вашу повесть прочтут теперь не выше уровня зам. зав. отдела ЦК. Заведующие отделами этот еженедельник не читают.

Человек он был циничный, писатель несостоявшийся, но литературу любил, что, впрочем, не помешало ему отдать рукопись романа Гроссмана «Жизнь и судьба» в ЦК и в КГБ, а это было равносильно убийству, не зря Гроссман, больной раком, умирающий, сказал: «Меня задушили в подворотне». А уж механику жизни того времени Кожевников постиг в совершенстве, знал, на ком растут всевозможные блага, премии, степени, должности, кто — Главный читатель. Главный читатель, мог лишить тебя всего, на многие годы сделать безгласным. Не зря про соцреализм говорилось: это — прославление начальства в доступной для него форме. И вот — новые времена. Страх постепенно исчез, стремление выгодно угождать осталось. Прошумели постмодернисты, концептуалисты, рецептуалисты и прочие, прочие, несть им числа. Предъявить им, оказалось, нечего, всё это вторично и в равной степени далеко и от жизни и от искусства. А то, что раньше вызывало к ним определённый интерес, исчезло: они перестали быть запретным плодом. Зато появились книги, отчётливо написанные не на внутреннее, а на внешнее потребление. Разумеется, нет такого писателя, который не хотел бы, чтобы его книги переводили на многие языки, читали в разных странах. Начиная с хрущёвской оттепели немало наших книг, в частности, книги, рассказавшие правду об Отечественной войне, обошли мир. Но они писались не для внешнего потребления, они рассказывали нам о нас самих. И тем-то были интересны в других странах. Издатель мог за них платить или не платить, чаще не платил: мы в то время не вступили в конвенцию по авторским правам, фактически были бесправны. Но это нередко был един-

ственный способ издать книгу, запрещённую у нас, на это шли, зная, что дома за это ждёт. И вдруг сами, без принуждения, полезли в ярмо, угадывая вкусы законодателей рынка, отыскивая, где платят дороже, жертвуя ради этого тем, чем писатель жертвовать не может.

Что говорить, соблазны сильны, в своё время они погубили едва ли не лучшую книгу Чингиза Айтматова. Вообще первые его книги, с которыми он, молодой ещё, входил в литературу, были хороши. Вот, например, маленькая повесть «Первый учитель». Сюжет прост: сама жизнь. Киргизский посёлок, советская власть только установилась, и учитель учит детей грамоте и добру. И вот его ученицу то ли пятнадцати, то ли шестнадцати лет, решил взять в жёны местный бай. В кинофильме, который в дальнейшем снял по этой повести Андрон Кончаловский, подробно показано, как он гоняется за ней по юрте, как фактически насилует её. Что же сделал учитель? Он обратился к властям, в милицию, а власть чужда народу. Связанного бая посадили на коня, сейчас увезут. И старшая жена припадает к его сапогу, рыдает, и народ стоит хмурый. Учитель, как он считал, нёс им новое, светлое, но жизнь и люди не меняются в одночасье. Они веками жили по своим обычаям, века должны пройти, чтоб что-то изменилось. Какая могучая мысль в основе этой маленькой повести. Не это ли происходит сейчас, когда столкнулись в мире две культуры: культура так называемых прогрессивных стран, европейская цивилизация, и Восток, в основном мусульманский?

В дальнейшем Чингиз Айтматов, человек умный, писатель талантливый, подвергся многим искушениям и соблазнам, и ничто не упустил. Он стал и лауреатом Ленинской премии и едва ли не всех премий, какие у нас существовали. Он занимал с десяток, если не больше, постов и должностей, об-

шественных и правительственных, ибо, как сказала однажды жена Вадима Кожевникова, у нас писатель без власти — не писатель. Разумеется, и депутатским значком украшен был его пиджак. Он мог с трибуны, не ведая стыда, восславлять власть имущих в их присутствии в лучших традициях советских времён. В стране у него было всё, но Нобелевской премии не было. И он основал и созвал так называемый Иссыкульский форум. Известнейшие учёные, писатели, общественные и политические деятели многих стран, среди них, разумеется, — лауреаты Нобелевской премии, которые имеют право выдвигать на Нобелевскую премию, были приглашены в Киргизию, на берега озера Иссык-Куль. Здесь он принимал их с ханской щедростью: деньги дало правительство Киргизии, Союз писателей СССР, правительство СССР. Мы тогда были в определённой изоляции, а тут сразу такой букет мировых имён, на это ли деньги жалеть? Им предстояло здесь, в Киргизии, обдумать, что ждёт человечество в третьем тысячелетии, и как все мы в это третье тысячелетие будем входить. Мировые знаменитости вкусно ели, пили, говорили, разъехались, а Нобелевской премии не последовало. И тогда Айтматов пожертвовал тем, что свято. В прекрасную повесть о голубоглазой волчице, у которой украли волчат, и она отомстила, но отомстила не тому, кто украл, а невиновному, в зубах унесла его ребёнка, Айтматов напихал в эту повесть проблемы наркотиков и наркоманов (у нас тогда об этом и заикаться было нельзя, но ему позволили), сюда же — что-то невнятное о христианстве, словом, массу «мировых проблем», которые сегодня даже для газетчиков стали общим местом. И из драгоценной жемчужины, маленькой повести, которая могла стать в один ряд с Кипплинговским «Маугли», вышло нечто рыхлое, не переваренное, объёмное: роман «Плаха».

Времена меняются быстрее, чем человеческая сущность. А для искусства всё так же «служенье муз не терпит суеты». Но это — для искусства. А тут, бог ты мой, как засуетились! Евгений Евтушенко, который сам про себя говорил и писал не раз, что такой популярности в мире, как у него, даже у Маяковского не было, вдруг выпускает книгу, а в ней со многими подробностями рассказывает о своих прежних жёнах и любовницах, не смущаясь того, что многие из них живы и довольно известны. Стирать грязное бельё на людях становится для литизделий чуть ли не нормой, спрос рождает предложения, предложения возбуждают спрос. А язык! Литераторы, писавшие прежде дистиллированным языком, расхрабрились, мат из страницы в страницу: кто смелей заголится.

Теперь и наши издательства окрепли, за рыночную продукцию платят долларами. Но, повторяю, не за искусство а за рыночную продукцию. Эстрада безголосая вытеснила на задворки серьёзную музыку, оперу. Успех, коммерческий успех — любой ценой. И на книжном рынке происходит быстрая смена декораций.

Бестселлеры есть, событий в литературе не стало.

А рынок диктует свои законы, и лотки, и умы заполонила коммерческая продукция.

На телевидении процесс пошёл ещё быстрее: технические возможности телевидения таковы, что не устояли пред ними этические преграды, рухнули. В романе Замятина общество жило под круглосуточным наблюдением кинокамер, и вот последним словом на мировом телевидении стал, так называемый, формат Большого Брата. Фантастический коммерческий успех. Сюжеты просты: скажем, во Франции, поселяют вместе шестерых мужчин и шестерых женщин, миниатюрные каме-

ры дают прекрасное изображение в цвете, а телезрители, то есть общество, само превратилось в Большого Брата, наблюдает за тем, что там происходит: жизнь, как она есть, — сквозь замочную скважину. Скоро к нам это придёт. Неминуемо. Нужно ли вообще искусство, покажет время.

И вот интересное высказывание телебосса, на главном канале страны он ведаёт сериалами и сам снимает детектив. Напечатана его фотография в глянцево-м журнале: улыбающееся лицо просвещённого идиота, которого посетила мысль, одна-единственная: «Наша с вами задача — развлекать. Читателя и зрителя. Если у нас так много ума, что его некуда девать, так давайте же поделимся частью этих знаний со зрителем. Но так, чтобы ему было интересно... «Книжный человек» никак не может смириться с тем, что мы живём в стране любителей сериалов, а не Тарковского и Феллини. Большинство людей в нашей стране приходит с работы в 18.00 и по вечерам всей семьёй собирается у телевизоров, и герои сериалов для них единственная радость... Мы пытаемся по инерции искать нового героя там, где, может быть, больше не будет. Например, в литературе. А если новый герой живёт, допустим, в интернете. И потом он не обязательно должен быть человеком. А вдруг наш герой — это время или технология, или мобильная связь? И лет через двести выяснится, что героем нашего времени был мобильный телефон — какой человек может сейчас занимать нас больше, чем современные технологии?.. Мы уже знаем, сколько каждый из нас стоит на рынке, теперь нам надо освободиться от глобальной иллюзии — вроде той, например, что на свете существует справедливость».

После сорока с небольшим стал я замечать, что годы помчались быстрей. Вот, скажем, первые

дни января, рука по привычке ещё пишет последнюю цифру года минувшего, а не успел оглянуться, уже и февраль, и март мелькнули, и небо расчистилось, светит солнце весеннее, садятся, подтаивают сугробы, которые сам же ты недавно наметал, выходя поутру в шапке и в валенках расчистить дорожку. День длинён, а годы разгоняются, как санки с горы. Глянешь в прошлое и самому не верится: неужели так давно было, например, вот это? А между тем, на обороте фотографий — 1985 год, город Медиссон, город Лос-Анджелес... Сорокалетие победы. Американцы пригласили, и вот наша делегация: Наташа Батова, в замужестве — Семенихина, она представляла комитет Дружбы, она же — переводчик, ещё обозреватель агентства печати Новости, участник Сталинградской битвы, награждённый американским орденом (фамилии его не помню) и я. Отца Наташи я знал: дважды Герой Советского Союза генерал армии Павел Иванович Батов, в первую мировую войну — солдат-разведчик, в Отечественную — командующий армии на фронте маршала Рокоссовского. Очень высоко отзывался он о Рокоссовском, а о Жукове говорил с неприязнью: жестокий человек. Не мог простить ему, как по его приказу ни за что расстреляли полковника, он и в книге своей об этом написал. Был тот полковник недавно выпущен из лагерей на фронт, уж как старался, воевал смело и — расстреляли. На одном из кинофильмов по моему сценарию Павел Иванович Батов был консультантом, и вечерами, в гостинице, была у нас возможность поговорить. Наташа — одно лицо с ним.

Поскольку каждое дело у нас непременно кто-то должен возглавлять, пусть даже формально, Наташа объявила мне, что я — глава делегации. Согласился с тем условием, что представлять нас она будет пофамильно: вот наша делегация. Встрети-

лись мы в аэропорту. У Наташи — модный чемодан на колёсиках, она везла его одним пальцем, у обозревателя чемодан кожаный, сильно потёртый. Мне был в то время шестьдесят один год, ему — за семьдесят, седой. Я подхватил его чемодан: «для равновесия». Впрочем, он принял это как должное. Время стирает лица, особенно — ничем не запоминающиеся. Вот и у него на фотографии такое лицо. Но на чёрном пиджаке (а он и там ходил, в основном, в чёрном костюме, в чёрном галстуке) — семь рядов по четыре в ряд разноцветных колодок: двадцать восемь наград. Тут и орден Ленина, и Боевого Красного Знамени, и Отечественной войны, его давали, например, за то, что из противотанкового ружья подбил танк, и Красной Звезды, и медали, медали — и юбилейные, и разных стран. Среди них — медаль «За боевые заслуги». Фронтовикам, как правило, её не давали. Награждали ею в штабах: машинисток, связисток. И прозвана она была «За боевые услуги». А под всеми колодками висел американский орден.

Должность обозревателя в АПН была не административная, а высшая журналистская должность. И высокооплачиваемая, со многими, многими льготами: прикреплён туда-то, туда-то, туда-то, значило это в те времена больше, чем деньги. Моему приятелю случилось как-то пообедать в буфете ЦК, не на высшем, а на среднем этаже, то есть, как говорилось, для работников среднего звена. Он утащил оттуда меню с расценками: сёмга, балык, чёрная, красная икра — всё это стоило там копейки.

Ни одной статьи этого обозревателя я, грешным делом, не читал и, чтоб как-то познакомиться, спросил его в самолёте, а лететь предстояло долго, в каких частях под Сталинградом он воевал? Мне, артиллеристу в прошлом, почему-то всегда приятней встретить артиллериста. А больше всех, конечно,

доставалось пехоте. Американский писатель, покойный ныне Джон Чивер обедал как-то у нас дома, разговор коснулся минувшей войны, и он сказал: у нас в пехоте воюют чёрные. У нас в пехоте в основном были крестьяне, там высшее образование не требовалось. Да ещё — из Средней Азии набирали. Многие из них даже русского языка не знали, переводчик передавал команды.

Итак, спросил я его, в каких частях он воевал? Ответил он нечто невразумительное, во всяком случае, я не понял, что бы это могло означать: он *обслуживал* то ли армию, то ли дивизию — не помню точно. Позже Наташа объяснила мне: он — генерал КГБ, в Сталинграде был — за Волгой, на той стороне, оттуда и *обслуживал*.

В один из дней, верней даже в первый день в Америке, в городе Медиссон, идём мы по улице — лавки, лавки, магазины, магазинчики... И выставлены прямо на тротуаре перед лавками чемоданы всех размеров, всех цветов, на колёсиках, с удобными такими ручками, вот как у нас сейчас выставляют. Купите себе чемодан на колёсиках, говорит ему Наташа, возможно, решила облегчить мне жизнь. Он — как не слышал. Прошли несколько кварталов, и вдруг он говорит:

— Как они тут живут? Цены совершенно немислимые!

После наших пустых магазинов тех времён, у командированных глаза разгорались, хотелось всю Америку скупить, да суточные грошовые. Помню, в другой приезд, и тоже в первый вечер, идём мы по Нью-Йорку, конечно, на витрины поглядываем, и возмутился Миколас Слуцкис:

— Они хотят мне вот эти туфли *всучить* за сто сорок пять долларов!

— Да ничего они тебе не хотят *всучить*.

— Я же вижу, они хотят мне это *всучить*!

Он хорошо говорил по-русски, но когда волновался, иной раз ему не хватало слов.

Вот и генерала нашего возмутили цены немислимые. Но с того дня я перестал таскать его чемодан. О мелочах вроде бы и вспоминать неловко, но мелочи многое говорят о человеке. Тогда же, и даже недалеко от тех лавок, где выставлены были чемоданы, увидел я на тротуаре десятидолларовую бумажку. Взял. Поднял и вместо букета цветов отдал Наташе: всё-таки единственная среди нас дама. Позже она рассказала мне: обозреватель, так будем называть его, оставим в покое генеральское звание, присмотрел какой-то переходник для своей бритвы, адаптер что ли, и попросил её купить, мол, он не изъясняется по-английски да и мелких денег у него как раз нет. Наташа уплатила шесть долларов, он ей их не вернул, возможно, счёл это своей долей, разделил находку в уме.

Как правило, при всех встречах он присутствовал безмолвно. Была, например, у нас в программе беседа с радиослушателями: вопросы — ответы в прямом эфире. Оглянулся я, нет обозревателя. Не совсем нет, а куда-то в глубину студии отодвинулся со своим креслом. И даже на вопрос о Сталинградской битве — делать нечего — пришлось отвечать мне. И на митингах, а проводили их в разных городах, ни разу не подошёл он к микрофону, где-то сзади светилась его благородная седина. Американцы уважительно интересовались, за что награждён он американским орденом? И тогда он брал на ладонь висевший на колодке орден, как женщина приподнимает грудь на ладонь, и говорил дословно вот что:

Была выдвинута моя кандидатура. Товарищи посоветовались. Возражений не последовало. Товарищи решили вопрос положительно.

Я спрашивал Наташу:

— Как вы это переводите?

— Ну разве можно это перевести?..

Действительно, её перевод бывал заметно длинней, американцы выслушивали с должным вниманием и почтительно взглядывали на его седины. Хорошо, что никто из них не понимал русского языка.

11 сентября — мой день рождения. В этом году мы не собирались отмечать его: Элла лежала в больнице, ждала операции по поводу холецистита. Был вторник, сын с работы заехал за мной, вместе едем к маме нашей, уже выехали на Волоколамское шоссе, когда у него в кармане зазвонил мобильный телефон. Миша хорошо владеет собой, но смотрю, лицо мрачнеет:

— Да? Да-а?.. Сейчас включу.

Положил телефон в карман:

— Юрашка звонит. Говорит, Боинг врезался в небоскрёб в Нью-Йорке. Какой-то смертник — самоубийца...

Вставил приёмник в гнездо, включил, и мы услышали... Мы услышали то, что потом повторялось день за днём на экранах телевизоров. И вновь и вновь Боинг разворачивался, заходил за вторую башню Всемирного торгового центра, и оттуда вырывался огненный шар. Между горящими верхними и нижними этажами в окнах — люди. На фоне многоэтажной стены небоскрёба — чёрная крошечная фигурка человека: будто не он летит вниз, выбросившись из окна, а зеркальная стена стремглав уходит вверх, мелькая этажами. Всё это — и бегущие из ада, из дыма и огня бегущие люди, «белые воротнички», и в дым и пыль оседающий небоскрёб, и сбивчивые рассказы спасшихся, как бежали по лестницам, а на площадках, в колясках оставались сидеть инвалиды, когда здоровые люди пробежали мимо, всё это будет и повторено, и показано, и расска-

зано вновь и вновь. А навстречу бегущим подымались вверх тяжело нагруженные пожарные. Не издали, по рации, командовал ими глава нью-йоркской полиции 63-летний отец пятерых детей Рэй Донью, он вместе с ними бежал спасать, «как минимум двести пожарных и около восьмидесяти полицейских» остались под обломками. И опять этот миг: дым, заволакивающий верхние этажи, дым снизу, а на стеклянном блестящем пространстве, в котором отражено небо, машут белыми полотнищами из окон. На помощь зовут? Прощаются? Пожарный сообщит по мобильному телефону из-под развалин: здесь, с ним, в образовавшейся пустоте, — десять человек.

Но не только из-под развалин звонили по мобильным телефонам. Из летящих на гибель самолётов остались на автоответчиках голоса: «Привет, Джули, это Брайен. Наш самолёт захвачен. Я звоню сказать тебе, что я тебя очень люблю. Я надеюсь, что я ещё смогу тебе позвонить. Если не удастся, то я хочу, чтобы ты жила и наслаждалась своей жизнью. Я знаю, что однажды я снова увижу тебя». И Питер Хансон с женой и маленькой дочкой летевший тем же самолётом, позвонил родителям: «Я думаю, что мы падаем. Не волнуйтесь, всё произойдёт очень быстро». Лорен Грандcolas успела только сказать своему мужу: «Я тебя люблю». Самолёт врезался в южную башню.

Теракт был спланирован как начало вторжения: два самолёта поразили центр экономического могущества — Всемирный торговый центр, один врезался в Пентагон, а четвёртый должен был уничтожить Белый дом или Капитолий. Но в нём завязалась борьба. «Я знаю, что мы все погибнем. Но нас тут трое и мы попытаемся их остановить». Это с борта самолёта, летевшего на Вашингтон, звонил своей жене Том Барнет. Самолёт не долетел до це-

ли, упал на фермерское поле в Пенсильвании. Америка будет ещё гордиться своими героями, не кино-героями, своими обычными гражданами. Кто, какое государство осмелилось бы сегодня бомбить Америку? Но ныне враг совершенно другой. Соткалась сеть, раковая опухоль с метастазами во многих исламских странах, на Ближнем Востоке, в благополучных странах Европы, у нас на Кавказе и в Средней Азии, на Балканах, центром сети временно назван Афганистан, где скрывается, так называемый террорист № 1 Усама бен Ладен. А кто помогал создать эту сеть? Все мы. В Советском Союзе тренировали террористов: что во вред Америке — хорошо! Поставляли оружие Ливии, Ираку, Сирии, Египту. Наши лётчики в наших самолётах сражались в шестидневной войне против израильских лётчиков, которым помогали американцы. А Корея, Вьетнам, Уганда, Мозамбик... Все послевоенные десятилетия где только ни воевали наши лётчики, наши инструкторы. И вот те самые террористы, которых мы готовили, их воспитанники, воюют против нас в Чечне. А в эпоху старцев, в брежневскую эпоху, кто, какая нужда гнала нас в Афганистан? Мирная граница на юге, мирная торговля с соседями: что-то везли оттуда, что-то продавали. Нет, потребовалось простираť своё влияние. Положили тринадцать с лишним тысяч наших мальчиков, а сколько калек физических и нравственных вернулось оттуда! Итог — гражданская война в Таджикистане, наркотики, хлынувшие из Афганистана к нам и через нас — в Европу. И помогли расшевелить мусульманский мир. Америка в свою очередь никак не меньше готовила террористов, снабжала оружием, деньгами тех, кто против нас: против «империи зла», а в дальнейшем — против России. Миллиарды выкинуты на это. И Усама бен Ладен — её выкормыш, теперь заявляет, что

удар по Вашингтону и Нью-Йорку осуществил не он, а лично Аллах.

11-го сентября, когда случилась трагедия, первым из государственных деятелей позвонил президенту Америки президент Путин: «Мы — с вами». И по-человечески, и политически он действовал безукоризненно точно и мужественно. Да, мужественно, учитывая сегодняшний расклад сил в нашей стране. Беда и общий враг однажды сплотили нас, Америку, Англию в общей борьбе. Неужто и на этот раз опыт не вразумит?

По мрачной сути своей и фашизм, и сегодняшний терроризм это одно и то же: тогда — во имя расы господ, теперь — во имя ислама. «Приобретение оружия для защиты ислама — религиозный долг каждого мусульманина. И если я найду такое оружие, я выполню свой долг», — в интервью еженедельнику «Тайм» заявил бен Ладен.

Мусульман на земле миллиард двести миллионов, и террористы призывают каждого мусульманина выполнить свой религиозный долг, подняться на борьбу с неверными. И не только террористы, к этому же призвал мусульман целый ряд духовных лидеров. Например, на конференции «Будут ли мусульмане России воевать в Афганистане», где скрывается бен Ладен, председатель духовного управления азиатской части России и сопредседатель Совета муфтиев России шейх Нафигулла Ашур прямо заявил: «Ни один настоящий мусульманин на Земле не может спокойно относиться к агрессии против Афганистана». Он сожалеет, что Духовное управление мусульман как религиозная организация не имеет права заниматься «мобилизацией добровольцев», однако уверен, что «найдутся организации, которые будут записывать добровольцев».

Достоевский считал, что все несчастья поразили Россию потому, что она стала безбожной. А вот

эти террористы и их вдохновители они что, безбожники? А крестоносцы, которые шли, уничтожая «неверных» на своём пути, они тоже были безбожники? Религиозный фанатизм ныне едва ли не самая страшная угроза человечеству.

Интересно было смотреть на Нафигуллу Ашура (Ашурова), приглашённого на телепередачу «Глас народа». В чалме, в расшитом халате он сидел на кресле посреди студии, на возвышении, как древний воин на коне. Он считает непродуманным, что от нашего имени заявлено Америке: «Мы с вами». А когда ведущая сказала, что самое ужасное впечатление произвело на неё то, как палестинские дети плясали и радовались, узнав о гибели тысяч людей в Нью-Йорке и Вашингтоне, он усмехнулся жестокой усмешкой: «Ну, наше телевидение...». И заговорил о том, что, может быть, это вообще показывали первомайскую демонстрацию.

Да как же этим детям палестинским не плясать и не радоваться (а среди них плясала и женщина в очках и в чёрных одеждах, и мужчины потрясали автоматами Калашникова), когда их с младенчества воспитывали в священной ненависти, с трёх лет учат носить муляжи поясов шахидов, готовят стать живыми бомбами. За полвека в пустыне да на малярийных болотах израильяне построили города, создали своим трудом богатое государство, а вокруг него, в лагерях, поколение за поколением готовили не тружеников, а «воинов Аллаха», которые сбросят Израиль в море. Точно так же Иран в войне с Ираком посылал на фронт тринадцатилетних детей, и они шли в атаку с автоматами и пластмассовыми ключами, которыми сразу откроют себе врата в рай. Механизм один: здесь шакиды-смертники, там — пластмассовый ключ от рая. А в Англии, в телевизионной дискуссии, молодой мусульманин, по-

добно нашему Нафигулле Ашуру, заявил, что если Америка нанесёт удар по мусульманам Афганистана, этим самым она нанесёт удар по мусульманам Америки, Англии, Франции и других стран, поскольку все они полагают себя в первую очередь и главным образом — мусульманами. И член парламента Великобритании Джулиан Льюис предупредил: «Мы привыкли, что для жителей нашей светской страны первичным всегда было гражданство, национальная, а не религиозная принадлежность. Если вы выбрали местом жительства современное демократическое общество, то должны следовать его законам и обычаям, а не ощущать себя в нём «пятой колонной».

Разговоры о богатом севере и бедном юге (это в Корее север богатый, а юг бедный?), как о главном источнике мировых конфликтов, разговоры о том, что богатые должны поделиться с бедными (Солженицын к богатому северу отнёс и Австралию из южного полушария), по мне — ерунда сплошная. У нас в 17-м году «поделились», результат известен. Никакой богатый север не накормит бедный юг, где, кстати говоря, природные условия нередко даже богаче, пока люди сами не научатся своим трудом кормить себя, мы это по себе знаем. Вот научить, поделиться знаниями, а знания, талант — высшее богатство, помочь организовать — это другое дело, это долг просвещённых стран. Но в странах, где человеческая жизнь — пыль под ногами, фанатиков и воспитывать не надо, их, как песка в пустыне.

В Москве теперь два отделения Союза писателей. Одно из них, которым руководит критик Гусев, выпускает газетёнку «Московский литератор». Вот напечатанные в ней косноязычные стихи:

«Возмездие» (11 сентября 2001 года)»

*С каким животным иудейским страхом
С экранов тараторили они!..
Америка, поставленная раком, —
Единственная радость в наши дни.
И не хочу жалеть я этих янки
В них нет в других сочувствия ни в ком.
И сам я мог бы, даже не по пьянке
Направить самолёт на Белый дом».*

И ещё несколько строчек того же автора в том же номере газеты:

*«Нельзя спокойно жить,
Когда страна развалена.
Позорно русским быть
Без Родины, без Сталина.
...Надежда всех веков
На наши плечи взвалена
Не пощадим врагов
За Родину, за Сталина.
...В чаду сионской тьмы,
В тисках врага заклятого
Не отстояли мы окопы сорок пятого.
На битву вновь пойдём
Судьба на кон поставлена
И коль в бою падём —
За родину, за Сталина».*

Лет двадцать пять назад знал я про Гусева, который ныне руководит вот этой Московской организацией, выпускающей эту газетёнку, знал я про него лишь то, что он тоже из Воронежа, то есть — земляк, что-то преподаёт в Литинституте, где я в то время вёл семинар по прозе: осторожный, бесцветный, никак и ничем не проявляющий себя. Но собиралась делегация литераторов на Кубу, в неё

включили и Гусева. А на Кубе в то время проходил практику мой сын Миша, студент факультета журналистики МГУ. Они там фактически голодали. Денег послать туда было нельзя, отправляли посылку, не дошла, растворилась где-то. И я попросил Гусева передать сыну килограмм сыра, всего лишь. Что-то говорило мне не обращаться к этому человеку, но как не отправить сыну самый минимум, когда такой случай! Минула неделя, пора делегации вернуться. Не звонит Гусев. И две недели минули, и три... Нет звонка. Иду я как-то в Доме литераторов через ресторан, Гусев сидит с компанией за столиком, обедают.

— Так вы вернулись?

— Не нашёл я, знаете ли, вашего сына, — говорит он, спокойно прожёвывая, — нет его на Кубе.

Не найти в то время советского человека в любой загранице, где есть советское посольство, было невозможно: советское посольство знало не только, где — кто, но и что кто кому когда сказал... А на Кубе в то время свирепствовала лихорадка, можно представить себе состояние отца. В дальнейшем, когда сын вернулся, узнал я, что все они, проходившие там языковую практику, тяжело переболели этой лихорадкой, один студент оглох. А сыр литератор Гусев съел, экономя деньги за границей, съел и примолк, и не звонит, вернувшись. А говорят, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Личная непорядочность, ущербность, маленькая мерзость в душе (ох, как хорошо знал Достоевский эти гаденькие души! А писатель знает либо по себе, либо, прожив за своих героев все их взлёты и падения), вот эта неутолённая мерзость в душе даёт при благоприятных обстоятельствах поразительный выброс. Так одна кишечная палочка при благоприятных условиях способна за сутки породить сто миллионов палочек.

У юноши — палестинца, который взорвал себя у дискотеки в Иерусалиме, погубив двадцать с лишним таких же, как он, молодых людей, а ещё скольких сделал калеками на всю жизнь, у него было человеческое лицо (портрет его напечатали). И показали по телевидению, как в очередь подходили к его отцу палестинцы, поздравляли. И тот достойно принимал поздравления. Духовный лидер этой террористической организации «Хамас» шейх Ясин в свои пятьдесят с небольшим лет — полный инвалид. Ослепший, парализованный, мертвец в белых одеждах и накрытый белым, возят его в двухколёсном кресле, и он вдохновляет ненавистью молодых, которым бы жить и жить, вдохновляет и направляет их убивать и погибать. Им за это — благодать на том свете, а здесь, на земле, отцу, который с достоинством принимал поздравления, заплатят за его сына, шахида-убийцу, 25 тысяч долларов наличными и — пожизненное содержание всей семье. Палестинские семьи — многодетные, и это — один из способов относительно безбедно прокормить остальных детей. Между прочим, средний прожиточный уровень палестинцев, которым помогают арабские страны, Европа шлёт деньги, сегодня выше, чем средний прожиточный уровень жизни в России.

В ночь с 7-го на 8-е октября начались военные действия. Американские и английские крылатые ракеты из глубин моря с подводных лодок, с надводных кораблей палубная авиация — все вместе нанесли удар по целям в Афганистане. Два сверхмощных невидимых для радаров бомбардировщика, каждый ценою в 2 миллиарда долларов, что сравнимо с ценой авианосца, прилетели аж из штата Миссури и вернулись на базу в Диего Гарсия, дважды пересекли океан.

Началось то, что не могло не начаться. До часу ночи смотрел это: зелёный экран, вспышки, вспышки. Потом практически не спал. В последующие дни по телевидению — дебаты в студиях. 70% россиян поддерживают действия американцев, но за неделю процент одобряющих скатился до 52-х. Опасения разные: и то, что война теперь у наших границ, и то, что американцы, получив базы в Узбекистане, оттуда не уйдут, и жалко мирное население Афганистана. И, конечно, десятилетиями нагнетавшаяся ненависть к Америке, соединённая с вечной завистью неудачников и бедных к богатым, играет не последнюю роль. Даже в день, когда произошла трагедия и рухнули в Нью-Йорке два небоскрёба, одни люди у нас переживали это как своё горе, плакали, несли цветы к ограде американского посольства, другие же, а их тоже немало, говорили открыто: погибших жаль, Америке — так и надо. Два десятка лет назад, когда американцы полетели на Луну, в Москве, в очереди за продуктами, говорили с надеждой, я сам это слышал: может, ещё и не долетят...

Но это — рядовые граждане. А сколько высокопоставленных военных кормились враждой с Америкой, со всем миром. На этом делали карьеру, за это получали большие звёзды на погоны, ордена на грудь. А дипломаты наши! Если так пойдёт, многим из них вместо того, чтобы сидеть в Вашингтоне, плести интриги, придётся дослуживать до пенсии где-нибудь в Минске или в Душанбе. А вся наша бюрократия сверху донизу, которая без взяток, без воровства, без того, чтобы всё и вся держать в кулаке, жизни себе не мыслит! Все они вместе — огромная сила, и все они за то, чтоб и дальше жить, отгородясь от всего мира, разжигая миф, что нас все ненавидят, что мы окружены врагами, из-за этого обездолены.

Совершенствуется оружие убийства, соответственно, век за веком, всё больше людей гибнет в войнах. Вот цифры, а напечатаны они были, если не ошибаюсь, в «Комсомольской правде» от 21.05.78г: в войнах 1600—1699 г.г. погибло 3,3 миллиона человек, в следующем веке, в войнах 1700—1800 г.г. — 5,3 миллиона, с 1801 по 1913 г.г. — 5,6 миллиона, в первой мировой войне (1914—1918г.г.) — 10 миллионов, во второй мировой войне (1939—1945 г.г.) — 55 миллионов человек. Вполне понятно, цифры условные, когда счёт на миллионы.

А вот всё возрастающие потери мирных жителей: в первой мировой войне они составляли 13% всех потерь, во второй мировой войне — около 70%, в Корее — 84%, во Вьетнаме — 90%. А Афганистан, куда мы вторглись в своё время, а две чеченских войны... И снова — Афганистан. Там и без того беды хватало, жизнь — на пещерном уровне, иностранцы для них — инопланетяне, враждебные инопланетяне, которые на протяжении веков вторгались в Афганистан с единственной целью: поработить. А поработить их невозможно, потому что хуже, чем они живут, жить уже нельзя. Это не французы, которые за две мировых войны, да и ранее тоже, сдавали Францию немцам чуть ли не без боя и продолжали жить и торговать, а многие «патриоты» даже наслаждались жизнью в оккупации, а потом возвращались победно в свои неразбомблённые города, которые для них освободили другие.

Но интересно, как наши «патриоты», выступающие по всем телепрограммам, вдруг стали профессиональными защитниками мирных жителей. А тех мирных жителей, которых мы уничтожали в Афганистане, а уничтожали целыми кишлаками, их не было жаль? За десять лет, пока мы выполняли наш «интернациональный долг», там погибло около миллиона афганцев. «Около», потому что никто ни-

когда не узнает, сколько. Не упоминают они и о тех, кто погиб в Грозном под нашими бомбами и в первую и во вторую чеченскую войну.

В каждом Боинге, захваченном террористами — смертниками, летели мирные жители, и женщины и дети, виноватые разве лишь в том, что они «неверные», в каждом из четырёх самолётов их было больше, чем погибло в эти дни в Афганистане. Поставьте мысленно себя на их место, представьте их ужас, когда стало ясно, что самолёт превращён в ракету, в снаряд, и вместе со всеми с ними, а ведь и дети на руках, сейчас он врежется во что-то... Но о них — ни слова жалости.

P.S. Пришло сообщение: уроженец города Полысаево Кемеровской области Евгений Князев, русский, сибиряк, спас около 70 американцев, успел вывести их из Всемирного торгового центра до того, как здание обрушилось. Во время встречи президента Буша с родными погибших Князев был назван одним из самых мужественных людей. Он был учителем у себя, в селе Лебедевка, потом занялся коммерцией. Но от преследования рэкетиоров эмигрировал в Америку. Во Всемирном торговом центре он работал главным инженером по вентиляции. Выведя людей из горящего здания, он вернулся спасать, кого ещё можно было спасти, лифт застрял на 91-м этаже. У него остались жена и сын. Последние его слова жене по сотовому телефону были: «Прощайте, я задыхаюсь». Ему было 47 лет.

Сегодня, 15-го октября, в день взятия Казани войском Ивана Грозного, прошёл в Казани двухтысячный митинг. Требовали полной независимости, отмены российских паспортов, прекращения геноцида татар. Надо сказать, что все последние годы и Татария и Башкирия платят наиболее щадящие налоги, а отделяться, выходить из России им неку-

да, разве что — в воздух над собой. Или спускаться вниз по Волге, завоёвывать Астрахань, Каспий, соединяться с Северным Кавказом. А вообще большинство татар живёт не в Татарии, а в Москве, в Нижнем Новгороде, в других российских областях. Да и в самой Татарии русских больше, чем татар.

После митинга двухтысячная толпа шла по Казани с лозунгами, раздавались крики: «Аллах ак-бар»! Как в Чечне, как в Палестине. И в первой шеренге — мулла.

Итак, атомоход «Курск» поднят со дна моря. Поднимать его начали как раз в ту ночь, когда американцы и англичане нанесли бомбово-ракетный удар по Афганистану: с 7-го на 8-е октября. «Курск» ещё не на поверхности, он под баржей «Гигант». Когда его оторвали от грунта и он медленно на тросах пошёл вверх, у главного конструктора Спасского, как он сам сказал, слёзы были на глазах. Никогда ещё в мировой практике ничего подобного не подымали со дна моря, на всех этапах этой небывалой по сложности операции риск составлял от 80 до 90%. Но и оставлять «Курск» на грунте было нельзя, иначе бы все последующие годы его охраняли надводные корабли: там, надо полагать, опознавательный код «свой-чужой», цена которого велика, там, что ещё важнее, реактор, рано или поздно это могло кончиться очередным Чернобылем.

Не известно, удастся ли узнать подлинную причину гибели подлодки, обнародуют ли, но ежедневно, пока проводилась небывалая эта операция, обо всём и даже об опасениях сообщалось подробно. В нашей стране это — впервые. Раньше даже об очередном полёте космонавтов сообщалось не в момент запуска, а когда космонавты благополучно взлетели и наматывают витки по орбите.

Как все последние годы, вручали высшую телевизионную награду: премию Теффи по многим номинациям. Слово «номинация» теперь вошло в быт так называемой «элиты» общества: номинация, номинирован... Вручать одну из премий вышел на сцену Юрий Рост, и вместе со статуэткой вынес от себя в подарок награждённым несколько апельсинов в сетке, в авоське (слово это сталинских времён уже многими забыто). Рост, видимо, хотел посмешить публику. Разнаряженный бомонд в зале, оголённые плечи дам, «мерседесы» у подъезда, свет юпитеров на сцене. И в эти же часы в доке Росляково, во мраке полярной ночи, из ледяной воды, из-под обломков, доставали тела погибших моряков лодки «Курск». Тех, кто погиб мгновенно в первых отсеках в момент взрыва, тех нет. Доставали тела тех, кому суждено было умереть мученической смертью: они задохнулись от отсутствия воздуха, от угарного газа. Как теперь установлено, пожар в лодке продолжался некоторое время и под водой, шесть, семь, восемь часов длились мучения подводников. Повторю: это установлено теперь, но в момент трагедии и сразу после неё этого знать никто не мог. И до сих пор многое неизвестно и останется неизвестным. Но год назад, 26 октября, Юрий Рост писал: «Да простят мне души моряков, мгновенная гибель избавила их от мучений и медленной неотвратимой смерти. Но для всех живущих (и, конечно, для их близких в первую и несравненную очередь) страдания были изготовлены по программе невиданной жестокости и цинизма...». Обаятельный Юра Рост, душа многих и многих компаний. Вот он стоит на сцене в свете юпитеров, что-то говорит, пытается рассмешить нарядный многотысячный зал, от которого даже с телеэкрана разит духами, держит эти дурацкие апельсины в авоське. Он так

страдал год назад, когда «нами пренебрегли, граждане, товарищи и господа».

Габриэль Гарсиа Маркес сказал однажды о соотношении этики и профессионализма в журналистике: отделить этику от журналистики — всё равно, что отделить жужжание от мухи. Нет жужжания, нет мухи.

Впервые после войны и весну, самое её начало, когда вдруг к утру деревья опушились даже не зеленью, а ещё желтоватым цыплячьим пухом, а потом быстро, день за днём стали зеленеть, впервые видел я из окна больницы: после второй и третьей операции. Вообще говоря, три операции под наркозом за год и четыре месяца — многовато.

На том же этаже, где я в этот раз, лежал и Гриша Чухрай. Он был плох, к столу не выходил, ему всё возили в палату, а меня только готовили к операции, я ещё был ходячий, но не знал, что он — рядом. И вдруг вечером, в программе новостей по телевизору — умер Григорий Чухрай. Он лежал через пять палат от меня. Последний раз мы виделись с ним, когда Зиновий Гердт вёл из своей квартиры телепередачу «Чай-клуб». Каждый из нас должен был рассказать какую-то историю времён войны. Потом, пока убирали оборудование, мы стояли с Гришей, разговаривали, он был уже после инсульта, в седой бороде, старик.

Сосед мой по палате ушёл, я лежал под капельницей, смотрел по телевизору «Балладу о солдате», её показали в память о Чухрае. За эти десятилетия мелочи устарели, но в целом — какая чистая картина, какой чистый мальчик, и как сыграл его Владимир Ивашов, похоже — себя играл девятнадцатилетнего. На одном из просмотров в Германии немка, мать четверых солдат, погибших «на Востоке», то есть на наших фронтах, сказала немецким

кинематографистам: вы не сняли картину о моих сыновьях, а они сняли, это — про моего сына. Помню, после первого показа «Баллады» в Доме литераторов стоял Чухрай в фойе под восхищёнными взглядами, все софиты светили на него, жужжали теле — и кинокамеры, вспышки, вспышки фотоаппаратов, он что-то говорил в микрофоны, герой, десантник Отечественной войны, молодой, черноволосый красавец.

Сестра, убиравшая капельницу, рассказала, что он умер в лифте, спешно везли в реанимацию: второй инфаркт. И в тот же вечер транслировали «За стеклом». Четыре раза в день, чтоб дети тоже могли посмотреть, показывают этот наш вариант «Большого Брата». Сосед по палате включил минут на пять да и выключили мы: шестеро тупых позёров, тупые разговоры. И вот читаю в газете, что там, «За стеклом», оказывается, не шуточные страсти: «В прямом эфире 17-летняя девица закатила истерику своему приятелю. Приятель по имени Александр накануне парился в душе с «соратницей по несчастью» Марго. И хотя между молодыми людьми ничего не произошло, на следующий день он запросил помощь психолога. Лёжа на кушетке, Александр сообщил доктору, что секс между ним и Марго практически неизбежен: слишком уж тяжелы условия зазеркального существования, а Марго — девушка без комплексов, и проблем с ней не будет. «Мне всё равно, что нас увидят миллионы зрителей, но вот если ЭТО увидит моя девушка Машка, мне не поздоровится». Он оправдывается: «Да, мы помылись в душе, мы там обнимались, целовались», но у него «даже эрекции не было»! Однако Машка публично непреклонна: «Он её предал и продал», «опустил ниже плинтуса», и вообще ничего бы у него там не отсохло от месячного воздержания». Она — внучка актёрской пары: Светличной и Ива-

шова, который играл Алёшу в «Балладе о солдате». Ивашова уже нет на свете.

Поразительные цифры: вот уже 10 лет минуло после того, как пала Берлинская стена, немцы воссоединились. Но и сейчас, через 10 лет, после огромных финансовых вложений, производительность труда восточных немцев, воспитанных при «социализме», на 30% меньше, чем западных. И здесь больше всего неонацистов. В Финляндии каждый финн (повторю: «печальный пасынок природы») сегодня вырабатывает ВВП на душу населения *в 10 раз больше*, чем россиянин в России. Ох, долг, долг ещё наш путь. И что-то на этом пути обретём, иначе просто откатимся за горизонт, но что-то и потеряем.

Земля стоит на рогах чёрной коровы. А корова стоит на рыбе. Это перед телекамерой объясняли нашему корреспонденту афганские подростки. У большинства смыслёные лица, самые младшие смотрят в камеру, засунув грязные пальцы в рот, у старшего, ему лет тринадцать — четырнадцать, автомат Калашникова на плече, он держится гордо: воин. А когда чёрная корова захочет почесаться и чешется рогами, происходят землетрясения.

Учителя этих подростков, может быть, и не этих, а других (они остались безработными при талибах, учителя), сидят на глиняном полу, поджав босые ноги. Они знают, слышали, есть люди, которые считают, что не вокруг Земли всё вращается, а будто бы вращается Земля. Но это, конечно же, не так. И самый старший из них нарисовал на бумаге девять кругов, по которым всё вращается вокруг Земли, а телекамера снимала это.

Разумеется, есть в Афганистане образованные люди, они учились в духовных и в светских уни-

верситетах разных стран, в том числе, в Московском университете. Но речь сейчас не о них, речь о том подростке, который убеждён, что Земля стоит на рогах чёрной коровы, а на плече у него висит автомат Калашникова. Он точно олицетворяет наше время. В одно и то же время люди живут в разных тысячелетиях. Журналист, ныне — один из наших телеведущих, он бывал в Афганистане ещё в ту пору, когда наш «ограниченный контингент» выполнял там «свой интернациональный долг», рассказывал не без восхищения, что даже у афганских детей руки устроены так, что взяв впервые автомат, они безошибочно знают, за что и как взяться и на что нажать.

Не руки устроены так, а оружие упрощено до того, что дикарь свободно может сбить самолёт. А убить человека из автомата, это куда проще, чем стрелой из лука или копьём с каменным наконечником. Но самое страшное, что упрощено не только оружие, упрощено понятие дозволенного.

Однажды у меня дома мы разговорились с Володей Дудинцевым, он тогда писал свой роман «Белые одежды».

— Ты подумай, — сказал он, — женщина, беременная, работает в лаборатории, где изготавливают биологическое оружие. Она родит в мир человека и она же помогает создать оружие, которое уничтожит человечество.

Бактериологическое оружие применялось и в незапамятные времена: перекидывали через стену осаждённой крепости труп человека, умершего, например, от чёрной оспы. Но это, конечно, дикость, дикие времена. А чем сегодня заняты учёные с мировыми именами? Создают, а создав, совершенствуют оружие, способное умертвить всё живое на земле.

Великий физик Энрико Ферми сказал, когда на Японию была сброшена атомная бомба: науку остановить нельзя. Правда, сам он в это время находился в Америке. А вот если бы в Хиросиме в то время были его дети, рассуждал бы он так?

Пленный талиб, наёмник из Пакистана, рассказал телекорреспонденту, почему он пошёл воевать: ему объяснили, что в Афганистане — евреи, а оказалось, тут хорошие люди живут. И бывший спикер Верховного Совета Р.Ф.Хасбулатов, который заявлял в своё время, что Ельцин не может быть отцом нации, поэтому придётся ему, Хасбулатову, стать отцом нации, вот он недавно, раскуривая перед камерой мини-сталинскую трубку, объяснил, что Басаев, которого наши спецслужбы всё никак не могут поймать, он не чеченец, он — горский еврей. И муфтий Кадыров вторит: иорданец Хаттаб на самом деле не иорданец, он — еврей. «Ничто так не искажает человеческую природу, как маниакальные идеи, — писал русский философ Николай Бердяев. — Если человеком овладевает идея, что всё мировое зло в евреях, масонах, большевиках, еретиках, буржуазии и т.д., то самый добрый человек превращается в дикого зверя». Весь XX век так называемый цивилизованный мир был объят маниакальными идеями: фашизм, сталинизм. Миллионы, миллионы людей погибли, уничтожая друг друга, миллионы были замучены, уморены голодом, отравлены газами, расстреляны, погибли под бомбами. А сколько с помрачённым сознанием превращено в диких зверей!

11 сентября минувшего года мир вздрогнул. Так человечество вступило в новый просвещённый век. Да, террористов надо уничтожать. Считать ли их военнопленными или не считать, простирается ли на них такая-то конвенция или не простирается, кормят ли их, пленных, в соответствии с такими-то

нормами и их вероисповеданием?... Они поставили себя вне законов человеческих и Божеских, какому бы Богу они ни поклонялись. Все мы для них — пыль под ногами, которую они задались целью смести. И они должны быть уничтожены, и исполнители, и вдохновители, если мы не хотим погибнуть. Но кто дал им в руки средства уничтожения всех нас? Светлейшие умы человечества. Науку нельзя остановить... Науку чего? Науку уничтожения? Так что же, не рожать детей, потому, что их в дальнейшем могут превратить в убийц? Не знаю. Но знаю точно: от времён каменного века до дней нынешних единственное право, которое торжествует в мире — право сильного. Одни калечат, другие лечат. И блага, которыми цивилизация одарила человечество, это в значительной степени отходы производства всё той же науки уничтожения. Для одних Земля всё так же стоит на рогах чёрной коровы, а корова — на рыбе. А в это же время летят к иным мирам сложнейшие аппараты, созданные человеческим гением в попытке познать законы Вселенной. Но всё тот же закон, всё то же право сильного торжествует на земле. А это значит, люди мчатся к самоуничтожению. Спихватятся. Непременно спихватятся. Но не исключено, что будет поздно. Тогда разве что тараканы переживут цивилизацию. А может, они уже пережили пару цивилизаций? Не случайно их до сих пор не удалось уничтожить.

В Башкирии, в деревне, четырёхлетняя девочка Настя вынесла из горящего дома (родители уехали, она осталась за старшую) трёх детей младше себя. самого младшего братика в ползунках посадила в снег на двадцатиградусном морозе, а сама ещё раз сбегала в горящий дом за бутылочкой молока для него.

В стране сейчас то ли миллион, то ли два миллиона беспризорников. ТО ЛИ! Потому что никто даже не знает толком сколько их. И многие из них не сироты, родители их живы, пьют, сидят по тюрьмам, а то и вовсе бросили детей и думать о них забыли. Все газеты обошла история шестилетнего мальчика, «Маугли из Реутова», брошенного матерью и принятого собачьей стаей, в которой он прожил год. Это случилось не в лесах Индии, а в столице нашей, в Москве, где Монсеррат Кабалье поёт на соборной площади Кремля, где устраивают международные фестивали, где светят золотые купола Храма Христа Спасителя и сияют витрины богатых магазинов. Собаки не отдавали ребёнка, они в мороз грели его своими телами, его пришлось силой отбивать у них. Есть ещё девочка, ей уже 13 лет. Она — в детдоме, тоже была спасена и обогрета собачьей стаей. Мамой своей считает собаку, называет её по имени, и эта собака приходила к ней, скулила. Девочку выучили говорить, но она уже никогда не будет человеком, при случае охотней бегаёт на четвереньках и лакает из миски.

Совестью нации нарекают учёных, деятелей культуры... Однажды в Доме медработника (тогда ещё — на улице Герцена), на встрече с читателями я отвечал на вопросы, и вдруг кто-то в зале подошёл к микрофону и слышу: «Вы — совесть нации!». А я — на сцене у микрофона, на свету. Меня как ошпарило. «Да как же вы можете, — говорю, — передать мне свою совесть! Как может нация кого-то назначить своей совестью, чтоб кто-то совесть её олицетворял? А сама с чем останется?». Если уж говорить в таких категориях, для меня вот эта четырёхлетняя Настя — сохранившаяся совесть нации.

Сегодня, 29-го декабря, в канун Нового года, завершился сюжет, связанный с Приставки-

ным. Он возглавлял так называемую комиссию по помилованию при президенте. Создана она была ещё при Ельцине, сидел Приставкин в кабинете Пуго, бывшего министра МВД, члена ГКЧП, который, после провала путча, застрелил жену и себя: он-то знал, что замышлялось, знал, как расправляются с теми, кто совершал государственный переворот, он и мысли допустить не мог, что всех гэкачепистов вскоре освободят из тюрьмы и не только простят, но один станет губернатором, двое — депутатами Думы, их будут и на телевидение приглашать — делиться опытом, и на кремлёвские приёмы, представь себе это Пуго в ту пору, и он бы сегодня был среди почётно приглашаемых...

Комиссия по помилованию из примерно пятидесяти тысяч прошений, поступавших за год, успевала рассмотреть что-то около двух тысяч, но даже если бы только одного невинного удалось вернуть к жизни, она бы уже выполнила свою миссию. А ещё важна сама идея помилования, которую внедрить бы в сознание общества, а общество наше настроено карательно. Вполне понятно, что чиновники и в министерстве юстиции, и в главном управлении исполнения наказаний, и в прокуратуре, и в администрации терпели это до поры до времени. В 1996 году Приставкин, как, впрочем, и председатели других комиссий, был лишён зарплаты. Казалось бы, тем независимей он должен почувствовать себя: работа общественная, благородная. Но он всеми средствами стал добиваться, чтобы зарплату ему вернули, настоятельно побуждал членов комиссии включиться в эту борьбу, а там были и весьма авторитетные люди, но поддержки у них не нашёл. Впрочем, машина с шофёром, приёмы, многочисленные зарубежные поездки, статус — всё это оставалось.

При новом президенте, при Путине, начала выстраиваться административная вертикаль, и стало ясно: комиссия по помилованию в том виде, как была учреждена, просуществует недолго. Члены комиссии обратились к президенту с просьбой принять их, ведь они — при президенте. Многократно выступал Приставкин, было даже показано, как со стен бывшего кабинета Пуго он снимает рисунки своей дочери: всё кончено, нас разгоняют. Потом, правда, промелькнуло в газете, что в Екатеринбурге он один, не привлекая своих соратников, встретился с работниками министерства юстиции, признал недостатки в работе и т.д. и т.п. И — Указ. Вместо одной комиссии при президенте учреждаются комиссии во всех регионах и республиках, в их состав, кроме представителей общественности, войдут юристы.

И вот 28-е декабря. На час дня назначена в Союзе журналистов пресс-конференция: комиссия по помилованию решила протестовать. Собрались журналисты, комиссия в сборе, настроение боевое. Приставкина нет. Выясняется: его пригласил к себе президент. Его одного. По телевидению показали: президент пожимает руку приглашённому, как обычно в таких случаях, садятся друг против друга за приставной столик, Приставкин достаёт из портфеля свои книги, которые, как было сказано, он подарил президенту. Выйдя потом к журналистам, Приставкин сообщил, что он отныне — не председатель. И ещё, находясь под впечатлением встречи, сказал зачем-то, что жена (она вдвое моложе), отправляя его к президенту, напутствовала: больше улыбайся. Не сказал им только одного: ему сделано предложение, которое он принял. На следующий день по телевидению было объявлено: Приставкин получил должность советника президента, есть для отставников такая должность с зарплатой, машиной, про-

чими удобствами и — видимостью работы. И показали: открытая дверь в пустой кабинет, входит Приставкин. Снимали со спины. Вскоре он скажет корреспонденту газеты «Труд»: «Моя жизнь не похожа на жизнь других. Я востребован своим временем...».

А два года спустя на вопрос корреспондента журнала «Власть», кому бы он присудил Нобелевскую премию мира, скажет: «Не знаю. Путину, пожалуй». И обоснует, за какие заслуги.

2002 ГОД

Новый, 2002-й год: две двойки, два нуля. А я всё не привыкну, что «в прошлом веке», это не в XIX-м, как всю мою жизнь было, а в XX-м, от которого мы всего-то на год ушли. Наверно, если назвать дневником то, что я сейчас пишу, надо ставить даты. Но какое это имеет значение, когда запросто шагаем через век, и ничего не меняется. Мысль мелькнувшую, фразу, а поэты — рифму спешат записать, а в дневниках неминуемо многое пишется задним числом.

Что-то переменялось во мне, стараюсь не бывать ни на приёмах, ни на юбилеях, а они, как на грех, выпадают часто. А тут Элла открыла Ахматову наугад — и вот эти строки: «Никому я не буду сопровождать, / И охоты мне странствовать нет... / Мне к лицу стало всюду отсутствовать / Вот уж скоро четырнадцать лет». Ну, «к лицу» — это не про меня, об этом меньше всего думаю, и не четырнадцать, но последние года два — это точно. А вот на похороны, когда хоронят человека, которого ты знал, как не пойдёшь? А там непременно попросят что-то сказать у гроба. На кремлёвском приёме, летом, а приём был, кажется, по случаю Дня независимости, сидел Олег Ефремов, худой-худой, лопатки под пиджаком обозначились, и мы подходили к нему, он

уже не пил, чокался нарзаном. Обнялись мы с ним, поцеловались, и я руками ощутил, под пальцами почувствовал всю его худобу, и защемило в душе.

Когда из театра, после торжественного прощания, выносили его гроб, хлынул тёплый летний дождь. И весь народ, что стоял тесно в переулке, под дождём, аплодировал по обычаю: хоронили артиста. Помню, после похорон Эренбурга, сказал я Твардовскому, что он хорошо говорил. А он: «Не дай бог преуспеть в этом жанре». Вот и я так теперь: не дай бог...

Когда я только принял журнал «Знамя» и обозначил его курс первыми недавно ещё запретными публикациями, посыпались приглашения: на совещания, на заседания, даже, помнится, — на съезд врачей. И — папки, тиснённые золотом, в них — брошюры, блокноты, ручки... А уж приёмы в посольствах! Редакционный шофёр Игорь просил меня каждый раз: «Григорий Яковлевич, пусть меня вызовут». Обычно по окончании приёма вызывают в микрофон, и раздаётся на всю улицу: «Машину посла такого-то». Так вот, чтоб вызвали: «Машину журнала «Знамя»...». И он соколом влетал, почему-то ему это нравилось. Но я на приёмы ходил через два на третий, совсем не пойти нельзя: будет расценено так, что ты сознательно игнорируешь. А вот теперь даже от дружеских застолий уклоняюсь. Сесть утром за письменный стол, а за окном не стадо мчащихся по улице машин, а наш сад, где всё нашими руками посажено, и растёт, и живёт, что ещё душе нужно? Наверное, каждому возрасту — своё.

Сегодня снилось, будто Юре моему зачем-то надо идти на Сретенку и ему нужны деньги, но его самого я не вижу, только подумал: вот ещё и о старшем брате я должен заботиться. Проснулся и — первая мысль: если бы он был жив, если бы я мог забо-

титься о нём! 18-го января ему исполнился бы 81 год, а прожил он на свете всего 20. Как ушёл он в ополчение в 41-м году, с тех пор я его уже не видел. Не помню, снился ли он мне когда-нибудь на фронте, но после войны я часто видел их во сне: и его, и маму, реже — отца, хотя многое во мне именно от отца. У меня и сын, и дочь, и жена, и внуки, и внучка, они такие, что родней не бывает. А он один за стеклом книжной полки, оттуда увеличенная его фотография смотрит на меня.

Вчера Юрий Черниченко рассказал мне про землевладельца Ключу. У всех на слуху Абрамович, Вяхирев, Потанин, Ходорковский и т.д. А Ключа нигде не светится, но владеет уже 350-ю тысячами гектаров земли. Князья Юсуповы к 1916-му году владели 250-ю тысячами десятин, овладели ими за несколько поколений, а Ключа — смаху, за несколько лет приобрёл: «по закону». Вот только деньги такие огромные откуда взялись?

Во Владивостоке (об этом объявили незадолго до нового года) вторично на том же месте поставят памятник Мандельштаму, но на этот раз — чугунный. Тот, что стоял здесь, простоял недолго, он был из цветного металла, его украли. Услышал я это сообщение и вспомнилось: в брежневскую пору, когда глушили все «голоса», на даче, за городом, что-то всё же можно было расслышать. Между прочим, Громыко на сессии Генеральной Ассамблеи ООН официально предлагал запретить спутниковое телевидение, оно, мол, нарушает государственные границы. И это — министр иностранных дел страны, которая первой в мире запустила спутник. Не дожил «Андруша», так его звали в кулуарах ЦК, не дожил до интернета, уж он бы на него пошёл с вилами наперевес.

Так вот включаю на даче японский приёмник. Сквозь завывания глушилок и треск слышу: то ли в Нью-Йорке, то ли в Вашингтоне, туда многих в ту пору пускали, вышла на сцену Белла Ахмадулина. Зелёный бархатный костюм, высокие коричневые сапоги: это диктор сообщает. И — ангельский голос Ахмадулиной: «Я страдала меньше, чем Мандельштам...». Никто не знает, как погиб в лагерях Мандельштам, где похоронен. Рассказывают, он, уже безумный, раскапывал отбросы на помойках и ел. И будто бы уголовники забили его камнями. Есть и другая версия: он боялся, что его отравят, и вообще перестал есть. И вот — перед американской публикой, на свету рампы, в роскошном бархатном костюме и модных сапогах — «Я страдала меньше, чем Мандельштам»...

Читаю дневники покойного Игоря Дедкова. Какой умный, порядочный, достойный человек. После окончания факультета журналистики МГУ он практически был сослан в Кострому: слишком вольно повёл себя во время недолгой хрущёвской оттепели, поверилось. У меня много его писем, с литературной точки зрения они представляют интерес, дал бы их напечатать, но там — обо мне, о моих книгах. Он каждый раз писал, прочтя новую повесть или рассказ. Между прочим, он, возможно, единственный из критиков понял мой рассказ «Бабичев», понял то, что не написано на фасаде здания: не о мальчике-однокласснике рассказано, а о поколении, которое подрастало, чтобы погибнуть на полях войны. К сожалению, я мало писал Дедкову. Я вообще не люблю писать письма, а письмами да книгами, во-время подаренными книгами именитым людям, создают себе литературную биографию. Вот ему бы как раз следовало в знак уважения хоть раз по-

слать книгу туда, в Кострому, но я, кажется, не сделал этого, о чём теперь жалею. Конечно, он чувствовал себя там довольно одиноко под при-
смотром КГБ и партийного начальства. Потом, переехав всё же в Москву, в московскую суету, не раз он вспоминал о тех годах, прожитых в Костро-
ме, там он много и плодотворно работал.

В последних числах декабря минувшего года ехал я от Смоленской к Арбату, но пока спускался вниз по эскалатору, задумался. У меня и раньше это бывало, пойду, скажем, перекрыть газ (на даче у нас газовая колонка в ванной), а обнаруживаю себя за письменным столом: мысль пришла вдруг. Что бы ты ни делал, с кем бы ни разговаривал, а оно само в голове проворачивается, а глаз схватывает впечатле-
ние: лицо, жест и — в запасник куда-то. Вот вроде бы отработал с утра, освободился, пуст, но снова на-
чинает натекает понемногу, как вода в колодец, вы-
черпанный до дна. Впрочем, я стараюсь до дна не
вычерпывать... оставляю недописанным хоть краешек сцены, чтоб с утра тянуло к столу.

Так вот задумался, и оказалось, еду не к Ар-
бату, а к Киевской. Здесь, на конечной остановке, подали пустые вагоны. Я сел ближе к выходу. На-
против меня — человек в тёмных очках, но не в чёр-
ных, как у «братков», а тёмных. Ему немногим за
пятьдесят, едем, а он смотрит на меня. Ну, смотрит
и смотрит. Уже выстроилась очередь к дверям: подь-
езжаем к Смоленской. Он встал, подходит, наклони-
лся:

- Простите, вы — Бакланов?
- Да.
- Я зрительную память проверяю.

И из очереди, выстроившейся к дверям, вдруг: «Спасибо вам». Довольно молодая женщина, улыбается мне. И другая, постарше, седая, высокая:

«С праздников вас, с наступающим». У злого человека и улыбка злая, а эти обе так хорошо улыбались.

Покойный Женя Винокуров («В полях за Вислой сонной / Лежат в земле сырой / Серёжка с Малой Бронной / И Витька с Моховой...») говорил — он не лишён был юмора — «Рецензия, в которой меня хвалят, мне кажется, и написана гораздо лучше других». Но эти женщины действительно очень добро улыбались, мне запомнились их лица. Это не первый случай, когда подходят в метро. Нет, мне это не безразлично, я хочу, чтобы мои книги читали, чтобы они пережили меня. Но хлопотать вокруг своего имени, вот этого я никогда не делал.

Кто-то из нынешних американских писателей, довольно известный, уж не Трумэн ли Капоте, сказал примерно следующее: написать книгу это половина дела, главное — обеспечить ей успех. Возможно, это так. Но для этого надо через себя переступить по принципу: пять минут позора, три часа покоя.

А вот тоже в декабре минувшем, ближе к Новому году, по каналу «Культура», в рубрике со странным названием «Экология литературы» была передача обо мне, довольно долгая, минут на сорок. Мне позвонили заранее. Бывало уже и не раз, позвонит кто-нибудь из приятелей: тут, мол, о тебе было, а я не знал, либо знал, да забыл. На этот раз мы с Эллой смотрели. Прихожу дня через два в магазин за хлебом, это даже не магазин, а лавка при санатории, продавщица говорит: а я вас по телевизору видела. И совсем другими глазами смотрит, явно вырос в её глазах. И из деревни пришла Валя, она молоко носит в наш посёлок, ей сын из Москвы позвонил, и она смотрела передачу: «Эльга Анатольевна, какая же вы красавица!». Это показали фотографию Эллы в молодости.

Василий Песков, известнейший наш журналист, объездивший полмира (он писал, в основном, о животных), рассказывал, как в районной газете что-то появилось о нём, и мать его, живущая в деревне, сказала: «Теперь тебя весь народ знает».

Недавно подумалось вдруг: а что самое вкусное я ел в жизни? Глупая вроде бы мысль, разве можно определить что-то одно? Оказалось — можно. Я люблю русскую кухню, привык: блины с растопленным маслом, со сметаной, с рыбкой, с икрой. А пироги. А пирожки жареные. А грибы во всех видах: и рыжики солёные, белые маринованные. Да господа... Я люблю украинский борщ с чесноком, с грудинкой, жена моя варит замечательные борщи. Люблю фаршированную рыбу, но не шуку, а карпа. И кошка наша ждёт, когда я чищу рыбу во дворе: все внутренности — ей. А шашлык по-карски... И всё же, оказалось, есть то, с чем ничто не сравнится. 41-й год. Осень. Мы — в эвакуации на станции Верещагино. Я уже пытался попасть в стрелковый, сформированный здесь полк. Не взяли. Временно работаю охранником в филиале фабрики Гознак, здесь печатают деньги. А может, и вся фабрика сюда эвакуирована. Сколько раз ни войдёшь в цех, столько раз надо предъявить удостоверение: и при входе и при выходе. На тележках возят стопы неразрезанных денег: сотни. Но это, как если бы мимо тебя везли плакаты: привыкаешь, это для тебя не деньги. А деньги — те мятые трёшки, десятки, которые выдадут из кассы.

Охранники, в основном, местные мужики. Они тут обосновались крепко. Едят домашнее: сало отрезают на хлеб, с хрустом сочным откусывают луковицу, любопытствуют:

— А в армию, если призовут, пойдёшь? На фронт?

Я стараюсь не смотреть, как они едят. Я жду обеда. В обед дают тарелку горячего супа с крупно нарезанной лапшой из тёмной муки, не много её там, в тарелке, но всё же и жижа от неё чуть мутновата. Я и сейчас помню вкус той лапши, ничего вкусней не ел я в своей жизни. Великий и страшный повар — голод. Нет ему равных.

«Как всё-таки странно, что мелочи вдруг приходят на память, а что волновало когда-то, с годами забывается». Это — Мурасаки Сикибу, японская поэтесса, если не ошибаюсь, IX века.

А ничего странного в этом нет: мелочи — это подробности повседневной жизни, сама жизнь, а то, что «волновало когда-то» и с годами забывается, это наши представления о жизни, они изменчивы, изнашиваются со временем, как ветшает новое когда-то платье. Это же — и в искусстве. Книга, написанная, чтобы мысль свою утвердить, тем более — себя утвердить, мелькнёт и забудется, сколько бы шуму ни создавали в момент её появления. А книга, в которой — жизнь с её точными подробностями, преображённая силой искусства, переживает и её создателя, и времена. И не суть важно, что автор считал главным, что особенно волновало его. Новые поколения по-своему прочтут книгу, и главным для них будет то, что волнует их, если это — искусство.

Вот и минул январь, быстро промелькнул. В детстве годы были длинные, каждый день полон событий и открытий. Для писателя детство, какое бы оно ни было, это богатство на всю жизнь. Итак, сегодня уже 1-е февраля 2002 года. Зашёл, назовём его так, Василий. Он — с Украины, приехал сюда на заработки. Мужик здоровый, совестливый, но ума совершенно детского, и работу способен выполнять самую простую, в общем — что прикажут, куда pošлют. И вот одолела его мысль, ею и зашёл поде-

литься, услышав наши голоса на участке. Надумал он организовать бригаду строителей, а самому стать главным, то есть — бригадиром. Одно смущает: «Они украдут чего-нибудь у хозяев, а я же ж не могу так, я ж за них отвечать должен». И в оправдание себе и этой посетившей его идее — с тоской: «Если б я, например, плитку умел класть!..». Плитку класть ни ума, ни умения не хватает, хотя премудрость эта не велика, я, например, умею. Ну, а если ничего не умеешь, действительно, выход один: стать начальником над умелыми. Об этом же — у Толстого (Записано А. Б. Гольденвейзером): «Попробуйте сшить сапоги, если вы не сапожник. Или печь сложить. Ведь нельзя. А быть министром — сколько угодно».

Когда началось то, что называли гласностью, молодые и не совсем молодые, даже перезрелые постмодернисты, постпостмодернисты и проч. и проч., а в общем все эти, пробивающие себе путь локтями, накинулись на так называемых шестидесятников, стремясь вытоптать их и тем себя утвердить. В чём только не обвиняли! И в ограниченности, и в соглашательстве (мечтали, мол, улучшить жизнь, а её надо было перевернуть вверх дном), и в трусости мысли и действий. И позорили, позорили, как могли. Самое интересное, что делалось это с позиции людей, которые, будь они на месте шестидесятников, они бы уж точно ничего подобного не допустили, чистота их помыслов, прозорливость, непорочность и личное мужество сомнению не подлежат. А ведь они жили в то время и многие из них были уже не в младенческом возрасте, да что-то никакими решительными действиями не отмечены, просто-таки нечем вспомнить. Но теперь они — громовержцы.

Я не шестидесятник, не семидесятник, не пятидесятник. Я — это я. И мои книги — это мои

книги. Но свою долю в те времена я хлебнул. Не умри Сталин (а когда паралич разбил его, лежал он на полу, в собственной моче, и никто ни заглянуть, ни постучаться к нему не смел), не умри он, был бы я выслан в те самые бараки на Сахалине, в Сибири, когда после, так называемого, «дела врачей» была поднята по стране волна антисемитизма. И не было бы на свете ни детей моих, ни внуков. Миллионы, миллионы не родились от тех, кого загнал он в лагерь, и лучших и худших, а в большинстве всё же — самых толковых, самых честных.

И это — после войны, где по его вине погибло столько миллионов, мы потеряли в пять раз больше, чем потеряла Германия, у которой к началу войны и танков, и самолётов было меньше, чем у нас, но была подготовленная, боеспособная армия, а не армия, где накануне войны истребили лучшие кадры, а мысль — в том числе военную мысль — задавили страхом. Кто-то из афинских военачальников ещё в те, древние времена, сказал: стадо баранов, возглавляемое львом, сильнее стада львов, возглавляемого бараном. Вот так по его милости мы встретили войну. Я уж не говорю о том, что немецкие лётчики имели налёт в среднем по 450 часов, а наши — по 5, по 15 часов, что во многих приграничных дивизиях и винтовок почти не было. Но и во время войны продолжала работать система самоуничтожения. И это при том, что в день, в один день больше, в другой день меньше, но в среднем в день мы теряли в боях по двадцать с лишним тысяч человек убитыми и ранеными. Но работали безостановочно трибуналы, суд был короток: кого — на расстрел, кого — на убой в штрафбаты, в штрафные роты. Нет, не насытился, не напился крови досыта тиран. И шло выселение целых народов: карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, крымских татар... Евреи оказались последними в списке. Не успел осуществить,

жизни не хватило. Но последними ли, если б он ещё пожил?

Вот под таким прессом, под таким гнѐтом я и писал свои книги. Кроме всего прочего, меня после института и на работу никуда не принимали и жить фактически было не на что и негде. Но писал. И когда писал, был счастлив и свободен в душе. Почти свободен.

К середине прошлого, 2001 года, в России в среднем каждые 18 минут становилось одним чиновником больше. Население сокращается, чиновничество плодится и растёт. Английский философ 19 в. Джон Стюарт в эссе «О свободе» писал, что в таких странах, как Китай и Россия, с их всемогущей бюрократией, «не может быть осуществлена никакая реформа, противоречащая интересам бюрократии». Даже когда к власти придёт новый диктатор, он всё равно будет вынужден опираться на бюрократов, чтобы его распоряжения выполнялись. «Он может сослать любого из них в Сибирь, но он не может править без них или против их воли». Это — из книги Джаспера Бекера «Китайцы», которую я уже упоминал.

Читаю в 12-м номере «Нового мира» продолжение дневника Дедкова: «Залыгина назначают редактором «Нового мира», и он предложил статью его первым заместителем. Сидели в кафе ЦДЛ, и Залыгин выяснял мои позиции. В этом выяснении мне понравилось не всё: особенно некоторые противопоставления «русской» литературы (Астафьев, Распутин, Белов) всему остальному. После войны, сказал Залыгин, когда были Эренбург, Симонов, Казакевич, мне (ему) казалось, что русской литературы вообще нет, кончилась. Теперь она есть. Было поставлено что-то вроде условия: согласовывать пред-

меты своих критических выступлений. Мелькнуло что-то недоброжелательное по адресу Бакланова, как некоего знака, обозначения «противоположных» сил. Примиряло меня обещание следовать традициям Твардовского и даже ввести в редколлегию кое-кого из новомирцев (в частности, Лакшина). И был обозначен критерий, также меня устраивавший: превыше всего — художественный уровень произведений.

Бакланова ставят на «Знамя». То ли правду он мне сказал, то ли любезность, что готов взять меня заместителем, но понимает, что мне лучше идти в «Новый мир», и он Залыгину об этом говорит».

Нет, не любезностью было то, что я сказал Игорю Дедкову, это была правда. Всё развивалось так: сразу же после VIII (последнего!) съезда Союза писателей, я сказал Залыгину, к нему я в общем-то хорошо относился за его повесть «На Иртыше», и хотя чувствовал скрытое недоброжелательство с его стороны, смотрю другой раз на него и вспоминается фраза Горького о том, что встречаются на Волге такие стёртые лица, за которыми скрывается острый ум, хитрость и необъяснимая жестокость, но временами он так ласкался — Гриша, Гриша, — что думалось, зря я на него грешу, и вот сказал я ему: давай вместе предложим Дедкова редактором «Нового мира», вместе мы добьёмся. Мне было уже 62 года, становиться в этом возрасте редактором журнала, в корне менять жизнь мне никак не хотелось, он — лет на десять, если не больше того, старше меня, и подумалось, что он тоже не хочет. А он не только хотел, но когда я в 70 лет оставил журнал, он, уже больной, немощный, продолжал занимать пост, именно — занимать, отдавая какие-то распоряжения из дома по телефону, будучи не в силах приехать на редколлегию. И ему я предлагал добиваться, чтобы редактором «Нового мира» назначили Дедкова...

Вот вроде бы и разбираюсь в людях, но иногда бываю поразительно слеп.

А дальше события развивались так: увидев, что поддержки мне тут не ждать, я предложил назначить Дедкова редактором журнала «Знамя», но «свыше» мне было разъяснено, что он не выдержит, как было сказано, не выдержит конкуренции: туда рвались четверо, которые превратили бы журнал в ещё один «Наш современник» или такую же черносотенную «Молодую гвардию». И пришлось редактором становиться мне. Но пока шло ритуальное согласование и утверждение, Залыгин вдруг закапризничал: нет, я не пойду, я уже стар... Всё это — мне, по телефону. А я, поверив, стал уговаривать его, т. к. и на «Новый мир» тоже находились желающие. И хотя сразу же для себя решил, что буду просить Дедкова стать моим первым заместителем, в один из разговоров с Залыгиным, действительно, сказал ему, от души отрывая: бери Дедкова заместителем, вот это слово употребил: «бери». Сказал ещё и потому, что подумалось: позову я Дедкова с семьёй из Костромы, а квартиру в Москве смогу я ему добыть? У Залыгина в этом отношении возможности были шире.

Однако вот что далее пишет Дедков: «Чует моё сердце, что все эти предложения-предположения в высшей степени сомнительны. Сейчас, после публикации в «Вопросах литературы» антибондаревской статьи, против меня поднимется высокая и тёмная критическая волна, и не дай Бог Бондареву прослышать о намерениях Залыгина! Тем более, что в разговоре со мной Залыгин признал, что питает на Бондарева известные надежды. Что ж, будет видно: хорошая статья дороже хорошей должности. Если Залыгин поддастся, то, значит, есть силы по сильнее разных там принципов и добрых намерений».

Как в воду глядел! Да и были ли они, «добрые намерения»? Приглядывался — да, выяснял позиции — да, но слишком разные они люди и по характерам, и по нравственным принципам: прямой, неподкупный Дедков и — Залыгин. Так чего ж ты, то есть — я, хотел их соединить? Сам себе теперь удивляюсь. Впрочем, мне ли только трезвые мысли приходят уже за дверью? Минул август, сентябрь, октябрь, ноябрь 86-го года уже был на исходе, Дедков записывает в дневнике: «Настроение у меня этой осенью неважное. Я устал отвечать на вопрос (в том числе и в письмах), уезжаем ли мы в Москву. Слух разнёсся, без преувеличения, от края и до края. Хочу я или не хочу, но обсуждение этой темы меня задевает. И не потому, что я жажду этого возвращения. Со времени съезда я написал Залыгину единственное письмо, где интересовался, есть ли ещё надежда. Да и письмо было, в сущности, вынужденным: Богомоллов и Бакланов уговаривали меня, чтобы я «развязал» себе руки и мог бы пойти заместителем в «Огонёк» к Коротичу. Для меня, разумеется, вариант с «Новым миром» лучше, но люди хлопочут обо мне, и я попробовал прояснить своё положение. Остался при той же неясности».

Пригласить Дедкова в «Знамя» я уже не мог, я был связан словом: как только Залыгин вроде бы «проявил интерес», я предложил пост первого зама опальному Лакшину и «пробивал» его все эти месяцы. И добился своего, решив для себя и поставив в известность кого следовало: не утвердят Лакшина, ухожу. Утвердили. Что же касается фразы в дневнике «...что-то недоброжелательное по адресу Бакланова как некоего знака, обозначения «противоположных» сил», сказанное Залыгиным в разговоре с Дедковым, мне, конечно, любопытно было это прочесть, но вот узнал, прояснилось, и в общем жалею, что узнал. Когда стали приоткрываться архивы

КГБ, мы послали работника редакции «Знамя» посмотреть дело одного из писателей, гонимых в прошлом: мы печатали о нём статью. Вернувшись, он сказал, что там и на меня что-то есть, дело что ли было заведено, не помню. И предложил: он может прочесть и, если мне надо, что-то выписать оттуда. Я сказал: не надо. А вдруг там окажутся доносы людей, которых я знаю, которым руку подавал, которые и сегодня живы? Ничего уже не изменишь, так зачем мне этот камень в душе носить?

Дневник Игоря Дедкова опубликован, и хорошо, что опубликован: выросло целое поколение, для которого всё это — дела прошлого тысячелетия. А мои книги Залыгин не раз в разговоре со мной хвалил. Впрочем, когда хвалят в глаза... Вот пишет о поездке Горбачёва в Китай академик Чазов, бывший начальник 4-го управления Минздрава, приближённый из приближённых всех сменявших друг друга Генсеков, хранитель величайшей государственной тайны: сведений о здоровье каждого из тогдашних вождей: «Перед отъездом из Пекина Горбачёвы собрали всю делегацию в своём особняке на прощальный ужин. Полились заздравные речи, вызывавшие порой чувство неловкости. Стыдно стало, когда известный писатель С. Залыгин, которого я всегда считал честным и откровенным человеком, начал льстиво восхвалять заслуги не столько М. Горбачёва, сколько его верного товарища, друга и жены Раисы Максимовны. Возможно, эти слова были бы уместны в узком кругу на семейном празднике, но здесь, в большом, а главное, пёстром по составу обществе...». И поверить после этого, что Залыгин не смог бы добиться перевода к нему из Костромы Дедкова, если бы хотел? Но он давно решил, и в Москве это знали, что первым замом останется у него тот, кто исполнял эту должность при прежнем редакторе, почему он так решил, можно только догадывать-

ся. Фамилию этого человека не называю, про него говорили уверенно: стукач.

Ну и, конечно, символично противопоставление Залыгиным «русской литературе» Эренбурга, Симонова, Казакевича, очень символично. В то время всех не русских по крови писателей в «патриотической» прессе уже именовали «русскоязычными», маховик набирал обороты. Значит, и это сидело в нём. Сидеть-то сидело, а когда развернулась травля Солженицына, не помешало ему, ревнителю «русской литературы», подписать в «Правде» письмо против Солженицына и Сахарова. Впрочем, и против Пастернака ещё раньше подписал письмо в журнале «Сибирские огни», и были там фразы: «Уйди с дороги, таракан» и «Он не достоин дышать одним воздухом с советским народом». А после, в пору гласности, выступал с крыльца дачи Пастернака в Переделкино, куда и ного его ступать не следовало: славил великого поэта и тот самый его роман «Доктор Живаго». Да кто у нас что помнит? А большинство и не читало того письма в «Сибирских огнях», мне оно сравнительно недавно попало и вот при каких обстоятельствах: вспомнил я добрым словом повесть Залыгина «На Иртыше», а мне и говорят: вы его письмо в «Сибирских огнях» читали? И дали прочесть. Но, действительно, бог шельму метит: дочь его вышла замуж за еврея, такое вот несчастье. И однажды, в машине (куда-то мы ехали вместе), он, присунувшись к моему уху, чтобы шофер впереди не слышал, говорил тихо:

— Внука моего не приняли на математический факультет МГУ: отец — еврей. А он такой талантливый математик. Сейчас они все трое — в Америке. Он математическими методами доказал существование Бога.

И всё же лучше бы ему не поминать всеу Эренбурга, Симонова, Казакевича. Статьи Эрен-

бурга во время войны читали и ждали, как сводки Информбюро. Стихотворение Симонова «Жди меня» многим дало силы и ждать, и жить. Я не поклонник его прозы и поэмы, ни один роман, ни одну повесть Симонова я не мог дочитать до конца, но на фронте — так утверждают люди, видевшие его там, он вёл себя смело, в отличие от многих других корреспондентов. Казакевич пошёл на фронт добровольцем из Биробиджана, хотя был белобилетник по зрению, и служил он в разведке, написал после войны хорошие повести «Звезда», «Двое в степи». А Сергей Павлович Залыгин, самого призывного в то время возраста, физически здоровый, всю войну благополучно пробыл в глубоком сибирском тылу. Что делал? Развозил зарплату начальникам лагерей. Это мне рассказал Анатолий Ананьев. Так ли было, утверждать не берусь, но вот, что совершенно точно: никакой такой особо ценной профессии, по которой на фронт не брали, у него не было: мелиоратор. Уже став редактором «Нового мира», он однажды пожаловался мне:

— Сколько лет прошло после войны, а до сих пор травят, пишут в редакцию: почему вы не были на фронте?

Году в 87-м или в 88-м я первый раз был в Дании. Объездили мы на машинах чуть ли не всю страну. И среди многого, что поразило и заинтересовало меня, — ветряки, они повсюду видны были на полях. Когда-то в России были ветряные мельницы, мололи зерно, я помню крылья их, крутящиеся от ветра. Сохранилась ли ныне хоть одна такая мельница? Разве что превращённая в экзотический ресторан. Я через переводчика стал расспрашивать фермера. Да, вот этот его ветряк полностью обеспечивает электричеством его ферму, а излишек электроэнергии он продаёт. Работает даровой ветер,

управляет всем компьютер. На очередном совещании редакторов, которое собрал Горбачёв, я рассказывал об этом с трибуны, сидело всё политбюро, сидел тогдашний премьер-министр Рыжков, человек весьма малого интеллекта, прозванный плачущим большевиком.

— Что у нас, ветра не хватает? — спросил я.

И вот сегодня, 2-го марта 2002 года, показали по телевизору: в Калининградской, самой западной нашей области, на побережье, продуваемом морскими ветрами, монтируют 20 таких ветряков, которыми будут управлять компьютеры. Монтируют при помощи датских специалистов. Я никак не связываю тогдашнее моё выступление и вот это событие, для энергетиков всё тут не было новостью, я просто хочу сказать: прошло 15 лет! Вот темп наших реформ. Мы вроде бы вперёд движемся, пыхтим, но не только не догоняем, а отстаём и отстаём от убегающего от нас поезда: скорости разные. Зато в списке самых богатых людей мира — уже семь наших миллиардеров. Они тоже возникли за этот срок. Французская «Либерасьон» писала недавно: «Есть два способа разбогатеть: много производить или много воровать. В 90-е годы второй метод был в России наиболее популярным и эффективным. Приватизация фактически стала программой легального разграбления активов советской империи. Воровство продолжилось и после приватизации. Зачем платить налоги, зачем возвращать долги, зачем соблюдать контракты с инвесторами? Естественно, в структурных реформах никто не был заинтересован. Но, к счастью, всё когда-то кончается. К концу 90-х годов воровать стало особо нечего, ресурсы перешли в руки олигархов, у государства денег не было, и пришлось приступить к производству ради получения прибыли».

Остаётся добавить, что иностранцы во всём этом тоже поучаствовали, слетались на запах денег, на запах нефти, поклевали в меру сил. А что воровать стало нечего, ошибаетесь: идёт великий передел, наворованное одними переходит в руки других. И не бескровно.

А «Пионер», запущенный американцами, всё дальше летит в просторы Вселенной. В нём, на золотой пластине — послание внеземным цивилизациям, записанное на 50 языках, в том числе — на русском, код ДНК, звук человеческого голоса и проч. С ним не было связи с 1997 года, и вот откликнулся, сигнал хороший. Он уже покинул просторы Солнечной системы, он будет лететь ещё миллион лет, может, и больше, не исключено, что он переживёт планету, с которой взлетал, переживёт нашу Землю, неся о ней весть к иным мирам. Но представить, что Земля исчезнет, и всё, что на ней было, что есть и будет, исчезнет вместе с нею, и голая, мёртвая планета будет носиться в Космосе, этого я представить себе не могу.

Итак, закончилось «дело Бородина». Напомним: Бородин, глава хозяйственного управления администрации президента Ельцина, обвинялся в том, что брал и давал взятки швейцарским фирмам, которые ремонтировали Кремль, отделывали президентский самолёт и т.д. и т.п. Наша прокуратура, как и следовало ожидать, никаких преступлений в его деле не нашла, но в Америке он был арестован по запросу швейцарской прокуратуры, в дальнейшем переправлен в Швейцарию и там отпущен под залог в 3,5 миллиона долларов, которые дало наше государство. Несколько раз вместе с адвокатом Бородин приезжал в Швейцарию на допросы, на которых использовал своё право молчать, не отвечать ни

на один вопрос. Швейцария могла судить его только за отмывание денег, а не за главное преступление, с помощью которого были добыты деньги. Итог таков: 60-летний прокурор Бернар Бертаса 31 мая оставил своё место и решил не передавать дело в суд, а использовал своё право присудить Бородину к штрафу в 165 тысяч долларов. Корреспондентам он объяснил это таким образом:

«Действительно, дело затягивалось, нависала угроза истечения срока давности, и я решил прибегнуть, как вы выражаетесь, к «уловке», которая, однако, предусмотрена уголовно-процессуальным кодексом. Это положение даёт прокурору право изменить классификацию дела и не направлять дело в суд, а ограничиться административным взысканием. Если г-н Бородин не считает себя виновным, он мог обжаловать моё решение в полицейском суде, и тогда дело слушалось бы в суде. Он предпочёл не подавать апелляцию на моё решение и тем самым признал себя виновным в отмывании денег».

165 тысяч долларов заплатит за Бородин государство или их просто вычтут из залога. На приёме в Кремле 9-го Мая, куда были приглашены весьма немногие, я видел, как Бородин подошёл к президентскому столу, мне хорошо это было видно, я в том же ряду через два стола от них сидел, так вот Бородин подошёл и Ельцин, посаженный по правую руку президента (кресло Путина в этот момент пустовало), встал, обнял перед сценой Бородину, и они целовались на виду у всех. И Ельцина, сидевшая по левую руку патриарха, и «его святейшество» смотрели, перед их глазами всё это происходило.

9-го января 2001г. в «Известиях» под заголовком: «Их должны были казнить публично» напечатана беседа «о деле врачей» с доктором исторических наук Яковом Этингером (его отец под пытками

умер в заключении, а сам он, «сын врага народа», разумеется, тоже был посажен, поскольку «сын за отца не отвечает»). Вот несколько выдержек из этой опубликованной беседы: «Долгие годы я изучал дело в архивах, наших и зарубежных. Главные документы так и не обнаружены, думаю, что их сожгли после смерти Сталина. Я потом встречался со своими «подельниками». Говорил с крупными государственными деятелями того времени, очень многое почерпнул из бесед с Николаем Булганиным, бывшим председателем Совета Министров СССР, членом Политбюро. Он заверил меня, что «проектировщиками» дела были Сталин, Маленков и Суслов, а не Берия. Процесс должен был пройти в середине марта. Обвиняемые — признаться, что они не только агенты иностранных разведок, но были в связи с Молотовым и Микояном, которых Сталин тогда решил убрать с политической арены. После приговора планировались публичные казни в Москве (по словам Булганина, на Красной площади) и в Ленинграде. Сталин поручил Булганину подготовить для высылаемых евреев сотни товарных поездов, которые следовало подогнать к большим городам. По дороге ожидалось «стихийные» нападения негодующих толп на составы... Существовало несколько вариантов коллективного обращения еврейской общественности к соплеменникам с объяснением причин и оправданием депортации... Опять же известно, что окончательный текст, также, вероятно, уничтоженный, лежал наготове в ожидании дня «Х». Как и миллионный тираж книги «Почему евреи оказались невосприимчивы к идеям социализма». И вдруг не так давно позвонила мне знакомая женщина, сказала, что хочет показать мне важный документ. Она отказалась назвать себя, не разрешила к ней приехать и привезла его сама. Пожелтевший машинописный листок (судя по всему,

третья копия) она нашла в архиве умершей матери, технической сотрудницы, догадываюсь, что «Правды». Гостыя не разрешила мне сделать распечатку — только при ней переписать, после чего исчезла навсегда. Вот оно, впервые публикуемое письмо (возможно, одно из...), которое редакционная машинистка, русская женщина, отважилась сохранить для истории (печатается в сокращении):

«Ко всем евреям Советского Союза... Все вы хорошо знаете, что недавно органы государственной безопасности разоблачили группу врачей-вредителей, шпионов и изменников... Среди значительной части советского населения чудовишные злодеяния врачей-убийц закономерно вызвали враждебное отношение к евреям. Позор обрушился на голову еврейского населения Советского Союза. Среди великого русского народа преступные действия банды убийц и шпионов вызвали особое негодование. Ведь именно русские люди спасли евреев от полного уничтожения немецко-фашистскими захватчиками... Вот почему мы полностью одобряем справедливые меры партии и правительства, направленные на освоение евреями просторов Восточной Сибири, Дальнего Востока и крайнего Севера. Лишь честным самоотверженным трудом евреи смогут доказать свою преданность Родине, великому и любимому товарищу Сталину и в глазах всего советского народа».

Удивляться ли, что более миллиона евреев из России и республик бывшего Советского Союза уехали в Израиль, там обретя родину, и защищают её самоотверженно, защищают, по сути дела, форпост европейской, вообще — христианской цивилизации на Ближнем Востоке.

Сегодня, 25 июля, президент Путин принял в Кремле возвратившуюся из Израйля, где её лечили

в одной из лучших клиник, Татьяну Сапунову. Предыстория такова: она ехала в маленькой машине «Ока» со своей дочкой и матерью и увидела на обочине шоссе щит с надписью: «Смерть жидам!». До неё по этому подмосковному Киевскому шоссе проехали не десятки и не сотни, а — тысячи машин, не видеть этот щит было невозможно, он выставлен был так, чтобы его видели. Да и милиция здесь курсирует. Не остановился никто. Татьяна Сапунова, двадцативосьмилетняя русская женщина, как было сказано по ТВ и написано в газетах, остановила машину, вышла и выдернула из земли этот прибитый к колу плакат. Она не знала, что он заминирован. Осколками ей поранило лицо, повредило глаз. Телерепортёр спросил её мужа, поступил бы он так же? Подумав, он сказал: «Я бы позвонил по 02 (т.е. — в милицию)». Лучшие клиники Израиля предложили свои услуги. Визы, самолёт — всё было организовано мгновенно. Она полетела с дочкой и с матерью, встречали её, как героиню. Люди несли цветы, фрукты, игрушки девочке. Было объявлено, что президент В. Путин наградил её орденом Мужества. На ТВ, в одну из передач, позвонила женщина, судя по голосу — пожилая: «А не слишком ли мы разбрасываемся орденами?». Тем временем один за другим, как по общей команде, появились щиты с надписью «Смерть жидам!»: в Воронеже — два, с прикрепленными муляжами взрывных устройств (их расстреляли из робота), во Владивостоке, в Томске, прикрепленный к дереву. Его заметил проезжавший сотрудник дорожной службы, снял, взорвалась профессионально установленная ручная граната. Сотрудник и шофер, по счастью, только чуть задеты осколками. И вот Сапунова вернулась из Израиля, и президент пригласил её в Кремль, их встречу и разговор транслировали все главные каналы телевидения по несколько раз в новостных программах. Пре-

зидент говорил о том, как в нашей многонациональной стране важен её поступок в плане борьбы с экстремизмом и шовинизмом, который сейчас усилился не только у нас, сказал, что она награждена орденом Мужества.

С середины 20-х годов XX века, а о прошлом и говорить нечего, (Николай II перекрестился машистым крестом, когда в Киеве ему доложили желаемое: мол, доказано, дело Бейлиса — ритуальное убийство), так вот, впервые глава нашего государства сделал такой шаг. Однако на следующий день, верней — ночью был разрушен ряд еврейских могил на Востряковском кладбище. А в ночь на воскресенье, на 28-е июля, в Москве, в районе Ясенева, на балкон 4-го этажа была закинута самодельная бомба: труба, начинённая взрывчаткой и гвоздями. Взрывом выбиты стёкла во многих квартирах, к счастью, никто не пострадал, но гвозди торчат в стене, в оконных рамах. Другая такая же бомба, но с дистанционным управлением, обнаружена поблизости, обезврежена: расчёт, видимо, был на то, что сбегутся люди, тогда и взорвать. На осколке разорвавшейся бомбы — антисемитская надпись. В Чечне, во Владикавказе на рынке, в Ставрополе, в Дагестане и т.д. это называется теракт, и уголовное дело заводят по этой статье. В Москве открыто уголовное дело по статье «хулиганство».

Все эти группы — скинхеды, нацисты, фашисты — разрознены, пока они — без единого лидера. Но он может возникнуть. Впечатление такое, что их берегут про запас, могут понадобится. Пока это — пехота. Они вроде бы и на учёте у милиции чуть ли не поголовно, поимённо, но едва ли не каждый второй милиционер им сочувствует, прокуратура — не видит, суд, если что-то и доходит до суда, выносит минимальные приговоры.

Нынешнее лето — лето засухи и пожаров, как тридцать лет назад в памятном 1972 году. Москву тогда застлало мглой: горели торфяники, дождя не было 22 дня. В этом году в Москве уже 34 дня нет дождя, а по стране — в Сибири, в Средней России, в Подмоскowie — горит в общей сложности миллион гектаров леса, выгорают ценнейшие заповедные боры, но, как обычно, не хватает техники для тушения пожаров, горючего для заправки самолётов нет, а самолётов этих всего-то раз-два и обчёлся. У нас, как всегда, нет гривенника, чтобы сохранить миллиарды. Опять в Шатуре горят торфяники, подземный пожар на глубине трёх, пяти, десяти метров, температура в этом аду больше тысячи градусов, брошенная на землю бумага тут же вспыхивает, лес подгорает с корней и рушится в огонь. Снова Москву застлало мглой, в Нижнем Новгороде из-за плохой видимости прекращено по Волге судоходство. И здесь, на даче, где всё же можно дышать, — запах горящего торфа, ели у забора, которые мы сами сажали когда-то, видны мне в окно сквозь мглицу, а до них метров пятьдесят, не более.

И в это же самое время на Кубани, в Ставрополье, в Дагестане, в Чечне, в Осетии — потоп, реки вышли из берегов, льют дожди, тают высокогорные снега, утонуло более сотни человек, без крова остались сотни тысяч. Но мощный мёртвый пласт чиновничества навис повсеместно над людьми и давит всё человеческое. Даже одеяла в одном из палаточных городков (в одном ли?), как выяснилось, раздавали не всем подряд, а тому дадут в первую очередь, кто в руку сунет. И вот спросить, из кого же создаётся этот пласт начальников, больших и малых? А из народа же, из тех самых людей, на которых он и давит. Воистину, каковы

сами, таковы и сани. В Японии, после страшного землетрясения в Осаке, люди страдали от жажды, но валявшиеся на земле фляги с водой, канистры не брали: не моё. А тут, в станицах, люди не бросали дома до последнего, многих спасатели снимали с крыш, но первыми вслед за потопом хлынули мародёры.

В одной из станиц, которую потом смыло, заметили ночью, как в «высотных» домах, где жило начальство местного масштаба, зажёгся вдруг свет в окнах, поднялась суeta... Оказалось, начальство прознало, что открыли шлюзы переполнившегося водохранилища, и водяной вал катится на станицу. И что, предупредили они жителей станицы? Нет, спасали свои вещи, спасались сами. У шофёра, который возит главного местного начальника, был мобильный телефон, шофёра спрашивали после: «Он тебе позвонил?» — «Нет».

Середина июля, пекло, как писал Чехов: «градусов сто будить». Стою на солнцепёке, ловлю машину. Иномарки — мимо, мимо. Остановился «Жигулёнок». Говорю адрес. «Садитесь». Хозяину машины лет за пятьдесят, профессорского вида, лысина во всю голову, тёмные очки. Небольшие белые руки на руле, белая рубашка расстёгнута, на шее — шёлковая косынка.

— Не жарко от неё? — спрашиваю: о чём-то же надо говорить.

— У меня горло... В такую жару я обычно простуживаюсь.

Помолчали. Вдруг говорит:

— Я знаю, кто вы. Я специально сделал круг. Проехал, а потом думаю: надо помочь. И сделал круг.

Поблагодарил, а что ещё сказать — не знаю. Постепенно завязывается разговор.

— Я пришёл к мысли, — говорит он весьма неожиданно, — что вообще смысла жизни нет. Смысл жизни — в вере. В вере в то, что он есть.

И так далее, довольно подробно. Я спросил:

— У вас есть дети?

— Есть, — сказал он, как о чём-то несущественном. И продолжал развивать свою мысль.

А потом говорит, взглянув пристально сквозь затемнённые очки:

— Я запомнил ваше выступление на первом заседании Верховного Совета.

Он спутал: тринадцать лет назад я, действительно, говорил с трибуны, но не Верховного Совета, а XIX-ой партконференции, и большая часть зала топала и хлопала, не давая говорить. (Кстати, надо найти это выступление, оно было напечатано в газетах, а где оно сейчас — не знаю. Интересно бы сейчас прочесть, звучит ли ещё? Пора вообще разобрать бумаги, рукописи, которые ещё остались после того, как часть взяли на хранение в РГАЛИ, в Пушкинский дом в Питере, ещё куда-то.) На партконференции я говорил не по бумажке, только на листке обозначил несколько пунктов. А быть депутатом Верховного Совета я отказался, хотя и прошёл по спискам Союза писателей: не моё это дело, я не политик. Многие тогда писатели превратились в громовержцев, кто от Союза писателей не прошёл, каким-то образом проходили от Академии наук, ещё от каких-то организаций, несколько лет не слезали с трибун, красовались на экранах TV. И что осталось от этой их полезной деятельности? Разве что вспомнить патристическое выступление дурачка Распутина, вызвавшее аплодисменты: а не отделиться ли нам, России, раз мы такие плохие и во всём виноваты? Отделились. У Казахстана сегодня запасов нефти и газа столько же, сколько у России, а население в 10 раз меньше. И нефть эта высокого

качества и добывать её легко, наше же богатство «прирастает Сибирью», всё дальше лезем на Север, бурим уже в вечной мерзлоте, во льдах. И у Туркменбаши несметно нефти и газа.

Так вот этот человек, который вёз меня в своей машине, говорит, что тогда ещё отметил моё выступление: сначала по телевизору видел, потом прочёл. Говорит, что ничто не исчезает бесследно. В связи с этим рассказал историю, которую слышал от Басилашвили: их театр в Японии давал то ли «Три сестры» Чехова, то ли «Дядю Ваню». На спектакле было много студентов колледжа, принимали прекрасно. И Басилашвили спросил главу колледжа (не знаю, как он там именуется): что могло заинтересовать студентов, что они могли понять, ведь это совсем чужая жизнь, другой век, у нас и то многим это уже не интересно. И вот что японец ответил ему: да, большинство не поняло, но человека три из них не забудут впечатление, которое они пережили, и вот они лет через двадцать принесут Японии благо.

Я не ошибся, он — профессор, зав. лабораторией, какой и где, я не спрашивал. От денег он отказался. Он записал мне свой телефон на старой, не нужной ему нотариальной доверенности, которую нашел в «бардачке»: Петухов Валерий Георгиевич. Я послал ему книгу.

Примерно месяц спустя читаю интервью Спивакова: «Однажды я был в Японии, и нас попросили сыграть благотворительный концерт... В большом зале собрали три тысячи детей — чёрные головки, белые воротнички. Сидят тихо. Лектор из Токийской консерватории объяснял, что такое оркестр. Все в нужный момент хлопали, в нужный — замолкали. Некоторые спали. Потом я обратился к этому профессору и сказал, что «мы, конечно, очень рады, что нам удалось сыграть такой концерт, но как вы сами к этому относитесь? Я видел,

что некоторые даже спали». Он говорит: «Вы знаете что, маэстро, если даже двоих или троих детей из этого зала пронзит эмоция во время вашего концерта, наша нация станет богаче.»

Вот такая история с продолжением.

Смысл жизни. Кто не задумывался над этим вечным вопросом! Философы — ну, им по призванию, по должности, положено думать за нас, грешных, созидать научные труды, оспаривать их, вновь созидать... У Оскара Уайльда неплохо сказано: «Философия учит нас с невозмутимостью относиться к неудачам других».

Вот и я думаю другой раз: а был в моей жизни какой-то смысл? Нет, мысль эта не одолевает меня и не переживал я из-за неё бессонных ночей. Но если поглядеть, мир, в который я пришел, и мир, который скоро покину, нет, не стал он лучше за этот почти что век, наоборот, хуже стал. Техника, наука, — успехи ослепительные. Какие небоскрёбы воздвигли, в каких самолётах люди летают! И вот проникают в самолёт религиозные фанатики и со всеми тремястами пассажирами врезаются в небоскрёб. Снилось это людям век назад? А Чернобыль! А те возможные чернобыли, что плавают в глубинах океанов, и всё новые, новые, ещё более грозные, спускают со стапелей на воду, одна такая подводная лодка способна уничтожить весь Шар Земной. А войны XX-го и начавшегося XXI века. Уже и природа не выдерживает нашего нашествия, кажется, пришёл конец её долготерпению: засухи, невиданные пожары лесов и торфяников и одновременно — наводнения сродни потопам даже в тех краях, где о них прежде и слыхом не слыхивали. Так что же, вовсе никакого смысла нет? А ведь для утверждения, что не зря всё, не зря терпим и живём, для того, чтобы продлить короткую земную нашу жизнь за мыслимый

горизонт, созданы рай — праведникам, а во устрашение грешникам — ад. Давно создавали, по тем, давним техническим возможностям, нынешние возможности куда шире, ад, который переживают люди на земле, страшней того, что будто бы ожидает их после смерти.

Август. Удивительное дело: метеослужба точно предсказала, что в субботу погода переменится, похолодает, пойдет дождь. И, действительно, с полдня в пятницу, 2-го августа, небо нахмурилось (бывали и раньше пасмурные дни, но это мгла от пожаров застилала солнце), всю ночь сверкали молнии, погромыхивало, с крыши лило в бочки, и впервые за много дней вольно, хорошо дышалось. *Нажаждалась* земля, такое слово само родится, когда по себе чувствуешь. *Нажаждалась*, пусть попьёт. А лес сосновый стоял все дни сухой, как порох, ему ещё не один дождь нужен. Похоже на то, что, действительно, меняется климат: в степной Канаде — заморозки (в августе!), впервые за последние 75 лет.

Вчера исполнилось два года со дня гибели «Курска», и показали по телевизору документальный фильм: «Женщина русского лейтенанта» — о жене, а ныне — вдове лейтенанта Колесникова. Какая женщина, красавица, умница, любящая, любимая и желанная, она знала, что она — любимая и желанная, и этим жила. Какой глубокий, искренний, прекрасный человек. Они прожили вместе всего ничего: поженились, уехали к месту его службы на север, в Видяево, в жуткие условия, в нищенскую жизнь, сначала — он, потом — она к нему, он встречал её в Мурманске, на вокзале, три гвоздички в руке, гвоздички целы, она их хранит. Подумать только: подводная лодка, ценою в два с лишним миллиарда долларов, и люди на ней, в том числе —

офицеры, морские офицеры, выбравшие эту службу на всю жизнь, а платят им за их преданность и верность, за их готовность всё перенести, за безмерный риск, платят им постыдные гроши, жить на них по-человечески невозможно. Он получал три тысячи рублей, то есть меньше ста долларов, общежитие, комната, в ней — диван, стол, стулья, а вот здесь, в углу, «мы мечтали поставить в дальнейшем детскую кроватку». Впереди у них был месяц, но отозвали его из отпуска через десять дней, и он ушёл в свой первый и последний поход. Она говорит: там, на «Курске», погибло не сто восемнадцать человек, там погибли и дети их, которые не родились и уже никогда не родятся.

Вот с этим и я живу всю мою жизнь: у меня есть всё: жена любимая, дети, внуки, внучка, а у братьев моих, погибших на войне, — ничего и никого. Никого после них на земле не осталось, на той страшной войне погибло не тридцать миллионов, там погиб народ, целый народ и его будущее. Вот она, цена нашей победы.

Она говорит: я хочу, чтобы у меня был ребёнок, может быть я и не буду женой, но я хочу, чтобы у меня был ребёнок в память о Мите. Чтобы он обнял меня и сказал: мамочка, я тебя люблю. Она верит, что Митя *оттуда* видит её, она чувствует это, временами путая сон и явь, а он ей снится, снится, она верит, что они ещё встретятся в *той* жизни. Преступник тот, кто отнимет у неё эту веру.

Когда подняли со дна моря лейтенанта Колесникова, нашли записку: он докладывал, что происходит на лодке, а на другой стороне писал ей, что любит её и — «не переживай сильно». А там был ад, страшней того, которым пугают грешников. В дальнейшем следствие установит: на дне моря, на глубине ста с лишним метров под водой, они стояли уже в воде по колено, она проникла в лодку, а в отсеке по-

лыхал пожар, только ноги, стоявшие в воде, не обгорели. И записка уцелела чудом: лейтенант Колесников, до конца сохранявший самообладание, положил её во внутренний карман, на сердце и прикрыл ладонью. Убить можно любого, но таких, как он, сломить невозможно.

Так был какой-то смысл в их такой короткой совместной жизни? Был. Они любили друг друга, они испытали то высшее счастье, которое людям дано испытать. Только сроки оказались трагически короткими... «Ты обещал мне, что мы вместе состаримся». Все те дни, неделю целую, она разговаривала с ним, пыталась, как она говорит, передать ему свою энергетику и тем спасти его.

А вот в чём нет и не может быть никакого смысла, так это в том, что люди создают друг против друга и совершенствуют орудия самоуничтожения. Это — безумие.

У Льва Толстого в «Круте чтения» выписано из Талмуда (т.42 девяностотомного собрания сочинений): «Лучше бы не родиться тому, кто надеется приподнять завесу с того, что выше и ниже нас, что было раньше и будет позже». Великая мудрость в этом сокрыта. Но люди пытаются и будут пытаться приподнять завесу, доискаться высшего смысла, хотя, скорей всего, нам это не дано. До нас доходит и светит нам свет давно угасших звёзд. Исчезнувших миров? И тоже на какой-то планете (а почему бы и нет?) кто-то пытался «приподнять завесу»? Мы знаем только то, что ничего не знаем. Не знаем, как, что возникло и возникало ли, и как и когда исчезнет, и исчезнет ли, или во что-то преобразится, и каков и ради чего весь этот процесс круговращения, малая частица которого, а не центр мироздания — мы. И правомерен ли вообще вопрос «Зачем?». Пред теми сроками, если они вообще существуют, всё и все равны: и миг и миллионы световых лет. Но это

не избавляет нас от обязанности прожить человеком свою короткую жизнь. Могу только повторить: блажен, кто посетил сей мир, а уж в роковые или не в роковые его минуты, это как выпало. И как бы ни складывалась жизнь, бог должен быть в душе, и бог этот — совесть.

Возможно, то, что я сейчас пишу, — близко к агностицизму. В философском словаре советских времён — определение: «Агностицизм служит обоснованием антинаучных идей и широко используется идеологами империализма в борьбе против передовой науки и для оправдания религии». Но что-то вот передовой этой науки не слышно последнее время, может, оттого, что земной шар — круглый, сильно забежала она вперёд, и теперь пыхтит где-то сзади? А религиозные, этнические войны были в прошлом и, не исключено, ждут человечество впереди, как бы они ни назывались, чем бы ни одурманивались люди. И ничего не осталось от «великих свершений» XX века, от тысячелетнего рейха, от всеохватного коммунизма: развалины да груды костей, где вперемешку кости палачей и жертв. И великие империи прошлого канули в Лету. Возможно, это и Америку ждёт, не хотелось бы каркать: очень уж уверовала в непомерную свою силу, и распространяет свои понятия и обычаи на весь мир, а позади тем временем тихо и неслышно нависает Китай, население — миллиард двести миллионов, темп развития сегодня — выше всех стран. И при всём при том время там измеряется не пятилетками, не веками даже, а тысячелетиями.

Мне дано было счастье посетить сей мир, и любить, и быть любимым, и делать не подневольное нечто, а то дело, которое было делом и смыслом моей жизни. И радоваться детям и внукам и внучке, наша с Эллой жизнь в них продлится. А может быть,

какая-то из моих книг переживёт меня, хотелось бы в это верить. Какое же ещё счастье нужно, какой еще нужен смысл? Вся моя долгая жизнь — миг, но этот миг, надеюсь, я прожил человеком. И мне абсолютно безразлично, где и как меня похоронят. Но гроб должен быть самый простой, а не из дорогих пород дерева, не глянцевый, с откидывающейся для обозрения половиной крышки, в каких ныне хорошат «новых русских», воровских авторитетов и некоторых деятелей искусств. У моих братьев, погибших на войне, гробов не было. И нет даже могил.

Пару месяцев назад отдал в «Знамя» на сентябрьский номер новый рассказ и несколько отрывков из этого дневника: про Слуцкого, про Соболева, про Раушенбаха, про Ваню рыжего, который вдруг приснился и т.д. Рассказ называется «Дурень», всё вместе — не событие, просто давно не печатался. И нет желания печататься, вот что интересно. Журналы, не коммерческие, не глянцевые, а литературные журналы с их крошечными ныне тиражами выходят в пустоту и довольно пустые. Публика читает детективы, порнографию. А те, кто читает серьёзную литературу, классику, в большинстве своём (это — по опросам) не покупает эти книги, берут в библиотеках или у знакомых. То же самое происходит в театре, в кино: боевики, супербоевики, триллеры, блокбастеры, сериалы в пятьдесят и более серий: всё про то же. И не ждут теперь, чтобы ружье, повешенное на стену в первом акте, выстрелило в третьем. Стреляют сразу, с первых слов. А серьёзную музыку вытеснила безголосая эстрада: два прихлопа, три прихлопа. Тут крутятся огромные деньги. Деньги, деньги, власть вкупе с деньгами и деньги в сообществе с властью... И опять вспоминаю беседу мою с одним из телемагнатов: «Вы считаете то, что мы делаем — пошло? (ударение на первом слоге)

Пошло-о, пошло-о! (ударение на последнем слоге)
Публика требует!»

Рассказ «Дурень» о нынешних днях и нынешних отношениях, и это — тот случай, когда смог написать не только то, что сказать хотелось, но и так, как хотел сказать, то есть зримо и во плоти. И характер точен. Поэтам рифма мешает, ради неё то словом жертвуют, а то и смыслом. У прозаиков — вот этот зазор между тем, как виделось и как получилось. Кажется, он тут не слишком велик. А вообще, если я с кем-то и когда-либо соревновался, так только с самим собой, сейчас — с собой в молодые годы. Есть то, что мне не дано, но то, что дано, могу только я. Хочется дописать книгу рассказов. Шевелится ещё одна повестушка, да хватит ли сил?

Читаю в журнале «Знамя» № 4, т. е. в апрельском номере нынешнего 2002 года, в «Рабочих тетрадях 60-х годов» А. Твардовского: «Ужасное вчерашнее признание Дементя после его возвращения из горкома о его готовности, заявленной там инструктору, выступить в качестве общественного обвинителя на процессе Синявского. Правда, он оговорил эту готовность, согласие, нежеланием знакомиться с материалами следствия и «терцовскими» работами С[инявского], что, м[ожет] б[ыть], не позволит (дай бог!) воспользоваться суду его услугами, но то, что он дал согласие и обсуждал там другие возможные кандидатуры, — всё это чудовищно. Нельзя отказать тем, кто решил, что грязь С[инявского] должен принять на себя Н[овый] М[ир], в сообразительности. А он хитрец и трус, хотя уже, казалось, и говорилось много и другими, что в последние годы, под воздействием разных факторов, в первую очередь — успехов Нового Мира, лестной причастности к этому «очагу», он решительно эволюционировал в добрую сторону. Мы — я, Кондра-

тович, Закс — в один голос выразили свои недоумения и потрясённость его сообщением.... Что будет — бог весть, но, может быть, тут-то и хрустнет наш хребет. Если он-таки будет выступать на суде, мы предложим ему уйти из редколлегии до этого, — если он не подаст заявление, придётся мне принимать некое решение».

Меня всегда удивляло, что А. Г. Дементьев — в «Новом Мире», в роли ближайшего сподвижника Твардовского, я даже как-то сказал об этом Александру Трифоновичу, но — «Он образованнейший человек!». И дачи их — в одном посёлке, м.б. это играло какую-то роль. Не знаю. И вот согласился палачествовать на суде. Но поразило меня и даже, так скажу, больно меня ударило то, что сам Твардовский думал и в дневнике, в «рабочих тетрадах», записывал по поводу всего этого дела:

«15.II.66. Пахра 6 ч. утра

Семь и пять лет со строгим режимом. Накануне ещё требование прокурора казалось нарочито завышенным, все ждали ещё чего-то. Результат: обычные мои слова на эту тему, что Синявский и Даниэль не вызывают не только сочувствия, но, наоборот, достойны презрения и т. п., — слова эти как-то погасли во мне, 7 и 5 строгого режима. Речь уже не о «трудностях» в связи с моей «должностью» в Конгрессе, не о «контактах», — непосредственно внутреннем нашем бытии. Вот уже есть нечто, о чём в более или менее широком кругу нельзя, нечто из той ужасной памяти ...нечто холодное и тяжкое, что в раскладку падает на все наши души, кроме, конечно, тех, кто желали и ждали такой атмосферы. В сущности, ничего не хочется делать, можно сказать, что и ждать не хочется: если это поворот к «тому», то, право, остаётся существовать. Но, конечно, вряд ли это действительно «поворот», просто бездна слепоты и глупости невежд (а это не то ли самое?).

Нет, это не эмоциональный всплеск, не безоглядное раздражение против этих двух мазуриков, — это сознательная акция: припугнуть, шугануть, «подтянуть», подкрутить гайку».

И — «1.III.66. Москва

В Секретариат Союза писателей СССР

Дорогие товарищи!

Как меня извещает генеральный секретарь Европейского сообщества писателей Джанкарло Вигорелли, 9.III в Париже созывается экстренное и конфиденциальное заседание президиума Сообщества, на котором я в качестве вице-президента должен присутствовать. Заседание это очевидным образом вызвано теми разнообразными толками и кривотолками, которые продолжают занимать столь большое место на страницах зарубежной печати.

Я надеюсь, что нет необходимости специально останавливаться здесь на том, какую меру презрения и даже гадливости испытываю я вместе с вами в отношении этих двух литераторов, навсегда покрывших себя позором в глазах нашей общественности своим трусливым двоедушием и гражданской беспечностью, позволившим им, называясь советскими писателями, печатать тайком за границей свою в сущности антисоветскую и антихудожественную стряпню под псевдонимами Абрам Терц и Н.Аршак...».

А через три дня, 4.III.66 г., записывает сообщения в связи с ожидающейся поездкой на это европейское заседание:

«Первое, что нужно объяснить друзьям, знающим обо всём лишь по дурным статьям Ерёмина, Кедринной и по столь же дурным отчётам из зала суда, — объяснить, что с точки зрения нашего морально-этического кодекса совершены проступки решительно несовместимые со званием советских писателей, просто граждан.

Второе — что это не только не выдающиеся писатели, но просто бездарь в этих своих «произведениях». (Интересно, как он собирался объяснять это писателям, которые прочли в переводе эти книги, к присяге их приводить что ли? — Г. Б.)

Третье, что причинён моральный ущерб «Новому миру», памяти Пастернака, Институту мировой литературы.

Словом, они достойны полного осуждения и остракизма».

И это — о людях, которые осуждены на 7 и 5 лет строгих лагерей и уже отбывают срок! Даже убийцам в старину из милосердия приносили просфору. И как все эти «первое, второе, третье...» мелки, если даже судить не задним умом, из дней нынешних, а по тем, советским временам. Как недостойно! А вскоре ведь и его поэма, которая у нас была запрещена и будет напечатана на Западе, что «с точки зрения нашего морально-этического кодекса...» и так далее. И «дорогие товарищи», которых он заверял, что вместе с ними испытывает «меру презрения и гадливости», будут сладострастно топтать его. Лучше б я этого не читал, не знал.

Память человеческая всё же странно устроена. Вот помню и вижу зримо, а ведь сорок девять лет минуло с тех пор, как идут по улицам Днепропетровска партизаны. Днепропетровск был недавно освобождён, я, раненый, лежал там в госпитале, и вижу в окно: идут по улице партизаны с красными бантами на груди, весело идут, счастливые, словно только что из лесов вышли, а ещё больше там осталось, зарытых в землю и не зарытых, «да не время вспоминать». И не знают они, не ведают, что ждёт их впереди. А их уже ждут сумрачные люди, которые сами, как правило, всю войну просидели вдали от

фронта, а то и в тылу глубоко, шелестя бумажками, а в каждой той бумажке — судьбы: чья-то жизнь, чья-то смерть, виновен ты или не виновен. Теперь их ждут, чтобы проверять на просвет, перепроверять, каждого на зуб пробовать. А они идут такие радостные: победа! Порадуйтесь, скоро не суть важно станет, что ты не отсиживался, а пошёл воевать и воевал, родину защищал, многие мальчишками шли, это всё не в счёт, отныне главней всего пункт в анкете: «Были ли Вы или Ваши родственники в оккупации?». А в оккупации было полстраны, до Москвы дошли немцы, до Волги, и под Ленинградом, под Мурманском стояли, и взлезали на Кавказский хребет, полстраны, по которой откатилась на Восток наша армия под мудрым водительством Гениального полководца, Отца всех народов. И люди были брошены на милость победителя, на мучения неслезанные и на разор, миллионы и миллионы, все они были в оккупации. А что это значило после войны? А это значило, что веры им нет и не будет, место их в жизни — последнее: они завербованы немцами, в крайнем случае — могли быть завербованы. Все мы были — поднадзорные, все под подозрением, кого когда выдернут, знать не дано, но уж на них, если не сумели скрыть, на них сразу ставилось чёрное клеймо. А мне всё помнится и вижу, как шли по улице партизаны с красными бантами на груди, такие радостные.

Василь Быков рассказал мне послевоенный анекдот, кажется я уже где-то его упоминал. Сидят два брата, выпивают, один во время войны был полицаем, другой — партизан. И спрашивает бывший партизан своего брата: «Отчего так всё повернулось: ты — в почёте, а я — под подозрением?» «А ты что пишешь в анкете? — говорит полицай. — Ты пишешь: мой брат был полицай. А я пишу: мой брат — партизан...».

После работы, после обеда, иду в магазин за хлебом. И на той же дороге, что и два года назад, и тоже в сентябре, навстречу мне — Саша М. Только тогда было прохладно, был он тепло одет и в тёплой фуражке, а сейчас — жара, как в июле, сушь, в двадцати двух районах Подмоскovie полыхают леса, Москва закрыта мглой, днём машины идут с включёнными фарами, и у нас здесь тоже — запах горящего торфа. И в этот засушливый год — большой по нашим меркам урожай зерновых, пшеница и рожь упали в цене, и, чтобы не разорились хозяйства, государство впервые решило осуществить интервенцию на рынке: на пять или на шесть миллиардов скупить зерно, импортировать 10 миллионов тонн. (В дальнейшем и, скорей всего — не случайно, деньги выделяют поздно, перекупщики подгребут у крестьян по дешёвке, а государство купит у перекупщиков по дорогой цене, словом, «хотели, как лучше, получилось, как всегда»). Вот об этом необычном для нас намерении государства я и сказал, чтобы что-то сказать, он в своё время писал о деревенской литературе.

— Интервенция... Да-а...

Он был весь в себе. Два года назад он ещё надеялся: может ошиблись врачи. Теперь знает: у него — рак. И рак прогрессирует. Так ведь и я про себя знаю.

Недалеко от нас — церковь в Богородском. Жительница нашего посёлка, верующая, рассказывала: каждый раз, когда она приходит в церковь, он — там, стоит на коленях, молится. Не думаю, что жизнь вымаливает. Нам, кто живым вернулся с войны, нам уже дарована была вторая жизнь. Тут нечто другое. Но столько лет на цековских партийных постах, и вдруг — в церкви на коленях. А уж нынешняя церковь, она ли для общения с Богом, если вдруг к

Богу душа обратилась? Да, были в своё время и подвижники и мученики. Тот же патриарх Тихон. Когда хоронили Ленина, а после строили временный мавзолей, промёрзшую землю на сорокоградусном морозе долбили ломами. И продолбили канализацию, не заметив. По весне оттаяло, усопший уже лежал во временном сооружении, и тут хлынуло из канализации. Патриарх Тихон сказал: «По мощам и елей». Понятно, что в дальнейшем за свою стойкость в вере он расплатился жизнью.

Таких пожаров, лесных и торфяных, как в нынешнем году, не было сто лет. Почему названо именно сто, а не двести, неизвестно, лучше бы уж сказали любимое наше: *старожилы не припомнят*. Горит по всей России: и в Сибири, где леса выгорают ежегодно, и в центральной России, и к Москве, к кольцевой дороге подступает огонь, в семи километрах от нашего посёлка сгорела деревня. Горят леса в Воронежской области, в Ярославской, в Архангельской, легче назвать, где не горит. Дым от наших пожаров уже донесло до Швеции. Тушить практически нечем: ни техники, ни денег. А та техника, что есть, ей не столько тушить, сколько её самою чинить. Однако есть у нас самолёт, которого нет ещё ни в одной стране мира: он садится на реку, на озеро, чуть ли не на лужу способен сесть, за 11 секунд набирает немыслимое количество воды, и выливает её на горящий лес, и снова заправляется, и снова тушит пожар... Он — в единственном экземпляре, его собрали в Иркутске специально для авиасалона, который проходил в Геленджике в эти самые дни. Показали. В Финляндии, разумеется, такого самолёта нет. Там столько же торфяников, сколько и у нас, но вот чудо: торфяных пожаров там нет. И леса там не горят. А у нас — выступал по телевидению прокурор Московской области — лесной пожар подступал

уже к деревне, дозвонились по телефону пожарным. «Это не в нашем ведении, у вас лесхоз должен тушить». Пока в лесхоз дозвонились, пока оттуда приехали, деревня сгорела.

Да ведь если бы, подсчитав убытки от лесных и торфяных пожаров одного только года, одного из многих, дать такие средства на технику, на то, что требуется, разве бы выгорала Россия из года в год, да с каждым годом все сильнее? Но наша главная надежда: вот дожди пойдут, вот снег ляжет. Дождь и снег — наши главные пожарные. Впрочем, торф и зимой под снегом горит в глубине, в адовой печи, это известно. А летом всё вспыхивает вновь. Ох, не завидую я президенту огромной нашей страны, за что ни возьмись, всё надо начинать, как с белого листа. А уж чиновники, а уж наше правосудие... В те времена, когда Гоголь писал «Шинель», везли в Петербург дело одного откупщика, тома этого дела уместились на 83-х подводах. Не довезли: по дороге исчезли и тома дела, и подводы, на которых везли их, и лошади, и ямщики. И не были сысканы.

Вчера иду по Арбату, задумался и вдруг — Булат Окуджава. Бронзовый. Стоит в арке. Ноги, фигура — его. А вот лицо... Но, может, так солнце светило. Я не был на открытии памятника, впервые увидел теперь. Постоял. Дня за два до его отъезда в Париж, где он заразился гриппом, я позвонил ему не на дачу, а в его московскую квартиру, здесь он скрывался от гриппа, свирепствовавшего в Москве, жил один, практически никуда не выходил и никого не принимал. Мы не часто перезванивались, и дела у меня к нему никакого не было, просто позвонил. В таких случаях говорят: как чувствовал. Ничего, разумеется, я не чувствовал и не предчувствовал.

Помню давным-давно, вернулся ныне покойный Иосиф Ефимович Хейфиц то ли с Венеци-

анского кинофестиваля, то ли из Ниццы, где его фильм «Дама с собачкой» разделил первую премию с фильмом Андрея Тарковского «Иваново детство», а на Ленфильме лежал мой сценарий, весьма слабый, писал я его, честно сказать, ради денег, чтобы была возможность сидеть и писать книгу. Но почему-то Иосиф Ефимович, прочтя, заинтересовался им: о молодёжи, сейчас главный зритель — молодёжь, примерно так объяснял он. И в этот фильм решили мы взять одну из песен Окуджавы. Они уже звучали, их переписывали с магнитофона на магнитофон, но ни на эстраду, ни на радио, тем более — на телевидение, его не то что не допускали, имя его было опальным. Почему опальным — теперь это понять невозможно. Но у себя дома дети членов политбюро и начальства всех уровней слушали его песни, отцы запрещали, дети заслушивались, пели, пока сами не становились руководителями. И тогда тоже запрещали.

И вот в крошечной комнатке «Мосфильма» (Хейфиц как раз приехал в Москву) спел нам Булат под гитару две свои песни: «Полночный троллейбус» и «Ах, какие удивительные ночи, / Только мама моя в грусти и тревоге — / Что же ты гуляешь, мой сыночек, / Одинокий, одинокий?..». Пишу и слышу и голос его, и вижу его, и знаю: до вечера мелодия эта будет звучать в ушах. А тогда она впервые прозвучала с экрана в нашем фильме, повторяю, слабом фильме.

Полагалось слова песни оплачивать из гонорара автора сценария. Булат пришёл ко мне, я достал из ящика стола приготовленные пять тысяч рублей и отдал ему: за сценарий тогда платили шестьдесят тысяч, иногда — восемьдесят тысяч, да ещё тиражные — баснословные деньги по сравнению с тем, что платили за книгу. Не знаю, как это перевести на нынешние деньги, тем более — на долла-

ры, в которых теперь всё измеряется, но трёхкомнатный финский дом, нашу будущую дачу, я купил за девятнадцать тысяч шестьсот. Позже, много позже, будучи уже в славе, Булат скажет мне: «Я тогда подумал: неужели когда-нибудь настанет время, и я смогу вот так вынуть из ящика пять тысяч рублей...». Между прочим, ещё три тысячи я отдал совершенно незнакомой мне студентке. Её записки я прочёл в журнале, она была в стройотряде, на целине, примерно в тех же местах, где был я и о которых писал в сценарии. Ни сцены, ни слова из её записок в сценарий не вошло, но настроение молодости, которым от них веяло, было для меня определённым толчком. Я узнал в редакции её адрес, а дальше — совершенно авантюрная история: поздно вечером вместе с моим приятелем, режиссёром, мы подъехали на такси, я остался в машине, он поднялся на второй этаж весьма развального дома, позвонил и передал ей три тысячи рублей. Что и как объяснил он ей и объяснял ли, не помню, но деньги просто свалились на неё.

Уже немолодые люди, идём мы как-то с Булатом из Центрального дома литераторов к остановке такси, то ли из ресторана идём, то ли с какого-то совещания, и Булат сказал вдруг:

— Почему ты не купишь себе машину?

— А потому, что у меня денег обычно хватает от книги до книги.

И кино я занимался, чтобы иметь возможность спокойно сидеть и писать. Как говорят живописцы, картину надо кормить. Вот и книгу — тоже. Между прочим, машины у меня нет и поныне, хотя на права вождения сдавал дважды. Да теперь уже и поздно заводить.

И на этой же остановке такси, тогда эта площадь называлась «Площадь Восстания», стояли мы с Булатом, как теперь мне кажется, в осенний про-

мозглый день. А кажется, наверное, потому, что был он какой — то раздавленный, ссутулившийся.

— Всё равно, — сказал он, безнадежно махнув рукой — да и кому это нужно?..

В зарубежном издательстве, если не ошибаюсь — в Италии, вышел его роман, который пока что не был разрешён у нас: роман исторический, но разглядели в нём определённые аналогии и требовали, чтобы он отрёкся, написал в «Литературную газету» гневное письмо, что он, мол, не давал издательству разрешения выпускать в свет его роман, что он возмущён и т. д. Всё это — глупость несусветная: мы не вступили и упорно по велению властей не вступали в авторскую конвенцию, тем самым дав себе право бандитским способом издавать зарубежных писателей, кого хотели и как хотели: с купюрами, без купюр, меняли название книги по своему усмотрению, никаких авторских прав мы не признавали, нормальных человеческих понятий и обязательств для нас не существовало, а платили только коммунистам или тем, в ком были особенно заинтересованы. То же самое, разумеется, могли делать и делали зарубежные издательства в отношении нас, я это на себе испытал: в Норвегии, в Швейцарии, в Голландии, в Испании, в той же Италии, ещё в ряде стран издавали мою повесть «Пять земли», роман «Июль 41 года», даже не извещая меня об этом. Франция, Англия что-то платили, но деньги перечислялись через Внешторгбанк или так называемое Всесоюзное агентство по охране авторских прав, оттуда их забирало себе государство, оно не разрешало издавать эту повесть, но деньги, тем не менее, брало. Автору оставляли копейки, если оставляли. Да и эти копейки не разрешали снимать со счёта.

И вот ополчились на Булата Окуджаву, а дать у нас умели: и ЦК, и Союз писателей, который

вроде бы должен защищать писателя, если это профессиональный союз. Да не для того он создавался. И вот месяц за месяцем вымогали у Булата письмо в «Литгазету», перестали его печатать, в конце концов вымучили из него несколько слов, и чувствовал он себя раздавленным. А тем временем песни его слушали и детки начальников и сами высокие и высочайшие начальники, у всех у них в квартирах звучал его голос. Где они теперь? Кто их помнит, недавних этих властителей судеб?

Когда хоронили Булата Окуджаву, очередь стояла от театра Вахтангова до Смоленской площади.

3-е октября, сухой осенний день. Яркое солнце. И грозовая, снеговая туча стеной. И такие светлые на фоне её жёлтые облетающие берёзки, залюбовался, на них глядя. Но ещё до дома не дошёл, как померкло, густо посыпал не снег, а крупа, отскакивает от мерзлой земли. На следующее утро проснулся, весь сад белый, и лепит, лепит мокрый снег, потеплело, ветви пригнулись под тяжестью. И голова какая-то мутная, вечером смерил давление — высокое, утром — ещё выше, в таких случаях говорят: зашкаливает. Поехали в Москву. Врач, довольно молодая милая женщина, мы уже больше года знакомы, у неё двенадцатилетняя дочь, мама. Одно из счастливых её воспоминаний, как ещё в студенческие годы ездили в стройотряд. Мне всегда жаль молодых женщин с несложившейся судьбой.

— О-о какие у вас вены на ногах! Надо разжижать кровь.

Мысль понятна: оторвётся тромб и т.д. Но я помню, что аспирин мне нельзя: после всех лечений этих двух лет я стал жутким аллергиком. Как-то после операции кололи мне баралгин от боли, потом приносит сестра шприц анальгина: баралгина нет.

Говорю ей: не надо смешивать, я лучше потерплю. Нет, врач назначил, вы не понимаете... Короче говоря, к вечеру — температура 39, всего расписало красными полосами. А сосед по палате — старый коммунист, он рассказывал мне по секрету, как после путча они при домоуправлении тайно создавали организацию, тайно собираются там, чего-то шуршат, подпольщик одним словом.

— Вы не будете возражать, если я тихонько (а сам — полуглухой) включу телевизор. Мексиканский сериал. Я уже девяносто четыре серии просмотрел. Сегодня — девяносто пятая. Обидно пропустить.

Время — одиннадцатый час. Свет в палате потушен.

— Конечно обидно, — говорю. — Смотрите.

Воткнулся подпольщик носом в телевизор. Мне и слышно и видно: голубой свет экрана перед лицом на масляной стене. Так что про баралгин-анальгин я хорошо запомнил. А вот почему аспирин нельзя, не могу вспомнить.

— Нет, это другая группа. И такие вены!..

— А вены у меня с войны, я на этих ногах до Австрии дошёл, город Вену брали. В артиллерийском училище бывало — лыжный кросс на 30 километров.

В общем, выписала она мне всё-таки аспирин (тромбо АСС), и я, дурак, пошёл в аптеку, принёс, принял. Ночью скорая помощь отвезла меня в аллергологию.

Всё это — прическазка, а сказка, то есть то, из-за чего я пишу это, — впереди. Уже с месяц примерно нет-нет да и шевелится во мне возможная повесть. Понял я это, написав рассказ «Дурень». Рассказ вроде бы не имеет к ней никакого отношения, но чувствую: на ту тропу ступил. И вот в это время загремел в больницу. Утром повезли меня на плаз-

моферез. Это вот что такое, я из любопытства расспросил: полтора литра крови из меня выкачивают, в аппарате отделяют плазму (в ней, в белке — аллергены), и обратным путём вольтуют физиологический раствор с моими собственными эритроцитами. Аппарат тихо урчит, я ночь не спал.

— Я тут засну у вас.

— Спите. Мы разбудим.

Накрыли меня чистой простынёй, перекинули поперёк меня прозрачные тонкие шланги, вкололи в вену катетер и побежала по мне, по прозрачному шлангу над белой простынёй чёрная моя кровь. И вот тут-то и пришла первая глава повести. Увидел ясно: и было утро, и солнце неяркое, и как сидит он, расставив колени, удобно уместив на них живот. Сверху, с террасы, видит он, как подкатила в голубой машине внучка, выскочила в обтрёпанных джинсах-штанишках, ноги стройные, загорелые, мобильник воткнут сбоку за пояс, короткая жатая кофточка, пуп голый. Сейчас взбежит по лестнице: «Дед!». Единственная, кого он любит во всём свете.

Перебили: вена спалась. И правда, вижу, как в прозрачном шланге обратно, вниз, к руке потекла кровь. Позвали для консультации ещё сестру в модных, красивых очках, втроём — врач, две медсестры — что-то решают, щупают руку, вновь протирают спиртом. Не вынимая этого катетера, вкололи второй. Кровь снова побежала по прозрачному шлангу.

И вновь вижу ясно их обоих: его в кресле и внучку, приласкавшуюся щекой к его колену. Я ещё не знаю, что и как будет, но так чувствую их и утро это свежее. А собака, чёрная овчарка — «Дед, прогони её!» — ревнует его. И всё это под жужжание аппарата, под голоса врача и двух медсестёр, пока из меня выкачивают и вновь вливают полтора литра крови. Да ещё показывают в это время по телевизору в

утренних десятичасовых новостях, второй день подряд показывают застреленного губернатора Магадана: лежит навзничь под дождём на асфальте (в Москву приехал), левая рука откинута, белый манжет, запонка... И всё это я вижу и слышу голоса, и одновременно, так же явственно, вижу другой мир.

— Вы только не вставайте сразу, голова закружится.

И, правда, голова стала какая-то дурная. Надел ботинки, пиджак, некоторое время посидел в пальто в приёмной. Потом пошёл пешком в свой корпус под дождиком. И весь день жил с ощущением этой повести, возникавших людей.

Может быть, я и не напишу её, рано загадывать, но испытал я миг счастья. Странный всё же это механизм. Вот так же в своё время посреди фразы (а читал я что-то мемуарное) возник вдруг роман «Июль 41 года». Не роман весь, нет, но ощущение его. И, помню, бросив читать, я ходил по комнате, волнуясь, аж мурашки шли по лицу. Разумеется, всё это возникает не на пустом месте, я давно уже жил событиями 41 года и предвоенным временем, читал, думал, разговаривал с людьми, жившими в ту пору при границе, расспрашивал многих участников событий. Но возникло вдруг. Так же и эта повесть. Смогу ли написать её, время покажет. А день этот был — 19-е октября 2002 г., аллергология, палата 105.

У мусульман — священный месяц рамазан. Это месяц очищения от грехов, надо помогать ближним, молиться, поститься, думать о душе, о добрых делах. В Чечне он начался с того, что боевики в масках, стреляя вверх, остановили на дороге грузовики «Красного креста», которые доставили гуманитарную помощь и возвращались, двух шофёров увезли с собой, будут требовать выкуп.

В Израиле, в городе Хевроне, (половина его — израильская, половина — палестинская) в субботнюю ночь на 16-е ноября, у Пещеры патриарха (место это считается священным и у евреев и у мусульман), боевики организации «Исламский джихад» расстреляли и забросали гранатами верующих паломников — евреев, 12 человек убито, пятнадцать ранено. По примчавшимся машинам скорой помощи снайперы стреляли с прилегающих холмов. И сотни, если не тысячи палестинцев, которым в этот месяц предписано думать о добре, творить добрые дела, вышли торжествовать на улицы городов, телевидение показало их, орущих, поющих, пляшущих, потрясаящих автоматами. И ни один мулла не осудил убийство. В священный месяц рамазан.

На другой день в Чечне, из засады, застрелен в машине генерал-лейтенант Игорь Шифрин. Он — военный строитель, руководил там восстановлением связи. А телекомпания Катара передала угрозу бен Ладена, он жив и угрожает вновь дойти до Вашингтона, требует свободу Палестине, и лидеры, и жители которой не отказались от намерения сбросить Израиль в море, угрожает России за Чечню и приветствует захват заложников в Москве.

Ещё через неделю террорист-смертник в Иерусалиме взорвал себя в автобусе. Погибло 11 человек, из них двое — дети, было выбрано как раз то время, когда детей везут в школу. 40 человек ранено. Отец террориста, держа перед собой его портрет, сказал, что сын перед этим всю ночь молился. И всё это — в священный месяц рамазан. Месяц ещё не закончен.

На карте, обнаруженной у террористов в Америке, Крым обозначен как отдельная мусульманская республика. Там на строительство татарских поселений, которые кольцом окружают города, шлют деньги из эмиратов, эти поселения уже ок-

ружают Севастополь. Была в Крыму, в посёлке Кача, знаменитая Качинская школа лётчиков. Сейчас там татарское поселение, строительство его финансирует отец безголосой певицы Алсу, вице-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ, а ныне он ещё и российский сенатор Сафин. Так что же происходит у нас, что в мире происходит? В самом ли деле «ислам взбесился», как написал недавно В. Аксёнов, живущий ныне на юге Франции в Биарице?

Почти месяц минул после тех дней, когда все мы только тем и жили, что сообщат с Дубровки, из концертного зала, где плясал и пел мюзикл, а потом семьсот с лишним человек сидели под дулами автоматов террористов-смертников и смертниц-шахидок, обвязанных поясами со взрывчаткой. Это — в Москве, в столице России, аукнулась война в Чечне. Как допустили, как могло это случиться, вряд ли дознаемся когда-либо. И в очередной раз прозвучало обвинение, что вот, дескать, разрушили могучее прежде КГБ, разве бы оно допустило это?.. Я ничего не знаю о закордонной деятельности КГБ-НКВД, очень может быть, его разведка была лучшей в мире, да не прислушались к её донесениям накануне войны, на одном из донесений, добытом едва ли не ценой жизни, Сталин, как известно, начертил матерное ругательство. Но с кем боролось КГБ внутри страны? С террористами, вредителями? В руках параноика Сталина, боровшегося за личную власть над всем и вся, это было самое страшное орудие уничтожения собственного народа. И создавались сфабрикованные вредительские центры, шел процесс за процессом, на которых измученные пытками люди оговаривали себя и всех, кого знали и не знали. «Лаврентий, у меня трубка пропала. Выяви». Вскоре снова звонит: нашёл трубку. Но Берия докладывает: «У нас уже сорок похитителей призна-

лись». Такой вот анекдот того времени. В республике, в края, в области спускали из Москвы разнарядку, сколько разрешено расстрелять. И на местах (немыслимо для человеческого разума!), разгоралось соревнование, кто перевыполнит план, писали наверх, просили увеличить установленную для них квоту, словно не на людей охотились, а шёл отстрел диких животных. И увеличивали. Зам. наркома НКВД Фриновский (в дальнейшем, разумеется, тоже расстрелянный) ехал с командой на Дальний Восток «наводить порядок». В салон-вагоне играла музыка, ели, пили, веселились, а попутно просматривали дела арестованных, соревнуясь, кто больше успеет просмотреть дел. Писали, не глядя, «Р»: расстрел. Документы эти ныне опубликованы. Недавно в Краснодарском крае и прилегающих районах разразилась эпидемия дизентерии, насколько установлено, источник инфекции — продукция Кропоткинского молокозавода. Что было бы при Сталине, в пору могущества КГБ — НКВД? Немедленно вскрыли бы вредительский шпионский центр, нити которого ведут туда-то и туда-то, и народ требовал бы казней и рукоплескал самым жестоким приговорам. За быстрым мельканием дней и лет мы не замечаем, как далеко от этого ушли. Но догадываемся ли, как легко туда вернуться?

А теперь рассмотрим трагедию на Дубровке с другой стороны. Руслан Аушев прав: на Кавказе многие назовут этих террористов героями. Точно так же в Палестине, в арабском мире, героями называют шахидов-убийц, семьям их дают денежное вознаграждение, а дети, трёхлетние дети, клянутся перед их портретами вырасти и стать такими же, как они, «мучениками за веру».

И вот представим себе немыслимое: в наши дни группа вооружённых российских граждан в масках ворвалась в концертный зал в Берлине, захвати-

ла в заложники всех, кто там находился, и выставила некие требования. Не надо объяснять, как все мы реагировали бы на это безумие. Но вот то же самое, но в годы Отечественной войны, когда мы отступали, терпели поражения. И вдруг, идя на верную смерть, группа, назовём их разведчиками, захватывает в Берлине, в концертном зале, несколько сот немцев с детьми — не с детьми, даже это было бы несущественно, держит их под дулами автоматов, грозит взорвать их вместе с собой, если не будут выполнены такие-то требования. Да разве бы мы в ту пору не восхитились бы их подвигом, не вздрогнули бы радостно? Предвижу возмущённые возгласы: как можно сравнивать! Можно. Чтобы понять другого, примерьте на себя.

Война диктует свои законы. Провоевав с декабря 41 года по май 45-го, — а это была для нас Отечественная война, бой действительно шёл ради жизни, а не ради, например, безумной идеи создания халифата на Кавказе, — провоевав почти всю войну, кроме самых страшных первых её месяцев, не совершив ничего, позорящего честь, могу сказать: нет более звериного способа разрешать человеческие противоречия, чем войны. Даже звери не способны так уничтожать себе подобных, на это способны только люди. И заложниками во всех войнах становятся мирные жители. А главным преступникам, тем, кто развязывает войны, стравливает народы, им в дальнейшем ставят памятники. И пишут про них книги, снимают фильмы, отыскивая в них нечто человеческое.

Нет сомнения, что и за этими смертниками — далеко уходящий ряд. Их нацеливали, разжигали ненависть, из рук в руки по ступеням лестницы спускались деньги, и что им чужие жизни, когда им обещан вечный рай. И затевается дискуссия по телевидению, а человечно ли, что не отдают родствен-

никам трупы террористов, захоронят тайно? Нет, это не месть, хотя, возможно, кто-то и настроен мстить даже мёртвым. Но делать из их могил места поклонения, помогать воспитывать будущих смертников... Никто не знает, где был зарыт Гитлер. И хорошо, что не знают. Прах Эйхмана вывезен в море и выброшен неизвестно где. И это правильно.

Недавно, на приёме, увидел я одновременно столько генералов, сколько никогда за мою жизнь не приходилось видеть их совместно — сплошное золотое сияние погон. На фронте я и командира нашей дивизии генерала Ратова не видел ни разу, хотя всех нас именовали ратовцами... Но тут собрались все рангом повыше. Ещё и президент не появился в зале, а за одним из генеральских столов уже прокричали «Ура!» и хлопнули по рюмашке. Это было в тот самый день, когда в Дагестане, во время парада, террористы взорвали мину направленного действия, и столько людей погибло, а мину, как выяснили впоследствии, продали им с армейского склада пока ещё не названные по именам армейские чины.

Там, за генеральскими столами, были узнаваемые лица: эти воевали в Чечне, их не раз показывали по телевизору. Уже восемь лет длится эта бесславная война, вдвое дольше, чем вся Великая Отечественная. И думалось, глядя на них: не снятся вам наши стриженные мальчики, солдатики необученные, их столько погибло за эти годы от вашей бездарности? Не снятся вам дети, погибшие под бомбёжками? Ведь вы воюете, как воевали полвека назад. А жертвы дедовщины, они исчисляются уже десятками тысяч... При вас она развивалась и крепла и развалила армию. Помню, созвал совещание в своём министерстве маршал Язов, тогда он ещё был не государственный преступник, посягнувший участвовать в перевороте, а грозный министр обороны, и я с трибуны сказал, что дедовщина погубит ар-

мию. Эх, каким же волком глядел он на меня, есть, сохранилась у меня эта фотография. А потом, из тюрьмы, как холуй, просил он прощения у жены Горбачёва, у Раисы Максимовны...

Война в Чечне, начатая при Ельцине, всё длится. Ещё не минуло и сорока дней со дня гибели ста двадцати девяти человек в том зале на Дубровке, как Ельцин отправился на теннисный турнир в Париж, позировал, сияющий, перед камерами рядом с президентом Франции Шираком, теннисистов наших и свору чиновников от спорта, которых в загранпоездках всегда больше, чем спортсменов, пастухов больше, чем стада, всех их вместе пригласил широким жестом к себе в резиденцию, заверив: водки и икры хватит на всех!

Всего одиннадцать лет минуло с тех пор, как после распада СССР богатая нефтью и газом Туркменская республика стала отдельным государством, и вот уже сияет над Ашхабадом позолоченная скульптура полуграмотного Ниязова, всегда повернутая лицом к солнцу: два солнца взошли и сияют над Туркменией. И уже он — пожизненный президент, Туркменбаши: отец всех туркмен. И уже раскрыт заговор против него: будто бы по кортежу, по его пуленепробиваемой, бронированной машине стреляли из автомата. С тем же успехом можно было стрелять из водяного пистолета. Но схвачены заговорщики, схвачены их родственники, все поголовно, и вчера показали у нас картинку туркменского телевидения, там такие крутят целыми днями. А картинка вот такая: женщина средних лет, молитвенно сложила руки: мы все должны стать перед ним на колени, молиться за него, за то счастье, которое он даёт нам! И в верхнем углу — золотой профиль Туркменбаши. Нашим, не забытым, давним веяло.

Из бацилл, до поры до времени дремлющих в организме человека, самая стойкая — бацилла национализма, разбудить её легко. А если к ней добавить ещё и религиозный фанатизм, последствия непредсказуемы. Больше всего крови пролито человечеством в религиозных и этнических войнах.

Прочёл только что вышедшую книгу Бориса Викторовича Раушенбаха «Праздные мысли». Это результат его многочасовых бесед с журналисткой Инной Сергеевой. Она отбирала, редактировала, а потом он что-то дописывал, вычёркивал и т.д. Мне это интересно, я при жизни близко знал его. Вот несколько цитат:

«...признаю всегда, что судьба меня хранила. И в лагере остался жив, несмотря на то, что половина российских немцев погибла в годы войны именно в лагерях... До лагеря работал в Реактивном научно-исследовательском институте, и когда забрали меня, был настолько увлечён работой по самонаводящимся зенитным снарядам, что продолжал эту работу и в лагере. И результат был ошеломительным: генерал Болховитинов договорился с руководством ГУЛАГа, что я буду работать по его заданию... Некая Высшая сила ведёт меня по жизни... (Это он повторяет не раз. — Г.Б.) Я был лагерным «придурком» — с точки зрения лагерного начальства ничего не делал. Меня не трогали, только изредка, когда объявлялся общий аврал, выгоняли на разгрузку вагонов. Утром все шли на кирпичный завод, становилось тихо, я сидел и занимался. Вечером, когда барак приходил обратно, я отключался. Я вкалывал по двенадцать часов в сутки, очень интенсивно. Вот, скажем, указана мне очередная работа, я делаю её, не отрываясь, устаю, как чёрт. Книг было мало, и жил в основном на здравом смысле и собст-

венной памяти. Впрочем, не нужны и книги, когда новое изобретаешь...».

Но, закончив работу, он не объявлял об этом, а ещё три месяца занимался чистой математикой, учился. Сам для себя нарезал 36 билетов, вытягивал билет, как на экзаменах, и если не доволен ответом, «...отправляю себя готовиться дальше. И так до тех пор, пока не сдам курса. Только тогда берусь за следующий курс, в общем, жизнь у меня была, по сравнению с другими, сносная, если не считать голода. Мне повезло, я остался в живых и, главное, в заключении мне удалось работать над некоторыми темами оборонного значения.

Признаюсь, система мне не была безразлична, но относился к ней, как к чему-то второстепенному. Это свойство учёного. Дают работать и хорошо. Философам, историкам, экономистам сложнее, они больше зависимы от идеологии, а я всю жизнь проработал в отрасли, связанной с ракетной техникой. Подумаешь, нельзя обсуждать какие-то политические темы! Ну и что! Мне на эти темы и говорить-то неинтересно.

...Сейчас, похоже, такое время, когда кажется, что занятие «чистой» наукой едва ли может быть правильно понято. Но учёные продолжают работать над решением сложных проблем, поэты пишут стихи, художники — картины, создавая при этом, что их работа не только не приведёт к материальному успеху, но зачастую не даст даже морального удовлетворения. И так было всегда. Если бы человечество когда-либо отложило занятие искусством или наукой до прихода более благоприятных времён, оно бы их не дождалось.

Да, учёные, художники за всё время существования человеческой культуры вели себя, мягко говоря, нестандартно. Представьте себе, что в ночь перед казнью осуждённый работает над проектом

сложного механизма. Или доказывает теорему в канун дуэли...».

И в то же время этот прекрасный ум, как многие прекрасные умы учёных, занятых точными науками, совершенно по-детски судит о том, что за гранью его науки. И силой таланта («дают работать и хорошо») создается то, что способно уничтожить род людской, и это передает в руки системы, о которой «и говорить-то не интересно»... Есть, разумеется, исключения: Андрей Дмитриевич Сахаров. В вышедшей недавно в издательстве «Вагриус» биографии Сахарова, написанной Г. Гореликом, рассказано, в частности, как после испытания водородной бомбы на полигоне маршал Неделин, руководивший испытаниями, устроил банкет. И первый тост предложил произнести А. Сахарову, отцу нашей водородной бомбы. С бокалом в руке Андрей Дмитриевич сказал: пусть наши изделия так же удачно, как сегодня, взрываются над полигонами и никогда — над городами. Было неловкое молчание. И тогда, с бокалом в руке встал маршал Неделин и ответно рассказал такую притчу: старик молится в избе перед иконой: «Направь и укрепи, направь и укрепи!». И тут — старуха с печи: «Молись об укреплении, а направить я и сама сумею». Даже через много лет, по словам биографа, у Сахарова оставалось ощущение, как будто его хлыстом ударили.

А через пять лет после этого банкета случилась трагедия. Маршал Неделин руководил испытаниями новой ракеты. Что-то не заладилось, технические специалисты, то есть те, кому, по притче, отведена роль «укреплять», рекомендовали отложить пуск, но маршал, тот, кто «направлял», решил, тем не менее, провести испытания в срок и приказал устранять неполадки по ходу дела. Итог: ракета взорвалась, сгорели заживо 74 человека, в том числе маршал Неделин. По сути это — символ.

Пройдя лагеря, до конца жизни ощущая, что он — немец, и потому тем или другим обойдён не случайно, Борис Викторович пишет и даже выделяет курсивом: *«Выход у нас один — во введении жесточайшего режима правления на Земле, полного отказа от демократической болтовни. Вспомним, что в Древней Греции все преступления совершили демократы, и ни одного — аристократы и деспоты. Скажем, смерть Сократа — самое крупное преступление на совести демократов. Разумное правление будет жёстким по отношению к населению, но только оно может спасти Землю».*

И это — после Гитлера, после Сталина, после кровавого XX века, а уж о прошлых веках говорить не будем. Применительно к нам, совершили или не совершили преступления аристократы, спорить смешно: пришла советская власть, и уничтожила аристократов под корень. А тех, кто сумел скрыть происхождение, выдавая себя за рабочих и крестьян, тех выявляли и уничтожали на протяжении всех 70 лет.

Ну, а насчёт единого деспота во главе всей Земли, чьё правление будет «жёстким по отношению к населению, но только оно может спасти Землю», так вот я, например, на протяжении всей моей жизни не смог понять и не понимаю, и никто из священнослужителей, а со многими разговаривал об этом, не смог объяснить внятно, как Бог допустил и допускает уничтожение младенцев? Ладно, люди грешны, преступили Замысел, который нам неведом, но младенцы... За ними же нет никакого греха.

И — мысль, которая не оставляет меня, если взять хотя бы судьбы этих двух таких разных, но неординарных людей: Бориса Викторовича и Солженицына. Избави бог, я не сопоставляю их по человеческим, по нравственным качествам, тут — полная

противоположность. Но, повторяю, оба прошли лагерь, пусть даже были там «придурками». Мысль моя о другом: не лагерное ли это воспитание в таком зрелом возрасте, когда тирания признаётся единственно возможным способом правления людьми, не след ли неизгладимый, оставленный в душе и в мыслях жестокостью лагерей? Вот появился термин: «Стокгольмский синдром» — преступник и жертва на определённом этапе начинают чувствовать не ненависть друг к другу, а определённое родство душ. Не знаю, не знаю, да и противоположных примеров можно привести множество, хотя бы — Дмитрий Сергеевич Лихачёв, а всё равно мысль эта не оставляет меня.

Да вот ещё один бывший лагерник, отсидевший в общей сложности 11 лет, ныне довольно известный автор, близкий по мировоззрению к Солженицыну, редактор мракобесного журнала: «...гулаговская тема — это уже история, здесь всё достаточно известно. А современность выглядит иногда трагичнее прошлого: как бы много народа не сидело в лагерях, всё-таки это была меньшая часть населения. Нынешние же беды — нищета, войны, иные напасти — свалились на большую часть».

Меньшая часть... С 1923 по 1953 год, т.е. за тридцать лет сталинского тиранического правления общая численность арестованных (и это — по неполным данным) — 41 миллион человек, каждый пятый. А семьи тех, кто сидел в лагерях и тюрьмах, а крестьянские семьи, тогда ещё многодетные, особенно семьи раскулаченных (повторю ещё раз, десять пальцев показал Сталин Черчиллю на его вопрос: 10 миллионов), да стукачей по призыванию и по принуждению (1,5 миллиона стукачей было в стране к 1951 году, цифру эту, на вопрос Сталина, назвал ему генерал КГБ Питовранов), да всех карателей, начиная от тех, кто сидел на вышках лагерей, да

всех, кто выходил с портретами и плакатами, требуя «раздавить гадину», а потом их самих давили, да тех, кто подписывал письма-воззвания, а среди них были известнейшие писатели, учёные, подписывали со страху за свою жизнь, а потом таились, либо калялись, а голодомор, прошедший по стране — миллионы и миллионы жизней. И всё это — «меньшая часть»? А Отечественная война, где столько погибло. Надо совершенно забыть историю своего народа, чтобы оправдывать тираническое правление.

И оправдывают люди, пострадавшие от него. Что это, особенность России, пережившей татаро-монгольское нашествие, крепостничество, новое закрепощение в советские колхозные времена? Но вот же — Сократ! Впрочем, при Перикле, в период рабовладельческой *демократии* (а Сократ именно тогда жил) Афины достигли наивысшего расцвета. Попробовал бы Сократ, скажем, в 37-м году, когда само слово «демократия» употреблялось только вместе с бранным по тем временам словом «буржуазная», попробовал бы он ходить по Москве и каждому встречному-поперечному, и на агоре, то есть фактически на Красной площади, возглашать свои, никем не санкционированные мысли, дожил бы он до своих 70 лет?

На нашем курсе в Литинституте, то ли на очном, то ли на заочном отделении, учился Герой Советского Союза Карпов. Никаких ни близких, ни далёких отношений у нас не было, я даже и забыл, что мы — однокурсники, так что, скорей всего, он учился на заочном отделении. В первые года перестройки, взобравшись уже высоко по служебной лестнице, он некоторое время возглавлял Союз писателей, судился с журналом «Знамя», главным редактором которого я тогда был, ничего не высудил, но я уже писал об этом в книге «Жизнь, подаренная два-

жды». Поддерживал его тогдашний член Политбюро Лигачёв и ещё чья-то очень мохнатая рука на Лубянке.

Перед войной Карпов был арестован, сидел в лагерях, оттуда и выпущен на фронт. Рассказывал он, будто бы в военном училище он обнаружил в каком-то учебнике, что Сталин упоминается во столько-то раз чаще, чем Ленин, открытием этим поделился с одним из курсантов, и тот, будущий советский офицер, естественно, донёс. Карпова посадили. Статья тяжёлая, политическая (имя Сталина свято!), политических редко выпускали на фронт, но всё бывало. Кстати, до войны, в Узбекистане, он был чемпионом по боксу в какой-то весовой категории, на фронте, как он говорил, был разведчиком в пехоте. После войны число взятых им «языков» от года к году росло: три, пять и дошло постепенно аж до двадцати пяти.

Я употребляю «как он говорил» потому, что в пору, когда он возглавлял Союз писателей, а двигала его, повторяю, очень мохнатая рука, началась подковёрная борьба, кто-то ещё лез на вершину этой пирамиды, и опубликовали выступление Карпова перед уголовниками. С благими целями поехал он в лагерь к уголовникам, выступал перед ними, на примере своей жизни доказывал, что, мол, и перед ними двери не закрыты, каждый из них, если найдёт в себе силы, способен в дальнейшем и т.д. И в этом выступлении прямо было сказано, что он так же, как они, сидел *по уголовному делу* и даже объяснил, в чём оно состояло. Честно сказать, меня это всё не шибко интересовало, прочёл и забыл, Карпов и без того был мне ясен.

После провала путча ГКЧП, перепуганный, а для того были основания, встретил он меня случайно на Сивцевом Вражке, в аптеке: я спускался по лестнице, он подымался. И вдруг добрым, жалким

голосом говорит мне: «Гриша, не держи на меня сердца». Потом, довольно моложавый, он вдруг отпустил длинную бороду: старец. И вот — апрель нынешнего 2002 года, в той же самой аптеке стою я в очереди к окошку, и входит в двери Карпов: плащ — через левую руку, костюм цвета кофе с молоком, а на груди, где прежде носил он одну звезду Героя Советского Союза, — две звезды: дважды Герой. Встретились мы глазами, и оба сделали вид, что не заметили друг друга.

Есть бывший депутат Верховного Совета от Чечни, осевшая в Москве, в депутатской квартире, Умалатова, она от имени «постоянно действующего Верховного Совета» самолично награждает орденами, а чеканит их, в том числе — никогда не существовавший орден Сталина, — чеканит их Гознак, о чём уже писалось в газетах, и за деньги эти ордена покупают у неё, в том числе — звёзды Героев. Недавно в газете вижу портрет тоже нашего однокашника и тоже со звездой Героя на лацкане, которой у него никогда не было. Так что Карпов не одинок. Но когда рядом с первой звездой — вторая, купленная, поневоле тень подозрения и на ту, первую, падает.

Впрочем, могли и не у Умалатовой купить. В Москве, на Старом Арбате открыто продают и покупают ордена. И вот расценки:

Золотая Звезда Героя Советского Союза — 400 у.е.

Золотая Звезда «Серп и Молот» Героя Социалистического труда — 200 у.е.

орден «Дружбы народов» — 60 у.е.

орден «Мать-героиня» — 40 у.е.

Недавно какой-то пацан-слепопыт приволок полкило медалей «За отвагу», ему хорошо заплатили. А ведь этой медалью на фронте награждали солдата за подвиг. Скупщики отправляют эти сереб-

ряные медали за границу, там они идут в переработку, изделия из них, например, серёжки в ухо, везут назад в Россию. Читать об этом больно.

И вот — День Победы. Приём в Кремле. Стоим мы, разговариваем с Михаилом Ульяновым, достойнейшим человеком, и вижу в группе военных — Карпов. На пиджаке — одна звезда: в этой среде все друг про друга всё знают, ревностно следят, у кого сколько звёзд на погонах, какие знаки отличия на груди. И опять мы с ним сделали вид, что не узнали друга.

Всё вижу ту просёлочную дорогу, лошадь, два седока, мелкий дождичек. Телега то одним колесом ухнет в залитую водой колдобину, то на другую сторону её перекосит. Шестидесят с лишним лет назад по этой дороге пришли сюда немцы, по ней они отступали.

А история такова. Когда немцы отступали отсюда, они угоняли с собой население: рабов. И на одной из станций все вместе попали под бомбёжку: и немцы, и наши. Бомбили наши бомбардировщики, а люди разбегались кто куда. И потерялся мальчик. Он вырос, давно уже не живёт в этой деревне, но все послевоенные годы разыскивал мать, были у него ещё две сестры и был брат, совсем маленький, шкетик, как он называет, лица его он уже не помнит, но помнит, носил его на спине.

Есть у нас телевизионная программа: «Жди меня». Она разыскивает людей, потерявших друг друга: и у нас, и в бывших республиках Союза, ныне — государствах, и в дальних, дальних странах. И повезло: нашли его семью. Да где? В Аргентине. Вот они все на экране: сёстры, их дети, внуки, выглядят хорошо, радостные, а из русского языка помнят уже только по несколько слов, соответственно и произносят их, еле выговаривая. Жив и «шкетик»,

он тоже забыл родной язык, но песнь «Васильки, васильки...» помнит: и мелодию, и слова, все эти годы напевал её. И вот входит в студию седоватый, пожилой человек: из Аргентины прилетел увидеть брата, обрести.

А просёлочная дорога... По ней и ехал корреспондент телепрограммы расспрашивать местных жителей, помнят ли они эту семью, знают что-либо о ней?

В Москве за каких-нибудь лет десять выросли пятизвёздочные отели, швейцары в ливреях выскакивают открывать дверцы дорогих машин, торговые центры с бассейнами и пальмами, нефтяные компании ценою в миллиарды долларов переходят из рук в руки, а здесь — те же избы, те же люди на завалинках, словно это они и сидели вот так до войны, та же, вся в колдобинах, залитых водою, просёлочная дорога. Как шестьдесят, как две сотни лет назад.

Сумбурный сон. Последний глава Союза писателей СССР Марков с лицом скопца, глянцева кожа, на которой брить нечего, я не вспоминал о нём уже не один год, и вдруг приснился. И тут же какие-то чемоданы, и я здесь же, себя вижу ясно. А ещё должна прийти моя двоюродная сестра Юдя, это её чемоданы. Марков ждёт руководство Союза, он знает, что всё уже рухнуло, но тем не менее велел собраться, намерен провести совещание, ждёт. Моя сестра пришла, а они, его подчинённые, не идут. И он тихо защёлкивает замочки своего дипломата и скромно уходит. И тут я проснулся. Да не проснулся, а будто из такой душившей меня глубины крепкого сна вынырнул на поверхность, что едва хватило сил вдохнуть воздуха, а сердце колотилось. Но и проснувшись, я всё ещё был там. И вдруг — чёткая, сразу всё объяснившая мысль: эпоха прошла, вот — главное, вот в чём всё дело.

Обычно сны тут же забываю, но этот, сумбурный, где всё перепуталось, оказался, как я потом понял, не случаен.

За пару дней до него прочёл я статью по поводу небольшого литературного скандала: Войнович написал книгу о том, как создавался миф Солженицына, как после прекрасной повести «Один день Ивана Денисовича», по сути дела, единственной его художественной вещи, Солженицын писал всё хуже, хуже и хуже. Журнал «Знамя», куда он отнёс рукопись, печатать не решился: Солженицын давно уже — неприкасаемая реликвия. Войнович и это рассказал в своей книге. И получилось стыдно-вато: по нынешним временам печатают всё, даже то, что на заборах пишут. А тут — прямое обвинение руководства журнала в трусости. И вот в «Знамени» — статья зам. редактора Н. Ивановой. В подтексте статьи: она, Иванова, конечно, на стороне Войновича и, будь её воля, напечатала бы эту его книгу. Но это — глубоко в подтексте. А в тексте — всем сестрам роздано по сергам. И на обвинение Войновича Солженицыну: «Он писал много, и чем дальше, тем хуже» она пишет: «Опасное высказывание». Для многих писателей, которым уже исполнилось пятьдесят, очень опасное, в том числе и для его автора. Первоначальный, свежий успех (и свежее изумление читателей) повторить, а тем более превзойти, достаётся немногим. Вспомним сегодняшние не очень радующие читателей плоды творчества шестидесятников — под эту формулу подойдут и X, и Y, и Z. И «Монументальная пропаганда», и «Замысел», и последующие части «Чонкина» не превзошли «Чонкина» первоначального...».

Иванова увидела верхнюю, видимую, часть айсберга. В основании же айсберга другое, главное: *ушла эпоха*. С ней вместе уходят, уступают место другим те, кто рассказал о своём времени и этим был

славен. Им хотелось бы и в новом времени занимать прежнее место, но это невозможно: новому времени — новые песни, а уж хороши они или ничтожны — другой вопрос. Но чем они злободневней, тем больше на них спрос, тем больше они на слуху: и песни, и книги, и имена их авторов. Так что же, вместе с эпохой безвозвратно и неминуемо уходит всё? Нет, жизнь вечна, из века в век — нескончаемая нить, иначе люди разных эпох перестали бы понимать друг друга. Вместе с эпохой уходит злободневное. Но искусство, настоящая литература, сочетает в себе и злободневное, и вечное. Вечное остаётся. И даже способно вновь становиться злободневным, потому что ушедшее, и грядущее неразрывны, и прошлое оставляет будущему и своё наследство, и своих наследников. Только времени дано определить, что исчезнет, что останется. Так что не тужьте, ребята, не хлопчите зря, делайте спокойно своё дело, если это действительно — ваше дело, смысл вашей жизни.

Не скрою, мне хотелось бы знать, но при жизни знать это не дано, останется ли жить какая-то из моих книг. Вот от этих мыслей этот совершенно безумный сон, где всё так странно перемешалось: какие-то чемоданы, зачем-то Марков явился из прежних времён, из ушедшей эпохи, и удалился скромно в небытие.

Перед Новым, 2003-м годом скорая помощь увезла меня в больницу: опять почечная колика. Могу сказать по всей прожитой жизни: я довольно терпелив к боли. Но на этот раз прихватило серьёзно. В один из дней, после операции, оклемавшись немного, сижу я у поста медсестры. Хорошая девочка, разговариваем. В простенке между окнами — иконка Святого Пантелеимона («Он — по медицинской части», — объяснила мне медсестра), расшитое

полотенце, лампадка. А больница-то ведь — Центральная Клиническая, бывшая вотчина ЦК КПСС, добрая половина больных — те самые, бывшие. Двое разговаривают в холле. Один, совсем старенький, утонул в кресле, оттуда поддакивает едва слышно, голова голая, только белые пёрышки остались кое-где, как на плохо ошипанной курице. Другой, лет пятидесяти с небольшим, стоит посреди холла, весь крупен, мощный лоб над тёмными бровями, густые с проседью волосы. Рассказывает:

— Два года назад жену похоронил. Во сне умерла. Она у меня была зав.кафедрой, как раз серебряную свадьбу собирались справлять, я уже деньги на свадьбу получил. Сижу, смотрю футбол. До двух ночи смотрел. И не знал, что рядом со мной, в другой комнате, труп лежит. И вот с тех пор приходит и приходит во сне, опять всё это вижу. Повесил я в углу вот так же иконку, пошёл к батюшке. Он меня покрестил, пришёл ко мне домой, там сделал, что положено, сказал: за мной убери. С тех пор перестала приходиться!

Крещение — это духовное рождение. Он стоит на виду в синем махровом халате, босые ноги в тапочках обмотаны эластичными бинтами, голос громкий, жесты начальственные, *труп* произнёс твёрдо, чётко, больные, прогуливающиеся по коридору, услышав, останавливаются послушать.

2003 год

Новый, 1943-й год, встречал я в госпитале, в Красном Лимане. Местные девчата пришли в госпиталь звать нас, я был уже ходячий, только рука на перевязи. Они наварили картошки, полили горячим растопленным свиным салом со шкварками, холодная солёная капуста на столе, солёные огурцы. Мы принесли с собой самогон и шампанское: когда наши отступали в 41-м году, население разграбило скла-

ды, и вот на базаре бутылка шампанского — триста тогдашних рублей, три чёрного цвета сотни с профилем Ленина.

Можно ли во время войны, когда столько людей гибнет, быть счастливым? Нам предстояло вскоре возвращаться на фронт, и в ту новогоднюю ночь мы были счастливы. Что ни говори, а молодость — прекрасная пора.

И вот, шестьдесят лет спустя, день в день, я встречал Новый 2003 год в больнице, после операции. Туда, в больницу, позвонил мне редактор еженедельника «Московские новости» Виктор Лошак: вышла авторская программа Гранина о ленинградской блокаде, напишите, мол, об этом, мы пришлём вам кассеты, видеомэгнитофон... А со мной в палате — полупарализованный человек, ноги отнялись, зябнут. «Укройте их чем-нибудь», — просит. Укрываю. И всё, что свойственно организму, происходит здесь же, в палате. Но поскольку он прежде занимал должность, он требователен, то и дело звонком вызывает медсестру. Та отключает сигнал, не идёт. Снова звонит. Снова отключает сигнал. Как-то пришёл врач: «Полных лет сколько?». А он — глухой, не слышит. «Лет полных сколько, я спрашиваю!» — аж в коридоре раздалось. «Четырнадцатого года рождения», — плачущим голосом. «Я спрашиваю, сколько полных лет!». И все на него злы. Созвонились с родными, пытались домой отправить, поскольку главное, что требовалось от врачей, сделано, остальное — от бога. Родные не берут, им тоже отдохнуть надо. Кастелянша посочувствовала мне, говорит: «Вы бы сказали, чтоб вас в другую палату перевели». Но кому-то и здесь лежать надо. Да и просить что-либо я не люблю. В воскресенье пришёл к нему сын, весьма немолод, сидел, молчал, смотрел на отца. И такая безнадёжность во взгляде: и жить не живёт, и умирать не умирает. А тот тем временем развернул

перед собой принесенную свежую газету, кстати говоря — одну из самых черносотенных, надел старинные роговые очки, и вдруг такой строгий чиновник из этих очков глянул...

На четвёртый день нового 2003 года я вернулся домой, на дачу, просмотрел присланные мне сюда кассеты, и загорелось написать о целом пласте времени ушедшем, которое большинство людей, живущих в нашей стране, уже и не ощущает. Да и хотят ли знать? Вот, что написалось:

«Гранин удивительный рассказчик. Ни позы, ни актёрства: раздумье много прожившего на свете, много испытывавшего и знающего человека. Так вести себя перед камерой, как будто её и вовсе нет, дано не каждому.

А сколько людей стремится сегодня на экран телевизора, этого всеобщего божества! Не беда, что сказать нечего, зато — себя показать, чтоб знали, видели: вот он — я! Долгий рассказ Гранина порождён иными чувствами: нельзя унести с собой то, что должно знать людям, помнить. Как говорится в таких случаях, Господь не велит.

Вот сидит Гранин на коммунальной кухне, которых столько было в Ленинграде и столько в Петербурге сейчас, разговаривает с почтальоном Натальей Сидоровной Петришиной. И он, и она весьма немолоды, он был тогда командиром танковой роты на Ленинградском фронте, она все девятьсот блокадных дней носила почту, взбиралась по обледелым лестницам, на ступени которых обессилившие от голода люди выливали помои, и она, тоже обессилившая, всё же взбиралась, потому что письмо иной раз означало жизнь. Вот так подняла она человека, который уже лёг, покорился, готов был принять смерть, как избавление. А она принесла ему письмо от единственного сына с фронта, читала ему вслух. И ожил человек. Мало того, в благо-

дарность отдал ей кусочек хлеба из тех своих 125 грамм. И она, голодная, брать не хотела. Упросил. Возможно, единственная из почтальонов за труд свой, за подвиг беспримерный, награждена была она орденом Ленина, но до шестьдесят девятого года, до шестьдесят девятого года, повторил Гранин, она продолжала жить всё так же в общежитии, а потом дали клетушку при коммунальной кухне.

— Ну что это за страна, — из души вырвалось. — Что это за страна, где так обращаются с людьми! С лучшими людьми.

А вот рассказ — о Косыгине. Косыгин участвовал или даже руководил созданием Дороги жизни. По этой дороге, по льду Ладожского озера, как известно, вывозили оборудование, вывозили раненых, детей, везли в Ленинград хлеб, всё это под обстрелом немецких батарей — тоненькая нить, ещё не перерезанная блокадой. И вот Алесь Адамович и Даниил Гранин, работая над «Блокадной книгой», попросили Косыгина о встрече, а он в то время был уже Председателем Совета Министров. Прошло полгода. И вдруг — звонок: срочно, завтра прибыть одному Гранину.

Честно говоря, мне показалось, что рассказ этот снимался не сейчас, а ранее: помолодевший лет эдак на десять, соответственно приодетый Гранин, прогуливаясь, по пустому кремлёвскому кабинету Сталина, в котором в дальнейшем помещался Косыгин, рассказывает, как они сидели тут за маленьким приставным столиком, и запрещено было пользоваться магнитофоном, в блокноте записывать можно, но записи в дальнейшем показать. И вот такая история: под Новый 1942-й год поздно вечером Косыгин работал в Кремле, позвонил Попков: всё-таки Новый год, надо бы как-то отметить. Встретились втроем: Косыгин, Попков, Вознесенский, все трое — ленинградцы, решили посмотреть в комите-

те по кинематографии какую-нибудь комедию, потом поужинать. Во время просмотра, позвонил Сталин, вызвал Косыгина к себе, но предварительно подробнее расспросил, как именно они трое оказались вместе, как сговаривались. И тут Гранин позволил себе вольность, спросил, а что, Сталин интересовался такими подробностями, как кто с кем и почему встретился? И вдруг Косыгин, слывший интеллигентом, ударил кулаком по столу: не вам судить о Сталине!

Это было так грубо, говорит Гранин, так жестоко. Не знаю, достало бы у меня решимости встать, поблагодарить и на том закончить беседу. Не знаю. Мы — люди того времени, оно проехало по каждому из нас. Это те, у кого единственным испытанием в жизни были соблазны, те сегодня судят легко. И шестидесятников вытапывали в годы перестройки с лёгкостью, высвобождая себе место в литературе. Но Гранин честно рассказывает о том, что и как было.

В дальнейшем, уже после войны, в ходе так называемого Ленинградского дела, и Попков и Вознесенский после страшных пыток были расстреляны. Могло ли это не опахнуть страхом Косыгина? Да только ли это и только ли его? Каждый, кто подымался в те годы ввысь по номенклатурной лестнице, жил под страхом, знал: сегодня он высоко, а завтра может быть превращён в лагерную пыль. Удивляться ли, что раб и господин уживались в одном сердце? И всё же Косыгин выделялся из многих. Помню его всегда мрачное, глубоко озабоченное лицо на фоне жизнелюбивого Брежнева. Словно он всё считает и считает расшвырянные попусту рубли и миллиарды. Он выделялся на фоне, а кто был фон? Серый кардинал, живой мертвец Суслов, Гришин, у которого жевательная часть лица от подбородка до носа была заметно больше той части, ко-

торая от бровей и выше, а фундаментальное образование — паровозный техникум. Кириленко, Кириченко (кто их сегодня помнит?), вовсе серый Черненко... И постоянная эта картинка на экране телевизора и в газетах: вот они все, у некоторых от старости череп уже проступает сквозь черты лица, стоят полукругом, аплодируют, пока Брежневу прицепляют очередной орден. Не зря сказано: страна в расцвете рождает поэтов и героев, на закате — пыль и много начальства.

Я читал в своё время «Блокадную книгу», созданную Алесем Адамовичем и Даниилом Граниным, она не написана, она выстрадана, ведь надо было взять в сердце страдания людей, которых они записывали день за днём, а страдания эти были безмерны. Кто вообще помнит, кто знает сейчас, что значило в те времена написать (уж не говорю — напечатать) правду о войне среди потока угодливой лжи. Сколько даже в самом себе надо было преодолеть. Высочайше, например, был одобрен и широко издавался так называемый роман (не буду упоминать автора, его уже нет в живых), в котором утверждалось, что немцы подошли к Москве не потому, что мы отступали, а потому, что таков был наш стратегический план: заманить их и тут разгромить.

И вот — «Блокадная книга», страшная правда, записать и рассказать которую Алесь Адамович сподвигнул Гранина. А советского человека не полагалось огорчать, такова была партийная установка. Чем больше людей томилось и гибло в сталинских лагерях, тем громче по эту сторону колючей проволоки звучали заздравные песни: «О Сталине мудром, родном и любимом, прекрасные песни слаждает народ...».

Блокада, говорит Гранин, это и страдание, и героика, и преступление. Известно, что Бадаевские склады, где сосредоточено было продовольствие, не

рассредоточили, хотя ещё до войны знали по выводам комиссии, что они пожароопасны. И конечно же немцы, у которых разведка работала, сразу разбомбили и сожгли их, обрекли ленинградцев на голод. Но мало того. Оказывается эшелоны с продовольствием, которые мы до последнего часа гнали в Германию, Микоян, когда началась война, решил повернуть в Ленинград, но Жданов воспротивился, заявил, что для этого нет складов: у него были плохие отношения с Микояном. И он специально звонил Сталину и тот утвердил его решение не принимать эшелоны.

Все девятьсот блокадных дней, когда ленинградцы вымирали, первый секретарь ленинградского обкома партии, член политбюро Жданов страдал от ожирения, возможно у него был плохой обмен веществ, а «веществ» хватало.

На всех фронтах было тяжело, но героически сражавшийся голодный Ленинградский фронт был всё же особый фронт: его бойцы и командиры не только защищали город, за спинами многих из них, в каких-нибудь шестнадцать, двадцати километрах от передовой, умирали от голода семьи.

Немецкий учёный, который вычислил для армии, в какой срок вымрут ленинградцы, потому не надо брать город штурмом, надо выждать (Адамович и Гранин разыскали его в Германии, беседовали с ним), поражался, почему его прогнозы не сбылись, как обречённые люди выживали?

— Согласно энергетике медицинской, человек должен был умереть, — говорит Гранин, — а не умирал в силу своей ответственности, любви, долга перед детьми, перед близкими. Запомнился, конечно, рассказ Лидии Охапкиной. У неё было двое детей, муж — на фронте. Дети умирали на глазах, и что она придумала, это только мать могла придумать. Она надколола себе вену и даёт детям сосать свою

кровь...Когда их эвакуировали через Ладогу, и муж очутился на той стороне, он искал их, нашёл её среди эвакуированных, и когда увидел эту старуху, изголоданную голодом, он ничего не мог сказать, он снял шапку.

И ещё один рассказ невозможно не привести:

— Нас посылали по квартирам обследовать, кого нужно эвакуировать... Распахиваю первую дверь, лежат на полу трупы. Так три-четыре комнаты. Наконец, в одной комнате слабый голос раздаётся: «Кто там? Зайдите, милости прошу». Вхожу, лежит старик, вся комната уставлена книгами. «Деточка, если вы человек, возьмите мои карточки, сходите за хлебом». И она принесла ему хлеб, хотя в булочных творилось нечто страшное.

— Этот голод открыл нам совершенно удивительные возможности человека, и нравственные, и физические, — говорит Гранин. — Может быть, главное было не спектакли, не то, что в филармониях изредка происходили концерты, а главное было то ощущение, которое существовало среди жителей, среди блокадников, желание помочь друг другу, чувство милосердия, которое вдруг проснулось в людях блокадного города. Спасались большей частью те, которые спасали других... Многие из них тоже умирали, но умирали, не расчеловечиваясь, сохраняя себя как человека.

А теперь спросим себя: как случилось, что уже в первые месяцы войны фашистская армия подошла к Ленинграду? У нас к началу войны было столько танков, столько самолётов... Трагедия 41-го года началась в 37-м году, когда Сталин процесс за процессом уничтожал командные кадры Красной Армии. Сорок три тысячи командиров и высшего командного состава было расстреляно, загнано в лагеря, и среди них были самые талантли-

вые. Вместе с ними запретной становилась мысль. Гудериан ведь, в сущности, использовал теорию расстрелянного Тухачевского, теорию массированных танковых соединений, мы вернулись к ней только в ходе войны, война заставила.

Когда немцы стояли уже под Москвой, и у нас на километр фронта оставалось по семь лёгких орудий, а снарядов почти не было и не хватало даже винтовок, решали, кому отдать винтовки: стрелковой дивизии, отправлявшейся на фронт, или охранной дивизии Берии. Это ведь решалось, по сути дела, кто для нашей власти страшней: наступавшие фашистские армии или советские люди, загнанные в лагерь. И всю войну позади фронта, за нашими спинами работала страшная эта машина уничтожения. За время войны военные трибуналы (а суд творили и без них, заградотряды стреляли прямо на поле боя), так вот военными трибуналами за годы войны было осуждено 994 тысячи солдат и офицеров, а свыше 157 000 из них (счёт на тысячи, одна человеческая жизнь, снова и снова повторяю, вообще — не в счёт) было расстреляно. Это пятнадцать дивизий! Такие бы силы на Волховский и Ленинградский фронты, да умных командующих во главе, они бы давно разорвали блокаду.

Но и после войны страдания ленинградцев не кончились. Сталин назвал Николая Вознесенского в качестве возможного своего преемника на посту Председателя Совета Министров: он сам, мол, уже стар... Это был смертный приговор. В Ленинград прибыл Маленков громить ленинградскую партийную организацию, началось Ленинградское дело. Гранин рассказывает, как Вознесенский, не Николай, а Александр, очнулся на полу после страшных пыток и видит: сидят за столом Берия, Маленков, Булганин. И он попросил их: скажите товарищу Сталину, что я ни в чём не виноват.

И Булганин — помните по портретам: благообразное лицо, седенький клинышек бородки — стал топтать его маршальскими сапогами, матерясь при этом. И потекли, потекли эшелоны с недавними блокадниками в лагеря и на расстрелы: Сталин как раз вновь ввёл отменённую было после войны смертную казнь.

Когда взлетел в космос наш спутник, ошеломив и восхитив весь мир, Владимир Тендряков, ныне покойный, был как раз в деревне, разговаривал с председателем колхоза. Говорили они в коровнике, и председатель колхоза сказал: «Хорошо будет его видать сквозь крышу, как он там летает». Вся солома с крыши была скормлена скоту.

Наше поколение уходит. И если, уходя, мы оставляем не постмодернистские кривляния, а художественное или публицистическое, но честное свидетельство и осмысление времени, то и этого довольно. Мы уйдём с сознанием исполненного долга».

Писал это и вспомнилось: сорок третий год, 11-е октября, 3-й Украинский фронт. Я уже год провоевал на Северо-Западном фронте, потом — артиллерийское училище, и вот берём Запорожье. И я, младший лейтенант, вместе с разведчиком и телефонистом бегу вслед за атакующей пехотой, чтобы оттуда корректировать огонь батареи, бегу в бой безоружный: кобура есть на поясе, а пистолета не выдали, на фронте выдадут, напутствовали в училище. И я на поле боя у убитого нашего автоматчика подобрал автомат. Вот в том бою я и был тяжело ранен, отбивали контратаку танков и пехоты.

Мне уже не под силу выкопать яму метр на метр и метр глубиной, там глина закаменелая, как три года назад копал я и удобрениями зарядил для

молодой антоновки. И обрезать сад не смогу. Бывало позвонит кто-либо из приятелей, спросит Эллу: ну как твой муж, слез с дерева? А как раз этой весной обрезать надо бы, яблони через год хорошо плодоносят. Мне эти работы всегда доставляли удовольствие. И прививать нравилось. Привил я на яблоню неизвестно какого сорта (подарили, растил её, а яблоки оказались дубовые, не укусишь, но убить человека таким яблоком можно), привил я на неё с одной стороны мельбу, с другой — антоновку. И вдруг посреди дерева (слева — мельба, справа — антоновка) — совершенно необычные яблоки, вкус винный, поразительный: и сладкие и с кислинкой одновременно. И расцветка необычная. Видимо, ветер и насекомые перенесли пыльцу, и сам собой возник новый сорт. Был бы я помоложе, заинтересовался бы этим. Но шесть операций, которые я перенёс, каждый раз под наркозом, всё же, как говаривал покойный Евгений Антонович, своё действие оказывают. «Доктор, я буду жива?» — «Хуже! Лечить будем!». Но когда пишу и пишется, чувствую себя человеком.

В странное время живём мы сейчас. В последней своей книге, названной «Праздные мысли», я уже упоминал её, академик Раушенбах говорит: я — академик, но у меня нет денег на такси. Если у одного из создателей нашего ракетостроения, у восьмидесятипятилетнего академика, который работал всю свою жизнь, нет денег на такси, значит у нашей науки нет будущего, а это в свою очередь означает, что и у нашей страны в современном мире нет будущего. По опросам 40% учащихся старших классов хотели бы уехать из страны, за прошлый год 30 тысяч молодых учёных покинули страну.

Но появилось то, чего не было раньше: богатством стали кичиться. Я не про те золотые цепи, которые носили на себе «братки». В глянцевах жур-

налах звёзды шоу-бизнеса, какая-нибудь ведущая юмористической передачи или правдолюбец-тележурналист, из передачи в передачу разоблачающий взяточников и воров одного клана, за что платит ему другой клан, вот эти, по сути дела, шмакодявки, распаивают перед теле- и фотокамерами свои апартаменты: я на фоне розовой ванной, я на фоне голубой спальни. Вот инкрустированный шкаф, который подарил мне лично Саддам Хусейн, и он пёр этот двухсоткилограммовый шкаф самолётом из Багдада. А вот и бассейн мой с крокодилами. Вот я на фоне моего дома. И вещи, вещи: под старину, под новизну, вот мой винный погреб... Впрочем, винный погреб — у другого телеведущего.

Лев Толстой не имел того, чем сегодня, не стыдясь, кичится ведущая «прогрессивного» телеканала. Да он бы и не смог жить среди всего того, чего нормальный человек стыдится. У нас с женой нет колец на пальцах: в ту пору, не носили их, да и денег на кольца не было. И ничего, прожили 50 лет вместе. У нас нет ни одной драгоценной вещи: не потому, что не могли купить — не стремились. И мебель и в квартире и на даче самая простая. Нет ни красного ни какого-либо ещё особенного дерева, ни посуды старинной, с которой кто-то ел: мне бы это мешало.

Я не говорю про зарплаты врачей-учителей, о них страдают вот эти самые телеведущие, чьи апартаменты представлены в глянцевых журналах. У академика нет денег на такси, но Константиновский дворец в Петербурге восстал из руин, и дворец, и парк, и коттеджи для приёма президентов и премьеров многих государств. И по каналам, к подножью каменных ступеней дворцовой лестницы, ладьи будут доставлять иностранных гостей, здесь будут их встречать. Вся эта роскошь, как сообщили, стоила 280 млн. долларов и будто бы — ни рубля из

бюджета. Олигархи сложились за прошлые и будущие грехи? А ещё в Петербургских мастерских шьют кивера для конного кортежа, закупают на кубанских заводах элитных лошадей: «Через пару лет, а может, и раньше Президент России и его гости смогут ездить к фонтанам Петергофа из Константиновского дворца на каретах... Доделав в Большом Стрельнинском дворце всё, что не было закончено к 300-летию, Управделами президента во главе с Владимиром Кожиным взялось за бывшие владения великого князя Михаила, младшего сына Николая I. Когда между морской резиденцией Путина и Петергофом восстановят так называемую Нижнюю дорогу, усадьба «Михайловка» с её дворцами и великолепным парком площадью 106 гектаров станет одним из самых живописных участков «каретного» маршрута» («Московские новости», № 46, 2003 г.).

На всех, чьи кости ссыпаны в мешки, а ещё больше в земле осталось, на всех на них — памятник Неизвестному солдату в столице, к нему раз в год возлагают венки в День Победы, вся высшая власть, и штатские и военные, приблизятся стройными рядами, соблюдая ранг и чин, постоят, сколько положено, поклонятся: ритуал соблюден.

Известный наш экономист академик Шаталин, ныне уже покойный, а тогда, лет семь назад, зашёл я к нему в больничную палату навестить, сказал мне в разговоре как само собой разумеющееся: «А России не будет» — «Как не будет?» — «Не будет».

Мы самая большая по площади страна. И едва ли не самая незаселённая, если не брать, скажем, пустыню Сахару, Гренландию. Почти всё население наше сгрудилось в европейской части, в центре и на благодатном юге. Огромная Сибирь с ее несметными богатствами пуста. А рядом — Китай, его погра-

ничное население в 50 раз превышает наше, и намерен он к 2020 году учетверить ВВП, темпы его роста и сегодня колоссальны: 15%, нам такое и не снится. Рядом — Япония на островах. А в Сибири все последние годы не приток, а отток населения. Сибирь может отломиться по самый Уральский хребет, всё это очень может быть.

Интересное исследование провели английские учёные: на большом количестве добровольцев изучалось влияние звука на память и психику человека. Испытуемым надели наушники, сила звука для всех была уравнена, т.е. одинакова. Но одна группа слушала стук отбойного молотка, вторая — шум улицы, третья — классическую музыку, четвёртая — поп-музыку. Вначале слушали по два часа в день, потом — по четыре, потом — по шесть часов. Ну, представьте: шесть часов отбойный молоток бьёт по барабанным перепонкам на протяжении двух месяцев. Вопрос: что оказало на человека самое отрицательное воздействие? Нет, не стук отбойного молотка. «Попса»! Люди, которые слушали её два месяца подряд теряли память на 25-30 процентов. А через два года становились почти полными дураками. Особенно это проявилось у молодых мужчин. Меньше — у женщин. Возможно, у женщин есть способность слушать и не слышать, думать о своём. Результаты исследования долгое время держали в тайне: шоу-бизнес приносит огромные доходы.

Шум отбойного молотка и шум улицы по вредности заняли второе место. А вот классическая музыка оказалась «самой физиологичной».

То же самое происходит сейчас и в литературе. Детективы, которые приносят огромные доходы и издателям и авторам, слезливые дамские романы, к которым так подходит телевизионная реклама нового мыла: «интимное мыло для нежных мест», и

проч. и проч., оттеснившие классику, вся эта литературная попса вовсе не безвредна. Язык, как правило, чудовищен, но они воздействуют и на психику, понижают читателя до своего уровня, воспитывают в детях инстинкт розыскной собаки. В срамном издательстве «Ad Marginem» запущена серия «трэш», хлам: по чердакам, по чуланам разыскивают, скупают и переиздают самую последнюю дешёвку 30-х годов, пришло её время.

Наша поп-звезда, уже давно потерявшая голос, а потому прикупила себе в Краснодаре заводик, производящий чипсы, бабушка двух внуков Алла Пугачёва, в платье, вырезанном спереди чуть не до пупа, приплясывает в обнимку с модным мальчиком, который во внуки ей годится, разыгрывают любовников и поют: «Будь или не будь? Будь!». Вот разница между искусством и попсой: шекспировское, гамлетовское «Быть или не быть» и — «Будь или не будь...».

Сегодня, 1-го апреля 2003 года, 13-й день войны в Ираке. Да, Саддам Хусейн — выродок рода человеческого, да, режим его — подобие гитлеровского и сталинского. Он уже воевал с соседним, тоже тираническим, Ираном, положил миллион человек. И как при всяком тираническом режиме, подданные ещё больше возлюбили его. Он уже нападал на соседний Кувейт в 91-м году, применил отравляющие газы против курдов. Он пытался создать свою атомную бомбу в нарушение всех международных соглашений. Израиль разбомбил реактор в Ираке, а израильская разведка взорвала во Франции два уже готовых реактора, которые французы отправляли ему. Сейчас он отсиживается в подземном бункере, который способен выдержать близкий взрыв атомной бомбы, его построили югославы и немецкий инженер по образу и подобию того бунке-

ра, который в своё время построили для Тито. Впрочем у американцев есть бомбы, которые пробивают тридцатиметровое бетонное перекрытие и взрыв в глубине создаёт температуру 500 градусов, выжигает всё. И хотя американская и английская армии подходят к Багдаду, тем не менее он только что отступил 35 миллионов долларов палестинским смертникам, чтобы они взрывали себя в переполненных израильских автобусах, на дискотеках и в гостиницах Израиля. Оружие у него, в основном, наше: и то, которое мы ранее поставляли в долг (долг его СССР — 8,5 миллиардов долларов, можно представить себе, сколько туда было отправлено танков, самолётов и т.д.), и то, новейшее, которое мы продаём сейчас не ему, а, например, Сирии, а она перепродаёт или просто поставяет Ираку. ООН, как в своё время Лига наций, не способна влиять на ход событий. Попустительство Гитлеру, который захватывал страну за страной, кончилось второй мировой войной. Попустительство Саддаму, который наравне с Саудовской Аравией и другими арабскими странами финансирует террористов, неминуемо приведёт к третьей мировой войне, да она, в сущности, уже началась, яркой вспышкой её были взрывы в Нью-Йорке 11-го сентября. И вот американцы и англичане, наплевав на все эти международные говорильни и резолюции, в том числе и наши укоризны, вторглись по праву сильного в Ирак, неся свободу иракцам, которые видят свою жизнь совсем по-другому, и ни американского образа жизни, ни этой свободы вовсе не жаждали, но американцы вторглись, заодно прибирая к рукам иракскую нефть и вытесняя отсюда нас, что-то нерешительно вякающих против. Вякать-то вякаем, но сделать что-либо у нас не только силы нет, но нет и морального права. В своё время мы точно так же, наплевав на ООН и на все международные организации, вторглись в Афгани-

стан, плохо представляя, чем это для нас обернётся, и первым делом наш спецназ убил Амина, правившего в то время страной (американцы тоже первым ударом пытались уничтожить Саддама в его бункере, не удалось), а потом мы бездарно воевали в Афганистане 10 лет, положили там 13,5 тысяч наших солдат и офицеров и миллион афганцев, восстановили против себя весь арабский и мусульманский мир, который сейчас как раз находится в стадии пассионарности. И с побитой мордой вывели войска из Афганистана, и в дальнейшем даже не решились снабжать оружием своего ставленника Наджибу, по сути, предали его, и он был повешен талибами.

Вот что недавно сказал в интервью бывший командующий 40-й армией, воевавшей в Афганистане, генерал Борис Громов: «Я считал и считаю, что мы тогда разворошили весь тот «муравейник», который ныне называют международным терроризмом. Не только в самом Афгане, но и во всём регионе. Это было в высшей степени безответственное решение руководства СССР». Да ведь о том же, по сути дела, и я говорил с трибуны XIX партконференции, когда призвал перечислить по именам тех, кто втравил народ наш в эту авантюру, чтобы люди знали их поимённо, а за спиной моей и выше восседал один из этих преступников, тогдашний председатель президиума Верховного Совета СССР Громыко.

Американцы и англичане, вне всякого сомнения, победят. Потери их пока что минимальны, мы своих людей не считаем и никогда не считали, например, в новогоднюю ночь, когда штурмовали Грозный, погибло, как сообщалось впоследствии, 25 тысяч мирных граждан и около тысячи солдат и офицеров. У них на счету каждый убитый солдат. Но победа на поле боя, взятие городов, это далеко не

конец разгорающейся войны, скорей — это начало пока ещё неведомого, что ждёт и Америку, и всё человечество в XXI веке. Однако интересуют меня в первую очередь не события глобального масштаба, что сказал Буш, что ответили ему другие прочие президенты, премьеры и Папа римский из окошка своей резиденции, как из скворечника, боль моя — судьба обычного человека во всех этих не зависящих от него гигантских событиях.

Вот живёт на свете Нина Ильинична Андрущенко 83-х лет от роду. Перед началом второй мировой войны Гитлер со Сталиным разделили Польшу, в числе прочих земель отошла к нам и Западная Украина. Нина Андрущенко к этому времени после семилетки закончила фельдшерско-акушерские курсы. Потом была Отечественная война, и посреди этой огромной войны в лесах Тернопольской области и Полесья бандеровцы и советские партизаны уничтожали друг друга. «Днём свирепствуют немцы с полициями, ночью приходят «лесные братья», а под утро — красные партизаны. Кого слушать, кому подчиняться? У всех оружие, все требуют еды. Брат шёл на брата». Война кончилась, бандеровцы за «вільну Україну» уничтожали советских работников, учителей и, само собой, немногих уцелевших после гитлеровской оккупации евреев. Бандеровцев уничтожали спецгруппы НКВД. «Но раненые и больные все одинаковы, всех жалко...Люди пребывали в постоянном страхе. Откажешься идти в колхоз или работать в сельсовете — будешь наказана, согласишься — те, кто в лесу, отомстят. А я продолжала лечить и тех и других, и бандеровцев и «красных».

Вот по дороге из леса домой Нину Андрущенко и взяли. Следователь потребовал назвать имена «лесных братьев», месторасположение и т. д., начали бить. «Я тогда очень испугалась. Даже не за

себя, а за тех, кто мог из-за меня погибнуть, думала, не выдержу пыток. Решила покончить с собой. Но в карцере, где я была одна, ни куска железа, ни чулок, чтобы петлю сделать». И вот на что она решилась: разогнула булавку (их называют у нас — английские булавки), зубами сорвала головку, и эту выпрямленную иглу вогнала себе под левую грудь. Позже рентген покажет: булавка едва задела сердце. Поняв, что осталась жива, она разогнула другую булавку побольше, так же зубами сорвала головку и «изо всей силы обеими руками воткнула в область сердца. Вошла вся. Можно было прощупать под кожей». Когда очнулась, «стала просить у Бога смерти. Он мне её не дал. Может, за то доброе, что делала людям?».

Сколько таких безвестных, безымянных! На каких весах взвесить их муки? И всё это длится и длится. И если говорить о главном сюжете литературы всех веков — вот он, главный её сюжет, а не описания тех «великих», которые стравливают народы.

Гитлер написал «Mein Kampf», библию нацистов, Сталин — «Историю ВКП (б)». До войны упоминались имена его соавторов, потом исчезли и имена и соавторы. Новый диктатор Туркмении, бывший партработник Туркменского ЦК Сапармурад Ниязов, именуемый теперь Туркменбаши, в своей заботе отеческой тоже утрудил, выпустил книгу «Рухнама» («Духовность»). Вот как он сам аттестует её: «Волей Всемогущего и Всемиловитившего Аллаха, сотворившего весь этот мир, рождена в моём сердце книга, продиктованная духом нации, её нравственным разумением и историческим бессмертием. Она восполнит все утраченные нами книги и станет после Корана главной книгой Туркмен. Рухнама — главная книга туркменского народа, книга-путеводитель. Рухнама станет для туркмен

философской системой не только познания, но и построения мира».

Вчера, т.е. 9 апреля 2003 г. стащили с пьедестала в центре Багдада памятник, установленный диктатору Саддаму Хусейну, всего в Ираке ему установлено 2500 с лишним памятников. Стаскивали его ликующие иракцы, которые несколько дней назад потрясали автоматами и кричали: Саддам, мы отдадим за тебя свою жизнь! Памятник стоял крепко, пришлось американцам, которые взяли Багдад почти без боя, помочь своей техникой. Это — будущее и Туркменбаши: он во весь рост, позолоченный, сияет в центре Ашхабада. Интересно, какие чувства испытал он, глядя по телевизору на всё это буйство верноподданных? Впрочем, какие чувства у животного?

Понемногу, понемногу начинают не то, чтобы пропагандировать, до этого дело пока не дошло, но упоминать, как вполне естественную и даже необходимую во время войны деятельность заградотрядов и СМЕРШа. Учреждён был СМЕРШ, и название его (смерть шпионам) придумано лично Сталиным. Перед годовщиной Сталинградской битвы, куда на празднования приезжал президент, показали по телевизору, впервые на моей памяти показывали, двух деятелей заградотряда, по сути дела — убийц: находясь позади фронта, они стреляли в своих, расстреливали своих. И даже назвали цифру: 23 тысячи наших солдат и офицеров в период Сталинградской битвы было расстреляно вот этими КГБэшными подразделениями. (У Хемингуэя, в романе «Прощай оружие», рассказано, как это делалось ещё в годы первой мировой войны). И вот один из них, генерал в отставке, по годам — старик, по виду — вполне ещё спортивен и в спортивном костюме, с достоинством рассказывает о своей рас-

стрельной деятельности. Другой, совершенно уже разрушенный, одной ногой в могиле, рассказывает, задыхаясь от старости и от ярости, как вытащишь его (это — про нашего солдата говорит), вытащишь за ворот шинели из окопа: «Иди в атаку, а то застрелю!». И стрелял, говорит с гордостью, стрелял, чтоб в него самого не стреляли, сам он в атаку не шёл. Близкая смерть смотрит уже из глаз, а всё не насытился. И, может быть, дети, внуки есть у него, но не стыдится рассказывать, как всю войну хоронился за чужими спинами.

Или вот такое сообщение: «Во время Отечественной войны более 30 тысяч шпионов обезвредили в нашем тылу оперативники нашего Главного управления контрразведки «СМЕРШ». Кого и как они «обезвреживали» известно: каждый, кто вышел из окружения, бежал из плена, первым делом проходил проверку у них: заранее предполагалось, что там он был завербован немцами, это и требовалось доказать, то есть выявить, а методы известны. И определяли в итоге: кого на расстрел, кого в штрафбат — искупать кровью несуществующую вину. А кого отпускали в часть, дозволяли воевать дальше, эти тоже оставались под надзором, после войны, после победы, нередко хватали их вновь и — в лагеря каторжные.

Лётчик М.Девятаев был сбит во время войны, попал в плен и оттуда, из плена, перелетел к своим на немецком самолёте. Случай легендарный. Он тоже не в объятия попал, а в СМЕРШ, но в конечном итоге был отпущен и даже удостоился звания Героя Советского Союза. Всего лётчиков, совершивших такой подвиг, известно 10: Абашидзе, Девятаев, Лошаков, Мартимьян, Карапетян, Козявин, Марченко, Москалец, Петров, Чкаусели. Вот судьба одного из них, ставшего прототипом фильма Григория Чухрая «Чистое небо». Девятнадцатилет-

ний лейтенант 14-го гвардейского истребительного полка Николай Лошаков, совершил 120 боевых вылетов. 121-й вылет был последним: в бою, раненный в руку и в ногу, на горящем самолёте он всё же дотянул до линии фронта, выбросился на парашюте, но парашют ветром отнесло в немцам. Плен. Пытался бежать. Неудачно. Вторая попытка: сговорились с Иваном Денисюком, у того работа в плену была — подвозить на аэродроме горючее. Вдвоём проникли в самолёт «шторх», экипаж которого только что приземлился и пошёл в столовую. Взлетели. До линии фронта — 300 километров. По ним стреляли немцы, потом — наши зенитки, Лошаков вновь был ранен. Приземлились в темноте на колхозном поле. Обоих арестовали сразу. СМЕРШ. Допросы. Иван Денисюк не выдержал, когда поставили перед выбором: либо признаешься, либо — расстрел. Подписал всё: изменник, перешёл на службу к врагу и т. д. Получил срок — 20 лет каторжных лагерей: обезвредили. Лошаков, сумевший сохранить даже партбилет, не подписал ничего. Ему за его подвиг дали «всего» три года лагерей. Реабилитирован только в 1959 году, хотя до этого 16 раз обращался в Верховный Совет СССР. Это судьба двух из тридцати тысяч, «обезвреженных» СМЕРШем в нашем тылу.

КУМИР

Интересный разговор произошёл однажды между Солженицыным и Варламом Шаламовым. Они познакомились в редакции журнала «Новый мир», где была напечатана повесть «Один день Ивана Денисовича», имя Солженицына гремело, слава его была ещё не всемирной, но уже всесоюзной, да и высшей властью он в ту пору был пригрет, выдвинут на Ленинскую премию, от которой, ненавидя Ленина, отказать не стремился. И вот ему-то Шаламов отдал свои рассказы для передачи Твардовскому. В сущ-

ности повторил то, что до него сделал сам Солженицын. Ведь в «Новый мир» повесть «Один день Ивана Денисовича» не Солженицын принёс, ему помогли. Был разработан план: по договорённости с Копелевым, с которым он вместе сидел в шарашке, повесть отнесла жена Копелева Раиса Орлова и доверительно передала своей близкой знакомой Асе Берзер. Анна Самойловна Берзер не занимала большого положения в редакции, но Твардовский доверял ей. И вот, минуя отдел прозы, минуя Дементьева, первого заместителя главного редактора, который наверняка стал бы на пути рукописи (он ещё будет отговаривать Твардовского печатать её), Ася Берзер, прочтя, отдала повесть из рук в руки Твардовскому. Таким образом достигались две цели сразу: рукопись без задержки попадала к тому, кто решал, а на случай, если бы вдруг дозналось КГБ, Солженицыну оставляли возможность отпереться: ничего, мол, я в редакцию не относил, ничего не видел, не слышал, ничего не знаю. Лагерный опыт: в повести «Один день Ивана Денисовича» рассказано, как эки воруют на стройке рулон толя, чтобы заслонить от ветра проём окна: хватится охрана, мы ничего не знаем, *так было*. Вот и Шаламов, обратился к недавнему сидельцу, к собрату: дело-то общее — рассказать миру о сталинских лагерях. Он только не догадывался в простоте душевной, что Солженицыну совершенно не требовалось, чтобы в сильном прожекторном свете славы, уже направленном на него и только на него, появился ещё чей-то силуэт, пусть не рядом, пусть в отсвете, сбоку где-то, но — мученик, отсидевший 19 лет в самых страшных лагерях и в ссылке, да ещё талантливо об этом написавший.

Вот разговор, записанный Шаламовым, теперь это вместе с неотправленным письмом к Солженицыну опубликовано в книге «Воспоминания» (издательство АСТ, М., 2003):

«Для Америки, — быстро и наставительно говорил мой новый знакомый, — герой должен быть религиозным. Там даже законы есть насчёт [этого], потому ни один книгоиздатель американский не возьмёт ни одного переводного рассказа, где герой — атеист или просто скептик или сомневающийся».

— А Джефферсон, автор Декларации?

— Ну, когда это было. А сейчас я просмотрел бегло (каково Шаламову было слышать это оскорбительное: не прочёл, а *просмотрел бегло*) несколько ваших рассказов. Нет нигде, чтобы герой был верующим».

Прервёмся. Кант писал: «Упование на Бога настолько абсолютно, что мы не можем вовлекать надежду на него ни в какие свои дела».

Продолжим. «Небольшие пальчики моего нового знакомого, — пишет Шаламов, — быстро перебирали машинописные страницы».

— Я даже удивлён, как это Вы... И не верить в Бога.

— У меня нет потребности в такой гипотезе, как у Вольтера.

— Ну, после Вольтера была Вторая мировая война.

— Тем более.

— Да дело даже не в Боге. Писатель должен говорить языком большой христианской культуры, всё равно — эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе».

Потом они познакомились ближе, Солженицын даже пригласил Шаламова к себе в гости, в Солотчу, и оттуда, послушав и увидев его близко, Шаламов бежал на второй день, до завтрака, тайком. В дальнейшем, в тетради 1971 года Шаламов записывает: «Деятельность Солженицына — это деятельность дельца, направленная на узко личные ус-

пехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности».

Возможно в этих резких определениях есть доля личного. Но поразительна по прозрению и глубине мысль в неотправленном письме Солженицыну, выделяю её: *«Я знаю точно — Пастернак был жертвой холодной войны, Вы — её орудие»*.

Книги Шаламова, его потрясающие «Колымские рассказы», разумеется, изданы в Америке, рекомендации не потребовалось.

А вот о том, что писатель должен говорить языком большой христианской культуры, говорить и соответственно поступать. Кто из писателей не получал писем и от читателей, и из библиотек с просьбой прислать свою книгу? Не припомню, чтобы кто-либо оповещал об этом народ. Но вот передо мной газета «Труд», на первой полосе — портрет Солженицына, не нынешний, а молодежавый, улыбающийся, тут же — текст письма учительницы сельской школы: она с величайшим почтением просит прислать одну из его книг, чтобы дети могли писать по ней сочинение. И — ответ Солженицына: посылает им экземпляр «Как нам обустроить Россию», поскольку все остальные книги он уже, мол, разослал по многочисленным просьбам. Писала учительница, разумеется, не в газету, ему лично, кроме него и близких никто знать об этом не мог, и вот это превратили в саморекламу, снабдив портретом. А ведь по библейским заповедям, по христианской морали если творишь добро, даже левая твоя рука не должна знать, что делает правая.

Восьмидесятипятилетие Солженицына отмечали широко, обходя по возможности последний его двухтомник «Двести лет вместе», как обходят на дороге то, во что лучше не вляпаться. Был срочно

снят новый телефильм о юбиляре, газеты, радио... По телевидению поздравлял его и желал долголетия Проханов, редактор одной из самых мракобесных газет, деятель нынешней компартии, летавший недавно в Лондон налаживать финансовые связи компартии с беглым олигархом Березовским. Ну не чудеса ли: поздравляет один из лидеров компартии. Так что же было раньше, свой своего не познаша? В письме к вождям Советского Союза, Солженицын требовал сбросить кровавую рубаху идеологии, но на тоталитарную власть в общем-то не посягал.

В «Известиях» — множество фотографий юбиляра, и — установочная статья, в которой сравнивают его с Львом Толстым, но на этот раз — не с художником, а с поздним Толстым, с проповедником, и в подтверждение вот такая любопытная подробность: «...говоришь — Толстой, и тут же понятно, от какой печки дальше плясать, в какую сторону двигаться, какой масштаб на карте задавать. То же и Солженицын. Недаром в своё время премьер Израиля Шимон Перес по приезду в Москву посетил первым делом два «объекта»: Дом-музей Толстого и Александра Солженицына. А после этого двинул на переговоры к Путину».

Прочёл я это и посмеялся в душе. Как раз перед приездом Шимона Переса в Москву позвонили мне из нашего министерства культуры и сообщили, что он (а был тогда Шимон Перес, к слову сказать, не премьером, а министром иностранных дел) хотел бы со мной встретиться. Мы одного возраста, но не знакомы и даже общих знакомых у нас, насколько я знаю, нет, почему он пожелал встретиться, не знаю. Но я ложился в больницу и от встречи вынужден был отказаться. Не могу сказать, было ли с самого начала запланировано три «объекта» или два, а один из них по ходу дела пришлось сменить, не знаю. Ну, а если бы Шимон Перес после Дома-музея Толстого

посетил меня — «Недаром!» — это что поставило бы меня на одну доску с Львом Толстым?

Даже заблуждения Толстого были заблуждениями гения, они пронизаны болью и покаянием, а тот, кого пытаются равнять с ним, занят самоутверждением и сводит, сводит счёты с теми, кто когда-то помогал ему и даже жизнь за него положил, как тот несчастный Вадим Борисов, который бросил своё дело, пошёл целиком в услужение Солженицыну, публиковал его книги в первые годы перестройки, а потом потребовали от него строгой бухгалтерской отчётности, которой и быть в те годы не могло, и обвинили его в мошенничестве, и он вскоре умер. Но и мёртвого, не способного себя защитить, чтоб и на его детей пал позор, Солженицын припечатал словом в своём ныне публикуемом «Зёрнышке», которое никак не затерялось «меж двух жерновов», а наоборот, эти жернова отлично сумело использовать: «Ошибку — можно простить и миллионную. Обмана — нельзя перенести и копеечного».

В прессе писали, что в ходе встречи Солженицын сообщил Пересу, что как раз закончил «Двести лет вместе», и первый том уже выходит или вышел в свет. Я читал эту книгу в больнице, времени было много, читал с карандашом, не спеша. Солженицын не любит евреев. Это его право, за это нельзя осуждать. Даже если ненавидит, даже если эта ненависть зоологического свойства. Ну и носи её, как камень в душе. Но слово, и сказанное и написанное, есть дело, в начале всех дел, и дел кровавых, было слово.

В дальнейшем, когда выйдет и второй том, появится статья, недопустимая по тону, но верная по существу, эпиграфом к ней взяты слова Фейхтвангера: «Не каждый подлец — антисемит. Но каждый антисемит — подлец». Это так же верно, как то, что каждый русофоб — подлец. И подлец каждый,

кто ненавидит татар потому, что они — татары. А если есть отличие, так в том, что евреев преследуют уже две тысячи лет. Их проклинали и в католических храмах, и в церквях, насильственно обращали в христианство, а у тех, кто вернулся к своей вере, отбирали детей. В статье «Христианство и антисемитизм» Николай Бердяев писал: «Еврейский вопрос есть испытание христианской совести и христианской духовной силы. В мире всегда были и сейчас есть две расы, и это деление рас важнее всех остальных делений. Есть распинающие и распинаемые, угнетающие и угнетённые, ненавидящие и ненавидимые, причиняющие страдание и страдающие, гонители и гонимые. Не требует объяснений, на чьей стороне должны быть настоящие христиане». Католическая церковь давно уже принесла извинения за все гонения и зверства, которые она творила на протяжении веков, сняла с евреев навет. Вот на таком фоне вышел первый том, как сказано, исторического исследования Солженицына «Двести лет вместе», в нём — в завуалированной форме то, что многие годы он носил в душе. Впрочем, как выяснится позднее, главное, не скрывая, не вуалируя подлинных чувств, со всей яростью написал он ещё в 65-м и 68-м годах, но расчёт подсказал: не время, впереди, пока ещё в мечтах, в тумане, засветила Нобелевская премия. И терпел, ждал, а ныне публикует, дескать, потому, что многое из этого открылось ему, когда он писал главную свою глыбу «Красное колесо», но не вместились: шил костюм-тройку, осталось материала ещё и на кепочку, не пропадать же. Вот этой фальшью предварил он книгу в первом же интервью, ею и пронизана вся книга.

Как историческое исследование книга совершенно ничтожна и не заслуживает подробного разбора, да у меня и желания на это нет, времени — тем более... За две тысячи лет изгнания и рассеяния написа-

ны тонны книг, скрыто и открыто клеймящих «проклятую эту расу», имена большинства авторов забыты, на некоторых так и осталось клеймо позора. Ну, прибавилась ещё одна, ещё один автор прославился несмываемо. Возможно, по прошествии лет, именно она и сохранится в упоминаниях из всего его наследия. Не идёт она в сравнение и с «Протоколами сионских мудрецов», то было — высокопрофессиональное творение царской охраны, даже император Николай II, поначалу воспринявший его с душою, вынужден был отказаться, когда Столыпин предъявил доказательства, что перед ними — фальшивка. И император, носивший значок «Черной сотни», начертал гневную резолюцию: чистое дело, мол, не делают грязными средствами. Нет, это не «Протоколы»: и труба пониже и дым пожиже.

Между прочим, на просторах, ставших в дальнейшем Российской империей, евреи встречались и ранее этих избранных двухсот лет, имена некоторых остались в истории. И были племена, например тюркское племя хазар, могущественное Хазарское царство со столицей Итиль в низовьях Волги, власти которого приняли иудаизм ещё в VIII веке. Вот как хазарский царь Булан избирал веру, решив отказаться от идолопоклонства. Он устроил в своём присутствии диспут трёх религий: мусульман, христиан, прибывших из Византии, и иудеев. Ничего толком не поняв из их споров, где каждый хвалил свою веру, Булан поступил просто: он призвал к себе поодиночке христианина, потом мусульманина. Христианина спросил: если бы тебе предстояло выбрать иудейскую или мусульманскую религию, какую ты бы выбрал. «Иудейскую», — сказал христианин. И обосновал так: она была дана избранному народу самим Богом, но Бог же потом отверг этот народ за грехи. Спросил царь Булан мусульманина, какую бы он выбрал религию, христианскую или иудейскую, если бы ему пред-

ставилось выбирать. «Иудейскую», — сказал мусульманин. А христианская потому для него плоха, что позволяет есть нечистое (свинину) и молиться изделиям человеческих рук: иконам. И царь выбрал иудейскую веру, так сказать, по большинству голосов. Два столетия (это теперь нам кажется, что они мелькнули, а тогда, как сегодня, каждый день от утра до вечера был долг), два столетия хазарские правители распространяли свою власть на юго-восточную полосу позднейшей европейской России, владели территорией прежнего Боспорского царства, т.е. территорией Керчи, Тамани, совершали набеги на славянские племена по южному Днепру, обкладывая данью. Помните: «Как ныне сбирается вещий Олег / Отмстить неразумным хазарам: / Их сёла и нивы за буйный набег / Обрёл он мечам и пожарам....»?

Но всё это — дела давно минувших дней, автором взяты двести лет от того раздела Польши, когда к России прибавилась часть её восточных, а для нас — западных земель, населённых в основном католиками, православными, а с ними — и семьсот тысяч евреев, живших в местечках и сёлах. Их предков пригнали сюда из Западной Европы крестоносцы в годы трёх крестовых походов: отправляясь защитить гроб Господень от мусульман неверных, они по ходу дела прежде всего грабили и убивали неверных иудеев в своих странах: в прирейнских областях тогдашней Франции, Германии, уничтожали их и насильно крестили. Солженицын пишет, проявляя поразительное невежество («образованщину», если говорить его языком): «...в «дикие» Средние века люди могли массово убивать только в приступе ярости, в жаре битвы». Какая уж тут битва? Это было избиение вооружёнными ордами беззащитных людей. И ужас пред ними был так велик, что матери в отчаянии сами убивали своих детей, следом — себя. Но на отдалении веков, всё это ныне живущим не

больно. Возьмём поближе. После Второй мировой войны, когда англичане по требованию Сталина выдали нам пленных казаков, выдали вместе с семьями, одна казачка побросала с моста двоих своих детей в Драву, а потом бросилась сама. Может потому, что фронт наш проходил вблизи этих мест и знаю эти места, вижу, как отрывала она от себя детей, как котят, а они цеплялись за неё в страхе, а она одного за другим кидала их в кипящий поток, прежде чем самой туда кинуться. Матери есть матери и дети есть дети, чьи бы они ни были. И страх, и боль, и смерть — едины.

Именно в годы крестовых походов, спасаясь, бежала часть евреев на Восток: в Венгрию, в Польшу. Как уж им там жилось, другой вопрос, но в состав России они не просились, их присоединили. И тут же прочертили черту, за которую им и ногой ступить не разрешалось: черту оседлости. Если взглянуть исторически, то ясно, что никогда никакая черта не сдерживала расселения народов, даже океаны не становились преградой, древние на плотах, как доказано Туром Хейердалом, переплывали их. Не помешала и черта оседлости тому, что неминуемо. Уже Николай I, не дав никаких прав, повелел призывать в армию евреев, выдёргивать их оттуда, из-за черты. Брали и 12-13-летних детей, хватали и восьмилетних и гнали этапом, и были это в основном дети бедноты, кто побогаче, откупался: в России и прежде, и ныне взятка — мать порядка.

Один такой этап встретил Герцен по дороге в Вятку, куда он был сослан. За чашкой чая в избе он спросил этапного офицера:

«— Кого и куда вы ведёте?

— И не спрашивайте, индо сердце надрывется; ну да про то знают першие, наше дело исполнять, не мы в ответе, а по-человеческому некрасиво.

— Да в чём дело-то?

— Видите, набрали ораву проклятых жиде-
нят с восьми-девятилетнего возраста. Во флот что
ли набирают — не знаю. Сначала было их *велели*
гнать в Пермь. Да вышла перемена, гоним в Казань.
Я их принял вёрст за сто; офицер, что сдавал, гово-
рил: «Беда да и только, треть осталась на дороге (и
офицер показал пальцем в землю). Половина не
дойдёт до назначения, — прибавил он.

— Повальные болезни что ли? — спросил я,
потрясённый до внутренности.

— Нет, не то, чтоб повальные, а так мрут, как
мухи... ну, покашляет, покашляет и в Могилёв.
И скажите, сделайте милость, что это им далось, что
можно с ребятишками делать?

Я молчал.

— Вы когда выступаете?

— Да пора бы давно, дождь был уж больно
силён... Эй ты, служба, вели-ка мелюзгу собрать!

Привели малюток и построили в правиль-
ный фронт; это было одно из самых ужасных зре-
лищ, которые я видал... Мальчики двенадцати, три-
надцати лет ещё кой-как держались... но малютки
восьми, десяти лет... Бледные, изнурённые, с испу-
ганным видом, стояли они в неловких, толстых сол-
датских шинелях с стоячим воротником. Обращая
какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гар-
низонных солдат, грубо ровнявших их; белые губы,
синие круги под глазами — показывали лихорадку
или озноб. И эти больные дети без уходу, без ласки,
обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует
с Ледовитого моря, шли в могилу.

И при том, заметьте, что их вёл добряк-офи-
цер, которому явно жаль было детей».

Разумеется, такого свидетельства в «равно-
весном» историческом исследовании Солженицына
мы не встретим, а встретим, например, статистиче-
ские данные, процентное соотношение количества

евреев в армии в 1903 и 1904 годах. В 1904 году их в армии стало меньше: началась война с Японией, не хотели, мол, идти на войну, защищать родину. И будто невдомёк исследователю, что 1904-му предшествовал страшный Кишинёвский погром 1903-го года. Но то, что непонятно, а, верней, сознательно обойдено нашим историческим мыслителем, понимал, например, герой Первой мировой войны русский генерал Брусилов. В книге «Мои воспоминания», впервые полностью изданной у нас в 2001 году издательством РОССПЭН, Брусилов пишет: «Несколько слов также об еврейском вопросе в войсках. Думаю, что эти слова будут безусловно нелицеприятны, ибо у меня нет пристрастия к этому племени ни в хорошую ни в дурную сторону, а во время войны я их, как воинов всесторонне изучил... Во время стояния на Буге, при объезде мною позиций, в одном из полков мне был представлен разведчик-еврей, как лучший не только в этом полку, но и во всей дивизии. Он находился в строю с начала кампании, доблестно участвовал во всех сражениях, три раза был ранен и быстро возвращался в строй без всякого понуждения, брался за самые рискованные и опасные разведки и прославился своей отвагой и смыслённостью. В награду получил 4 георгиевские медали и 3 георгиевских креста, заслужил также и георгиевский крест 1-й степени, но корпусной командир мне доложил, что ввиду запрещения производства евреев в подпрапорщики он не рискует представить его к этой высокой награде, так как она сопряжена с обязательным производством в подпрапорщики. Хотя по заслуженным им наградам этот разведчик давно должен был бы произведен в унтер-офицеры, но всё ещё состоял рядовым... Понятно, что я обнял и расцеловал его перед строем и тут же, хотя и незаконно, произвёл его прямо в подпрапорщики и навесил ему крест 1-й степени».

Приводит Брусилов ещё и другой подобный пример, и хотя и пишет, что «большая часть евреев были солдаты посредственные», общий вывод боевого генерала таков: «Из этих двух примеров видно, что евреям в сущности не из-за чего было распинаться за родину, которая для них была мачехой».

Но мы отделились от Николаевской эпохи. А тогда, по утверждению историка Дубнова, в армии евреев в процентном отношении к населению служило больше, чем любой другой народности, в том числе — и русских. Там же их и крестили насильно. А срок службы был 25 лет. Кстати, напомним — я уже об этом писал, — дед адмирала Нахимова, разгромившего турецкий флот в Синопском сражении, героя Севастополя, где он погиб, где установлен ему памятник а в 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены ордена и медали Нахимова 1-й и 2-й степени, орденами награждали флотоводцев за выдающиеся операции, матросов — за героизм, и есть нахимовское морское училище, так вот дед будущего адмирала Нухим был местечковый сапожник, а отца его, двенадцатилетнего кантониста, крестили: был Самуил, стал Степан. Потомки Нахимова живы поныне, носят его славную фамилию: это от его невенчанной жены Рахили, которая отказалась креститься, и её изгнали с детьми из их поместья в Курской губернии, когда адмирал умер. Но мы опять отвлеклись, хотя история, это не оструганный телеграфный столб, а живое дерево со множеством разросшихся в стороны ветвей.

Так вот при Николае I, отслужив 25 лет, солдат из евреев получал право (при Александре III это право было отменено) не возвращаться в черту оседлости, а выбирать в России место для жительства там, где ему захочется, селились и в Москве, в Мещанской слободе. Вам это ничего не напоминает из наших недавних времён? При советской власти кре-

стьяне, которые в революцию сражались «за землю, за волю, за лучшую долю», а потом вновь были закрепощены, тоже ведь, по сути дела, жили за чертой оседлости, беспаспортные, не имевшие права без разрешения покидать место жительства. Но, отслужив в армии, солдат мог не возвращаться туда, за черту.

За двести лет, избранных Солженицыным, если верить ему, евреи-шинкари споили русский народ. Ну, а раньше на Руси не пили? Издав в 1700 году указ праздновать Новый год с 1-го января Пётр I предупреждал строго: «...пьянства и мордобоя не учреждать, на то есть другие дни». И дней этих было так много, что ещё в 1648 году в Москве, а потом и в других городах вспыхнули кабацкие бунты, войска вызывали на подавление. А содержали кабаки православные люди, целовальники, никаких шинкарей тогда не было, они крест целовали на том, что, беря торговлю водкой на откуп, торговать будут честно. И вскоре треть населения была у них в долгу. Несли из домов последнее, под Москвой забросили огороды, переставали пахать землю. Царь Алексей Михайлович, второй по счёту в династии Романовых, вынужден был созвать в 1654 году собор, который так и назывался: собор о кабаках. И учредили: православным пить не больше 180 дней в году, чарками, и вместимость чарок была отмерена, а в остальные дни не пить. Но казна требовала денег, и через семь лет всё это забылось. А пьяные бюджеты советских лет? А в наши дни, при Ельцине, когда церковь, став в один ряд с афганцами и спортсменами, добилась себе права беспощинно ввозить в страну водку и табак, спаивать и травить зельем свою паству?

Всё это Солженицын знает, невозможно представить себе, чтобы настолько не знал он историю России, но где умолчанием, а где и с возмуще-

нием горестным подплёскивает керосинцу в огонь нетленный. И метод избрал изощрённый: чужими руками. Выбирает из двух энциклопедий, из публицистики, всё то плохое, что евреи сами про себя пишут, оставляя себе возможность вроде бы даже поразиться и укоризненно покачать головой — ай-я-яй! — да комментариями соответствующими направить мысль читателя в нужное русло.

Если из великой русской классической литературы выбрать нужные места, страшная составит картина. А тот же «Матрёнин двор», написанный Солженицыным, когда он ещё был художником. Или так, например: если бы «Пышку», где представлено всё французское общество в разрезе — аристократы, буржуазия, церковь святая в лице двух монашенок, а людьми-то среди них оказались на поверку только проститутка, судомойка да немецкий солдат-оккупант, если бы всё это написал не француз Мопассан, а, скажем, капитан Дрейфус, это бы пристегнули к его обвинительному заключению.

А ещё Солженицын любит цитировать выкрестов. Я имею ввиду не тех, кого насильственно окрестили, и для верующих отступничество стало мукой на всю жизнь, и не тех, кто по убеждению стал православным или мусульманином, или из православия перешёл в иудаизм, а тех, кто продался, добровольно пошёл служить. Вот уж кто ненавидит свой народ, вот уж кто, зная по себе, способен выворотить наружу все его пороки! И ненависть эта понятна, иначе как же ты, предатель, очистишься? Вот и в эту войну самыми жестокими карателями были полиция.

И всё же самое постыдное, что Солженицын оправдывает погромы: если, мол, разобраться беспристрастно, то жертвы сами вызвали на себя гнев народный. И высчитывает, и выискивает по разным

источникам, что не столько-то было убито и изнасиловано, как сообщалось, а меньше, вот столько-то, а при вот этом погроме вообще только одноглазому еврею выбили гирькой второй глаз. Всего лишь.

Человек, который в наши дни, после того, как фашистами был учинён вселенский погром, в ходе которого уничтожено полтора миллиона детей, способен после этого оправдывать толпу, жаждущую крови, идущую безнаказанно убивать и грабить тех, кто и защититься не может, такой человек — вне морали.

В ноябре прошлого года отмечали 40-летие с того дня, когда в «Новом мире» была напечатана повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». О редакторе «Нового мира», о Твардовском, а это он её напечатал, не упоминалось, называли другие имена. Дело известное: у победы много отцов, поражение — сирота. Впрочем, в одной из газет всё же было сказано: 11 ноября Твардовский подписал в печать номер журнала. Как о техническом работнике: ему поручили, он подписал. Ещё двадцать лет назад в интервью Би-би-си Солженицын говорил: «Совершенно ясно: если бы Твардовского не было как главного редактора журнала — нет, повесть эта не была бы напечатана». В этом же интервью он признавал, что и «Архипелаг ГУЛАГ» не был бы написан, если бы не появился и люди не прочли «Один день Ивана Денисовича»: «Он в моей биографии сыграл ту большую роль, что помог написать «Архипелаг». Из-за того, что я напечатал «Ивана Денисовича» — в короткие месяцы, пока меня ещё не начали гнать, сотни людей стали писать ко мне письма. А некоторые и приезжать и рассказывать ещё. И так я собрал неописуемый материал, который в Советском Союзе и собрать

нельзя, — только благодаря «Ивану Денисовичу». Так что он стал как бы пьедесталом для «Архипелага ГУЛАГа».

Но прошло ещё двадцать лет, и Твардовского в его судьбе как не бывало.

Итак, в общей сложности минуло 40 лет. Это значит, между прочим, что те, кому сейчас сорок, в ту пору только родились на свет. А те, кому пятьдесят, кто уже нет-нет, да и о пенсии начинают подумывать, тем в ту пору было только десять лет. Не ими то время пережито, откуда им что знать? Но автор повести, который в дальнейшем стал за неё лауреатом Нобелевской премии, а в ту пору — никому ещё не известный автор, он знает и помнит, как всё было, как в дальнейшем за эту повесть травили Твардовского, раньше срока свели в могилу. Но теперь, спустя ещё двадцать лет, Солженицын промолчал о Твардовском: его вспоминать, себя умалять. Зачем? И молчанием своим удостоверил всю эту ложь. А ведь именно он, Солженицын, говоря уродливым современным языком, бросил слоган: «Жить не по лжи».

Достоевский говорил: мы не прощаем не тех, кто нам причинил зло, кто перед нами виноват, мы не прощаем тех, перед кем мы виноваты. Вот их не прощаем. Да и вообще, долго носить в душе благодарность, делиться с кем-либо славою, обременительное это дело. Иван Денисович из одноимённой повести, не философствуя, а по своему голодному лагерному опыту рассуждал просто: «Брюхо-злодей добра не помнит».

А куда, как не в «Новый мир» в ту пору можно было отдать повесть? Во главе журнала «Октябрь» — Кочетов, известный мракобес. «Знамя» возглавлял Кожевников. Он, как уже говорилось, любил литературу, но — тайною любовью. Ленинградские журналы? Они ещё не отошли от

страха после разгрома журналов «Звезда» и «Ленинград», после того, что учинили над Ахматовой и Зощенко.

А в «Новом мире» при Твардовском печаталось всё самое талантливое, что составило славу нашей литературы. И Юрий Трифонов напечатал здесь свои лучшие повести. (Потом, когда Твардовского сняли с поста главного редактора, Трифонов перешёл в «Дружбу народов»). И Владимир Тендряков. И Василий Шукшин печатал здесь свои рассказы. Вообще большинство так называемых деревенщиков начинало и состоялось в «Новом мире»: и романы и повести Фёдора Абрамова, и роман Бориса Можаева «Из жизни Фёдора Кузькина». Здесь печатали свои повести Василь Быков, Георгий Владимов, здесь напечатана была «Блокадная книга» Алексея Адамовича и Даниила Гранина, которую со страхом отвергли ленинградские журналы. Здесь начинал, окреп и получил мировую известность Чингиз Айтматов. Как он за всё за это отблагодарил Твардовского, я уже писал. Здесь напечатана была лучшая, на мой взгляд, книга Фазиля Искандера: «Созвездие Козлотура».

В поэзии Александр Трифонович был переборчив, многие, особенно молодые поэты, имели основание обижаться на него. Например, он мог напечатать бездарную длиннейшую так называемую поэму на производственную тему, заткнуть ею брешь. Но автор оказался ещё и несговорчив, не соглашался сокращать свою рифмованную газетчину. Тогда Твардовский сказал ему: «Вот если бы вам самому пришлось высекать это на камне, вы бы сами сократили всё до минимума». А целую ветвь молодой поэзии, которой суждено было будущее, он не замечал, ему это было не по вкусу. Но лучшая проза печаталась здесь, в «Новом мире». При Твардовском журнал стал

центром притяжения, центром духовной жизни общества. Сюда стремились.

И вот — повесть «Один день Ивана Денисовича». Твардовский прочитал её за ночь. И решил: голову положу, но напечатаю. Писатель, если это не ремесленник, а художник, не может не написать то, что в нём родилось и зреет и само просится на свет. Талант сильнее страха, он преодолевает. Да, бывали случаи, когда художник, поддавшись соблазнам, задавливал в себе своё дитя, и в нём погибал и художник, и человек.

Твардовский был редактор, гражданин, но прежде всего он был художник. Он знал: ни руководство Союза писателей, ни в ЦК ни на одном из этажей, где решалось всё и вся, его не поддержат. Скорей — утопят. Он написал предисловие к повести, тем самым прикрывая её своим именем, и обратился к Хрущёву через его помощника Лебедева, постучался, как сам говорил, в те двери, которые менее всего для этого отверзаются.

Из дней нынешних, когда целый пласт истории забыт, всё это может показаться удивительным: а чего, собственно говоря, было опасаться? После доклада Хрущёва на XX съезде, после разоблачения «культ личности» такая повесть была Хрущёву как раз в масть. Но это — из дней нынешних, мы все умные и смелые потом. А на дворе был ещё только 62-й год, всего девять лет минуло со дня смерти Сталина, мёртвый ещё крепко держал в закованном кулаке души живых, а соратники его были расставлены повсюду, сидели на своих местах. Сегодня Хрущёв разоблачает «культ», а завтра, созвав, так называемую, творческую интеллигенцию, стучит кулаком по столу и, налившись кровью, кричит: в отношении к искусству я — сталинец! Да что там говорить, когда свою речь на XX съезде Хрущёв не решился или не дали ему напечатать. А после XX съезда за шесть лет

сложилась и окрепла оппозиция, уже время начало двигаться вспять. И вот в такую пору Твардовский, прикрыв собой, посылает ему повесть Солженицына.

В «Рабочих тетрадах» Твардовского, которые сейчас печатают, рассказано, как тянулись дни и месяцы ожидания, как вдруг позвонил на дачу Лебедев, сказал: повесть разрешена. И Твардовский кинулся к Марии Илларионовне, жене своей и сподвижнице, а она слышала весь разговор по другой трубке, и расцеловал её, не сдержав слёз. Дорогого стоит, когда человек способен радоваться за другого, как за самого себя. Но страшны люди, не ведающие благодарности. Особенно те, кто в мессианском своём сознании уверены: все живущие уже за одно то должны быть благодарны им, что удостоились жить в одну с ними пору.

Помню, прочёл я в «Новом мире» повесть «Один день Ивана Денисовича» и тогда же написал о ней, это была первая рецензия в «Литературной газете». Потом мне это припомнят. А тогда встретил меня случайно Твардовский в Доме литераторов и говорит: конечно, рецензия ваша не сильна аналитическим анализом, но — спасибо. В дальнейшем, когда ветер переменился, и глава Союза писателей беспартийный Федин заколебался вместе с линией партии, Твардовский стыдил его несколькими фразами из той моей рецензии, это есть в его собрании сочинений.

Повесть Солженицына буквально произвела взрыв в общественном сознании. Верней сказать так: общество созрело, ждало, и в этот-то момент она явилась. Но пока её хвалили у нас, и вслед за журналом срочно выпустили книгой, а ещё и в «Роман-газете» — тиражом в несколько миллионов экземпляров, за границей отнеслись к ней весьма сдержанно. Но вот согнали Хрущёва с поста, оста-

вив под надзором заниматься огородом на отведённой ему даче, а во главе партии стал Брежнев. И развернулась травля Солженицына, травля «Нового мира» и, разумеется, Твардовского.

Финский издатель Ярль Хеллеман, он году в шестидесятом издавал мою повесть «Пядь земли», в дальнейшем мы подружились, так вот он рассказывал, как они первоначально издали «Один день Ивана Денисовича» пробным тиражом в 3 тысячи экземпляров, и больше половины этого тиража, не раскупленной, осталась лежать на складе: это для вас, говорил он, — новость, а у нас про всё, что здесь рассказано, давно известно. Но тут вы нам помогли: начался шум в газетах, и мы сразу переиздали её тиражом в 20 тысяч. И всё раскупили. То же самое рассказывал мне шведский издатель Пэр Гедин, он издавал две мои книги. Кстати, подробность из тех времён: приехал он в Москву, садимся у меня дома обедать — звонок из ВААП, то есть из Всесоюзного агентства по охране авторских прав. Никаких авторских прав оно не охраняло, поскольку никаких прав мы не имели. Был там заместитель главы агентства, штатский, но бывший СМЕРШевец, он имел звание то ли полковника, то ли генерала ведомства, пронизавшего всю страну. «У вас сейчас Пэр Гедин. Он собирается издавать Солженицына. Так вы скажите ему: либо Солженицын, либо девять тысяч советских писателей!» — «Да не нужны ему девять тысяч советских писателей» — «Нет, вы ему так и передайте!». И не сомневается, что «девять тысяч советских писателей» у него — в горсти. Это и называлось охраной авторских прав. Я пообещал: непременно вот так и передам. Между прочим, читающий человек в среднем успевает прочесть за свою жизнь 4 тысячи книг.

А издавал в это время Пэр Гедин «Архипелаг ГУЛАГ», он и рассказал мне, как приехал к нему

вести деловые переговоры Солженицын, высланный из СССР и свободно перемещавшийся по странам, как уединились они в кабинете, и Солженицын потребовал, чтобы всех «weg!». А была в доме большая черная собака с отрубленным хвостом, «Каналья», старая и по старости ласковая ко всем, в том числе — к гостям. Не лишённый юмора Пэр спросил: «И Каналью тоже weg?» (говорили они по-немецки). «Weg!». И такого страху гость этот нагнал на всех, что когда дочь Пэра Марийка внесла на подносе чай и печенье, руки у неё тряслись, она уронила чашки с горячим чаем Солженицыну на колени.

Наша пропаганда, бессильная в своей ярости, бессильная потому, что вылетел птенчик из гнезда — вышла в «Новом мире» повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», очень и очень наша пропаганда помогла Нобелевскому комитету сделать свой выбор. И это не впервые. Великого поэта Пастернака выставляли и раньше на Нобелевскую премию, но дали премию только после романа «Доктор Живаго», который у нас подвергся уничтожению. А выйди он спокойно книгой, равным счётом ничего бы не сотряслось. Поэты вообще редко пишут хорошую прозу. Речь, конечно, не о Пушкине, не о Лермонтове. «Герой нашего времени» — это начало психологической русской прозы.

Твардовский умер от рака. Известнейший немецкий онколог и хирург Райк Хамер, обследовав более 20 тысяч больных разными формами рака, пришёл к выводу, что у всех этих людей незадолго до начала заболевания имел место какой-то сильный стресс, эмоциональный конфликт, который им не удалось разрешить.

Тем не менее, когда чета Солженицыных вернулась из Вермонтского поместья на родину, встреченная с величайшим энтузиазмом, раздалось вскоре из семьи: а что, собственно говоря, «Новый

мир» сделал для Солженицына? Напечатал три рассказа. И то название одного из них пришлось изменить, потому что Твардовский не ладил с Кочетовым: назывался рассказ «На станции Кочетовка», а пришлось назвать «На станции Кречетовка». Выходит, ещё и пострадали. И это сказано было вслед уже ушедшему из жизни Твардовскому. Недавно младшая дочь Александра Трифоновича Оля сказала мне: «Я всё думаю: за кого отец взошел на костёр...».

Итак, прошло сорок лет с того дня, когда в «Новом мире» была напечатана повесть «Один день Ивана Денисовича», сыгравшая такую роль в судьбе Солженицына. Это, повторяю, — лучшее из всего, что им создано. Да ещё, пожалуй, — написанный с натуры «Матрёнин двор». И опять сошлюсь на Достоевского, он писал: «Прежде надо одолеть трудности передачи правды действительной, чтобы потом подняться на высоту правды художественной». В рассказе «Матрёнин двор» — правда действительная, в маленькой по размеру повести «Один день Ивана Денисовича» автор смог подняться до высоты правды художественной. И потому она останется. Конечно, останется «Архипелаг ГУЛАГ». Не вина автора, что сегодня у этой книги не много читателей, в ту пору, в пору холодной войны, она сыграла свою роль, да и написана сильно. Безразмерное «Красное колесо», главный труд его жизни? Рассказывают, вернувшись в Россию, автор заявил: эта книга должна лежать у каждого на столе. Не знаю, насколько это достоверно, хотя самооценке и характеру автора соответствует. Но вот покойный ныне Владимир Максимов писал: это не просто провал, это сокрушительный провал. Я читал первый «узел», «Август четырнадцатого года», в рукописи, когда там ещё не было тех 300 страниц об убийстве Столыпина и обо всём, что с этим в его трактовке связано. И после «Ивана Денисовича», дышавшего

живой жизнью, показалось мне всё это натужным, очень литературным и просто скучным. Но когда в годы перестройки труд этот был у нас издан, я стал читать его заново. Нет, не художник писал это и не историк, а грозный судия, на каждой странице — перст указующий: быть посему! Истории отныне быть такой, как я начертал и всем вам знать предписываю. Впрочем, кто только не насиловал историю, кто не пригибал её в свою сторону, по каким лекалам её не кроили. И пока медленно продвигался я от «узла» к «узлу», всё мне бессмертный Гоголь нет-нет да и вспомнится: как въехал Чичиков в губернский город NN и «два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся более к экипажу, чем к сидевшему в нём. «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет» — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой».

В недавней своей статье «Потёмщики света не ищут» (Кто — потёмщики? Кто — свет?) Солженицын писал озабоченно: «Но вот сейчас явно избранно: опорочить меня как личность, заляпать, растоптать само моё имя. (А с таймой надеждой — и саму будущую жизнь моих книг?)». О личности разговор ещё продолжится, а что касается книг... Ему ли не знать, что это невозможно. Весь пропагандистский аппарат второй сверхдержавы мира был брошен на то, чтобы растоптать маленькую его повесть «Один день Ивана Денисовича». И что, каков результат? И книга, и автор всемирно прославились, автор был удостоен Нобелевской премии. И сейчас, когда прошли десятилетия и времена переменились, книга жива, потому что она талантлива, она включена в школьные программы наряду со многими запрещёнными при советской власти книгами.

Разумеется, политическое значение её, эхо того взрыва отлетело, если бы сегодня постучались ею в дверь Нобелевского комитета, очень может быть, дверь приоткрылась бы на цепочку, не более: «Вам кого?». Будущая жизнь книг неподвластна ни «сверхусильному напору» (выражение Солженицына — Г.Б.) авторов, ни суждениям современников, ни властителям, она — во власти Времени. И только Времени.

Роман «Раковый корпус» я читал в рукописи, т.е. напечатанный на пишущей машинке, на тонкой бумаге, через один интервал. Запрещённая рукопись, которую дают тебе на ночь, максимум — на две ночи, имеет особую силу притяжения. Но не скажу, чтобы «Раковый корпус» поразил меня, с «Иваном Денисовичем» равнять его было нельзя. Но уже разворачивалась травля Солженицына, собралась секция прозы Московского отделения Союза писателей, я пришёл на заседание, назвал позором, что книгу эту не разрешают печатать, сказал Солженицыну (он сидел за маленьким столом президиума, я стоял рядом), что какие бы гонения ни ждали его впереди, ему ещё многие позавидуют. Хотел ещё что-то сказать, да забыл. «Говорите, говорите!» — попросил он.

В годы перестройки, будучи редактором журнала «Знамя», я хотел напечатать «Раковый корпус», вспомнив всё это, но Солженицын отдал его в «Новый мир» Залыгину, который в годы гонений, подписал то палаческое письмо в «Правде» против него и Сахарова. Чем руководствовался автор романа, не знаю, возможно, обнаружилось родство душ.

И совсем по-другому читал я роман «В круге первом», произвёл он сильное впечатление. Но вот — перестройка, роман издан. Помню, пошёл я на почту, достаю журнал и не удержался, раскрыл, прочёл тут же первые строки:

«Кружевные стрелки показывали пять минут пятого.

В замирающем декабрьском дне бронза часов на этажерке была совсем тёмной».

Да у Чехова — тень мельничного колеса и блестит осколок бутылки, вот и вся она зримо — лунная ночь. Классическая русская литература — прекрасная школа. И всё равно как точно, кратко написан замирающий декабрьский день. Но чтоб не портить впечатления, закрыл журнал, прочту дома. И шёл-спешил. Но чудо не повторилось, чем дальше читал, тем больше поражался: да это же соцреализм, типичный по всем приёмам — соцреализм, хотя содержание совершенно немыслимое для соцреализма. И вообще, возможен ли роман без женщины, без любви? Ах, какие женщины в русской литературе! Правда, что «есть женщины в русских селеньях». Не будем касаться Льва Толстого, это совсем другое измерение: Наташа Ростова, Анна Каренина, Бетси Тверская, Элен Безухова... Но — Аксинья, Дарья, Наталья, Ильинична в «Тихом Доне» в совершенно другую эпоху и в другой среде. А у Булгакова! Да что говорить... Впрочем, какие женщины, когда — «шарашка», когда корпус, где люди умирают от рака. Но у этих людей было прошлое, а на краю жизни ещё сильнее, трагичней и ярче вспыхивает любовь, если автор наделён не только даром бытописателя, но и даром художественного воображения, даром сочинителя в самом высоком смысле этого слова. Художественной фантазии, необходимой романисту, Солженицын, к сожалению, лишён, так называемых исторических его исследований касаться не будем, там фантазии через край. Роман — не его жанр, этого ему не дано.

Итак, минуло сорок лет с тех пор, когда вышла повесть «Один день Ивана Денисовича». Воз-

можно, автору казалось, что это — его начало, главная его книга впереди. А это была его вершина.

И вот — второй том «Двести лет вместе». Попробовал читать начало, прочёл главу о войне — основная, чуть завуалированная цель — доказать, что евреи если и воевали, то не на передовой, гуще их обреталось в тылу, а поскольку в народе сложилось убеждение, что основная масса евреев «взяла с бою Ташкент и Алма-Ату», то, назидает он строго, к этому *надо прислушаться*. Но убеждения, представления народов друг о друге не сами складываются, их внушают, и книга Солженицына из того разряда, задача её — внушить.

В фашистской Германии, во времена Гитлера, внушалось, что злостные виновники всех бед — евреи, и большинство населения это приняло, кто молча одобрял, а кто и с трибун: и погромы, и депортацию, и «окончательное решение еврейского вопроса». *Надо прислушаться?* А когда у нас шли процессы над «врагами народа» и тысячи тысяч наших сограждан под барабанный бой пропаганды выходили на демонстрации, неся плакаты: «Уничтожить гадину!», и к этому ныне *надо прислушаться?* А когда брошен был лозунг уничтожить кулаков, как класс, и по команде сверху односельчане, как могли, способствовали, по ходу дела разграбляя и присваивая чужое добро, к этому мнению народному тоже *надо прислушаться?* И десять миллионов человек были высланы на погибель за Урал, на Север, в болота. И тоже лауреат, верней — будущий лауреат Нобелевской премии Шолохов, освятил всё это истребление своей книгой «Поднятая целина», которую многие поколения покорно изучали и в школе, и в институтах.

Повторяю, народы знают друг о друге в первую очередь то, что им внушают. Так было и две и три тысячи лет назад, так точно и сегодня, когда

мир, казалось бы, распахнут для всех, кто хочет видеть и знать.

Солженицын пишет: «Советский источник середины 70-х приводит данные о национальном составе двухсот стрелковых дивизий с 1 января 1943 по 1 января 1944 в соотношении с долей каждой национальности в общем населении СССР в старых границах. В этих дивизиях на указанные даты евреи составляли соответственно — 1,50% и 1,28%, при доле в населении 1,78%» (на 1939 г.). Но если взять, например, национальный состав ополченческих дивизий, «в соответствии с долей каждой национальности в общем населении СССР», скажем, ополченческих дивизий Москвы, Ленинграда, то есть людей, не призванных в армию, а добровольно идущих на войну защищать свою родину, боюсь, Солженицына ждут здесь большие огорчения. Вообще же можно найти стрелковые дивизии, где евреев было ещё меньше, чем 1,50% и 1,28%, можно найти стрелковые дивизии, где евреев было значительно больше, можно найти стрелковые дивизии, где, призванные из республик Средней Азии солдаты составляли едва ли не половину. Директор музея обороны «Сталинградская битва», военный историк Борис Усик утверждает, что в дивизиях, сражавшихся под Сталинградом, солдаты, призванные из Средней Азии и с Кавказа, составляли более половины. Да разве поверят в это, хоть архивные документы к глазам поднеси, поверят ли те, для кого среднеазиаты — «чурки»?

И вообще, что должны означать эти уменьшающиеся проценты, вся эта постыдная арифметика? Что в стрелковых дивизиях за год именно солдаты еврейской национальности понесли самые большие потери убитыми и ранеными? Было в начале года 1,50%, а к концу года осталось только 1,28%. Нет, мысль Солженицына другая: евреи всеми сред-

ствами, доступными и недоступными, устремлялись с фронта в тыл, подальше от передовой, потому их всё меньше и меньше становилось в стрелковых дивизиях. И приводит подряд еврейские фамилии: вот младший лейтенант Гершкович, например, после госпиталя (После ранения, надо полагать, но об этом ни слова) догонял свою часть, но «услышал знакомый запах типографской краски», редакция дивизионной газеты как раз «нуждалась в корреспонденте на передовой». «И как же — его догоняемая пехотная часть?» — вопрошает Солженицын. И т.д. и т.п.

Интересно и то, что взят именно «советский источник середины 70-х». Что это были за годы? В эти годы издана очередная многотомная «История Отечественной войны» под надзором Политического Управления Советской армии, в которой, как и в предыдущих историях, нет ни слова правды. В эти годы усилился государственный антисемитизм и одновременно широкие масштабы обрела эмиграция евреев из Советского Союза в Израиль. А что писали в ту пору «советские источники» о Солженицыне, высланном из страны, как только не полоскали его имя. Сам первый секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов заявил, что дело Солженицына было вовсе не политическое, а уголовное, простой, мол, уголовник. Да это ещё что? Самое позорное по понятиям того времени шили ему: он, как оказалось, не Солженицын, а Солженицер. И после всего этого он, как нечто несомненное, избирает «источник 70-х». Нет, он не брезглив, пьёт из любого источника: цель оправдывает средства.

Солженицын признаёт, что по числу Героев Советского Союза евреи — на пятом месте после русских, украинцев, белорусов, татар. Следует добавить, что половина из них получила это звание посмертно. А если взять количество Героев Совет-

ского Союза на 10 тысяч населения, то евреи — на втором месте после русских. И абсолютное большинство евреев — Героев Советского Союза — это рядовые, сержанты и младшие офицеры (36 человек), главным образом — пехотинцы. А ещё — артиллеристы, миномётчики, танкисты, сапёры, лётчики, офицеры военно-морского флота, в том числе — подводники. Политработников — 12 человек. Это давно опубликовано вместе с портретами, и краткой биографией каждого. Всего же призвано было на фронт по данным Центрального архива Министерства обороны 434 тысячи евреев (А ещё и в партизанах по разным оценкам было до 25 тысяч). Погибло — 205 тысяч. То есть — почти половина. В тылу столько не погибает. Кто же эти, погибшие? В. Каджая в статье «Как воевали евреи: по Солженицыну и в действительности» (статья эта есть в Интернете) приводит цифры: «Среди воинов-евреев, погибших и умерших от ран, 77,6 процента составляли рядовые солдаты и сержанты и 22,4 — младшие лейтенанты, лейтенанты и старшие лейтенанты». Тем не менее Солженицын пишет: «осталось в массе славян тягостное ощущение, что *наши* евреи могли провести ту войну самоотверженной: что на передовой, в нижних чинах, евреи могли бы состоять гуще».

«А и напомним же: правовое ограничение евреев в России никогда не было расовым», — пишет он в другом месте этой своей книги. Не так всё благостно обстояло дело в царской России, как он пытается представить, но уж он-то сам, как мы видим, делит людей не по вероисповеданию (о каком вероисповедании могла идти речь в годы Отечественной войны в стране фактически безбожной!), он делит людей по крови, именно расово. То есть так, как их делили по другую сторону фронта.

Антисемитизм неискореним, тем более, что для многих он выгоден: на этом строились и строятся карьеры, на этом создавались состояния. С тех пор, как 2000 лет назад римляне победили не покорившихся им иудеев и по дороге от Иерусалима до Рима распяли на крестах воинов-иудеев, а остальное население рассеялось по странам мира, не имея с тех пор своей родины, они, инородцы, повсюду стали виновниками всех бед, в том числе — и гнева природы, вечными козлами отпущения. А ещё и в том были виноваты, что очень часто без них дело не ладилось. Всё отвратительное, всё подлое, что антисемит знает в себе, он приписывает еврею, которого, может быть, никогда и не видел. Чтоб искоренить антисемитизм нужны не десятилетия, не столетия, нужны тысячелетия. Да вот только отпущены ли людям такой срок? И что тут цифры, когда «осталось ощущение». И оно не только «осталось», у нас оно нагнеталось, это была сознательная послевоенная политика государства.

У моей первой повести о войне было посвящение: «Памяти братьев моих — Юрия Фридмана и Юрия Зелкинда, — павших смертью храбрых в Великой Отечественной войне». Как же на меня давили в журнале, как вымогали, чтобы я снял посвящение: а то ведь получается, что евреи воевали. Я, разумеется, посвящение не снял. Тогда, в тайне от меня, уже в сверке, которую автору читать не давали, его вымарали. Оба добровольцами пошли на фронт, оба пали смертью храбрых, артиллерист и пехотинец, но внедрялось убеждение, что евреи не воевали, евреи, мол, спасались от войны в Ташкенте. Вот этим достойным делом, абсолютно в русле сталинской политики, и занят сегодня Солженицын. Да, он признаёт, что «пропорция евреев-участников войны в целом соответствует средней по стране». Но тут же — другой счёт: среди генералов Красной Армии евре-

ев, генералов медицинской службы — 26, ветеринарной службы — 9, в инженерных войсках служило 33 генерала-еврея. На этом счёт обрывается, прочтёт несведущий человек, а таких сегодня у нас большинство, и убедится: ни артиллеристов, ни танкистов, ни лётчиков, ни общевойсковых генералов-евреев не было. И — вывод автора: «Но как бы неоспоримо важны и необходимы ни были все эти службы для общей победы, доживёт до неё не всякий. Пока же рядовой фронтовик, оглядываясь с передовой себе за спину, видел, всем понятно, что участниками войны считались и 2-й и 3-й эшелоны фронта: глубокие штабы, интендантства, вся медицина от медсанбатов и выше, многие тыловые технические части, и во всех них, конечно, обслуживающий персонал, и писари, и ещё вся машина армейской пропаганды, включая и переездные эстрадные ансамбли, фронтовые артистические бригады, — и всякому было наглядно: да, там евреев значительно гуще, чем на передовой».

Рядовой фронтовик, оглядываясь с передовой себе за спину, не разглядел бы, где там в обозе а потом во втором эшелоне обретался Солженицын. Тем не менее пишет с обидой в статье «Потёмщики света не ищут», что кто-то из журналистов упрекнул его в том, что в добровольцы он не записался. «А я, — пишет он, — как раз-то и ходил в военкомат, и не раз добивался, — но мне как «ограниченно годному в военное время по здоровью» велели ждать мобилизации». Свежо предание, да верится с трудом. Хватило здоровья лагеря одолеть, до восьмидесяти пяти лет дожить и только идти на войну, где могут убить, здоровья не хватало.

После позорной финской войны по приказу министра обороны Тимошенко гребли в армию всех, окончивших десятилетку. Мой старший брат Юра Фридман как раз окончил десятый класс, а в

армию его не взяли: он почти не видел левым глазом. Но началась Отечественная война, и он, студент исторического факультета МГУ, пошёл в ополчение, в 8-ю московскую дивизию народного ополчения, был на фронте командиром орудия и погиб на подступах к Москве. Да разве он один. Тысячи, тысячи шли. Мой дядя, Макс Григорьевич Кантор, коммерческий директор одного из московских заводов (ему подавали машину, мало кому подавали машину до войны), уж он-то мог пересидеть войну в тылу, да и был уже в годах. Но он тоже пошёл в ополчение, служил санитаром в полку и погиб под Москвой. Я вот думаю: был ли от него на фронте какой-нибудь толк? Вряд ли. Но он поступил так, как повелевала совесть. Кто хотел идти на фронт, шёл.

Но и дальше в этой статье Солженицын продолжает творить миф о себе: «Из тылового же конского обоза, куда меня тогда определили, я сверхусильным напором добился перевода в артиллерию». И всё-то — *сверх* применительно к себе: здесь — «сверхусильным напором», дальше увидим — «сверхчеловеческим решением». Но для того, чтобы попасть на фронт, никакого сверхусильного напора не требовалось, могу свидетельствовать. После тяжёлого ранения, после полугода проведенного в госпиталях — армейском, фронтовом, тыловом, — после нескольких хирургических операций, я был признан на комиссии не годным к строевой службе, инвалидом, или, как говорили тогда, комиссован. Но я вернулся в свой полк, в свою батарею, в свой взвод и воевал в нем до конца войны, хотя был в дальнейшем ещё и контужен.

Однако процитируем ещё раз Солженицына: «Из тылового же конского обоза, куда меня тогда определили, я сверхусильным напором добился перевода в артиллерию». Это он пишет сегодня, и выглядит это почти героически. Но, используя его лю-

бимое выражение «А и напомним же», напомним то, что он, видимо, забыл, хотя забыть это невозможно. Нет не в артиллерию, не на фронт из тылового обоза добивался и добился перевода Солженицын, как это выглядит в его статье. Он, «ограниченно годный», то есть не годный к строевой службе, добивался и добился перевода ещё дальше в тыл: в Кострому, в артиллерийское училище. Немцы рвались к Сталинграду, бои шли жесточайшие, вот на всё это время он и укрылся в тылу. И сразу из «ограниченно годного» чудесным образом превратился в годного: училища готовят строевых офицеров. Призывая народ жить не полжи, неплохо бы ему и на себя распространить этот принцип хотя бы на склоне лет.

Виктор Некрасов, имевший бронь, позвонил матери по телефону в августе 41-го года, сказал, что уходит в армию. И услышал: «Ну и правильно, и хорошо. Я очень рада за тебя. Нельзя отсиживаться сейчас в тылу. Иди... Только не забывай писать».

И всю Сталинградскую эпопею, и отступление, и бои в самом городе, когда в шестидесяти метрах — немцы, а позади последние двести метров берега, которые они ещё держали, и — Волга, всё это Виктор Некрасов, как говорили на фронте, прошел. И написал книгу «В окопах Сталинграда», не сравнимую ни с одной другой книгой о войне. И Солженицын написал о своём пребывании в училище в это же самое время: «Больше всего боялись не доучиться до кубиков» (слали недоучившихся под Сталинград).

Так у кого же больше орденов за войну? У Солженицына. У Некрасова всего один. Да ещё медаль «За оборону Сталинграда». И ту хотели отобрать в аэропорту, когда он вынужден был покидать страну. Но, как уже говорилось, он прицепил её к

книге «В окопах Сталинграда», и таможенники не посмели, прошёл.

А у кого больше ранений? У Некрасова: два и одно из них тяжёлое. У Солженицына, разумеется, — ни одного. Да и откуда им быть, когда там, где он в дальнейшем находился со своей звукобатареей, туда, за два, за три километра от передовой, пули не долетали. Так ты хоть других не попрекай.

Нет, попрекает. В одной из своих статей стыдит покойного поэта Давида Самойлова (на фронте Давид Самойлов — пулемётчик второй номер), что тот недолго пробыл в пехоте, а после ранения — писарь и кто-то ещё при штабе. Но сам-то Солженицын и дня в пехоте не был, хоть бы сопоставил, взглянул на себя со стороны, как он при этом выглядит. А выглядел он так: в книге Решетовской напечатана его «фронтовая» фотография: палатка, стол, стул и сам Солженицын стоит около палатки в длинной до щиколоток кавалерийской шинели с разрезом до хлястика, в каких обычно щеголяло высокое начальство. Можно верить и не верить тому, что первая, брошенная жена, пишет про него в этой книге, но фотография — это документ. Мог пехотный офицер или артиллерист (не говорю уж про солдата) стоять вот так, в полный рост, среди бела дня? В землянке или в окопе — до темноты. И оправлялся пехотинец в окопе, а потом подденет малой сапёрной лопаткой да и выкинет наружу, рассчитав, чтоб ветром не в его сторону дуло. Да и что пехотинцу или артиллеристу делать в такой показушной шинели, когда он месит грязь по дорогам и бездорожью? Он полы короткой своей шинели и те подтыкал за пояс. А что подстелит под себя в окопе? Шинель. А под голову? Шинель. А укроется? Шинелью. А у этой, сквозь разрез, звёзды видать.

Не по статистике, по своему личному наблюдению, всё-таки почти всю войну я пробыл на

фронте не пехотинцем, но с пехотой: там, в пехоте, у командира роты и ближе, в траншее, или на высоте, на переднем её скате, обращённом к противнику, там — место командира взвода управления, корректирующего огонь батареи, так вот, по моему наблюдению, евреев-пехотинцев в процентном отношении ко всему населению было меньше, чем русских. Не удивлюсь, если окажется, что и русских в процентном отношении к населению было в пехоте меньше, чем, скажем, узбеков, таджиков, киргизов, туркмен. Вот же, повторяю, пишет директор музея «Сталинградской битвы», что под Сталинградом солдаты из Средней Азии и с Кавказа составляли больше половины сражавшихся. А ведь немало из них и русского языка не знали, команды, в том числе — в атаку, передавали через переводчика. Таков был и результат. Не потери убитыми и ранеными, а — результат. В пехоту гнали, в первую очередь, крестьян. И не нация тут решала, а — уровень образования. Талантливых людей, самородков, скажем, в русской деревне было, возможно, не меньше, чем в городах, да вот уровень образования отличался. У немцев танкисты были, в основном, не крестьяне, а рабочие, наши «братья по классу». А у нас к концу 42-го года стали отзывать с фронта сталеваров, в тылу они были нужней, чем на фронте. Исследователь, если он действительно исследует, а не искажает историю, не может не понимать всего этого, не знать.

Теперь — о генералах. В книге английского историка Алана Кларка «План «Барбаросса», переведенной у нас, изданной в серии «Вторая мировая война», есть любопытный момент, приведу несколько цитат. Идёт наступление немцев на Москву. Ещё к сентябрю мы потеряли 18 тысяч танков, то есть почти все танки, а было их у нас столько же, сколько у немцев да ещё у всех стран Европы вместе взятых в придачу. Потеряли 14 тысяч самолётов.

Цитирую: «На этой стадии у Жукова оставалась только одна самостоятельная танковая часть, 4-я танковая бригада полковника Катукова... она оставалась единственной ударной группой между Окой и Мценском, в разрыве шириной почти 70 миль. Получив приказ повернуть вокруг Мценска и задержать наступление Гудериана на Тулу, Катуков нанёс резкий удар по 4-й танковой дивизии 6 октября, заставив её «пережить несколько трудных часов и понести тяжёлые потери».

Итог: «От быстрого наступления на Тулу, которое мы планировали, пришлось отказаться». Это пишет Гудериан. А через пять дней: «Вечером 11 октября, когда авангард 4-й танковой дивизии вступал в пылающий пригород Мценска, дивизия вытянулась на 15 миль по узкой дороге, где поддерживающая артиллерия и пехота находились почти за пределами радиосвязи, для Катукова настал момент нанести следующий удар.... Русские стремительно и ожесточённо атаковали немецкую колонну, расчленив её на куски, которые подверглись систематическому уничтожению... 4-я танковая дивизия была фактически уничтожена, оборона Тулы получила ещё одну небольшую передышку». Дивизия, как известно, больше и мощней бригады. Катуков же, в дальнейшем — генерал и даже, если не ошибаюсь, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза, — еврей. Я этого не знал до последнего времени, у нас, по известным причинам, это не афишировалось. Но вот недавно в Вене проходила выставка, поместившаяся в одной комнате еврейского музея. Называлась она «Заре навстречу». На стенах — портреты евреев Героев Советского Союза. Дважды Героев — трое, среди них — М. Катуков (Газета «Труд», 17/V-2002 г.). А кавалерийским соединением, героически сражавшимся под Москвой, командовал и погиб под Москвой Лев Доватор, это

и школьники знали в своё время. И Дважды Герой Советского Союза генерал Смушкевич был не ветеринар, а лётчик. Его в июне 41 года из госпиталя на носилках увезли в тюрьму и в дальнейшем, 28-го октября, вместе с бывшим командующим нашей авиации Рычаговым, который перед войной посмел сказать Сталину, что наши лётчики летают на гробах, за что и был арестован, так вот их обоих и жену Рычагова, спортивную лётчицу-рекордсменку, и генерал-полковника Штерна, Героя Советского Союза, и ещё несколько генералов расстреляли под Куйбышевом. Немцы стояли под Москвой, но сталинская машина уничтожения торопилась уничтожить лучших, самых честных, смелых и преданных.

Я не знаю, сколько в нашей армии было генералов евреев, (впрочем, если много, опять есть повод сказать: вон *их* сколько взбралось посылать людей на смерть, а на передовой не видать *их*), сколько было генералов татар, армян, никогда этим не интересовался, не делил людей по составу крови. Этим занимались фашисты, с ними шла война. Да вот теперь писатель занялся. Я даже и во взводе у себя меньше всего интересовался кто — кто, главным было, как он воюет. Вот сейчас постарался вспомнить по фамилиям, да ведь по фамилии, как мы видели, не всегда угадаешь национальность, и вот что получилось: большинство — русские, украинцев — двое, армянин — один, азербайджанец — один, татарин — один, еврей — один, грузин двое, оба из Мингрелии. Одного из них, командира отделения связи Джгунджгия, мы называли «патара камечио»: по-грузински, если точно запомнилось, это — маленький буйвол: был он крепкий на редкость, хотя и молодой по годам. Через много лет после войны он разыскал меня и пишет: «Здравствуй мой дорогой фронтовой однополчану Фридману (Бакланов) Григори Яковлевичу. Из солнечной грузия города Зу-

гдиде от Габриелу (Гаджи) малхазовичу Джгунджгия. Дорогой мой Любимый командир григори Яковлевичу, прошло — 41 лет, что я тебя не мог найти ни где, сколько встреча было по дивизий и бригаду 115-ой Запорожие было встреча 1981 — году кому спросил никто мне не мог ответит, 1984 года было встреча г. Кривой Рог, тоже никто не мог сказать от тебе, а 1986 опят пригласила совета ветеранов Нашей бригады 9-го мая тоже спросил всем знакомие ребятам, и вачадзе Архипо дал мне твой Адрес, чут не сумасошол. Заплакал я от радостию, чтобы узнал я что вы жив, моей жизнь Лучшего радост такого ничего небыло, Григорий Яковлевич, меня было твой фото я его в кармане таскал и показывал всем нодо сегодняшнего дня 9-го мая 1986 года я не мог узнать от тебе дорогой Любими григори Яковлевичу, сорок лет прошло мы друг друга не выдали, и не знали... Прошу приехат камне гости Я приму как Радному ещо лучшее. Целую мой хорошие крепко вам и вашего уважаемого семи. Я приехал 10-05-86 года из Кривой Рога и пишу письмо как тебя узнала. Габриел. М. Джгунджгия».

У Солженицына грузины в лагерях чуть ли не поголовно — в расстрельных командах, расстреливали, приводили приговоры в исполнение. Ну а евреи — на этих и клеймо ставить негде. Зря, зря занялся он этой кровавой арифметикой, она и для его сынов небезопасна.

1-го декабря 1941 года, ночью, в «Волчьем логове», в одной из застольных бесед Гитлер говорил: «Мы не знаем, почему так заведено, что еврей губит народы. Может быть, природа создала его для того, чтобы он, оказывая губительное воздействие на другие народы, стимулировал их активность... Удивительно, что евреи-метисы во втором и третьем поколении зачастую снова вступают в брак с евреями, но природа всё равно в итоге отде-

ляет вредоносное семя: в седьмом, восьмом, девятом поколениях еврейское начало уже никак не проявляется и чистота крови, по-видимому, восстанавливается».

Сыновья Солженицына наполовину или на четверть, не это суть важно — евреи, жену свою, как писали, он сам крестил, вот такая незадача. Долго, долго ждать придётся, пока природа отделит в их потомках «вредоносное семя». Но для современных наших фашистов, внуков убитых на фронте солдат (дедов убили фашисты, а внуки празднуют день рождения Гитлера!), четвертинки, половинки ничего не значат. Один из их вождей заявил недавно, это было процитировано в газете: жаль, жаль, что мы не пропустили немецкие армии до Камчатки, они бы всех евреев у нас уничтожили.

Несомненно, победи Гитлер, он бы евреев уничтожил, как выискивали их и уничтожали фашисты по всей Европе и в наших оккупированных областях. Но смешно думать, что ради этого пошёл Гитлер на Советский Союз, на Россию, это бы решалось по ходу дела. Главным было: «Моя миссия уничтожить славян!». Он возглашал это и писал не единожды, и был разработан детальный план уничтожения славян, превращения славян в рабов немецких поселенцев, продуманы меры, в том числе — медицинские, которые должны были неминуемо привести к вырождению славянской расы. Документы эти и на Нюрнбергском процессе представлены, об этом написано в сотнях книг на многих языках. Точно так же не для того он вёл войну с Великобританией, строил подводный флот, построил сверхмощный линкор «Бисмарк», который англичане тут же и потопили, не для того готовил высадку в Англию, чтобы уничтожить английских евреев. Не понимать этого, предпринимая «историческое исследование», может лишь тот, у кого не-

приянь превыше разума. И Солженицын нет-нет, да и подкидывает мыслишку: вас шли уничтожать, а вы не столько на фронте, сколько в тылу сгрудились, там вас было сгущено.

Но, следуя его логике, действуя его методами, высчитывая постоянно в процентах, можно и так сказать и отдельной строкой выделить: евреи — единственная нация, в которой в ходе Отечественной войны не было предателей. Не было евреев-власовцев, не было евреев-полицаев, карателей. Так что же они святей и превыше всех? Нет, конечно, всё слишком понятно.

Посмотрел немного главу о лагерях. Есть письмо Копелева Солженицыну от 1985 года, оно напечатано недавно в тринадцатом выпуске альманаха «Апрель». Печатать свою переписку с Солженицыным Копелев при жизни запретил. Вот абзац оттуда: «Особую, личную боль причинило мне признание о «Ветрове». («Ветров» — так Солженицын подписывал или должен был подписывать свои донесения, когда в лагере согласился стать стукачом. Прим. моё — Г. Б.) В лагерях и на шарашке я привык, что друзья, которых вербовал кум, немедленно рассказывали мне об этом. Мой такой рассказ ты даже использовал в «Круге». А ты скрывал от Мити (Дмитрий Панин, прообраз Сологдина «В круге первом». Прим. моё — Г. Б.) и от меня, скрывал ещё годы спустя. Разумеется, я возражал тем, кто, вслед за Якубовичем утверждал, что, значит, ты и впрямь выполнял «ветровские» функции, иначе не попал бы из лагеря на шарашку. Но я с болью осознал, что наша дружба всегда была односторонней, что ты вообще никому не был другом, ни Мите, ни мне».

Наивный человек! В друзья записался... Да вы, как все прочие, — средство: взобравшись на пьедестал, подпираемый и подсаживаемый всеми добрыми людьми, не грех об них и ноги вытереть. «Моя

душа чиста, — пишет о себе Солженицын все в той же статье «Потёмщики света не ищут». — Ни от моих односидчиков на шарашке (ни, кстати, и от Виткевича, там же сидевшего) ни в Особлаге — я никогда не встречал обиды, упрёка или подозрения, но только полное доверие...».

Упрекать человека в том, что, попав в сталинские лагеря, в этот ад крошечный, человек хотел выжить, врал, что в мирной жизни был врачом, парикмахером, кем угодно, лишь бы спастись, упрекать в этом бесчеловечно. Вот свидетельствует соллагерник Бадаш: «В бригаде Панина ходил зэк-нормировщик, постоянно с папочкой нормативных справочников, — это был Саша Солженицын... В Степлаге, в Экибастузе, придурком был Дмитрий Панин, который пристроил прибывшего А.С. на должность нормировщика. К моменту нашей забастовки и голодовки зимой 1951/1952 года А.С. был уже на придурочной должности бригадира».

А вот и Солженицын сам пишет о себе (цитата по УМКА-PRESS, 1974): «Приезжая на новый лагпункт, ты изобретаешь: за кого бы себя на этот раз выдать... Я при перегоне в следующий лагерь, на Калужскую заставу, в самую Москву, — с порога же, прямо на вахте соврал, что я нормировщик... Младший лейтенант Невежин, высокого роста хмурый горбун... исподлобным взглядом оценил... моё галифе, заправленное в сапоги, длиннополую шинель, лицо моё с прямодышащей готовностью тянуть службу, задал пару вопросов о нормировании (мне казалось — я ловко ответил, потом-то понял, что разоблачил меня Невежин с двух слов) — и уже с утра я на зону не вышел — значит, одержал победу. Прошло два дня и назначил он меня... не нормировщиком, нет, хватай выше! — «заведующим производством», то есть старше нарядчика и начальником всех бригадиров».

Повторяю, нельзя осуждать человека за то, что он спасал свою жизнь, если только не ценой жизни других. И спас, выжил, а не был уничтожен, как миллионы и миллионы, пригнанные на убой. И миру, в итоге, был явлен талантливый писатель. Но вот — из «Двести лет вместе», из главы «В лагерях Гулага»: «Вскоре затем прислали и провинившегося в МАДИ Бершадера...Лет пятидесяти, низенький, жирный, с хищным взглядом, он обошёл и осмотрел нашу жилую зону снисходительно, как генерал из главного Управления. Старший надзиратель спросил его: — «По специальности — кто?» — «Кладовщик». — «Такой специальности не бывает». — «А я — кладовщик». — «Всё равно за зону пойдёшь, в разнорабочую бригаду». Но... «так уверенно держался новичок, что чувствовалось: за ним сила. Угнетённый ходил и кладовщик зоны Севастьянов. Он два года заведовал тут слитным складом продовольствия и вещснабжения, прочно сидел, неплохо жил с начальством, но повеяло на него холодом: всё решено! Бершадер — «кладовщик по специальности»!»!

Да уж не с себя ли это списано, так всё совпадает? «Низенький, жирный, с хищным взглядом» Бершадер, отвратительный во всех своих проявлениях, так и рвётся с языка — жид, и «прямодышащий», «с готовностью тянуть службу» (и согласился служить, дал подписку) Солженицын — «нормировщик по специальности», «...и уже с утра я за зону не вышел». Почему вдруг перед ним оробели? Почувствовали: «за ним сила»? И назначили «не нормировщиком, нет, хватай выше! — «заведующим производством», то есть старше рядчика и начальником всех бригадиров». И тоже кого-то для него согнали с этой должности, кто до этих пор «прочно сидел, неплохо жил с начальством...». С чего бы вдруг? Звёзды ли на небе так рас-

положились или звёзды на погонах чекистов? Но сказано в «Архипелаге»: «Брат мой! Не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подписал лишнее. Не кинь в него камень!». Чьё это жалобное блеяние? Это пишет грозный судия всех живущих Солженицын. Так на десятый день войны перетрусивший Сталин обратился к своему народу: «Братья и сестры...». А потом этих братьев и сестёр — в лагеря за свой позор. Однако, повторяю, не мне, не прошедшему лагерь, допросы, тюрьму, судить. Судить может Шаламов, он прошёл самые страшные лагеря, но там от должности бригадира отказался: быть бригадиром, писал он, означало посылать людей на смерть.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв рассказывал неоднократно и писал о том, как в лагере, на Соловках, он случайно узнал, что ночью отберут на расстрел такое-то количество заключённых, и среди них, в списке этом — его фамилия. И он спрятался в дровах, его не нашли, но цифра — закон, количество смертников было определено, и кого-то в эту ночь расстреляли вместо него. Это сопровождало его всю его жизнь.

С таким же чувством возвращались с войны и доживают свою жизнь многие фронтовики, за всех за нас проникновенно и точно сказано у Твардовского:

*Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...*

Наблюдавшему войну издалека Солженицыну чувство это неведомо, если судить по его речам и книгам.

Вот тут самое время привести то, что «притекло», как любит выражаться Солженицын, из Брянска. А «притекло» оттуда вот что: статья Ольги Корнеевой, напечатанная в газете «Десница» 16 апреля 2003 года: «Десять лет Николая Дмитриевича». Там она цитирует Дмитрия Виткевича, сына школьного друга Солженицына. Газета малотиражная, но статья есть в Интернет-сети, любой человек в любой стране, владеющий русским языком, может прочесть её, а у нас Интернетом пользуются уже 10 миллионов человек. Вот что в этой статье говорит Виткевич: «Я не хочу, чтобы имя моего отца упоминалось рядом с именем Солженицына. В одной и той же ситуации они повели себя абсолютно по-разному, и вовсе не к чести последнего». И пересказано об их школьных годах: «Николай особенно подружился с одноклассниками Кириллом Симоняном и Сашей Солженицыным. В автобиографических записях Виткевича, которые цитировал его сын, сохранилась зарисовка, описывающая, как трое друзей подражали любимым героям Дюма. Есть в ней интересный момент. Роли распределял Симонян, но друзья сразу решили, что д'Артаньяном никто не будет. Так вот Симонян провозгласил: «Ты, Морж (такой была кличка Солженицына в школе), поскольку лицемер, будешь Арамисом. Кока (школьное прозвище Виткевича) станет Портосом, а я Атосом». В нескольких публикациях, где упоминается эта история, слово «лицемер» либо заменено на «хитрый», либо просто отсутствует. И далее в статье газеты: «Фронтовая контрразведка арестовала Солженицына в феврале 1945-го. Виткевич дошёл до Берлина... 22 апреля Виткевича тоже арестовали. Перелистывая изъятые письма (имеется в виду переписка Солженицына — Виткевича), следовательно откровенно сказал: «здесь на 10 лет вполне». Позже он предъявил своему подследственному показания

Солженицына, тот сообщал, что Виткевич не только входил в созданную им антисоветскую группу, но и с 1940 года систематически вёл антисоветскую агитацию, разрабатывал планы насильственного изменения политики партии и государства. Знакомый почерк не оставлял сомнений, это писал его лучший друг». Впрочем, Солженицын и сам признался, что вёл себя на следствии недостаточно стойко, есть ему, о чём сожалеть, хотя нет нигде ни слова о том, что к нему применяли какие-либо насильственные меры.

Но — не будем в это вникать. Что КГБ пыталось опорочить его любыми методами — несомненно. Гораздо интересней, что пишет Солженицын в той же статье «Потемщики света не видят», в ней он решился ответить на все публикации последнего времени за границей и у нас, якобы порочащие его честь и достоинство: «В Архипелаге, и не только в нём, я не щадил себя, и все раскаяния, которые прошли через мою душу — все на бумаге... В этом ряду я не поколебался изложить историю, как вербовали меня в лагерные стукачи и присвоили кличку, хотя я ни разу этой кличкой не воспользовался и ни одного донесения никогда не подал. Я и нечестным считал об этом умолчать, а написать — интересным, имея в виду множественность подобных вербовок, даже и на воле».

Но тем не менее умолчал, скрыл от тех, кто считались его друзьями, и скрывал до тех пор, пока КГБ не обнародовало. И вообще, что интересного писать о своём позоре? Не выдержал угроз — да, жизнь спасал — да, но — «интересно»?.. Позвольте усомниться. А то, что сам послал в американскую газету приписываемый или якобы приписываемый ему донос на солагерников, ну что ж, это вполне рассчитанный упреждающий ход, кстати говоря, выгодный одному из «жерновов» той холодной вой-

ны, которая велась. Однако главное — дальше: «Я цель имел во всей книге, во всех моих книгах показать: что можно из человека сделать. Показать, что линия между Добром и Злом постоянно перемещается по человеческому сердцу. В ЦК и КГБ не только этого уровня понимания нет и не было, но даже нет простого образумления».

Нет, не из каждого человека можно сделать что угодно, уж это история человечества доказала. И в то же время, если смотреть не из дней нынешних, а оттуда, из времени страшного, борьба, которую вёл Солженицын с целым режимом, а режима этого, вооружённого ракетами и атомными бомбами, боялась половина мира, эта борьба требовала не только точного расчёта, но и сердца твёрдого и беспощадного. И, возможно, во имя цели он действительно готов был пожертвовать даже своими детьми: его выслали из страны, а трое сынов его маленьких остались здесь вроде бы в заложниках, и он писал «...и тут решение принято сверхчеловеческое: наши дети не дороже памяти замученных миллионов, той Книги мы не оставим ни за что». Книга с заглавной буквы, так пишут о Библии, цель и самооценка — грандиозные.

Во время минувшей Отечественной войны немцы взяли в заложники детей одного из партизанских командиров, поставив условие: выйдет он из леса, сдастся, они освободят детей. И девочка, дочь его, с божеской мудростью написала отцу, сумела передать записку: папа, не выходи, они всё равно убьют и тебя и нас. И он не вышел. И детей убили. Скажу сразу: так поступить я бы не смог. Мне понятней и ближе Януш Корчак, который вместе с детьми вошёл в газовую камеру. Это были не его кровные дети, это были его ученики, он имел возможность спастись, ему предлагали, но он не мог оставить детей в час гибели. Это — по-человечески.

А сверхчеловеческое оно же нередко и — нечеловеческое.

А теперь — о другом. Год 1991-й. В Москве — путч. Растропович, всё бросив, написав только завешание, прилетел защищать Белый дом. Солженицын выжидал, чья возьмёт, не вернётся ли прошлое. Ну хоть бы слово сказал. Он тогда был подобен легенде, слово его тогда много значило. Нет, постыдно отмолчался, живя в Америке. А решалась судьба России. Но он был занят куда более важным делом: «Красное колесо» писал.

А нам, как известно, было спущено «Как нам обустроить Россию». С первого чтения, а особенно по прошествии времени, само шло на память известное из «Войны и мира»: «Die erste Kolonne marschiert... die zweite Kolonne marschiert... die dritte Kolonne marschiert...». Но и войны и жизнь куда сложнее измышленных диспозиций и рескриптов и «посильных размышлений». Двое из трёх сынов Солженицына пока что обустраивают свою жизнь в Америке, где Россия по-английски — Раша. Это не укор, ни в коей мере не попытка кого-то в чём-то упрекнуть. Каждый вправе выбирать, где ему жить, что больше по душе, где лучше востребованы его способности. Но с «посильными размышлениями» (а емкое слово «посильные»: в нём та скромность, которая паче гордости, язык не даёт соврать, обнажает суть) как-то всё это не вяжется, плохо сочетается: вот наставление, уверенно предпосланное целому народу, огромной стране, а вот она — реальная жизнь.

И ещё о жизни, как она есть, по лжи или не по лжи. О Солженицыне уже снято несколько документальных фильмов. Об одном из них в обзоре, в газете Союза кинематографистов «СК Новости», в октябрьском номере 2003 г., написано: «Ещё более сложной была задача Сергея Мирошниченко в

фильме «Александр Солженицын. Жизнь не по лжи». Картину начинал другой документалист, который не нашёл контакта с писателем, и Солженицын попросил Мирошниченко продолжать работу над проектом. Условия, таким образом, с самого начала диктовал герой. Режиссёр, сознавая оказанную ему честь, масштаб личности писателя и ценность предстоящих съёмок для кинолетописи России, ничего не имел против, но задачей его было создать портрет героя, а не помочь тому написать автопортрет... «Вермонтский отшельник» в собственной стране выглядит отшельником, который живёт в замке за высокой оградой и встречается лишь с высокими гостями (при этом эпизод визита Путина тянет на документальную комедию, а роскошный приём по случаю свадьбы сына словно взят из фильма «Олигарх»).

В своё время, когда Солженицын ещё жил в Рязани и объезжал на велосипеде ближние российские просторы, он писал в одной «Крохотке» (называлась она «Озеро Сегден»), как наткнулся он на заповедную часть леса, куда заложены все дороги, куда «ехать нельзя и лететь нельзя, идти нельзя и ползти нельзя». А живёт там (уточняю: дело происходило ещё при советской власти — Г.Б.) «Лютый князь, злодей косоглазый... (непонятно только, почему — «косоглазый» — Г.Б.) вон дача его, купальня его...». В мечтах ли это носилось, но писал, как оказалось, про себя будущего? Из рук проклинаемой им ельцинской власти, она Россию разорила, получил он, не побрезговав, поместье под Москвой, некогда принадлежавшее купцам Корзинкиным, потом — палачу Абакумову, а теперь он там, на просторе, и воздвиг вышеупомянутый «замок», и нет туда хода ни пешему, ни конному, ни велосипедисту, и «идти нельзя, и ползти нельзя». Вот такова она, «Жизнь не по лжи».

Еще задолго до юбилея в «Известиях», на двух полосах со многими фотографиями, появилась статья: «Сержант Соломин и капитан Солженицын». Спустя почти шесть десятков лет разыскали в Америке еврея, сержанта Соломина, он во время войны служил в звукобатарее, которой командовал Солженицын: потребовалось засвидетельствовать, что Солженицын благоволил к нему, посылал в Ростов за женой, за Натальей Решетовской, по подложным документам привезти её на фронт, и он, Илюша, всё выполнил. Если статья с определённой целью организована, то приём очень уж стародавний: «Я антисемит? Да у меня вот друг — еврей!...».

О чём же свидетельствует сержант Соломин? Призванный в армию ещё до войны, воевавший с 41-го года, он после ранения, попал в начале 43-го года в звукобатарею, которой командовал Солженицын. Но надо разъяснить, что такое была эта звукобатарея и где она находилась. По понятиям фронтовиков, находилась она в глубоком тылу. Соломин указывает: 1,5—2 километра от передовой. Нет, значительно дальше, сам Солженицын признаёт: 3 километра. Обычно находилась она при штабе. «Это действительно тогда был очень несовершенный род войск. Координаты, которые мы давали, иногда совпадали, иногда нет, многое зависело от метеорологии, других вещей... Помню, мы ходили в штаб соседней пушечной бригады, Солженицын договаривался, что будет давать наши данные и им — по собственной инициативе. Я потом сам относил в штаб Ткаченко бумаги».

Словом, безвредный, но и совершенно бесполезный, сохранившийся с довоенных времён род войск, который как-то надо было приставить к делу, вот и ходили предлагать свои услуги командиру бригады *пешком*, т. е. пули тут не свистали. Я, например,

командира нашей 115-й артиллерийской бригады полковника Борисенко не удостоился видеть на фронте ни разу: от нас до него, было, как до Господа Бога, впервые увидел его после войны, в Болгарии, там мы тогда стояли. Командира полка нашего видел на фронте. Вдруг вызвали меня с плацдарма днём. Где — ползком, по-пластунски, где — перебежками добрался до берега, на лодке переплыл Днестр, а уже на этой стороне — командный пункт командира дивизиона. И здесь же у него — командир полка, полковник Комардин, приехал с поверкой. Навёл он на цель перекрестие стереотрубы: «Рощу «Огурец» видишь? На опушке — немецкая батарея. Три снаряда, открывай огонь!». Была там, в роще «Огурец», или не было немецкой батареи, — по моим данным, никакой батареи там не было, — но третий снаряд лёг на опушку роши. Дело это не такое уж сложное: был у меня пристрелянный репер, от него и выводил снаряд на цель. Плюс — удача. И стало у меня на погонах вместо одной маленькой звёздочки — младший лейтенант — по две: лейтенант. И ещё видел его в Венгрии, зимой, на нас танки шли. А он бежал на пятую батарею, проваливался в снег, падал, снова бежал, грозил издали кулачищем, матерился: почему, мол, медлят открывать огонь... Смелый был мужик, полковник Комардин. Но это — так, к слову.

А вот на прямой вопрос, где располагалась солженицынская звукобатарея: *«Это был ближний тыл или фронт?»* — Соломин отвечает:

«В боях батарея участия не принимала, у нас была другая задача.

— *Солженицыну выпадало в боях участвовать?*

— Я же сказал — у нас были другие задачи. Я не помню, чтобы он непосредственно в боях участвовал, в бою пехота участвовала. А мы — только

когда обстоятельства складывались. В окружении например».

Об этом окружении, из которого Солженицын якобы вывел батарею, и сам он писал, и в прессе писали неоднократно. Послушаем рассказ Соломина, непосредственного участника события:

«— В январе 45-го Второй Белорусский фронт сделал стремительный марш-бросок и у Балтийского моря отрезал крупную немецкую группировку, очень крупную. Эсэсовцы там оказались, бронетанковые части... Они перегруппировались и начали пробиваться. А цельная линия фронта ещё не успела сложиться, в результате звукобатарея попала в клещи. Александр Исаевич связался со штабом, просил разрешения отступить. Ответили — стоять насмерть. Тогда он принял решение: пока есть возможность — вывезти батарейную аппаратуру (это поручил мне) а самому остаться с людьми. Дал мне несколько человек, мы всё оборудование погрузили в грузовик. Прорывались среди глубоких, по пояс, снегов, помню, как лопатами разгребали проходы, как машину толкали... Добрались до деревни Гроссгерманафт, там был штаб дивизиона».

Здесь важна каждая подробность, а подробности точны. «Прорывались» сквозь глубокий снег, разгребали его лопатами. Но не из окружения прорывались: ни одного немца по дороге не встретили, никто в них не стрелял, ни в кого они не стреляли. В дальнейшем их построили в колонну (видимо, вместе с кем-то ещё) и отправили в штаб корпуса, то есть ещё дальше в тыл. И опять же никаких немцев на пути. Так было ли окружение? Но — дальше: «Добрались мы до штаба корпуса. И там у машины меня вдруг обнял человек высокого роста — я и не понял сразу, что это Александр Исаевич: «Илюша, я тебе по гроб жизни благодарен!». Это каким же макарон?

Солженицыну приказали «стоять насмерть», а он раньше других оказался в глубоком, по фронтовым понятиям, тылу, в штабе корпуса. Естественен вопрос интервьюера:

«— *А он где был в это время?*

— Сличным составом. Мы расстались, когда они занимали круговую оборону. Но потом пришел приказ из штаба дивизиона — выходить из окружения. Как выпутались — не знаю, сам с ними не был. Но Солженицын ни одного человека не потерял, всех вывел».

Соломин вообще о своём командире батареи вспоминает доброжелательно, отмечает его учёность и т.д., но вот этой части рассказа можно верить, а можно и не верить, поскольку *«не знаю, сам с ними не был»*.

Пробиться с боем из окружения, если это — окружение, не потеряв из батареи ни одного человека, практически невозможно. Целые армии наши оставались в плену, а сколько погибло, прорываясь, — не счесть. Так было ли окружение, повторю свой вопрос?

И что означал этот внезапный эмоциональный порыв, это объятие: «Илюша, я тебе по гроб жизни благодарен!»? Фронтовое братство, не знавшее чинов? Но тот же Соломин на вопрос: «У Солженицына с солдатами какие были отношения?» отвечает: «Я бы не сказал, что он плохо к солдатам относился. Просто Александр Исаевич себя держал так... на отдалении от всех».

Этот порыв у не склонного к эмоциям человека был не случаен. И тут я опять сошлюсь на собственный опыт. Город Секешфехервар в Венгрии мы брали и отдавали и снова брали, бои были очень тяжёлые. И вот по приказу наша батарея, понеся потери, выходила из города ночью, снарядов уже не было. И встретились нам артиллеристы, которых

отправили обратно в город. Они оставили свои пушки, будто бы сняв с них замки, они спрашивали нас, где немцы, где немецкие танки? (Частично я написал об этом в повести «Южнее главного удара»). Командир полка приказал их комбату идти обратно и без пушек не возвращаться. По фронтовым законам командир полка мог отдать его под трибунал, но он отправил их туда, где остались их пушки. Они шли почти на верную смерть.

Если бы Соломин не вывез батарейную аппаратуру, то командира батареи, Солженицына, могли отправить под трибунал: сам вышел, а матчасть бросил. Вот отсюда — *«по гроб жизни благодарен»*. Да что-то эта благодарность ни в одной из его книг до сих пор не прорезалась. Может, потому, что пришлось бы тогда и про себя всю правду рассказать?

Впрочем, есть свидетельство самого Солженицына: его повесть «Адлиг Швенкиттен»: «о боях в Восточной Пруссии; о выводе моей батареи из окружения в ту ночь», — пишет Солженицын. Подзаголовок — «суточная повесть». Подавали бывало и в харчевнях, и в ресторанах суточные щи, знатоки особенно ценили их. Но «суточная повесть»... Это, видимо, какой-то новый литературный жанр, проще сказать — литературная разблюдовка. Ну, да хоть горшком назови... А написана повесть так слабо, так примитивно (но не без изысков: «рыгнуло орудие»), поверить невозможно, что это писал тот же человек, который когда-то написал «Матрёнин двор». Впрочем, ничего неестественного тут нет. Ещё Голсуорси отмечал: с годами чернила в чернильнице густеют. Этому подвержены многие писатели, исключая, разумеется, гениев. Лев Толстой под конец жизни, уже твёрдо решив не писать «художественное», всё же не смог удержаться, написал повесть «Хаджи Мурат», которой в этом году исполняется столетие. Надо по-

лагать, столетие отмечать не будут: она сегодня ещё более злободневна, чем в ту пору, когда он её создавал. Но у нас не про Толстого речь, совсем не про Толстого: масштабы иные. А для начатого разговора важно не то, что повесть написана примитивно, а то, что написана она не из боя, не непосредственным участником, это сразу чувствуется, а с достаточно большого отдаления от места действия. Потому так всё и незримо. И никакая звукобатарея там и близко не присутствует, ничего про неё нет. Но вот в списке представленных к награде, который приведен в конце повести, «звуковик», т. е. командир звуковой батареи, тут как тут. «За успешный же вывод батареи из окружения 27 января 1945 года в Пруссии я был представлен и к ордену Красного Знамени, как ещё несколько наших бригадных офицеров — но 9 февраля настиг меня арест — и меня успели вычеркнуть из наградного списка», — пишет он в той же статье «Потёмщики света не видят». Это пишет восьмидесятипятилетний человек, отмеченный всеми мыслимыми знаками отличия, пишет, что за своё присутствие на войне он что-то ещё недополучил...

Соломин случайно оказался свидетелем его ареста: «Капитан Солженицын? Вы нам нужны. Он к нам подошёл. Дальше какой-то короткий тихий разговор и потом: «Проедемте на КП бригады». Выходят. Я следом. Во дворе «эмка». Садятся, уезжают. Не знаю, что меня толкнуло, но я почему-то сразу понял: это — «СМЕРШ» и дело политическое. Побежал к батареейной грузовой машине — знал, что там, в кузове, лежит чёрный снарядный ящик, в котором Солженицын держал свои записи и книги. Ящик схватил, отнёс в лес и содержимое стал быстро перекладывать в свой вещмешок. Вещмешок был со мной всё время, после войны я всё, что тогда спрятал, отдал Наташе».

Ну, знаете, на это не каждый бы решился, «СМЕРШ» витал над нами, как смерть чёрная. Он и учреждён был Сталиным для того, чтобы свои боялись своих больше, чем врага. «Илюша тогда, по сути, спас Исаича. Он успел спрятать (или частично уничтожить) личные записи, книги, в том числе и трофейные, которые Исаич из любопытства подбирал. Если бы это попало в руки следователя, ещё вопрос, как бы всё повернулось». Это свидетельствует двоюродная сестра его первой жены Натальи Решетовской, которой Соломин отдал после войны вынесенные им и сбережённые бумаги. Бумаги сберёг, себя не уберёт: вслед за своим командиром угодил туда же, в ГУЛАГ.

Естественно, что интервьюер спросил Соломина: «В одной книге про вас пишут, что вы были ординарцем Солженицына».

— Ординарцем я не был, характер неподходящий. Ординарцем у Солженицына был Захаров, из Ташкента. Он Исаичу и лейтенанту Овсянникову готовил».

Тут только руками разведёшь: с удобствами пребывал на фронте капитан Солженицын. Жену привезли: «Вы же поймите: война, — оправдывает его Соломин, — мужчины четыре года женщин не видят...». Что ели солдаты, он, «отец-командир», не ел, ему ординарец отдельно готовил. Это насколько же надо не считать за людей вверенных тебе солдат, чтобы брезговать есть то, что они едят. А ведь среди них были Иваны Денисовичи, не в книге, в жизни. И они всё это видели, знали. И не стыдно. «Просто Александр Исаевич держал себя на отдалении от всех».

«Сержант Соломин и капитан Солженицын».

Соломин воевал с первых дней, дважды ранен, брат убит на фронте, мать, отца, сестрёнку нем-

цы уничтожили в Минске, как уничтожали всех евреев. Солженицын призван в армию (повторим: не сам добровольцем пошёл защищать родину, военкомат призвал исполнить долг мужчины и гражданина) аж в октябре 41-го года. Немцы уже подходили к Москве, судьба России решалась, он продолжал преподавать детям математику в школе, в глубоком тылу. И когда под Сталинградом шли бои, там, по нынешним подсчётам, погибло у нас более двух с половиной миллионов человек, он в тыл устремился. И вот этот человек судит, кто воевал, кто не воевал.

Ну да хватит. Каюсь: и я поначалу помогал творить из него кумира, хотя, разумеется, главный творец он сам. Я уже и тогда кое о чём начинал догадываться, но гнал, гнал от себя дурные мысли. У Твардовского есть в «Рабочих тетрадях» про то, что я и другую сторону этого человека видел, мы о многом говорили откровенно. Но талант и человеческие качества вовсе не всегда в одном сосуде, даже великие в обыденной жизни бывали далеко не ангелы. Если б только об этом речь! Никогда в период гонений я не сказал и не подписал ни единого слова против Солженицына, а вымогали это различными способами. Нет у меня и теперь намерения «опорочить его как личность». Да и никто не способен это сделать так, как делал на протяжении лет и сделал он сам: литература — опасный род занятий, пишешь про кого-то, а сам ты виден на просвет, вся натура выпирает наружу. Интересное совпадение, между прочим: у человека, призывавшего жить не по лжи, в самом корне фамилии — ЛЖЕ. СОЛЖЕницын. Впрочем, всё это уже — прошлое. Холодная война, будем надеяться, кончилась. Устарело в значительной степени и её орудие.

Как раз перед празднествами по поводу 300-летия Петербурга, в Москве, на Красной площади, выступал Пол Маккартни, последний из четвёрки битлз. Предварительно он был принят президентом в Кремле, а в это время напротив Кремля, в ГУМе, VIP-зрители подкреплялись перед концертом. И вот — из газеты «Коммерсантъ» (26 мая 2003 года): **«Земляничная поляна в ГУМе у фонтана».**

«В субботу перед концертом Пола Маккартни в ГУМе прошла клубничная pre-party для самых именитых зрителей. К концерту знаменитого битла тут готовились методом погружения в десятки килограммов спелой клубники и реки шампанского.

Pre-party «Strawberry fils forever», организованная спонсорами концерта в закрытом по этому случаю ГУМе, пахла клубникой и на вкус была клубничная. Знакомую всем первую линию магазина частично застелили квадратами живой травы, а на траву корзинами рассыпали очень крупные и ароматные ягоды. Клубникой был засыпан и знаменитый фонтан, алые горы возвышались и на огромных столах, десятки девушек-моделей в ярких нарядах прохаживались между гостями с корзинами в руках и умоляли съесть «ну хоть одну ягодку». Гости не отказывались и продолжали гулять по травке, поминутно наступая на клубничины. Минут через двадцать после начала дурманивший сладкий запах был уже повсюду. Прибывающие люди вдыхали его вместе с духотой и непроизвольно улыбались.

В клубничных парах с улыбками на лицах прохаживались по первой линии ГУМа Павел Буре вместе с Ксенией Собчак и предпринимателем Анзори Кикалишвили, глава компании «Агрос» Дмитрий Ушаков, председатель совета директоров «Тройка Диалог» Александр Момут и президент самарского футбольного клуба «Крылья Советов»

Герман Ткаченко, председатель бюджетного комитета Госдумы Александр Жуков, глава компании «Дон-строй» Дмитрий Зеленов и руководитель Русской медиагруппы Виталий Богданов в красной майке. Майка выглядела очень актуально не только на фоне вездесущей клубники, но и потому, что сам Пол Маккартни вышел на сцену в пиджаке и футболке того же цвета. Именитые гости поминутно подхватывали с огромных зеркальных подносов малюсенькие канапе с чёрной и красной икрой и образовывали очереди около барменов, разливающих спиртное.

Около фонтана была отделена VIP-зона для организаторов концерта, где можно было посидеть на надувных диванчиках и посмотреть клипы ранних «Битлз» на огромном экране. В этой зоне начала основного мероприятия ждали тоже весьма известные люди: финансисты Борис Йордан и Альфред Кох, лидер СПС Борис Немцов, председатель совета директоров Access industries Леонард Блаватник, глава Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский, руководитель концерна «Нефтяной» Игорь Лившиц и Алексей Родзянко из московского ООО «Дойчебанк».

С большим шиком и отдельно от основной группы приглашённых готовились к восприятию выступления долгожданной звезды высокопоставленные сотрудники Альфа-банка и люди, оказавшиеся с ними в кафе Bosco. Закуски здесь были посерьёзнее, чем канапе и фрукты: официанты буквально сбивались с ног, стараясь обеспечить фуагра и прочими французскими блюдами первого зампреда совета директоров Альфа-банка Олега Сысуева, бизнесмена Рустама Тарико, актёра Олега Янковского, главу госкомспорта Вячеслава Фетисова, председателя Счётной палаты Сергея Степашина, представителя правительства в КС Михаила Бар-

шевского, музыканта Стаса Намина, режиссёра Никиту Михалкова, владельца сети магазинов «Перекрёсток» Леонида Хасиса и председателя ВГТРК Олега Добродеева.

Все три группы посетителей pre-party непринуждённо общались и подкреплялись. Так как начало концерта задерживалось почти на час, времени на это было предостаточно. Около половины девятого вечера ГУМ опустел, покинувшие его люди заполнили первые ряды партера на Красной площади».

Это — в стране, где больше трети населения живёт за чертой бедности.

А несколькими днями позже состоялся Венский бал в Гостином дворе. Гостиный двор года три или четыре года назад отреставрировали, там — дорогие магазины, а внутренний двор накрыт стеклянной крышей. И вот выписаны из Вены венский оркестр, венский дирижёр и проч. и проч., открывали бал чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева и Алсу, дочь нефтяного магната (компания ЛУКойл) сенатора Сафина. Телеканалы показывали обеих, брали у них интервью, показывали роскошества, какими всё это будет обставлено.

Тем временем на шахте в Прокопьевске, в Кузбассе — очередной взрыв метана. 12 шахтёров погибли, четверых удалось спасти. Шахта старая, но уголь здесь марки «К», то есть — коксующийся, самый ценный. Закрывать эту шахту — весь посёлок останется без работы. Зарплата шахтёра от пяти до пятнадцати тысяч в месяц. Пять тысяч — это сто семьдесят долларов. Жизнь его, риск, ни государство, ни частные страховые компании не страхуют. При норме выдать на гора тонну угля за смену, ему одному этих пяти тысяч в месяц не хватит, чтобы ответственно питаться. А ещё надо семью кормить.

Смотрел по телевидению фильм Би-би-си о войне, включил — середина какой-то серии. Вот вроде бы и знаю всё, а невозможно смотреть кадры хроники. Лагерь наших военнопленных, ещё не оборудованный лагерь, 41-й год: согнали в лошину тысячи людей. И с холмов немцы швыряют падаль в эту копошащуюся людскую массу, швыряют и смотрят, как они там, голодные, давят друг друга, вырывают друг у друга кусок. И снова швыряют и смотрят.

И — колонны, колонны, бесконечные колонны наших пленных.

А на фоне хроники — интервью участников тех событий. Наши ветераны — совсем ветхие, немцы выглядят упитанней, вполне благополучны. Один из них, занимавший в те времена немалую должность, подписал преступный приказ, оглашённый на Нюрнбергском суде, в котором предписывалось армии, не карательным войскам, тем — само собой, но — армии, расстреливать без суда комиссаров и каждого, кто способен или заподозрен в том, что может оказать сопротивление. Объясняет он это логично, спокойно: тогда было много бумаг, я много бумаг подписывал, в том числе — эту. Мы защищали от них (т.е. — от нас — Г.Б.) европейскую цивилизацию, так я тогда думал, а если я так думал, я поступал правильно. Теперь я так не думаю... Это они, в фашистской Германии, защищали цивилизацию! Ни раскаяния, ни осознания, наоборот — с определённой долей удовольствия, что к нему пришли за разъяснениями. И другой, крупный, упитанный, с перстнями на пальцах так же спокойно: мы их считали интеллектуально ниже себя. Теперь я так не считаю. Этот воевал, рассказывает, как под Вязмой наши, вырываясь из окружения, шли в атаку безоружные. Да как же не безоружные, когда к началу

войны в некоторых наших приграничных дивизиях винтовок не хватало. А и потом нередко выдавали на винтовку по два патрона. «Немецкий солдат безоружным никогда в атаку не пошёл бы. Мы их подпустили и расстреливали из пулемётов». И третий, совсем седой, тоже был там, под Вязьмой: «От страха они ложилось на землю, притворялись мёртвыми. Я подошёл к нему: «Руки вверх!» (фильм дублирован на русский язык). Он не шевелится. Я застрелил его: а вдруг он бросит гранату. Они лежали, а мы шли и стреляли в них». Голос — переводчика, но лицо старика поражает спокойствием, лицо человека, разумно разъясняющего обстоятельства, которые были таковы.

И ещё двое, тоже старики, рассказывают спокойно о том, как им приказано было уничтожить и сжечь деревню: «Он убегал по льду реки, вёз за собой санки. Я дал очередь из автомата. Что-то из санок выпало. Может быть — женщина, может быть — ребёнок. Не знаю. Потом я застрелил его. Я выполнял приказ». Другого спрашивает интервьюер: «Вы забрали у них корову, забрали свинью...» — «Но у них остались овощи. Русские неприхотливы» — «Но вы сожгли его дом зимой» — «Да. Но русские хорошо переносят морозы». Это говорится спустя столько лет после войны, когда прожита целая жизнь!

Где-то я уже об этом писал, но повторю, десятилетия минули, а оно живо перед глазами. Мы тогда окружили за Днестром 6-ю немецкую армию, созданную как символ по приказу Гитлера взамен той, 6-й, окружённой и уничтоженной под Сталинградом. По ночам они пытались прорываться. Меня сменили на передовом наблюдательном пункте, не видать было ни зги, и я шёл по линии, держа в руке телефонный провод, шёл к Днестру, чтобы переправиться на ту сторону и — на батарею. Но малярия вытрепала меня, мы все там болели малярией, обес-

силев, я придремал в окопе на промежуточном пункте. Проснулся как от толчка: всходила ракета, и в её свете я увидел над собой нагнувшегося над окопом немца, козырёк его кепи и светящиеся на нём капли дождя. Какое-то мгновение мы смотрели друг на друга, он мог выстрелить в меня, но он побежал. Я схватил автомат. И вот его спина, согнутая спина бегущего при свете ракеты — у меня на мушке. Но я тоже не выстрелил, дал ему уйти. Он побежал потому, наверное, что они были в окружении, он спасался. Жив ли он, не раз думал я за эти годы, разумеется, не главная эта была мысль, но всё же думалось. Может, дети у него, внуки... Нет, никогда я не жалел о том, что не убил его.

Август. Три дня празднества: прославление преподобного Серафима Саровского, 100 лет со дня его канонизации. Крупная фотография на первой полосе газеты: патриарх Алексий II вознёс над собой крест, что-то возглашает и крестит паству, рядом — президент, он крестится, шепот у левого плеча.

Меры безопасности на празднестве — беспрецедентные: в Дивеев собор проходят через металлоискатель, как в аэропорту, в деревне милиция проверяет паспорта паломников, ощупывает всех. И — крестный ход в Троице-Сергиеву лавру. Впереди несли мощи, сопровождали машины скорой помощи. Жара — 40 градусов, восьмидесятилетний пенсионер скончался по дороге.

Сушь и жара поразили не только нас, но и Европу, и Америку, и даже Канаду. Тайга горит небывало, горят леса в Орегоне (США), в Португалии, в Испании, во Франции. Огонь подступает к Лазурному берегу. Франция запросила помощи, и мы тут же отправили туда два сверхмощных вертолёта, ко-

торые способны зачерпывать огромное количество воды. Помогать надо, слов нет, во Франции, как выяснится в дальнейшем, от жары небывалой погибло пятнадцать тысяч человек, в основном — пожилых людей, но ни президент Франции Ширак, ни даже министр здравоохранения не прервали свои отпуски. А мы послали вертолёт, хотя огонь у нас в это время уже подступал к Иркутску, а техники катастрофически не хватало, тех же вертолётчиков обычных — считанные единицы. Когда у тебя загорелся дом, не бегут на край села заливать чью-то хату. Но такова уж наша традиция. В первую мировую войну, когда немцы наступали на Париж, мы срочно бросили в наступление армию Самсонова, чтобы оттянуть на себя немецкие войска с Западного фронта. Оттянули, армия Самсонова погибла в Мазурских болотах. И в эту войну, в 1945 году, опять же на своём Западном фронте, в Арденнах, немцы предприняли наступление, Черчилль запросил у нас помощи. И при самых неблагоприятных погодных условиях, когда наша авиация не могла летать, а артиллерия не могла стрелять прицельно из-за низких туманов, мы срочно начали наступление, понеся бесчисленные потери.

Разумеется, события эти несопоставимы по значению, но традиция та же: своих не жаль, важней — хорошо выглядеть.

Вчера в Израиле, где под эгидой американцев было достигнуто трёхмесячное перемирие «Дорожная карта», и израильтяне начали отводить войска с палестинских территорий, жестом доброй воли выпустили из тюрьмы сотню с лишним палестинцев, вошёл в автобус террорист-смертник и взорвал себя. Сдвоенный автобус шёл от Стены плача, в нём — верующие и дети. В одном из домов, мимо которого он проезжал, был детский праздник, дети высыпали

оттуда, кинулись к автобусу, но водитель не открыл двери: автобус был переполнен. Дети ещё бежали за ним, не подозревая, что бегут за своей смертью. Террорист дождался, пока встречный автобус поворачивался, тогда взорвал бомбу. Убито 20 человек, раненых больше сотни. Людей разорвало так, что узнать было невозможно, младенца опознали, взвесив на весах. Перед тем, как совершить теракт, смертник позировал перед камерой с автоматом в руке, произнёс речь. Это был не мальчик, не юноша, это был МУФТИЙ. У него осталось двое детей и жена, которая заявила, что гордится своим мужем.

В израильской тюрьме всё это смотрели по телевизору палестинские террористы, они аплодировали и кричали от радости. За это их наказали: лишили телевизора. У нас тюрьмы набиты так, что заключённые спят в три смены. В крошечном Израиле, со всех сторон окружённом смертельными врагами, самые страшные убийцы содержатся вот в таких комфортных условиях, о которых в наших тюрьмах и не мечтают. Ответственность за убийство взяли на себя «Хамас» и «Хесболла», заявили, что выходят из договора о перемирии: он и нужен был им, чтобы перегруппироваться. Тем не менее, европейцы тут же призвали израильтян никак не отвечать на теракт, это, мол, будет на руку палестинцам.

Голда Меир сказала в своё время: «Мира на Ближнем Востоке не будет до тех пор, пока палестинцы не научатся любить своих детей больше, чем ненавидеть израильтян».

В ночь после этого взрыва в автобусе израильтяне выследили машину второго по значению руководителя «Хамас», пятью ракетами с самолёта уничтожили его и двоих охранников, ввели войска и танки на палестинские территории, начали «зачистки» в городах. Корреспондент НТВ сказал: «Проводят зачистку, как мы в Чечне».

Опять возникают разговоры и опасения: не введут ли цензуру? А она уже введена, и этого как-то даже не заметили. Ни насилия, ни вселенского страха для этого не потребовалось. Сменили команду на НТВ, большая часть журналистов осталась служить новым хозяевам, а те, кого изгоняли, те шумели, кричали, созывали митинги, а сколько прогрессивных лозунгов и призывов раздалось, но не последним за всем этим было — вырывают сладкий кусок изо рта. Горячий кавказец, корреспондент Руслан Гусаров, примчался на митинг чуть ли не как посланник народа Дагестана: мне сказали, почему в такой момент ты здесь, а не в Москве, где твоя честь? Это он кричал на митинге. Ничего, работает сейчас, как работал, на НТВ, регулярно лицо его — на экране. Дальше — проще: изгнанные, не тратя времени даром, изгнали другую команду с канала ТВ-6, вырвали у них кусок изо рта, не такой жирный, но всё же. Однако видели: дело плохо, и самые прогрессивные по одному, по одному, стали перебегать на другие каналы: на государственные и на то же НТВ, теперь уже не брезговали. И вот, как прежде, посменно ведут новости на НТВ Миткова, которая оттуда и не уходила, «предала» всех и вся, в том числе — «прогрессивные идеалы», и пофрондировавший некоторое время Осокин: одну неделю на экране — её лицо, другую неделю — его лицо. Власть ничего ему не припомнила, гонениям не подвергла. Зачем? Пусть сам хлебает свой позор: «Его пример — другим наука...». И попритихли газеты, выражаясь современным языком, прогнулись, сами смекают, с полунамёка угадывают, чего изволите. И искусство наше, так сказать, святая святых, тоже поспешает не отстать. Помните старый анекдот: утром якут посадил картошку, вечером вырыл её. Почему? Кушать хочется...

К сожалению, я никогда не вёл картотеку, записные книжки — от случая к случаю. И вот забыл и не могу вспомнить, как назывался тот осаждённый город, сколько веков назад и где это было, но было, однажды я об этом уже упоминал. Его защищали героически, а когда сопротивление всё же было сломлено, побеждённые в страхе ждали кровавых расправ, грабежей, мести. Ничего этого не случилось, победители открыли в городе увеселительные заведения и т.д. и т.п. и постепенно, постепенно город предался веселию и разврату. И уже никто из воинов не взял бы в руки оружие, они были не способны.

Зачем сегодня запрещать какую-либо книгу, когда она не востребована, да и не написана. А зависимость тут прямая: значительные книги появляются тогда, когда они востребованы временем. Но чтобы потребность эта и не возникала, наука дала прекрасные средства: то же телевидение, тот же интернет, который далеко ещё не раскрыл свои возможности. Порносайты — у них чуть ли не 50% посещений. А сериалы, как товарные поезда с бесчисленным количеством вагонов — друг за другом, друг за другом, и везут всё тот же товар. А детективы на всех прилавках. В них уже не только расследуют, кто убийца, кто убит, в них уже рекламируют продукты. Итог? Рано ещё подводить итоги, но, как говаривал Михаил Сергеевич Горбачёв, «процесс пошёл».

Вышла книга: «Шостакович в воспоминаниях». Вот несколько выдержек из неё:

Галина, дочь: «В нашей квартире раздаётся звонок. Отец, слегка волнуясь, сам идёт открывать дверь. Вежливо поздоровавшись с вошедшим, помогает ему снять пальто, и они двое удаляются в кабинет.

С некоторых пор этот невысокий мрачноватый гость стал появляться у нас регулярно. Происходило это в 1952 году, когда всем советским людям предписывалось усердно изучать только что опубликованные работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические проблемы социализма в СССР». Для Шостаковича сделали исключение. Нет, не освободили от унижительной обязанности, но разрешили не посещать общих занятий в Союзе композиторов и прикрепили к нему индивидуального преподавателя — «товарища Трошина», каковой и появлялся у нас дома.

В этой трагикомической ситуации отца отчасти выручали два его друга — Исаак Давидович Гликман и Левон Тадесович Атовмян: именно они конспектировали указанные сочинения Сталина. Бессмысленность этого дела и некую, я бы сказала, ритуальность усугубляло то, что преподаватель притворялся, будто не различает разницу почерков Гликмана и Атовмяна, каковые были отнюдь не похожи на почерк Шостаковича. Между прочим, Гликман гостил в нашем доме, когда «товарищ Трошин» явился к нам в первый раз. И существует описание этого визита».

Исаак Гликман: «Визитёр внимательно оглядел кабинет, похвалил его устройство и затем в мягкой форме, даже с виноватой улыбкой, выразил удивление по поводу того, что не видит на стенах портрета товарища Сталина. Время было тяжёлое, удивление прозвучало как упрёк. Дмитрий Дмитриевич смутился, начал нервно ходить по комнате и выпалил, что он непременно приобретёт портрет товарища Сталина. Правда обещание осталось невыполненным, так как вскоре мода на сталинские портреты прошла».

Её, когда Сталин умер, сменила «мода» на портреты Хрущёва, Брежнева, теперь — Путина.

Правда, пока ещё не в частных квартирах, пока — в служебных кабинетах.

Михаил Ардов: «К тому времени, когда Московскую консерваторию оканчивал Святослав Рихтер, уже было ясно, что это — великий музыкант и что его имя непременно должно украшать так называемую «золотую доску», где значатся все выдающиеся выпускники, но тут возникло препятствие: Святослав Теофилович никак не мог усвоить всё ту же марксистскую теорию. А человек, не получивший по данному предмету отличную оценку, претендовать на «золотую доску» не мог. Начальство повело переговоры с преподавателем марксизма: ему объяснили, кто такой Рихтер, как важно, чтобы он числился среди лучших выпускников. В результате марксист согласился быть снисходительным и задать Святославу Теофиловичу самый простой вопрос. Во время экзамена преподаватель спросил:

— Кто были Карл Маркс и Фридрих Энгельс?

Рихтер подумал и сказал:

— Первые социалисты-утописты!

Марксист в отчаянии схватился за голову».

Галина: «— Вы мне ответьте на такой вопрос, — говорит наш отец студентке, — Что такое ревизионизм?

Шёл экзамен по марксистской философии, принимал его специалист по данному предмету, а ассистентом был назначен Шостакович. На экзамене он помалкивал и вопросов не задавал. Но вот марксист по какой-то надобности покинул аудиторию, и отец остался в одиночестве.

... — Хорошо, — сказал Шостакович, — оставим ваш билет в стороне...

И тут он задал свой вопрос о ревизионизме.

Барышня задумалась и произнесла:

— Ревизионизм — высшая стадия развития марксизма-ленинизма.

В аудиторию вернулся главный экзаменатор, и Шостакович ему сообщил:

— У меня тут отвечала Иванова, я ей поставил «отлично».

Родион Щедрин: «Шостакович жил в государстве, которое дышало страхом. У него же все близкие были посажены. Он дружил с Тухачевским, и тот написал Сталину письмо в защиту Шостаковича, после статьи «Сумбур вместо музыки». Уже одного этого хватило бы, чтобы Дмитрия Дмитриевича посадить. Шостакович приезжал в Москву. Остановливался у Мейерхольда, в той самой квартире, где потом убили Зинаиду Райх. И этого достало бы, чтобы его не только посадили, но и убили...».

Максим Шостакович: «Когда мы были маленькими, то иногда обращались к отцу с вопросом: куда пропал такой-то наш знакомый? У него для нас был весьма короткий ответ: «Он хотел восстановить капитализм в России»... Был арестован и погиб муж старшей сестры отца Всеволод Фредерикс, его жена Мария Дмитриевна выслана из Ленинграда. В своё время подверглась аресту и наша бабушка со стороны матери — Софья Михайловна Вазар.

Начиная с 30-х годов и до самой смерти Сталина отец жил под угрозой ареста и гибели. От этого не могла спасти ни лояльность режиму, ни гениальная одарённость — судьба поэта Осипа Мандельштама или режиссёра Всеволода Мейерхольда наглядный в этих отношениях пример.

Как известно, среди поклонников Шостаковича был расстрелянный по приказу Сталина маршал Михаил Тухачевский, они иногда с отцом общались... Однажды, после того, как он побывал в гостях у Тухачевского, Шостаковича вызвали в «Большой дом», то есть в ленинградское управление

НКВД. На допросе следователь его спросил: «Вы были у Тухачевского. Вы слышали, как Тухачевский обсуждал с гостями план убийства товарища Сталина?». Отец стал отнекиваться. «А вы подумайте, вы припомните, — говорит следователь. — Некоторые из тех, кто был с вами в гостях у Тухачевского, уже дали нам показания... я вам настоятельно рекомендую вспомнить этот разговор... Я даю вам срок до одиннадцати часов утра. Завтра придёте ко мне, и мы продолжим беседу». Отец явился домой ни жив, ни мёртв. Он решил, что показаний против Тухачевского не даст, и стал готовиться к аресту. Утром он снова явился в «Большой дом», получил пропуск и уселся возле кабинета того самого следователя. Проходит час, другой, а его не вызывают. Наконец какой-то чекист, который шёл по коридору, обратился к нему: «Что вы тут сидите? Я смотрю, вы здесь уже очень давно». «Жду. Меня должен вызвать следователь Н.». «Н.? — переспросил чекист, — Ну, так вы его не дождётесь. Его вчера ночью арестовали. Отправляйтесь-ка домой».

Не раз в брежневскую пору слышал я от «интеллигентов»: как же так, Шостакович, Шостакович! подписал такое-то письмо, в котором что-то или кто-то публично осуждались, как же так, Шостакович! не подписал письмо в поддержку того-то или чего-то?... Да, он не был героем но, снося многократные унижения (он плакал дома, когда его всё-таки принудили вступить в партию), он героически защищал главное своё дитя: музыку. И в отличие от блестящего стилиста и абсолютно безнравственного Катаева, в отличие от ярко талантливого Алексея Толстого, продавшего душу дьяволу, зато дом его был набит антиквариатом, скупленным в голодные военные годы за бесценок, вещами из музеев, из Михайловского замка, гений Шостаковича оказался превыше страха, ломавшего даже героев.

Позвонил из Петербурга Гранин, рассказал: его пригласили в Бочаров Ручей, где отдыхал в это время президент, на чествование Расула Гамзатова: Расулу — 80. Были ещё: Давид Кугультинов (Калмыкия), певица Нани Брегвадзе (Грузия). Расклад карт понятен: Расул Гамзатов — гордость Дагестана, рядом, в Чечне — война, Дагестан, как, впрочем, и весь Кавказ, неспокоен: взрывы, налёты так называемых боевиков, ваххабиты... Расула, мусульманина, наградили высшим православным орденом России: орденом Андрея Первозванного.

Гранин рассказывает: Давида Кугультинова ввели под руки, он почти слепой. И под руки ввели Расула, ноги не держат его, но голова, как сказал Гранин, светлая. С бокалом в руке, Расул сказал президенту: у нас много президентов, во всех республиках — президенты, но нам нужен ОДИН президент. И они чокнулись бокалами. Кстати, на этих же днях президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, на которого не раз пытались открыть уголовное дело за гигантские хищения, заявил, что нынешний наш президент будет великим президентом.

Годами тремя ранее, когда вышел роман Гранина о Петре I, он отозвал меня в сторонку (в музее Пушкина был приём в честь юбилея журнала «Знамя»), спрашивал, прочёл ли я его роман, что о нём думаю. Я похвалил роман, но он хотел услышать подробнее, а я сказать больше ничего не мог. Было понятно главное: роман — о Петре I, совпало ли так или задумано провидчески, но сейчас он, как никогда, — в пору. Я этого, разумеется, не сказал, но он обиделся. Однако когда мне понравилась его передача о блокадном Ленинграде, я от души написал о ней. И отношения восстановились.

Прошло время, и президент прочёл роман, возможно, ему посоветовали. Прочёл и пригласил Гранина на обед в Кремль.

Как-то гуляли мы с Граниным по Москве между Пушкинской площадью и площадью Маяковского. Был сырой вечер. Моросило. Гранин спросил меня, почему я не попрошусь на приём к президенту: «тебя бы приняли». Но зачем? Советовать что-либо? У него хватает советчиков. А мне лично ничего не надо. Точно так же советовали мне в своё время попроситься на приём к Ельцину. И я тоже не понимал, зачем? То, что считал нужным сказать, я сказал ему на совещании: и о распространении у нас фашизма при полном бездействии власти, и о том, к чему приведёт и что для него лично будет означать, если Полторанин, один из его тогдашних приближённых, сосредоточит в своих руках средства информации, тот как раз пытался это сделать перед выборами. О фашизме Ельцин пропустил мимо ушей, а вот о том, что назревает угроза для него лично, воспринял. Потом был обед в Грановитой палате, сесть к нему поближе теснились, я сел на самый дальний край стола, я всегда стремился сохранять дистанцию.

И к Горбачёву, когда он был президентом, приближённые советовали мне попроситься на приём. И я тоже не понимал, зачем? Всё, что я считал нужным, я открыто говорил на совещаниях. И сейчас, когда он не президент, у нас сохранились самые добрые отношения, даже и выпивать приходилось, последний раз — когда чествовали театр Любимова в Доме актёра. Мы как раз сидели напротив друг друга с Горбачёвым, разговаривали, чокались водочкой. А ведь, между прочим, он, будучи президентом, приглашал меня на обед в Кремль, я это только сейчас вспомнил. Дело было так: сын мой, Миша, из командировки в

Латинскую Америку привёз мне кожаную куртку в подарок. И вот в этой куртке поехал я по делам, заехал в Союз писателей, звоню в «Знамя», а там переполох: ой, Григорий Яковлевич, вам приглашение на обед в Грановитую палату, Михаил Сергеевич принимает там президента Румынии Чаушеску! Глянул я на часы: надо съездить домой переодеться, оттуда — в Кремль. Не успеваю. Вернулся в «Знамя», секретарь, Марина, заварила чайку, так и не пришлось мне поприсутствовать на обеде с диктатором Румынии Чаушеску, которого вскоре расстреляли.

Но — продолжу. Чествование Расула Гамзатова в гигантском концертном зале «Россия», устроенное по мановению свыше. Его привезли из Дагестана, двое могучих кавказцев под руки ввели его на сцену и усадили в ложе. Плясал тонконогий дагестанский ансамбль в папахах, красных черкесках и с кинжалами, пели артисты, обращался к нему со сцены с приветствием спикер федерального собрания, который, надо полагать, из всей его поэзии знаком с текстом песни «Журавли». И т.д. и т.п. Расул сидел в ложе, трясушимися старческими руками каждый раз пытался аплодировать, руки не слушались, не попадали ладонь в ладонь, скрюченные пальцы мешали, рот приоткрыт, нижняя губа отвисла. В первом ряду поднялся старший Михалков, царедворец всех времён, автор текста гимна: сталинского, послесталинского и нынешнего, вновь перелицованного («Женя, иди учи слова», — сказал он Евтушенко, который попробовал было его устыдить). Поднялся не на сцену, дебелая жена вполтину моложе его, помогла ему встать с кресла. Лет двадцать назад мы оказались с ним в одной делегации в Лондоне, он был бодр, как всегда цинично-остроумен, покупал тряпки жене: не этой, предыдущей, их у него сменилось немало:

«Разденут её и без меня, а кто её без меня оденет?...».

И вот девяностолетний Михалков с седым пухом на голове читал по бумажке: «Мы ещё справим с тобой, Расул, не один юбилей...». Тут я выключил телевизор, смотреть на это было страшно. За что такое унижение величием?

Политическое значение понятно. Однако на следующий день в столице Дагестана, в Махачкале, среди бела дня, в центре города, боевики застрелили в машине четырёх милицейских чинов. Нет, керосином не залить полыхающий на Кавказе пожар.

Я помню Расула молодым в наши литинститутские годы. Он учился на курс старше меня: сын народного поэта Дагестана Гамзата Цадаса, он не был на фронте. Его стихи я знаю не в подлиннике, а в переводе, поскольку не владею аварским языком, но с ним вместе на курсе учились его будущие переводчики: Елена Николаевская, Яков Козловский, Наум Гребнев, вот он-то и перевёл «Журавли», ставшие знаменитыми. И тем не менее Расул вне всякого сомнения — поэт. На Востоке, на Кавказе ценится умение самые обычные вещи подавать в оболочке мудрости; однажды я был в поездке, в Америке, с одним таким именитым представителем своего народа, ни слова не сказал он в простоте, по всякому поводу изрекал нечто мудрое. Это было ужасно. Но Расул действительно мудрый человек. Это он сказал: «У нас тоже были свои Ромео и Джульетты, но у нас не было поэта, чтобы рассказать о них. И потому мир ничего о них не знает». На лекциях он обычно писал стихи, а голос лектора звучит и звучит в ушах, мешает ему, и однажды, забывшись, он закричал, махнув на профессора рукой: «Замолчи!». Со временем Расул был награждён всеми высшими наградами тех пор, всюду представлял, но не потерял ни острого ума, ни поэтического дара: «Сижу в президиуме, а счастья нет». Как-то во время заседа-

ния Верховного Совета (а он был Членом Президиума), ему позвонили из Дагестана, поздравили: его жена благополучно разрешилась от бремени, родила дочку. «Куда смотрел обком!» — закричал в трубку Расул: он, конечно, хотел сына. Для одного из интервью по поводу его восьмидесятилетия он запретил фотографировать себя: «Не хочу, чтобы видели меня стариком». И напечатали довольно молодую его фотографию. И вот он — в этой ложе...

После грандиозного чествования Расула доставили в Кремлёвскую больницу и оттуда, полтора месяца спустя, — в Дагестан: хоронить.

В каждом из нас всё ещё сидит раб. Когда-то, после поездки Хрущёва в Америку, когда в длинный шлейф сопровождающих был включён и Шолохов, американский президент собрался к нам с ответным визитом. А может, наоборот, визит Хрущева был ответным, не в этом суть. В число сопровождавших американского президента включили Хемингуэя. Хемингуэй сказал: в мои планы сейчас это не входит. И не поехал.

Вчера, 11-го сентября, мне стукнуло 80 лет. И опять повторю, люблю это повторять: граф Безухов, отец Пьера Безухова, умер, как сказано в романе «Война и мир», *глубоким стариком* после четырёх ударов. Ему было 54 года. Любопытная вещь: среди людей, прошедших лагерь, прошедших войну, раненных неоднократно, немало не то чтобы долгожителей, но, скажем так, переживших все сроки. Видимо, я один из них.

До последнего момента колебался, отмечать ли как-то эту, ну, скажем так, дату? Разумеется, не в зале, при стечении народа, где юбиляр — на сцене впитывает славословия «в свой адрес», цену которым понимает, если совсем уж не поглупел. Нет, мысль наша с Эллой далеко не простиралась: со-

звать ли всех родных и близких, может случиться, что скоро уже и не соберёмся все вместе. Ведь предстоит ещё одна операция, полостная. Да и под силу ли Элле наготовить столько всего, пироги напечь? Разумеется, и сын и невестка Оля предлагали привезти закуску из магазинов, нам самим трудновато ездить, предлагали помочь всячески. И всё же до последнего момента колебался: сильно давление скакало. В последние месяц-полтора одолело телевидение, корреспонденты газет. А тут ещё обещал для канала «Культура» передачу о Твардовском: после всего, что изошло от Солженицына, это нужно было сделать. Четыре серии, по 26 минут каждая они и хотели снимать четыре дня минимум. Я сказал: две съёмки. Каждая длилась по несколько часов подряд, давление зашкаливало за 200, но выдержал.

Понимал: не созову всех родственников, останется у меня камень на душе. И сын сказал: надо сделать так, как папе будет приятно. В субботу, 13-го, съехались все, не было только дочка нашей, Шуры, с мужем, и внучки нашей Маргаритки: они в Канаде. Как раз происходил обмен заграничных паспортов, они не успели.

Сын с невесткой, с двумя сыновьями, нашими внуками, приехали раньше, расставили столы, сделали всё, что нам одним уже трудновато, и вот смотрят на меня родные лица, три поколения. И опять та же, вечная моя мысль: четыре осколка, которые вошли в меня под Запорожьем, тот, что в левом лёгком сидит, взял бы чуть левее, и не было бы никого из них. Ведь целые роды исчезли вот так, как будто и не жили на земле.

Первого своего сына Миша назвал Юрой: в память о моём старшем брате, погибшем на войне. Разумеется, у меня и в мыслях не было просить его об этом. И так же точно, как сделал он, поступил и Саша Небольсин, сын двоюродной моей сестры: в

память о её погибшем на войне брате. Два Юры сидят за столом, и я смотрю на них.

Мы с Эллой всегда боялись, чтобы дети наши не выросли лодырями: у всех отцы утром уходят на работу, вечером возвращаются с работы, а я целый день дома: чего-то пишу за столом или вовсе ничего не делаю, читаю. Способности в них, как говорится, — от бога, но и способности можно проспать. Они не проспали, выросли тружениками, достойными людьми. Такими воспитали? Да воспитывали ли мы их вообще? Мы их любили, а любовь сама учит: не баловать. И жили одной с ними жизнью. Может быть, иногда я был жестковат с сыном, самому от этого бывало больно, но ведь мужчина растёт. И вот он не помнит зла, потому что зла не было, любит нас. И все они, и семья сына, и семья дочки — родные нам души. Какое наследство оставляем им? Единственное: им не было и не будет стыдно за нас. Это главное: ни детям нашим, ни внукам за нас стыдно не будет.

Редет, редет наше поколение. Не стало на этих днях Василя Быкова: рак. С ним мы дружили долгие годы, и дружбой были связаны и минувшей войной. И даже оказалось (это мы уже в мирное время выяснили), что в Венгрии мы были на одном фронте. А вскоре и Георгия Владимова не стало, тоже глубокий был писатель. Но их книги переживут их.

И всё чаще приходят мне на память вещице пушкинские строки: «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит».

СОДЕРЖАНИЕ

7 ОТ АВТОРА

ЖИЗНЬ, ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

11	НАЧАЛО
18	ШКОЛА
20	БАБИЧЕВ
25	ДАЧА
29	ГОД 1939-й
33	ТЕХНИКУМ
38	ВОЙНА
51	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
59	УЧИЛИЩЕ
68	СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ
115	ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР
159	В НАЧАЛЕ СЛОВА БЫЛА ЖИЗНЬ
178	«ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
182	О БОРИСЕ СЛУЦКОМ
195	ОСТАНОВИТЬ МГНОВЕНИЕ
241	ВОТ ОН УЖЕ ОТКРЫВАЕТ КАЛИТКУ...
270	ПОКА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ
273	ВАСИЛИЙ ШУКШИН
282	КРУГ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БРАТСТВА
290	СТАРЫЙ СТАРИЧОК
296	НАВЕКИ — ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ
322	ЛУЧШИЙ СПОСОБ НАЖИВАТЬ НЕПРИЯТНОСТИ
331	«ПАРТИЯ ВЫМАГАЕ З НАС...»
349	ЛЮДИ И РОЛИ
356	ПАРОДИЯ
368	КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ
378	В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
383	У КАЖДОГО СВОИ ЗАБОТЫ
400	ПУТЬ КРЕМНИСТЫЙ

419 НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ
429 ЛАКШИН
442 МУЧЕНИКИ ДОГМАТА
453 ПО-РОДСТВЕННОМУ
467 ЕГО ДУША, И БОЛЬ, И СОВЕСТЬ
478 ДЕЛА ТЕКУЩИЕ
492 НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...
499 «ХВАТИТ НАМ СОБАЧАТИНЫ!»
504 ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
511 ЧЕРНЫЕ КАМНИ
520 «МЫ ВАМ ПЕРЕКРОЕМ КИСЛОРОД»
537 ПОДВОДЯ ИТОГИ
568 ПОДТАНЦОВКА
572 «В ЖИВОПИСНОМ СОСТОЯНИИ»
575 ЭРОТИЧЕСКОЕ ДНИЩЕ
578 А МЕЖДУ ТЕМ...
582 МИР ВХОДЯЩЕМУ

НОВЫЙ ВЕК

587 2000 ГОД
607 2001 ГОД
715 2002 ГОД
782 2003 ГОД
803 КУМИР

ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БАКЛАНОВ

ДОРОГИ ПРИШЕДШИХ С ВОЙНЫ

Компьютерный дизайн Владимир Ефимов

Подписано в печать 07.04.05.

Формат 84×108 1/32. Усл. печ. л. 46,2.

Тираж 2000 экз. Заказ № 1607.

НФ «Пушкинская библиотека»

107078, Москва, Большой Козловский пер., д. 13/17

Электронные адреса: www.pushkinlibrary.ru

e-mail: pushkin@pbl.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном
Московском предприятии «Первая Образцовая типография»
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
115054, Москва, Валовая, 28

«Дороги пришедших с войны» — новая книга выдающегося прозаика Григория Бакланова, широко известного российскому и мировому читателю по многим публикациям: роману «Июль 41 года», повестям «Навеки — девятнадцатилетние», «Южнее главного удара», «Пядь земли», «Мёртвые сраму не имут».

Прежде всего это книга — воспоминание о Великой Отечественной войне, которую лейтенантом артиллерии прошёл автор, увенчанный наградами, ранениями и контузией. Это и размышления о прошлом, настоящем и будущем нашей жизни, нашей литературы. И, наконец, это воспоминание о встречах, беседах и дружбе с крупными поэтами и прозаиками XX века — Твардовским, Быковым, Некрасовым, Слуцким и др.

«Дороги пришедших с войны», несмотря на мемуарный характер, остросовременное произведение, касающееся главных проблем нашего бытия.

ISBN 5-94643-220-6



9 785946 432207